ВЛАДИМИР
КАРПОВ

Судьба разведчика

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена одной из самых сложных и опасных профессий — разведке. Автор — разведчик-профессионал и писатель-профессионал; это дает ему возможность глубоко и со знанием дела вникать в тончайшие сложности и секреты древнейшей профессии. Писатель далек от суперменских приключений, потому что реальные разведзадания, которые он сам выполнял во время войны и в годы службы в Главном разведывательном управлении после войны, будут для читателей гораздо интереснее.

- Карпов Владимир Васильевич
  - Герой секретного фронта
  - Введение
  - От счастья до расстрела — один шаг
  - Дорога в бандиты
  - И опять расстрел
  - Штрафник не всегда смертник
  - Вот он, фронт
  - Умирать нам рановато
  - Взять живым
  - Особое поручение
  - Эхо Сталинграда
  - Выпрямили Курскую дугу
  - Опять политическая проблема
  - Особое задание
  - Отпуск
  - Вот она, заграница
  - Радость победы
  - В разведке не бывает мирного времени
  - Особо секретное поручение
  - О чём не знал Ромашкин
  - И опять — взять живым!
  - Можно ходить по лезвию бритвы
  - Жизнь продолжается
  - Хранить вечно
  - Семинар

Карпов Владимир Васильевич
Судьба разведчика

Евгении Васильевне, жене и доброму другу в нашей трудной и счастливой жизни, посвящаю.

Владимир

Герой секретного фронта

Никакая другая область человеческой деятельности не окутана таким количеством тайн и загадок, как разведка.

Причиной тому «многоэтажная» конспирация: военной тайной является то, что добывают разведчики; секретно и то, как они это делают; конспирируют тех, кто занимается разведкой, и вообще стремятся как можно меньше говорить об этой службе. Чем меньше о ней знают, тем лучше для тех, кто ею занимается, — таков один из непреложных законов разведки во все времена.

Но проходит время, раскрытие тайны уже не может принести вреда ни государству, ни армии, ни самим разведчикам, и тогда люди узнают о бойцах секретного фронта. Становятся известными имена героев, так много совершивших подвигов для достижения победы, ради блага своей родины. В работе советских разведчиков есть постоянная, обусловленная необходимостью высокая ответственность и особая честь — разведчики идут впереди всех, ещё до начала войны они уже ведут борьбу с врагом, во время боев они тоже первыми встречаются с противником на передовой или в его тылу.

Несмотря на тормозящее воздействие секретности, деятельность военных разведчиков широко изображена в художественной литературе. Среди этих произведений есть вершины, заслуженно завоевавшие признание читателей: повесть Э. Казакевича «Звезда», рассказ «Иван» В. Богомолова, его же роман «В августе сорок четвертого…», «Щит и меч» В. Кожевникова, «Земля, до востребования» Е. Воробьева, «Семнадцать мгновений весны» Ю. Семёнова.

Книгу Владимира Карпова «Судьба разведчика» я тоже отношу к этой категории вершин. В лице её автора мы имеем счастливое сочетание разведчика и писателя. Карпову не надо было рыться в архивах, искать и расспрашивать участников событий, он сам прошел службу от рядового полкового разведчика до офицера по особым поручениям при начальнике ГРУ. А по писательской линии он, как известно, тоже достиг почетной высоты, став руководителем Союза писателей СССР (1986 — 1991 гг.).

Я много лет знаю Владимира Карпова, известны мне его фронтовые дела как «охотника за языками» и послевоенная служба в Генеральном штабе. «Судьба разведчика» — книга автобиографическая, герой её Василий Ромашкин — лицо вымышленное. Как говорил мне Владимир Васильевич: «Неудобно

было писать о своих похождениях, читатели могли заподозрить в нескромности — хвалиться своей храбростью. Вот я и придумал Ромашкина, пусть он за все отвечает. К тому же в книге есть и не биографические эпизоды и переживания — в общем, это литературное произведение со всеми свойственными ему художественными описаниями событий и авторскими размышлениями».

В книге Карпова мне хочется отметить знание автором мельчайших тонкостей в нашей сложной службе, причем как в войсковой в годы войны, так и агентурной в мирное время. Впрочем, понятие «мирное время» для разведчика не существует, в разведке всегда война.

Достоинство этой книги я вижу ещё и в том, что Карпов пишет не только о себе, а с большой любовью и уважением о своих боевых друзьях-разведчиках.

Очень важное открытие, которое сделает читатель, заключается в том, что настоящие, а не литературные разведчики не являются «суперменами». Все они обычные люди, в большинстве своем труженики, даже не кадровые военные, до войны — студенты, рабочие, педагоги, токари, колхозники, просто парни, ещё не выбравшие профессии. И все они такие же воины, как и те, кто шел в цепях атакующих, летал на самолетах, плавал на боевых кораблях. Сама необходимость добывать данные, так нужные для победы, особенности работы в стане врага, где каждый миг на волосок от смерти, — все это требовало от работающих в разведке решительности, смелости, ловкости, находчивости, и эти качества они находили в себе не в силу какой-то исключительности, а движимые любовью к родине, сознанием долга, чувством боевого товарищества, убежденностью в правоте и справедливости дела, ради которого шли на риск.

Причины, побуждающие человека идти в разведку, и духовные силы, дающие возможность совершить подвиг, особенно глубоко и наглядно проанализированы и убедительно показаны в книге В. Карпова.

К сожалению, иногда имеют место и злоупотребления любовью читателей к теме. Иные авторы сочиняют легковесные поделки, основываясь на каких-то обрывочных сведениях и слухах, а чаще всего на собственной фантазии. Польза от такой чисто развлекательной литературы весьма сомнительна. Ввиду несоблюдения чувства меры, потери реальной почвы и непомерной ставки на развлекательность разведывательные «детективы», на мой взгляд, приносят и определенную долю вреда: они подспудно порождают, особенно в молодом читателе, сомнение в способности совершить подобные «трюки». Читает

молодой человек о головокружительных похождениях «супермена», а в душу его закрадывается сомнение: я так не смогу! Эта неуверенность может сыграть пагубную роль в час испытания, так как человек встретит опасность как заведомо ему непосильную, неодолимую.

Военная разведка сыграла огромную роль в обеспечении выполнения задач, стоявших перед советскими Вооруженными Силами в годы Великой Отечественной войны: ни один боевой приказ, ни одно боевое распоряжение не отдавалось войскам без оценки обстановки и раскрытия замыслов противника. Эти оценки базировались на сведениях, добытых разведчиками по различным каналам. Ценою огромных усилий разведчики совершали свой молчаливый подвиг: они добывали сведения о группировке, численности, дислокации, боевой технике и вооружении войск противника, его планах и намерениях. Родина высоко оценила их труд. Только в 1943 — 1945 годах 121 военный разведчик удостоен высокого звания Героя Советского Союза, и Владимир Карпов — один из них.

«Люди молчаливого подвига» — так назвал разведчиков родоначальник советской военной разведки Ян Берзин. Да, разведчики в тишине, без огласки совершают свои подвиги на благо Отечества, но приходит время, когда можно рассказать об их славных делах и о них самих. В течение тридцати лет (с 1970 года!) Владимир Карпов писал сначала отдельные рассказы, небольшие книги, повести, потом сложилась его широко известная книга « Взять живым». Издавалась она с купюрами (то нельзя, это нельзя) и вот, наконец, выходит «Судьба разведчика», в которой восстановлено многое из «нельзя» и написаны новые главы.

И это ещё не все! Приятно было мне прочитать в предисловии автора его обещание создать ещё (и, может быть, не одну!) автобиографическую книгу. Я уверен, он выполнит это обещание, у Владимира Васильевича очень много материала: шесть лет командовал полками в далеких и трудных гарнизонах — на Кушке, Памире, в Мары, Кизыл-Арвате. Побывал в Афганистане, объехал весь мир — Англию, США, Японию, Аргентину, Северную и Южную Корею, Вьетнам и многие другие страны. Есть о чем рассказать опытному писателю и разведчику. Мы ждем его новые книги.

Начальник Главного разведывательного
управления Генерального Штаба,
генерал-полковник *ЛАДЫГИН Ф. И.*
5 мая 1997 года

Введение

Лев Николаевич Толстой к концу жизни, опираясь на свой огромный и многолетний творческий опыт, пришел к выводу, что в старых формах, в тех, в которых он и его современники работали, уже писать нельзя. Жизнь с её многообразными горестями и радостями, реальные судьбы людей будут содержанием литературных произведений.

Ни один сочинитель не может придумать таких невероятных событий и глубоких переживаний, какие повседневно происходят в жизни людей.

Вот подлинные слова Толстого: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни».

В книге «Судьба разведчика» нет выдуманных эпизодов, изменены только некоторые фамилии. Все, о чем в ней рассказано, несмотря на, казалось бы, невозможное скопление в жизни одного человека стольких невероятных событий, происходило в действительности. Автор не только свидетель, но и участник, а порой исполнитель многих описанных разведывательных заданий.

Но книга эта — не мемуары, а художественная проза со свойственным для нее многоплановым описанием героев, их поступков, обобщениями и размышлениями автора, а также изображением исторических событий, в которых живут и действуют персонажи книги.

Напряженность и насыщенность экстремальными ситуациями из жизни разведчика Ромашкина может успешно соперничать с самыми головокружительными выдумками и приключениями детективных сочинений.

Книга написана в несколько облегченной манере, без глубоких психологических ремарок о переживаниях героев, этого требует динамичный сюжет. Тем же объясняются и броские названия глав и разделов. Но ещё раз повторяю, книга эта — не мемуары и не детектив, а традиционно серьезная проза, потому что охватывает более чем полувековую жизнь разведчика с большим набором исторических событий и множеством эпизодов, показывающих конкретное участие героев в этих событиях, — каждый человек бросает свой хворост в костер истории.

Пусть читателей не удивляет дата написания книги, поставленная на последней странице, — 1970-2000 годы. Книга действительно создавалась так долго. При первом издании в 1972 году были изъяты несколько первых глав, потому что тогда ещё нельзя было печатать о лагерях, штрафных ротах и прочих теневых сторонах, компрометирующих социалистический строй. В сокращенном виде книга называлась «Взять живым». В таком виде она была издана несколько раз. Третью часть, о службе Ромашкина в Главном разведывательном управлении, об агентурных делах, нельзя было писать и печатать по соображениям секретности. Но прошли годы, многое утратило секретность, и я написал третью часть. Кое-что я замаскировал, изменив имена, города, чтобы не навредить действующей и в наши дни службе. В общем, работа над книгой продолжалась в эти долгие годы и теперь впервые выходит в том виде, какой была задумана много лет назад.

Автор

P. S. Предыдущее издание этой книги (1998) завершалось гибелью Ромашкина. Я получал сотни писем, да и устных просьб от друзей и знакомых: «Не убивайте Василия, мы полюбили его, не хотим расставаться». Я выполняю пожелания ваши. Вспомнил, прецедент в литературе был: Ильф и Петров убили, а потом оживили Остапа Бендера ещё на одну книгу. У меня материала не меньше, чем у них, на новую книгу. Поэтому, уважаемые читатели, я переписал конец и оставил Ромашкина жить и общаться с вами ещё многие годы в следующей книге. До встречи!

От счастья до расстрела — один шаг

Трудно поверить, что все это могло выпасть на долю одного человека. Вот несколько эпизодов из его жизни.

…Идут соревнования по боксу. Ринг установлен на арене цирка. Судья поднимает руку очередного победителя. Зрители аплодируют, кричат, кто-то свистит от восторга. Этот боец — совсем юный паренек — особенно понравился своей отличной техникой. Он нокаутировал противника во втором раунде. Стройный, ладный, блестящий от пота, как бронзовая статуя, боксер улыбается. Рад победе. Это Василий Ромашкин.

А теперь другая ситуация. В тюремной бане, под холодными струями лежит человек. Он без сознания. Из носа, с губ стекает сукровица. Его били трое следователей. Били ногами. Буквально месили сапогами. А потом охранники приволокли сюда, в тюремную баню. И бросили под холодный душ. На подоконнике за разбитым стеклом с решеткой грязный снег. А лежит под ледяными струями Василий Ромашкин. Тот самый красивый спортсмен с ринга…

…В одном из лагерных бараков в Сибири идет страшная драка воров и бандитов. Сверкающий нож взметнулся над грудью вора в законе Серого. Возможно, этот удар стал бы смертельным, но с верхних нар кинулся, как голкипер, на руку с ножом зек и ловко отвел удар. Это тоже был Василий Ромашкин.

На Калининском фронте стоят под направленными на них винтовками шесть штрафников — их расстреляют. Один из приговоренных — Ромашкин.

Английская контрразведка не может выявить советского разведчика, который регулярно появлялся в их стране. Много лет продолжалась эта охота, но Василия Ромашкина так и не поймали.

Существует два противоположных мнения о судьбе. Первое — все предопределяет провидение, а второе, наоборот, — сочетать судьбу и свободу человека невозможно.

Наверное, судьба — это не то, что впереди, не то, что предстоит, а что уже пройдено, то, что позади, уже сложилось, на что, оглядываясь, одни не видят ничего — зачем жил? А у других волосы встают дыбом — неужели все это было?!

У Ромашкина судьба лихая!

Слово «лихая» подразумевает несколько значений — лихая, в смысле трудная, со многими тяжкими испытаниями, лихолетье наваливается иногда на целые народы или государства. Содержит в себе это слово ещё и бесшабашную смелость, отчаянные

выходки, когда человек совершает нечто непосильное другим, показывая при этом свою изобретательность в увертывании от смерти. Владимир Даль в своем бесценном словаре приводит к этому слову целое ожерелье ярких синонимов: лихой — молодецкий, хваткий, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухарский, смелый и решительный.

Вот всего этого не было у Василия Ромашкина в юношеские годы, когда он вступал в жизнь. Но не только это, а ещё многое сверх того приобрел он, пройдя свой сложный жизненный путь.

Рос Василий в обычной городской семье. Жил в Оренбурге, в доме, построенном после русско-японской войны дедом Михаилом Гавриловичем — яицким казаком. Дед был коренастый, с русой непокорной шевелюрой, характера твердого, на войне показал себя храбрым — два Георгиевских креста и медаль заслужил, а также звание есаула. Михаил Гаврилович успел понянчить внука Васю, покормил его пельменями (несмотря на верещание баб: «Нешто можно младенцу такую тяжелую еду!») Дед ухмылялся, отмахивался от женщин: «…Я же ему не целые, нажеванные даю. Парнишке силы набирать надо. Какая сила с ваших сосок. Он русский человек, ему пельмени полагаются».

Недолго радовался внуку Михаил Гаврилович, дождался, правда, чтоб Васенька на своих ногах пошел, погулял с ним по саду, держа за маленькую розовую ручонку, но когда Васе было четыре годика, скончался дед от какой-то тяжелой, неизлечимой в те годы болезни.

Отец Васи — Владимир Михайлович — тоже помахал саблей в первую мировую и в гражданскую войны. Но был он казак, как говорится, городского разлива, в станице не жил, рос и учился в Оренбурге. Как и отец, был он стройный, с буйными русыми кудрями да серыми, с весёлой лукавинкой глазами.

О женитьбе он не думал — война, не до того.

Может быть, Василий вообще бы на свет не появился, если бы не приехала беженка из Петербурга. Звали её Лиза, росла она в интеллигентной семье, окончила гимназию, владела французским и румынским языками.

Родители ее, отец — нотариус, мать — воспитанница женского пансиона, стремились дать хорошее образование своим детям — Лизе и Сергею. ещё в годы учебы в гимназии, летом их возили во Францию и Румынию для изучения языков и, как говорила мама, «для развития общего кругозора».

В годы военных и революционных передряг мать умерла от тифа, а отец — от тоски по ней. Брат Сережа пропал без вести на фронте, будучи уже штабс-капитаном.

Лиза, спасаясь от голода, уехала из Питера в Оренбург с соседкой, вдовой-генеральшей Матильдой Николаевной. Они сняли по комнате в доме Ромашкиных.

Владимир Михайлович в год их приезда воевал против атамана Дутова на стороне красных. Приезжая навестить родителей, он громыхал сапогами и саблей на лестнице, поднимаясь на второй этаж. Лихой кавалерист с кудрявым чубом и серыми шалыми глазами с первой встречи сразил наповал столичную барышню. Он уезжал воевать, а она молилась, просила Бога, чтобы он сохранил этого человека, потому что сознавала, что встретила его на всю жизнь.

Лихой вояка тоже приметил петербургскую красавицу, после этой встречи его внимание к родителям утроилось, он навещал их очень часто, а в результате Лиза родила сына Васю, о котором пойдет рассказ в этой книге. Произошло это в лето 1920 года. Грех был велик: не венчанные, не расписанные — и сразу дитя! Красноармейцу в те годы венчание было противопоказано. Регистрация в загсе? Где он, тот загс?

В часы недолгих свиданий не до загса было — не могли наглядеться друг на друга, нарадоваться, что судьба их свела. Между собой так объяснились. Он ей сказал: «Спасибо тебе, жена, за то, что сына подарила». Она ответила ему: «А ты мне подарил счастье».

Вот такие истоки или корни были причиной появления на свет Василия Ромашкина. И хоть был он незаконнорожденный, плод любви, дед Михаил Гаврилович и бабушка Анисья Борисовна крестили внука по христианскому обычаю и приняли его в семью Ромашкиных с великой радостью.

Из личных достоинств Василия, сыгравших определенную роль в его жизни, отметим два.

В школьные годы появилась у Василия склонность к писанию стихов. В шестом классе у него уже была толстая столистовая тетрадь с переписанными набело, так сказать, избранными стихотворениями. Эту тетрадь однажды случайно взяла и раскрыла учительница литературы Таисия Петровна. Прочитав несколько стихов, она попросила у Ромашкина разрешения взять его тетрадь домой, чтобы ознакомиться подробнее. Василий, краснея, с замиранием сердца согласился. На следующий день Таисия Петровна после занятий, отпустив всех, попросила Ромашкина остаться в классе.

Когда ребята вышли, учительница посадила Василия на стул около своего стола, внимательно посмотрела ему в глаза и значительно произнесла:

— Вася, ты должен понять, это очень серьезно, у тебя талант.

С поэтическими делами Ромашкина мы соприкоснемся ещё не раз, поэтому перейдем ко второму важному обстоятельству в егр жизни.

Ромашкин, как и многие его сверстники, увлекался книгами Майна Рида, Виктора Гюго, О'Генри. Но самым близким стал для него Джек Лондон, и особенно его рассказы о боксерах. «Мексиканец» просто завораживал Василия, в нем все трепетало, когда он перечитывал строки о схватке мексиканского паренька Риверы с искусным бойцом, прославленным Денни. Василий часто в более поздние годы, в безвыходных ситуациях вспоминал «мексиканца» , и это помогало ему вывернуться из костлявых лап смерти.

А тогда, в Оренбурге, он не раз перечитывал рассказ Джека Лондона с неослабевающим волнением. И вот однажды Василию очень повезло. Счастливый случай как раз и стал причиной, породившей второе достоинство, очень пригодившееся Василию в его дальнейшей жизни.

А произошло вот что. В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов пионеров. Создали такой «дворец» и в Оренбурге. Василий шел как-то по центральной Советской улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок: авиамодельный, литературный, рисования и лепки. И вдруг Василий, не веря глазам, прочитал:

«Бокс — желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сиднею Дику». Василий не пошел, а побежал искать этого Дика. Он представлялся здоровяком с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда Сидней оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И ещё был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований, ещё до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец и не мог выходить на ринг. «Мухач» большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав: «Заработай на возвращение сам. Ты и так мне дорого стоил. Я привез тебя работать, а ты стал балластом».

Сидней устроился тренером на работу в «Российскую лигу бокса», его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал: «Зачем уезжать — дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами». И заработал бы, но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стороне. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому

записался в интернациональную роту, дошел с боями до Оренбурга, а когда кончилась гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью — жену и детей. Работал тренером в «Динамо», а затем вот ещё и во Дворце пионеров.

Здесь дети ему и он им пришлись очень по душе. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил Сидней до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований. В том числе и Василия, который выиграл первенство области.

Ни знаменитым поэтом, ни большим чемпионом Ромашкин не стал — помешала не только война, но и события, выпавшие на его долю ещё до нападения Германии.

А произошло вот что. В те годы Оренбург назывался Чкалов, в честь легендарного летчика. Было в городе летное военное училище. Профессия военного в те годы была самая престижная. Летчики-командиры в их синей форме, при белых сорочках с галстуком, с золотыми крылышками на рукаве покоряли не только девушек, но и юношей. Не был исключением и Василий. Написал первый в своей жизни рапорт с просьбой допустить к экзаменам и принять в училище. Допустили. А экзамены конкурсные: восемь желающих на каждое место. Василии преодолел это препятствие легко — в школе хорошо учился, да и готовился специально к сдаче каждого предмета. Сдал он все, что полагалось, на «отлично», но вдруг врачи обнаружили, что правый глаз видит на одну сотую слабее левого. Это для летчика недопустимо. Зачем брать такого, когда есть восемь человек на место — с полноценным зрением.

Но сжалились члены комиссии над парнем, который так успешно сдал трудные экзамены, к тому же спортсмен, командир из него получится хороший, предложили Ромашкину поступать в пехотное училище, куда он со своим зрением проходит.

Василий посоветовался с отцом, тот, как всегда, немногословно ответил: «Смотри, тебе служить». Мать запорхала вокруг него, понимая огорчение сына, утешала: «И пехотный офицер — тоже хорошо. Вон мой брат Сережа был пехотный, а какой красавец! Усы отпустишь, будешь бравый капитан».

Стать военным очень хотелось, поэтому Василий согласился с предложением комиссии. Ближайшее к Оренбургу пехотное училище находилось в Ташкенте, в него и направили Ромашкина.

Два года учебы промелькнули быстро. Василий окреп, загорел под азиатским солнышком. Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов: стал чемпионом Средне-Азиатского военного округа в среднем весе. И с поэзией дело

продвигалось: стихи Василия печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Фёдоров советовал не оставлять стихи, даже когда станет командиром.

В училище Ромашкин был местной знаменитостью: у всех на виду как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Иванов (два ордена Красного Знамени за бои в гражданской войне) отмечал Василия благодарностями, грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы в будущей службе, даже намекал на то, что может оставить его после окончания командиром курсантского взвода.

Выпуск намечали приурочить ко Дню Красной Армии — 23 февраля 1940 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму: гимнастерки и шинели. Василий на примерке смотрел на себя в зеркало и сердце его замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они его увидят в этом блеске. Мелькали самонадеянные мысли и о том, что девушки тоже (особенно Зина!) будут на него посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться: здоровый, плечистый, загорелый, два рубиновых «кубаря» на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами, ремень комсоставский с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда. При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые, комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги ещё были складской бледности, но Василий знал, как только он их получит — начистит до зеркального сияния.

Казалось, все складывалось прекрасно, и командирская жизнь с её трудной, но увлекательной армейской романтикой, для Ромашкина уже начинается.

Но та самая судьба, о которой мы упоминали, распорядилась иначе.

В полночь, когда рота спала здоровым богатырским сном после напряженных дневных занятий, в спальную вошли трое. Они подошли к тумбочке Ромашкина, вынули из нее тетради и письма, раскрыли вещевой мешок и из него извлекли тетрадь со стихами, которую там хранил Василий. Затем капитан со шпалой на петлице тронул спящего за плечо и негромко, чтобы не будить соседей, сказал:

— Ромашкин, вставайте.

Василий, ничего не понимая, посмотрел на стоявших перед ним командиров.

— Одевайтесь, Ромашкин, пойдете с нами. В канцелярии роты все тот же капитан спросил строгим и официальным

голосом:

— Ваша фамилия, имя, отчество?

Василий удивился: несколько минут назад капитан называл его по фамилии… Но ответил:

— Василий Владимирович Ромашкин. А в чем дело?

Капитан ещё более холодно произнес:

— Василий Ромашкин, вы арестованы. Вот ордер на арест. — Капитан показал небольшой бумажный квадратик. — Понятых прошу ознакомиться.

Василий посмотрел на тех, кого капитан назвал понятыми, — это были физрук училища, старший лейтенант Речипкий, и майор из учебного отдела, фамилию его Ромашкин не знал.

— Понятых прошу засвидетельствовать: все бумаги, изъятые при вас, принадлежат арестованному Ромашкину. Распишитесь вот здесь.

Василий даже не волновался, в оцепенении он ждал, что сейчас вся эта фантасмагория кончится, и он проснется.

Но дурной сон продолжался.

Не в «черном вороне», а в обычной легковой «эмке» Ромашкина привезли во двор дома в центре Ташкента. Не раз проходил Василий мимо этого дома и не подозревал, что в подвале его — тюрьма. Здесь его раздели догола, осмотрели, чтобы не пронес… А что пронесешь, например, в заднем проходе? Но заглянули и туда. Сфотографировали в фас и профиль, с номером на дощечке, которую велели держать на уровне груди. Сняли отпечатки не только пальцев, но и целой ладони. Затем вывели из подвала и направились к какому-то возвышению вроде большой собачьей будки в глубине двора. "Неужели будут держать меня в этом курятнике? — подумал Василий и тут же смекнул, что это хорошо — в тюрьме не оставили, значит, в этой будке подержат до выяснения, что все это недоразумение, ошибка, и отпустят.

Но предположение Василия тут же разлетелось вдребезги — будка оказалась входом, тамбуром в подземную так называемую внутреннюю тюрьму. Спустившись в сопровождении молчаливых конвоиров под землю, Василий увидел здесь целое переплетение расходящихся в разных направлениях коридоров. Электрический свет освещал в каждом из них ряды железных дверей.

В подземелье была гробовая тишина. Василия поразило: внутренние охранники ходили в валенках (летом!).

Лязгнула задвижка, щелкнул замок, тяжело отворилась толстая дверь, обитая железом. Василий шагнул через порог, и дверь тут же захлопнулась. И опять лязгнула задвижка и клацнул

замок. Тут же откинулось окошечко на середине двери, и дежурный сказал:

— Откинь койку. Ложись до утра. Днем спать не положено.

Камера была маленькая, над дверью, за металлической решеткой горела яркая лампочка. Она освещала побеленный квадрат, что-то вроде внутренности контейнера — четыре шага в длину, два — в ширину, к стене прикреплена откидная полка, как в железнодорожном вагоне, у двери маленькая параша, накрытая ржавой крышкой. Больше ничего в камере не было. Поскольку все это находилось глубоко под землей, в левом верхнем углу было отверстие с кулак шириной. «Чтобы не задохнулся», — догадался Ромашкин.

Он отстегнул полку, которая ударилась о бетонный пол двумя откинувшимися подпорками. На койке был матрац без простыней, подушка в серой застиранной наволочке и армейское одеяло, такое же, каким накрывался в училище, только старое, потрепанное.

Не раздеваясь, Василий лег. Собрался спокойно все обдумать, прикинуть, что же произошло, за что его арестовали. Но сколько он ни перебирал в памяти свою жизнь за последние годы, ничего преступного, наказуемого вспомнить не мог.

Мешала думать яркая электрическая лампочка над дверью — она светила прямо в лицо. Ромашкин повернулся к стене и натянул одеяло наголову. Тутже клацнуло окошечко в двери, и надзиратель строго сказал:

— Ложись на спину, лицо закрывать не положено.

«Неужели он постоянно наблюдает за мной? — подумал Василий. — Не может быть, сколько же их надо, чтобы следить за каждой камерой? Ага, вот почему они в валенках! Подходят неслышно к волчку и периодически заглядывают».

Заснуть Василий так и не смог. О том, что настало утро, он понял по команде:

— Закрыть койку, приготовиться на оправку.

Его сводили в тюремную вонючую уборную, там же было несколько ржавых, оббитых, когда-то эмалированных раковин, над ними такие же старые ржавые краны. Запах застоявшейся мочи тянулся до середины длинного коридора. И даже в камере Василий чувствовал, что этой вонью пропиталась его одежда.

Ромашкин ждал допроса, чтобы наконец выяснить, за что его упекли в это подземелье. Но прошел день, а его не вызывали. Прошел и второй, и третий день, а допроса все не было. «Куда они подевались? — удивлялся Василий. — Неужели можно держать так долго невинного человека?»

У него затекли не только ноги, но и все тело от

повседневного стояния или топтанья от стены к стене — четыре шага туда и четыре обратно. Днем лежать не разрешали.

На пятый день Василий постучал в дверь и, когда охранник открыл окошечко, сказал:

— Когда же меня вызовут на допрос? Забыли, что ли?

— Это не наше дело. Вызовут, когда надо будет.

— Так вы скажите им. Надо же разобраться. Мне госэкзамены надо сдавать.

Охранник ухмыльнулся:

— Экзамены для тебя уже начались. Будешь усе и усех сдавать, как положено.

Василий возмущался: «Заколдованный круг какой-то. Даже эта рожа что-то знает. А я не могу понять, что происходит».

Его вызвали через неделю. Провели по коридорам подземелья, затем через двор, в то красивое здание, которое выходило фасадом на улицу.

Комната следователя чуть больше камеры, ничего лишнего: письменный стол с настольной лампой, стул для следователя и второй, у двери, для допрашиваемого.

Следователь лет на пять старше Ромашкина, чисто выбритый, холеный красивый шатен, волосы лежат своими, не парикмахерскими волнами. Одет в форму политработника: петлицы без золотой окантовки, на рукавах звезды вместо шевронов. На петлицах три кубаря: значит, его звание политрук.

Следователь весело посмотрел на Василия и очень приветливо, будто продолжая прерванный разговор, сказал:

— Моя фамилия Иосифов, я буду вести ваше дело. — И сразу после этого перешел на ты. — Так за что же тебя, Вася, посадили?

Василий ожидал всего, чего угодно, только не такого вопроса. Он с искренним удивлением пожал плечами и ответил:

— Не знаю. Я в полной растерянности. Ничего не могу припомнить предосудительного.

— Значит, плохо вспоминал. Или скрываешь. Ну, что же, дам тебе ещё недельку, иди, подумай, может быть, вспомнишь.

Василий с ужасом представил: ещё неделю в этом вонючем, душном подземелье, он даже встал со стула от волнения.

— Товарищ политрук, вы что, какая неделя, госэкзамены же скоро в училище.

— Садись! Во-первых, я тебе не товарищ, а гражданин следователь, во-вторых, об училище забудь. Это для тебя этап пройденный. Хотя нет, я не прав, об училище ты должен все хорошенько вспомнить и откровенно рассказать мне о своей преступной антисоветской деятельности.

Василий даже улыбнулся: наконец-то проясняется!

— О какой антисоветской деятельности вы говорите, товарищ… гражданин следователь, я что, враг, что ли? Вы меня с кем-то перепутали. Давайте побыстрее разберемся, и отпускайте меня. Надо же такое придумать — антисоветский деятель! Нашли врага. Я же комсомолец. Меня не только наша рота, все училище знает. Генерал несколько раз награждал. Нет, вы что-то путаете!

Следователь добро посмотрел на Ромашкина и доверительно молвил:

— Я и так тебе кое-что лишнее сказал. Не я тебе, а ты мне должен говорить о своих преступных делах. Открытое признание облегчит твою участь. Иди, подумай и вспомни все хорошенько. А главное, не запирайся. Ты должен понять — если ты здесь, значит, нам все известно.

Следователь вызвал конвоира и коротко приказал:

— Уведите.

Ромашкин от порога обернулся и с надеждой попросил:

— Если вам все известно, так давайте об этом говорить. Что известно? Я не чувствую за собой никакой вины.

— А ты, оказывается, хитрее, чем я думал. Значит, будем говорить о том, что нам известно? А о том, что нам пока не известно, ты будешь помалкивать?

— Да скажите, наконец, в чем моя вина! — не выдержал и почти крикнул Ромашкин.

Следователь по-прежнему добро улыбался и ответил с укоризной:

— Не шуми, у нас шуметь не принято. Иди и думай. Время на размышление я тебе дам.

И дал. На следующий допрос Ромашкина привели через десять дней. Чего только не передумал Василий за эти казавшиеся годами долгие дни в подземной гробовой тишине. Как ни странно, от тишины у него стала появляться ломота в ушах. Выхода из камеры на оправку, раздачи баланды и хлеба он теперь ждал как приятного отдохновения. Появлялись охранники, начиналось какое-то движение.

Ромашкин ещё раз перебрал всю жизнь в училище и не мог найти никакого криминала в своем поведении. Мысленно перечитал свои стихи, напечатанные в окружной газете «Фрунзевец». Ни одного предосудительного слова в них нет. В тех, которые не опубликованы, кое-что может не понравиться. Но они записаны в тетради, и читал их Василий только в узком кругу приятелей, в классе во время самоподготовки или вечером перед сном, когда лежали в постели.

Может быть, стихотворение о Ленине они имеют в виду? Но в нем теплая любовь к Владимиру Ильичу и сожаление, что в наши

годы забывают. Неужели кто-то из курсантов донес? В стихотворении говорилось только о Ленине, но после прочтения его ребятам он добавил: «Зачем Ленина заслонять Сталиным? Он в годы революции не был вторым после Ильича деятелем в партии. Были покрупнее него». Наверное, болтал ещё что-нибудь в таком же духе. Значит, были во взводе стукачи. Ромашкин перебрал всех друзей, вспоминал их лица, поступки, кто как к нему относился, какие задавал вопросы. Ни одного похожего на стукача не выявил, все ребята нормальные, настоящие друзья, все уважали его, даже гордились, что в их взводе чемпион и поэт. Может, из зависти кто-то хотел напакостить? Непохоже. Все парни искренние, однокашники, друзья на всю жизнь.

Обнаружив некоторую вину в своих стихах, Ромашкин на следующем допросе сам высказал это предположение следователю. Тот стал ещё добрее.

— Молодец, додумался наконец до того, в чем надо признаваться. Значит, говорил о товарище Сталине оскорбительные слова?

— Нет, что вы! Наоборот, я говорил о Сталине уважительно, что он много добрых дел совершил и ему не надо приписывать то, что сделал Ленин.

— Хорошо. А теперь скажи, зачем ты заводил разговоры, порождающие сомнения в деятельности товарища Сталина?

Ромашкин честно ответил:

— Не было у меня никаких замыслов.

— Э нет, так не бывает! Вот представь, ребенок берет лопаточку и идет к песочнице. Зачем? Копать. Так это ребенок, а ты курсант, выпускник, почти командир. Не может у тебя быть такого — «не думал». Думал! А теперь признавайся, зачем ты вел пропаганду, оскорбляющую вождя народов?

Ромашкин понимал: удавка затягивается все туже, и, самое обидное, не мог ничем возразить логике следователя. Он прав, не мог Ромашкин жить и поступать бездумно.

— Хорошо, гражданин следователь, я признаю, говорил такие слова о Сталине. Но политического, антисоветского умысла у меня не было. За слова готов отвечать, виноват.

— Ишь, как у тебя все просто — «поговорил, виноват», и делу конец. Нет, милый мой, сомнения, которые ты вызывал у людей, оставались в их памяти. Порождали неуверенность. А может быть, те, кто тебя *слушал,* делились своими сомнениями с другими? Цепная реакция получается. А разве можно допустить утрату веры в наши советские идеалы среди будущих командиров? Среди тех, кто эти идеалы должен защищать с оружием в руках? Вот поэтому мы тебя, Ромашкин, и арестовали, что нельзя допустить такую

разлагающую антисоветскую пропаганду в армии.

Ромашкин был подавлен и раздавлен этими словами Иосифова, но тихо и настойчиво повторял:

— Не было у меня таких намерений. Не было. Что хотите со мной делайте. Не вел я антисоветской агитации. Просто говорил, без злого умысла.

— Опять отпираешься. Может быть, тебе про ребенка с лопаточкой напомнить? Не юли, признай свою вину, и оформим протокол.

Ромашкин только сейчас обратил внимание: на всех предыдущих допросах следователь не оформлял протоколы. Вел вроде бы простой предварительный разговор. «Готовил меня. Ждал, пока созрею. Когда одиночка, неизвестность доведут меня до состояния необходимой ему сговорчивости, чтобы признал свою вину, подписал протокол, и дело завершено. Он меня и в одиночке держал, чтобы другие, более опытные арестованные не научили, как вести себя на допросах».

А следователь, будто читая его мысли, тут же опровергал предположения Ромашкина, проявляя ещё большую доброту:

— Ладно, поверю тебе. Ты сам не мог прийти к таким широкомасштабным сомнениям. Значит, кто-то навел тебя, натолкнул на эти мысли. Ты редактору газеты, полковому комиссару Фёдорову эти или похожие стихи читал? Что он сказал о них? Каково его мнение?

Ромашкин старался припомнить свои беседы с редактором, но на политические темы он никогда не говорил.

— Фёдорову читал стихи по его просьбе, не только те, которые печатал, но и другие.

— Вот видишь, — подхватил следователь, — были задушевные беседы. Ну, и что он говорил о Сталине?

— О Сталине ни разу не упоминал. Слушал мои стихи. Хвалил. Или подсказывал, где рифма слабая или я с ритма сбиваюсь.

Политрук стал строгим:

— С ритма у него ты, может быть, и сбивался, а у меня не собьешься. Иди и вспоминай, о чем с тобой говорил полковник Фёдоров. Ты его не выгораживай, тебе же легче будет. Ты курсант, с тебя спрос невелик, а он полковник, главный редактор газеты, у него масштабы не то что у тебя. Понял? Иди и думай. Думай хорошо, Ромашкин. Твоя судьба решается.

Думал, перебирал Василий не только прошлое, но и настоящее. Каждый вопрос следователя и свой ответ тщательно проанализировал. Получалось, Иосифов относится к нему доброжелательно. Даже облегчить вину хочет, намек на

полковника не случаен. «И действительно, что я для них? Нашли врага — курсанта, сцапали. Невелика заслуга».

И вдруг Ромашкина осенило:" Им же громкое дело надо создать. Я действительно мелочь, а вот если Фёдорова пристегнуть или ещё кого-нибудь, получится целый заговор. Честь и хвала Иосифову — такую вражескую группу разоблачил!"

Василий слышал об арестах по ночам ещё в Оренбурге, ходили разговоры о том, что забирают много невиновных. Не верилось тогда — как можно брать ни за что? В чем-то все же виноваты те, кто в НКВД попадает, зря не возьмут, не может быть такого.

И вот теперь Ромашкин сам угодил в такую же историю. Он понимал, что полностью невиновным себя считать не может: болтал, было дело, но о последствиях, о которых говорит следователь, не думал: «Разложение армии, зародить сомнение у командиров! Надо же такое придумать! А с другой стороны, следователь вроде бы прав. Это я не думал о таком разлагающем влиянии моих разговоров, но объективно Иосифов прав — разговорчики эти приносили вред».

Но, понимая теперь, что виноват, Ромашкин все же считал слишком суровым арест, сидение в этой страшной подземной тюрьме, что его болтовне придают такое большое политическое значение. «Вызвал бы наш политрук роты или на комсомольском собрании продраили, и никогда бы я больше не болтал, учел бы горькую науку. А теперь, наверное, будут судить. Сколько же мне дадут за такие разговорчики? Да, жизнь сломана. Не стал я командиром Красной Армии. А что сейчас дома происходит? Мама и папа, наверное, уже знают об аресте. Что они думают? Теряются в догадках — что я натворил? Как же выпутаться из этой истории? Следователь советует ослабить свою вину ссылкой на кого-то, кто натолкнул на критические суждения. Но, во-первых, Фёдоров на такие мысли меня не побуждал, очень умный, образованный журналист — помогал мне разобраться в технике писания стихов. Все разговоры с ним шли только о литературе».

На очередном допросе, несмотря на настойчивость Иосифова, Ромашкин отклонил его предположения и даже предложение сделать редактора причастным к антисоветским разговорам.

Тогда следователь поразил Ромашкина ещё более нелепым вопросом:

— А может быть, генерал Иванов тебя склонял на свою сторону в таких рассуждениях? Ты у него бывал. Он с тобой беседовал каждый раз не меньше часа. Что он говорил о недостатках в нашей армии, кого-то осуждал, наверное, кто-то ему не нравился?

Ромашкин с облегчением отвечал на это совсем фантастическое предположение:

— Ну что вы! Будет генерал со мной о политике разговаривать! С какой стати. Тем более что-то критическое высказывать. Вы же знаете, он в боях за советскую власть воевал, два боевых ордена получил. Он сам любого за какие-нибудь разговорчики против советской власти возьмет за шкирку.

Иосифов настаивал:

— Для маскировки враг может вести правильные разговоры и совершать хорошие поступки. Для маскировки! Ты все же припомни все детали ваших бесед. Может быть, ты сразу и не обратил внимания, а он на что-то намекал, тебя прощупывал? Я не случайно об этом говорю, у нас есть данные, что у генерала Иванова нездоровый душок проявляется. Иди. Вспоминай все тщательно, до самых тонких тонкостей.

И опять шли дни. Вспоминал Ромашкин то, чего не было. Мучился и страдал из-за гадкой неопределенности, из-за липкой паутины, которой обволакивал его следователь. Василий уже понимал: из этой истории ему не выпутаться. Он был готов понести наказание, но только за себя. От желания следователя сколотить группу он ускользал, не давал нужных Иосифову улик. Ромашкин поражался: оказывается, надо совсем немного, чтобы погубить человека. Вот сказал бы одну неосторожную фразу или по совету следователя решил бы отодвинуть себя на второй план, спрятаться за редактора или начальника училища; одна фраза — и они погибли бы! Даже не верилось — такие крупные личности — редактор окружной газеты, генерал, герой гражданской войны, — и какой-то энкаведешный политрук Иосифов ни за что может сломать их судьбу ради того, чтобы самому выдвинуться, показать свое служебное рвение, прибавить себе авторитета, а может быть, заслужить награду за разоблачение «крупной антисоветской организации».

А Иосифов между тем начинал нервничать. Время шло, а дело с созданием группы не продвигалось. Начальство уже не раз упрекало его в медлительности: «Пора, пора кончать с этим курсантиком, нечего с ним миндальничать. Насиделся, наверное, в одиночке. А будет упорствовать… ну, вы сами знаете, что делать…»

— Ну, что же, Ромашкин, будем, как говорится, подбивать бабки, — Иосифов положил на край стола бумаги. — Читай и подписывай последний протокол и будешь ждать заседания трибунала. Я надеюсь, дадут тебе немного, лет пять, учтут откровенное признание и желание помочь следствию. Иди сюда. Бери свой стул. Садись, читай.

Ромашкин читал ровные, четко написанные строки, у Иосифова был хороший почерк. Написано ясно, понятно, никаких завитушек. Но смысл написанного просто ошарашил Василия. Он не верил своим глазам. Протокол фиксировал не только то, что брал на себя Ромашкин, но и выводы следователя, высказанные в предварительных беседах, о том, что он «умышленно проводил антисоветскую агитацию с целью разложения командного состава армии».

Дальше было записано, что Ромашкин не подтвердил на допросах, будто генерал Иванов и полковой комиссар Фёдоров пробуждали в нем антисоветские настроения.

Ромашкин с изумлением вопросительно посмотрел на Иосифова, тот понял его:

— Подписывай, тебе же легче будет, меньший срок получишь.

Но Ромашкин понимал — это только начало ещё больших мучений. Фёдорова и Иванова арестуют. Начнутся очные ставки. Какими глазами он посмотрит на этих уважаемых людей, даже если не подтвердит вот этих ложных показаний.

Отодвинув бумаги, Ромашкин твердо сказал:

— Я этого не говорил и подписывать не буду.

Иосифов вскочил, глаза его стали свирепыми, он закричал:

— Ах ты, курва антисоветская! Я тебе хотел помочь, а ты упираешься! Подписывай!

— Не буду, — буркнул Василий.

И тут же Иосифов с размаху ударил его по лицу.

Ромашкин не успел сообразить, что произошло, боксерская реакция сработала мгновенно: на удар он тут же ответил хуком в челюсть, и следователь упал, опрокинув свой стул.

Иосифов лежал неподвижно. Точным ударом Ромашкин его нокаутировал.

«Что же я натворил! — растерянно думал Василий. — Теперь мне ещё попытку побега припишут».

Чтобы этого не произошло, сначала хотел позвонить по телефону, вызвать конвоира, но не знал номера телефона. Понимая, что в каждом военном учреждении должен быть дежурный, Ромашкин открыл дверь в коридор и стал громко звать:

— Дежурный! Дежурный!

Сначала появились работники из соседних комнат.

— В чем дело?

И тут же действительно по коридору прибежал дежурный с красной повязкой на рукаве.

— Со следователем что-то. Ему плохо, — сказал Ромашкин, показывая на ноги Иосифова, торчавшие из-за стола. Про себя

решил: «Не буду говорить о том, что случилось, он погорячился, а я машинально ответил. Уладим сами этот инцидент».

Ромашкина отвели в бокс, их было несколько в этом здании. Ряд железных дверей, за которыми бетонный мешок метр на метр, здесь арестованных содержали, если случался перерыв в допросе или по каким-то другим надобностям.

Пришли за Ромашкиным минут через тридцать. Его отвели в комнату Иосифова. Он стоял за своим столом, бледный, с хищным выражением лица.

На принесенных в комнату дополнительных стульях сидели ещё трое — двое в форме, третий в гражданском.

Василий понял, что затевается. Решил: «Если будут бить — отвечу! Этих троих без особых хлопот уложу!»

Иосифов показал на бумаги:

— Будешь подписывать?

— Нет, — твердо ответил Ромашкин и, поскольку терять уже было нечего, добавил: — Ты это сочинил, ты и подписывай!

— Ах ты, ублюдок! Читай. Там кое-что поправил.

Когда Ромашкин склонился над протоколом, его ударили чем-то тяжелым по затылку. Энкаведешники правильно предположили: им и втроем не справиться с чемпионом округа.

Ромашкин упал, и его принялись месить сапогами, пинали, били каблуками в грудь. Иногда от очень резкого удара по почкам у Василия лиловыми проблесками мелькала перед глазами комната и суетящиеся вокруг него следователи.

Потом он ничего не помнил. Очнулся от холода в тюремной бане. Холодные струи текли на него сверху. Он лежал в одежде, которая пропиталась водой. Бил мелкий озноб. Василий попытался отстраниться от холодных струй, но резкая боль во всем теле опять затуманила сознание. Придя в себя, он ещё раз попробовал избавиться от льющейся сверху ледяной воды; перевернулся со спины на живот, потом с живота на спину. Отдышался, пересиливая боль. Увидел снег за выбитым стеклом небольшого окна под потолком. «Замерзну. Неужели так просто умру? Ах, сволочи, как легко и безнаказанно убивают человека. Спишут как попытку к побегу или сердечный приступ. Даже Ривера после тяжелого боя со зверем Денни не был таким мешком с костями, как я. Наверное, никого ещё так на ринге не разделывали».

Ромашкин осмотрелся, увидел батарею парового отопления — пыльная, с облупившейся краской, она была неподалеку. «Отопление в тюрьме общее, наверное, она теплая», — подумал Василий и, превозмогая боль, пополз к батарее. Она действительно была теплой. Василий прижался к ней сначала

спиной, потом животом. Таким образом стал отогреваться.

Лязгнул запор, и в баню вошли двое охранников. Один из них, увидев Василия прижавшимся к батарее, воскликнул:

— Смотри, что придумал, гад! Подошел, спросил:

— Ну, сам пойдешь или помочь?

— Сам, — ответил Ромашкин и попытался подняться, но резкая боль словно током ударила изнутри, и он потерял сознание. Приходя в себя, ощутил, что его волокут за ноги вниз, в подземелье, и он стукается затылком о ступени лестницы.

Он узнал дверь своей одиночки: «Вот я и дома, слава Богу, хоть отлежусь».

Через раскрытую дверь охранники швырнули его на бетонный пол камеры.

Даже койку не опустили. Ромашкин прикидывал, сможет ли сделать это сам. С большим трудом, порой теряя сознание от боли, он отстегнул полку. Но как только Василии лег и вздохнул с облегчением, раскрылось окошечко в двери, и коридорный сказал:

— Встать. Днем койка должна быть убрана.

— Я не могу двигаться, — ответил Василий.

— Поможем, — сказал охранник, открыл дверь, сбросил Василия на пол и пристегнул полку к стене.

Вечером полка откинулась от стены, отшвырнув Василия к параше. Он отдышался и все же заполз на свое строптивое ложе.

На очередной встрече Иосифов коротко сказал:

— Или подпишешь, или сдохнешь.

Ромашкин ответил также коротко и решительно:

— О том, что я говорил, — подпишу. На Фёдорова и генерала клеветать не буду. Сдохну, но не подпишу.

Большие неприятности имел Иосифов из-за Ромашкина. Не за то, что избивал его: это было здесь обычным делом. Не справился с пацаном, не сломал его, не выбил показания, так необходимые для создания громкого дела.

Василий, после ещё нескольких допросов «с пристрастием» , так и не подписал поклепы на других.

Больше полугода провозился следователь со строптивым курсантиком, заговор создать не удалось.

После завершения следствия Ромашкина перевели в общую камеру. Она находилась в этой же тюрьме, здесь ждали суда шестеро арестованных. Камера небольшая, вдоль стены общие нары, на них лежат ветхие серые матрацы. Обитатели камеры сидели на нарах, опустив ноги в проход. Все они были небритые, худые и бледные. По возрасту старше Ромашкина, по одежде — гражданские.

Ромашкину указалина свободный тюфяк.

— Располагайся. Рассказывай, кто ты, за что сюда угодил.

Василий коротко поведал свою недолгую жизнь и в чем его обвиняют.

Сначала все сокамерники показались одинаковыми, потом он стал их различать по цвету щетины: у одного жесткая, седая, торчит как патефонные иголки, у другого — рыжая, густая, третий — тоже пожилой, борода с белым алюминиевым отливом.

Утомленный разговорами с новыми знакомыми и довольно долгим рассказом о себе, лег на нары: в общей камере не запрещалось спать днем.

То ли он спал недолго, то ли ещё не успел глубоко погрузиться в сон, в общем, был в состоянии мягкого теплого погружения, когда вдруг услыхал негромкий разговор о себе. Сон отлетел, Василий, не открывая глаз, прислушался.

— Жалко парня, совсем молоденький и, видно, толковый. Да и собой хорош, — говорил пожилой, в серебряной щетине. Ему вторил рыжий:

— Да, вышка ему светит неотвратимо.

— А может быть, найдут чего-нибудь смягчающее?

— Кто? Трибунал найдет! От нас сколько на гражданский суд ушло из этой камеры? И половина получила вышку! За треп! Разговорчики, пропаганду вел! А этот где пропаганду вел? В армии, разлагал вооруженные силы. Нет, вышка ему точно светит.

Собеседник, которому явно было жаль Василия, искал смягчающие обстоятельства — молодой, по сути дела рядовой, болтал в узком кругу друзей. Но, помолчав, и сам неожиданно пришел к выводу:

— Ты прав — расстреляют. Трибунал даже в мирное время не пощадит, к стенке поставит. Тем более за разложение армии.

Василий слушал этот разговор сначала спокойно, будто говорили не о нем, но когда соседи замолкли и смысл их слов дошел наконец до сознания, стало не по себе — сначала жарко, потом холод сдавил сердце, стало трудно дышать. Василию нечем было даже мысленно возразить тому, что он услышал, все правильно и объективно оценили соседи: и беспощадность трибунала, и особую его строгость, и, главное, тяжесть преступления — разложение армии! Да, расстрел неотвратим.

Как неожиданно все перевернулось — недавно примерял командирскую форму, которую шили выпускникам училища, любовался на себя в зеркало, мечтал о работе в войсках, о радости, которую принесет родителям. И вдруг все рухнуло! Оказалось, от счастья до расстрела — один шаг!

Как перенесут и вынесут такую весть мама и папа? Ну, отец

— мужчина — перестрадает, а мать едва ли… Василий почувствовал, как слезы потекли по щекам. Он натянул одеяло на голову, чтобы никто не видел, что он плачет. За время пребывания в тюрьме Василий плакал первый раз, даже когда избивали, не расслаблялся, а вот теперь, перед расстрелом, не выдержал: жалко было не себя, а маму…

Заседание Военного трибунала Среднеазиатского военного округа проходило в большом пустом зале. Трое судей сидели за массивным столом, их лица показались Василию такими же каменными, как бюст Сталина, который возвышался за их спинами.

В пустом зале слова обвинителя и судей рикошетили от высоких стен и били по Ромашкину, как жесткие хлысты. Он стоял одинокий в этой величественной, государственной судебной махине и в последнем слове, понимая свою полную обреченность, кратко сказал:

— Я признаю, говорил то, в чем меня обвиняют, но делал это не умышленно, просто так, как в обычном разговоре.

Василий даже не просил снисхождения или учесть какие-то смягчающие его вину обстоятельства, махнул безнадежно рукой и сел на скамью.

После недолгого совещания в соседней комнате судья, все также строго и холодно, отчеканил слова, которые отскакивали от стен пустого зала. Перечислив ещё раз всю вину и указав наказание, положенное по статье 5810 за эти деяния, судья произнес роковые слова:

— Высшая мера — расстрел.

Ромашкин отнесся к приговору спокойно, потому что заранее был готов к этому и понимал, что иного быть не могло. Но судья, сделав паузу, продолжил:

— Но, учитывая… — дальше он перечислял, что именно учитывалось, но Ромашкин не понимал его слов, не улавливал их смысла, в голове все закружилось, заметалось, и в этом вихре выплескивалось только одно — жив! Оставили жить!

Расстрел заменили на десять лет, но это уже прозвучало как благо!

После суда Ромашкина отправили в городскую тюрьму. Затем последовала пересылочная тюрьма, здесь тысячи осужденных были заперты в длинных, как скотные хлева, бараках и ожидали формирования эшелонов.

Эшелон, в который попал Ромашкин, был составлен из многих красных товарных вагонов с нарами и зарешеченными оконцами. Две недели тащился эшелон по неведомым для Василия просторам. Мелькали названия станций и городов, о

которых он никогда не слышал. Грохотали тяжелые эшелоны с танками, пушками — все на запад. А Ромашкина везли на восток, через Сибирь. Кормили в пути: пайка хлеба — четыреста граммов (как неработающим) и два ведра на вагон пареной брюквы или кормовой белой свеклы. Воды тоже в обрез, не потому, что её не хватало: охранники ленились таскать много ведер.

На разъездах били по стенам вагонов огромными деревянными молотками-колотушками: проверяли — не подпилены ли доски изнутри, не готовятся ли к побегу?

Эшелон разгрузили на глухой конечной станции, где, как пели зеки, «рельсы кончились и шпалов нет». Собственно, и станции не было, раздвоенные пути упирались в насыпные бугры. И все — дальше конец цивилизации. Дальше — тайга.

Сибирь встретила холодом, глубоким снегом, дремучей, угрюмой тайгой. От этой удручающей картины Василий, спрыгнув из вагона, замерз не сразу всем телом, а сначала почувствовал, как сжалось и похолодело в нем сердце.

В зоне, за колючей проволокой, занесенные сверху и снизу снегом, стояли рядами приземистые бараки. Только ряды окошек выглядывали из сугробов, будто рассматривали вновь прибывших.

После первой ночи в не очень теплом бараке, на голых нарах разбудили звонкие на морозе удары железкой по обрубку рельса. Это означало подъем. Быстро все куда-то побежали, и Ромашкин за ними в общем людском потоке. Оказалось, спешили занять очередь к окошкам, где выдается баланда. Здесь же бригадиры раздавали пайки хлеба. Пока подойдет очередь до черпака баланды, многие успевали умять пайку.

После завтрака построение бригад около вахты для выхода на работу. А там — лесоповал. Что значит валить лес на пятидесятиградусном морозе с рассвета дотемна — месяцами, годами… описать невозможно. Скажем коротко: для многих это кончается печально — мороз, голод, непосильная работа превращают человека в то существо, которое очень точно называют сами зеки — доходяга.

Дорога в бандиты

Вторая зима для Ромашкина могла стать последней. У него начиналась цинга. Много ли мы знаем об этой болезни? Обычно считают: при цинге выпадают зубы. Это не совсем так. Начинают гнить десны, отчего во рту появляется сладковатый привкус. Чем пахнут гниющие раны, известно, — вот такой запах идет изо рта. Зубы расшатываются, могут выпадать сами собой, дряблые десны их не держат. И ещё . По телу пойдут коричневатые пятна.

Ходит человек ещё живой, но признаки трупа на нем уже появились. Валит его усталость, апатия. В конце концов больной становится мертвым, настоящим трупом. Обычно это случается ночью — заснёт зек, и все — цинга его приласкает, избавит от страданий. Утром, по команде «Подъем!», все пойдут на построение, а те, кого приютила цинга, останутся лежать на нарах. Выволокут их к двери, а там стоят сани-розвальни с запряженной в них покрытой инеем лошадкой. Процедура эта обычная, годами отработанная. Всех, кто не поднялся с нар и не подает признаков жизни, погрузят на эти сани, и побредет лошадка на вахту, к проходной. А там бригады после подсчета выходят из зоны для следования на работу.

У нарядчика на фанерке записано в соответствующие графы, сколько выходит на работу, сколько придурков (обслуги разной) остается в зоне. А сколько не хватает до общей численности лагпункта на сегодня, должно лежать на этих санях. Когда все цифры сойдутся, бригады под конвоем пошагают к месту работы. А сани с покойниками заскрипят на кладбище. Не на общее, а на лагерное. Там специально выделенная похоронная команда целый день долбит промерзшую землю, заготавливая могилы впрок. Работа в этой команде считается легкой, потому что большую часть дня зеки сидят у костра. Продолбят ломами и кирками жесткую, как бетон, мерзлоту — и к огоньку греться. Главное, мерзлоту пробить — она с полметра, а дальше земля мягче пойдет и работа полегче. Углубляют могилу посменно три — четыре человека. В яме не развернешься. Остальные у костра греются. В общем, блатная работа, не лесоповал… Поэтому никто не хочет потерять такое теплое место. Стараются ладить с конвоем и с доктором. Друг другу поблажки дают. Конвой не требует от зеков, чтобы рыли могилы на положенную глубину. А зеки избавляют конвой и доктора от лишних хлопот. Доктор должен на бумаге зафиксировать факт смерти. Не будет же он холодные трупы брать за руки и пульс прощупывать или на колени вставать и трубку прикладывать: не трепыхнется ли ещё

сердце в тощей костлявой груди доходяги?

Доктора избавляет от этой неприятной процедуры какой-нибудь услужливый похоронщик. Он идет с доктором вдоль выложенных в ряд покойников (специально для доктора и учетчика их в такой лежачий строй выкладывают). Учетчик определяет номер умершего и уточняет его фамилию. Доктор заносит в протокол. А факт смерти фиксирует ломом зек, сопровождающий доктора. Ломом он после легкого взмаха ударяет в грудь трупа, и какие ещё нужны после этого подтверждения смерти? Не надо ни пульс искать, ни трубочку к груди прикладывать. Доктору, конвоиру и учетчику эта процедура удобна: никаких сомнений в факте смерти не может быть. Лом с легким хрустом прошибает грудь покойника до самой земли.

Говорят, бывали случаи — замахнется «фиксатор» ломом, а труп глаза раскрывал, просто доходяга в беспамятстве был, когда его волокли в сани и везли сюда, на кладбище. Ну что с ним делать? Назад везти? Это же сколько мороки! На вахте уже зафиксировали: столько-то живых на работу ушло, столько-то мертвых на кладбище вывезено. А теперь что же получится: один или два покойника назад в зону вернулись. Это что же за порядки на лагпункте — живого от мертвого отличить не могут? И не было ли под видом таких покойников беглецов? Нет, такие сомнения и подозрения начальство не устраивают… И лом на замахе не замирает. Раскрывшихся глаз не замечает ни доктор, ни учетчик. Почти неслышно хрустнет грудная клетка, и лом ударит о землю. И факт смерти, как говорится, налицо. А совесть у всех чиста — документ оформлен, цифры в лагерной канцелярии сойдутся. Ну а насчет того, что вроде бы труп открыл глаза, никто не знает. А если и знает, кого это колышет? Подумаешь, ещё один доходяга Богу душу отдал, обычное дело. Сколько их и до, и после этого в землю полегло! Может быть, для него же лучше сделали, избавили от мучений — днем раньше, днем позже…

Печальная такая участь ожидала и Ромашкина. От его былой боксерской прочности почти ничего не осталось. Следователи помесили его сапогами основательно. Почки, да и другие органы внутри побаливали. В общем, потихоньку доходил Ромашкин.

Резко переменил существование Василия его величество случай.

Все началось с того, что Ромашкин спас жизнь Серому. Тому Серому, который держал в руках весь лагерь, пожалуй, крепче охраны, он мог одним словом решить судьбу любого зека. Он был пахан. Провинившихся или по какому-то поводу не угодных убивал не сам. А покуривая самокрутку из махорки в окружении своих приближенных, мог сказать: «Надо убрать такого-то». И

этого достаточно. Кто «замочит» приговоренного, неважно. Обычно никто не знал исполнителя. Догадывались. Но никогда о своей догадке не говорили. Мокрое дело нешуточное, за такое вышку дают. Догадливого, если он не свой, тоже могли убрать. Серый, конечно, знал, кто замочил, и отмечал его преданность какими-то привилегиями.

Василий был далек от шайки приближенных к Серому. До этого случая пахан, наверное, не знал о его существовании. Василий — простой работяга, или, как их звали блатные, баклан. Да ещё и статья у него — политическая.

В тот день зеки пришли с работы, как всегда, усталые, злые. Лесоповал от темна до темна на морозе. В бараке после черпака баланды повалились на нары, не снимая телогреек и обувки. Постели не испачкаешь: ни матрасов, ни одеял нет, спали на голых досках,

Нары двухъярусные. Место Ромашкина на верхнем этаже, там теплее.

Внизу, в проходе между нарами, стоял железный бак с кружкой, прикрепленной к бачку цепью. В баке хвойный настой. Обычные сосновые и еловые веточки, залитые кипятком. В лагере гуляла цинга. Чтобы как-то унять ее, делали этот хвойный настой: терпкий, горький, пахнущий дегтем. Противное пойло, не все его пили. Ромашкин пил. Цинга поселилась в нем уже довольно прочно.

Хлебнув целительного пойла, Ромашкин забрался на второй ярус нар, снял бушлат. Под бушлатом у него ещё телогрейка. Снял и ее. Обычно телогрейку стелил на нары, а бушлатом накрывался. Тело, задубевшее за долгий день на морозе, расслабилось, охватывала теплая истома. Горячая баланда, которую проглотил по возвращении в зону, грела изнутри и опьяняла, разливая слабость по всему телу.

Наверное, и в этот вечер он мгновенно заснул бы, как это бывало прежде. Но вдруг у бачка с хвойным настоем произошел скандал. Василию сверху хорошо было видно все, что происходило внизу. Двое узбеков (Василий знал их как обитателей своего барака) пили настой хвои. Вернее, один — пожилой — пил, а другой, моложе, усатый, ждал, когда он передаст ему кружку. В это время вошел в барак и подошел хлебнуть хвои Волков. Здоровый, грудастый, плечистый, с перебитым носом, жесткие волосы с обильной сединой, красное с мороза лицо. Глядя на его перебитый нос и несколько шрамов, любой мог безошибочно определить — уголовник. А кличку Серый, как узнал позднее Ромашкин, ему дали не по его фамилии — Волков, фамилий у него было немало. Волков — по последней

судимости. Кличка эта с ним шла из молодости. Его так прозвали за не очень большую сообразительность, мозги у него негибкие были — грабил без какой-либо изобретательности, нахрапом. Одним словом, был серый по способностям. Так его определили старые воры того времени. Но с годами накопились судимости, рос авторитет. И вот теперь он вор в законе — пахан на весь этот лагпункт. Он, конечно же, не мог ждать, пока будут распивать настои какие-то узбеки.

— Ну, хватит, — коротко сказал Серый и выхватил кружку из рук пожилого узбека, облив его при этом выплеснувшимися остатками настоя.

Пахан склонился к крану, чтобы нацедить отвар, а в этот миг пожилой узбек выхватил из-за голенища нож и ударил этим ножом обидчика почему-то по голове.

Никогда Василий не видел прежде, чтобы глаза сверкали натуральным огнем, как у того старика узбека. Он, видно, был очень вспыльчивый человек. От обиды просто потерял способность здраво мыслить и в крайнем остервенении стал бить ножом по голове Серого. А может быть, он бил по голове потому, что у склонившегося Серого именно голова как раз была под рукой.

Волков вскинулся, завопил:

— Ты что?!

А узбек все кидался на него, целился и бил ножом в голову. Серый пятился, отмахивался голыми руками. Раз он ухватил нож за лезвие. А узбек, рванув нож, располосовал ладонь Серого. Кровь лилась из ран на голове, брызгала из почти развалившейся пополам кисти. А узбек замахнулся ножом для очередного удара, и кто знает, куда бы на этот раз он засадил свой нож.

Вот тут Василий и прыгнул сверху на того узбека. Вид хлещущей крови, сверкающий нож, явно гибнущий человек — все это бросило его с нар на руку с занесенным ножом. Он не успел ни о чем подумать. Схватил на лету руку узбека с ножом и вместе с ним рухнул на пол. Рука старика была сухонькая, но крепкая. Ромашкин вывернул ее, и нож выскользнул на пол. Кто-то подхватил и спрятал его. Серый, облитый кровью, стоял в полной растерянности. Его приближенные прижимали тряпки к ранам на голове, старались забинтовать поврежденную руку.

Наверное, кто-то крикнул от двери барака или сбегали на вахту и сообщили о драке. В барак влетели охранники. Они схватили старого узбека и его напарника. Серого не тронули. Он личность в зоне известная. Вохровцы удивленно смотрели на пахана. Уж очень все непонятно было! Если бы кто-то лежал окровавленный у ног Серого, это было бы в норме. А тут сам

высший авторитет в крови и в полной растерянности, такое понять трудно. Узбеков повели на вахту.

Позвали и Василия, как свидетеля. На вахте он оказался необходим и как переводчик. В годы учебы в Ташкенте он запомнил немало узбекских слов. Здесь, в лагере, иногда говорил с узбеками, вставляя слова из их родного языка. Они за это к нему относились по-доброму.

Пока шли на вахту, пожилой узбек шепнул:

— Не говори, что я его резал…

У Василия не было к нему неприязни. Ну, погорячился человек. Тем более, Серый сам виноват. Ромашкин даже зауважал этого узбека за то, что сумел за себя постоять.

На вахте старик говорил только на своем языке, заявив, что не знает по-русски. Василий понял его замысел и стал помогать выкрутиться. Переводил, добавляя по своему разумению то, что поможет старику.

— Он простой колхозник, Хасан Булатов, по-русски не говорит.

— Колхозник? А зачем нож при себе носил? Где его взял? Человека чуть не зарезал! За это срок добавят.

Ромашкин глядел в черные, теперь спокойные глаза узбека. Он все понимал, но делал вид, что ждет перевода. Василию и своему другу подсказывал по-узбекски:

— Говорите, что у меня не было ножа. И вообще, это не я дрался. Меня случайно замели.

Напарник старика, широколицый усатый здоровяк, забасил:

— Я видел: он не дрался. Он другой, я видел. Я свидетель, он другой.

— А кто ножом бил? Вон кровь на нем…

Усатый продолжал:

— Ой, начальник, там все в крови. Много крови было. Тот человек по бараку бегал, всех кровью пачкал.

Охранники спросили Ромашкина:

— А ты что скажешь — он или не он?

Василий, изображая на лице полную преданность и честность, заявил:

— Нет, это не он. По-моему, те двое вообще не из нашего барака. Поэтому Волков и хотел их прогнать. Чужие те были.

— Так зачем мы этих привели? — Охранники переглядывались.

— Я не знаю. Вы заскочили и взяли этих. Может, ближе стояли…

— Ну, ты не мудри! Если не эти, говори, какие другие?

— Я же сказал, чужие, не из нашего барака те были. Я их не

знаю.

Охранник, сидевший за столом, отложил лист, приготовленный для составления протокола.

— Кончай, Петро, у них разве чего-нибудь добьешься. Эти не те. Тех никто не знает. Концы в воду. Давайте ужинать, жрать охота. Гони их к… матери.

И, не дожидаясь согласия, крикнул:

— А ну, выметайтесь!

Когда шли к бараку, узбек сказал:

— Спасибо тебе, не заложил. Булатов добрые дела не забывает. Меня Хасан зовут. А его Дадахан. Он басмач. А я старый вор. Меня ещё при царе к виселице приговорили. Но я убежал в Турцию. — Старик расстегнул телогрейку и рубаху, открыл грудь, и Василий увидел красивую татуировку: изогнутые арабские буквы, с точками и завитушками над ними. — Это из Корана. Аллах меня хранит долгие годы от пули, виселицы и болезней.

Сказанное было для Ромашкина очень неожиданным. Он принимал старика за сельского жителя из далекого кишлака, и вдруг он старый вор. Как же теперь Серый с ним встретится?

Убить этого Хасана просто так нельзя, по лагерным понятиям он «вор в законе». Воровская компания должна «качать права» и решить, как поступить. Но Серый может отказать в законе какому-то лашпеку, так его покалечившему. Все зависит от степени обиды Серого. Но после того, как его публично полосовали ножом и все видели его растерянность, Василий полагал, Серый не простит. Судьба старика, наверное, уже решена.

В бараке Ромашкина сразу позвали в угол, где было место Серого. У него на нарах матрас, стеганое одеяло и подушка в наволочке.

Серый сидел с забинтованной головой. Кисть руки, все ещё кровоточащая, обмотана разорванной простыней. Он поддерживал и прижимал руку к груди как запеленутого ребенка. Вид у него впервые был не атаманский.

— Ну, что там? — коротко спросил Серый, имея в виду разговор на вахте.

— Поговорили и отпустили. Этот отмазался. Доказал, что не он тебя резал, — ответил Василий. Серый зло спросил Ромашкина:

— Ну а ты чего же? Ты же все видел.

Василий не новичок в лагерной жизни, закон в таком случае на его стороне, поэтому, не опасаясь за последствия, ответил:

— Я не стукач. Если человек говорит, что не он тебя резал, я что же, буду его закладывать?

Серый помолчал, подумал и рассудил:

— Ты прав. Обиды не имею. И вообще, ты, может быть, мне жизнь спас. Кто знает, куда бы ещё он мне свое перо засадил. Садись, потолкуем. Ты кто? По какой статье паришься? Какой срок имеешь?

Ромашкин сел с ним рядом. Несколько парней из постоянного окружения пахана сели: кто на полу у его ног, кто на нары.

Василий стал рассказывать, соображая, как же подать этой компании свою жизнь. Каждый может рассказать свою биографию в зависимости от обстоятельств и того, кто слушает. Человеку обычно хочется произвести благоприятное впечатление. Того же хотелось и Ромашкину. Тем более от этой блатной компании зависело многое, а срок у Василия большой.

— Зовут меня Василий Ромашкин. До судимости жил в Ташкенте…

— Город хлебный. Теплые края. Эх, бывали мы там на воле! — вставил Борька Хруст, конопатый, щупленький, волосы с рыжинкой.

Фамилии его Ромашкин не знал, а кличку — Хруст — слышал. Даже размышлял, почему его так прозвали. Думал, что кличка эта связана с хрустом денег (рубль на жаргоне «хруст»). Предположение совпало. Борька не только рублями хрустел, но и чеками, и всякими денежными бумагами. В облигациях, например, номера подделывал на выигрышные. На крупные выигрыши не зарился, знал, такие облигации посылают на экспертизу. Он и по небольшим выигрышам, которые выдают без экспертизы, набирал немало денег.

Кличку воры сами себе не придумывают. Кличку дают их друзья. Порой она может звучать даже обидно, однако прозвище прилипает на всю жизнь. Фамилий у вора может быть несколько. Обычно сколько судимостей, столько и фамилий. Каждый раз, попадая в тюрьму, вор называет новую фамилию, чтобы не нашли старые дела и они не обременили бы его положение при новой судимости. Кличка рождается по какому-нибудь самому неожиданному поводу. Словцо сказал не к месту, или, наоборот, очень к месту, и прилепил его сам себе навсегда. Был в зоне вор по кличке Е-мое. У него чуть не в каждой фразе была эта присказка «Е-мое». Вот и стал он известен среди воров как Витька-е-мое. Или вот Гаврила, который сидел рядом при разговоре в компании Серого. Ему подошла бы кличка Горилла, он похож на нее. Позднее Василий узнал его кличку — Боров. А прозвали его так явно за внешность: он действительно похож больше, чем на обезьяну, на это хрюкающее животное — тело без шеи, голова лежит на жирных круглых плечах. Короткие, как

клешни, руки и ноги. Волосы топорщатся, похожие на щетину. Глаза заплыли жиром — вылитый боров.

Не нравилась Гавриле кличка, обижался, когда слышал, что его Боровом называют. Но ничего не поделаешь — прилипло навсегда.

Попадая при очередной посадке в какой-нибудь далекий лагерь, при знакомстве с местной компанией блатных сам предъявлял эту кличку как удостоверение личности: «Я Гаврила». — «Какой Гаврила?» — «Боров». — «А… слыхали». И порядок. И действительно, слыхали. Дела и клички воров как своеобразные удостоверения личности живут среди блатного мира и разносятся по беспроволочному телефону. В дни долгих отсидок в камерах и лагерях времени много, можно вспомнить и рассказать тысячи историй. Причем рассказы эти, как характеристики, порой идут впереди вора. Привезут его на какой-то людьми и Богом забытый лагпункт, только представился, кто он есть и как зовется, а там уже его встречают как своего, доброжелательными возгласами: «Привет, Хруст или Боров, подгребай к нашему шалашу». Как говорится, «свой свояка видит издалека».

У Василия клички не было, потому что не уголовник. Судился по не уважаемой среди блатных политической статье «за антисоветскую пропаганду и агитацию».

Как об этом рассказать Серому и его компании? Но и врать нельзя, все равно узнают правду, и тогда будет хуже.

Но этот вечер слагался из счастливых для Василия случайностей. Продолжались они и во время разговора в блатной компании. Как опытный уже лагерный житель, Василий неплохо «ботал по фене», то есть знал блатной жаргон. Поэтому, рассказывая о себе, старался применять слова, близкие тем, кто его слушает. Коротко свою жизнь пересказал, но оттягивал момент, когда надо признаться, по какой статье судился, понимал, тут к нему всякий интерес и симпатия поблекнут. Однако никуда не денешься, они ждут, и наконец он сказал:

— Осужден я по 66 статье, часть первая, получил червонец.

— Срок солидный, — сказал Борька-Хруст. — А об чем эта статья?

Василий не успел ответить, Гаврила-Боров, желая, наверное, показать свою образованность, вдруг выпалил:

— Конокрад! Точно! С нами такой же сидел. Коня увел — у него тоже шестьдесят шестая была…

Василий не врал: 66 статья Уголовного кодекса Узбекской ССР соответствует 58-й по кодексу РСФСР, а пункт первый пункту десятому. Что и там, и там соответствует проведению агитации в

одиночку, а не в группе, не в заговоре.

Когда Боров определил Василия в конокрады, он опровергать не стал.

А тут ещё сам Серый подковырнул:

— Лошадник!

Воры заржали.

— А что значит часть первая? — спросил Хруст.

Василий воспользовался их настроением и ответил шуткой:

— Халатность, — кобылу украл, а жеребенка оставил. Он матку стал искать и привел легавых туда, где кобыла спрятана.

Громкий хохот был явным одобрением.

— Ну, ты даешь! Правильно тебе влепили за халатность! Соображать надо — жеребенок обязательно мать найдет. И мусора, падлы, тоже сообразили жеребенка выпустить!

Василий, учитывая, что когда-нибудь выяснится его военное прошлое, скрывать не стал, рассказал, что учился в военном училище, чуть-чуть не стал лейтенантом. Он не подозревал, что этим определил себе кличку и стал с этого вечера Васька-лейтенант. Ну и как конокрада, хоть и не чистой породы вор, но все же вор, тоже приблизили к своей компании. Многое, конечно, зависело от Серого. Он Василия зауважал не только за то, что жизнь спас, но ещё и за смелость. Он прямо об этом сказал:

— Лейтенант не сдрейфил, на нож кинулся, а вы, падлы, ни один не помог.

— Да мы при этом не были, — огрызнулся Егорка-Шкет. — Я бы того чучмека пришил не моргнув. — Егорке за тридцать, но ростом мал, поэтому и кличка — Шкет.

— Пришил, — передразнил Серый. — А чего будем с тем чучмеком делать? Лейтенант, ты говоришь, вроде бы старик из ворья?

— Он мне так сказал. ещё до революции, говорит, к повешению присуждали. У него на груди наколка, слова из Корана. Говорит, в Турции сделал.

— Вор забугорного класса, — задумчиво сказал Гена-Тихушник. Этот Гена был очень своеобразный тип: внешность его ничем не приметная, в лице ни одной запоминающейся черточки, он как тень. И говорит как-то приглушенно, слова у него тихие, неживые. При очередном аресте эту свою особенность он применил к фамилии (сам рассказывал). Когда взяли, терять нечего, вот он и дурачился. Дежурный по отделению милиции состав—

голоса не прибавил и также тихо прошелестел: «А у меня, гражданин начальник, фамилия такая — Шушукин». Так и прошел в последней судимости с такой фамилией.

Но кличку свою Гена получил раньше. Он был опытный «скокарь», домушник, любил курочить квартиры в одиночку, по-тихому. Никто не знал, где поработал Гена: ни те, кого он обокрал, ни воры, с которыми он общался. Вот его и прозвали Тихушник. Он и телосложением был худенький, слабенький, нуждался в покровительстве, вот и притулился к сильному пахану Серому и был ему в лагере верным прислужником.

— Нехорошо получилось, — подвел итог Серый. — Придется извиняться. Я же не знал, что он вор.

На этом и разошлись. Василий лег на свое место на нарах в хорошем настроении. Думал: «У Серого нехорошо получилось, а у меня во всех отношениях ладно. Теперь мне Хасан Булатов и его узбекская компания будут приятелями. И Серый со своими урками тоже. И то, что я между ними какой-то полезный посредник, и те, и другие понимают, не говоря уже о том, что я помог избавиться и тем, и другим от „дела“, которое могли бы завести вохровцы. Хорош был бы вор в законе Серый, который подставил под новый срок старого вора узбека! Или, наоборот, старик-узбек пришил бы своим ножом вора в законе Серого. Очень вовремя я прыгнул с нар!»

В общем, не только этот вечер оказался для Ромашкина удачным. Вся его жизнь после этого случая стала поворачивать в новое, полезное для лагерника русло, но в то же время, как выяснилось позднее, русло, чреватое очень многими опасными для жизни событиями.

Продолжалась обычная лагерная жизнь с её однообразной тягомотиной: подъем, и бегом в столовую, к окошечку раздачи баланды, — черпак в котелке (у кого он есть), а у большинства — литровые железные банки от консервов. Похлебали баланду — и к вахте, на построение. Побригадный подсчет. Дорога в тайгу, враскачку, не торопясь. Холод пробирает до кишок. Только когда лесину валишь, разогреешься: пока подпилишь да свалишь сосну, пот по хребту потечет. А повалил — сучья отруби, тоже по глубокому снегу напрыгаешься. Ну, а потом у костра посидеть, отдышаться можно. И так весь день, весь месяц, весь год… А стемнело, пошагали в лагерь. Притопали — уже черно вокруг, только лампочки, окаймляющие зону, тусклыми шарами светят. Опять к окошечку в столовой. Баланды похлебал, пайку доел, если в течение дня удержал за пазухой. Редко такое бывает. Запах хлеба из-за пазухи опьяняет, не удержишься, доешь хлеб ещё в лесу. Ну, а в зоне поскорее спать, забыться. Ромашкин ложился с тайной мечтой, что приснится кто-нибудь из родных или близких. И снились иногда.

Так вот шли дни однообразной чередой, и оставалось их

отбывать до освобождения очень и очень много.

Иногда Серый приглашал Ромашкина в свой угол, здесь вечерами «романы» рассказывал Миша-Печеный. Он был по внешности полной противоположностью Серому. Если у пахана с его перебитым носом на физиономии было запечатлено его уголовное прошлое и настоящее, то Миша являл собой тип обаятельнейшего человека. У него мягкие, приятные черты лица, яркие, открытые собеседнику карие глаза. С первых слов он располагает к себе человека. Говорить он великий мастер! Слова у него льются свободно и привлекательно, смысл того, о чем он говорит, убедительный, он сам верит в свои аргументы и другого заставляет верить ему. Миша умело пользовался своим обаянием и красноречием — он мошенник высочайшей квалификации, продавал автомобили, дачи, дорогие дефицитные товары, которых у него не было. Клиенты верили ему безоглядно и вручали крупные суммы денег.

Было у Миши одно слабое место. Может быть, родители в чем-то были виноваты, а может, природа, зная его преступные наклонности, хотела насторожить тех, кто сталкивался с Мишей, такой редкой отметиной («Бог шельму метит»): у него были разного цвета уши: правое обычное, как у всех людей — белое, а левое — сморщенное, как печеное яблоко. Отсюда и кличка Печеный. Казалось бы, пустяковая отметина, но она приносила Мише крупные неприятности — её запоминали почти все обманутые «клиенты», а следователи по этой примете находили старые дела Миши. Человек не машина, новой запчастью ухо не заменишь, так вот и мучился Миша со своим печеным ухом.

У Миши была прекрасная память, он пересказывал почти дословно когда-то прочитанные книги. Василий слышал, как он рассказывал несколько вечеров подряд «Пещеру Лейхтвейса» о захватывающих похождениях разбойников. В свое время читал Ромашкин эту книгу на воле. А теперь поражался, как Миша излагал все подробно, с пейзажами, с переживаниями героев и авторскими ремарками.

Несколько раз приглашал Серый посмотреть игру в карты:

— Посиди с нами, поучись, может, пригодится.

Карты были самодельные. Их делают так: склеивают клейстером (протертый через ткань хлеб) ровно нарезанные бумажные листки, после просушки натирают чесноком, и становятся они скользкие, как атласные. Карточные знаки — буби, черви, пики, трефы — наносят через трафарет. Умельцы искусно вырезают трафареты для королей, дам и валетов. Краска, на все масти черная, делается из сажи: накоптят сажи от подожженной резины (кусок калоши) на дно миски, а потом сажу

смешивают с тем же хлебным клейстером, и получается как типографская краска. Бывали искусники — с помощью марганцовки делали цветные масти.

Играли азартно, с выкриками и стонами. Чаще в очко, стос или буру. Борька-Хруст, когда случался перебор или недобор очков, ломал и даже грыз до крови пальцы. У Борова разбухали на шее вены, казалось, при очередном проигрыше они лопнут и его кондрашка хватит. Егорка-Шкет сопровождал ставки шутками и прибаутками. Гена-Тихушник играл по-тихому, не горячился, редко проигрывал. Мишка-Печеный некоторое время не играл, сидел сбоку, болел. Болел мучительно, но в игру не вступал. Однажды он «заигрался» (то есть проиграл все до трусов), а партнер со странной кличкой Шуба, куражась, делал такие предложения: «Ставлю шкары (брюки) за пуговицу». А пуговицу, в случае проигрыша, Миша должен был пришить к голому телу. И проиграл Миша два ряда по три пуговицы. Кровь текла из-под иголок, больно было ужасно. Но не отдать карточный долг ещё страшнее, отвергнут от своего круга урки, превратишься в самого обычного доходягу.

Миша, матерясь и рыча, вытерпел, пока ему пришили к пузу проклятые пуговицы. После этого Миша дал зарок некоторое время не играть, боялся «заиграться». Но, наверное, наблюдать за чужой игрой и оставаться в стороне было для него не меньшим мучением.

Говорят, воры во время игры мухлюют. Василий такого не видел. Это очень опасно. Может, они с чужими жульничают, а со своими соблюдают все правила. Даже при подозрении в нечистой игре обиженный, да и обидчик хватаются за ножи, и кончается нечистая игра печально. И все же о некоторых (да и о том же Сером) ходил слушок, что он «передергивает» и при крупном банке у него часто к десятке туз приходит или наоборот. Может быть. Серому просто везло. А впрочем, кто его знает, во всяком случае, за все время, что его знал Василий, он ни разу не был в большом проигрыше. По мелочи бывало. Или день-другой не везло. Но, как правило, он «вантажи держал», то есть был удачлив. Кстати, Серый очень берег свой авторитет и порой вел себя как тонкий делец. Вот хотя бы после драки со стариком-вором. Инцидент надо было улаживать официальным извинением перед Хасаном. Но Серый не знал, как это будет выглядеть. Извинение должно быть принесено публично, на разборе, или, как ещё называют, на «токовище», когда «качают права». Пахан не знал, как поведет себя старый вор. Может не принять извинения и послать его грубым словом куда-нибудь очень далеко. Предвидя и такой оборот, Серый попросил Василия:

— Ты пойди, потолкуй со стариком, ты по-ихнему кумекаешь. Скажи, что я хочу извиниться. Примет мое извинение при всех ворах или нет?

Василий не знал тонкостей блатных законов и наивно спросил:

— А зачем тебе извиняться? Он же тебя ножом полосовал, а не ты его.

— Нет, лейтенант, я первый начал — кружку вырвал, оттолкнул его. Я виноват. Был бы простой лашпек, я бы его и за дверь вышвырнул, нет вопросов. А он старый вор, вор в законе, а я его обидел.

Василий побеседовал с Хасаном Булатовым, передал ему намерение пахана. Старик согласился не сразу. Почернело его лицо, видно вспомнил, как его Серый оскорблял. Спросил Дадахана:

— Как думаешь?

Тот пожал плечами, покрутил ус, ничего не ответил: не считал возможным давать совет мудрому Хасану. Старик был немногословен и величав:

— Скажи — приду.

Однако Ромашкин, как настоящий посол, добивался большей определенности: придет, но простит ли? Не выкинет ли какой оскорбительный номер. Все может быть. Поэтому уточнил:

— Ты примешь извинения? Помиришься?

Старик глянул на него искоса своим черным, как маслина, оком.

— Сказал, приду, значит, замиримся. Если бы не мирился, не пошел бы.

Дело было сделано. Василий все пересказал Серому. И в один из вечеров состоялся разбор. В другом бараке жил старый больной вор Яков по кличке Хромой. У него вместо одной ноги был протез, отсюда и кличка. Где он потерял ногу — неизвестно. Кроме этого дефекта, точила его ещё какая-то неизлечимая болезнь — то ли открытая форма туберкулеза, то ли скрытая форма сифилиса. Он почти всю жизнь прожил в тюрьмах и лагерях, болезнь была запущена. Был знаменит громкими делами, совершенными в давние времена. Он был полноценный и авторитетный вор в законе. Поэтому его и пригласили вести разбор.

Собрались воры со всего лагпункта. Обитателей барака выгнали — погуляйте часок. Зеки знали, что тут готовится, такое бывает нечасто. Возражать блатным никто не посмел. Все удалились покорно. Василия пригласили не как приблатненного, а как свидетеля, видевшего драку от начала до конца.

Воры расселись на нарах, спустив ноги в проход. Никто не шутил. Говорили негромко. Все усердно дымили самокрутками и папиросами. Яков солидно покашлял и сказал:

— Люди (так воры называют себя в отличие от бакланов)! Два вора в законе погорячились, и один другого обидел.

Очень точно и четко излагал Хромой суть дела: именно один другого обидел, а горячились оба.

— Что скажешь, Серый? — спросил Волкова Яков.

— Я виноват и прошу Хасана меня извинить.

Хасан не спешил с ответом. Оглядел всех присутствующих. Потом, как он это умел, значительно сбоку глянул на Серого и, не торопясь, сказал по-русски:

— Я против тебя зуб не имею.

Все длилось не больше пятнадцати минут. Василия ни о чем не спросили — не было необходимости. Дело было решено по-хорошему. Все были довольны: получили удовольствие от значительности происходящего и своего участия в разборке.

В феврале сорок первого года, после очередной игры в карты, уже поздно ночью, когда компания разбредалась по своим нарам, Серый сделал Василию знак остаться. Когда все удалились, Серый очень пристально посмотрел Ромашкину в глаза. Он умел так по-особенному пронзить взглядом, от которого человек просто цепенел.

— Скажу тебе, лейтенант, такое, за что головой отвечаешь.

Ромашкин сразу же хотел избавиться от такой опасности:

— Может быть, не надо…

— Надо, — прервал Серый решительно, — я все прикинул. Ты нам нужен. Устал я от лагерной жизни, пора на волю подаваться. Тюрьма для вора дом родной. На свободе всегда живешь в тревоге, вот-вот заметут. Даже спишь там неспокойно, что-то брякнет, вскакиваешь — брать пришли! А когда возьмут и дверь камеры захлопнется, вот тут и приходит покой. Я всегда отдыхаю в камере. Какое дело пришьют, какой срок дадут — для меня неважно. Лишь бы не вышака. А в лагере годик или сколько захочу покантуюсь, и опять на волю погулять, баб пощупать, водочки вдоволь попить, жратвы хорошей от пуза поесть, шмотки поносить настоящие, в бане с веником попариться, в постели чистой поспать. В общем, время пришло. Устал я здесь жить, на волю пойду. И ты, если хочешь, пойдем со мной. Я тебе верю, ты верный человек.

— Я не думал об этом. За побег срок добавят, — невпопад ответил Василий.

— А мы побежим так, что не поймают. Я все обмозговал. Долгие ночи лежал вот здесь в своем кутке и вычислял. И

получается — теперь мне надо уходить не в город, а в тайгу. Потому что это, видно, в последний раз. Накопилось у меня и судимостей, и делишек столько, что если завалюсь — вышак светит. Вот и решил я — подберем хорошую компанию и рванем в леса! Тайга, она укроет. На тысячи километров простор. Там, говорят, есть и по сей день поселения белогвардейцев и лихих в те годы отрядов, которые, спасаясь от красных, ушли в глухомань и живут там, промышляя охотой, рыбалкой, да и огороды разводят.

— Они ушли с оружием, патронами, было чем охотиться…

— Верно говоришь. И мы уйдем с оружием. — Он помолчал, понимая ответственность того, что доверит. — Будем вахту брать. Всю смену снимем — вот тебе и оружие. А те, что на вышках, не трекнутся, все по тихой сделаем.

Василий похолодел. Серый слов на ветер не бросает, если говорит, это не треп, дело решенное. Действительно, все обдумал и рассчитал. Но Ромашкину это ни с какой стороны не подходит.

Он не собирался заделываться профессиональным бандитом. Надеялся наладить жизнь после освобождения.

Серый будто читал его мысли, наверное, это было нетрудно по озабоченной физиономии собеседника.

— Ты не сомневайся, с нами не пропадешь. На гражданке тебе все равно жизни не будет. Срок отсидишь, уже немолодой выйдешь. Армия для тебя накрылась. А чего ты ещё , кроме службы, умеешь? Лошадей воровать? И то плохо — срок вот получил. А нам ты как военный нужен во как! — Он чиркнул себя ладонью по горлу. — В тайге, я же говорил, беляки могут встретиться, да и мы в тайге не наглухо засядем, будем выходить иногда, налеты делать: запасы на зиму надо будет заготовлять. В таких делах твоя военная голова очень пригодится. А парень ты с мозгой. Вот мы с корешами и решили тебя позвать в компанию.

Видя на лице Василия растерянность, Серый стал заманивать:

— Ты не думай, мы не станем жить как какие-нибудь староверы в скитах. По липовым ксивам даже на курорты ездить будем. В налетах баб хороших заберем с собой в тайгу, женами сделаем. А захочешь, целый гарем заведешь. Ха-ха! Слыхал про Стеньку Разина и про княжну поют: «И за борт её бросает в набежавшую волну!» В тайге ты вольный человек — как хочешь, так и поступаешь.

Загибал пахан. Василий уже знал лагерные законы. Разговоры о блатной романтике чепуха. В блатном мире строжайшая диктатура: всюду хозяин пахан — в бараке, в лагере, в тюрьме — везде свой владыка. И в тайге будет Серый помыкать как ему вздумается.

Понимал Василий и то, что говорит пахан, с одной стороны, предложение, а с другой — приговор. Если откажется, «замочат» как можно скорее. Доверить подготовку такого крупного побега, судьбу всей шайки и не знать, как человек распорядится тайной — тут двух мнений быть не может: надо, чтобы посвященный надежно замолчал, а среди воров для этого один верный способ — «замочить». Понимая опасность подозрения, все же Ромашкин сказал:

— Дай мне подумать…

— Думай, — согласился Серый, — но думай по-скорому, надо продукты в дорогу заготавливать. Первое время в тайге туго придется. Надо все при себе иметь. Ну, это моя забота. А ты думай побыстрее. — Он опять посмотрел своим леденящим взглядом, у Василия на затылке кожа похолодела и съежилась. Значительно сказал, будто прочитал все мысли: — Думать тебе, лейтенант, надо только в одну сторону — в нашу. Иначе, сам понимаешь…

Этим было сказано все. Даже в ближайшую ночь Василий мог заснуть и не проснуться.

Могло сложиться и удачно, как предполагал Серый: банда осела бы где-то в тайге и выходила бы «на дело» в далекий от этого места район, и жизнь такая хоть и недолго (все равно выследили бы), но все же некоторое время продлилась. В этом случае, как прикидывал Ромашкин, он избегал смерти здесь, в зоне, и появлялась возможность в будущем где-то ускользнуть из банды. А дальше что? Существовать на нелегальном положении? В каком качестве? Где достать фальшивые документы? На какие деньги? Воровать? Честно жить и зарабатывать по «липовым ксивам» долго не удастся. Разоблачат! А значит, ждет верный расстрел. Один раз заменили на десять лет. Теперь прибавится побег, бандитские дела, все старое припомнят.

В общем, как прикидывал Василий свое будущее, гибель подступала всюду, лишь с некоторой разницей во времени.

Когда встает вопрос о смерти — сейчас или потом, человек, вполне естественно, выбирает это «потом», даже если оно страшнее и мучительнее сегодняшней. И Василий тоже выбрал более позднюю смерть, тем более, что в том будущем маячили какие-то нерадостные, но все же варианты спасения. В общем, он решил идти по бандитской дороге. На следующее утро он сказал Серому: «Я согласен, пойду с тобой».

Началась обстоятельная подготовка к побегу. В том углу, где спал Серый, самое безопасное место, туда, кроме своих, никто не смел подходить — под нарами глухой ночью оторвали доски полового настила и затащили туда железный мусорный бачок

(чтобы мыши продукты не пожрали!). Бачки стояли у кухни для отходов. Один из них хорошенько вымыли и стали туда складывать все, что удавалось добыть на кухне или на складе. А там воров боялись, подкидывали на повседневное пропитание, даже не подозревая, что крупа, сухари, сахар, чай, махорка — все это для побега накапливается.

Охрану разоружить решили после обсуждения многих вариантов так.

— Устроим в бараке шухер мы сами, — излагал окончательный план Серый. — Как тогда, помнишь, лейтенант, когда меня резали? Охранники тогда втроем прибежали в барак разнимать. Вот и ты, лейтенант, побежишь на вахту, они тебя помнят, наверное, ещё с той драки, или вот Мишка Печеный побежит, у него морда как у ангелочка, сразу поверят, — на вахте скажете: ворье в бараке режется! Ну, коли режутся, они прибегут, может быть, даже с пушками. Тут мы их и уделаем. Если не вчистую, так оглушим и свяжем. Хотя за такое в случае неудачи все равно всем нам вышка светит. Учтите и действуйте бесповоротно. Назад ходу нет — только на свободу или к стенке!

Он помолчал, обвел всех спокойным, уверенным взглядом и продолжал:

— Стволы заберем. Переоденемся в их форму и поведем — руки назад! — остальную нашу компанию, и харчи в мешках понесем на вахту. Ну а на вахте остальных не так много, да и те, наверное, дрыхнуть будут. Тут мы их и повяжем. А кто за оружие схватится, будем кончать. И все! Рвем когти! Тайга рядом, пока хватятся, мы уже далеко будем! Да они и не пойдут за нами в глухомань. Побоятся. У нас же винтари, патронов наберем, мы же с вахты все унесем. Я знаю, у них там есть ящик с запасом патронов на случай тревоги. Ну, а если пошлют небольшой отряд — куда ему идти? Мы же рванем в начале лета, когда земля просохнет, никаких следов не будет. Тайга как море, в какую сторону мы двинем — откуда им знать. Верняк полнейший. Уйдем! Век свободы не видать — головой ручаюсь, уйдем!

План этот весь март и апрель не раз уточнялся. Продукты накапливались. Все шло путем.

Ромашкин несколько раз видел в углу Серого двух незнакомых парней. Они приходили порознь. О чем-то шептались с паханом и уходили… Это, по-видимому, были молодые воры. Они жили в другом бараке.

Василий не спросил о них Серого. Задавать вопросы среди блатных вообще считается признаком плохой воспитанности. Серый сам посчитал нужным сказать ему об этих незнакомцах:

— Уходить будем ранним летом, в лесу ещё ни грибов, ни

ягод. Мясных консервов у нас маловато. А без мяса мы ослабеем, силы потеряем, далеко не уйдем. Вот и решил я двух баранов прихватить.

Ромашкин не понял, о каких баранах он ведет речь. Может быть, на кухне перед побегом собирается прихватить две туши?

— Как же мы потащим две туши да мешки с крупой, мукой и другими продуктами? Много нести и быстро уходить не сможем. Могут нас догнать.

Серый хитро улыбнулся:

— Недогадливый ты, лейтенант. Бараны сами побегут, их нести не нужно.

Совсем он сбил Василия с толку: откуда в зоне живые бараны?

А Серый смотрел пристально в глаза и улыбался дьявольской улыбкой.

— Ну, допер?

— Нет.

— Эх ты, а ещё командир. Бараны будут с нами в побеге. Когда из сил выбьемся — одного прикомстролим… Когда понадобится, и второго уделаем.

И только теперь Ромашкин вспомнил жуткий рассказ бывалого зека о том, как в одном из побегов группа заблудилась в тайге и, выбившись из сил, убила одного из своих же беглецов и питалась его мясом. Потом убили ещё одного. Наконец, остались двое. Они не спали несколько ночей, каждый опасался нападения спутника и в то же время ждал, чтобы сосед заснул и можно было прикончить его. В конце концов один из них уснул. Оставшийся в живых заготовил мяса и, питаясь им, вернулся в лагерь. Где рассказал обо всем лагерникам и вскоре сошел с ума и повесился. Вот тогда Василий впервые услышал слово «баран» в том значении, в каком употреблял его Серый. Вспомнив об этом, Василий подумал: «Не „баран“ ли я сам?» И Серый, как это бывало раньше, будто прочитал его мысли:

— Не бойся, я же тебе все вчистую объяснил, ты нам нужен как военный. Ну, «бараны»' эти на крайний случай. А могут и не понадобиться, если охота будет удачной. Но рисковать я не могу. Я должен все предусмотреть — это мой последний побег. Уловил?

По мере приближения назначенного срока тревога и даже страх у Василия все разрастались. Приближение лета не радовало. Он был в полной растерянности — умирать не хотелось, а смерть ожидала в любом случае: не пойдет с бандой — пришьют, а пойди — уверен, конец будет роковой: если сразу не догонят и не перебьют, то спустя некоторое время где-нибудь выследят и подстерегут. Или, что ещё вернее, сами от болезней и

усталости будут в тайге дохнуть, а то и начнут пожирать друг друга с голодухи и полного одичания.

Что делать?

Был ещё один вариант, но Василий сразу прогнал эту мысль. Но реальная возможность была: пойти тайком на вахту и предупредить о побеге. Грубо говоря, заложить. По своему характеру Василий не мог стать предателем даже блатной шайки, даже тех, кто может стать его убийцами. У него не такое нутро. Решил: «Пусть это глупо, но умру благородно. Лучше погибну дураком, нежели стукачом».

Весенние дни полетели быстро. Серый при выходе на лесоповал присматривался, как просохли обочины. Сошел ли снег в лесной чаще? Радостно и значительно посматривал на своих: свобода, мол, близка!

И вдруг однажды, это было в конце мая, при выходе на работу, когда бригады считали и пятерками выпускали за ворота, вдруг из проходной высыпали человек пятнадцать охранников с винтовками, а некоторые с автоматами. Они окружили бригаду уже за воротами, и старший, показывая пальцем в грудь Серому, приказал:

— Ты выйди!

Потом ткнул в Ромашкина:

— И ты выйди.

И так всех, всю гоп-компанию, вывели из строя, окружили, завели на вахту, а здесь наставили со всех сторон оружие и по одному вызывали в соседнюю комнату. Когда настала очередь Ромашкина, он тоже шагнул туда через порог, и как только закрылась дверь, четверо стоявших за дверью заломили назад руки и связали их веревкой (тогда ещё наручников не было).

Тут Василий увидел всех — Серого, Гаврилу-Борова, Гену-Тихушника, Егорку-Шкета, они тоже были связаны. За дверью ещё ждали своей очереди Миша-Печеный и Борька-Хруст.

Когда всех повязали, начальник лагпункта, краснорожий от возбуждения майор Катин ехидно сказал:

— Ну, беглецы, с приездом! Не успели тронуться, как сели! Я вам, паскуды, всем срока добавлю. Сегодня же на каждого будет заведено дело! — И, обращаясь к конвоирам: — Отведите их в БУР! И стреляйте без предупреждения, если какая б… только ворохнется!

Их вывели к воротам, построили по два. Начальник конвоя, жирный верзила с длинными грязными волосами, свисающими из-под фуражки, зычно скомандовал, будто урки стояли не рядом или были глухие:

— Шаг управо, шаг улево считаю побегом! Огонь открываю

без предупреждения! Упереди!

И побрели молча, не поднимая глаз от земли, не понимая, как и почему все это произошло. Ясно было одно — кто-то их заложил! Но кто? Единственное, что Василий знал определенно, — это не он. Но в то же время ему думалось, что первым, на кого падет подозрение, будет именно он — потому что не свой, не блатняк.

Ромашкин шагал, а ноги плохо слушались. Он шел в БУР как на казнь. БУР — это барак усиленного режима, тюрьма в лагере, он отгорожен от общей зоны двойным проволочным забором. Здесь содержатся подследственные, те, кто совершил преступление уже будучи в лагере.

Всех заперли в одиночки. Веревки с рук сняли. Василий растирал посиневшие кисти и красные глубокие рубцы от веревок. Видно, очень боялись конвоиры, опасались, что урки дружно бросятся на них. Скрутили во всю силу, не думали, больно или нет, главное, понадежнее. От зеков, решившихся на групповой побег, всего можно ожидать!

На следующий день загремели замки и засовы на железных дверях и одиночные шаги тукали в коридоре. Василий понял — по одному вызывают на допрос. Пришла и его очередь. Допрашивал лагерный «кум» — так зовут оперуполномоченного. Он молодой, наверное, всего на несколько лет старше Ромашкина. Худой, гимнастерка с тремя кубарями висит на худых плечах как на вешалке. Сухая кожа лица обтягивает костистые скулы. Глаза колючие. И вообще, он весь издерганный, его будто какая-то внутренняя болезнь ломает. И ещё у него дурная привычка: говорит-говорит, а потом повернет голову вбок и вроде бы плюется, тьфу-тьфу, слюны нет, а он сам не осознает того и вроде бы плевок имитирует.

С Ромашкиным кум начал говорить как со своим, доверительно:

— Давай, рассказывай все по порядку.

— Что рассказывать?

— Дурака не валяй, знаешь, за что вас замели? — Кум считает нужным применять блатную лексику, наверное, хочет этим показать глубокое знание лагерной жизни и свою опытность.

— Понятия не имею. Остановили бригаду и почему-то меня и тех, других, вызвали.

— Ты давай (тьфу-тьфу), не темни. Ты же почти лейтенант — колись начистоту. Тебе с блатными не по пути. Я тебя не продам, ты не бойся. Понимаю, что ты случайно в их компании оказался.

Василий решил сразу поставить все точки над "i", пусть он не надеется:

— Знаешь, старшой, ты на понт меня не бери. Я хоть и почти лейтенант, но в стукачи к тебе не пойду. Есть у тебя конкретные вопросы, спрашивай.

— Есть (тьфу-тьфу) и конкретные: когда и как бежать собирались?

Ромашкин изобразил крайнее удивление.

— Бежать? Я? Ну, ты даешь! Это я тебя должен спросить: куда и как? Надо же придумать такое! Зачем мне бежать? Я свое получил, год отсидел. Работал нормально. Надеюсь, срок мне скостят. Да и дело у меня пустое, подумаешь, чего-то кому-то не понравилось. Вы же из меня контру сделали. А я никогда каэром не был и не буду. И родину не меньше твоего люблю.

— Ты не митингуй. Правильно тебя за антисоветскую агитацию осудили, вон уже и передо мной речь толкаешь. Удивляюсь я, глядя на тебя, бывший комсомолец, а с ворьем связался. Срок ему скостят! Да я тебе такую телегу накатаю, что ещё червонец получишь. Колись по-хорошему, может, твое честное поведение оценим, вот тогда и насчет срока подумать можно (тьфу-тьфу).

Заманивал кум и другими посулами. Но ничего не добился и отправил Ромашкина в камеру. Раза три подряд плюнув насухую, пригрозил напоследок:

— Еще пожалеешь. Я тебе веселую жизнь устрою.

Допросы продолжались с неделю. Видимо, и от других опер подробностей не получил. Кроме этого дела, у кума было немало других в производстве. В БУРе сидело много подследственных. А за те дни, в которые он с «беглецами» маялся, обокрали санчасть: унесли не только лекарства на спирту, но и таблетки всякие. Это работа наркоманов, их ломает от отсутствия наркотиков, вот они и готовы глотать любую химию, лишь бы мозги мутило. В общем, надо оперу искать. Даже не искать, а признания добиваться, у него все ханурики на учете. А через несколько дней зеки нарядчика зарубили. Тут уж камеры-одиночки для других понадобились. Беглецов перевели в общую. Встретился Ромашкин со своими одноделъцами, прямо скажем, без всякого энтузиазма. Но приняли его, к удивлению, очень радушно, как своего. Это ещё больше насторожило — может быть, маскируются, а приговор уже вынесен? Хотят усыпить бдительность, чтоб ночью спал спокойно, легче будет удавку накинуть. Такой прием применяли, Василий не раз об этом слышал.

Однако из разговора с Серым Василий узнал, что воры сначала вычислили, а потом точно определили стукача. Им оказался бухгалтер-растратчик Четвериков. Он спал на нарах через проход от угла, в котором жил Серый и где урки частенько

собирались. Он всех видел, а может быть, и слышал какие-то обрывки из разговоров. Кум его, наверное, давно вербанул, он ему и стучал. Ну, и про ночные встречи не совсем обычные донес. Получил приказ присмотреться, уточнить. Вот он и заложил. У блатных своя разведка действует. Сработала она и на этот раз, на счастье Ромашкина.

Пахан рассказал подробно, как провел свое расследование.

— О том, что никто из наших не раскололся, — рассудительно начал Серый, — я определил по складу. Запасы наши под полом целые. Все мы о них знали, а стукач не знал. — Дальше Серый повел рассказ, основанный на его многолетней лагерной жизни. — Кум как со своими стукачами встречается? Напрямую нельзя — засекут. Вот он и заводит передатчиков записок. Этот передатчик, может, сам и не стукач, он только записки принимает и передает оперу. Чаще всего это хлеборез, библиотекарь или кто-то из работающих на кухне. К любому из них можно, её вызывая подозрений, подойти, записочку сунуть и пойти себе в сторону. А придурки эти своими теплыми местами дорожат, не хотят на морозе или под дождем лес валить, вот и не отказывают куму.

Бывает, в неотложном случае прибежит стукачок в управление лагпункта, там покрутится в коридорчике между дверей начальства: кадровика, хозяйственника, бухгалтерии, для отвода глаз плакатики, объявления на стенках почитает. А есть там ещё одна дверь. Вот там и сидит опер. Стукачок выберет момент, когда никого нет в коридоре, и шмыгнет в ту дверь. А после беседы кум дверь приоткроет, в щелочку поглядит и, когда коридор пуст, стукача и выпустит. — Серый значительно помолчал, потом лукаво и зловеще улыбнулся и продолжил: — А щелочку можно сделать не только в двери опера… Другую дверь тихо-тихо приоткрывал и смотрел наш человек. Он придурком в управлении работает. Он и наколол суку-бухгалтеришку. Засек не раз и не два! В общем, это он нас заложил. Но подробностей нашего отрыва, да вот и о складе с харчами, не знал. Сорвалось у опера! Не пришил нам дело! Теперь как бы нас по разным лагпунктам не раскидали. Устраивают они такое для профилактики. Ну, а стукача мы на толковище приговорили.

Через два дня бухгалтера Четверикова нашли в выгребной яме уборной, что сколочена из горбыля и находится в дальнем углу зоны. У трупа, кроме проломленной головы, ещё и рот. был зашит черными нитками. Говорят, рот ему зашили после удара по голове в назидание другим лагерным стукачам.

У всей компании было железное алиби: они сидели в БУРе под надежной охраной, за двойной оградой из колючей

проволоки, а Четверикова убили в общей зоне. Ромашкин даже не догадывался, кто это сделал.

Больше месяца продержали всю группу в БУРе и в июне почему-то вернули в старую зону. Вернее, не почему-то, а не до того стало…

В июне 1941 года далеко на западе заполыхала война. В лагерную жизнь она тоже внесла перемены. Появились зеки с новыми статьями и обвинениями: дезертиры, самострелы, окруженцы или бежавшие из немецкого плена, но не сумевшие доказать, что не шпионы и не сотрудничали с немцами.

Забурлили слухи о том, что будет амнистия. Кто сидел по военным статьям, да и другие, кто помоложе, писали письма с просьбой направить на фронт.

Серый по-своему воспринял перемены, связанные с войной. Авторитет Ромашкина как военного в блатной компании очень вырос. Его о многом спрашивали, советовались, просили разъяснить.

Однажды Серый позвал в свой угол. Он начал так:

— Я думаю, лейтенант, хорошее для нас время пришло. Попросимся на фронт. Оружие нам сами дадут. Не надо будет из-за него рисковать. Охрану не тронем. Ну, а по дороге на фронт в любом месте можно когти рвать. Леса везде есть. Или в тайгу вернемся. Главное, на свободу выйти и оружие получить. На воле и запас харчей найдем, и патронов побольше прихватим. Что на это скажешь, лейтенант?

Предложение было неожиданное. О просьбе отправить на

— — —~ — — ""•• "« л гг.г»т,гтлг»«-т* ТТГ»Г-ТТР»ПГ»ГШЛ'а'—

МИ. иНДеИСТБИ1Хˆ ШНиАи1Слпа11ˆрˆмˆ"'ˆˆ"«*~ —~ —

там как смелый командир или красноармеец. Такого, о чем говорил Серый, у него и в мыслях не было. Но не согласиться, не поддержать его сейчас нельзя. Главное, выбраться из лагеря, а на воле пути разойдутся. Там власть Серого кончится. Там Ромашкин вольный орел. Армия — это уже его стихия. Серому ответил:

— Прикидываешь ты правильно, только освобождение не придет сразу всем тем, кого ты с собой взять хочешь.

— Ну, месяц туда, месяц сюда — перебьемся. Назначим место сбора. На воле я знаю малины, где отсидеться можно. А когда все съедутся — и двинем на природу.

— А если кто-то не приедет? Ну, не получится, по дороге застрянет или раздумает?

— На воле блатных знаешь, сколько ходит? Подберем других, надежных, правильных партнеров!

— Надо думать. Дело ты непростое затеваешь.

— Вот и я говорю, давай думать вместе. Ты насчет службы больше меня петришь. Соображай: куда писать, как писать, чего просить, чего обещать…

И стали они прикидывать, кого на такое дело пригласить. В первую очередь, конечно, тех, кто раньше в побег собирался, — Гаврила-Боров, Гена-Тихушник, Миша-Печеный, Егор-Шкет, Борька-Хруст. «Баранов» теперь брать не нужно, такая братва на воле сколько угодно продуктов и всего необходимого добудет. Как сказал Серый:

— Один-два магазина колупнем — и вот тебе запас хоть на год, от консервов до шмоток. Спиртного много брать не будем. Водка — штука опасная. Многих она подвела. Ну, после освобождения немного шжиряем. А как делом займемся, все — сухой закон! Только иногда праздники будем устраивать после большой удачи.

…И стал Ромашкин по вечерам сочинять прошения товарищу Калинину, Председателю Президиума Верховного Совета, от имени каждого члена компании. Уж чего только он не придумывал: и ошибки по молодости лет, и несправедливость судей и следователей, и горячее желание доказать свою преданность Родине. И многое другое, что разжалобило бы старичка Калинина, и он велел отправить в армию. Ромашкин искренне верил, что Михаил Иванович будет сам читать эти письма. И не может он не пожалеть молодых, полных сил парней и обязательно прикажет отправить их на передовую. Тем более, что на фронте дела идут неважно, наши отступают, потери большие, лихие ребята там очень нужны.

И не ошибся. Вскоре стали приходить бумаги об освобождении из-под стражи и отправке на фронт. Сначала освобождение получили те, кто раньше Ромашкина написал. А потом вдруг кучно (чего Василий никак не ожидал) пришло распоряжение, в списке которого была вся шайка. Вот радости-то было! Только не Ромашкину. Его положение от этого усложнялось. Теперь надо было думать, как избавиться от блатных. Это сначала показалось сложным. А потом, поразмыслив, Василии понял: на воле уже не будет лагерных законов. "Не пойду с ними на малину к месту сбора. Они уйдут, а я останусь. И все. Разойдемся по лагерной поговорке — «как в море трактора».

Все было хорошо — только одно предположение не оправдалось: освобожденных направляли не в обычную воинскую часть, а в штрафную роту. Это было не помилование, а предоставлялась возможность «кровью искупить свою вину перед Родиной». А если не проявишь себя в боях и не будешь убит или

ранен, то «отсиживать оставшийся срок после окончания войны».

Зачисление в штрафную роту осложняло затею Серого. По его понятиям, в штрафной роте должен быть конвой или охрана. Насчет ранения или смерти, а тем более отсидки после войны — все это был пустой звук. Их жизненный путь после освобождения поворачивал в противоположную от фронта сторону и сулил очень радужные картины привольной жизни в лесах в полной независимости. Воры превращались в бандитов. В общем, старые мечты оставались в силе.

После вызова: «С вещами на вахту!» — жизнь понеслась в новом стремительном людском потоке. На вахте собралось сорок освобождаемых. Начальник лагпункта Катин вычитывал фамилии по списку. Каждый бодро отвечал: «Здесь!» Общевойсковой стройный капитан с усиками просто и неожиданно сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Это ошарашило: пять минут назад зеки, преступники, и вот «товарищи!». Давненько так не называли!

Капитан объяснил: поедем поездом до Нижнего Тагила. Попросил не отставать и не теряться, потому что пока на всех один документ — вот этот список. Он тут же положил список на стол, и оба начальника расписались: «Сдал», «Принял». Василий слышал, как Катин негромко сказал своему заместителю по воспитательной работе: «Напрасная трата денег на обмундирование, кормежку, перевозку. Я бы их здесь в тайгу вывел и пострелял».

Этот Катин раньше был какой-то большой начальник, а потом сгорел: кого-то из своих же заложил, причем нечестно, с наговором, его разоблачили, но совсем из органов не выгнали, послали с понижением. И вот теперь он весь свет ненавидел.

Как, оказывается, просто и легко выйти на свободу, всего одна подпись — принял, и все, решетчатая дверь с лязгом отворяется, и вот она — воля! Та же дорога, по которой брели на работу, те же тропки, протоптанные в траве и уходящие к окраине деревни, но между Ромашкиным и всем этим нет теперь конвоиров, отделяющих его силой оружия от прекрасной, обыкновенной жизни.

Ромашкин озирался, не верил, не понимал, как же это он идет просто так, сам. Капитан впереди, он даже не оглядывался. Освобожденные за ним гурьбой, без построения. А раньше за ворота выходили пересчитанные — первая пятерка, вторая пятерка.

Теперь зашагали не сутулясь, в тех же телогрейках и бушлатах, но спины стали ровными, глаза сияющими. Воля распрямляет человека!

Серый значительно посмотрел на Василия, показал большой палец — мол, все идет «на пять»!

В военкомате заполняли на каждого анкету. Ну, анкетами не удивишь, а вот некоторые вопросы очень неожиданные: «Был в плену или в окружении?» Ромашкин написал ответ — «нет», и подумал: «Наверное, это считается для воина большим недостатком, если у него нет опыта окружения».

После оформления документов построили, распределили по взводам, отделениям. Командир роты, немолодой уже капитан (видно, из запаса) прошел вдоль строя, отсчитал двадцать пять человек, сказал:

— Первый взвод, — показал пальцем на грудь высокого здорового парня. — Вы старший до прибытия командира взвода. Распределите бойцов на три отделения, назначьте отделкомов.

Ромашкин попал во второй взвод. Его назначили командиром отделения. Поскольку в строю стояли рядом, в его отделение попала вся компания Серого и ещё трое незнакомых парней из другого лагеря.

Серый был доволен:

— Порядок, свой командир! Ты узнай, когда оружие будут давать.

— Я думаю, сначала научат, как им пользоваться.

— Чего нас учить, мы умеем.

— А другие?

Василий не ошибся. Через день, когда в роте набралось пять взводов, прибыли кадровые сержанты с треугольниками на петлицах. Их назначили командирами, и они стали заниматься ежедневно огневой (изучали устройство винтовки), строевой — шагали по плацу перед казармой, в которой жили, и тактикой — вывели за ограду военного городка, расчленили в цепь (пять — шесть метров друг от друга) и «В атаку, вперед! Ура!». Сначала все бегали с удовольствием. Дружное «ура» придавало силы, уверенности. Казалось, будь перед ними враг, всех смяли бы и перебили. Через час-другой устали, пот побежал между лопаток. А сержант все командует:

— Назад. Занять исходное положение. Не отставать! Равнение в цепи. А ну-ка, ещё разок — «Вперед!», «Ура!»

Особенно мучительны были занятия по строевой. Шагать по плацу казалось таким бесцельным, ненужным делом, что не могли дождаться, когда эта чертова шагистика кончится. А сержант покрикивал:

— Строевым! Крепче ножку! Не слышу. А ну, четче! Раз! Раз!

Командовал и Ромашкин своим отделением, и втайне ему даже смешно было — ходят строем отпетые воры и покорно

выполняют его команды. И это люди, для которых ни государственных, ни нравственных законов и порядков не существует.

— Зачем нам эта мура? — спросил сержанта Гена-Тихушник в курилке во время перерыва. — Мы же не на парад собираемся. Воевать поедем. Где там строевым ходить?

Сержант пояснял:

— Дело не в шагистике. В строю человек приучается к быстрому выполнению команды. Исполнительность доводится до автоматизма. Дали команду — «На-пра-во!», и ты тут же повернул. Скомандовали — «На-ле-во!», и ты мгновенно, без рассуждений выполнил. А в бою это особенно нужно. Понял?

Через неделю роту вывели на стрельбище, и каждый отстрелял первое упражнение: три патрона по грудной мишени; оценка от 25 до 30 очков — отлично, 20 — 25 — хорошо, 15 — 20 — удовлетворительно. Ромашкин, конечно, выполнил на отлично — выбил 28 очков. Серый тоже стрелял кучно — 26, остальные мазали, не все даже на «удочку» вытянули. Стреляли по очереди из двух винтовок, выделенных на роту для этой стрельбы.

Через две недели (слава Богу!) занятия закончились. Роту ещё раз сводили в баню и после помывки выдали стиранное б/у (бывшее в употреблении) армейское х/б (хлопчатобумажное) обмундирование, кирзовые сапоги, поношенные шинели и пилотки с новой красной звездой.

Все преобразились — не узнать! Серый, от природы рослый и широкогрудый, выглядел настоящим богатырем. Гена-Тихушник и Миша-Печеный в армейской одежде (которую они тщательно подобрали по росту) выглядели даже элегантно. Правильно говорят, мало иметь, надо уметь носить одежду. Остальные компаньоны смотрелись не очень браво, форма на них не легла, топорщилась, сразу видно — новобранцы.

Настал день погрузки в эшелон. Товарный красный вагон с двухъярусными нарами на взвод. В эшелоне двадцать вагонов, значит, четыре роты — целый батальон. В каждом вагоне старшим тот же сержант, который проводил занятия. Оружие пока не выдали.

— Когда дадут? — спросил Боров явно по поручению Серого.

— На фронте, — ответил сержант.

Дорога от Сибири до фронта, который изгибался где-то на линии Ленинград — Смоленск — Ростов, длинная, эшелон останавливался часто, стояли подолгу. Ехали весело, харчей вдоволь. Кроме того, что давали в армейском пайке (кухня походная в переднем вагоне на ходу готовила горячую пищу), на станциях компания ловкостью рук добывала и деньги, и

продукты. Местные жители выносили на продажу вареную картошку, жареных кур, уток, яйца, творог, овощи и другую снедь. По прибытии эшелон встречали, как и положено встречать бойцов Красной Армии, доброжелательно, с улыбками. Женщины зазывали к своим корзинам:

— Берите яблочки! А вот сальце с чесноком соленое! И братва берет… особенно когда эшелон трогается — хватают, и бегом в вагон. А вслед крик:

— Ах, чтоб тебя! Вот так бойцы! Мы таких эшелонов не видали!

В вагонах смех и возбужденная суета. Рассказывают о только что происшедшем на станции.

Егорка-Шкет, очень довольный собой, весело изображает:

— Я беру у нее всю кастрюлю с картошкой, а баба верещит: « Куда же ты с посудой тянешь? „ А я ей:“ Мамаша, картошка же горячая, без кастрюли нельзя». Она: «Так как же так!» А я: «А вот так!» — и ходу.

На какой-то большой станции роты водили строем в баню, чтоб не завшивели в дороге. В бане помылись, а Тихушник с Боровом успели ещё и две квартиры «раскурочить» недалеко от бани. Брали гражданскую одежду и обувь. «Пригодится», —сказал Серый, раздавая шмотки, чтоб положили в вещевые мешки.

Кроме станционных базарчиков и квартир, «курочили» ещё товарные вагоны и контейнеры во время стоянок: «краснушникам», специалистам по кражам на железной дороге, было широкое поле деятельности: пути забиты товарными составами. Опытный «краснушник» по запаху определяет, что в закрытом вагоне или контейнере: обувь, одежда, меха, мебель… не говоря уже о продуктах или парфюмерии. В вагоне Ромашкина такого искусника не было, но в соседнем вагоне ехал Жорка-Нос (кличка явно профессиональная). Этот Жорка на станциях работал на всех. Идет вдоль товарняка, остановится, принюхается, подумает. Все, кто идет за ним, ждут. Жорка показывает: «Здесь пшеница в мешках». Идет дальше: «Здесь цемент в бумажной упаковке. О! Здесь консервы, наверное, тушенка, банки смазаны жиром, чтоб не ржавели». «А может, рыбные консервы или варенье?» — спрашивают сбоку. «Говорю, тушенка, значит, тушенка! — солидно отвечает Жорка-Нос. — Давай, раскурочивай, проверь!» И действительно, в контейнере банки мясных консервов в густой липкой смазке.

И опять расстрел

В Казани исчез Миша-Печеный. Вышел из вагона вместе с другими штрафниками и не вернулся. Сначала думали, может быть, загулялся и, когда тронулся эшелон, прыгнул в другой вагон. Потом предполагали — отстал и догонит. Но эшелон подолгу стоял на небольших станциях, пропуская пассажирские поезда, а Миша так и не появился.

— Ушел, сука, — зло пыхтел Серый.

С горя, а может быть, от обиды пахан в тот вечер изрядно надрался. Самогону было по потребности. Пьяный, кривя мокрые расползающиеся губы, Серый цедил:

— Сука Печеная, оторвался, предал нас. Он всегда был вроде бы с нами, но себе на уме… С…сука, ушложопая… «Пещеру Лейхтвейса» рассказывал, красивой бандитской жизнью вас завлекал. А сам побоялся с нами уходить. Задавлю гниду своими руками, если встречу. — Шрам на перебитом носу пахана побелел от злости. Мокрые губы просто выворачивались от презрения и ненависти к предателю.

Ромашкин начинал беспокоиться, фронт уже рядом, а пахан будто забыл о том, что собирался уводить шайку в леса. Беспокоило не то, что не уводит, а неопределенность. Молчит он не случайно, что-нибудь ещё придумал.

Ромашкин спросил его об этом. Серый насмешливо поглядел на него, усмехнулся:

— Газеты надо читать! Статьи товарища Эренбурга.

Василий не понял, что он имел в виду. Это выяснилось позднее, уже в траншее, и опять едва не стоило Ромашкину жизни. Но в вагоне он отошел от Серого в недоумении. «Может, он решил дождаться, когда оружие выдадут? Но с передовой уйти даже с оружием будет очень непросто».

Штрафников привезли на смоленское направление. Выгрузились вечером. Ночью совершили долгий марш, который ухайдакал всех до полного изнеможения. Когда стало светать, роту завели в лес и сказали: «Рубите хвою, устраивайтесь, здесь пару дней побудете». Неподалеку уже слышались редкие орудийные выстрелы и дробный звук пулемётных очередей. Часть, в которую прибыла рота, стояла в обороне. На фронте было затишье.

Днем, после обеда, подкатил грузовик. Штрафникам приказали построиться, повзводно подходить к этой машине и получать оружие. Когда опустили борт, Василий увидел кучу набросанных навалом винтовок. Наверное, их собрали на поле

боя. Винтовки были в налипшей на них засохшей земле.

Раздали оружие, и поступила команда:

— Винтовки почистить и смазать. Завтра пойдем на передовую.

— А патроны?

— Патроны получите утром.

Ромашкин отметил про себя: «Продуманная последовательность — оружие не давали до передовой, а патроны дадут перед самой атакой. Не доверяют. И правильно делают, кто знает, какие замыслы у таких бандитов, как Серый. А их в роте немало».

В конце дня общее построение: прибыло командование штрафной роты. Капитан, который вез штрафников и намучился с ними в дороге, с большим облегчением передал «шурочку» (так называли штрафную роту). Боевое начальство выглядело не браво. Особенно командир роты капитан Старовойтов, явный запасник. Трудно представить человека, более неподходящего для командной, строевой должности! Прежде всего, не разглядев его лица, в глаза бросается повисшая бабья задница, и грудь тоже пухлая, не мужская. Ну а на лице, как красный светофор, висячий нос: алкаш явный. Говорят, толстяки обычно добрые. Может быть. Но этот Старовойтов прежде всего хотел выглядеть солидным, основательным, но глаза его выдавали как человека с гибким позвоночником, постоянно опасающегося допустить промашку, настороженность в его бегающих глазах даже не собачья, а услужливая, заячье-трусливая. Ромашкин удивлялся, как могли назначить такого не подходящего даже в интенданты командиром штрафной роты. Позднее узнал (сам убедился): Старовойтов в атаки не ходил. Он произносил горячую речь — науськивал, натравливал, чтобы злее били немцев. А потом в своей траншее вставал к станковому пулемёту, заряжал его новой полной лентой, и для неуклонного движения штрафников только вперед объявлял: «Всех, кто назад пойдет, сам постреляю!»

Вместе с капитаном вышли перед строем четыре командира взвода трое — лейтенанты и один младший лейтенант. Все они, видно, бывалые командиры, гимнастерки на них выгоревшие, не раз стиранные. У капитана на груди не орден, а какой-то большой значок, у младшего лейтенанта медаль «За отвагу».

Капитан представил, кто из них каким взводом будет командовать. На второй взвод назначили Кузьмичева. Ромашкин присматривался — не однокашник ли по училищу? Белобрысый, с белыми ресницами, коренастый, среднего роста, явно деревенского происхождения. Сапоги нечищеные, пыльные. Ромашкин подумал: «Я бы на первую встречу с новыми

подчиненными в таких сапогах не вышел». Серый, стоя во второй шеренге, с ходу дал прозвище взводному: «Вахлак».

Лейтенант представился, сказал коротко о себе:

— Лейтенант Кузьмичев Иван Егорович. Томское училище окончил перед войной. В боях с первых дней.

И умолк, больше нечего говорить.

— Семейное положение? — с напускной серьезностью спросил Шкет.

— Жена есть. Детей ещё не завел.

— Мерин, — тихо прибавил Борька, и все засмеялись. Смеялся и лейтенант, при этом лицо его стало совсем простым и добрым — типичный деревенский паренек.

— Не мерин, война помешала. Свадьбу сыграл, и на фронт, — пояснил он.

Так родилась вторая кличка, все во взводе между собой звали лейтенанта Мерин, и только Серый называл его по-своему — Вахлак.

После общего построения роту усадили на опушке кружком, и комиссар полка, которому была придана штрафная рота, батальонный комиссар Лужков, холеный, упитанный, чисто выбритый, провел политбеседу на тему «Как надо ненавидеть врагов и служить народу». Говорил он короткими, зычными фразами, будто не беседовал, а подавал команды. «Вот этот — полная противоположность вислозадому Старовойтову, хоть и политработник, но настоящий строевик», — оценил Ромашкин.

Разбудили роту затемно и до рассвета (маскировка!) повели сначала оврагом, а потом по траншеям. Вышли незамеченными для гитлеровцев на свой участок. Здесь раздали патроны, и лейтенант сказал:

— Присматривайтесь к местности и к противнику, завтра в атаку пойдем.

В траншее, кроме штрафников, находились солдаты обычной стрелковой роты. К ним пришли как бы на уплотнение. Старые обитатели обжили окопы, у них на каждое отделение блиндажик с перекрытием из тонких круглых бревешек.

— От мух, — сказал пожилой солдат об этом перекрытии. — Блиндажи как люди: чем крупней начальство, тем толще бревна, чем выше чин, тем больше рядов из бревен. Перекрытие нашего блиндажика не остановит самую плевую мину, наскрозь до пола прошибет.

Прибывшие стали расспрашивать о противнике — где он? Старые обитатели траншей осторожно приподнимались над бруствером, показывали:

— Вон за речушкой кусты, дальше кустов — высотки, вот это

и есть немцы. Так же, как и мы, в земле сидят и об нас судачат. Особо не высовывайтесь — снайпер в башке дырку сделает.

В траншее, в нишах, выкопанных в земле, лежали каски, гранаты, противогазы.

— А почему нам не дали каски и противогазы? — спросил Боров, надев чужую каску и поглядывая на друзей: как, мол, я выгляжу? В этой каске мордастый Гаврила Боров был похож на фашиста, какими их рисуют на карикатурах.

— А зачем их давать? Завтра всех вас побьют — пропадет зазря военное имущество, — простодушно объяснил пожилой боец.

— Почему же нас побьют, а вас нет? — обиженно спросил Борька-Хруст.

— Вы в атаку пойдете, а мы в траншее останемся. Вам надо кровью искупать, а нам зачем в огонь лезть? Ну, кто будет только ранен, тому будет прощение, и убитым тоже — если смертью принят, значит, и люди простят. Слыхал, наверное, раньше, давно, ещё в дореволюционные времена, если на виселице веревка обрывалась, второй раз не вешали: значит, смерть не приняла, рано этому человеку помирать…

Бойцы не заметили, как подошел лейтенант Кузьмичев и слушал солдата. Он прервал его упреком:

— Что же ты молодым бойцам все про смерть да про смерть. Даже висельников вспомнил. Ты опытный воин, расскажи им про геройские подвиги. Перед боем это больше полезно.

— Можно, товарищ лейтенант, и про геройство, — виновато улыбаясь, с готовностью согласился красноармеец. — Вот был у нас в роте боец Новодержкин, тот завсегда в атаку первым вскакивал. Не боялся пуль. И они его облетали. Медаль «За боевые заслуги» получил. Но однажды промахнулся — побежал там, где пуля ему в живот летела. Теперь лечится. Прислал письмо — поправлюсь, вернусь в родную роту, опять будут вас в атаку поднимать супротив ненавистных гитлеровцев. Как, товарищ лейтенант, геройское это рассказывание? Внушает молодым бойцам?

Глаза у пожилого солдата лукавые. И лейтенант понимал, что над ним иронизируют, но вида не подал, наставительно поправил:

— Новодержкин храбрый был воин, ты правильно говоришь, и что медаль получил, хорошо. А вот пуля в живот не вдохновляет.

— А куда же её денешь? Если она в брюхо влетела, я же не скажу, что мимо или, допустим, в ногу.

Прежние обитатели окопа потеснились, уступили

штрафникам место в блиндаже для отдыха. Как только ребята отделения, покидав вещмешки к стенке, присели покурить да и подремать после очередного недосыпа, Серый, обращаясь к трем парням не из своей компании, повелительно сказал:

— Вы трое, идите погуляйте, у нас разговор будет.

— А ты что за командир? — заерепенился боец Вукатов. — Говори при всех, мы тоже отделение, дело у нас общее.

Серый посмотрел на него своим особым пронизывающим взглядом, угрожающе сказал:

— Иди, гуляй, тебе говорят, много будешь знать, до старости не доживешь.

И боец сник, бурча и ругаясь вышел, за ним и двое других.

— Слыхали, — спросил Серый. — Завтра всех побьют! Значит, надо когти рвать сегодня.

Боров невольно упрекнул:

— Чего же ты вчера молчал, когда в лесу ночевали? И оружие уже на руках было.

Волков опять сказал ту же загадочную фразу:

— Товарища Эренбурга надо читать, — и достал из нагрудного кармана аккуратно сложенную вырезку из газеты. — Здесь написано: немцы с радостью принимают уголовников — старостами и даже бургомистрами их назначают. Зачем нам в свой тыл идти и шею подставлять? За дезертирство с оружием в руках расстреляют в двадцать четыре часа. Понял? Из фронтовой зоны даже с оружием вырваться очень трудно. А тут вот она, воля, — несколько сот метров, и привет вашим советским законам! И ещё с радостью примут. Чего же нам ещё надо?

Шайка молчала, такого поворота в судьбе, наверное, никто не предполагал. Ромашкин онемел — это же измена Родине! Ему, хоть и бывшему, но военному сдаваться врагу?! «Да лучше пусть Серый здесь, в своей траншее, пристрелит. И потом, почему он меня пристрелит? У меня теперь тоже оружие. И я могу ему пулю всадить, если кинется».

Пахан почувствовал недоброе в молчании своих попутчиков:

— Задумались? Ну, думайте. Недолго вам думать осталось. Слыхали, что старый солдат сказал, — завтра всех вас побьют. А до завтра одна-единственная ночь осталась. Вот в эту ночь и надо уходить. Жизнь одна у каждого. Пусть воюют те, кому есть за что воевать, а ты, Боров, или ты, Хруст, за что будешь воевать? За то, чтобы отсиживать полученный срок после войны? Нет, я туда пойду. Вот тут написано: «Там нас хорошо принимают»! — он похлопал по вырезке из газеты и положил её в карман. Глубоко затянулся цигаркой и зло выпустил изо рта густую, плотную струю дыма. Недолго помолчал и очень тихо и очень страшно не

сказал, а прошипел по-змеиному:

— Кто со мной…

Гаврила-Боров поддержал первый:

— Ну, если охрану в лагере снимать собирались, так по чистой дороге почему не уйти. Мне ихние порядки очень даже по душе.

Остальные тоже согласились уходить на ту сторону.

— А ты что молчишь? — спросил Серый Василия. — Ты мне жизнь спас, теперь я тебе хочу спасти.

— Все же я бывший курсант — присягу давал, — на ходу придумывал Василий какие-то аргументы. — Вас примут, ты сам говоришь. А меня? Я бывший комсомолец…

— Во всем ты бывший — и курсант, и комсомолец. Ты вообще молчи, кем раньше был, вор, и все. И ни о чем больше не толкуй, а мы подтвердим — свой, наш человек.

Приподняв плащ-палатку, заменяющую дверь в блиндаже, боец Вукатов сказал:

— Ну, наговорились? Ужин принесли. Надо котелки нам из мешков взять.

Они вошли, стали развязывать сидора. Да и остальные загремели ложками и котелками. Кормили гречневой кашей с мясной подливой. Вкусная армейская каша, не то что лагерная баланда. С наслаждением уплетал её Василий и вспоминал прежнюю службу, почти два года в училище. Каким далеким теперь все это казалось. Как приятный сон. "Думал ли я когда-нибудь, что всерьез буду решать проблему, сдаваться мне в плен или нет? Изменять Родине! Да такого и в мыслях не могло появиться. Даже когда на допросах меня избивали, я кричал следователям, что это они враги народа, а не я. Ох, как же старательно били они меня за это! Но и тогда, в минуты околевания, если бы меня спросили — не перейду ли я на сторону врагов, чтобы избавиться от пыток? Я бы и тогда сказал: «Умру здесь, в вонючем подвале, под сапогами потерявших человеческий облик следователей, но к врагам не пойду! И вот теперь, через несколько часов я должен умереть. Именно умереть, а не сделать выбор. К фашистам я не пойду, а блатные меня прирежут втихую, по-лагерному, здесь же в блиндаже, зажмут рот, чтобы не кричал, или удавку сзади накинут, и хана, пикнуть не успею. Нет, надо уйти в соседнюю роту, вроде знакомых ищу, и отсидеться там, пока эта банда уйдет. А потом можно промолчать или сказать, что вообще ничего не знал об их намерении. Боец Вукатов может настучать о том, что я вместе с теми оставался, когда их из блиндажа выгнали. Но мало ли о чем там говорили, они ушли, а я вот здесь. В чем же моя вина? Не выдал? Так я и не

знал».

Но уйти от блатных оказалось не так просто. Колебания Василия очень насторожили Серого. Ромашкин постоянно чувствовал на себе его взгляд. Когда выходил покурить или «побрызгать», за ним обязательно шел кто-нибудь из шайки. Ромашкин судорожно соображал, искал выхода и в то же время спиной ощущал, что вот-вот могут подойти сзади и удавкой разрешить сомнения и подозрения пахана на его счет. Им терять нечего. А времени оставалось в обрез.

Стемнело, как Ромашкину показалось, на этот раз быстрее обычного. Он стоял и курил в траншее и даже пожелал, хоть бы пуля шальная прилетела в лоб и избавила от этой невыносимой пытки. Мысли прервал тихий шепот Серого:

— Пора.

Ромашкин оглянулся. Вся шайка с винтовками и вещевыми мешками стояла в траншее.

— Вы куда, ребята, — вдруг спросил голос бойца Вукатова из темени блиндажа.

— Нас в разведку посылают, — сдавленным голосом ответил Серый, а сам уже держался за затвор винтовки, готовый загнать патрон в патронник.

— Куда же вы с мешками в разведку-то? — недоумевал Вукатов и выглянул из-за плащ-накидки, заменявшей дверь.

Серый стрелять не стал, побоялся поднять тревогу, он буркнул:

— Тебе с нами не по пути, — и ударил прикладом Вукатова по голове. Скомандовал: — Пошли!

Вся компания по одному перевалила через бруствер. Ромашкин стоял в полном оцепенении. Серый держал винтовку наготове, зашипел:

— Опять долго думаешь…

Василий, как лунатик, не чувствуя под собой земли и не осознавая своих движений, вывалился из окопа и пополз вместе со всеми. Серый двигался за ним последним.

Доползли до оврага. Здесь поднялись на ноги. Отдышались, осмотрелись. Пригибаясь, пошли по оврагу в сторону немецких позиций. Василий украдкой поглядывал — как бы где-то в кустах рвануть в сторону. Но кусты были редкие, не уйдешь. Не Серый, его пуля догонит при попытке убежать.

Все ближе вспышки осветительных ракет, которые немцы пускали из своих окопов для обзора местности. Они так всю ночь подсвечивают. И вот так же, как эти ракеты, взлетает и гаснет в голове Василия одна и та же мысль: «Бежать! Бежать, пока не поздно!»

Но не успел Ромашкин осуществить свою задумку, властный окрик немца прервал не только его мысли, но, казалось, и самую жизнь. «Все, конец!»

— Хальт! Хенде хох! — скомандовал невидимый в темноте в кустах немец.

Василий упал под куст и хотел под ним затаиться.

— Мы к вам! Сдаемся! — негромко, не обычным, властным голосом, а как-то просительно блеял Серый.

— Мы в плен, плен, — лепетал и Боров, все ещё боясь говорить громко.

— Оружие на земля! Руки вверх! — командовал немец. Вся шайка покорно положила винтовки на землю.

— Три шага вперед! — скомандовали из мрака. И все сделали по три шага, отступив от своих винтовок. А Василий все лежал. Сердце у него колотилось так, что, казалось, в земле отдается его гул и немцы могут услышать этот гул. Серый оглянулся и позвал:

— Лейтенант, где ты?

Ромашкин не отзывался, даже попытался отползти в сторонку. А Серый все звал:

— Ты где, Вася? Только сейчас был рядом…

Из мрака появились две темные фигуры с автоматами на груди. Они обошли справа и слева беглецов, которые стояли, вытянув руки вверх.

— Собрать оружие! — уже четко по-русски, без акцента сказал все тот же голос из мрака. И странно, он показался Ромашкину знакомым. Нагибаясь за винтовкой, темный силуэт замер (он увидел Василия под кустом) и вдруг скомандовал:

— А ну, встать! Руки вверх! Быстро! Поднимайся. Товарищ лейтенант, тут ещё один сховался.

Из темноты появился лейтенант Кузьмичев, у него в руках был автомат, рядом шагали ещё двое с винтовками.

— Ну что, братья-разбойники, — сказал облегченно Кузьмичев, — «рельсы кончились, шпалов нет», так, кажется, поется в вашей песне? Приехали! А ну, кругом! — И ещё он сказал почти ту же фразу, которую крикнул конвоир, когда забирали в БУР: — Если хоть одна б… ворохнется и попытается бежать, патронов не пожалею. Вперед!

И их повели назад в свои траншеи.

Как выяснилось потом, Серый ударил бойца Вукатова прикладом хоть и сильно, но все же тот вскоре оклемался, побежал к командиру и доложил, что группа воров пошла сдаваться гитлеровцам.

Недооценил Серый лейтенанта, приняв его за деревенского вахлака! Кузьмичев быстро сообразил, что надо предпринять. И

пока крадучись шли воры по оврагу, лейтенант с группой сержантов напрямую пробежал по нейтральной зоне и встретил их у выхода из оврага. А чтобы не произошла стычка и не было потерь, Кузьмичев придумал маскарад под немца. Затея его прошла удачно.

Обалдевшие от всего происшедшего, блатняки и с ними Ромашкин долго не могли прийти в себя, сидя в блиндаже, где их заперли, подперев дверь бревнышком и поставив часового.

Так неожиданно завершилась затея Серого с побегом. Он вообще всю свою жизнь был в бегах, как сам рассказывал — получал срок, сидел, сколько сам хотел для отдыха, и потом убегал. Он был мастер по побегам. И вот последний в его жизни, самый крупный, групповой, — получился не побег на волю, а побег из жизни.

Сидя во мраке блиндажа, урки ни о чем не говорили. Каждый понимал — пришел конец. Говорить не о чем. Все знали, что предстоит. В траншее, за дверью произошел разговор командира роты с комиссаром полка и смершевцем. Отчетливо были слышны их слова, да они и не таились.

— Они здесь? — спросил комиссар. Ромашкин узнал его голос, он проводил беседу в лесу, до выхода на передовую.

— Тут вся компания — все шестеро, — ответил голос ротного Старовойтова.

— Будем вести расследование? — Этот голос Василий не знал, но, наверное, это был смершевец.

— А зачем? — тоже вопросом ответил комиссар Лужков. — Преступление налицо. Они сами сказали, идут сдаваться! Какое ещё расследование? Есть на этот счет приказ: перебежчиков, трусов и паникеров расстреливать без суда и следствия. Вот утром и расстреляем перед строем. Чтобы другим неповадно было! Вы, капитан, подготовьте надежных бойцов из старослужащих для приведения приказа в исполнение.

— Слушаюсь, а где будем, — Старовойтов замялся, придется выполнять такое «деликатное» поручение, — где будем… исполнять?

— На пути к штабу полка, там у выхода из лощины есть хорошая поляна. На ней и постройте штрафную роту. А я дам распоряжение, чтобы туда вывели подразделения, которые не находятся в первой траншее. Пусть все видят. Мы с предателями миндальничать не станем. Будем расстреливать беспощадно!

Все произошло так, как приказал комиссар. Пойманных привели на поляну, где буквой "П" стоял строй. Приговоренных поставили лицом к строю в том месте, где у буквы "П" пустота.

Серый стал теперь уже не только по кличке, но и по

внешности серым. Он похудел и сник за эту ночь, потерял свою бравую внешность, ссутулился, смотрел в землю. Гена-Тихушник и перед смертью был невозмутим, держался спокойно, будто ничего особенного не происходит, он был бесцветен, как всегда. Егорка-Шкет суетился, даже стоя на месте перебирал ногами, словно земля обжигала ему ступни. Его всегда мокрый рот был слюнявее обычного. Не обращаясь ни к кому, он нервно повторял: «Как же так, братцы?» Впервые в жизни он произносил это серьезно, не дурачился. Гаврила-Боров был угрюм, этот не побледнел, наоборот, толстая шея его налилась кровью. Борька-Хруст подергивался в каких-то конвульсиях, щёки и глаза у него запали, покрылись глубокими тенями.

Как выглядел сам Ромашкин, он не знал, но уверен — отвратительно! Он желал только одного, чтобы поскорее было совершено справедливое возмездие и его вычеркнули из жизни. Так стыдно и унизительно было стоять под взглядом сотен устремленных глаз! Подразделения серой стеной стояли напротив, и в этой однотонной серой стене Ромашкин лиц не различал, видел только множество глаз. Он молил Бога: "Скорее бы! Господи, неужели об этом узнают мама и папа? "

Вышли и встали перед ними шестеро солдат — по одному на каждого. Напротив Ромашкина стоял, и он узнал его, тот самый пожилой боец, который сказал вчера — всех вас убьют. И ещё рассказывал какую-то историю про повешенных, а лейтенант Кузьмичев велел ему говорить про героическое.

Капитан Старовойтов, колыхая своим бабьим задом, вышел перед строем, достал из планшетки бумагу. Приготовился читать. И, будучи пунктуальным, исполнительным человеком, ещё до оглашения приказа скомандовал:

— Заряжай!

Клацнули затворы.

Ротный читал приказ, четко выговаривая каждое слово, следил за своей дикцией. И все же смысл Ромашкин не понимал, не осознавал — уловил только три слова — расстрелять, привести в исполнение.

Капитан аккуратно положил приказ в планшетку. Секунды казались вечностью. Затем Старовойтов зычно, чтоб слышали все подразделения, скомандовал:

— По изменникам Родины — огонь!

Бойцы вскинули винтовки к плечу и выстрелили. Залп разорвал тишину, ударился об опушку леса и застрял меж деревьев.

Упали молча, без криков, стоявшие справа от Ромашкина Серый и Гаврила, слева рухнули Генка, Борис и Егор. Борька-

Хруст не то икнул, не то ойкнул. Они лежали неподвижно, только у Серого мелко дрожали пальцы на руке. И шрам на перебитом носу стал совсем белый.

Ромашкин, не чувствуя боли и вообще не понимая, что происходит, думал: «Может быть, так и бывает после смерти? Говорят же, душа бессмертна. Может быть, тело мое убили, и я упал. А душа все это видит?»

Но рядом происходила очень земная сцена. К пожилому солдату, который стрелял в Ромашкина, подбежал капитан Старовойтов, от растерянности его висячий красный нос прямо болтался, как маленький хобот. Капитан закричал бабьим голосом:

— Ты что, промазал?

— Вроде бы целился как надо…

— Куда же ты целился? Куда пуля полетела?

— Может, винтовка плохо пристреляна, — оправдывался боец.

— С такого расстояния без всякой пристрелки слепой попадет!

Подошел комиссар Лужков, тоже озабоченный.

— Что произошло?

— Не понимаю, товарищ майор, — докладывал Старовойтов, приложив руку к козырьку и выпячивая бабью рыхлую грудь

А Василий все стоял. Слышал и не слышал этот разговор. Ощущал себя как душу, парящую над всем этим.

Подошедший лейтенант Кузьмичев пояснил комиссару:

— Он ещё вчера какую-то байку рассказывал насчет повешенного, у которого веревка оборвалась. А вторично, мол, вешать не стали, не полагается, потому что смерть не приняла. Значит, Бог сберег. В общем, что-то вроде этого. Мистика какая-то.

— Ты в Бога веруешь? — спросил бойко комиссар.

— Нет, не верю. Я в справедливость верю, товарищ майор, я знаю, бывший курсант Ромашкин не хотел с теми идти, они его заставили.

— Что он, теленок, чтоб его заставить! — буркнул комиссар.

— Но что же делать? Подразделения уже уводят, не возвращать же их.

— Судить его будем, — подсказал ротный.

— Кого? — спросил комиссар. — Красноармейца Сарафанова или недострелянного?

— Я думаю, этого, сама логика подсказывает, — показал на Ромашкина капитан Старовойтов.

— Как же его судить, он уже осужденный — штрафник. И к

тому же ещё приговорен по приказу к расстрелу. Он в списке упоминается!

А Ромашкин слушал этот разговор, даже промелькнуло на миг: «Как в списке доходяг, вывезенных на кладбище, — раз ты в списке мертвых, значит, должен быть мертвым, и нечего открывать глаза!»

И вдруг, не владея собой, совсем не желая этого, а как-то непроизвольно Василий опустился на землю, сел рядом с расстрелянными, и громкие рыдания выплеснулись из его груди.

Командиры смотрели в его сторону в некоторой растерянности.

— Все же он курсант, — тихо говорил пожилой боец, — надо его помиловать. Ведь того висельника тоже как-то вычеркнули из списка…

— Ладно, уведите его в роту, — приказал комиссар. — Будем разбираться.

Пожилого солдата звали Иван Тихонович Сарафанов. На всю оставшуюся жизнь Василий запомнил его имя.

Штрафник не всегда смертник

На следующий день штрафную роту послали в атаку без артиллерийской подготовки, без поддержки танками. Капитан Старовойтов скомандовал: «Вперед!» — и остался в траншее. Только младший лейтенант, тот, с медалью на груди, пошел с бойцами. Штрафники перебивали колючую проволоку прикладами, а немцы били их прицельным огнем. Уцелевшие от губительного пулемётного огня все же влетели в немецкую траншею. Был и Ромашкин в той рукопашной, стрелял направо и налево по зеленым немецким мундирам. Немцы убежали из первой траншеи. Но вскоре страшный, как обвал, налет артиллерии обрушился на траншею и перемешал штрафников с землей. Подошли три танка и стали добивать из пулемётов тех, кто уцелел. Остались в живых из четырех взводов девять человек — те, кто добежал назад в свою траншею. Правду сказал тот старый мудрый солдат: «Всех завтра перебьют», он такое, наверное, видел не раз.

Но закон есть закон — искупать вину полагалось кровью. Позднее штрафные роты посылали в общем наступлении на самом трудном участке, там, где на штабной карте было острие стрелы, показывающей направление главного удара. Но первые «шурочки» погибали бессмысленно, слова приказа «искупить кровью» понимали и исполняли буквально. Штрафников посылали в бой без артиллерийской и какой-либо другой поддержки.

Девять уцелевших, усталых и вымазанных в земле и копоти, предстали пред светлые очи начальства. Комиссар Лужков, глядя на Ромашкина, ухмыльнулся:

— Ну, ты прямо заговоренный! А вообще-то вы, м…, траншею немцев захватили, но не удержали. Ждите следующую штрафную роту, через пару дней прибудет. Вольем вас туда.

И влили. Вновь прибывшая рота была такая же, как предыдущая, с которой приехал на фронт Ромашкин, большинство — зеки из лагерей, уголовники, бытовики и политические с малыми сроками. Были в этой роте и осужденные по новым причинам: дезертиры, отставшие от эшелонов и потерявшие свои части при переездах.

Роту разместили в опустевшей деревне, жители ушли из прифронтовой полосы. В избах уставшие после марша штрафники легли вдоль стен на пол. Василий бросил вещевой мешок на свободное место в углу, сел, привалился к мешку спиной и закрыл глаза. Он был в полупростации от пережитых за

последние дни потрясений: расстрел, атака, рукопашная, — как в болезненном бреду, все перемешалось в его голове. Иногда казалось, что все это происходит не с ним, его уже нет, и видит он происходящее как-то со стороны. Хотелось забыться, отдохнуть, отойти от этого страшного сумбура.

Но жизнь продолжалась. На тот раз она вторглась, не считаясь с желанием Ромашкина, в образе соседа, молодого парня с веселыми глазами, в которых так и прыгали хитринки и лукавство. Светлые волосы его были расчесаны на аккуратный, в ниточку пробор, форма такая, как у всех, но сидела на нем аккуратно, будто для него сшита. Он был похож на студента-первокурсника, благополучно закончившего школу и выросшего в интеллигентной семье.

В противоположность Василию, которому хотелось помолчать и отдохнуть, сосед оказался очень общительным. Как только Ромашкин привалился на свой вещмешок, парень спросил:

— Ты за что угодил в штрафную?

Василию очень не хотелось говорить и тем более рассказывать о своем прошлом. Коротко сказал:

— Я по приказу, — и, чтобы не продолжать, сам спросил: — А ты за что?

Парень оказался очень словоохотливым, с веселыми усмешками стал рассказывать:

— Я карманник. Не просто кому-то случайно в карман залез, а давно этим занимаюсь, понимаешь? Могу даже часы с руки увести, в толкотне в трамвае или в автобусе. Я уже несколько судимостей имею. Карманникам большие срока не дают: год — два. И то если засекут как рецидивиста. А чтоб не засекли, я на следствии проходил под разными фамилиями. Каких только я не напридумывал! Но всегда фартовые — Валетов, Солнцев, Трефовый. А однажды, чтобы позабавиться, сказал при составлении протокола о задержании такую фамилию, что менты записать не могли.

Парень произнес эту фамилию, она состояла из звуков, которыми останавливают лошадь, и записать её действительно невозможно:

— Тпрутпрункевич! — Сосед от души смеялся над своей выдумкой. — Ох и помучились со мной легавые, когда бумаги оформляли!

Ромашкин спросил:

— Ты и сейчас под этой фамилией?

— Нет, теперь я Голубев, Вовка Голубев, по кличке Штымп. Так меня прозвали за то, что любил пофорсить, всегда с иголочки одевался. А Голубевым я стал при последней промашке —

сумочку у бабы раскурочил, а она рюхнулась и давай кудахтать: «Воришка! Воришка!» А я где-то слышал или читал про «голубого воришку». Ну, когда меня схватили и стали в отделении оформлять, и я назвался первым, что в башку пришло, — Голубев.

От двери крикнули:

— Выходи получать оружие!

Рота построилась в центре деревни. Командиры были те же — капитан Старовойтов, лейтенант Кузьмичев и другие. Только не было младшего лейтенанта с медалью «За отвагу», он погиб в рукопашной.

Оружие, как и в первый раз, было грязное. «Может быть, от нашей роты с поля боя собрали», — подумал Ромашкин.

— Оружие почистить! Патроны получите на передовой, — сказал лейтенант Кузьмичев, во взвод которого опять был зачислен Ромашкин.

Вовка Голубев не отходил от Василия, когда оружие чистили, на кухню за едой ходили, ну, и в избе спать улеглись. Он весело рассказывал о своем житье-бытье. Василий, довольный, что его не расспрашивают, рассеянно слушал Вовку.

Ночью роту подняли командиры.

— Выходи строиться!

— С вещами или просто так? — спросил из темноты Вовка.

— В полном боевом! Пойдем на передовую.

Батальонный комиссар Лужков сказал перед строем:

— Товарищи, настал час, когда вы сможете доказать свою преданность Родине, искупить грехи, очистить свою совесть и стать полноправными советскими гражданами. Страна вам поверила, дала оружие. Теперь дело за вами. Мы надеемся, вы оправдаете доверие. За проявленное мужество и геройство каждый может быть освобожден из штрафной роты досрочно. Бейте врагов беспощадно — это будет лучшим доказательством вашей преданности! — Он помолчал, спросил: — Вопросы есть?

— Все понятно.

Шли сначала лесом, потом полем, за которым уже были видны вспышки ракет. Скоро стали долетать яркие трассирующие пули.

Ветер обдавал тошнотворным сладковатым запахом.

— Это чем воняет? — спросил Вовка.

— Трупы, — ответил Ромашкин.

— Разве их не убирают?

— В нейтральной зоне не всегда можно убрать.

Когда вышли в первую траншею, лейтенант Кузьмичев объявил:

— Один день будете в этой траншее, чтобы оглядеться,

изучить местность. В наступление пойдем завтра. Нам приказано овладеть высотой, которая перед нами, уничтожить там фашистов и в дальнейшем взять деревню Коробкино — её не видно, она в глубине обороны немцев, за этой высоткой. Можно отдыхать, спать в блиндаже и в траншее. Дежурить будете парами по два часа. — Он назвал фамилии, кто с кем и в какое время будет дежурить.

По распределению взводного Ромашкин попал в паре с Нагорным — человеком с какой-то неопределенной внешностью: худощавый, опрятный, лет пятидесяти, но серые глаза такие усталые, будто прожил сто лет. Он попросил Ромашкина:

— Вы просветите меня, что мы будем делать? Ромашкин посмотрел на усталое лицо и в озабоченные глаза Нагорного.

— Будем следить за фашистами, чтоб неожиданно не напали. — Ромашкину захотелось испытать напарника, и он добавил: — И посматривать за своими, чтоб фашистам кто-нибудь не сдался.

Нагорный перешел на доверительный тон, соглашаясь с Ромашкиным, зашептал:

— Совершенно справедливые опасения, тут есть разные люди. От некоторых можно ожидать! Извините, если вам будет неприятен вопрос, но мне как-то непонятно, что общего вы нашли с уголовником Вовкой Голубевым?

— А мне интересно, — сказал Ромашкин, — любопытно посмотреть на него, так сказать, вблизи.

Нагорный задумчиво посмотрел в сторону.

— Простите меня, но не могу с вами согласиться. Я наблюдал таких людей в лагере не один год — и знаю, чего они стоят. Они живут удовлетворением самых примитивных потребностей — поесть, поспать, полодырничать, стремления самые низкие, я бы даже не назвал их скотскими, потому что животные не пьянствуют, не развратничают, не обворовывают, не играют в карты, не убивают. Таких людей надо остерегаться, держаться от них подальше, потому что они способны на все.

— Скажите, а где вы жили до ареста, кем были? И вообще, за что вас посадили? — спросил Ромашкин. Нагорный печально усмехнулся:

— За что? Я и сам этого не знаю. В общем, это ещё предстоит узнать… Я литературовед, профессор. Жил в Ленинграде. У меня остались там жена и дочь… Чудесное шаловливое существо. Ей уже пятнадцать лет. В тридцать седьмом было всего десять. Живы ли? Они в Ленинграде. Написал им письмо об отправке на фронт. Не знаю, дойдет ли.

Ромашкин верил этому человеку, очень искренней была его

грусть.

Подошел командир взвода:

— Вот ты где. Послушай, Ромашкин, ты уже опытный, — завтра, когда пойдем в атаку, помоги на левом фланге. Сам знаешь, народ необстрелянный, испугаются пулемётов, залягут, потом не поднять. Помоги, штрафники тебя послушают, ты с ними общий язык найдешь.

Много ли нужно человеку в беде? Иногда не деньги, не какие-то блага, а сознание, что ты сам кому-то нужен. Вот не помог лейтенант ничем, а сам помощи попросил — и светлее стало у Василия на душе, воспрянул духом.

— Не беспокойся, лейтенант, на левом фланге будет полный порядок!

— Ну, спасибо тебе.

Когда начало светать и Ромашкин уже посчитал, что ночь прошла спокойно, вдруг неожиданно артиллерия гитлеровцев обрушила на наши траншеи лавину снарядов и мин. Вмиг все смешалось в грохоте взрывов. Ромашкин упал на дно окопа и заполз в «лисью нору». Он понял: немцы обнаружили подготовку к атаке и решили провести артиллерийский налет.

Ураган бушевал недолго. Когда обстрел прекратился, было уже утро, но в дыму и пыли все ещё ничего не было видно.

Ромашкин пошел по развороченной снарядами траншее. За одним из поворотов увидел несколько трупов. Их, видно, убило одним из первых разрывов, когда стояли и о чем-то разговаривали. Полузасыпанные землей и обезображенные взрывом, они превратились в кровавое месиво.

Вовка Голубев, дрожащий и жалкий, подбежал к Ромашкину и затараторил:

— Я с ними курил! Побрызгать отошел! И тут загрохотало! А когда кончилось, гляжу — из них уже отбивная! Я же на минуту отошел! Вот не отошел бы, и мне хана, лежал бы с ними вместе.

Штрафную роту, несмотря на артналет и потери, двинули в атаку в назначенное время.

Ромашкин услышал, как ротный Старовойтов доложил по телефону:

— Шурочка пошла вперед! — А сам зарядил свежую ленту в станковый пулемёт и остался в траншее.

Взводные выпрыгнули на бруствер и кричали:

— За Родину! Вперед! — Но сами стояли на месте, ждали, пока вся рота вылезет из траншеи и развернется в цепь.

Рядом с Василием бежал Нагорный, он истово провозглашал эти же слова:

— За Родину! За нашу Родину!

А с другого бока бежал Вовка Голубев, он перепрыгивал через воронки и старые трупы, не обращая внимания на свист пуль и падающих штрафников — то ли убитых, то ли раненых, все ещё пояснял Ромашкину:

— Надо же мне было от них отойти! Не ушел бы, накрылся бы я с ними!

Ромашкин с гулко бьющимся сердцем бежал вперед, невольно ждал удара пули или осколка. Объяснения Вовки улавливал лишь наполовину, но все же отмечал в подсознании: «Какой смелый, черт, разговаривает, будто ничего не происходит». Ромашкин помнил и просьбу взводного, наблюдал за левым флангом, покрикивал:

— Вперед! Вперед, ребята!

Заметив, как несколько человек залегли от близкого взрыва, метнулся к ним:

— Встать! Вперед!

На него смотрели снизу глаза, полные ужаса, бойцы вжимались в землю не в силах оторваться от нее. Ромашкин понимал: ни разговоры, ни просьбы сейчас не помогут, против животного страха может подействовать лишь ещё более сильная встряска.

— Пристрелю, гады! Встать! Вперед! — грозно крикнул Ромашкин, наводя винтовку на лежащих.

Они вскинулись и побежали вперед, глядя уже не на ту смерть, которая летела издали, а на ту, что была рядом, в руках Ромашкина.

Не успели добежать до траншеи врага, как с низкого серого неба хлынул дождь, он обливал разгоряченное тело, прибавил сил. Запах гари взрывов на некоторое время сменил аромат теплой травы.

— Ура! — кричали штрафники и неслись на торчащие из земли мокрые каски.

Фашисты торопливо стреляли. Ромашкин видел их расширенные от ужаса глаза, дрожащие руки. Штрафники прыгали сверху прямо на головы врагов.

Рукопашная схватка была короткой — торопливые выстрелы в упор, крики раненых, ругань штрафников, несколько глухих взрывов гранат, брошенных в блиндажи.

— Вперед! — кричал Ромашкин. — Не задерживайся в первой траншее! — Он помнил приказ — взять деревню Коробкино, которая дальше, за этой высотой.

Справа командиры тоже выгоняли штрафников из блиндажей: кое-кто полез потрошить ранцы убитых гитлеровцев, снимать часы.

— Вперед, буду стрелять за мародерство! — неистовствовал Кузьмичев.

Волна атакующих покатилась дальше, ко второй траншее. А в первой, на дне ее, остались лежать втоптанные в грязь в зеленых мундирчиках те, кто несколько минут назад стреляли из пулемётов и автоматов. Вроде бы никто из гитлеровцев не убежал, но из следующей траншеи опять стреляли пулемёты и автоматы, мелькали зеленые, блестящие под дождем каски.

Вдруг вскрикнул и зашатался Нагорный.

— Зацепило? — сочувственно спросил Ромашкин.

— Кажется, да. Но я пойду вперед. Я могу. — Нагорный держался за грудь рукой, под пальцами на мокрой гимнастерке расплывалось красное пятно. Он побежал вместе со всеми, но постепенно стал отставать. Несколько раз падал, спотыкаясь на ровном месте, но поднимался и шел вперед.

«Вот так, наверное, и папа, — подумал Василий. — Он тоже был скромным, тихим, но в бою от других не отставал».

Ромашкин, оглядываясь, видел Нагорного, очень хотелось помочь ему, однако железный закон атаки — все идут только вперед — не позволял это сделать. Те, кто ранен, помогут друг другу. Живые должны продолжать свой бег навстречу врагу и поскорее убить его, иначе он сразит тебя.

Нагорный все же дошел до второй траншеи. Здесь на роту обрушился сильный артиллерийский налет. Все бросились на мокрое, скользкое дно, лежали некоторое время, не поднимая головы. Снаряды рвали землю совсем рядом. Кислый запах разопревшей от дождя и пота одежды заполнил траншею, набитую людьми.

Когда обстрел прекратился, Ромашкин хотел перевязать Нагорного — тот лежал рядом.

— Не надо. Бесполезно. — Он смотрел на Василия добрыми усталыми глазами. — Это даже к лучшему. Если бы вы знали, как я устал! Я очень боялся, что умру без пули. Без крови. Не сниму с себя обвинения. И вот, слава Богу, я убит. Очень прошу сообщить домой, в Ленинград. Пусть знают — я никогда врагом не был. Вот окончательно доказал это. Теперь жене, дочери… легче жить будет… — Нагорный обмяк, рука упала с груди, открыв густо-красное пятно на потемневшей от дождя гимнастерке.

«С простреленным сердцем шел человек в атаку, — подумал Ромашкин, — очень дорожил он своим добрым именем; сделал все, чтобы восстановить его».

Дождь обмывал лицо Нагорного, оно было спокойным и строгим, лишь одна обиженная морщинка пересекала его высокий лоб. Эта морщинка была единственным упреком за

несправедливые подозрения и кару соотечественников.

Из-за поворота траншеи вдруг выбежал немец при орденах, с серебряным шитьем на воротнике и рукавах мундира. Василий схватился за винтовку, но «фриц», весело улыбаясь, закричал:

— Это я! Вовка!

Ромашкин узнал Вовку Голубева.

— Ты зачем в эту дрянь нарядился?

— Мои шмотки промокли под дождем, а это сухое. Смотри, сукно — первый сорт! Я в блиндаже чемодан раскурочил. Там ещё барахло есть, может, и ты в сухое переоденешься?

— Неужели не понимаешь, что это подло?

— Почему? — искренне удивился Вовка.

— Это одежда врага, фашиста. Смотри, кресты на ней. Он их получил за то, что нашего брата убивал.

Подошел Кузьмичев.

— Пленный? — спросил он Ромашкина. Ромашкин, не зная что сказать, молча отвернулся. Лейтенант, узнав Голубева, разозлился.

— Чучело огородное! Снять немедленно.

Голубев убежал в блиндаж. Лейтенант сказал Ромашкину:

— Спасибо тебе, вовремя ты поднял левый фланг, а то бы не дошли мы сюда. Уж как один фланг заляжет, и другой далеко не уйдет. Ну что ж, будем закрепляться здесь.

— Дальше разве не пойдем?

— Не с кем — немного в роте людей осталось.

Ромашкин оглянулся — на поле лежали под дождем те, кто ещё утром составлял штрафную роту. Большинство головой вперед, как срезала на бегу пуля. Ромашкин во время атаки не видел, когда падали все эти люди. В атаке он следил за тем, чтобы все бежали вперед, и сам смотрел туда, откуда должна прилететь смерть; кажется, на минуту ослабишь внимание — и она тебя сразит, а когда пристально глядишь ей в глаза — не тронет, минует. Глядя на убитых, Ромашкин подумал: «Теперь с них судимость снята…».

И ещё раз побывал Василий в рукопашной. И наконец-то… был ранен в плечо. Кровь была — указ соблюден, из штрафной роты его освободили и отправили в госпиталь.

Впервые за последние два года Ромашкин отоспался в чистой госпитальной постели. О пережитом думать не хотелось. Все произошло так стремительно, порой даже не верилось, что это действительно было: в течение нескольких недель — желанная свобода, пьяный эшелон штрафников, расстрел, рукопашные в окопах немцев и вот тишина в госпитальной палате.

Но, отоспавшись в покое госпитальной палаты, Василий

постоянно мысленно возвращался в пережитое за последние годы. Несмотря на то, что все для него заканчивалось удачно, он ощущал какое-то обременительное недовольство. ещё и ещё перебирая самые опасные дни, Василий понял наконец, что недоволен не исходом этих критических ситуаций, а не одобряет он себя, свое поведение. Всегда и всюду он находился под чьим-то влиянием, кто-то со стороны определял его поведение, а он выполнял то, к чему его принуждали другие. Именно принуждали, сам он не хотел так поступать, но под давлением чужой воли или власти покорялся. Следователь Иосифов заставил подписать протокол, будто Ромашкин сознательно вел антисоветские разговоры; Серый в лагере принудил согласиться на побег и готовиться к нему; а потом и на передовой Василий, как загипнотизированный, подчинился его команде и едва не оказался в плену у немцев.

«Нет, хватит, — твердо решил Ромашкин в результате этих тяжелых раздумий. — Хватит жить по чужим желаниям. Уже не мальчик! Кончилась моя молодость. Тюрьму, лагеря, даже расстрел прошел — пора своей головой жить!»

Получилось так, что в госпитале Ромашкин не только здоровье поправил, но и душу подлечил, лег в постель юношей, а поднялся с нее взрослым мужем. По-другому стал он воспринимать происходящее вокруг и людей, с которыми встречался. В общем, юношу Ромашкина расстреляли за его несамостоятельность и покорность другим. Вступал в жизнь новый, иной Ромашкин, со своим горьким опытом и своей твердой волей.

И часто, вспоминая своего спасителя, очень жалел, что не поговорил с ним, не поблагодарил за подаренную жизнь, не узнал, кто он, из каких краев родом. Ромашкина сразу увели в расположение штрафной роты, а красноармеец Сарафанов остался в своем подразделении.

Ранение у Василия было легкое, без повреждения кости.

Поправился быстро. Через неделю отправили вместе с другими выздоровевшими в Гороховецкий учебный центр недалеко от Горького, где формировались новые части. Начальник штаба, прочитав заполненную Ромашкиным анкету, сказал:

— Ты же готовый командир. Пойдешь на краткосрочные курсы младших лейтенантов. Через месяц звание получишь, и вперед, на запад!

Курсы по подготовке младших лейтенантов были здесь же, в Гороховецком военном городке. На фронте дела шли очень плохо. Те края, где побывал Ромашкин, на Смоленщине, уже захватили

немцы. И сам Смоленск тоже взяли. Наши войска с упорными боями отступали. Очень не хватало командиров, особенно среднего звена — взводных и ротных.

На курсы прибывали сержанты срочной службы и молодые парни, закончившие десять классов и прослужившие в армии хотя бы год.

Ромашкин в такой аудитории выделялся своими знаниями не только из обучаемых, но был на голову выше тех, кто преподавал им военные дисциплины. Через несколько дней он превратился из курсанта в помощника командира, он прекрасно знал оружие, теорию и практику огневой подготовки, тактику. В строевой никто с ним не мог соперничать — он знал уставные команды и все тонкости смотров и даже торжественных маршей. Да и сам Василий, подтянутый — форма на нем выглядела просто элегантно, — являл собой образец строевого командира.

На курсах его уважали, ставили другим в пример.

За время учебы Василий подружился со многими ребятами. Наконец-то его окружали чистосердечные, бесхитростные парни.

Особенно близкими друзьями стали: Виктор Сабуров — здоровяк из Челябинска, он хоть и был свежеиспеченный десятиклассник, выглядел старше, потому что занимался штангой и накачал себе плечи взрослого мужчины, и голос у него был не юношеский — басовитый. Пришелся Василию по душе и горячий, порывистый Хачик Карапетян, всегда веселый, выдумщик и хохм, и подначек. И ещё интеллигентный, хорошо воспитанный студент второго курса университета Игорь Синицкий — очень знающий, всегда готовый помочь и подсказать при затруднениях на политподготовке.

На занятиях постоянно вместе и в редкие увольнения в город тоже ходили вчетвером. В шутку называли себя капеллой — Синицкий придумал это название по своей образованности. Карапетян звал друзей по-своему — архаровцы. Какие-то в горах Армении водятся гордые, величественные архары, вот Хачик и считал своих друзей похожими на них и говорил: «Архаровцы, пора на ужин» или «Архары — сегодня идем охотиться на стройных козочек». А сам на танцах в городском клубе трепетал, как лист на ветру, стесняясь и не решаясь пригласить девушку на танец. Очень чистые, скромные, сами как барышни были новые друзья Ромашкина. Сравнивая их с Хрустом, Боровом, Тихушником, Василий поражался: «Какие разные, непохожие люди, просто полная противоположность по взглядам и целям в жизни, ходят по одной и той же земле».

Месяц учебы промелькнул как один день. Дела на фронте все ухудшались. Немцьг подходили к Москве. После выпускных

экзаменов Ромашкину присвоили звание не младшего (как другим), а лейтенанта, в соответствии с его более высокими знаниями военного дела. И никто ему не завидовал, все считали это справедливым и заслуженным.

Наконец-то Ромашкин надел такую желанную командирскую форму! И хоть это была х/б, а не габардиновая, какую примерял он в училище, все же два кубаря горели на петлицах, а малиновые шевроны с золотой оторочкой красовались на рукавах. И широкий ремень комсоставский хрустел на нем обворожительно. Только сапоги выдали не хромовые, а яловые. Но их Василий надраил так старательно, что сияли они не хуже хромовых.

В дни учебы на курсах Василий читал газеты, слушал радио и лекции в часы политподготовки, вроде бы разобрался в военно-политической ситуации. Не мог он понять только одного — почему любимая им Красная Армия, которую он считал могучей и непобедимой, отступает в глубь страны и сдает города? За короткое, всего несколько дней пребывание на фронте в составе штрафной роты Василий ничего не видел, кроме двух атак и рукопашных схваток. Что-то понять за те дни он не успел. Ему и сейчас казалось, что на фронте не ладится потому, что так не хватает таких, как он, — не растерявшихся, что там что-то недоделывают, недопонимают и пятятся. Ему не терпелось поскорее попасть в действующую армию и показать свою удаль.

Огорчало его ещё и отсутствие писем из дома. Находясь на курсах, да и с эшелона штрафников Ромашкин отправил несколько писем, но ответов не получил.

Штрафная рота была постоянно в движении, где её искать. А сюда, на курсы, если и придет ответ, то, видно, после его отъезда. Почта работала плохо: за месяц в Оренбург и обратно письма доставить не успевала.

Выпускников отправляли в формирующиеся части отдельными командами. Василия включили в ту, которая направлялась в Москву.

Вот он, фронт

В команде было двадцать человек. Восемнадцать младших лейтенантов, молоденьких, в новых гимнастерках, не утративших запах складского нафталина, с рубиновыми кубарями на петлицах.

Ехал в этой же команде, кроме Ромашкина, ещё один лейтенант — Григорий Куржаков. Он был лет на пять старше выпускников, отличался от них многим: служил в армии ещё до войны, провоевал первые, самые тяжелые месяцы, был ранен — на выгоревшей гимнастерке его две заштопанные дырочки на груди и спине — влет и вылет пули.

Куржаков был худ, костистые скулы обтягивала желтоватая нездоровая кожа, голова острижена под машинку, зеленые глаза злые, тонкие ноздри белели, когда его охватывал гнев. Казалось, в нем ничего нет, кроме этой злости, она то и дело сверкала в его зеленых глазах, слетала с колкого языка — Григорий ругался по поводу и без повода.

В отделе кадров Куржакова, как более опытного, назначили старшим команды.

Казалось бы, фронтовик, бывалый вояка должен вызвать уважение, любопытство у необстрелянных лейтенантиков. Но этого не произошло. Старший команды и выпускники с первой минуты не понравились друг другу.

Получив проездные документы, продовольственные аттестаты и список, Куржаков построил команду, чтобы проверить, все ли налицо. С нескрываемым презрением он смотрел на чистеньких командирчиков, морщился оттого, что они четко и слишком громко отзывались на свои фамилии.

Куржаков закончил проверку, громко выругал временно ему подчиненных и сказал:

— Нарядились, как на парад, салаги сопливые. Имейте в виду, кто в дороге отстанет, морду набью сам лично. Пошли на вокзал.

И повел их не строем, как привыкли ходить в училище, а просто повернулся и пошел прочь, даже не подав команду «Разойдись». Лейтенанты переглянулись и поплелись за ним. «Наверное, у них на фронте все такие, — подумал Ромашкин, — поэтому ничего и не получается. Какой же он командир — ни одной команды по-уставному не подал!»

В поезде Куржаков держался замкнуто, почти ни с кем не разговаривал, больше спал, отвернувшись лицом к стенке. Лейтенанты ходили по вагону, красовались, как молодые

петушки, и казались себе отчаянными вояками. Старшего команды все же побаивались, вино пили тайком. Ромашкин, как равный в звании с Куржаковым, вынужден был занять место в том же купе, его втолкнули туда свои же ребята. Соседство было ему неприятно, портило настроение. Василий проводил время со своей братвой, на их местах, дымил папиросами, рассказывал анекдоты, всем было весело. После строгой дисциплины на курсах лейтенантов охватило чувство полной свободы и независимости. Если бы не этот Куржаков, поездка была бы прекрасной. О чем бы ни говорили молодые командиры, разговор то и дело возвращался к старшему команды. Ребята распалились не на шутку.

— Надо устроить ему темную, — предложил Синицкий, свирепо сжимая губы.

— Зачем темную, Васька ему в открытую врежет. Он лейтенант, и тот лейтенант. Равные по званию. Ваське ничего не будет, — рассудительно подсказывал Сабуров.

— И врежу, — подтвердил Василий, — у меня первый разряд по боксу, обработаю — сам себя не узнает.

— Жаль, оружие нам не выдали, а то бы я ему показал, — воскликнул Карапетян.

— Решено, братва, если Куржаков на кого-нибудь кинется, даем отпор!

Василий в свое купе вернулся поздно, в вагоне почти все улеглись. Куржаков выспался днем и теперь одиноко сидел у столика, перед ним стояла банка свинобобовых консервов и поллитровка, наполовину опустошенная. Как только он увидел Василия, ноздри его дернулись и побелели.

— Явился, не запылился, — сквозь зубы сказал Куржаков.

— Да, явился, — вызывающе ответил Ромашкин, — и не твое дело, где я был и когда пришел.

— Чего? Чего? — спросил Куржаков и стал медленно подниматься, хищно втягивая голову в плечи. В этот миг он был похож на Серого.

— То, что слышал, — бросил ему Василий и почувствовал, как от взгляда Куржакова в груди стало вдруг холодно. Но горячий хмель вмиг залил этот холодок, и Ромашкин уже сам, желая драки, шагнул навстречу.

— Отдал немцам половину страны, да ещё выпендриваешься, героя из себя корчишь, фронтовик-драповик…

И сразу же на Василия посыпались частые удары, он даже не успел принять боксерскую стойку. Куржаков бил его справа и слева, бил с остервенением. На ринге Василий никогда не видел у противников таких неистовых глаз, он растерялся. А Куржаков,

видно совсем осатанев, схватил со стола бутылку и ударил бы по голове, если бы Василий не защитился рукой. Григорий стал судорожно расстегивать облезлую кобуру. И, наверное, убил бы Василия, если бы не кинулся с верхней полки майор да не навалились прибежавшие из соседних купе.

— Убью гада! — хрипел Куржаков, вырываясь. Куржакова связали, его пистолет взял майор.

— Отдам в конце пути, — сказал он Григорию. — Успокойся. Остынь. Хочется тебе руки пачкать? — Майор зло глянул на Ромашкина и процедил сквозь зубы: — А ты, сосунок, мотай отсюда, не то я сам тебя вышвырну. На кого руку поднял? На фронтовика…

Остаток пути Василий старался не встречаться с Куржаковым.

Когда прибыли в Москву и отправились на трамвае искать свою часть, Григорий все время глядел мимо Ромашкина, будто его не существовало. Но желваки на худых щеках, злые зеленые глаза выдавали — Куржаков не забыл о случившемся.

— Почему вы нас так ненавидите? — вдруг наивно и прямо спросил Карапетян, когда вся команда стояла на передней площадке вагона и глядела на притихшие московские дома и полупустые улицы, перегороженные кое-где противотанковыми ежами и мешками с песком.

Куржаков сперва смутился, потом ответил негромко и твердо:

— Я себя ненавижу, когда смотрю на вас. Такой же, как вы, был питюнчик, пуговки, сапоги надраивал, на парадах ножку тянул, о подвигах мечтал… А немец вот он, под Москвой… На войне злость нужна, а не ваша шагистика. Надо, чтобы все наконец обозлились, тогда фашистов погоним. А у вас на румяных рожах благодушие. Война для вас — подвиги, ордена. — Куржаков сбавил голос, выругал их и вообще всех и закончил, глядя в сторону: — Убьют вас, таких надраенных, а немцев опять мне гнать придется.

— А тебя что, убить не могут?

— Меня? Нет.

— А это? — Карапетян показал на заштопанную дырку на гимнастерке.

— Это бывает — ранение. Зацепить всегда может, особенно в атаке. А убить не дамся.

— Чудной ты. Чокнутый, — покачав головой, сказал Карапетян.

— Ну ладно, поговорили, — отрезал Куржаков. Ромашкину показалось, что Григорий объяснял это для него.

В части, куда прибыла команда, шла торопливая формировка. По казармам, коридорам, складам, каптеркам бегали сержанты и

красноармейцы, все были одеты в новое обмундирование.

Тут и там строились роты. Командиры выкликали по спискам бойцов, старшины выдавали снаряжение. Полк заканчивал спешное формирование и должен был вот-вот выступить на фронт. Ходили слухи, что немцы снова где-то прорвались. Василий прислушивался и, казалось, улавливал глухой гул канонады. Но этот гул оказывался то грохочущим в узкой улице трамваем, то одиноким транспортным самолетом, который пролетел на небольшой высоте.

Молодых командиров без проволочки распределили по ротам. Ромашкин попал во вторую стрелковую. И надо же такому случиться, командиром её назначили Куржакова. Он, фронтовик, сразу получил роту. Василий хотел пойти в штаб, все объяснить и попроситься в другой батальон, но не успел: объявили общее построение.

Ромашкин знакомился с бойцами своего взвода. Сначала все двадцать два показались одинаковыми, потом стал различать — одни молодые, другие старше, двое совсем в годах — лет за сорок, такие же, как отец. «Посмотрел бы папа, какими людьми я командую!»

Строевой смотр был не таким, как ожидал Ромашкин. Оркестр почти не играл. Озабоченные, усталые командиры осматривали оружие, обувь, одежду, заглядывали в вещевые мешки. Только под конец роты прошли мимо полкового начальства нестройными, расползающимися рядами. На этом смотр и закончился.

Вечером Василий вышел за ограду, огляделся. Не верилось, что облупленные кирпичные и старые деревянные дома, узкие с грязным снегом улочки — это Москва. Совсем не такой представлялась ему столица. Он, конечно, понимал — здесь окраина; хотелось хотя бы ненадолго выбраться в центр, посмотреть на знакомый по открыткам Кремль, мавзолей, проехаться в метро. Но было приказано никуда не отлучаться, да днем и минуты свободной не было. Ну, а ночью такая вылазка была исключена, во всех казармах и на проходной висел отпечатанный в типографии приказ:

"Постановление Государственного Комитета Обороны.

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100 — 120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на её подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения

подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспорта и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта г. Москвы, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспорта должно происходить согласно правилам, утвержденным московской противовоздушной обороной и опубликованным в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта г. Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие.

Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

Москва, Кремль, 19 октября 1941 г.".

Весь день Василий был на морозе — с утра тактика, после обеда занятия в холодном, как склеп, бетонированном тире. Учили стрелять красноармейцев, которые впервые держали винтовку в руках. Тяжелые выстрелы в бетонном узком тире так набили барабанные перепонки, что в голове гудело. После ужина в теплой казарме Василия охватила приятная истома, он прилег отдохнуть и быстро заснул под мерный гул голосов.

Куржаков ходил между кроватями, ругал медлительных, разомлевших в тепле красноармейцев.

— Оружие отпотело, протрите. Раскисли! На фронт завтра, забыли?

Он остановился у койки, на которой, сдвинув ноги в сапогах в проход, лежал одетый Ромашкин. Хотел поднять его — улегся, мол, раньше подчиненных, даже не привел оружие в порядок, но посмотрел на румяное чистое лицо сладко спавшего лейтенанта, и что-то жалостливое шевельнулось в груди. Куржаков тут же

подавил в себе эту, как он считал, «бабью» слабость, но все же не разбудил Василия, пошел дальше, с яростью отчитывая бойцов:

— Оружие протирайте, вояки, завтра не в бирюльки играть, в бой пойдете!

Красноармейцы брали влажные, будто покрытые туманом винтовки, протирали их, а влага вновь и вновь выступала на вороненых стволах и казенниках.

— Смотри, железо, и то промерзло, притомилось, а мы ничего, ещё и железу помогаем, — бодрясь, сказал молодой боец Оплеткин.

— Не таратерь, лейтенанта разбудишь, — остановил его сосед, кивнув на Ромашкина.

— Сморило командира, видать, городской, не привычный в поле на морозе, — шепнул Оплеткин.

В десять улеглась вся рота. Молодые здоровые люди, утомившись, скоро заснули и спали крепко.

Василию показалось, что он только что закрыл глаза, и вот уже в уши стучит знакомое, нелюбимое:

— Подъем! Подъем!

С первых дней в училище Василий по утрам тяжело перебарывал сладкую тяжесть недосыпания. Ему нравилось в армии все, кроме этого неприятного слова «Подъем!». Даже в поезде, где никто не кричал « Подъем!», глаза сами открывались в шесть, будто в голове, как в будильнике, срабатывала заведенная пружинка.

Сегодня пробуждение было особенно тяжелым. Ромашкин взглянул на часы — только три. «Наверное, дежурный ошибся», — подумал он, но тутже услыхал знакомый, с хрипотцой голос Куржакова:

— По-одьем! Быстро умывайтесь и выходите строиться в полном снаряжении. Ничего не оставлять, в казарму больше не вернемся!

В полковом дворе происходило что-то непонятное. Роты строились не в походные колонны, а в длинные неуклюжие шеренги.

Куржаков подозвал взводных:

— Постройте строго по ранжиру, в ряду двадцать пять человек. Отработать движение строевым шагом. Особое внимание — на равнение.

У Ромашкина было всего двадцать два бойца, весь взвод составил одну шеренгу. Троих добавили из другого взвода. Выстраивая людей в темноте по росту, он замешкался, тут же подлетел Куржаков:

— Слушай мою команду! Направо! Выровняться чище в

затылок! Головные уборы — снять! Встать плотнее! ещё ближе. Прижмись животом к спине соседа.

Обнаженные, остриженные под машинку головы вытянулись в ряд, кое-где они то возвышались, то западали.

— Ты перейди сюда. Ты сюда, — вытягивая то одного, то другого за рукав шинели, переставлял их командир роты. Через минуту круглые стриженые головы создали одну, постепенно снижающуюся линию.

— Головные уборы… — Куржаков помедлил и резко скомандовал: — Надеть! Нале-во!

Перед Ромашкиным стояла шеренга его взвода, идеально подогнанная по росту. Куржаков тихо сказал:

— Вот так надо строить по ранжиру, товарищ строевик, — и ушел.

Роты уже шагали по плацу и между казармами.

Все ещё не понимая, зачем это нужно, Ромашкин стал учить свою шеренгу. Она расползалась, ходила то выпуклая — горбом, то западала дугой, а то вдруг ломалась зигзагом.

В конце двора шеренги, сбиваясь в кучу, поворачивали назад. Встретив здесь однокашников, Василий спросил Карапетяна:

— Ты не слыхал, зачем вся эта петрушка?

— На парад пойдем. Сегодня седьмое ноября. Забыл, да?

— Какой парад? Война же!

Подошел Куржаков, он слышал их разговор:

— Какой-нибудь строевик-дубовик вроде вас додумался. Парад, понимаешь! Немцы под Москвой, а мы в солдатиков играть будем. Мало нас бьют, всю дурь ещё не выбили.

Ромашкин бегал вдоль строя, семенил перед ним, двигаясь спиной вперед, лицом к строю, кричал:

— Тверже ногу! Раз, раз! А равнение? Куда середина завалилась?

Завтракали здесь же, на дворе, гремя котелками, обдавая друг друга паром и приятным теплым запахом каши с мясной подливкой.

Было ещё темно, когда полк двинулся в город. В черных окнах домов, заклеенных крест-накрест белыми полосками бумаги, ни огонька, ни светлой щелочки. По тихим безлюдным улицам полк шел парадными шеренгами, и всю дорогу до Красной площади раздавались команды:

— Строевым! Раз, два! Раз, два! Чище равнение!

Командир полка майор Караваев за долгую службу много раз участвовал в парадах, и теперь, глядя на кривые шеренги, тихо говорил комиссару Гарбузу:

— К парадам готовились минимум месяц. Как мы пройдем по

Красной площади, не представляю! Да ещё в полном снаряжении. Опозорим и себя, и всю Красную Армию.

— Не беспокойтесь, Кирилл Алексеевич, — отвечал Гарбуз, который ещё совсем недавно был вторым секретарем райкома на Алтае, под Бийском, и не слишком разбирался в красоте строя. — Там обстановку понимают. — Комиссар показал пальцем вверх. — Не знаю, правильно ли я сужу, но, думается, сегодня важно не равнение в рядах, а сам факт проведения парада. Немцы под Москвой, на весь мир кричат о своей победе, а мы им дулю под нос — парад! Гитлера кондрашка хватит от такого сюрприза. Здорово придумано!

— Парад, конечно, затея смелая. Тут или пан, или пропал.

— Почему? — не понял комиссар.

— Если все пройдет хорошо — нам польза. А если нас разбомбят на Красной площади?

Комиссар нахмурился, ответил не сразу.

— Я думаю, там, — он опять показал пальцем вверх, — все предусмотрели. Не допустят. Этим парадом, по-моему, сам Сталин занимается.

А шеренги все шли и шли мимо них, бойцы старательно топали, рассыпая дробный стук замерзших на морозе кожаных подметок. Единого хлесткого шага, который привык слышать и любил Караваев на довоенных парадах, не было.

Карапетян показал Ромашкину на светящуюся синим светом букву "М" над входом в метро, пояснил:

— До войны эти "М" были красные, чтоб далеко видно. Синие — немецкие летчики не замечают.

На Красную площадь вошли, когда начало светать. Ромашкин впервые увидел Кремль не на картинке: узнал зубчатую стену, мавзолей, высокие островерхие башни и удивился — звезды были не рубиновые, а зеленые — не то покрашены, не то закрыты чехлами. Площадь была затянута холодным сырым туманом. В мрачном небе висели аэростаты воздушного заграждения, казалось, они упираются спинами в плотные серые облака.

— Погода что надо — нелетная! — сказал радостно Карапетян.

— Ты бывал раньше на Красной площади? — спросил Василий.

— Бывал. Мой дядя в Наркомате внутренних дел работает. Водил меня на демонстрации. Раньше тут даже ночью, как днем, все сияло. А днем такое творилось — не рассказать!

— А почему не убрали мешки? — удивился Василий и показал на штабель мешков у собора Василия Блаженного.

— Чудак, их специально привезли — памятник Минину и

Пожарскому обложить, чтобы при бомбежке не повредило.

— А если нас бомбить начнут? Представляешь, какая заваруха тут начнется?!

Куржаков, стоявший рядом, сказал:

— Кончайте болтать в строю.

Воинские части прибывали и выстраивались на отведенных им местах, красноармейцы закуривали по разрешению командиров, голубой дымок вился над строем.

Пошел снег. Сначала порошили мелкие снежинки, потом посыпались все плотнее и плотнее. Василий, Карапетян и, должно быть, все участники парада с радостью подумали: бомбежки не будет. Облегчение это пришло не оттого что снималось опасение за себя, за свою жизнь. Каждый понимал — это не простой парад. Надо, чтобы он обязательно состоялся.

Бывают в жизни дни и часы, когда человек ощущает: вот она, история, рядом. И сейчас, как только заиграли и начали бить Кремлёвские куранты, у Василия затукало сердце, будто там, в груди, а не на башне была эта музыка и колокольный перезвон исторического времени. Василию хотелось запомнить все, что он видит и слышит, все, что происходит на площади. Он понимал: этому суждено остаться в веках. Он подумал и о том, что, пожалуй, не совсем прав, считая, что историческое вершится лишь в такие торжественные минуты. Каждый день, каждый час начинается, продолжается или завершается как какое-то событие. Но есть минуты, которым суждено остаться не только в памяти его, Ромашкина, а всех, всего народа, вот такое и называется историческим событием. И такое вершилось сейчас, здесь. Хорошие можно написать стихи на эту тему, но теперь не до стихов.

…Без пяти минут восемь по Красной площади пролетел шорох, будто ветер по роще. Ромашкин смотрел вправо и влево, пытаясь понять, в чем дело. Его толкнул в бок стоявший рядом Синицкий:

— Не туда смотришь. Гляди на мавзолей.

Ромашкин взглянул на мраморную пирамиду в центре площади: там, в шеренге фигур, одетых в пальто с каракулевыми воротниками, он увидел Сталина в знакомой по фотографиям шинели и суконной зеленой фуражке. «Сталин! — пронеслось в голове Василия. — Хоть бы он шапку надел, в фуражке-то замерзнет…» Куранты на Спасской башне рассыпали по площади мелодичный перезвон, генерал, плотно сидевший верхом на коне, вдруг что-то крикнул и поскакал вперед. От Спасской башни ему навстречу приближался другой всадник на коне с белыми ногами. Кто это — мешал узнать тихо падающий снег. Прежде чем

всадники съехались, снова, будто ветер по макушкам деревьев, понесся шепот над строем войск: «Будённый!.. Будённый!»

Буденный остановился перед их полком поздороваться, и только тогда Ромашкин увидел маршальские звезды на петлицах и черные усы вразлет. ещё никто не произнес речь, военачальники все ещё объезжали строй войск, а Ромашкина так и распирало желание кричать «ура». У него громко стучало сердце и голова кружилась от охмеляющей торжественности. Вот о такой военной службе, о такой войне он мечтал — красиво, величественно, грандиозно! Ромашкин покосился на Куржакова, который стоял справа. Лицо Григория будто окаменело, челюсти сжаты, только ноздри трепетали. Ромашкин не понял, что выражало это лицо — неизбывную злость или верную преданность. «Вот гляди, — злорадно думал Ромашкин, — гляди, сухарь холодный, вот она, красота воинской службы, а ты говорил — нет ее!..»

Наконец с другой площади, из-за угла красного кирпичного здания, как приближающийся обвал, покатилось «ура». Василий набрал полную грудь воздуха, дождался, пока могучий возглас достигнет квадрата его полка, и закричал изо всех сил, но голоса своего не услышал. Общий гул — «У-р-р-а-а-а!» — пронесся над строем, подхватил голос Ромашкина и унесся дальше. Потом этот гул ещё не раз накатывался на строй, и каждый раз Василий, как ни старался, так и не смог расслышать свой голос.

Буденный между тем поднялся на мавзолей. Сталин дождался его, посмотрел на часы, едва заметная улыбка мелькнула под усами. Не обращаясь ни к кому, но уверенный — все, что он скажет, будет исполнено без промедления, Сталин сказал:

— Включайте все радиостанции Союза. — И шагнул к микрофону.

Ромашкин, слушая Сталина, подался всем телом в сторону мавзолея, не только уши, каждая жилка, казалось, превратилась в слух.

Сталин говорил негромко и спокойно, произнося фразы медленно, будто диктовал машинистке. Ромашкин подумал даже, что Сталин говорит слишком медленно. Он будто подчеркивал каждую фразу. Слова выговаривал без затруднения, по-русски правильно, и только в ударениях, в повышении и понижении тона проскальзывал грузинский акцент.

Василий проклинал снег, который повалил ещё гуще и не давал ему возможности рассмотреть Сталина. «Ну ничего, — надеялся он, — разгляжу, когда пройдем у мавзолея».

Сталин говорил о том, как трудно было бороться с врагами в годы гражданской войны — Красная Армия только создавалась,

не было союзников, наседали четырнадцать государств. Ленин тогда вел и вдохновлял нас на борьбу с интервентами…

"…Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

…Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую выведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков —Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!"

И опять Ромашкин кричал «Ура!», пьянея от ощущения огромной силы своей армии, частичку которой он представляет, от радости, что родился, живёт, будет защищать такую великую страну, что участвует в таких грандиозных событиях.

Меньше всех видят, как происходит парад, обычно его участники. После команды «К торжественному маршу!» Василий забыл обо всем, кроме равнения: хотелось, чтобы его шеренга прошла лучше других, не завалила бы и не выпятилась. Он косил глазом, вполголоса командовал, пока не вышли на последнюю прямую. Где-то в подсознании пульсировала мысль: «Рассмотреть Сталина, рассмотреть Сталина!» Но когда зашагал строевым, высоко вскидывая ноги, забыл и об этом.

Вдруг у кого-то из красноармейцев в котелке заблямкала ложка. Василий не слышал оркестра, железное блямканье в котелке перекрыло все. Он похолодел от ужаса, ему казалось, это звяканье слышат на мавзолее и оно портит весь парад. В этот момент Василий увидел человека, который слегка возвышался над площадью и взмахивал руками — то правой, то левой. Василию показалось, что он ищет, у кого стучит эта злополучная ложка. Человек один был виден над головами марширующих и, несомненно, высматривал виновника. Только подойдя ближе, Ромашкин сообразил: «Это же дирижер!»

Василий спохватился, метнул глазами в сторону мавзолея, но было поздно — Сталина разглядеть не успел. А в голове мелькали

какие-то цифры: «Семьдесят пять… семьдесят шесть…» Когда и почему начал он считать? Лишь миновав трибуны и произнеся мысленно «сто шестьдесят», вспомнил: «Это я по поводу того, что участники парада видят меньше всех. Вот отшагал я сто шестьдесят шагов, и на этом парад для меня закончен. Но какие это шаги! Это не шаги — полет! Кажется, сердце летит впереди, и не барабан вовсе, а сердце отстукивает ритм шага: „Бум! Бум!“ Только проклятая ложка в котелке все подпортила».

Ромашкин поглядел на Карапетяна, Синицкого — они улыбались. И сам он тоже улыбался. Чему? Неизвестно. Просто хорошо, радостно было на душе. Стук ложки, оказывается, никто и не слышал. Даже Куржаков посветлел, зеленые глаза потеплели, но, встретив взгляд Ромашкина, ротный нахмурился и отвернулся.

За Москвой-рекой, в тесной улочке майор Караваев остановил полк. Пронеслось от роты к роте: «Можно курить», и сиреневый дымок тут же заструился над шапками, запорошенными снегом. Позади, на Красной площади, ещё играл оркестр — там продолжался парад.

Четыре девушки в красноармейской форме шли по тротуару. Карапетян не мог упустить случая познакомиться. Он шагнул на тротуар, лихо откозырял и спросил, играя черными бровями:

— Разрешите обратиться?

— Это мы должны спрашивать: вы старший по званию, — сказала голубоглазая, у которой светлые локоны выбивались из-под шапки. Другие девушки хихикнули. Только одна, ладная, стройная, с ниточками бровей над карими глазами, осталась серьезной и больше других приглянулась Ромашкину. Синицкий и Сабуров шагнули на подкрепление Карапетяну, а Василий подошел к строгой девушке:

— Здравствуйте. Как вас зовут?

— Вы считаете, сейчас подходящее время для знакомства?

— А почему бы и нет?

— В любом случае, наше знакомство ни к чему.

— Потому что я иду на фронт?

Девушка грустно поглядела ему в глаза, непонятно ответила:

— Мы никогда больше не встретимся. — И добавила, чтобы не обидеть: — Не потому, что вас могут убить. Просто ни к чему сейчас эти знакомства. — Она помедлила и явно из опасения, что лейтенант неправильно её понял, сказала: — А зовут меня Таня.

— Где вы живёте?

— Здесь, под Москвой, в лесу. Нас отпустили на праздник домой, я москвичка. Скоро тоже поедем на фронт.

— Может быть, там встретимся?

Таня покачала головой.

— Едва ли.

От головы колонны донеслось:

— Кончай курить! Становись!

Оборвался смех и веселый разговор лейтенантов.

Ромашкин попрощался с Таней. У него осталось ощущение, что их встреча была не случайной, таила какую-то значительность и обязательно будет иметь продолжение.

— Номер полевой почты скажите, — быстро, уже из строя, попросил Ромашкин.

— Не надо, ни к чему это, — ласково сказала Таня и помахала на прощание рукой в зеленой варежке домашней вязки.

* * *

Полк майора Караваева грузился в эшелон. Артиллерия, штаб, тылы полка были отправлены ещё ночью.

В промерзших, покрытых инеем, скрипучих вагонах надышали, накурили, и вскоре стало жарко. Красноармейцы все ещё говорили о параде, но больше всего о Сталине.

— Говорят, он рыжий, рябой и одна рука у него сохлая, — тихо сказал своему соседу Кружилину Оплеткин.

— Ты знаешь, что может быть за такие слова? — возмутился Кружилин. — Тебя знаешь куда за это?

— А чего я такого сказал? — хорохорился явно струхнувший Оплеткин.

— Разве можно так про товарища Сталина?

— Как «так»?

— А вот как ты. Ну ежели бы ты вчера такое болтал. А то ведь я сам недавно его видел. Какой он рябой? Не рябой вовсе. И не рыжий. И обе руки при нем. Зачем болтаешь?

— Вот чудак, я что от людей слыхал, то и говорю.

— То-то, от людей! А может, ты меня прощупываешь? — недоверчиво глядя на Оплеткина, спросил Кружилин.

— А чего мне тебя щупать, баба ты, что ли? — Оплеткин принужденно засмеялся и отошел подальше от опасного собеседника.

Поезд мчался без остановки, за окном мелькали красивые дачные домики, веселые названия станций.

Прошел по вагону политрук, направо, налево раздавая, будто сеял, газеты. Зашелестели бумагой красноармейцы, каждый начинал не с любимой страницы, как бывало до войны, — одни с четвертой: происшествия, театральные новости; другие с передовицы; третьи с середины: как там на полях, на заводах, — нет, теперь все начали со сводки Советского Информбюро.

"Утреннее сообщение 7 ноября. ,

В течение ночи на 7 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах".

"Плохо дело, — подумал Ромашкин. — После таких сообщений выясняется, что Красная Армия отступала, и немного позже сообщают: «Оставили Киев», «Оставили Минск», «Оставили Харьков».

«За один день боевых действий части т. Василенко и Кузьмина, действующие на Южном фронте, уничтожили и подбили 60 немецких танков и более двух батальонов пехоты противника».

«Хорошо поработали, — отметил Василий. — Вот и мне бы подбивать их вместе с вами. Ну, ничего, фронт рядом, скоро и я буду бить фашистов…»

«Стрелковое подразделение младшего лейтенанта Румянцева, действующее на Южном фронте, оказалось в окружении 60 вражеских танков. В течение суток бойцы уничтожили ручными гранатами и бутылками с горючей жидкостью 12 танков противника и вышли из окружения».

«Румянцев? Не из нашего ли училища? Кажется, была у нас такая фамилия. Румянцев вполне мог быть на Южном фронте и отличиться в первом же бою. Но как он отбил 60 танков, это же по два танка на бойца, если взводом командовал? Но мог и ротой. Выдвинулся, пока Ромашкин сидел в лагерях. Допустим, ротный погиб, а Румянцев взял командование на себя. Молодец он. Где же про московское направление пишут? Вот…»

«Минометчики части командира Голубева, действующей на малоярославецком участке фронта, 5 ноября минометным огнем рассеяли и уничтожили батальон вражеской пехоты и батарею немецких минометов».

«Негусто. Значит, и здесь наши отступают», — решил Василий.

Далее шло о делах уральского завода, и то, что о них говорилось именно в сводке Информбюро, Василий понимал — работу в тылу приравнивают к боевым делам на фронте.

Красноармейцы оживленно говорили о новостях, взволнованно дымили махоркой.

Вдруг поезд резко затормозил. Все попадали вперед, потом сразу назад. Где-то дзинькнули стекла, кто-то вскрикнул:

— Ой, чтоб тебя! Куда же ты винтовкой тычешь? — И сразу же крики:

— Воздух! Воздух!

Отрывисто и тревожно стал гудеть паровоз. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов, скатывались по снежному склону вниз и бежали к редкому лесу, который чернел в стороне. Василий бежал

вместе со всеми, крича на ходу:

— Взвод, ко мне!

И его бойцы, кто оказался поблизости, старались держаться с ним рядом.

Сзади бухнуло несколько взрывов, пролетел над головой запоздалый звук самолета. Василий вбежал в лес и внезапно услышал веселый хохот. Он не успел ещё отдышаться, не мог понять, кто может смеяться в такую страшную минуту, под бомбежкой!

Пройдя сквозь заснеженные кусты, Ромашкин вдруг с изумлением увидел — хохочут немцы! И смеются они над теми, кто убегал от бомбежки. «Вы уже здесь? Как же так? Мы в окружении? Или уже в плену?» — растерянно думал Ромашкин, с отчаянием вырывая пистолет из кобуры. «В какого из них стрелять?» — не мог решить он и наконец все понял. За узкой полосой леса проходило шоссе. Там вели небольшую группу пленных — вот они-то и смеялись, увидев, как русские бегут от немецких самолетов.

Это были живые фашисты. Чтобы лучше их рассмотреть, он подошел поближе. От страха перед авиацией не осталось и следа, он совершенно забыл о бомбежке. Позади где-то грохотали взрывы, а Василий во все глаза смотрел на хохочущих немцев. Это были совсем не трусливые вояки, которых он собирался убивать, а здоровые, спортивного сложения солдаты, в хорошо сшитых и подогнанных по фигурам шинелях, в хромовых сапогах.

— Шнель, шнель, рус, ложись земля, рейхсмаршал Геринг сделает тебе капут! — кричал голубоглазый немец с мощной шеей и плечами атлета.

Остальные опять громко захохотали.

— Ах, гады! — вдруг выдохнул со свистом в горле невесть откуда появившийся Куржаков. Василий мельком увидел его ненавидящие глаза с черными кругляшками зрачков. Мгновенно Григорий рванул пистолет, не целясь, выстрелил. Немцы сразу попадали на землю и замерли, словно все были убиты одной пулей.

К Куржакову подскочил лейтенант из конвоя, заслоняя собой немцев, решительно крикнул:

— Нельзя, товарищ! Нельзя! — И тут же с угрозой: — Вы за это ответите! Под трибунал пойдете!

— Я за фашистов под трибунал? Да я тебя, гада, самого!

Куржакова схватили за руки. Немцы поднялись с земли. Теперь они испуганно топтались, сбившись в кучу. К счастью, лейтенант промахнулся. Старший конвоя пытался выяснить фамилию и записать номер части. Но пришедший на шум комбат

Журавлев сказал ему:

— Уводи ты своих пленных подальше. А то разозлишь людей — всех перебьют.

Лейтенант поспешил на дорогу, все ещё угрожая:

— Вы ответите! Я все равно узнаю…

А от поезда уже кричали:

— Отбой! По вагонам!

И опять Ромашкин мчался в поскрипывающем вагоне к фронту и жадно смотрел в окно. В дачных поселках, в открытом поле, в рощах и заводских дворах — всюду стояли войска, зенитные, танковые, артиллерийские части, крытые брезентом автомобили и повозки. «Сколько у нас людей, столько техники и всего горсточка пленных. Что происходит? Почему они нас бьют?» — с болью в сердце думал Василий.

Ехали после бомбежки недолго, не успели обогреться, уже вот он — фронт. «Выходи!» В лесу у дороги старшины выдали боеприпасы. Ромашкин набил карманы новенькими красивыми патрончиками для своего ТТ. Здесь же пообедали. Горячий суп и макароны показались очень вкусными на морозе.

Дальше пошли в пешем строю. Уже слышался гул артиллерийской стрельбы, бой гремел впереди совсем близко.

Полк занял готовые, кем-то заранее отрытые траншеи. Не успели изготовиться к обороне, прибежал какой-то суматошный связист, затараторил:

— Товарищ лейтенант, в роще немцы. Я вдоль кабеля шел, порыв искал. А он, гад, бах в меня. Хорошо — промахнулся.

— Где немцы? — недоверчиво спросил Куржаков. — Ты мне панику не наводи!

— Вот в той роще.

— Откуда там немцы? Мы недавно проходили через эту рощу.

— Так стреляли же в меня!

— Сколько их? Связист помялся:

— Одного я видел.

— Лейтенант Ромашкин, — приказал Куржаков, — возьми отделение, прочеши рощу.

Василий, хоть и устал за день, отличиться всегда был готов. Прихватив отделение, он впереди всех поспешил за связистом, который все тараторил:

— Я только вышел на поляну, а он в меня — бах! Я вдоль кабеля шел…

— А ты почему не стрелял?

— Так у меня винтовка на ремне за спиной. Я снял, а потом думаю: кто знает, сколько их там? Может, десант целый. Убьют меня — и наши их не обнаружат. Решил доложить.

— Правильно сделал.

Василия и его группу встретил пожилой небритый старшина-артиллерист.

— За немцем, товарищ лейтенант?

— А вы откуда знаете?

— Это наш немец.

— Как ваш?

— Его самолет сбили, а он с парашютом сиганул. Вот и держим в окружении. Пока патроны не расстреляет, брать не будем. Зачем людей губить? Он тут рядом, глядите. — Старшина слепил снежок, кинул в заросли молодых елочек. Оттуда щелкнул пистолетный выстрел. — Нехай все патроны расстреляет.

— Зачем же вы связиста на него пустили?

— О, так это ты утикал? — засмеялся старшина, разглядывая связиста. — Мы его не пустили, товарищ лейтенант, он не по дороге шел, а по целине, мы не заметили сначала. А когда утикал, стали звать, так он и нас, наверное, за немцев принял.

— Вот видите, старшина, связист утек, и немец может уйти. Тем более уже смеркается. Надо сейчас брать. Он один — это точно?

Старшина подтвердил.

— В цель разомкнись! — скомандовал Ромашкин — Стрелять выше головы! Прижмем к земле, может, живым захватим.

Красноармейцы защелкали затворами, недоверчиво посматривая на лейтенанта.

— Стрелять?

— Огонь!

Выстрелы хлестнули по лесу, и звонкое эхо, как ответный залп, донеслось издалека. Бойцы, с хрустом обламывая корку на снегу, пошли в лес.

— Еще стрелять? — весело крикнул ближний к лейтенанту боец.

— Да стреляйте, чего спрашиваете, на войну приехали!

Красноармейцы заулыбались и с явным удовольствием стали беспорядочно палить в гущу деревьев.

Ромашкин не слышал ответных выстрелов и удивился, когда боец, который весело спрашивал, стрелять или нет, вдруг ойкнул и упал.

— Что с тобой?

— Что-то ударило. — Боец прижимал руку к бедру, а когда отнял, рука была в крови. — Ранен я, товарищ лейтенант, — удивленно и виновато сказал он.

— Перевязывайся. Сейчас мы его возьмем. Вперед! — властно крикнул Василий, опасаясь, как бы раненый не повлиял на боевой

дух красноармейцев. — Вперед! — И побежал к зарослям.

— Лейтенант, лейтенант! — звал его старшина-артиллерист, поспешая следом. — Не надо бы так! И себя, и людей погубишь…

Но Ромашкина уже охватил азарт. Пробежав сквозь низкие елочки, он вдруг увидел перед собой немца. Одежда на летчике была изорвана и кое-где обгорела, белые волосы трепал ветер, в голубых глазах — никакого страха. У летчика кончились патроны, а то бы он выстрелил почти в упор. Сейчас немец стоял с ножом в руке.

Ромашкин крикнул своим:

— Не стрелять! — И сам остановился, не зная, что делать, как же брать в плен, ведь немец будет отбиваться ножом.

Старшина-артиллерист спрятал улыбку, подошел к бойцу, буднично сказал:

— Дай-ка винтовку…

Взял ее, как дубинку, за ствол, спокойно, будто делал это много раз, подошел к немцу и, когда тот взмахнул ножом, ударил его бережно прикладом по шее. Немец упал. Старшина великодушно молвил:

— Теперь берите.

До траншеи летчика тащили под руки, волоком, он ещё не пришел в себя. Ромашкин радостно доложил Куржакову:

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил, немец взят живым. У меня ранен один боец.

— Кто? Куда ранен?

— Да я, собственно, фамилию его не запомнил. В ногу вроде бы. — Ромашкин даже не смутился, ему все это казалось неважным, главное, он немца поймал живого! Летчика!

А Куржаков, явно желая смазать боевую заслугу Василия, продолжал все о том же:

— Где раненый?

— Ведут его. Отстал.

— Перевязку сделали?

— Да, сделали. Вы немца оглядите, может быть, он офицер.

— Чего мне глядеть? Жаль, не добили гниду. Теперь будет в тылу хлеб жрать, который лучше бы твоей матери отдали. Я бы их, гадов, ни одного живым не брал.

А летчик между тем пришел в себя. Он сел на снег, обвел красными глазами бойцов, которые его с любопытством рассматривали, потом вдруг закрыл лицо испачканными в гари руками и зарыдал. Ромашкину стало жаль его. А немец, немного порыдав, вскочил и стал выкрикивать, как на митинге, какие-то фразы. Ромашкин в школе изучал немецкий: поняв отдельные слова, разобрал и общий смысл:

— Я не боюсь вас, русские свиньи! Я, майор Шранке, презираю вас! Со мной недавно говорил сам фюрер! Я кавалер Рыцарского креста! Я не боюсь смерти! Хайль Гитлер! Хайль! Хайль!..

Ромашкина сильно удивило такое поведение пленного. Никто из русских даже не подозревал, какой крах переживал сейчас пилот. Беда даже не в том, что сбили. Совсем недавно произошло следующее.

Рано утром Гитлер подошел к огромному полированному приемнику — подарок фирмы «Телефункен» — и повернул ручку.

Бодрая, ритмичная музыка русского военного марша заполнила комнату. Сквозь музыку пробивались глухие шаги торжественно проходящего строя, слышался неясный говор, выкрики далеких команд.

Гитлер сразу все понял и быстро подошел к телефону. Ругать приближенных не было времени. Он приказал немедленно вызвать штаб группы «Центр», фельдмаршала Бока. Услыхав чей-то голос, стараясь быть спокойным, чтоб не напугать отозвавшегося, ибо это лишь затруднит дело, сдержанно сказал:

— Здесь у телефона Гитлер, соедините меня с командиром ближайшей бомбардировочной дивизии.

В трубке ответили: «Есть», и некоторое время Гитлер слышал обрывки фраз, щелчки переключения на коммутаторах. В эти секунды в нем, будто переключаясь со скорости на скорость, разгорался гнев. «Мерзавцы, обманывают не только красные, но и свои. Ну, погодите, я вам покажу!»

Взволнованный голос закричал в трубке:

— Где, где фюрер, я его не слышу!..

— Я здесь, — сказал Гитлер. — Кто это?

— Командир двенадцатой бомбардировочной авиадивизии генерал…

— Вы осел, а не командир дивизии. У вас под носом русские устроили парад, а вы спите, как свинья!

— Но погода, мой фюрер… она нелетная… снег, — залепетал генерал.

— Хорошие летчики летают в любую погоду, и я докажу вам это. Дайте мне немедленно лучшего летчика вашей дивизии!

Лучшие летчики были далеко на полковых аэродромах, генерал, глядя на трубку, поманил к себе офицера, случайно оказавшегося в кабинете. Офицер слышал, с кем говорил командир дивизии, лихо представился:

— Обер-лейтенант Шранке у телефона!

Гитлер подавил гнев и заговорил очень ласково, он вообще разносил только высших военных начальников, а с боевыми

офицерами среднего и младшего звена всегда был добр.

— Мой дорогой Шранке, вы уже не обер-лейтенант, вы капитан, и даже не капитан, вы майор. У меня в руках Рыцарский крест — это ваша награда! Немедленно поднимайтесь в воздух и сбросьте бомбы на Красную площадь. Об этом прошу я — ваш фюрер. Этой услуги я никогда вам не забуду!

— Немедленно вылетаю, мой фюрер! — воскликнул Шранке и побежал к выходу. В голове его мелькали радужные картины: он бросает бомбы на Красную площадь, фюрер вручает ему Рыцарский крест, вот он уже генерал, фюрер встречает его с улыбкой, вот уже рядом сам рейхсмаршал авиации Геринг, вот уже… Да разве можно предвидеть все, что последует после того, как сам фюрер сказал: «Я никогда не забуду этой услуги!»

Услыхав потрескивание в трубке, командир дивизии поднес её к уху, там звал его голос Гитлера:

— Генерал, генерал, куда вы пропали?

— Я здесь, мой фюрер, — сказал упавшим голосом генерал и тоскливо подумал: «Сейчас он меня разжалует». Гитлеру действительно очень хотелось крикнуть: «Какой вы, к черту, генерал, вы полковник, нет, даже не полковник, а простой майор интендантской службы!» Но Гитлер понимал: сейчас главное — успеть разбомбить парад, времени для разжалования и нового назначения нет, надо подхлестнуть этого дурака генерала, чтобы он, охваченный беспокойством за свою шкуру, сделал все возможное и невозможное.

— Генерал, даю вам час для искупления вины. Если вы не сбросите бомбы на Красную площадь, я вас разжалую и сниму с должности. Немедленно вслед за рыцарем, которого я послал, вылетайте всем вашим соединением. Ведите его сами. Лично! Жду вашего рапорта после возвращения. Все!

Вновь испеченный майор Шранке через несколько минут был уже в воздухе. Он видел, как вслед за ним взлетали тройки других бомбардировщиков. «Все равно я буду первым. Все равно фюрер запомнит только меня», — счастливо думал Шранке. Облачность была плотная, ничего не видно вокруг. «Ни черта, — весело думал Шранке, — это для меня же лучше. Пойду по компасу и по расчету дальности». Он приказал штурману тщательно проделать все расчеты для точного выхода на цель.

Шранке уже слышал, видел, представлял, как по радио, в кино, в газетах будут прославлять рыцарский подвиг аса Шранке, который один сумел сбросить бомбы на Красную площадь…

Шранке не долетел до Москвы, его самолет и ещё двадцать пять бомбардировщиков сбили на дальних подступах, остальные повернули назад.

Шранке не мог вынести таких потрясений за короткий срок: разговор с фюрером, награда, звание майора, надежды на лучезарное будущее и — плен, может быть, смерть. Все рухнуло, стало куда хуже, чем до разговора с Гитлером. Шранке явно сходил с ума, он то истерически кричал, то плакал, наконец, повалился на спину и забился в конвульсиях, серая пена выступила на его губах.

— Псих какой-то, — растерянно сказал Ромашкин.

— Вот видишь, а ты за него бойца загубил, — упрекнул Куржаков. — Отправляйте в тыл раненого и этого.

Ночью лейтенант Куржаков вызвал взводных на свой наблюдательный пункт.

— Собирайте бойцов. Через тридцать минут двинемся в первую траншею. Будем менять тех, кто там уцелел. Наш участок вот здесь, — Куржаков показал на карте, где должна занять оборону рота и каждый взвод. — На месте уточню. Ну, братцы, завтра будет нам крещение.

Роты во мраке шли по разбитой проселочной дороге, под снегом бугрились застывшие с осени комья грязи. Впереди было тихо и темно, только иногда взлетали ракеты. Чем ближе к передовой, тем больше воронок — широких и малых, старых, с замерзшей водой, и совсем свежих, черных внутри. Деревья были похожи на столбы, ветви их срезало осколками снарядов. Два черных дымящихся квадрата Ромашкин принял за домики, в которых топят печки, но это были подбитые догорающие танки.

Первая траншея показалась Ромашкину пустой. «Кто же здесь воевал? Почему фашисты не идут вперед? Тут никого нет». Но за третьим поворотом траншеи встретил красноармейца неопределенного возраста, с небритым и, видно, давно не видавшим воды и мыла лицом. Уши его шапки были опущены, и тесемки завязаны, испачканная землей шинель, покрытая на груди инеем, походила на промерзший балахон.

— Ты здесь один? — удивленно спросил Ромашкин.

— Зачем один? Народ отдыхает. Вон там, в землянке.

— Показывай, где. Мы сменять вас пришли.

— Это хорошо. На формировку отойдем, значит. — Красноармеец подошел к плащ-палатке, откинул её и крикнул в черную дыру:

— Эй, народ, выходи, смена пришла!

Из блиндажа вылезли четверо в грязных шинелях, с лицами, испачканными сажей коптилок.

— Смена? — спросил один. — Ну, давай, принимай, кто старшой?

— Командир взвода лейтенант Ромашкин.

— Командир взвода рядовой Герасимов. Пойдем, лейтенант, покажу тебе участок.

Василий пошел за ним по траншее. Окопы здесь были не такие, как оставленные позади, там — ровненькие, вырытые будто на учениях, а здесь — избитые снарядами, кое-где полузасыпанные, с вырванными краями, с глубокими норами, уходящими под бруствер.

Герасимов шел вперевалочку, не торопясь, как усталый мужичок после утомительной работы, он по-хозяйски просто объяснял лейтенанту, говорил «ты», будто не знал об уставном «вы».

— Место перед тобой будет ровное, танки идут свободно. Справа овраг, окопов наших там нету, стало быть, разрыв с соседом. Поставь у оврага для пехоты пулемёт. Для танков мины уже накиданы. Как забомбят или артиллерия начнет гвоздить, людей вот в эти норы поховай, — он показал на дыры в передней стене траншеи. — Когда танки через голову пойдут, там — в этих норах — бутылки с горючкой припасены. Только гляди: кверху горлом кидайте, а то у нас один себя облил, сгорел сам заместо танка.

Когда вернулись к землянке, Василий, как учили ещё в ташкентском училище, хотел начертить схему обороны и подписать: сдал, принял.

— Ни к чему это, — сказал Герасимов, — да и не кумекаю я в твоих схемах, товарищ лейтенант. Позицию тебе сдал. Мы её удержали. Теперь ты держи, пока тебя сменят. Ну, прощевайте.

— А где же твой взвод?

— Вот он, весь тут. Три дня назад у нас и лейтенант был, и сержанты…

Герасимов махнул рукой, и четверо красноармейцев двинулись за ним, так же, как он, раскачиваясь из стороны в сторону.

Василий глядел им вслед и не мог понять, как эти невзрачные, закопченные мужички не пропустили механизированную лавину немцев. Он представлял фронтовых героев богатырями, грудь колесом, в очах огонь — он и Куржакова сначала невзлюбил за то, что тот не был таким. И вот, оказывается, бьют фашистов простые мужики вроде этого Герасимова. Ромашкину жаль было расставаться с образом лихого, бесстрашного воина, наверное, потому, что даже перед лицом смерти человек стремится к хорошему, ему небезразлично, как он умрет и что скажут о нем люди.

Василий развел отделения по траншее, выбрал огневые позиции для пулемётов, назначил наблюдателей. Подумал:

«Секрет бы надо выслать, вдруг ночью немцы пойдут». Но, посмотрев на загадочную темную нейтральную зону, решил: «Вышлю завтра, огляжусь, где и что».

До утра Василий так и не смог заснуть. Сначала зашел Куржаков, проверил, как заняли оборону. Потом заглянул комбат — длинный, худой капитан Журавлев. Когда они ушли, Ромашкин все равно не лег, то и дело выходил из землянки, прислушивался, вглядывался во мрак. Казалось, фашисты могут подползти и броситься в траншею.

Но впереди было тихо. «Неужели враг так близко, на этом вот черном поле? — думал Василий. — Ну, ничего, завтра мы им покажем! Пусть только сунутся».

Лишь перед самым утром, когда чуть начало синеть, Ромашкина свалил сон, он забылся, сидя в темной прокуренной землянке.

Проснулся Василий от оглушительного грохота. Через края плащ-палатки, которая закрывала вход, сочился утренний свет. Будто горы рушились там, снаружи, страшно было выходить. Но Ромашкин, выхватив пистолет, все же выскочил. С неба несся пронзительный вой, который сковывал все мышцы и вжимал в землю. Втянув голову в плечи, Ромашкин нашел в себе силы посмотреть вверх. Оттуда черными птицами стремительно шли вниз, один за другим пикирующие бомбардировщики, их было очень много, они неслись стремительно, затем, будто присев, сбрасывали бомбы и круто уходили ввысь. Бомбы тоже выли, как самолеты. Потом они тяжело бухались в землю, взрывались, земля вздрагивала, казалось, даже прогибалась от ударов и вскидывалась черными конусами с огнем и дымом. А самолеты все выли и выли, скатываясь вниз, будто по крутой горке на санках.

«Сколько же их там? — подумал Ромашкин. — Надо сосчитать». Он приподнял голову и обнаружил, что пикировщиков не так уж много. Они построились вертикальной каруселью, непрерывно кружили, бросали не все бомбы сразу, а порциями. На смену одной эскадрилье пришла другая и тоже закружила, завыла. Едкий дым от разрывов, запах гари и взрывчатки затянул траншею. Когда, отбомбившись, эскадрилья улетела, Ромашкин собрался было вздохнуть с облегчением, но взрывы все долбили и долбили землю, она все вздрагивала и вскидывалась черными веерами. «Откуда же летят бомбы? Самолеты ушли… — поразился Ромашкин и понял: — Это бьет артиллерия!»

Два снаряда угодили в окоп. Кто-то по-звериному завыл, новый разрыв заглушил этот крик. «Добило, — с щемящей жалостью подумал Ромашкин. — Кого же?»

Одинокий испуганный голос вдруг закричал: «Танки справа!» И Василий только теперь, придя в себя, вспомнил: бомбит авиация и бьет артиллерия для того, чтобы подвести сюда танки и пехоту. А он — командир и не должен их пропустить. ещё не увидев наступающих — впереди все было затянуто дымом, — Ромашкин закричал:

— К бою! Приготовить гранаты!

Ромашкину было страшно, однако в нем ещё не угасли задор и желание отличиться. «Сейчас я вам покажу! — Василий огляделся: кто же оценит его мужество? В траншее никого не было, все забились в норы. — А кто же кричал про танки? Наверное, наблюдатели, я запретил им прятаться в щели».

Снаряды рвались перед траншеей, брызгали землей и осколками или, взвизгнув над самым ухом, взрывались позади и тоже обсыпали землей и черным снегом. Пули свистели сплошной метелью. Василию страшно было взглянуть через бруствер, но он заставил себя приподняться.

В нейтральной зоне Ромашкин сначала ничего не увидел, кроме грязного снежного поля, покрытого воронками, будто оспой. «Где же танки? Ах, вот они!» Вдали Ромашкин заметил коробки, похожие на спичечные, они двигались тремя линиями в шахматном порядке. Их было много, и казалось, все идут на взвод лейтенанта Ромашкина. Пехота врага ещё не показывалась.

Разрыв снаряда оглушил Ромашкина. Он упал, но успел увидеть — в конце траншеи сорвало с землянки бревна, и они, легкие, будто ненастоящие, полетели высоко вверх, и все заволокло дымом. Ромашкин, шатаясь, поднялся и подбежал к землянке. То, что он увидел, заставило его оцепенеть: люди, потеряв свои очертания, были размазаны по стенам. В черной копоти было много красного и куски чего-то ярко-белого. Ромашкин в ужасе побежал прочь. Спотыкаясь об убитых и раненых, он бежал по траншее и с отчаянием думал: «С кем же я буду воевать? Немцы ещё не приблизились, а взвода уже нет!» Только теперь Ромашкин понял, почему в газетах писали о мужестве бойцов-одиночек: то артиллерист остался у пушки один, то пулемётчик стрелял из двух пулемётов, то красноармеец вступил в бой с тремя танками. «Значит, бомбами и снарядами фашисты перемешивают наших с землей и лишь тогда идут в атаку! Как же с ними воевать? Они приходят в траншеи, когда в них почти нет живых! А где же наша авиация, артиллерия? Почему нас не прикрывают?»

Ромашкин поглядел в небо — там кружили темные крестики, звука моторов не было слышно из-за артиллерийской канонады. «Значит, авиация есть!» Да и среди приближающихся танков то и

дело вскидывались черные фонтаны земли. А один танк уже дымил, и ветер тянул черно-белый шлейф через поле. «Значит, и артиллерия наша бьет! Чего же я паникую? Людей побило?.. — Ромашкин вспомнил пятерых солдат, которых сменил его взвод. — Они устояли. Неужели мы не выдержим?» Он пошел по траншее, выкрикивая:

— Кто живой, отзовись!

— Я живой — Оплеткин!

— Я тоже — Кружилин!

— И я пока цел, товарищ лейтенант.

— Здесь живые! — кричали из глубоких нор. У Ромашкина легче стало на душе. «Есть народ. Есть с кем воевать!»

— Сидите пока в щелях, — приказал он. — Я подам сигнал, когда подойдут близко.

— Вы бы сами схоронились. Наблюдатели есть, — посоветовал Оплеткин.

— Убиты уже наблюдатели, — сказал Ромашкин, глядя на безжизненные тела на дне траншеи.

Прибежал запыхавшийся Куржаков, быстро окинул своими цепкими зеленым глазами Ромашкина, нейтралку, танки, окоп. Он вроде бы помолодел и даже улыбался. Ни разу ещё не видал его Ромашкин таким веселым.

— Ну, ка кты тут? — весело спросил Куржаков, будто не было никогда между ними ни вражды, ни драки.

— Ждем!

— Сейчас пожалуют. Людей много побило?

— Полвзвода уже нет.

— Это ещё ничего. У других хуже. — Куржаков перестал улыбаться. — Дружков твоих — Карапетяна, Синицкого, Сабурова — уже накрыло.

— Ранены? — воскликнул Василий.

— Начисто. Ну, давай, готовься к отражению танков. Бутылки, связки гранат чтобы под рукой были. — Куржаков опять улыбнулся и весело сказал, кивнув на пистолет, который держал Ромашкин: — Ты спрячь эту штуку. Возьми вон винтовку убитого. Она дальше бьет и в рукопашной надежнее. Чудно: командир лучше всех во взводе стреляет, а ему винтовка по штату не положена. Ну ладно, держись! Назад ни шагу! В случае чего пришлешь связного. — Куржаков, пригибаясь, побежал назад по ходу сообщения.

Ромашкин никак не мог представить товарищей мертвыми. Казалось, Карапетян откуда-то издалека смотрел на него черными глянцевыми очами, рядом смеялся Синицкий и хмурил белесые брови Сабуров, а доброта так и растекалась по его простому

деревенскому лицу. «Неужели они мертвы? Какие они теперь? Как эти, неподвижные, на дне траншеи? Или как те, размазанные по стенкам блиндажа? Да зачем это знать? Их уже нет, вот что непоправимо. Они не дышат, не смеются, не существуют…»

Танки приблизились, и по траншее, вдобавок к немецкой артиллерии и минометам, захлестали снаряды, пущенные из танковых пушек: выстрел — разрыв, выстрел — разрыв, почти без паузы.

Василий взял винтовку убитого наблюдателя, вложил пистолет в кобуру и приподнялся над бруствером. «Где же пехота? Где эти сволочи, которых так хочется бить?»

Позади танков, плохо различимые в зеленоватой одежде, шли цепочкой автоматчики. Они строчили очередями, упирая автоматы в живот. Ромашкину стало страшно. Его испугали не танки, не цепь пехоты, а именно это спокойствие. Приближались настоящие солдаты, а не трусливые вояки с газетных карикатур. Гитлеровцы шли как на работу, он понял: они знали свое дело и намеревались сделать его хорошо.

— К бою! — закричал Ромашкин и приложил винтовку к плечу. — По фашистам — огонь! — скомандовал он себе и красноармейцам, которые выскочили из-под брустверных нор. Они уже оценили, что лейтенант берег их от артобстрела, и теперь понимали: если зовет — медлить нельзя.

Ромашкин никак не мог поймать в прорезь прицела зеленую фигурку — то ли рука дрожала, то ли земля. Ударил неподалеку снаряд, пришлось присесть. Только поднялся, другой снаряд хлестнул левее. Не успел выпрямиться, прямо над головой чиркнула по брустверу автоматная очередь. «Сейчас они свалятся на голову. Специально не дают подняться…» Ромашкин опять закричал:

— Огонь!

И, собрав все силы, все же выставил винтовку и принялся стрелять, почти не целясь. Первая линия танков была рядом. Пехота шла позади третьей. Танки лязгали и скрежетали гусеницами. Ромашкину казалось — три машины нацелились прямо на него. Он все же не потерял самообладания, скомандовал:

— Приготовить гранаты и бутылки!

И сам выхватил из ниши тяжелую зеленую бутылку. «Наверное, из-под пива», — мелькнуло в голове. Только поднялся, как тут же увидел чистые, надраенные траки гусеницы. Бросить бутылку у Ромашкину уже не хватило сил, он как-то сразу обмяк и упал лицом вниз. Танк, рыча, накатился на траншею, обдал горячей гарью, скрежеща и повизгивая, полез дальше. «В спину

удобнее, у него позади нет пулемёта», — вспомнил Ромашкин. И, стараясь оправдать свою секундную слабость, ухватился за эту мысль: упал он для того, чтобы перехитрить танк. Вскочив, Василий метнул бутылку в корму танка, грязную, покрытую копотью и снегом. Бутылка разбилась, слабо звякнули осколки. Но пламя, которое ожидал увидеть Ромашкин, не вспыхнуло. Все машины первой линии прошли невредимыми через траншею.

«Что же это? Почему танки не горят?» — растерянно думдя Ромашкин. Он взял связку гранат — четыре ручки, как рога, в одну сторону, и одна, за которую держать, в противоположную. Связка была тяжелой, Ромашкин кинул её вслед удаляющемуся танку, целясь в корму. Но связка, не пролетев и половины расстояния, упала на грязный снег. Ромашкин присел, чтобы не попасть под свои же осколки.

Рыча, приближалась вторая линия танков. Сквозь гудение моторов слышался крик пехоты.

И тут словно из-под земли выскочил Куржаков.

— Вы что, черти окопные, заснули? Почему пропустили танки? — Увидев Ромашкина, искренне удивился: — Ты живой? А почему пропустил танки? Пристрелю гада!.. — закричал Куржаков.

— Не загораются они. Я бросал бутылки, — виновато сказал Ромашкин.

— Бросал, бросал! А куда бросал? — кричал Куржаков так, что жилы надувались на шее.

Холодея от ужаса, Василий вспомнил: «Бросать бутылку надо на корму так, чтобы горючка затекла в мотор».

—Да что с тобой время терять! — Куржаков схватил бутылки и побежал наперерез танку — тот выходил на траншею немного левее. Ромашкин тоже с бутылкой ринулся за ним, метнул свою бутылку и, так как бежать было некуда, свалился на ротного.

Куржаков сразу завозился, сбрасывая с себя Ромашкина, и вдруг стал смеяться.

— Ты чего? — удивился Ромашкин.

— Бутылки-то не гранаты — не взорвутся, а мы с тобой, два дурака, улеглись.

Без всякой паузы Куржаков, стараясь перекрыть шум боя, скомандовал взводу:

— По пехоте — огонь! — Он стал стрелять, быстро двигая затвор винтовки.

Расстреляв обойму, Куржаков спросил:

— Где твои пулемёты, почему молчат?

Василий кинулся туда, где перед боем поставил ручные пулемёты. Самый ближний оказался на площадке, но пулемётчик,

раненый и перебинтованный, сидел на дне траншеи. «Когда он успел перевязаться?» — удивился Василий и спросил:

— Ну, как ты? Стоять можешь?

— Могу, — ответил пулемётчик.

— Так в чем же дело? Надо вести огонь, — сказал Ромашкин, помог бойцу встать к пулемёту, а сам побежал дальше.

Второй пулемётчик был убит. Василий прицелился и застрочил по зеленым фигуркам. Они закувыркались, стали падать. Первый пулемёт тоже бил короткими очередями, и немецкая пехота залегла.

— Ага, не нравится! — воскликнул Ромашкин и прицельно стал бить по копошащимся на снегу фашистам. Подбежал веселый Куржаков:

— Видишь — дело пошло! Смотри, наш танк разгорелся…

Ромашкин оглянулся и увидел охваченный огнем, метавшийся по полю танк. Другой, со свернутой набок башней, дымил густым черным столбом, правее и левее горело ещё пять машин, это поработали артиллеристы.

Вдруг снаряды накрыли фашистов, залегших перед траншеей. В перерывах между артналетами они стали убегать из-под огня назад, к третьей линии танков, почему-то остановившейся. И тут из-за леса вылетели штурмовики с красными звездочками на крыльях и пошли вдоль строя немецких машин. Частые всплески от разрывов бомб, вздыбившийся снег, земля и дым заволокли всю нейтральную зону. Сделав ещё заход, штурмовики улетели. В поле чадили и пылали огнем подбитые танки. В одном из них рванули снаряды, бронированная коробка развалилась, из нутра её вырвались яркие космы огня.

— Так держать! — сказал довольный Куржаков и добавил: — Но учти: ты должен все делать сам. Я за тебя взводом командовать не буду. — Повернулся и ушел на свой наблюдательный пункт.

«Зачем он так?.. — пожалел Ромашкин. — Вроде бы все наладилось, и опять обидел. Но, с другой стороны, он прав, без него дело могло кончиться плохо. А я, лопух, растерялся, даже как бутылки бросать забыл».

До вечера отбили ещё одну атаку. Ромашкин чувствовал предельную слабость: сил не осталось, даже шинель казалась тяжелой. Вспомнил: «Сегодня мы не завтракали, не обедали, не ужинали». Вспомнил и ощутил, что совсем не хочется есть. Попить бы только. Чаю бы крепкого, горячего. Ромашкин обошел уцелевших солдат, сосчитал убитых, велел отнести их в лощинку позади траншеи. Вспомнил о раненых — они сами, без помощи ушли в тыл. Он глядел на почерневшие, осунувшиеся лица

красноармейцев, и его поразило сходство с теми, которых они сменили. Теперь и его бойцы ходили как те, устало, вразвалочку, шинели на них испачканы землей и гарью. «Вот и мы стали чернорабочими войны», — подумал Ромашкин, и его охватила грусть от того, что война совсем не такая, какой он представлял ее.

За несколько страшных дней пребывания в штрафной роте, с короткими и кровопролитными атаками и рукопашными, Ромашкин, как это ни странно, не понял, не ощутил сути войны. Там было наказание истреблением, а не война, которую он изучал в училище и представлял совсем иной с её своеобразной романтикой и подвигами. И вот теперь в настоящем бою, в войне, которая велась вроде бы по боевому уставу, все обернулось другой стороной. Ничего в ней привлекательного, никакой романтики — только страх да смерть, настигающая людей повсюду, где бы они от нее ни прятались — в траншеях, блиндажах, лисьих норах и даже в стальных танках.

Когда начало смеркаться, за Ромашкиным прибежал связной.

— Командир роты вызывает.

На НП Василий встретился с тремя сержантами — это были новые командиры взводов. Кроме Ромашкина, ни один взводный не уцелел.

— Хватит мне к вам бегать, — беззлобно сказал ротный, и Ромашкин понял: в трудные минуты Куржаков бывал в каждом взводе. — Решил вызвать вас. Доложите о потерях.

Докладывали по очереди — по номерам взводов.

— Восемь убитых, четверо раненых, — сообщил Ромашкин.

— Раненых обычно бывает в два раза больше, а у тебя наоборот, — сказал Куржаков,

— В землянке сразу шестерых одним снарядом, — стал оправдываться Василий.

— А ты куда смотрел? Людей на время артобстрела надо рассредоточить по лисьим норам, пусть сидят. Будет прямое попадание — убьет одного, а не как у тебя — сразу целое отделение.

Куржаков решил не ругать лейтенанта в присутствии сержантов, но все же наставлял:

— Или вот ещё у некоторых с бутылками не получилось. Бросают, понимаешь, а танки не горят. Надо на моторную часть кидать. В башню или на гусеницы — бесполезно.

В землянку, согнувшись, влез комбат Журавлев.

— О, все начальство в сборе! Вовремя я пришел. Ну как, отцы-командиры? Живых накормили? Мертвые похоронены?

— Кормим и считаем живых. Мертвым спешить некуда, —

ответил Куржаков.

— Сколько людей осталось?

— Полроты наберется.

— Сколько танков подбили?

— Два.

— У тебя же семь на участке роты стоит.

— Пять артиллеристы сожгли. Моих два.

— Считай все.

— Что же получится, я семь и артиллеристы семь укажут — в донесении четырнадцать будет. Кому это надо?

— Ты давай, не мудри, — холодно сказал Журавлев, — уничтожено семь — так и докладывай.

— Моих два, — упрямо сказал Куржаков, и ноздри его побелели.

— Ну ладно, математик, — сердито сказал капитан. — Получи вот карты. Сегодня прислали. Начштаба в третью роту понес, а я для вас прихватил. — Журавлев, шелестя картами, стал подбирать листы, проверяя маркировку.

— А эти зачем? — спросил Куржаков, показывая два листа с окраинами Москвы.

Журавлев понял скрытый смысл вопроса, ответил:

— На всякий случай.

— Для меня такого случая не будет, — сказал Куржаков. — И взводным моим эти листы не давайте. Я пристрелю каждого, кто попятится.

Он протянул комбату листы. Журавлев какой-то миг молча смотрел на Куржакова, но листы все же взял.

Ромашкин возвращался в свою траншею и думал о Куржакове: «Что за странный человек? В бою улыбается, когда затишье — на людей рычит. Даже комбату резко отвечал…»

Ромашкин шел по хрустящему снегу, видел редкие ракеты над передним краем и цепочки трассирующих пуль. Он думал о том, что получил боевое крещение как командир, и теперь дела пойдут лучше. Вдруг одна из огненных цепочек полетела прямо в него. Ромашкин не успел лечь, и огненное жало впилось в грудь. Падая, он ощутил, будто оса грызет, жалит уже где-то внутри, подбираясь к самому сердцу.

«Как же так? Почему в меня?» — удивился Ромашкин. А оса жалила так больно, что померк свет в глазах.

Во взводе подумали — лейтенант засиделся у ротного. Куржаков считал, что Ромашкин давно отсыпается в своей землянке. А телефон взводному командиру не полагается.

Всю ночь пролежал на снегу Ромашкин, истек кровью, закоченел. Наткнулись на него только на рассвете, оттащили к

воронке. Там не зарытыми ещё лежали бойцы, расплющенные прямым попаданием в блиндаж. Совсем недавно на них с содроганием смотрел сам Ромашкин.

Куржаков пришел взглянуть на последнего взводного своей роты. Да, он постоянно ругал Ромашкина и высказывал свою неприязнь, но в душе считал его наиболее способным из своих командиров и теперь искренне опечалился его смертью. Тем более, что кое-чему уже научил лейтенанта Ромашкина, дальше с ним воевать было бы легче.

Куржаков расстегнул нагрудный карман Ромашкина, чтобы взять документы, и уловил слабое веяние живого тепла. Ротный поискал пульс, не нашел и приложил ухо к груди лейтенанта.

— Куда же вы его волокете? — гневно спросил Куржаков оторопевших красноармейцев. — Живой ваш командир! Несите в санчасть. Эх вы, братья-славяне!

— Так задубел он весь, — виновато сказал Оплеткин.

— Ты сам задубел, в могилу живого тянешь! Несите бегом, может, и выживет.

Умирать нам рановато

Ромашкин открыл глаза и увидел пожилую женщину в белой косынке.

— Ну, вот мы и очнулись, — сказала она.

Василий удивился — откуда женщина его знает! Кажется, это она торговала вареной картошкой. Но как она сюда попала? А вернее, как он попал к ней? Василий спросил:

— Это вы продавали картошку? Она кивнула:

— Я, милый, я.

— Я про станцию, где наш эшелон остановился.

— Правильно, — согласилась женщина, — и я про станцию и картошку.

Ромашкин понял — она соглашается потому, что он больной, нет, не больной, а раненый. Он вспомнил: однажды болел отец, и мама всему, что бы он ни говорил, поддакивала, со всем соглашалась. Тяжелобольным не возражают, им нельзя волноваться. «Значит, я тяжелый».

— Он ещё бредит, — сказал грубый голос рядом. Василий посмотрел — рядом на кровати сидел человек в нижнем белье.

— Нет, не бредит, — удивился тот, — на меня смотрит.

— Где я? — спросил Ромашкин женщину.

— В госпитале, милый, в госпитале.

— В каком городе?

— В поселке Индюшкино.

Ромашкин улыбнулся.

— Смешное название.

— Смешное, милый. Ты больше не говори. Нельзя тебе.

—А почему? Куда я ранен? — И вдруг вспомнил, как огненная оса впилась в грудь. Она ещё была в нем, тут же заворочалась, стала жалить внутри. Ромашкина забил сухой, разрывающий грудь кашель. — Осу выньте, осу! — застонал он.

— Опять завел про осу, — сказал сосед нянечке. — Опять он поплыл, Мария Никифоровна.

— Это ничего, — ответила нянечка, поправляя подушку. — Уж коли в себя приходил, значит, на поправку идет.

Ромашкин лежал в полевом госпитале километрах в двадцати от передовой. Здесь были самые разные раненые, такие, кого не было смысла увозить в тыл: ранения легкие, несколько недель — и человек пойдет в строй; и такие, кого сразу нельзя эвакуировать, они назывались нетранспортабельными. Их выводили из тяжелого состояния и уж потом отправляли дальше. Ромашкин был «тяжелым» не только по ранению, а из-за

простуды и большой потери крови.

Вскоре ему стало лучше. Теперь он уже не проваливался в темную мягкую пропасть, все время был в сознании. Только мучил раздирающий все в груди кашель. От этого кашля и сотрясения рана горела и кровоточила.

Пожилой военврач со шпалой на петлице, видневшейся из-под белого халата, весело говорил:

— Просто удивительно!.. В мирное время человек с таким букетом — сквозное ранение в грудь плюс крупозное воспаление легких — поправляется как минимум месяц. А теперь неделя — и уже молодец.

— Еще через неделю и на танцы пойдет, — улыбаясь, сказала Мария Никифоровна, нянечка офицерской палаты.

Когда военврач ушел, раненые занялись разговорами. Василий знал только тех, кто лежал поблизости. Слева — капитан Городецкий, командир батареи, крепкий, рослый. У него и голос артиллерийский — громкий, зычный. Справа — чистенький, красивый батальонный комиссар Линтварев, тщательно выбритый, чернобровый, с волнистой темной шевелюрой. Ромашкину было приятно, что такой красивый, серьезный и, видно, очень умный комиссар лежит рядом. Комиссар нравился и своей учтивостью. Он всем говорил «вы», «извините», «пожалуйста», «благодарю вас».

Капитан Городецкий был груб, оглушал Ромашкина своим пушечным голосом, любил шутить, но шутки его не вызывали смеха. Когда Ромашкина сотрясал кашель, комбат вроде бы ворчал:

— Ты это брось, не прикидывайся, все равно на передовую отправят. — И бережно приподнимал Василия вместе с подушкой, помогая преодолеть приступ. — Кашляй не кашляй, загремишь в полк. Только ветер позади завиваться будет.

Рядом с артиллеристом лежал приземистый, широкоплечий танкист, старший лейтенант Демин. Белобрысый, белобровый, с розовым, обгоревшим лицом, Демин был неразговорчив, целыми днями читал газеты и книги.

Других обитателей палаты Василий пока не знал. Некоторые из них, мотая свои тела на костылях, проходили мимо, но никто с Ромашкиным не разговаривал.

Госпиталь размещался в здании школы, командирская палата была большой, в ней поместилось пятнадцать кроватей. Дверь из палаты выходила в зал. Там, как в казарме, длинными рядами стояли койки, на них лежали красноармейцы в исподних пожелтевших рубашках.

В командирской палате пахло лекарствами, засыхающей

кровью, из общего зала тянуло таким же запахом, но ещё более густым, с ощутимой примесью гниющих ран и стираных портянок.

Ромашкин со своей койки видел в зале небольшую сцену. На покоробившемся, облупленном по краям холсте, висевшем на сцене, был нарисован сельский пейзаж — березы, поля, деревушка на взгорке. «В точности моя школа, — думал Василий, — по одному проекту, наверное, построены. На такой же сцене мы получали аттестаты — Зина, Шурик, Ася, Витька. Где-то они сейчас? Надо написать Зине».

Размолвка, которая у них произошла, казалась теперь пустяковой. Василий помнил, как сказал Зине, что собирается поступать в авиационное училище, и как обидно она ответила: «Хочешь жить всю жизнь по командам ать-два?» Как далеко отодвинулось все это! Василий не мог вспомнить адрес Зины. Улицу знал — Осоавиахимовская, а номер дома забыл. «Ну, ничего, можно через маму узнать». Домой Ромашкин написал сразу, как только смог держать карандаш. «В следующем письме попрошу у мамы адрес и напишу Зине. Скорей бы пришел ответ, как там воюет папа. Не ранен ли?» Ромашкин вспомнил солдат, которых сменил его взвод, вспомнил своих бойцов, какими они стали за один день боя. «Неужели и папа такой?» Ромашкин не мог представить его таким, отец всегда ходил в наглаженном костюме при галстуке — этакий интеллигентный, как мама называла в шутку, «руководящий товарищ из горисполкома».

Вечером в общем зале установили киноаппарат, повесили экран и приготовились крутить кино. Зрители лежали на своих кроватях. Ходячие командиры пришли со своими табуретками.

Когда готовились к сеансу, Ромашкин спал. Городецкий и Линтварев доигрывали партию в шахматы.

— Давай, думай быстрее, я добью тебя, пока журнал прокрутят, — басил комбат.

— Пожалуйста, — соглашался комиссар, — только не вышла бы у вас осечка.

Запустили киножурнал, а Ромашкин все ещё не проснулся, ему приснился странный сон — будто стоит он на Красной площади, дирижер в белых перчатках машет руками, а перед ним отчаянно дерутся Куржаков и тот психованный немец-летчик, которого поймал Ромашкин. Немец и Куржаков колотят друг друга руками, зажатыми в них пистолетами, выхватывают из-под ног брусчатку и бьют по голове этими камнями. А музыка все играет, и дирижер машет руками в белых перчатках. Василий проснулся. В комнате звучал парадный марш, а перед глазами была Красная площадь с войсками. Он не сразу понял, что

показывают кинохронику — парад 7 ноября. Наконец сообразил, что происходит, и с любопытством стал всматриваться. «Может быть, покажут и меня? Крутились и возле нас операторы». На экране стояли войска, снятые откуда-то сверху, потом показали крупно суровые лица участников парада, их шапки и плечи были занесены снегом. Но себя Ромашкин не увидел.

— Я там был! — все же воскликнул Василий.

— Где? — спросил комбат.

— На параде.

— Молодец. Одобряем и будем ходатайствовать.

— О чем? — не понял Василий.

— Об отправке на передовую.

Ромашкин с досадой махнул рукой. Городецкий болтал все об одном: на передовую, на передовую… А на экране Сталин уже говорил речь. Он был виден по пояс, крупный, во весь экран, в фуражке и шинели, говорил спокойно и веско.

— Тогда же снег падал! — вспомнил и сказал изумленно Ромашкин. — Почему его нет на экране? И пар изо рта не идет у Сталина, а стоял мороз.

Сталин говорил долго, речь передавали полностью, поэтому и Л интварев, и Городецкий, оставив шахматы, могли убедиться — Ромашкин говорит правду.

— Видите, все войска в снегу, видите? Да у меня на шапке был целый сугроб. А мимо Сталина ни одна снежинка не пролетает. И пара нет. На морозе пар обязательно должен быть.

Линтварев резко поднялся:

— Вы, товарищ лейтенант, говорите, да не заговаривайтесь. Зачем вы пытаетесь породить какие-то сомнения насчет товарища Сталина? Вы, товарищ капитан, слыхали его слова?

Комбат подошел к Василию, склонился над ним, глухо сказал:

— Ничего я не слышал. Бредит парень, а ты, комиссар, политику ему пришиваешь. Лежи, лейтенант, лежи спокойно. Сейчас я тебе водички подам.

Ромашкина стал бить кашель, он застонал от боли, но сознание было ясное.

— Нет, я все помню… Я же там был… Кых-кых. Комбат моргал ему глазами: молчи, мол, не будь дураком. И Ромашкин понял.

Когда Линтварев куда-то вышел, Городецкий сказал:

— Ты поосторожнее с такими словами. Не то отправят тебя куда-нибудь подальше и в противоположную сторону от передовой.

— Почему вы всегда о передовой говорите как-то странно.

Городецкий улыбнулся, обнажив прокуренные желтые зубы, и стал рассказывать:

— С этим делом так было. Я служил на Дальнем Востоке. Ну, как началась война, все стали проситься на фронт. А командир полка никого не отпускал. Да от него это и не зависело. А был он мужик хитрый и всем обещал: «Кто проявит себя хорошо и окажется достойным, буду ходатайствовать об отправке на передовую». На стрельбах я и ещё один комбат — капитан Чикунов — отличились. Командир полка сказал перед строем: «Буду ходатайствовать о направлении в действующую армию». А сам, конечно, не выполнил. Вот и пошла меж командиров поговорка — чуть что: «Будем ходатайствовать об отправке на передовую». Надолго прилипли эти слова. И я забыть их не могу.

Добрейшая Мария Никифоровна принесла Ромашкину из деревни домашнего молока, нагрела его, добавила «нутряного» сала и поила, приговаривая:

— Нутряное сало как рукой всю болезнь сымет. А молоко настоящее, не порошковое. В порошковом никакой силы нет. Нальешь в него воду — и все: вода была, вода и осталась. Нешто это молоко?

Ромашкину была приятна заботливость Марии Никифоровны. Но втайне он жалел, что за ним ухаживает старенькая нянечка. В большой палате ухаживали за ранеными, да и к ним заходили молодые медсестры, с подведенными бровями и кокетливо пристроенными накрахмаленными платочками. Хорошо, если бы такая постояла рядом, поговорила, прикоснулась к лицу или к руке. У Марии Никифоровны косынка тоже белая, только подвязана по-бабьи, узелком под подбородком. Старая нянечка замечала взгляды Василия в сторону молоденьких сестриц и радовалась — совсем ожил парень.

— Скоро на ноги поднимешься, — говорила она, — будем на танцы ходить. Ты со мной будешь фокстротить, так как я выходила тебя.

Ромашкин смущался, но поддерживал шутку:

— Мы с вами румбу оторвем, тетя Маня.

Госпиталь пополнялся новыми ранеными. Стоны, ругань. Крики слышались в большом зале и в классах. Вновь прибывшие приносили в дом свежесть морозного воздуха. Но через день, другой все входило в прежнюю колею. Многие тяжело раненные умирали — их уносили. Тем, кто выживал, облегчали страдания. А воздух наполнялся гнилостным запахом старых ран.

Ромашкин уже стал ходить. Когда показывали кино, он со своей табуреткой отправлялся в общую залу, шутил с молодыми сестрами. В его палате появился новый сосед — старший

лейтенант Гасанов. Ему оторвало стопу, но он ещё не понимал этого, просил Ромашкина:

— Накрой ногу, мерзнет.

Ромашкин расспрашивал Гасанова о последних боях.

— Ты где был, на каком участке?

— Истру знаешь? Водохранилище там.

— Слыхал.

— Вот его и удерживали.

— На берегу легче обороняться, это не то что в открытом поле.

— Легче, говоришь? Оно же замерзло, как по земле ходить можно.

— Правильно, да ты говори спокойно, не волнуйся.

— Как говорить спокойно, если оттуда нас выбили? Понимаешь, ночью по льду подошли, атаковали, захватили плацдарм. Вот на этом плацдарме меня и ранило в плечо и в ногу. Ты не видал, большая у меня рана?

— В бинтах все, — опуская глаза, врал Ромашкин.

— Ну ничего, зарастет. Так вот, понимаешь, они к нам по сплошному льду подкрались, а мы, когда вышибали их, в атаку шли где по льдинам, а где вплавь между ними. Разбило все нашими и немецкими снарядами. Ух, и вода была! До сих пор нога мерзнет. Закрой, пожалуйста, будь другом.

Ромашкин сам уже ходил на перевязки и за лекарствами, подолгу задерживался в процедурной, разговаривал то с рыженькой белолицей Ритой, то с черноглазой татарочкой Фатимой. Мария Никифоровна теперь все время лопотала у койки Гасанова, что-то ворковала ему про «танции», про теплый Ташкент, куда его скоро эвакуируют, а там — на родине — он непременно согреется.

Дни в госпитале тянулись однообразно и скучно. Раненые, в большинстве молодые парни, как только начинали ходить, искали развлечений. А что придумаешь в четырех стенах? Но все же забавлялись. У красноармейца Посохина не ладился желудок, ему делали клизмы. Как только он удалялся в процедурную для принятия очередной порции воды, несколько бойцов занимали все кабины в уборной. Посохин бегал вдоль дверей и с нарастающим смятением звал:

— Братцы, откройте! Ребята, нельзя же так!

Вся большая палата хохотала. Потом и Посохин смеялся, он был добродушный парень. Как он ни хитрил, как ни старался юркнуть в процедурную незамеченным, за ним приглядывали, и представление повторялось.

Другому бойцу положили в сапог щетку, и он, сунув босую

ногу, испуганно заорал; третьему в компот подсыпали хины и долго ждали, пока он хлебнет этой смеси. За сестрами ухаживали наперебой, тут разгоралось отчаянное соперничество.

Просыпались рано, первым делом слушали радио — сводку Информбюро, потом с нетерпением ждали газеты. Батальонный комиссар Линтварев читал их последним. Давали по одному экземпляру «Правды» и «Красной звезды» на палату. Командиры быстро просматривали фронтовые новости. И когда газеты освобождались, Линтварев читал их от первой до последней строчки, что-то выписывая в толстый блокнот.

Иногда с ним горячо спорил танкист Демин.

— Ну все, немцы выдохлись! — сказал однажды Линтварев, прочитав какую-то заметку.

— И кто же это определил? — тут же откликнулся Демин.

— Объективный ход событий.

— А именно?

— Вот приводятся выдержки из немецких газет. Фашисты уже не сообщают о планомерных наступлениях, а говорят, будто на Восточном фронте свирепствуют морозы, что не позволяет проводить больших наступательных операций.

— Ну и что? — возразил Демин. — Правильно пишут — зимой воевать труднее, снега маневр сковывают. Немцы к тому же непривычны к нашим морозам.

Линтварев спокойно ждал, пока танкист выскажется, по его ироническому лицу Ромашкин видел — комиссар подготовил веское опровержение:

— К зиме суровой они непривычны, правильно вы говорите. Но где она, зима? Где морозы? Холоднее трех-пяти градусов ещё и не было! Зима в этом году поздняя. Так что погода благоприятствует немцам. А почему они кричат о морозах? Ищут оправдание своим неудачам. Значит, выдохлись!

Ромашкин в споре не участвовал, но соглашался с Л интваревым — холодов действительно не было. Василий не раз выходил во двор госпиталя в одном синем байковом халате, дышал свежим воздухом.

— Очень хорошо, что Совинформбюро опубликовало такую статью, — убежденно говорил комиссар. — Это официальный документ. Придет время, историки откроют сегодняшний номер газеты «Правда» и увидят — не генерал Мороз, как утверждают немцы, остановил их, а мы — Красная Армия.

Ромашкин надел свой линялый старый халат, собрался на прогулку — не для того, чтобы убедиться в отсутствии мороза, а просто на очередную вылазку, тайком от сестер.

Он спустился на первый этаж и вышел за дверь. Голова

закружилась от чистого холодного воздуха и едва уловимого запаха снега. Василий каждый день удлинял прогулки и постепенно узнавал, что делается во дворе госпиталя, где какие службы, отделения.

Раньше он слышал стук молотков в большом сарае, в дальнем углу двора. Сегодня добрался и до этого сарая. Оттуда вышел такой же, как и он, выздоравливающий в синем теплом халате, подпоясанном куском бинта.

— Что здесь за мастерская? — спросил Ромашкин, надеясь, что и себе найдет какое-нибудь занятие от скуки.

— Шьем деревянные телогрейки для нашего брата, — ответил выздоравливающий,

— Чего? — не понял Ромашкин.

— А ты зайди, посмотри.

Василий заглянул за дверь, откуда пахнуло приятным теплом свежих стружек и опилок. В большом просторном помещении, прислоненные к стене, рядами стояли гробы, сбитые из свежеоструганных досок.

— Не понравилось? — усмехнулся парень. — Есть и другая работа. Иди вот в лесок, там увидишь.

— Мне так далеко нельзя ходить.

— Подумаешь, даль — двести метров. Небось до Берлина собирался дойти, да немцы тебе маршрут укоротили, — съязвил боец.

Ромашкин обиделся, подумал о Линтвареве: «Вот какие разговорчики тебе, комиссар, надо слышать», — и ответил:

— Трепач. Совсем не думаешь, о чем болтаешь.

Выздоравливающий рассмеялся:

— Ничего, злее будешь. Это полезно.

Ромашкин вспоминал Куржакова. «Жив ли? Тоже все время про злость говорил. А в бою был веселый, улыбался. Я думал, пристрелит меня за танки, а он даже помог».

Еще через три дня Ромашкин вышел за ограду и добрался до того самого лесочка, где, он теперь знал, была работа для выздоравливающих. В лесочке оказалось кладбище. На большой поляне одинаковые могилы выстроились ровными рядами. «И мертвые в строю», — подумал Ромашкин. Большинство могил занесено снегом, но были холмики свежей, темной земли. Над всеми — старыми и новыми — возвышались пирамидки со звездочками. У свежего холма курили, опираясь на лопаты, выздоравливающие в полушубках и синих пижамных штанах, заправленных в сапоги. «Вот какую работу предлагал мне тот парень — могилы рыть… Ну и тип!»

Василий тихо побрел вдоль старых могил, читая фамилии.

«Может быть, наши ребята — Карапетян, Сабуров, Синицкий — здесь похоронены? Хотя едва ли. Они же не были ранены. Их сразу. Где-нибудь в братской могиле зарыты». Ромашкин вдруг оторопел, увидев свою фамилию. ещё раз прочитал: «Рядовой Ромашкин В. М.» Что-то холодное побежало от ног к сердцу.

«Рядовой… В. М. — Владимир Михайлович… не может быть! Почему не может? Всего три дня пролежал Гасанов, и вынесли. Теперь ляжет вот в ту могилу, которую роют, и завтра уже будет написано: „Гасанов“. Так и не узнал, что у него нет ноги…» Василий понял, как бы он ни хитрил, как бы ни уводил мысли в сторону, от беды ему не уйти — это инициалы отца, Ромашкина Владимира Михайловича.

Василий побежал в госпиталь, влетел к лечащему врачу.

— Почему такой взъерошенный? — спросил военврач, привыкший видеть его спокойным.

— Вы не помните раненого Ромашкина? Пожилой такой. Худощавый, высокий. Его здесь лечили… Он там похоронен. Инициалы совпадают — В. М., у моего отца такие же, понимаете?

— Успокойся. Сейчас проверим. Какое звание у отца?

— Рядовой.

— Все ясно. Я его знать не мог: меня сразу закрепили за командирскими палатами. Идем.

В управлении госпиталя они зашли в тесную комнатку со стеллажами. Там в папках лежали врачебные документы на выбывших раненых.

— Посмотрите, пожалуйста, на "Р" — Ромашкин, — попросил военврач старую женщину в очках.

Она пошуршала страницами около выступающей картонки с черной буквой "Р" и, выдернув папочку, подала доктору. Он полистал бумажки, жалостливо посмотрел на лейтенанта, тихо сказал:

— Да, это он. Все совпадает — Оренбург, имя, отчество. Екатерина Львовна, дайте, пожалуйста, лейтенанту стул. Садитесь, читайте. В палату историю болезни дать не могу. Читайте здесь.

Василий раскрыл синюю папку. Прочитал: «Ф. И. О. — Ромашкин Владимир Михайлович. Год рождения —1896. Национальность — русский». «Зачем здесь нужна национальность?» «Партийность — беспартийный, — мелькало перед глазами. — Диагноз — сквозное ранение в грудь с повреждением сердечной сумки». «И я в грудь, и папа…» Буквы расплылись, будто бумагу намочили водой. И тут же Василий почувствовал, что слезы заполнили глаза и уже катятся по щекам.

Остаток дня Василий пролежал на кровати, уткнувшись

лицом в подушку. Мария Никифоровна опять хлопотала возле него. Соседняя кровать была пуста, на место Гасанова никого ещё не положили.

— Сердечный ты мой, надо же случиться такому, — тихо приговаривала тетя Маня и гладила Василия по голове. её глаза были влажными; но слез уже не было — выплакала вчера, когда умер Гасанов. — Ну уймись, ты ведь большой, — просила она, как ребенка. — О себе подумай, о своем здоровье. Теперь и за себя, и за него воевать придется. Уймись, сынок!

С этого дня Ромашкин стал торопиться на фронт. Его торопливость была теперь не только от желания отличиться и показать свою удаль — нет, он ещё хотел мстить за отца. У него что-то окаменело в груди, и, чтобы там стало легче, надо было, он понимал, скорее оказаться на фронте, бить фашистов, бить много и беспощадно.

Доктор говорил — необходимо ещё с полмесяца лечиться, предлагал отпуск.

— Домой съездите, матери покажетесь, поможете горе перенести.

Встречи с мамой Василий даже испугался. Оказаться в квартире, где все будет напоминать отца, и знать, что он никогда не появится, казалось непосильным.

— Нет, что вы, какой может быть отпуск, — отрешенно сказал Василий, — только на фронт!

Он каждый день надоедал военврачу, перестал ходить к сестричкам в процедурную, замкнулся, похудел.

В это время пришло письмо от мамы. Охваченная страхом за его жизнь и здоровье, она расспрашивала — куда ранен, могут ли быть последствия? Об отце не писала ни слова. А сообщение о его смерти она получила из этого же госпиталя. Василий сам видел копию в той синей папочке.

«Если мама так поступает, значит, ей так легче», — решил он и ответил, что рана пустяковая, скоро он вернется на фронт и пришлет свой новый адрес. Смерть отца стала тайной, которую знали оба, и, чтобы облегчить страдания другому, каждый хотел взять на себя большую часть этого горя.

* * *

16 ноября началось новое наступление гитлеровцев на Москву.

В районе Яхромы, Солнечногорска фашисты бросили в атаку много танков. На одном из участков наша оборона была прорвана. Ночью немецкие танки и пехота на бронетранспортерах ворвались в деревню Индюшкино.

Госпиталь спал. Как только раздались выстрелы и взрывы,

раненые, кто мог, вскочили с постелей.

— Немцы!

— Откуда они здесь?

— Не знаешь, откуда бывают немцы?

— Гаси свет!

— Зачем? Это же не бомбежка.

— Наоборот, зажгите все лампы, пусть видят, что здесь госпиталь.

Прибежали из своих комнатушек врачи, сестры, торопливо завязывая тесемки халатов.

— Товарищи! — властно и громко крикнул батальонный комиссар Линтварев, он стоял в центре общей палаты. — Оставайтесь на своих местах. Раненые находятся под защитой международной организации Красный Крест. Медицинский персонал объяснит немцам, что здесь госпиталь.

— Плохо ты фашистов знаешь! Они тебя другим крестом благословят, — сказал боец на костылях.

— Вы, пожалуйста, не тыкайте, а обращайтесь как положено. Я — батальонный комиссар и приказываю всем сохранять спокойствие.

— У тебя на кальсонах шпалов нету, не видно, что ты комиссар, — не унимался боец.

Вмешался врач, поддержал Линтварева:

— Правильно, товарищи, о раненых есть международное соглашение.

Бойцы, приученные к дисциплине, кто лег, кто сел на свою койку. Тетя Маша сняла свой белый платочек и повязала косынку с красным крестиком на лбу.

— Где наше оружие? — спросил Ромашкин.

— На складе. Кто прибывает с оружием, у всех берут — и на склад.

— А склад где?

— Там, за сарайчиком, ну, за тем, где гробы делают.

Капитан Городецкий достал из-под подушки пистолет, молча положил его за пазуху.

— Эх, напрасно я сдал свой наган, — пожалел белобрысый танкист.

— Ложитесь, ложитесь, —успокаивал Линтварев. — Сделайте вид, что вы не ходячие.

Внизу, на первом этаже, хлопнули двери. Все замерли, тревожно вслушиваясь.

Затопали по лестнице тяжелые сапоги, зацокали металлические шляпки гвоздей. Ромашкин будто увидел подошвы немецких сапог, утыканные гвоздями.

Военврач двинулся к двери, чтобы встретить тех, кто поднимался по лестнице. Сестры испуганно прижались к стене. Вдруг дверь брызнула стеклами и распахнулась — её ударили ногой. В зал с автоматами наперевес ввалились гитлеровцы в зеленых шинелях и касках, покрытых инеем.

— Здесь раненые, — сказал врач, став на пути врагов и раскинув руки.

Треснула короткая очередь, и врач упал с раскинутыми в стороны руками. Вскрикнула сестра. И тут же автоматы забились, заплевались огнем. Беленькие сестры сползли по стенам на пол. А фашисты уже косили тех, кто вскочил, и тех, кто лежал ещё на кроватях.

Ромашкин кинулся на подоконник, вышиб ногой раму и спрыгнул в мягкий холодный снег. За ним выпрыгнули танкист Демин и комиссар Линтварев.

— Бегите, братцы, я прикрою! — крикнул сверху капитан Городецкий и выстрелил в гитлеровца, который побежал наперерез Линтвареву и Демину.

Пока Ромашкин бежал вдоль стены к углу дома, сверху хлестнули ещё несколько выстрелов, и он услышал, как отчаянно заматерился Городецкий.

За деревянным сараем трое командиров увидели кирпичную пристройку. Это, наверное, и был склад. Но едва они выбежали из-за угла, их остановил властный окрик:

— Стой, кто идет?

Часовой сидел в окопчике, оттуда торчала лишь заиндевелая ушанка.

— Свои, — тихо сказал танкист.

— Какие свои? Где разводящий?

— Немцы прорвались! Ты что, стрельбы не слыхал?

Часовой молчал. Он слышал стрельбу, но не знал, что происходит и как ему поступить. Командиры опять двинулись вперед.

— Дай нам оружие, — попросил Ромашкин, — там немцы раненых бьют…

— Не подходи, стрелять буду! — часовой клацнул затвором.

— Я батальонный комиссар, верьте мне, это не провокация, — властно сказал Линтварев. — Я приказываю… — Тут же грохнул выстрел, и пуля свистнула над головой. Все трое упали в снег.

— Теперь не допустит, — печально и тихо сказал танкист. — Раз услышал, что комиссар приказывает, будет стоять до конца. Подвиг совершает! — Танкист истерически засмеялся, тут же заплакал, стал бить кулаками снег и надрывно выкрикивать: —

До каких же пор так будет? До каких? В июне нам не позволили машины вывести: приказ — не поддаваться на провокацию. И что же? Многие танки сгорели в парке. Вот, смотрите, он тоже не поддается на провокацию, этот дурак!

Внезапно Демин вскочил и грудью пошел на часового:

— Стреляй, гад! Стреляй в своего! Фашисты раненых там убивают, а ты…

Часовой выстрелил раз и другой, наверное, умышленно выше головы. А Демин все шел. Наконец он достиг окопа, нагнулся, вырвал винтовку и ударил часового ногой в лицо.

— Ах ты, курва! — закричал боец. — Надо было тебя пристрелить! Я же специально вверх стрелял, чтобы ты обезоружил меня. Закон не велит тебя на пост допускать, не имею права.

Демин, не вступая в долгий разговор, подбежал к двери, засунул ствол винтовки за пробой и двумя рывками сорвал замок. Посвечивая спичками, стали искать оружие и патроны.

— Да здесь вот, — подсказывал пожилой боец, двигаясь за Деминым. — Вот в тех ящиках автоматы, в тех — винтовки.

— А где гранаты? — спросил Ромашкин.

— Гранат нема: вы на передовой их оставляете.

— А патроны?

— Патронов тоже чуть. Устав надо знать: уходя в лазарет, отдай патроны товарищу, который остается на передовой, — поучающе процитировал красноармеец.

— Да заткнись, буквоед проклятый! — закричал Демин. — Показывай, где патроны!

— Вот туточки, — он открыл деревянный ящик, там тускло блеснула серая цинковая коробка.

Ромашкин выхватил из ящика автомат — на нем были липкие сгустки солидола.

— Надо же так намазать! — Ромашкин выругался. — Тыловые чучела безголовые!

Он схватил какие-то тряпки, стал обтирать кожух и затвор автомата.

— Государственное добро полагается беречь, — невозмутимо поучал боец.

Он отбегал куда-то в темные углы и возвращался то с шинелями, то с гимнастерками.

— Одевайтесь по-быстрому! Сапоги вот, шинелки. Околеете в бельишке-то!

Едва они успели одеться, как у госпиталя послышалась частая стрельба, взревели моторы танков, хлестко вспороли морозный воздух выстрелы танковых пушек, грохнули близкие разрывы.

Крадучись, все четверо вышли из-за сарая и увидели свои родные тридцатьчетверки. Стреляя вдогон уходящим гитлеровцам, танки неслись по центральной улице поселка.

Ромашкин вслед за Деминым и Линтваревым вбежал в палату и в наступающем утреннем рассвете увидел страшное зрелище. Убитые лежали в самых невероятных позах. Было ясно, что все они метались в поисках спасения, и так, на бегу, настигла их смерть. Только военврач лежал у входа с раскинутыми руками, да девушки-медсестры сжались комочками у стены.

То ли от предутренних сумерек, то ли от пережитого Ромашкину все окружающее казалось синего цвета: оконные проемы без стекол, халаты на убитых, лица стоявших рядом людей и даже кровь, растекшаяся по полу.

У входа в свою палату Василий перешагнул через трупы двух фашистов, мысленно отметил: «Это Городецкий их застрелил. Где же он сам?»

Капитан лежал у окна, вокруг него были грязные следы сапог и россыпь стреляных немецких гильз. В Городецкого, видно, выпустили несколько автоматных очередей. На полу возле двери Василий увидел тетю Машу с раскинутыми, как и у военврача, руками. Она тоже встала на пути врагов, не хотела их пускать.

Пришли в госпиталь командиры из батальона, выбившего фашистов.

Линтварев, где-то нашедший свою одежду, в полной форме, подтянутый, подошел к ним и строго сказал:

— Товарищи, вы все это видите своими глазами, будете свидетелями. Надо составить акт — это нарушение международного пакта. Это варварское преступление.

Командир в овчинном полушубке мрачно посмотрел на него, ответил глухо:

— Нет, мы не свидетели. Мы — судьи, нам не нужны никакие акты. Мы будем бить сволочей беспощадно.

Они ушли. А Линтварев спросил Ромашкина и Демина:

— Может, мы с вами составим?..

— Иди ты… знаешь куда, — грубо сказал танкист.

— Вы, пожалуйста, не забывайтесь, товарищ старший лейтенант, — одернул его Линтварев. — Я старше вас по званию…

Но танкист, уже не слушая, ушел из палаты.

Ромашкин достал из тумбочки бритву, планшетку, письмо от мамы, аккуратно сложил все и пошел на склад искать свою одежду. Когда он в полной форме вернулся в госпиталь, там наводили порядок откуда-то подоспевшие незнакомые медики.

— Вы из здешних раненых? — спросила женщина-военврач,

похожая на армянку.

— Я уже выписывался. Мне бы документы, — соврал Ромашкин.

Женщина с состраданием глядела на лейтенанта. Он так крепко сжимал автомат, что пальцы на руке побелели и, наверное, онемели, а сам он не замечал этого. Она понимала — лейтенанту надо уйти отсюда как можно скорее.

— Может быть, вас направить в другой госпиталь? — спросила она участливо.

Ромашкин испугался.

— Нет, нет, только на фронт.

— Я понимаю, милый. Но здоров ли ты? У тебя повязка, — за расстегнутым воротом гимнастерки был виден бинт.

— Это последняя повязка. Точно вам говорю, меня собирались выписать.

— Хорошо, лейтенант. Пойдем в штаб, посмотрим твои бумаги и все оформим.

Через час Ромашкин получил свои документы, направление в офицерский резерв армии, продовольственный аттестат и дорожный паек — колечко сухой колбасы, две селедки, кусочек старого свиного сала, полбуханки черного хлеба и немного сахарного песку в газетном кульке.

Он пошел на опушку леса, где выстроились в ряд могилы. Постоял у пирамидки со своей фамилией и инициалами отца. Подумал: «Теперь, папа, рядом с тобой лягут тетя Маня, капитан Городецкий, доктор Микушов, Рита и Фатима — наши сестрички». Василий жалел этих так внезапно погибших людей, от которых видел только хорошее. Но от того, что они будут похоронены рядом с отцом, на душе Василия становилось не то чтобы легче, а как-то спокойней за отца.

— Прощай, папа. Прощайте, товарищи… — тихо сказал он и пошел на окраину поселка, к дороге, по которой сновали машины и скрипели на морозе повозки.

Василий тревожно вслушивался в себя — не дает ли знать беганье босиком по снегу, да ещё в одном белье? Но внутри, в груди, и особенно в голове, было пусто — ни жара, ни тепла, будто там остались холод и тишина, которые он застал в палате с расстрелянными. Лишь где-то на дне души возникло новое чувство, колючее, обжигающее, больное, которого он не ощущал в себе раньше. Как оно называлось, это новое чувство, Василий не знал. На что оно похоже? И вдруг вспомнил Куржакова: как тот дрался, как исступленно бил всем, что попадало под руку. Вот и Василию хотелось сейчас так же бить фашистов, стрелять в них, колоть штыком, душить руками, грызтьзубами. «Это —

ненависть!» — понял Василий и даже остановился, чтобы прислушаться к ней и лучше ощутить её жжение.

На полях Подмосковья чернели сгоревшие танки, опрокинутые автомобили, изуродованные пушки с разорванными стволами — все это, как и тысячи вражеских трупов, постепенно заметала снежная поземка.

Однако и наши войска несли в ходе боев большие потери, Постепенно атаки полков и дивизий, как штормовые волны затихающего океана, истощив силы, били все слабее и слабее и наконец остановились, клокоча и бушуя местными боями на изогнутой и изломанной линии фронта.

Полк, в который вернулся из госпиталя Ромашкин, совершенно выбился из сил. Поредевшие батальоны закрепились в открытом снежном поле между двумя сгоревшими деревеньками, вдолбились в промерзшую землю и держали оборону в ожидании дальнейших распоряжений.

Пришла новогодняя ночь. Подвывал ветер, шуршала поземка. В небе вместо луны — тусклое её подобие, будто жирное пятно на серой оберточной бумаге.

Василий Ромашкин отодвинул загремевшую на морозе жесткую плащ-палатку и вышел из блиндажа в траншею. Постоял там, втянув голову в теплый воротник полушубка, подождал, пока глаза привыкли к мраку. Холодный воздух быстро обволакивал его, вытесняя из-под одежды тепло землянки, пахнущее хлебом и махоркой. Стараясь не двигаться, чтобы подольше сохранить это приятное тепло, Василий спокойно и привычно оглядел нейтральную зону. Пологие скаты спускались от нас и от немцев к извилистой полосе кустарника, росшего вдоль речушки, спрятанной подо льдом.

Было мглисто и тихо. Поземка подкралась к траншее и с легким шипением кинула жесткий снег в лицо. Ромашкин только попытался сдунуть его, но рук из карманов так и не вынул: в карманах ещё осталось домовитое тепло.

Дежурный пулемётчик Ефремов, пожилой человек, выглянул из-за поворота. Шинель его спереди была испачкана землей: наблюдая за нейтралкой, он прижимался к стенке траншеи. Увидев командира, не без умысла завел неторопливый разговор со своим помощником:

— Чтой-то долго не волокут нам седни харчи.

— Загуляли, наверное, и запамятовали о нас, — весело и звонко ответил молоденький солдатик Махоткин. — Новый год — сам бог велел гулять!

— Не может такого быть, — спокойно возразил Ефремов осипшим на морозе голосом. — Если бы ты сидел там,

запамятовал бы. Ты вертопрах известный. А ротный командир никак запамятовать не может.

Василий сам был голоден и хорошо понял солдат.

— Звонил я, вышли уже, — сказал он, не сводя глаз с нейтральной зоны. — Давно вышли. Где их черти мотают?..

пулемётчики ничего не ответили, только Махоткин подмигнул Ефремову, что, наверное, значило: «Порядок. Узнали, что хотели».

А Василий, глядя на редкие, лениво взлетающие немецкие ракеты, думал о своем: «Говорят, желание, загаданное на Новый год, сбывается. Ну, какое у меня желание? О чем загадать? Чтобы не убили? Сегодня каждый и у нас и у немцев такое загадывает. Что же, все живы останутся?.. Нет, надо задумать что-нибудь более реальное».

Василий даже плюнул от досады и пошел проверять посты.

Постов было три. Один уже видел — это пулемётчики. Другой — в самом конце траншеи, на правом фланге. Третий — на левом.

Блиндаж, из которого вышел Василий, находился посередине — на него и опиралась дуга траншеи, как брошенное на землю коромысло. Высотка же, со всех сторон окруженная полями и перерезанная поперек этой траншеей, походила на лепешку. Она была далеко впереди позиции батальона, и солдатам, занимавшим ее, полагалось раньше всех обнаружить противника, если тот двинется вперед, задержать его, дать батальону возможность подготовиться к отпору. Потому-то и высотка, и лейтенант с двенадцатью солдатами, окопавшимися здесь, назывались боевым охранением.

Днем сюда не могли подойти и даже подползти ни свои, ни немцы. Зато ночью можно подобраться с любой стороны — ни минных полей, ни колючей проволоки перед траншеей нет. Единственным тоненьким нервом, который связывал взвод с главными силами батальона, была черная ниточка телефонного кабеля. Она лежала прямо на снегу, ее, наверное, хорошо видно в бинокль со стороны противника — немецкие минометчики, дурачась от нечего делать, перебивали кабель многократно. После этого взвод подолгу сидел отрезанным: в светлое время связисты на голое поле не выходили, знали, что их поджидают фашистские снайперы.

… К последнему изгибу траншеи Василий приблизился крадучись. Выглянув из-за поворота, увидел часового, тот стоял к нему спиной.

— Спишь?

— Заснешь тут, — мрачно сказал часовой. — В животе как на

шарманке играют. Я вас слышал, товарищ лейтенант, когда вы ещё с Ефремовым разговаривали. На морозе далеко слышно… Так где же кормильцы-то наши, товарищ лейтенант? Почему жрать не принесли?

— Несут. Скоро будут…

На другом — левом — фланге рядовой Бирюков тоже не спал и тоже спросил о еде.

Василий не успел ответить, стрелы трассирующих пуль пронеслись над головой, звонко, будто хлысты цирковых дрессировщиков, щелкнули над самым ухом. Лейтенант и солдат пригнулись, пулемётная очередь вспорола бруствер и обдала их земляным и снежным крошевом.

— Во дает! — сказал Бирюков.

Василий мгновенно представил немецкого пулемётчика в зеленоватой шинели, в каске, пулемёт с толстым дырчатым кожухом на стволе, колышки разной высоты или ступенчатую дощечку под прикладом пулемёта. Все важные цели пулемётчик пристрелял засветло, для каждой под приклад забил колышек или сделал срез на доске, а теперь вот, ночью, ставит приклад на эти подпорки и в темноте бьет точно по цели. Вон как резанул по брустверу, высунь голову — сразу продырявил бы!

Дорисовав картину со всеми её подробностями, Василий недовольно сказал солдату:

— Немец-то дает, а ты можешь так?

Бирюков удивленно поглядел на командира, почуяв его официальную строгость, поправил ремень, отряхнул землю, которой, как и у Ефремова, была испачкана спереди шинель, и, ничего не ответив, без особой сноровки, но все же выпрямился, пытаясь изобразить положение «смирно».

Василий обратил внимание на ноги солдата, расставленные врозь под балахоном промерзшей шинели, вспомнил лихих и красивых своих товарищей по училищу и сердито упрекнул Бирюкова:

— Строевик!.. Чего же молчишь? Стрелять, как он, говорю, умеешь?

Солдат потоптался, виновато ответил:

— Так бьем же их, товарищ лейтенант.

— Бить-то бьем, да где? Под Москвой, Смоленск-то вон, за спиной у того фрица.

— Так ить, товарищ лейтенант, ежели по башке из-за угла шваркнуть, какой ни на есть здоровяк не устоит. Теперича вот оправились и от Москвы отогнали.

— "Оправились"! — язвительно передразнил Василий. — Нашел тоже словечко — «оправились»!

— Я же не в тех смыслах, товарищ лейтенант.

— Ну, ладно, гляди лучше, как бы на Новый год нам с тобой подарочек не поднесли…

Василий вернулся к землянке, постоял у входа, прислушался. ещё одна ракета белой струйкой взмыла вверх, раскрылась, расцвела в огромный светящийся конус и, покачиваясь, стала спускаться.

Круг снега, высвеченный ракетой, напомнил Василию боксерский ринг. Так же вот освещен бывает. Только не круг, а квадрат. И поменьше. Окаймлен канатами. А зрители где-то там, во мраке, за пределами света.

Очень ясно Василий вспомнил, прямо увидел, как рефери, весь в белом, лишь на шее черный галстук-бабочка, показал в его сторону, и громкоговорители тут же объявили: «В правом углу боксер Ромашкин, общество „Спартак“, второй разряд, средний вес, провел тридцать шесть боев, тридцать два выиграл, боксом занимается три года». Кто-то из зрителей, как всегда, отреагировал на его фамилию: «Молодец, Ромашка! Цветочек!» Зал ответил глухим вздохом смеха, но тут же болельщики его соперника выкрикнули другое: «Ромашке сегодня лепестки посшибают! Погадают на нем: любит — не любит…»

Василий грустно улыбнулся: «Где они сейчас, мои соперники и те, кто кричал мне обидные слова?» Все, конечно, воюют. Многие, наверное, уже «отработались», с любым из них он встретился бы теперь как с братом. Впрочем, и тогда Василий не испытывал злобы ни к своим соперникам, ни к их болельщикам и стремился лишь получше понять, разгадать противника, оказаться ловчее и находчивей его. Дрался беззлобно, но решительно и настойчиво, как полагается в спорте.

«Да, многие теперь уже „отработались“», — опять подумал Василий. Было горестно вспомнить родное, обиходное среди боксеров слово «отработались». Так они говорят о тех, кто закончил бой. Ромашкин вложил в это слово совсем иной смысл и потому нахмурился.

Мысли о боксе, о веселой довоенной жизни пронизал холодный сквознячок: выбило почти всех выпускников курсов, которые приехали с ним на фронт. И его, Ромашкина, тоже выбивало: был ранен. Чуть бы левее — и привет, лежал бы сейчас в братской могиле. А может, рядом с отцом, скончавшимся от ран в госпитале.

Василия потрясла тогда быстротечность судьбы взводного командира. Всего один бой, одна атака, преодоление двух-трех немецких траншей — и не осталось в ротах ни одного взводного! А роты и взводы тем не менее существуют, хотя и сильно

поредевшие…

Там же, в госпитале, где появилось время для размышлений, Ромашкин сделал и ещё один важный, как ему казалось, вывод: у людей на войне жизнь коллективная. Мы — взвод, мы — батальон, мы — полк. Даже временные объединения в группы и команды помнятся долго. Вот он сам выехал из Гороховецкого городка в полк с командой в двадцать человек, и все время, пока они ехали, везде и всеми рассматривались как единое целое — команда. На железной дороге военные коменданты отводили место в вагоне не каждому из них, а команде. Продукты отпускались тоже всей команде — по одному продаттестату. Только по прибытии в полк разъединились они, разошлись на короткий срок по батальонам и ротам. Но все равно их числили по старинке: из такой-то команды, А после боя они опять собрались вместе: легли в общую братскую могилу.

Одни прибывают, другие выбывают, а бои идут. Когда выпускники курсов младших лейтенантов выехали на фронт, великая битва за Москву уже полыхала. Когда они шагали торжественным маршем на параде по Красной площади, битва эта продолжалась. Потом Карапетян, Сабуров, Синицкий успели сгореть в её огне. Василий в госпитале отлежался и вот опять много дней участвует все в том же сражении за столицу на завершающем этапе.

Основательно продрогнув, Ромашкин собирался уже нырнуть под плащ-палатку, заменявшую дверь, в приятную теплоту блиндажа, но в этот миг справа громко крикнул Бирюков:

— Стой! Кто идет? Стрелять буду!

Ему сразу же негромко, откуда-то со стороны, ответили:

— Да свои, свои. Погоди стрелять, сначала сто граммов выпей.

Василий поспешил на голоса. Прибыли двое. Округлые от поддетых под шинели ватников, запорошенные снегом, они, видно, умаялись и неловко сползали в траншею. Ворсинки шапок вокруг лиц и сами лица заиндевели. Солдаты, как точно выразился Ефремов, «волокли» еду. Один тащил по снегу плоский темно-зеленый термос с лямками для крепления на спине, другой — два вещевых мешка, тоже зеленых, только посветлее.

Подошли Ефремов и Махоткин, взяли у солдат ношу. От вещевых мешков пахло приомороженным хлебом, а от термоса, хоть он и был завинчен, исходил желанный аромат борща.

— В Москву, что ли, за праздничной шамовкой бегали? — спросил Махоткин.

— Угадал, — хмуро ответил солдат, принесший термос. — Прямо из ресторана «Балчуг» бифштексы вам доставили.

Другой, который тащил мешки, оказался разговорчивее. Сознавая, как их здесь заждались, принялся объяснять:

— Зацепило у нас одного. Мы сначала втроем шли… Крепко зацепило. В живот. Если бы полегче, мы бы его назад своим ходом пустили. А тут нельзя было, пришлось выносить…

Гитлеровцы, очевидно, услышали говор, огненные струи хлестнули по траншее. Все присели, взбитый пулями снег посыпался сверху.

— Вот и новогоднее конфетти, — сказал солдат, вручивший Махоткину термос.

— Слушай, а ты вправду не в ресторане работал? — спросил Махоткин. — Бифштекс знаешь, конфетти.

Тот, однако, не принял этого явного предложения поговорить о довоенной жизни. Только вздохнул и доложил лейтенанту:

— Тут все: завтрак и ужин сухим пайком; обед, стало быть, горячий. Водка — во фляжках, хлеб и сахар — в мешке. Вам ещё доппаек, товарищ лейтенант, печенье и масло.

— Спасибо, — сказал Василий и, повернувшись к Ефремову, распорядился: — Вы тут оставайтесь, глядите, как бы фрицы на угощенье не пожаловали. Скоро вас подменю: поедят ребята — сразу пошлю на смену.

— Понятно, товарищ лейтенант, — ответил Ефремов.

Термос и вещевые мешки были переданы в чьи-то руки — темные, испачканные сажей, с желтыми подпалинами от цигарок. Руки эти тянулись из-под плащ-палатки, не откидывая её далеко, сберегая тепло внутри землянки.

А в блиндаже сразу же началась веселая возня. Солдаты рассаживались поудобнее, гремели котелками, послышались шутки, потом знакомый вопрос:

— Кому?

И кто-то, непременно отвернувшись в сторону, может быть, из-под наброшенной на голову шинели, — кто именно, Василий не узнал — глухо ответил:

— Ефремову!

Потом снова:

— Кому?

И опять тот же глухой голос:

— Бирюкову!

— Кому?

— Лейтенанту!..

Когда ритуал дележки закончился, Василий откинул плащ-палатку В блиндаже было накурено. Тепло, напитанное влагой земляных стен, приятно коснулось его. Гильза от снаряда, сплющенная вверху, держала фитиль из обрезка бязи и освещала

землянку язычком чадящего пламени. Солдаты сидели, прижавшись спинами к стенам. В узком проходе на расстеленных серых измятых полотенцах стояли котелки, кружки, лежали хлеб и сахар. Когда можно спать, эти люди вот так же, как сейчас, садятся, лишь опускаются чуть ниже, вытягивая ноги от стены к стене.

Василий был доволен блиндажом: удобный. Будто специально рассчитан на его взвод: две свободные смены — восемь человек — сразу могут отдыхать в тепле. А для него, командира, есть даже земляное возвышение в дальнем углу, и напротив этого возвышеньица выложена печурка из неведомо где взятого кирпича. её много раз обмазывали глиной, но она и теперь вся в трещинах — алые угли вываливаются сквозь щели. Над печкой протянулись черные обрывки кабеля, там постоянно сушатся портянки и рукавицы, заполняя блиндаж кислым запахом шерсти, пота и паленой ткани. Сейчас все эти запахи перекрыл дух наваристого борща.

«И ещё чем хорош блиндаж, — размышлял Василии, — над головой двойной накат из нетолстых бревнышек, присыпанных слоем земли и снега. Не каждая дурная мина прошибет. Снаряд, конечно, пропорет насквозь и взорвется внутри, но не так уж часто на войне случаются прямые попадания!»

Ромашкин со своим взводом немало сменил позиций. Приходилось жить по-всякому: и без печки, и вовсе без блиндажа, в траншеях, где по колено воды. И от сознания теперешнего удобства, да и от тихого поведения немцев у Василия было по-настоящему праздничное настроение. Подняв свою кружку и отметив про себя, что солдаты налили ему побольше положенных ста граммов («Уважают, черти!»), лейтенант от души сказал:

— Ну, что же, братья-славяне, с Новым годом вас! И дотопать нам до Берлина!

Когда все поели, продовольственники, забрав термос, вещевые мешки и фляги, собрались в обратный путь.

— Идите так, чтобы высотка прикрывала, — посоветовал Ромашкин.

— Дойдем! Налегке-то быстрее, — откликнулся один из них.

— Слышь, дядя, — спросил его Махоткин, — а третьего-то вашего до двенадцати или после зацепило?

— Вроде бы до, — ответил тот.

— Уходили к нам, он живой был?

— Дышал.

— Тогда порядок, в Новый год перевалил — жив будет.

— Хорошо бы, — тихо сказал другой. И неуклюжие продовольственники полезли из траншеи, пригнувшись,

покатились, словно колобки, за обратный скат высотки.

Василий настороженно ждал. «Если сейчас немцы чесанут точной пристрелянной очередью, срежут обоих». Но пулемёты молчали. Даже не взлетали ракеты. Впереди было тихо и черно. Только на флангах перед соседями справа и слева иногда зацветали, как одуванчики, тусклые на расстоянии желто-зеленые шапки. «Тоже, наверное, ужинают, — думал Василий о немцах. — Что-то им принесли? Наверное, сосиски, а может, и гуся с тушеной капустой. Грабят, сволочи, наших колхозников!»

Воспоминание о тушеной капусте было настолько живое, что он даже принюхался, не тянет ли от немецких траншей капустным запахом. У тушеной капусты запах очень пробивной, по ветру, пожалуй, и на таком расстоянии дошел бы!..

Вдруг Ромашкину показалось, что сугроб в нейтральной зоне шевельнулся. Так бывает порой, когда осветительная ракета опускается вниз: в её колеблющемся свете и кусты, и тени от них, и сугробы слегка вроде бы покачиваются. Но сейчас не было ракеты. Ромашкин присмотрелся. Увидел ещё несколько движущихся сугробиков. «Что за черт! Неужели от ста граммов?» Он прижался к краю траншеи, вгляделся попристальнее и понял: немцы ползут! Крадутся, одетые в белые костюмы! Потому и пулемётчики у них не стреляют, и ракет нет.

Не отрывая глаз от ползущих, Ромашкин кинулся к станковому пулемёту. Первая мысль — немедленно скомандовать: «В ружье! Огонь по фашистам!» Не будь он боксером, наверное, так и поступил бы. Но ринг приучил его не поддаваться первому впечатлению, не паниковать, спокойно разобраться в том. что происходит. Пусть на это уйдет несколько секунд, зато потом будешь действовать правильно и решительно.

Вот потому Ромашкин и не поднял тревогу сразу же. Несколько мгновений, пока спешил к пулемёту, ему хватило на то, чтобы сообразить: гитлеровцев не так уж много, ползут не по всему фронту, а отдельной группой, значит, это не общее наступление, значит, разведка или хотят снять наше боевое охранение перед атакой более крупных сил. А может. Новый год хотят отметить захватом «языка»?.. Ну если так, то и кричать не надо. Тут следует какой-то сюрприз им приготовить!..

Ромашкин спокойно зарядил пулемёт новой лентой. Ефремову и Махоткину сказал:

— Ползут. Видите?

пулемётчики разом прилипли животами к стене окопа.

— Язви их в душу! — выругался Махоткин. — Стреляйте же, товарищ лейтенант! Чего вы мешкаете?

— Подожди, Махоткин, сейчас мы их встретим, пусть

подползут ближе. Следи, Ефремов, стреляй, только если вскочат. Я людей позову.

Ромашкин подбежал к блиндажу, рванул плащ-палатку, хриплым от волнения голосом скомандовал:

— В ружье! Только тихо. Немцы ползут, человек двадцать. Наверное, разведка. Всем выходить пригнувшись — не показываться. Приготовить гранаты. Огонь по моей команде… Кулагин, доложи ротному по телефону, скажи, я в траншее.

Ромашкин опять поискал и нашел на снежном поле выпуклые бугорки — до них было ещё метров шестьдесят. «С такого расстояния не кинутся. И гранаты лежа не добросят, — лихорадочно думал он. — Надо уловить момент, когда в рост встанут, когда ринутся к траншее, лежачих много не набьешь».

Солдаты разбегались вправо и влево, присаживаясь на дно траншеи, тревожно поглядывая на командира из-под серых ушанок, сжимая лимонки в голых руках.

Увидев гранаты, Ромашкин подумал: «Когда фрицы вскочат, дорога будет каждая доля секунды». Шепотом приказал:

— Разогнуть усики на гранатах!

Тихая эта команда пошла по траншее. Солдаты передавали её друг другу:

— Разогнуть усики…

Василий поглядел в тыл: не подбираются ли сзади? И опять негромко сказал, уверенный, что его слова тут же передаст «солдатский телефон»:

— Внимательно следить на флангах!

Короткий говорок опять побежал от командира в противоположные концы траншеи.

А призрачные фигуры в белом чем ближе подползали, тем медленнее двигались. Ромашкин от перенапряжения мысленно даже звал их: «Ну, давайте, давайте!.. Чего медлите?» Сердце у него стучало так громко, что невольно подумал: не услышали бы этого стука немцы. Стало вдруг жарко. Он расстегнул полушубок.

«Перед броском вперед они должны приостановиться, подождать отставших», — соображал Ромашкин и тут же увидел, как один из немцев приподнялся, потом разом встали остальные и покатились по глубокому снегу вперед без единого звука, словно ватные.

— Огонь! — заорал Ромашкин во всю грудь и метнул гранату.

Солдаты тоже вскочили со дна траншеи. Замелькали в замахе руки. Торопливо затараторил пулемёт Ефремова. Забухали взрывы гранат. Взвизгнули, брызнув в стороны, осколки. Закувыркались, заметались, закричали белые фигурки между огненными и черными всплесками земли.

— Бей гадов! — кричал Ромашкин.

Он бросил ещё одну гранату, затем вскинул автомат и стал стрелять. Справа и слева гулко гремели винтовочные выстрелы.

Радость от того, что все получилось как было задумано, и особенно вид удирающих врагов, вытолкнули Ромашкина из траншеи.

— Лови их! За мной, ребята!

Он бежал скачками, проваливаясь в глубокий неутоптанный снег, стреляя на ходу. «Живьем бы, живьем бы взять хоть парочку!» — с азартом думал Василий, догоняя удирающих. Вот уже совсем рядом один, запаленное дыхание со свистом вырывается из его груди — не дышит, а стонет от перенапряжения: «Ых! Ых!»

Ромашкин схватил немца за плечо. Оно оказалось мягким, рукой прощупывалась вата. «В разведку пошел, а столько понадевал на себя, вояка!» — мысленно упрекнул его Василий и ударил автоматом по голове. Уже размахнувшись, успел подумать: «Не пробить бы голову, вполсилы надо». Фашист, взмахнув руками, упал в снег. Но сразу вскочил и бросился на Ромашкина, стремясь схватить за горло скрюченными, растопыренными пальцами. «Когда же он успел рукавицы сбросить?» — удивился Ромашкин и привычным приемом, который много раз применял на ринге, отбил в сторону руки врага и так же автоматически влепил ему увесистый хук в челюсть. Немец крякнул и опрокинулся навзничь. Василий, будто на ринге, стал отсчитывать про себя: «Раз, два, три… Тьфу, да что я — рехнулся?»

Он окинул взглядом место стычки. Все было кончено. Солдаты тянули, держа за шиворот, ещё двух упираюшихся гитлеровцев. Несколько убитых лежали, уткнувшись лицом в снег. Человек шесть мелькали вдали. Бирюков стоя, а Махоткин с колена били по ним одиночными, хлесткими на морозе выстрелами.

— Ушли, язви их в душу! — сказал Махоткин с досадой и прекратил стрельбу.

Ромашкин кивнул на убитых:

— Собирай их, ребята, и давайте быстро в траншею. Сейчас сабантуй начнется! — Склонившись к своему пленному, дернул его за рукав: — Эй, ауфштеен! Хватит прикидываться, не так уж сильно я тебе врезал. — И честно признался: — Но врезал все-таки от души! Давай, давай, ауфштеен!

Немец таращил мутные после нокаута глаза, тряс головой, пытаясь смахнуть одурь, с опаской поглядывал на лейтенанта.

— Пошли, форвертс! — командовал Ромашкин. — Сейчас

твои друзья добивать начнут. Теперь твоя жизненка им до фенъки. Теперь им важнее убить тебя, чтобы не давал сведений. Понял?

Солдаты за руки и за ноги волокли убитых гитлеровцев. Надо оттащить их в сторону, а при случае и закопать. В боевом охранении были опытные бойцы, знали: чуть потеплеет, и трупы станут разлагаться, тогда не устоишь от смрада на посту.

В душе каждый гордился своим командиром: «Башковитый, хоть и молоденький».

Бирюков подвел к взводному ещё одного немца и, как бы продолжая недавний разговор, сказал:

— Вот, товарищ лейтенант, может, он и хорошо стреляет, а все же я изловил его.

— Молодец, Бирюков, ты как русский медведь, тебя только раскачать надо.

Солдат насупился.

— Какой же я медведь? Я человек, красноармеец. У меня дети есть. Они, чай, не медвежата.

— Не обижайся, так обо всех нас, о русских, говорят. И, может, правильно это: не очень мы поворотливые, долго раскачиваемся, но уж когда встанем на дыбы, клочья полетят.

— Если в таких смыслах, я согласен, — Бирюков улыбнулся.

Пока темно, надо было поспешить с отправкой пленных на НП командира роты. Днем с ними не выбраться. И от обстрела их нужно сберечь.

Страннее дело — война. Вот стоят перед Ромашкиным враги. Они хотели убить лейтенанта и двенадцать его солдат. Если бы им повезло, перебили бы всех беспощадно. Может быть, одного — двух пощадили, потому что нуждаются в «языках». Но попались сами. И лейтенант Ромашкин, которого они хотели убить, заботится, чтобы поскорее увести их от опасности. А сам останется здесь под обстрелом, и кто знает, может, его убьют в отместку за этих вот пленных.

Василий по телефону доложил обо всем командиру роты, применяя нехитрый код, который вряд ли мог ввести кого-нибудь в заблуждение, но все же имел на фронте широчайшее распространение:

— У меня "у" нет, "р" тоже нет. Пришлите «картошки», «гороха» не надо. Трех «зеленых карандашей» высылаю в сопровождении двух моих « карандашей».

— Давай зеленых немедленно! — громко и властно сказал лейтенант Куржаков. Он всегда говорил с Ромашкиным громко и властно — считал, что так нужно, потому что в равном с ним звании занимал должность командира роты…

Первая мина взвыла, забираясь вверх и отфыркиваясь, стала падать на высотку боевого охранения. С железным хряском и звоном она разорвалась недалеко от траншеи. И тут же другие мины замолотили в мерзлую, звонкую землю, будто их бросали сверху. Ни выстрелов, ни воя при их приближении в грозе разрывов уже не было слышно.

Тяжелые снаряды тоже долбили землю. Высотка вздрагивала и гудела от этих тупых ударов.

Боевое охранение укрылось в своем блиндаже. Все молча курили. Лица казались спокойными, даже безразличными. Когда близко разрывался снаряд, из всех щелей между бревнами наката словно опускались грязные тонкие занавески. Если же мина или снаряд грохались подальше, из-под бревен — там и тут — текли прозрачные струйки. И хотя солдаты внешне не выказывали беспокойства, в душе каждый гадал: попадет или нет? И каждый, не веря ни в бога, ни в черта, не зная ни одной молитвы, все же обращался к какой-то высшей силе, робко просил ее: «Пронеси мимо!.. Пронеси!..»

А в другом блиндаже, попросторнее, у стола, сбитого из снарядных ящиков, сидели командир полка майор Караваев и батальонный комиссар Гарбуз.

По внешности Караваев скорее сошел бы за политработника: среднего роста, в меру общителен, русоволос, голубоглаз, и потому лицо его выражает какую-то домашнюю мягкость. Гарбуз, напротив, высокий, плечистый, с лобастой бритой головой, с оглушающе громким голосом, будто рожден был командиром.

Но если приглядеться внимательнее, у Караваева можно заметить строгую холодность в глазах и жесткую складку волевых губ. А Гарбуз весь доброта и покладистость.

До войны Караваев служил в Особом Белорусском военном округе, учился дважды на краткосрочных курсах и командовал последовательно взводом, ротой, батальоном. В сорок первом его батальон не раз попадал в окружение, но умело прорывался к своим, при этом Караваеву приходилось порой заменять и старших начальников, погибших в бою. Под Вязьмой он вывел из окружения остатки стрелкового полка, который потом доукомплектовал в Москве и снова повел в бой, теперь уже в качестве полновластного командира части, назначенного на этот пост приказом. А комиссаром к нему политуправление фронта прислало Гарбуза. В мирное время тот был вторым секретарем райкома партии на Алтае, с августа уже воевал и тоже успел вкусить горечь отступления, а потом радость первых побед.

Сейчас и Караваев, и Гарбуз были настроены на веселый лад — их только что похвалил командир дивизии. Сам того не

подозревая, лейтенант Ромашкин своей находчивостью принес радость многим начальникам.

Но донесения об отпоре, который был дан фашистам взводом Ромашкина, шли снизу вверх по телефонной эстафете, и где-то на середине пути фамилия лейтенанта из них исчезла. Злого умысла тут, конечно, не было — никто не хотел присваивать его славу. Просто майор Караваев, докладывая командиру дивизии, сказал:

— У меня первый отличился — Журавлев. Отбил ночной налет, взял трех пленных.

Командир дивизии, в свою очередь, доложил командиру корпуса:

— Мой Караваев хорошо новый год начал — направляю пленных.

А командарма информировали в ещё более обобщенной форме:

— В хозяйстве Доброхотова была ночная стычка, в результате взяты пленные…

Потом по той же эстафете пошла обратная волна и утром докатилась наконец до Ромашкина. Ему было приказано прибыть с наступлением темноты к командиру полка. Василий обрадовался: во-первых, приятно побывать в тылу (штаб полка представлялся ему глубоким тылом), во-вторых, он знал — ругать там его не будут, наоборот, наверное, скажут доброе слово, может быть, даже приказом объявят благодарность. Но как раз в те минуты, когда он шагал по тропе, натоптанной по дну лощины, куда не залетали шальные пули, Караваев и Гарбуз уже по-своему распорядились его судьбой…

Блиндаж командира полка приятно удивил Ромашкина. Здесь можно было стоять в полный рост, и до накатов оставалось ещё расстояние на две шапки. Стол хотя и из ящиков, но на нем яркая керосиновая лампа с прозрачным пузатым стеклом, алюминиевые кружки, а не самоделки из консервных банок, настоящие магазинные стаканы с подстаканниками и чайными ложками. В углу блиндажа топчан, застланный серым байковым одеялом, и даже подушка в белой наволочке. И, что уже совсем невероятно, у самой лампы, хорошо ею освещенная, лежала на блюдечке неведомо откуда попавшая в такое время на фронт половинка желтого лимона. Василий увидел лимон и сразу ощутил его вкус и даже конфетный запах, хотя на столе конфет не было.

Стараясь не перепутать последовательность слов в рапорте, он доложил о прибытии.

— Покажись, герой, — весело сказал Караваев и пошел ему навстречу.

Василий покраснел, думая о своей затасканной шинели: в нее

так въелась траншейная земля, что никак не удавалось отчистить бурые пятна. Он втянул и без того тощий живот, напряг ноги, выше поднял подбородок, чтобы хоть выправкой слегка походить на героя.

— Хорош! — похвалил майор и крепко пожал ему руку. Комиссар Гарбуз тоже откровенно разглядывал Ромашкина.

— Раздевайся. Снимай шинель, — дружески предложил комиссар.

Ромашкин смутился ещё больше. Он не предполагал, что его так примут. Думал, поблагодарят — и будь здоров! А тут вдруг: раздевайся. Он же не раздевался почти полмесяца! Правда, все это время на нем был полушубок. Только собираясь в штаб полка, Василий решил надеть шинель. Казалось, в шинели он будет стройнее, аккуратнее. И, переодеваясь, с отвращением увидел, какая на нем мятая-перемятая гимнастерка. Предстать в ней сейчас перед командиром полка и комиссаром казалось просто невозможным.

— Может быть, я так?.. — пролепетал Ромашкин.

— Запаришься, у нас жарко, — резонно возразил комиссар. — Снимай!

Пришлось подчиниться. Василий беспрерывно одергивал гимнастерку, но она снова коробилась и будто назло вылезала из-под ремня.

— Ладно, не смущайся, — ободрил командир полка, — с передовой пришел, не откуда-нибудь. Садись вот сюда, к столу. — И, едва он присел, опять загремел голос Гарбуза:

— Расскажи-ка о себе, добрый молодец. Мы, к стыду нашему, мало тебя знаем.

— Погоди, Андрей Данилович, — сдержал его Караваев, — что ты сразу за дело? Давай лейтенанту сто граммов поднесем: и с мороза он, и с Новым годом поздравить надо, и за умелые действия отблагодарить.

— Согласен, Кирилл Алексеевич.

— Гулиев, флягу!

Чернобровый, со жгучими кавказскими глазами ординарец мигом оказался возле стола и налил в стакан.

— Пей, герой, согревайся, — сказал Караваев.

Василию вспомнилось, каким недопустимым проступком в училище считалось «употребление спиртных напитков». А сейчас майор сам предлагает ему сто граммов. И он, лейтенант Ромашкин, возьмет вот и выпьет прямо на глазах у командования…

От волнения Василий не почувствовал ни крепости, ни горечи водки.

Командир пододвинул ему тарелку с кусочками колбасы и сала.

— Закуси. И давай рассказывай!

— Рассказывать-то нечего, — пожал плечами Ромашкин. И снова подумал, какая ужасная на нем гимнастерка, к тому же ещё там и сям шерсть от полушубка.

— Ну, ясно, скромность героя украшает, — поощрительно улыбнулся Гарбуз. — А все-таки расскажи ты нам, лейтенант, где жил, учился, когда в полк прибыл.

Каждый раз, рассказывая свою биографию, Ромашкин испытывал неловкость при упоминании о судимости по политической статье. Как отнесутся к этому командиры? Не хотелось терять их доброе отношение. Ромашкин удивился похожести ситуации: в лагере, отвечая на вопросы воров, в компании Серого, он не хотел признаваться, за что судим. А как быть здесь? В анкете и автобиографии, которые лежали в личном деле, Василий указал срок, по какой статье судился и что был в штрафной роте. Сейчас очень не хотелось об этом вспоминать, но и утаить нельзя, командиры все равно это узнают, когда будут знакомиться с его личным делом.

Василии рассказал об Оренбурге, о том, что учился в Ташкентском военном училище, что стал чемпионом по боксу. Приближаясь к злополучному периоду, сам того не желая, сбавил тон, стал отводить глаза в сторону. Комиссар заметил перемену:

— Что-то ты скисаешь, наш дорогой герой? Натворил что-нибудь в училище? Отчислили? Ты же к нам с курсов младших командиров прибыл.

«Значит, ещё не читал мои бумаги, — определил Ромашкин, — не знает о судимости».

— Не только натворил, но и под трибунал попал, — Василий коротко изложил, что с ним произошло.

— Да, хватил ты лиха! — сочувственно сказал Караваев. А майор Гарбуз поддержал:

— Ну, Ромашкин, все это в прошлом, досадное недоразумение. Злобы и обиды в тебе нет. Родину защищал честно. Это главное! А то, что встретились тебе непорядочные люди и чуть не испортили всю жизнь, плюнь на них. Но помни, что такие службисты есть, и никогда больше не болтай. Тебя надо было хорошо пропесочить на комсомольском собрании, и на том дело кончилось бы.

Василий опять поразился: точно такие же мысли были у него, когда сидел в одиночке. Гарбуз между тем продолжал:

— Теперь все это позади. У тебя новая жизнь, боевые друзья, родной полк. Будем служить вместе и бить фашистов до победы.

То, что говорил комиссар, совпадало с переживаниями Василия:

— Полк для меня теперь все! Я первый раз к вам прибыл с курсов младших лейтенантов, когда полк в Москве формировался. На параде 7 ноября прошел с полком по Красной площади. Но вскоре был ранен. Теперь второй заход. Когда из госпиталя выписался, просил кадровиков, чтобы меня в свой полк направили.

— Значит, ты ещё и ветеран полка! — воскликнул Гарбуз. — Вот, Кирилл Алексеевич, как мы свои кадры плохо знаем: лейтенант в полку со дня формирования, боевой командир, а для нас это новость!

— Слушай, Ромашкин, да ты просто клад! — воскликнул Гарбуз. — Мы тут с командиром подобрали тебе должность хорошую. Судили только по ночному бою, а оказывается, ты вообще находка для такой должности. — И, взглянув на Караваева, умолк выжидательно: командиру полка полагалось самому высказать Ромашкину официальное предложение.

— Есть в полку взвод пешей разведки, — начал Караваев. — Командует им лейтенант Казаков. Давно командует, засиделся, пора его на роту выдвигать. Но подходящей замены не было. Туда нужен человек особенный — энергичный, находчивый, ловкий. У вас есть все эти качества.

— И даже больше! — убежденно сказал Гарбуз.

— Кроме того, — продолжал спокойно Караваев, — боксерские ваши достижения… Каждый спортсмен — борец, самбист, гимнаст, боксер — это же потенциальный разведчик. Однако учтите, товарищ Ромашкин, сила разведчика не только в кулаках. Ему ещё и голова нужна, причем постоянно.

Предложение было неожиданным. Василий усомнился:

— Справлюсь ли я?

— Уже справился, — громогласно заверил Гарбуз. — Трех «языков» сразу взял. Что ещё нужно?

Василию показалось, что майор чуть-чуть поморщился. Гарбуз тоже приметил это:

— Извини, Кирилл Алексеевич, я, кажется, перебил тебя?

— Уж очень ты, Андрей Данилович, на алтайских своих просторах громко говорить привык.

— Есть такой грех, — согласился Гарбуз.

— А опасения у лейтенанта правильные. Служба в разведке потребует учебы. Ну, ничего, поможем. Казаков опыт передаст. Раза два на задания сводит. Разберетесь вместе, что к чему. — Караваев посмотрел на часы, потом вопросительно взглянул на комиссара: — Пора бы уж ему прибыть…

— Да, задерживается, — откликнулся Гарбуз.

Василий подумал, что задерживается Казаков. Но тут раздался конский топот, скрипнули полозья, и командир с комиссаром, не надевая шинелей, только схватив шапки, метнулись к двери. Однако запоздали: в блиндаж вместе с клубами пара входил, пригибаясь, генерал. Караваев вскинул руку, четко стал докладывать ему:

— Товарищ генерал, девятьсот двадцать шестой стрелковый полк находится в обороне на прежнем рубеже, за истекшие сутки никаких происшествий не случилось, кроме доложенного вам ночью.

— Здравствуйте, товарищи! — ещё более мощным, чем у Гарбуза, голосом сказал генерал.

Он был в высокой каракулевой папахе, в серой, хорошо сшитой шинели, очень длинной — кавалерийской.

«Меня бы за такую отругали, — подумал Василий, — нашему брату покороче положена».

— Ну, где ваш ночной герой? — спросил генерал, неторопливо расстегивая шинель.

— Вот он, — кивнул Караваев в сторону Ромашкина.

Генерал, не оглядываясь, сбросил шинель на руки Гулиеву, который уже стоял сзади. Осмотрел Ромашкина, не выпуская его руку из своей холодной и жесткой с мороза руки, произнес торжественно:

— Поздравляю, лейтенант, с наградой. Вручаю тебе от имени Верховного Совета медаль «За боевые заслуги».

Красивый, высокий старший лейтенант подал командиру дивизии красную коробочку.

— Дайте ножик или ножницы, — потребовал генерал. Майор Караваев догадался, для чего это нужно, быстро подал остро заточенный карандаш.

— Тоже годится, — одобрил генерал и расстегнул пуговицу ужасной, будто изжеванной гимнастерки Ромашкина. Покрутив карандашом, сделал в гимнастерке дырку, вставил туда штифт медали, потом залез рукой Василию за пазуху, на ощупь завернул гаечку и, хлопнув его по плечу, сказал: — Носи, сынок, на здоровье. Заслужил!

Оглушенный всем происходящим, Василий не мог понять, что Гарбуз, незаметно для других, подсказывает ему. Наконец, опомнясь, с большим опозданием гаркнул:

— Служу Советскому Союзу!

Гарбуз вздохнул с облегчением, а генерал похвалил:

— Ну, вот и молодец!

Адъютант развернул на столе карту, командир дивизии

подошел к ней, подозвал Караваева и Гарбуза.

Ромашкин остался один на середине блиндажа и не знал, что же ему делать. Первое, на что он решился, — надеть шинель, чтобы никто не видел его отвратительной гимнастерки, правда, на ней теперь сияла новенькая медаль, которую очень хотелось потрогать. Но у двери стоял Гулиев — неудобно было обнаруживать свою слабость перед солдатом. Шепотом спросил ординарца:

— Где моя шинель?

— Здесь, товарищ лейтенант, — ответил Гулиев, не двигаясь, однако, с места и пристально глядя на медаль. — Разрешите посмотреть, товарищ лейтенант?

— Любопытствуй, — милостиво разрешил Ромашкин. Гулиев осторожно приподнял медаль двумя пальцами:

— Тяжелая. Серебряная, наверно?

— Конечно, — убежденно сказал Ромашкин, чувствуя, как успокаивается и обретает уверенность от этого разговора.

Он оделся, но некоторое время постоял ещё на середине блиндажа, не решаясь обратиться к склонившимся над картой старшим начальникам. Самым рослым меж них казался почему-то генерал, хотя был он в действительности не выше Караваева и много ниже Гарбуза.

Когда командир полка наконец оглянулся, Ромашкин тихо спросил:

— Разрешите идти?

Караваев шагнул к нему и тоже негромко сказал:

— Идите к начальнику штаба. Он вызовет Казакова и даст необходимые указания. Он в курсе дела.

Василий вышел на морозный воздух и вздохнул полной грудью. Часовой, охранявший блиндаж, усмехнулся, кивая на Ромашкина:

— Во, дали баню лейтенанту! Смотри, — обратился он к генеральскому коноводу, — аж пар валит!

— Мой может, — подтвердил коновод. — Так поддаст, что и дым пойдет!

Ромашкин никак не отреагировал на это. Он стоял счастливый, наслаждаясь тишиной и прохладой. Окружавший его заснеженный мир весь искрился…

Начальник штаба майор Колокольцев встретил Василия приветливо. Только дел у него было слишком много — разговаривать с лейтенантом не мог. А знал он все и о назначении лейтенанта, и о награждении медалью, и о том, что должен свести Ромашкина с Казаковым.

— Садитесь и ждите. Казаков сейчас придет, — пообещал

майор, принимаясь что-то писать, временами поглядывая на развернутую карту, где цветными карандашами было нанесено положение войск — наших и противника, флажками обозначены штабы.

Ромашкин осмотрелся. Блиндаж начальника штаба был поменьше, чем у командира полка, но, пожалуй, ещё уютней и удобней для работы: стол шире, хорошо освещен двумя лампами, которые стояли на полочках, прибитых к стене справа и слева: от такого освещения на карте не появлялось теней. На отдельной полочке — цветные карандаши, командирские линейки, циркули, компас, курвиметр, стопки бумаги, стеариновые свечи.

Писал начальник штаба быстро, крупным красивым почерком. Лицо у него отсвечивало желтизной не то от ламп, не то от усталости. Когда зуммерил телефон, майор брал трубку и, продолжая писать, говорил спокойным голосом: «Да, командир разрешает». Или: «Нет, командир с этим не согласен». Или даже так: «Не надо, к командиру не обращайтесь. Запрещаю!» И все писал, писал строчку за строчкой, которые, как и голос, у него были четкими и ровными.

Впервые наблюдал Ромашкин, как работает начальник штаба полка, и его многое при этом поразило. Откуда майор знает, с чем согласится и что отвергнет командир? Почему он так уверенно, без колебаний, не советуясь с Караваевым, отдает распоряжения от его имени? Даже запрещает к нему обращаться! Ромашкин не предполагал, что у начальника штаба такие права и власть.

Размышления эти прервались с появлением Казакова. Был он в сдвинутой на затылок шапке, из-под шапки выбивался темный чуб, под носом усики, в глазах веселое лукавство.

И в докладе Казакова прозвучала некоторая вольность:

— Я прибыл, товарищ майор.

— Проходи, Иван Петрович, знакомься — вот тебе замена, — тоже как-то по-свойски ответил ему начальник штаба, не отрываясь от своего дела.

Ромашкин с удовольствием пожал крепкую руку Казакова и с первой же минуты полюбил разведчика. Была в его удали какая-то распахнутость, готовность к дружбе, добродушие.

— Нашелся? — подмигнул ему Казаков. — Вот и хорошо!.. Так мы пойдем, товарищ майор?

— Погоди! — остановил Колокольцев и, дописав фразу, повернулся к лейтенантам. — Значит, так, Иван Петрович: ты не просто передай взвод Ромашкину, а подучи его, своди разок-два на задания, познакомь с людьми, поддержи, а то ведь твои орлы, сам знаешь, какой народ.

— Все будет в порядке, товарищ майор, — сияя улыбкой, заверил Казаков. — Ребята примут лейтенанта, не сомневайтесь. Я же на повышение ухожу.

— Надеюсь на тебя, Иван Петрович. А пока Люленков подлечится, ты и за него поработаешь. — И, обращаясь уже к Ромашкину, пояснил: — Ранило моего помощника по разведке, капитана Люленкова. В медсанбате сейчас.

Казаков энергично возразил:

— Я на роту собрался, товарищ майор, а вы про замену Люленкова говорите. Лейтенанту помогу, его обучу, а за ПНШа не сработаю. В бумагах этих — сводках, картах — я не бум-бум.

— Ты заменишь Люленкова временно.

— И временно не могу: не кумекаю.

— Все! Занимайся с Ромашкиным.

— Понял. Идем, лейтенант, — заспешил Казаков, опасаясь, как бы начальник штаба ещё чего-нибудь не надумал.

В овраге, по которому они шли к жилью разведчиков, Казаков сперва сердито молчал, потом начал ворчать:

— "Временно"!.. А там Люленков разболеется — и на постоянно застрянешь! Нужна мне эта штабная колготня, как зайцу бакенбарды! — И лишь отворчавшись, обратился к Ромашкину: — Ладно, расскажи, брат, маленько про себя.

Слушал он Василия внимательно, одобрительно кивая, а итог подвел такой.

— В разведке главное — не тушуйся. Никогда не спеши, но всегда поторапливайся. Ты видишь всех, а тебя не видит никто. Понял? — Казаков засмеялся. — Будет полный порядочек, Ромашкин. Сейчас тебя познакомлю с нашими ребятами. Правда что орлы! «Языка» хоть из самого Берлина приволокут… Заходи в наш дворец…

Жилье разведчиков и впрямь оказалось хорошим. Целая рубленая изба была опущена в землю. Вдоль стен — дощатые нары, на них душистое сено, застланное плащ-палатками. В изголовье висят на крюках автоматы, гранаты, фляги. В проходе между нарами стол с газетами и журналами, домино в консервной банке, шахматы в немецком котелке, парафиновые немецкие плошки.

«Богато живут», — подумал Ромашкин, ещё не совсем веря, что все это будет теперь его «хозяйством».

Разведчики отдыхали. Несколько человек лежали на нарах. Двое чистили автоматы. Один у окна читал растрепанную книгу.

— Внимание! — громко сказал Казаков и, когда все обернулись в его сторону, заявил серьезно: — Я говорил и говорить буду, что сырое молоко лучше кипяченой воды! Я

утверждал и утверждать буду, что кипяток на всех железнодорожных станциях подается бесплатно!

Разведчики засмеялись и стали подниматься с нар.

— Какие новости, Петрович? — спросил здоровенный детина, любяще, по-детски глядя на командира.

— Вот и я про новости, — продолжал Казаков. — Представляю вам нового командира — лейтенанта Ромашкина. Он боевой фронтовик, вчера ночью поймал сразу трех фрицев. Никому не советую с ним пререкаться, потому как он боксер, чемпион и может вложить ума по всем правилам!

Разведчики как-то мельком, без того интереса, которого ожидал Ромашкин, посмотрели на него и сели вдоль стола.

— Значит, уходишь? — грустно произнес тот же здоровяк. — Кидаешь нас?

— Куда же я вас кидаю? — стараясь быть веселым, ответил ему Казаков. — В одном ведь полку служить будем, в одних боях биться.

— Там что, получка больше? — спросил другой.

— На сотню больше.

— Так мы две соберем.

Ромашкин понял: происходит не просто шутливый разговор, а горькое расставание разведчиков с любимым командиром. Казакову верили, с ним не раз ходили на смерть, и не раз он своею находчивостью спасал им жизни. А теперь вот они остаются без него.

Казаков пытался смягчить эту горечь балагурством:

— Не в деньгах дело, ребята. Не могу же я всю войну взводным ходить. Из дома письма получаю: сосед Николай уже батальоном командует, Тимофей Башлыков — ротой, Никита Луговой — тоже батальоном. Что же, я хуже всех? Если вернусь взводным, теща живьем съест. Ух, и теща у меня, хуже шестиствольного миномета! Хотите, расскажу вам, как я придумал домой вернуться?

Ромашкин видел колебание разведчиков. Они пытались сохранить обиженное выражение: не время, мол, для шуток. Но глаза у ребят уже теплели.

— Что ж, расскажи, Петрович, — попросил кто-то. Казаков присел у стола и начал:

— Ну, вот, представьте себе, явлюсь я домой в капитанском обличии. На груди у меня — ордена, в вещевом мешке — подарки. Жена, конечно, сразу ко мне. Теща выставляет пельмени, пироги, закуски всякие. А я: «Нет, погодите, дорогие родственники. Прежде всего расскажу вам, что же такое война, и покажу наглядно, какая она есть. Пожалуйста, идемте все во двор

или вон в садик. Берите каждый по лопатке…» Отмеряю им метра по три каждому:" Копайте! Глубина чтоб была в полный профиль — полтора метра, значит". Ну, станут они копать, руки до кровавых мозолей набьют и взмолятся: «Отпусти нас, Иван Петрович». « Нет, — скажу, — копайте». А когда выроют траншею, принесу для каждого по два ведра воды, вылью на голову и повелю: «Сидеть в этой яме мокрыми одну ночь». Они опять начнут просить: «Отпусти, Иван Петрович…»

Казаков помолчал, давая возможность слушателям представить все это, перевел дух и продолжал:

— Потом, конечно, я отпущу их, скажу только: «Вот вы и одной ночи в таких условиях не выдержали, а я — два года… Или сколько мы там провоюем ещё ? Словом, сотни дней и ночей провел под дождем и снегом. Да к тому же мины, снаряды и бомбы с самолетов меня долбили. И все это я стерпел, вас защищая. Атеперь подумайте, какое у вас должно быть ко мне уважение». Полагаю, после такого примера теща станет ходить вокруг на цыпочках.

— Тепло у вас, — сказал Ромашкин вслух и, расстегнув шинель, поискал взглядом, куда бы её повесить.

— Прости, друг, не предложил тебе сразу раздеться, — виновато сказал Казаков. — Вот там мой угол. Повесь туда. И спать там со мной будешь, старшина постель оборудует.

Василий повесил шинель на гвоздь, поправил гимнастерку и, сверкая медалью, вернулся к столу. Разведчики переглянулись, явно из-за медали. Довольный произведенным впечатлением, Ромашкин подумал, что даже гимнастерка, измятая и в белых волосках от полушубка, работает здесь на его авторитет — не какой-нибудь тыловичок, а боевой, траншейный командир. Такого разведчики, ясное дело, зауважают.

* * *

Днем в боевое охранение не проползти, поэтому Ромашкин пробыл у разведчиков до вечера. Лишь когда смеркалось, пришел в свою роту — сдать взвод, забрать вещевой мешок с пожитками и попрощаться с бойцами.

—Ага! Явился, не запылился! — встретил его, как всегда сурово, Куржаков. — Я уж думал, не придешь, обрадовался, что с передовой смылся!

Василию казалось, что и тон этот, и оскорбительные слова — от зависти. Но теперь-то он не подчинен Куржакову, сам пользуется правами ротного. Впрочем, и в подчинении Василий не лебезил перед ним. А сейчас ответил с явным вызовом:

— Я, товарищ лейтенант, смываюсь с передовой в нейтральную зону и дальше. В общем, все остается, как было: я —

впереди, а вы — за моей спиной.

Ромашкин подчеркнуто «выкал», хотя раньше, чтобы позлить Куржакова, иногда говорил ему «ты». Сейчас это «вы» звучало свысока, как напоминание Куржакову, что он уже не имеет права «тыкать» ему.

Куржаков воспринял поведение Василия как хамство выскочки: впервые отличился и уже зазнался до умопомрачения. Он тоже подчеркнул «вы», но вложил в него прежний смысл их отношений — подчиненности взводного ротному:

— Вы передайте взвод сержанту Авдееву по всей форме, как положено. А потом придете вместе с сержантом и доложите о приемке-сдаче!

Ромашкин понял скрытый смысл, вложенный в распоряжение ротного. Делать было нечего, формально Куржаков прав. Хоть немного имущества во взводе, и обычно не передавали его взводные командиры, чаще всего убывая в госпиталь или на тот свет, но устав предусматривал такой порядок.

— Будет сделано, товарищ лейтенант, — намеренно не по-уставному ответил Ромашкин и, чтобы ещё раз кольнуть Куржакова, предложил: — А может быть, ввиду такого исключительного случая вы сами пройдете со мной в охранение, лично проследите за приемом и сдачей и на местности отдадите боевой приказ новому командиру?

Куржаков саркастически усмехнулся:

— Я додумался до этого без ваших напоминаний, Ромашкин. Побывал там и все сделал. А ваш взвод уже здесь. В боевое охранение назначено другое подразделение во главе с лейтенантом. Так что идите, передавайте имущество. Жду вашего доклада.

Свой взвод Ромашкин нашел в первой траншее. Она была глубже, чем та, в которой он сидел на одинокой высотке впереди. В стенках вырыты «лисьи норы», сделаны ступеньки, чтобы удобней вести огонь и выскакивать в атаку. И блиндажи здесь попрочнее.

— Командир второго взвода сержант Авдеев! — представился его преемник.

— Поздравляю! — сказал Ромашкин.

— С чем? — спросил сержант. — С тем, что первым в атаку буду теперь вставать?

— На то и командир.

— Вот и я говорю…

Передать взвод — дело нехитрое, но следовало кое о чем договориться с сержантом: Куржаков будет цепляться за каждую мелочь.

Авдеев, парень сговорчивый, слушал и соглашался.

— Людей во взводе двенадцать. Так?

— Так.

— Винтовок одиннадцать, станчак один. Так? Лопат малых двенадцать, противогазов — тоже. Так? — спросил Ромашкин и насторожился: противогазов у многих не было, их давно выбросили, а в сумках хранили еду, патроны и всякие личные вещи.

— Так, — ответил, не задумываясь, сержант.

— Но с противогазами-то сам знаешь какое положение.

— Знаю, товарищ лейтенант.

— Как же быть?

— Если возникнет химическая угроза, думаю, наша разведка не проморгает. Подвезут нам новые противогазы.

— Я о докладе ротному говорю.

— Да что вы, товарищ лейтенант, какой разговор? Вы сдали, я принял все полностью. — Сержант слегка замялся и неуверенно попросил: — Вот если бы автомат вы передали мне как взводному.

Ромашин решил, что в разведке для него автомат найдется. В крайнем случае Казаков свой тоже отдаст, не унесет.

— Бери, сержант, он действительно тебе нужен. На вот и запасной диск. Оба диска снаряжены полностью. В вещмешке у меня ещё и рассыпные патроны есть. Пойдем — отдам и их…

Без привычной тяжести автомата Василий почувствовал себя неловко, сразу стало чего-то не хватать. В блиндаже, увидев своих бойцов, подумал: «Интересно, как они проводят меня? Разведчики, узнав об уходе Казакова, опечалились. А что скажут мои славяне? Жил ведь я с ними в одной землянке, ел из одного термоса, обстреливали нас одни пулемёты, возможно, и в одной братской могиле довелось бы лежать, а вот ни разу не поинтересовался, что они думают обо мне. Может, будут рады, что ухожу. Не должны бы: я не выпендривался, как Куржаков. Тот хоть и поступает точно по уставу, хоть и не спрашивает больше, чем позволяют его права, но есть в нем что-то, порождающее желание возразить, защититься от его обидной холодности. За мной такого, кажется, не водится…»

Он смотрел на Махоткина, Бирюкова, Ефремова — эти люди всегда первые поднимались в атаку по его зову, шли с ним рядом на пулемёты врага. И вчера ночью они действовали лучше некуда. Хорошие ребята!..

Спросил их, не скрывая своей грусти:

— Ну что, братья-славяне, расстаемся?

Бойцы обступили его. За всех подал голос Махоткин.

— Не забывайте нас, товарищ лейтенант.

— Как вас забыть? — сказал Ромашкин и подумал о своей медали. Стало почему-то неловко перед этими людьми: фашистов били вместе, а наградили только его. — Как же я вас забуду? — непроизвольно повторил он. — Вы мне вон что заработали…

Василий расстегнул шинель и показал на груди сияющий кругляшок. Бойцы рассматривали медаль, читали надпись и номер.

Рассудительный Ефремов уточнил:

— Медаль эту вы сами заработали, товарищ лейтенант. Такое дело в один миг придумали! И немца поймали сами. Так что не сомневайтесь!

— Мне хотелось, чтоб и других наградили. Вас, например Бирюкова, Махоткина — тоже ведь гитлеровцев поймали.

— Наши награды впереди, — весело сказал Махоткин, — вон сколько ещё до Берлина топать!..

На душе у Ромашкина стало полегче. Хотя его бойцы и не выказали такой любви, как разведчики к Казакову, но все же он им небезразличен.

«Да и я ведь не Казаков, — отметил про себя Василий. — Тот вон какой молодец. Я с ним полдня провел, и то полюбил».

— Заходите к нам, — попросил Махоткин.

— Вас не минуешь, — ответил на это Ромашкин, — путь к немцам идет через вас. Ну, бывайте здоровы, ребята. Идем, Авдеев, доложимся ротному.

…Куржаков поднялся, чтобы стоя, как и полагалось, выслушать рапорт. А выслушав, строго спросил Авдеева:

— Все приняли?

— Так точно! — без колебания заявил сержант.

— И пэпэша передал?

— Так точно, и пэпэша.

В ротах автоматы только появились, их дали пока лишь взводным да некоторым сержантам, и Куржакову не хотелось терять «одну единицу автоматического оружия».

Ромашкин ждал придирок. Но придирок не было.

— Вы можете идти, — сказал ротный Авдееву и, когда сержант вышел, предложил Ромашкину: — Садись, попрощаемся хоть по-человечески.

— Можно и так — попрощаться, — хмуро согласился Василий.

— Интересно, что ты будешь обо мне думать?

Василий ответил смело и прямо:

— Думать буду о тебе, что и раньше думал: зануда ты. Вот и все.

Он ждал взрыва, но Куржаков лишь усмехнулся. Посмотрел как-то сбоку и спросил примирительно:

— Видел когда-нибудь, как петушки молодые дерутся? То и дело пырх да пырх — друг на друга наскакивают. А из-за чего? Не знаешь! И они не знают! Вот и ты петушок. Ничего ещё в жизни не видел. Выпорхнул из училища, разок в атаке кукарекнул — и в госпиталь. Теперь, правда, посильнее, по-настоящему кукарекнул. И возомнил себя отчаянным воякой… Ладно, иди, петушок, кто из нас чего стоит, сам потом поймешь! Будь здоров!

Ромашкин вышел в полной растерянности. По дороге к штабу полка вспоминал и перебирал всю свою недолгую службу с Куржаковым. И получалось, как ни крути, он, Ромашкин, не всегда был прав. С чего-то взял, что Куржаков нарочно свою власть показывает. А он не власть показывал, он командовал, как полагается ротному. Смотрел свысока? Так он полный курс училища закончил, с июня сорок первого — в боях…

От этих размышлений Василий перешел к делам домашним: «Маме писать о новом назначении пока не буду. И так беспокоится, а тут и вовсе спать не станет…»

Взять живым

Ромашкин предполагал, что он уже в следующую ночь пойдет с разведчиками на задание и притащит «языка». Но оказалось, прежде чем идти за «языком», надо выбрать объект и тщательно изучить его.

Лейтенант Казаков в сопровождении двух разведчиков выходил с Ромашкиным в первую траншею, на разные участки обороны полка. Вместе наблюдали за немецкими позициями вбинокль, с разрешения артиллеристов пользовались их стереотрубами. Наводя перекрестие стереотрубы на огневые точки, Казаков звал к окулярам Ромашкина, спрашивал, что он видит, и сам рассказывал ему об увиденном, притом всегда получалось, что Иван Петрович обнаруживает гораздо больше существенных деталей. Слушая его спокойный, доброжелательный голос, Василий подумал однажды: «Если бы Куржаков обнаружил настолько больше меня, уж он бы покуражился!» Иногда Ромашкин недоумевал:

— Какая разница, где брать «языка»? Куда ни поползи, везде могут встретить огнем.

— Это верно, везде могут… И встретят, и огонька подсыпят так, что землю зубами грызть будешь! — соглашался Казаков. — А ты кумекай, как сработать, чтобы втихую все обошлось. Для этого что надо?

— Ползти осторожно.

— Тоже правильно, только надо ещё подумать, где ползти. По открытому месту поползешь — он тебя за сто метров обнаружит.

— Зачем же по открытому?

— Ну, вот и докумекал: подходы, значит, надо искать к объекту. Удобные подходы! Мы с тобой этим и занимаемся. Объектов много, а подходы есть не ко всем…

Наконец объект был выбран — пулемёт на высоте. Ромашкин сам ни за что не остановился бы на таком объекте: разве к нему подберешься? Но Казаков рассмотрел удобную ложбинку.

— По ней и пойдем, — объявил он. — Там должно быть мертвое пространство. В рост не пройдешь, а проползти можно.

Ночью Казаков, Ромашкин и те же два разведчика — сержант Коноплев и красноармеец Рогатин — ушли в нейтральную зону. Прощупывали подступы к высотке поосновательнее. Кланялись пулемётным очередям, лежали, уткнувшись в снег, под ярким светом ракет. Под конец присели за кусты покурить, повернувшись спинами к немецким траншеям, чтобы оттуда не заметили огоньков цигарок.

— При подготовке поиска близко к объекту старайся не подходить. — посоветовал тихим голосом Казаков. — Следы на снегу оставишь, немцы их обнаружат и догадаются, что к чему. Тогда, конечно, встретят. Понял?

Ромашкин кивал, соглашался, но его снедало нетерпение. Зачем столько канителиться? Можно было бы сразу идти сюда сегодня всей группой. Были бы у них ножницы для резки проволоки, подползли бы сейчас к немецким заграждениям, сделали проход и уволокли бы фрица. Такие, как Рогатин, Коноплев, Казаков в одиночку любого немца скрутят. И себя он тоже со счетов не сбрасывал: ему бы только в немецкую траншею забраться…

Но Казаков не торопился. Днем отобрал ещё пятерых разведчиков и повел всех не в сторону фронта, а в полковые тылы, за артиллерийские позиции. Выбрал там высотку, похожую на ту, куда предполагалось идти ночью. Без лишних формальностей поставил задачу.

— Ты, Ромашкин, командир над всеми и главный в группе захвата. В группу захвата назначаются вместе с тобой Коноплев и Рогатин. Группа обеспечения — старший сержант Лузган и с ним ещё четверо: Пролеткин, Фоменко, Студилин, Цикунов. Кроме того, у нас будет два сапера. Ты, — показал Казаков пальцем на Лузгана, — заляжешь со своей группой у прохода, проделанного саперами. Если все сложится удачно, пропустишь лейтенанта с «языком» и только после этого начнешь отходить сам. Если фрицы будут мешать отходу группы захвата, должен забросать их гранатами и задержать огнем из автоматов. Если они поведут преследование большими силами, вызовешь огонь артиллерии — одна красная ракета. С артиллеристами я договорился. Не забудь ракетницу взять. Все ясно?

— Ясно.

— Тогда давайте разок проделаем практически. Группа обеспечения — вперед!

Лузгин и с ним ещё четверо пошли к высотке.

— С вами пойдут и саперы, — сказал им вслед Казаков. — Теперь твоя группа, — взглянул он на Ромашкина. — Идите метрах в пятидесяти от Лузгина. Марш!..

propuschena strochka??? Петрович и сам пошел рядом.

Когда обе группы приблизились к высоте метров на сто, Казаков пояснил:

— Дальше — а может быть, и раньше — поползете по той самой лощине. Здесь её нет, но ты же помнишь, в стереотрубу её видел и вчера ночью к ней подползал.

— Отлично помню, — подтвердил Ромашкин.

— Когда саперы будут резать проволоку, вы лежите и наблюдаете. Лузгин, — позвал Казаков, — какой сигнал подашь, когда проход будет готов?

— Рукой махну.

— А если не увидят?

— Ну, подползу поближе и махну.

— Ползать опасно, там каждое лишнее движение могут обнаружить, и все труды к черту! Лучше не ползай. А ты, — Казаков обратился к Ромашкину, — и вся группа захвата должны наблюдать за Лузгиным внимательно. Надо обязательно увидеть, когда он махнет.

— Увидим.

— Ну, хорошо. Теперь прорепетируем несколько вариантов отхода. Первый — если будут преследовать; второй — без погони; третий — с убитыми и ранеными. — Казаков пристально поглядел в глаза Ромашкину и впервые строго сказал: — Запомни, лейтенант, в разведке закон — раненых и убитых не оставлять ни в коем случае! Убитому, конечно, все равно, где лежать. Но если бросишь убитого, в другой раз живые с тобой пойдут опасливо. Каждый вправе подумать: а не был ли тот, оставленный, раненым? И не случится ли с кем-нибудь на новом задании то же самое? Так что усвой раз и навсегда нерушимый закон: сколько разведчиков ушло на задание, столько должно и вернуться. Кто живой, кто мертвый, дома разберетесь…

Тренировались долго. Ромашкин взмок, бегая и ползая по глубокому снегу. Взмокли и остальные. Василий смотрел на разведчиков и думал: «Наверное, проклинают меня. Мучаются-то они из-за моей неопытности. Самим им все до тонкостей давно известно». Но когда занятия кончились, Казаков, тоже потный — пар валил от него, чубчик прилип ко лбу, — сказал назидательно:

— Вот так, дружище, надо репетировать каждое задание. Все отрабатывай здесь. Там, — он махнул в сторону противника, — ни говорить, ни командовать нельзя. Там должно все проходить как по нотам. Понял?

— Уяснил.

— Ну и молодец. А этих двоих — Коноплева и Рогатина — мы с тобой таскали повсюду для чего? Для охраны или для компании? Нет, конечно. Они теперь все наши замыслы знают. А зачем это?

— Лучше помогут.

— Ты просто талант! — похвалил Казаков и добавил: — Мы живем на войне. И тебя, и меня в любой момент, даже при подготовке, могли ухлопать. А в разведке перерыва быть не должно. Меня убили — ты пойдешь, тебя убили — они поведут

группу.

Ромашкин успел заметить, что, если даже отвечает Казакову невпопад, тот все равно говорит ему: «Правильно». И тут же сам, будто повторяя его слова, высказывает совсем иное—то, что следовало бы ответить на вопрос. «Добрый и тактичный командир, не зря его разведчики любят», — думал Василий.

— Ну что ж, братцы, пошли обедать, — распорядился Казаков.

Такие распоряжения всегда выполняются моментально. Разведчики двинулись по старому следу один за другим.

Иван Петрович склонился к Василию, тихо спросил:

— Видишь, как они идут?

— Колонной по одному.

— Точно. По уставу это называется так. Но ты запомни, лейтенант, в уставе разных строев много, а разведчики ходят только так: след в след, даже по своей земле. Жизнь к этому приучила. И ты ходи обязательно след в след. На мины нарветесь — одного потеряете. Благополучно пройдете по снегу, по траве, по пашне — один след оставите, будто один человек прошел. Это тоже очень важно в тылу врага…

* * *

До выхода на задание остались считанные часы. Разведчики поели и теперь могут отдохнуть. Однако не все спешат на нары. Большинство из отобранных Казаковым в ночной поиск продолжают приготовления к нему. Каждый сейчас, наверное, волнуется, но внешне это незаметно. Все спокойны и даже веселы.

Иван Рогатин обматывает чистым бинтом автомат, чтобы не выделялось оружие на белом снегу. Здоровый, плечистый, неразговорчивый, он делает это не торопясь, солидно.

Саша Пролеткин рядом с Иваном кажется мальчиком. Движения у него быстрые, сам он юркий. Мурлыкая песенку, Саша тоже меняет бинт на автомате и, как всегда, задирает Рогатина:

— Скажи, Иван, почему у тебя такая фамилия?

Все затихают, прислушиваются, знают: Сашка что-нибудь отчудит.

Иван отвечает не сразу, продолжая аккуратно прилаживать бинт, между делом бросает:

— Какая такая?

— Ну, не совсем обычная — Рогатин. Ты что, из рогатки стрелял?

Иван качает укоризненно головой.

— Фамилию разве по мне дали? Полагаю, что мои деды ходили на медведя с рогатиной.

— А ты ходил?

— Я с ружьем ходил. Теперь можно и без рогатины.

— Значит, ты охотник?

— Вовсе и не значит. Я хлебороб. Хлеб растил, тебя кормил. А охота — для души. Она как бы отдых.

— И все же ты охотник.

— Пусть так, — соглашается Иван.

— А скажи, Рогатин, жирафа ты ел?

— Жирафы в наших краях не водятся. Они в Африке.

— А я вот ел жирафа, — спокойно заявляет Саша.

— Как же ты в Африку попал?

— Зачем в Африку? Когда Киев наши войска оставляли, там зверинец разбежался. Вот мы с дружком и попробовали жирафятинки. Хотели ещё бегемота попробовать, но я жирное мясо не люблю.

— Уж молчал бы, — осуждающе говорил Рогатин.

— А что?

— Под суд тебя надо за такие дела, вот что! Редких животных истреблял.

— Какой ты быстрый! — юлит Саша перед Иваном. — А ты бы не истреблял?

— Я — нет.

— Вот, значит, тебя и надо под суд! Приказ ведь был, отступая, ничего не оставлять фашистам — либо эвакуируй, либо уничтожай! А жирафа как эвакуируешь? Он ни в какой вагон не помещается. И на платформу его не заведешь: будет цеплять за семафоры. Ты у жирафа шею видал? Она, брат, поздоровее твоей!

Разведчики дружно смеялись: «Ну и Саша! Прищучил-таки Рогатина!»

На короткое время все смолкают: тема исчерпана. Но молчать в такой час не принято. Перед самым выходом на задание всегда полезно несколько отвлечься: ни к чему загодя переживать предстоящие трудности и опасности. Молчаливый Рогатин знает это не хуже других и потому сам возобновляет разговор, явно рассчитанный на всеобщее внимание:

— Да, братцы мои, разные в жизни бывают истории. Вот у меня, к примеру, такое произошло, что вы, пожалуй, и не поверите. Отслужил я срочную в тридцать восьмом году, еду домой. Все чин-чинарем — в купейном вагоне, телеграмму мамане послал: скоро, мол, буду. Вышел из поезда на полустанке Булаево, оттуда до нашей деревни рукой подать — километров сто. В Сибири сто километров не расстояние. Сначала подвез меня на тарантасе лесник, потом на двуколке ветеринарный фельдшер. Около Павлиновки он в сторону свернул, ну а мне

пришло время заночевать. Иду вдоль деревни с новым чемоданчиком, сапоги скрипят, на груди «ГТО» и «Ворошиловский стрелок». Бабы на меня зырк-зырк.

— Конечно, такая кувалда прет! — хохотнул Саша Пролеткин.

— Ты погоди встревать, — одернул его Иван. — Так вот, иду я вдоль деревни, а впереди — музыка. Гуляют, значит. Подхожу к одной избе — окна в ней нараспах, каблуки стучат по полу, с крыльца сбегает кто-то и прямо ко мне: «Просим вас, товарищ боец, к нам на свадьбу». Я по скромности стал отнекиваться: нет, мол, благодарствую, ни к чему на свадьбе посторонний прохожий. А они: «Какой же вы посторонний, вы защитник Родины!»

Одним словом, затащили меня в хату. Гости плотнее сдвинулись, место мне дали. Ну, выпил. Молодых я поздравил. «Горько!» — сказал. Поцеловались они. Невеста такая крепкая, не то чтобы очень красивая, но крепкая…

— Жениха ты, конечно, не приметил, у тебя после службы глаза одну невесту видели, — опять вставил Саша. Иван с укором поглядел на Пролеткина.

— Ох, и балаболка ж ты, язык болтается в тебе как в свистке горошина!.. Был и жених, видел я его, да он мне не приглянулся — какой-то прыщавый, маленький. — Иван поглядел на Сашу и решил ему отплатить: — Ну, вроде тебя, такой же маломерка.

Саша обиделся, но промолчал.

— Как водится, — продолжал Рогатин, — и я в пляс пошел. Сперва барыню отгрохал, потом под патефон городские танцы с девками выкручивал. А пока, значит, я танцевал, в свадьбе какой-то разлад получился. Точно как у писателя Чехова в рассказе: жениху чего-то недодали, он и заартачился. Невеста — в слезы. А жених смахнул на пол тарелки с закусками и прямо по этим закускам прошагал к двери. Вынул цветок, который на пиджаке у него был, кинул на пол. «Все с вами!» — говорит. И ушел. Тут даже пьяные протрезвели, а трезвые, наоборот, очумели. Все притихли. Невеста рыдает. И так мне жалко её стало, ну, не знаю, что бы для нее сделал. «Хочешь, — говорю, — я того сморчка возьму за ноги и разорву на две штанины?» Мамаша невестина струхнула: ох да ах, вы, конечно, наш защитник, но все же так по-страшному защищать не надо, может, Петька ещё одумается. А я в ответ: да пусть, мол, хоть десять раз одумается, разве он ей пара?! Такая девка, а он прыщ, и ничего больше. Мамаша урезонивает меня: «Ну, все ж таки он жених. Куды она без него? Кто её возьмет теперь, опозоренную?» — «Да хотя бы я! — говорю. — Со всей душой и сердцем!» Невеста даже плакать перестала. А у гостей рты таки раскрылись, будто хором букву "о" поют. На меня все

внимание. Я и рад! Сажусь рядом с новобрачной, спрашиваю: "Пойдешь за меня? " У нее в каждой слезинке улыбка засверкала. «Пойду, — говорит, — с радостью, если вы всерьез». Ответствую ей: я, мол, боец Красной Армии, мне трепаться не полагается. Я не как тот сморчок, мне никаких приданых не надо. Мы сами с тобой своими руками все добудем и сделаем. Гости, которые поверили, стали опять гулять, а которые не поверили, ушли от греха подальше. Только сам я чуть оконфузился: ведь три года в армии не пил, захмелел с непривычки и свалился.

— Много же в тебя было влито, если такого бугая свалило! — не удержался Пролеткин.

На этот раз Рогатин не удостоил его даже взглядом и повел рассказ свой дальше без перерыва:

— Наутро просыпаюсь. Где я? Пуховики подо мною. Постель вся новая, аж хрустит. Рядом девка спит румяная, пригожая. А в башке гудит, будто грузовик буксует на подъеме. Открывает девка свои ясные синие очи, глядит на меня, как в сказке. «Ты кто?» — спрашиваю. «Как — кто? Твоя жена. Или забыл?» Вижу, у нее уже вода в глазах накапливается. Вспомнил я вчерашнюю кутерьму и принялся утешать. А она плачет и плачет. «Чего же ты, — говорю, — слезы-то льешь? Я не отказываюсь. Как вчера обещал, так все и будет». А она опять плачет «Скажи, — говорю, — напрямки, в чем дело?» — «Да я, — говорит, — не для тебя плачу, а для себя. Какая несчастная — два раза замуж вышла, а бабой все никак стать не могу».

Тут грохнул такой хохот, что даже стекло в оконце, возле которого сидел Ромашкин, зазвенело тоненько, словно при близком разрыве снаряда.

— Ну, и чем это кончилось? — спросил Василий, когда все отсмеялись.

— А ничем и не кончилось, — солидно ответил Иван. — Мы с Груней душа в душу и по сей день. Вы, конечно, считаете, что у людей всегда сперва любовь появляется, потом они женятся. А вот у нас с Груней по-своему: сперва женились, а потом любовь располыхалась… Я ведь и фашиста почему в первом своем поиске удавил? Все от этой самой любви. Подумал, как фашисты над нашими бабами измываются, и не стерпел. От таких дум мне и теперь не убить фашиста тяжелее, чем убить.

Иван окинул всех быстрым взглядом. Разведчики не смеялись Обращаясь к Ромашкину, сказал:

— Конец не конец, а вроде бы точку какую в той истории я, товарищ лейтенант, все же поставил. Вышел через неделю после свадьбы рыбки наловить: Груня ухи захотела. А на реке меня этот прыщ, сам-шестой, встречает. Кроме него самого, ребята все

здоровые, убить не убьют, а покалечить могут. Уточняю обстановку: «Не бить ли меня собрались?» — «Догадливый», — сипит Петька. «А за что? Не за девку ведь спор. Груня — законная моя жена». Вижу, смутил их, замялись. «Правильно, жена, — говорит Петька, — а у кого ты увел ее?» Да тут Назар, конюх, дал Петьке под зад, он аж в кусты полетел. Поднялся и вопит: «Меня же за мое угощенье обижаете!» — «Ты сам обидел нас, Петро, — сказал Назар. — На худое дело смутил: законного мужа разве бьют? Ставь ещё две литры и пригласи Ивана, а не то самому фонарей подвесим». И что бы вы думали? Выставил Петька водку. За мир, значит. Одна маманя моя в обиде осталась: до дома не дотянул, без нее по дороге женился.

— Дуже гарно все зробилось! — воскликнул Богдан Шовкопляс. — Ты, Иван, сам великий, и душа у тэбэ большая. А вот за мэнэ ни одна дивчина замуж выходить не хотела.

Разведчики недоверчиво поглядели на Шовколяса: парень чернобровый, белозубый, глаза веселые. Правда, нижняя челюсть немного вперед выдается и нос чуть набок. Но это замечаешь, лишь приглядевшись, а так всем хорош — крепкий, рослый.

— Так я тильки теперь на справного чоловика похож став, — пояснил Богдан. — А був никудышний. Лежал колодой на печи, ревматизма мэни расколола ще хлопчиком, в десять рокив. По хате ковыляю, а шоб яку работу зробити или на игрище с хлопцами — ни-ни. Долежал до семнадцати рокив. В школы до седьмого классу доучился — учителя и на печи не забывали. Стал я почти жених, да кто за меня пойдет? Кому потрибна такая колода?

— Как же тебя в армию взяли? — удивился Королевич.

— Погодь, Костя, не забегай наперед… Ходили до мэнэ с уроками разни девчатки. И была среди них одна красавица, Галей её звали. Така гарна, що очи ризало. А в самой ей очи — что твое море или там стратосфера. Звезды в них горят, як у той самой стратосферы.

Богдан разволновался, щёки у него порозовели, в глазах вроде бы тоже засверкали звезды.

— Я больной, больной, а красоту понимал. Дивлюсь на Галю, знаю — не для мэнэ вона, но ничего зробить не можу. Бона ще по вулице иде, а у мэнэ сердце аж в присядки пляшет… Женихи за Галей гужом, один краше другого: Харитон — бригадир, орденоносец, Михайло—тракторист, весь в куделях, як Пушкин, и даже учитель из школы, культурный, при галстучке, а голову потерял. И вдруг та Галю сама кидается на колени перед моей постелью, положила голову мэни на плечо, плаче и причитае: «Не можу я быть счастлива, коли ты всю жизнь маяться будешь. Зачем

нас в школе учили? Или неправду умный человек сказал: не милости мы должны ждать у природы, а сами зробити себе счастливо життя! Я тэбэ выкохаю!» Як сказала она мэни такое, усе у мэнэ перевернулось. Уси тормоза, уси прокладки в суставах расслабились, кровь забегала там, куда раньше ей ходу не было! И свадьба у нас, Иван, тоже была необычная. Я не хотел свадьбы. «Погодь, — говорю, — проверь себя, Галю». А она: «Нет! Пусть будет свадьба, пусть люди бачут!» Сами понимаете, яко веселье, когда жених сиднем сидит, а невеста-раскрасавица вокруг него одна пляшет. Гости слезы тайком утирали. А моя Галю знай пляшет та песни спивае!

Богдан помолчал, вздохнул.

— После свадьбы она мэнэ в сад под яблони цветущие стала выводить. Где там выводить — выносила на руках своих. И все со смехом, с шутками. В хате — патефон, радио. Картинки из журнала «Огонек» на стенах наклеены, такие веселы, ярки картинки — цветы, море, птицы, корабли, леса. Вот так без докторов и выкохала мэнэ Галя. Ходить я начал, потом бегать, плавать. На комбайнера выучился, и все село любовалось нами. Я с поля иду, а Галя дождать не может, навстречу бежит. Будто чуяла — короткое наше счастье, будто знала наперед, что разлучит нас война…

На том и оборвал Шовкопляс свой рассказ о себе и о своей Гале.

В блиндаже было тепло, от печки шел домовитый запах сохнущей одежды. Воркуя, закипал чайник, но вдали потрескивали приглушенные бревенчатым накатом пулемётные очереди.

— Кто ещё , братцы, расскажет о свадьбе-женитьбе? — спросил Лузгин. — Может быть, Костя?

Королевич залился стыдливым румянцем, прикрыл ресницами голубые глаза.

— Я не женат…

— Но деваха-то есть?

Костя молчал. Казаков, выручая Королевича, попытался втянуть в разговор Голощапова:

— Может, ты, Алексей Кузьмич, о своем житье-бытье поведаешь?

Голощапов почесал в затылке и, как обухом, врезал:

— Все это муть! Первый год после женитьбы у всех сладкий. А проживете лет десять — двадцать, ещё неизвестно, какие ваши Грунечки да Галечки станут.

— Язва ты, Голощапов! — остановил его старшина разведвзвода Жмаченко. — Зачем людей обижаешь? Хочешь

говорить — скажи про себя, не хочешь — помолчи, а людей не трожь.

— Я и говорю про себя, а не про тебя, — Голощапов посопел и вдруг выложил, вызывающе глядя на слушателей:

— А я вот свою жену бил!.. Она тоже красавица была и, как в гости пойдем, хвостом туда-сюда. Ну, я и поддавал ей: не забывай, что муж есть!

— Про такое и слушать неприятно, — махнул рукой старшина. — Рассказал бы ты, Жук! Ты инженер, у тебя жизнь городская.

Жук был во взводе радистом. Рация, правда, взводу разведки не полагалась, но она была захвачена у немцев и застряла здесь. Анатолий Жук сразу разобрался в ней, что-то перемонтировал и с той поры стал взводным радистом.

— Ну, во-первых, я не инженер, а всего-навсего радиотехник, — поправил он Жмаченко. — А во-вторых, мои семейные дела тоже неинтересные, — помедлил, подумал и продолжал: — Сначала все шло хорошо, и любовь была, а потом рассыпалась. Перестали мы друг друга понимать, будто на разных волнах говорили: она не слышит меня, я не могу уловить ее.

— Почему же так получилось? — насторожился дотошный Коноплев, комсорг взвода.

— Да все из-за Шарика, — неопределенно ответил Жук.

— Из-за какого шарика? Земного, что ли? Мировые проблемы решали?

— Нет, собачка у нас была. Шариком звали.

Ребята выжидательно улыбнулись. Начало всем показалось занятным.

— Разве может у людей, к тому же образованных, из-за какой-то собачки жизнь испортиться? — удивился Коноплев.

— Может, — твердо сказал Жук. — До войны я жил под Москвой, в городе Пушкине. Домик там собственный у отца и матери. Шарик по двору бегал — веселый такой рыжий пес, дворняжка простая. Окончил я техникум, послали работать в Караганду. Там встретил девчонку. Лизой звать. Тоже после техникума отрабатывала, зубной техник. Она москвичка, я вроде бы тоже москвич. Одним словом, поженились. Подработали деньжонок, мотоцикл с коляской купили. Живем, не тужим. А мать с отцом в каждом письме: приезжай да приезжай, мы старые, кому дом оставим? Ну, отработали мы с Лизой положенное и махнули домой. Приехали ночью. Шарик нас встретил как полагается: прыгает, ластится и все норовит руку лизнуть. Только мотоцикл ему не понравился — понюхал, чихнул и отошел в сторону. И вот однажды Лиза говорит мне: «Давай хорошую

собаку заведем». — «А Шарик чем плох?» — «Уж кормить, так породистую. Я сама достану в Москве, у моих знакомых есть отличные породы». Шарик стоит тут же, языком в себя ветерок гонит — жарко ему, смотрит преданными глазами, не понимает, о чем она речь ведет. Отец и мать промолчали, не хотели портить отношения с невесткой, думали: поговорит и забудет. Но Лиза не забыла. Недели через две принесла щенка-дога. И паспорт на этого пса принесла, там до шестого колена его родословная описана, а наречен он Нероном. Шарик встретил Нерона ласково, понял, что это щенок, хотя и был тот здоровущим. Ну, думаю, все уладится: одна или две собаки, какая разница? Но вскоре Лиза ведет меня к мотоциклу: «Заводи». — «Зачем?» — «Шарика увезем, он уже там, под брезентом, в коляске». Выехали мы за город, Лиза выпустила Шарика, он скулит, жмется ко мне. Я говорю: «Его завтра же собачники поймают. Давай хоть подальше отвезем, в деревню, там собачников нет. К кому-нибудь прибьется». Лиза молча отвернулась. Смалодушничал я, бросил Шарика. И с той поры что-то надломилось в наших семейных отношениях: не тянет меня домой. Завел со мной серьезный разговор отец: «Может быть, из-за нас нелады у тебя с Лизой? Так мы свой век прожили. Хотите назад в Караганду, езжайте. Или нас, если мешаем,отправляй куда-нибудь». Я отцу ничего не сказал, а про себя подумал: «Ну да, как Шарика, посажу вас с матерью в коляску, завезу подальше и брошу».

— Зачем же ты потакал своей Лизе? — возмутился Голощапов.

— Любил.

Голощапов зло плюнул в сторону.

Кто-то вздохнул.

— Начали за здравие, кончили за упокой.

— Хватит, орлы, мирную жизнь вспоминать, — сказал Казаков, — пора войной заниматься.

К Ромашкину подошел старшина Жмаченко, низенький толстячок с веселым, скользящим взглядом сельского доставалы. Такой может добыть все, что нужно: хоть гвозди, хоть трактор. За эти качества его и определили в разведвзвод. У заместителя командира полка по хозчасти глаз наметанный, увидал Жмаченко — и решение готово: «Пойдете в разведвзвод, подразделение это особое. Прежде чем разведчиков накормить, их надо найти — у них работа такая. Как вы это будете делать, не знаю. Только если не справитесь, наказывать не я буду: разведчики сами вам голову оторвут. Понятно?»

Пробивной Жмаченко все понимал с полуслова. С обязанностями своими он, конечно, справился. Искренне

полюбил разведчиков за их опасную работу и старался добыть им, что положено и что не положено. В выборе средств не стеснялся. Если даже его уличали иногда в ловкости рук, умел изобразить святую простоту, говорил проникновенным голосом: «Я ведь для разведчиков! Это же осознать надо!»

Кладовщики и начальники всех рангов в таких случаях всегда добрели. Разведчикам часто выдавались папиросы вместо махорки, а мясные консервы заменялись колбасой, разливная водка — водкой в бутылках.

Жмаченко трудно было смутить, но сейчас он казался смущенным. Скользя взором мимо Ромашкина, виновато сказал:

— Товарищ лейтенант, такой порядок: документы ваши и, я извиняюсь, медаль сдать полагается.

Ромашкин знал это правило. Ругнул себя за то, что сам не догадался сдать все заранее.

— Чего же извиняться, если так полагается? Вот, принимайте: удостоверение личности и медаль. Тут ещё письма и деньги, тоже возьмите.

— Все сохраню, товарищ лейтенант, в полном порядке, не сомневайтесь, — заверил старшина, преданно глядя на Ромашкина.

Хотя и был Жмаченко пройдохой, все знали, что сердце у него доброе. Перед выходом разведчиков на задание он готов был сделать для них что угодно. Всегда казнился: «Они ж уходят к черту в зубы, а я остаюсь дома. Вот улыбаются все, шутят, а к утру, глядишь, принесут кого-то из них мертвым на плащ-палатке».

Забирая у Ромашкина документы, старшина посчитал нужным сразу внести ясность в будущие свои отношения с новым командиром:

— Я ведь сам не могу ходить на задания, потому как больной слабодушием. Я там помру ещё до проволоки.

— Ладно, Жмаченко, не страдай, — остановил его Казаков. — Ты зато здесь, в тылу, хорошо берешь за горло кого надо.

Старшина, явно польщенный этим, проформы ради стал оправдываться, адресуясь опять к Ромашкину:

— Слышите, товарищ лейтенант, вот так все обо мне думают, а я ведь никого не обманул и под ответственность не подставил. Я только обхожу неправильные инструкции, и опять же не ради себя, а исключительно для геройских людей, чтобы им хорошо было.

— Ладно, борец за правое дело! — снова прервал его Казаков. — Позаботься лучше, чтобы к нашему приходу картошки наварили, чаю нагрели. Ребятам — две фляги горючего. А мне с

лейтенантом Ромашкиным — пузырек засургученный.

— Все будет в полной норме и даже сверх того, товарищ лейтенант, только возвращайтесь на своих ногах…

Ромашкину хотелось показать разведчикам, что ему тоже ведомы давние боевые традиции. Достал из вещевого мешка чистую пару белья и не торопясь, с достоинством надел его взамен того, в котором был.

Ребята переглянулись. Ромашкин не понял этих взглядов, посчитал — одобрили. Однако Иван Петрович, улучив момент, когда никого поблизости не было, сказал:

— Это ты напрасно с бельем-то. На задание придется очень часто ходить. Целого бельевого магазина тебе не хватит.

В голосе Казакова не слышалось ни подначки, ни насмешки, он просто по-товарищески посоветовал.

Ромашкин смутился, не знал, как поступить, — снимать, что ли, чистое белье? Но Казаков и тут понял его, успокоил:

— Снимать не надо. Для тебя это первое задание — вроде крещения. Тебе можно такое позволить. Ребята поймут. А на будущее учти…

Пришли два сапера в белых маскировочных костюмах и с длинными ножницами, похожими на клешни раков.

Казаков поднялся.

— В путь, хлопцы! Ни пуха, ни пера!

Вслед за командиром поднялись все — и те, кто уходил на задание, и кто оставался дома. На минуту воцарилась тишина. Потом группа Ромашкина отделилась от остальных и направилась к двери.

До первой траншеи двигались молча и опять след в след. Все налегке, под маскировочными костюмами только ватные брюки и телогрейки. Оружие — автомат, нож, гранаты. Ромашкин вспомнил немца, которого поймал, будучи в боевом охранении: «Как много было на нем одежек!» А вот самого Ромашкина одежда сейчас не стесняла, прямо хоть на ринг. Он чувствовал себя окрыленным. Такое ощущение перед соревнованием всегда предвещало победу. Но здесь не на ринге. Вот уже пули посвистывают над головой и, ударяясь в бугор или дерево, с гудением, как шмели, отскакивают в стороны.

В первой траншее разведчики покурили. К ним подошли бойцы из стрелковых подразделений, разглядывали каждого с уважением и любопытством.

— К фрицам в гости пойдете? — сдержанно спросил кто-то.

— К ним. Куда же ещё , — небрежно ответил за всех Пролеткин.

Казаков, однако, не дал покалякать. Сказал негромко:

— Кончай курить. Давай, Ромашкин, командуй. Дальше я не пойду.

Для Ромашкина это оказалось неожиданностью. Он считал, что при выполнении первого задания Казаков все время будет рядом. На миг растерялся, но тут же подумал: «Так даже лучше!» Хоть и опытный разведчик Иван Петрович, все же Василию не терпелось испробовать свои силы.

Ромашкин бросил окурок, наступил на него, взглянул на разведчиков и приказал:

— Вперед!

Первым сам выпрыгнул на бруствер и, пригибаясь, зашагал в нейтральную зону. Две белые фигуры мгновенно появились рядом. «Ага, группа захвата — Коноплев и Рогатин, — соображал Василий. — Но почему они пытаются обогнать меня, а не идут след в след?»

— Ты куда? — тихо спросил он Рогатина.

— Негоже, товарищ лейтенант, командиру идти как дозорному, — строго сказал тот и, обернувшись к группе обеспечения, распорядился: — Ну-ка, жирафный охотник, давай в дозор с Фоменко.

Саша Пролеткин и Фоменко беспрекословно пошли вперед. Когда они стали пропадать из виду, Рогатин кивнул Ромашкину, и все двинулись дальше.

При вспышках ракет стали ложиться. А с того места, где Ромашкин уже побывал однажды вместе с Казаковым, совсем не поднимались, только ползли. Снег был сухой, промерзший. Он шуршал, казалось, очень громко. Пахло холодной сыростью. Все вокруг слилось в белой мгле, похожей на густой туман. Ориентироваться на местности помогали немецкие ракеты и пулемётные очереди.

Василию стало казаться, что разведгруппа отклоняется вправо. Он приподнялся раз и другой, пытаясь разглядеть высотку с пулемётом, но ничего не увидел во мраке. Внезапно, будто по какому-то сигналу, группа замерла, влипнув в снег. Несколько белых фигур, обгоняя остальных, поплыли по сугробам вперед. «Это саперы и Лузган с ними, — понял Ромашкин, и тут же мелькнула неприятная догадка: — Кто-то командует вместо меня». Но, вспомнив тренировки, успокоился: «Все, наверное, идет само собой. Казаков же требовал, чтобы все шло как по нотам. Не проморгать бы только, когда Лузган подаст сигнал о готовности прохода».

Ромашкин опять приподнял голову, но не увидел ни Лузгана, ни проволочного заграждения. Впереди чернел кустарник. Василий двинулся туда, но кто-то ухватил его за ногу, потом

подполз вплотную — это был Рогатин. Ромашкин махнул рукой в сторону кустарника. Рогатин отрицательно покачал головой. «Зачем он меня опекает? — возмутился Ромашкин. — Кустарник хорошо будет маскировать нас». И ещё раз строптиво махнул рукой в том же направлении. Тогда Рогатин шепнул в ухо:

— Хрустеть будет.

Кистью руки вильнул перед глазами Ромашкина, как бы изображая плывущую рыбу. Василий понял: нужно обтекать кустарник, ползти опушкой — и двинулся по снегу, разворошенному группой обеспечения.

Вскоре он увидел почти рядом два белых силуэта. Один солдат, лежа на спине, зажимал в кулаках проволоку, другой перекусывал её как раз между рук напарника, и тот осторожно, чтобы не звякнули, разводил концы. Резали лишь самый нижний ряд — только бы проползти.

У

Василия прошел по спине холодный озноб. «Если нас обнаружат, ни одному не уйти, в упор всех побьют». Он хорошо помнил, как сам недавно проучил фашистов при сходных обстоятельствах.

Где-то рядом отчетливо щелкнула ракетница. Шурша, ракета понеслась вверх и с легким хлопком раскрылась в огромный яркий световой зонт. Разведчики ткнулись лицами в снег. Единственное не закрытое белой тканью место — лицо.

Лежали не дыша. Ромашкину казалось, что даже сердце у него перестало биться.

Но вот ракета сгорела. На несколько мгновений вокруг стало черно, потом глаза привыкли, и Ромашкин увидел, как машет ему Лузгин. «Значит, проход готов».

Надо было ползти вперед, а Василий не мог преодолеть свою скованность. Наконец решился, пополз медленно, сжимая в руке гранату.

Подполз к брустверу, с огромным усилием поборов страх, заглянул вниз. Ждал — увидит там притаившихся немцев, но траншея была пуста. Сразу на душе стало легче.

Он спустился в траншею. Вслед за ним туда же соскользнули Коноплев и Рогатин. Василий с опаской двинулся вперед. Где-то там, на вершине холма, пулемётная площадка, выбранная для нападения…

Увидев телефонный кабель, прикрепленный к стене окопа металлическими скобками, показал на него Коноплеву. Тот кивнул, и Ромашкин понял: надо перерезать. Вынул финку, стал пилить кабель. И тут-то из-за поворота выплыли две белые фигуры. Немцы были в таких же, как и разведчики,

маскировочных костюмах. На мгновение они остановились, но, заметив, что Ромашкин возится с кабелем, успокоились: очевидно, приняли разведчиков за своих связистов. Один из немцев что-то громко спросил.

Чужая речь и близость врагов опять сковали Ромашкина. Он стоял как деревянный, не в силах справиться с омертвевшим от неожиданной встречи телом. Лишь одна какая-то жилка осталась живой, она пульсировала где-то в голове, позволяла держать в поле зрения немцев, искать выход. Вдруг эта жилка сработала как электрический выключатель. Ромашкин вскинул автомат и выстрелил короткой очередью в ближнего немца. Тот рухнул, а второй кинулся бежать.

— Что же ты?.. Живьем же надо! — напомнил Рогатин, пытаясь проскочить в тесной траншее мимо Ромашкина и догнать убегающего.

Ромашкин не пустил, перешагнул через убитого и сам в три прыжка настиг фашиста, суматошно стукавшегося о стенки траншеи на поворотах. Схватил его за плечи. Гитлеровец завизжал тонким поросячьим визгом.

Разведчики стремились осуществить задуманное без шума. И ползли, и резали проволоку, и по траншее шли, помня лишь об одном: тише, тише, ни звука! И вдруг этот ужасный крик! Ромашкин ударил гитлеровца ножом. Визгун умолк, обмяк и повалился на дно траншеи.

— Что же ты, гад, делаешь?! — простонал рядом Рогатин. — И этого убил!

Ромашкин огляделся широко раскрытыми, но плохо видящими глазами. Опомнился. «Действительно, что же я натворил? С ума сошел от страха?» И, овладевая собой, ответил:

— Сейчас ещё найдем.

— Нельзя искать. Нашумели. Уходить надо.

Ромашкин не успел ответить — автоматные очереди ударили по траншее из-за поворота. Пули бились в земляную стену, неистово грызли ее, поднимая сухую, колкую пыль.

Разведчики прижались к противоположной стене. Стреляли рядом, но выстрелы почему-то были глухие. Ромашкин заглянул за поворот и все понял: там блиндаж, и гитлеровцы стреляли из него наугад, прямо через дверь.

Сняв с пояса гранату, Ромашкин метнул её под дверь. Грохнул взрыв. Дверь сорвало. Из блиндажа послышались крики, и снова застрекотали автоматные очереди. Рогатин метнул в черный проем вторую гранату. Опять взрыв, и в блиндаже все стихло. Только дымок тянулся из дверного проема и кто-то стонал там в черноте.

"Нужно лезть туда, брать «языка», — подумал Ромашкин. Теперь, как это ни странно, он действовал не то чтобы спокойно, а более хладнокровно и рассудительно. «Как туда влезть? — прикидывал Василий. — Если кто-нибудь из немцев уцелел, непременно караулит с автоматом наготове. А топтаться нельзя: сейчас прибегут на помощь соседи».

Решение созрело мгновенно. «Брошу гранату с кольцом. Кто уцелел — ляжет, ожидая взрыва, которого не будет. Тут-то я и вбегу!»

Секунда — и граната полетела в блиндаж. ещё миг — и Ромашкин вбежал. За порогом блиндажа сразу отскочил в сторону, чтобы не быть мишенью на фоне дверного проема. В блиндаже была непроглядная темень. Пахло гарью и странной смесью пота с одеколоном. Неподалеку слышалось тяжелое дыхание немца. «Наверное, раненый. Хоть бы его взять, пока не застукали! Где же он, этот раненый!..» Ромашкин сделал шаг и споткнулся о мягкое человеческое тело — немец был неподвижен. На ощупь нашел ещё несколько тел без признаков жизни. Наконец приблизился к стонавшему в глубине блиндажа.

В дверях вспыхнул свет карманного фонаря.

— Лейтенант, где ты? — тревожно спрашивал невидимый Коноплев.

— Здесь я. Порядок! — ответил Ромашкин. Раненый сидел на земле, вытянув вверх руки, будто защищая лицо от удара. Ромашкин шагнул вплотную к нему, а тот, сидя, подался в угол, вжимаясь в земляные стены. Василий схватил его за шиворот, поднял и встряхнул. Немец не мог стоять, ноги у него подгибались, как резиновые.

— Ауфштеен! — приказал Ромашкин.

Гитлеровец все-таки встал на ноги, его била дрожь. Василию стало противно от того, что дрожит взрослый мужчина. Но эта дрожь врага в то же время вселяла чувство уверенности и своего превосходства. Толкнув пленного к выходу, сказал разведчикам:

— Принимайте.

Рогатин сноровисто связал пленному руки и всунул ему в рот кляп. Коноплев тем временем забирал документы из карманов убитых, прикидывая, что ещё надо прихватить из блиндажа.

— Хватит, пошли, — сказал Рогатин. — Не ровен час, застанут. Вон ведь чего наворочали.

Разведчики выбрались на чистый морозный воздух Прислушались и, не уловив никаких признаков тревоги, стали спускаться вниз по траншее. У основания высотки чуть не столкнулись ещё с тремя белыми призраками. С автоматами наготове они крались навстречу.

— Свои, — сказал Рогатин, узнав Лузгина.

— Вы чего здесь? — спросил Ромашкин, зная, что такие действия не предусматривались.

— Заваруха у вас началась, решили идти на помощь.

— У нас порядок, давайте быстрее за проволоку…

Все нырнули в проход, цепляясь маскхалатами за колючки, и, пригибаясь, побежали к лощинке.

Вспыхнула неподалеку ракета. Разведчики кинулись в снег, как в воду. Рогатин упал на немца в зеленой форме, чтобы прикрыть его своим белым одеянием.

Когда ракета погасла, быстро вскочили и понеслись дальше. Рогатин подталкивал немца: тому было трудно бежать со связанными руками и кляпом во рту, он спотыкался, падал, но Иван поднимал его и хрипел:

— Давай, давай, фриц, не задерживай!

Немец мычал и послушно трусил вперед, падая и поднимаясь.

Вот наконец и черная полоска своих позиций. Разведчики спрыгнули в спасительные окопы, в полном изнеможении повалились на землю.

Прибежал Казаков. Группа вернулась немного правее того места, где ждали ее. Увидев скрюченного немца, лейтенант обрадовался:

— Приволокли?! Ух, орлы! Ну, Ромашкин, с первым «языком» тебя!

А разведчики, запаленно дыша, не могли ещё говорить, лишь смотрели на командира счастливыми глазами.

— Зачем… мы… так… драпали? — еле выдавил из себя Саша Пролеткин. — Немцы же не гнались.

— Так вышло, — прохрипел в ответ Рогатин.

— Да чего там об этом… Главное — все вернулись и «языка» взяли, — продолжал радоваться Казаков. — Ну и молодчаги! Дышите, дышите, глотайте кислород!.. И как быстро управились — только два часа прошло!

Саша отдышался раньше других. Встал, откинул белый капюшон, сказал с восхищением:

— Ох, и фартовый лейтенант Ромашкин! Из-за него так удачно все прошло. Когда стрельба началась и гранаты забухали, я думал — каюк, не выберется группа захвата из-за проволоки! И вдруг смотрю — идут. Фрица тащат. А погони нет.

Поднялся на ноги и Рогатин, пояснил Пролеткину и другим:

— Некому было гнаться: лейтенант всех гранатами побил. А соседи, видать, не слыхали, взрывы-то были в блиндаже. Да и вообще война. Тут взрыв, там взрыв, могли принять за минометный обстрел.

Коноплев поддержал:

— Они до сих пор, наверно, не знают, что произошло.

Казаков заторопил:

— Давайте-ка, хлопцы, поднимайтесь, а то обнаружат гитлеровцы пропажу и начнут со злости сюда мины швырять, пошли домой. Подъем! Пошли, пошли!..

Шумным ликованием встретили возвращение разведгруппы старшина Жмаченко и все другие разведчики, не ходившие в этот раз на задание. Под их возгласы при свете ламп Ромашкин оглядел своих спутников и удивился, как они переменились: лица у всех осунулись, под глазами темные тени, будто не спали две ночи, маскировочные костюмы промокли, а у тех, кто лазил под проволоку, на спине и рукавах висят клочья. Коноплев, Иван Рогатин да, наверное, и сам он черны от пороховой гари.

Немец, уже развязанный и без кляпа во рту, стоял у двери, обалдело и удивленно смотрел на разведчиков. Никто не обращал на него внимания.

Жмаченко раздавал вернувшимся завернутые в носовые платки документы. Многим говорил при этом:

— Нате, покрасуйтесь. — И Ромашкину сказал также: — Покрасуйтесь.

Василий сначала не понял, почему старшина так говорит. Вспомнил: «Ему же приказано было подготовить ужин. А стол почему-то пуст».

— Надо доложить о выполнении задания и сдать пленного, — объявил Казаков.

— Кому докладывать? — спросил Василий.

— Командиру полка или начальнику штаба. Идем, они ведь не спят, ждут. Им уже сообщили по телефону, что «язык» взят. Но ты обязан доложить сам.

— А может быть, ты доложишь? Ведь ты же все готовил и организовал…

— Брось трепаться, Ромашкин! При чем здесь я? Идем…

Командира и комиссара на месте не было: уехали по вызову на КП дивизии. Ромашкин привел пленного к начальнику штаба. Казаков зашел вместе с ними, но остановился позади.

— Товарищ майор, задание выполнено. — Ромашкин сбился с официального тона и радостно закончил: — Принимайте «языка»!

Вечно озабоченный чем-нибудь и потому хмуроватый начальник штаба на этот раз заулыбался:

— Поздравляю, лейтенант! Хорошо начали службу в разведке. Благодарю вас от имени командования.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Ромашкин и рассмеялся, увидев, что немец тоже встал по стойке «смирно». —

Смотрите, товарищ майор, как фриц тянется!

— Дисциплинированный! — серьезно заметил Колокольцев. — Ладно, выбросьте его из головы, идите отдыхать. Пленного мы допросим, будет что интересно для вас — сообщу…

За то время, пока они ходили к начальнику штаба, в блиндаже разведвзвода произошли разительные перемены. Стол уже был застлан чистыми газетами и готов для пира. На нем крупно нарезанная колбаса, сало, хлеб, лук, два ряда пустых эмалированных кружек и несколько немецких, обшитых сукном фляг. В торце стола, на хозяйском месте, где должны сидеть командиры, сверкала стеклом пол-литровая бутылка с сургучной головкой.

Ромашкин узнал, почему не подготовили ужин заранее. Есть, оказывается, примета: если накрыть стол до возвращения разведгруппы, её может постигнуть неудача. Выпивка и закуска выставляются, когда все явятся на свою базу живыми и здоровыми.

К столу сели только ходившие на задание, остальным места не хватило. Они стояли со своими кружками рядом, похлопывая отличившихся по плечам и спинам.

Лишь сейчас Ромашкин понял, почему старшина Жмаченко говорил: «Покрасуйтесь». На гимнастерке Рогатина был орден Красного Знамени, у Коноплева — Красная Звезда, у Пролеткина — медаль «За отвагу». Василий смутился, вспомнив, как при знакомстве с разведчиками снял шинель, намереваясь их поразить."Вот так блеснул! — со стыдом думал он. — Кого хотел удивить своей медалью!" А она, новенькая, как назло, сияла ярче орденов.

Жмаченко, выпив свою долю водки и заев наскоро салом, суетился вокруг стола, подкладывая разведчикам еду, и, красный, лоснящийся от пота, приговаривал:

— Ешьте, хлопцы, ешьте, а то захмелеете.

Казаков напомнил:

— После задания полагается разобрать, как действовали. Давай, Ромашкин, командирскую оценку каждому.

— Действовали все очень хорошо, — сказал Василий. — Особенно Лузган, Пролеткин и Фоменко. Они услыхали стрельбу и сразу кинулись нам на помощь. Такой вариант при подготовке не предусматривался, но Лузгин сам принял решение.

— Можно мне? — спросил Лузгин.

— Давай, — разрешил Казаков.

— Не понравилось мне, как мы отходили. Гурьбой, все вместе — и группа захвата, и группа обеспечения. Обрадовались — «язык» есть — и рванули домой без оглядки!

— Ты должен был прикрывать, — сказал Казаков, лукаво блестя хмельными глазами.

— Я тоже обрадовался. Бежал со всеми, чуть не задохнулся.

— Да уж, драпали, аж в глазах потемнело! — весело сказал Саша Пролеткин.

— Жираф, и тот не догнал бы, — к месту ввернул Рогатин, прибавляя веселья.

— На будущее надо учесть. Отход — дело важное, — советовал Казаков. — Могло быть так: в траншее у фрицев обошлось без потерь, а когда драпали, случайной очередью положило бы несколько человек.

После разбора Василий вышел из блиндажа покурить. Яркие звезды сияли в небе. Они были похожи в тот миг на вспышки выстрелов из многочисленных автоматов, и казалось, далекое потрескивание очередей прилетает оттуда, сверху, а не с передовой.

В овраге было тихо. Штаб спал, только часовые, поскрипывая снегом, топтались у блиндажей.

Вслед за Василием вышел Рогатин. Постоял рядом, смущенно покашлял, явно желая что-то сказать, но не решался.

— Что с тобой, Рогатин?

— Уж вы извиняйте, товарищ лейтенант, лез я на задании с советами, а вы и сами…

— Спасибо тебе, Иван, — сказал Ромашкин, почувствовав не только уважение, но и прилив какой-то нежности к этому доброму, смелому человеку. — Прошу тебя, помогай мне и дальше. Я хоть и лейтенант, а в разведке новичок.

— Чего там, вы сами все хорошо понимаете. Как ловко с гранатой-то придумали! Когда в блиндаж полезли, я вас чуть за плечи не схватил. Думаю, сейчас рванет, куда же он? Не понял сначала хитрость. Очень ловко придумали!

Похвала эта была приятна Василию. Краем уха он слышал, что за дверью тоже говорили о нем, о его храбрости. Саша Пролеткин уже в который раз повторял:

— Фартовый у нас командир, с таким дело пойдет!

О действиях и намерениях противника, непосредственно угрожающих полку или дивизии, войсковые разведчики узнают обычно первыми. Зато все другие новости частенько доходят до них с опозданием. Случается это потому, что, выполнив задание на рассвете или ночью, они сразу ложатся спать, а просыпаются, когда уже весь полк и газеты прочитал, и радио прослушал, и по «солдатскому телефону» проинформировался.

Так было и в тот раз.

Ромашкин умылся снегом, забежал в блиндаж, растерся

вафельным полотенцем. Орлы его сидели за столом в ожидании завтрака. Коноплев шуршал газетой — он каждый день просвещает ребят. Комсорга охотно слушали, дымя махрой и вставляя свои замечания.

Василий подошел к столу. В раскрытой Коноплевым газете увидал заголовок, напечатанный крупными буквами: «Таня». Вспомнилась девушка, которую встретил в Москве, когда полк после парада остановился покурить. её тоже звали Таней.

— Ну-ка, дай на минутку, — попросил он газету и, не садясь за стол, принялся читать сам: — «В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-партизанку. Девушка назвала себя Таней… То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Генеральное наступление немцев на нашу столицу, начавшееся 16 ноября, достигло к этому моменту своего предела… Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то в Верейском районе и появилась Таня».

Василий прикидывал: «Все совпадает. Восемнадцатилетняя… Встретились мы седьмого ноября… Говорила, что тоже собирается на фронт, оттого и адрес свой московский не захотела сказать. Эх, Таня, Таня!»

Он отчетливо видел перед собой её задумчивые карие глаза, румяные от мороза щёки, тонкие, строгие губы. На ней была хорошо подогнанная шинелька и аккуратненькие варежки домашней вязки. Наверное, связала мама. Василию тогда показалось, варежки очень дороги ей.

В газете был описан допрос Тани:

— Кто вы? — спросил офицер.

— Не скажу.

— Это вы подожгли вчера конюшню?

— Да, я.

— Ваша цель?

— Уничтожить вас…

— Когда вы перешли линию фронта?

— В пятницу.

— Вы слишком быстро дошли.

— Что же, зевать, что ли?

Потом Таню спрашивали, кто послал её за линию фронта и кто ещё был с нею. Требовали, чтобы выдала своих друзей. Она отвечала: «Нет», «Не знаю», «Не скажу». её избивали четверо фашистов. Она не издала ни звука.

«Часовой, вскинув винтовку, велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее, вдоль по улице, почти

вплотную приставив штык к её спине. Так, босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока её мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров… Через каждый час он выводил девушку на улицу на пятнадцать — двадцать минут».

Дважды перечитал Ромашкин, как Таня провела последние часы перед казнью: «Принесли Татьянины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был вещевой мешок, в нем сахар, спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и валяные сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а варежки достались повару с офицерской кухни».

Вот и варежки! Не перчатки или рукавицы, а именно варежки. Только не сказано, какого цвета. У Тани светло-зеленые. Василий запомнил, как на прощание она помахала рукой в этой зеленой варежке.

Дальше следовало описание казни:

"Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака» — фашисты любят фотографировать казни и порки.

Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло… Она приподнялась на носки и крикнула, напрягая все силы:

— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!.." Ромашкину тоже будто петлей перехватило горло. Он опустил газету и только теперь заметил: в блиндаже тишина, и все смотрят на него.

Коноплев взял газету и продолжил чтение. Сначала голос его звучал тихо, потом все громче, и наконец комсорг стал чеканить слова, как с трибуны:

— "Друг! Целясь в фашиста, вспомни Таню. Пусть пуля твоя полетит без промаха и отомстит за нее. Идя в атаку, вспомни Таню…"

Разведчики украдкой поглядывали на командира. Пролеткин не удержался, спросил:

— Вы знали ее, товарищ лейтенант?

— Кажется, знал.

И рассказал Василий ребятам о своей московской встрече.

— Хорошо бы, товарищ лейтенант, узнать, какая дивизия казнила Таню, — сказал Коноплев. — Может быть, встретится.

— Верно говоришь, — согласился Василий. В тот же день, обсуждая с капитаном Люленковым предстоящее задание, Ромашкин попросил:

— Помогите узнать, из какой дивизии фашисты, которые замучили партизанку Таню.

— Зачем тебе?

Ромашкин рассказал.

Люленков при нем попытался дозвониться до штаба армии.

— В разведотделе меня знают, — говорил он Ромашкину. И тут же кричал в трубку: — «Заноза», дай «Весну»!.. В разведотделе должны иметь точные сведения, — продолжал Люленков тихо и опять вдруг переходил на крик: — «Весна»? Дай, милый, «Рощу». — И снова Ромашкину: — По такому поводу самого начальника разведки армии побеспокоим… «Роща»?! Двадцать седьмого, пожалуйста… Товарищ двадцать седьмой, сегодня в газете про партизанку Таню читали?.. Да нет, комиссара я подменять не собираюсь. Нас интересует, чьих это рук дело, какой дивизии. Сто девяносто седьмая, триста тридцать второй полк, командир — подполковник Рюдерер. Есть! И фотографии казни имеются? А нельзя ли прислать нам копии? У нас один товарищ был знаком с Таней… Благодарю вас. До свидания.

Люленков положил трубку, сказал Ромашкину:

— Взят в плен унтер-офицер. У него нашли фотографии казни. Тебе пришлют копии.

— Спасибо, товарищ капитан, — поблагодарил Василий. — Только бы встала против нас эта сто девяносто седьмая!..

Василий действительно получил пакет с фотографиями, были они очень тусклыми. На одной из карточек Таня — в ватных брюках, без шапки — стояла под виселицей. На груди фанерка с надписью: «Зажигатель домов». Но как ни вглядывался Василий в её лицо, не мог найти сходства с московской знакомой. Эта подстрижена под мальчика, а у той были длинные волосы, выбивались из-под шапки. «Могла, впрочем, остричься перед уходом в тыл, — соображал Ромашкин, — где там возиться с волосами». Варежек на руках Тани не было. «Ах да, их забрал повар с офицерской кухни…»

Мучители обступили Таню плотной толпой. А она стояла перед ними с высоко поднятой головой.

«Ну, гады, только бы попался кто из вас!» — скрипнул зубами Василий.

Особое поручение

Ранним апрельским утром, едва рассвело, разведчики заметили в расположении немцев флаги с черной свастикой. Прикрепленные к длинным мачтам, они плавно развевались по ветру на высотах за неприятельскими траншеями.

Ромашкин вместе с Коноплевым и Голощаповым всю ночь провели на переднем крае — примеривались, где сподручнее брать «языка». Ночь была сырая, земляные стены полкового НП, куда они зашли перед рассветом, неприятно осклизли. На полу кисла солома, втоптанная в липкую грязь.

Разведчики промерзли, устали, всех одолевал сон. Ромашкин приник напоследок к окулярам стереотрубы. С радостью подумал о том, что ночная работа закончена, сейчас он вернется в свой теплый блиндаж, напьется горячего чая и ляжет наконец спать. И тут-то, чуть повернув трубу вправо, обнаружил фашистские флаги. Вначале один, потом ещё несколько.

— Что бы это значило?

— Опять нам где-то морду набили, — мрачно сказал Голощапов. Острый кадык на его шее нервно прошелся вверх и вниз. Ромашкин обратился к Коноплеву:

— Ты вчера сводку в газете читал? Где фрицы наступали?

— Я читал, — с прежним раздражением откликнулся Голощапов, — да чего в ней поймешь?

Ромашкину не хотелось ввязываться в спор с Голощаповым — характер у него «ругательный»: скажи о фашистах — станет их поносить, пойдет речь о чем своем — и своим достанется. А ведь судьба пока милостива к нему: весь сорок первый год продержался в полку, побывал во многих боях и окружениях, долгие часы провел в нейтральной зоне, но ни разу ещё не был ранен.

Ромашкин позвонил в штаб, доложил о флагах. У дежурного трубку взял комиссар Гарбуз.

— Как ведут себя немцы?

— Тихо.

Гарбуз помолчал, потом сказал с нажимом:

— Учтите, день сегодня такой, ждать можно любой подлости.

— А что за день?

— Сейчас приду на НП, расскажу. Дождитесь меня там, пожалуйста.

Гарбуз всегда прибавлял: «пожалуйста», «прошу вас», «было бы очень хорошо». Все не мог перестроиться на приказной лад. И явно избегал, отдавая распоряжения, стоять по стойке «смирно»

— понимал, что у него это выглядит смешно. Тем не менее, если уж Гарбуз сказал «прошу вас», каждый в полку готов был идти на все, лишь бы только наилучшим образом выполнить его просьбу.

И ещё одно свойство было у комиссара — он мучительно смущался, когда приходилось обременять подчиненного неслужебным делом. Ромашкин видел однажды, как покашливал и мялся Гарбуз, прежде чем попросить об одной услуге интенданта, уезжавшего в Москву на курсы. А услуга-то была пустяковая, всего-навсего опустить его личное письмо в московский почтовый ящик, чтобы быстрее дошло оно до Алтая.

…Василий досадовал на себя за то, что доложил об этих чертовых флагах. Сиди вот теперь, жди Гарбуза, сон и отдых — насмарку. Однако комиссар явился скоро. Протиснулся в узкий вход и сразу заполнил весь НП. Поздоровался с каждым, кто был здесь, за руку — тоже старая гражданская привычка.

От Гарбуза веяло одеколоном, большое мясистое лицо его блестело — недавно побрился. Наклонился к стереотрубе, долго и внимательно разглядывал флаги. Глаза стали строгими, на лбу образовались морщинки. Не распрямляясь, сказал:

— Празднуют! Эти флаги, товарищ Ромашкин, в честь дня рождения Гитлера.

Ромашкин посмотрел на ближайший флаг в бинокль. Флаг по-прежнему тяжело и плавно колыхался на ветру. Подумалось: «Вот бы сорвать его!»

Василий перевел взгляд на комиссара и легко прочел в ответном взгляде, что Гарбуз думает о том же. Ему уже звонили из батальонов, докладывали, как раздражает бойцов фашистское торжество: «Очухались, сволочи, после зимнего нашего наступления!» Артиллеристы пробовали сбить флаги — не получилось. Теперь все уповали на разведчиков: «Уж они-то сумеют сдернуть эти тряпки со свастикой!..»

Гарбуз продолжал изучающе рассматривать Ромашкина. Лицо лейтенанта было усталым, под глазами тени, за неполных четыре месяца службы в разведке кожа на щеках побелела, невольно представил его мертвым: «Будет такой же, как сейчас, бледный, с зеленоватым оттенком, только закроет глаза». Этого молодого командира Гарбуз любил, радовался его удачливости и, по правде говоря, побаивался, что однажды эта удачливость может изменить лейтенанту.

Не хотелось подвергать Ромашкина дополнительному риску, но чувство долга взяло верх: рассказал, чего ждут от разведчиков товарищи.

Говорил он спокойно, неторопливо, и Василий втайне досадовал: «Чего тянет резину? Надо — значит, надо». С

напускной небрежностью сказал:

— Сдернем мы этот флаг, товарищ комиссар, не беспокойтесь!

— Не так просто, — возразил Гарбуз. — Да и времени у вас маловато. Ночью немцы сами флаг снимут. Они педантичные, обязательно снимут в двадцать четыре ноль-ноль. Значит, вы располагаете лишь четырьмя — пятью часами темноты. Исходя из этого, тщательно все обдумать надо.

И по пути к своей землянке Ромашкин обдумывал, как ему действовать. Флаг, конечно, охраняется специальным караулом. Туда назначены отборные солдаты. Как несут они службу: ходит часовой по тропе или сидит в окопе? Где отдыхающая смена караула — далеко или близко от часового? Все это станет ясно только там, в расположении врага. Придется создать две группы захвата, человека по два в каждой. Эти группы обойдут высоту с противоположных сторон и там увидят, которой из них удобнее напасть на часового. А пока одна группа будет заниматься часовым, другая кинется к флагу, спустит его и унесет. На случай, если осуществить такой маневр втихую не удастся, должна быть третья группа — специально для блокировки караула…

Вариант с блокировкой караула был настолько нежелательным, что даже думать о нем не хотелось. Но Василий додумал все до конца.

В землянке разведчиков Ромашкина ждал капитан Л юленков. «Гарбуз прислал», — понял Василий. И точно: Люленков был в курсе задуманного дела.

На чистом листе бумаги Ромашкин начертил схему местности, поставил жирную точку там, где находился флаг, и стал излагать капитану свой замысел и последовательность действий. Разведчики, обступившие командиров, слушали внимательно. Они ещё не знали, кто пойдет на это рискованное дело.

Только часам к одиннадцати дня план был разработан полностью и после некоторых колебаний утвержден командиром полка. Разведчики, идущие на задание, поели и легли спать. Остальные покинули блиндаж.

Ромашкин долго не мог заснуть. Наконец приказал себе: «А ну, спать, спать, спать!..»

Приказал и уснул.

Перед выходом на передовую разведгруппа в полном составе построилась у блиндажа. Коноплев, Рогатин, Пролеткин, Голощапов, Лузгин, одетые в белое, стояли в полной готовности.

— Ну-ка, попрыгайте! — приказал им Ромашкин.

Разведчики беззвучно и мягко, словно тряпичные,

поднимались и спускались, держа автоматы в руках. И все же Василий уловил едва приметное постукивание.

— У кого? — спросил он.

— Мой автомат не в порядке, — признался Пролеткин. — Антабка проклятая стукает. Сейчас устраню…

Василий ещё раз придирчиво осмотрел разведчиков. Что-то ему сегодня не нравилось в них. Наконец понял: «Слишком белые, такого снега уже нет нигде».

— Жмаченко, замени масккостюмы на осенние, — распорядился он и пояснил: — Земля во многих местах обнажилась, если ракета застанет на снежном поле, лежите неподвижно — немцы примут за проталины.

Разведчики нарядились в зеленоватые с желтыми пятнами балахоны.

— Как лешие, — пошутил Рогатин.

Василий хотел было вывести свою группу в первую траншею засветло. Чтобы сэкономить время. Но в последний момент передумал; немецкие наблюдатели могут увидеть их на подходе к передовой: сразу догадаются, что это за зеленые лешаки. Лучше уж потерять полчаса драгоценной темноты, но выйти незамеченными.

В первой траншее разведчиков ждали комиссар, начальник артиллерии капитан Аганян, начальник разведки Люленков.

— Как боевой дух? — спросил Гарбуз.

— В норме, — ответил Ромашкин.

— Ракетницу не забыл? Цвет проверил? — осведомился Аганян. — Я буду открывать огонь по красной.

— Товарищ капитан!.. — с обидой протянул Ромашкин.

— Я, дорогой, только о тебе беспокоюсь!

— Ну, Ромашкин, ни пуха тебе, ни пера! — прервал его Гарбуз.

Он стоял в нерешительности, то ли хотел обнять, то ли пожать руку, но не сделал ни того, ни другого, а лишь энергично махнул кулаком и сказал:

— Давай!

В этом коротком «давай» были и ненависть к фашистам, и горечь от того, что надо посылать таких хороших ребят на смертельно опасное дело, и пожелание им удачи — всем вместе.

Разведчики один за другим выскочили на бруствер; зашуршала, посыпалась в траншею земля.

Сначала шли во весь рост, сверкающие нити трассирующих пуль проносились где-то стороной — не прицельные. Под ногами слегка пружинила мягкая земля — днем она оттаяла, а к вечеру покрылась упругой корочкой, Ромашкин обходил снежные

островки, знал: подмерзший снег будет хрустеть.

Когда до немецких окопов осталось метров двести, опустились на четвереньки. Приблизившись на сто, поползли.

Здесь не было колючей проволоки и немцы ещё не успели нарыть сплошных траншей. Вглядываясь вперед, напрягая слух, Ромашкин стремился уловить голоса или топот, чтобы лучше сориентироваться и провести группу в промежутке между окопами. Днем Василий видел в стереотрубу эти прерывчатые окопы, они тянулись по полю, как извилистый пунктир.

Справа забил длинными очередями пулемёт. От разведчиков далеко, но эта стрельба могла насторожить других. «Какой черт его там потревожил?» С нашей стороны тоже застучал «максим». Немецкий пулемётчик помолчал, потом вновь пустил огненные жала. «Максим» тут же влил ему ответную порцию пуль. Немец смолк.

Иногда вспыхивали ракеты. Пока их свет падал на землю, из наших траншей гремели одиночные выстрелы. Пули летели точно в то место, где сидел ракетчик. Это работали снайперы.

Ромашкин знал: сейчас там, позади, хлопочет комиссар. Уже при второй очереди, пущенной немецким пулемётом, Гарбуз наверняка позвонил командиру правофлангового батальона и холодно спросил: «Товарищ Журавлев, почему в вашем районе немецкий пулемёт разгулялся? Попрошу вас — займитесь, и чтобы я вам больше не звонил».

Ромашкин ясно представлял, как Журавлев, чертыхаясь хриплым, сорванным на телефонах голосом, отдает кому-то распоряжение идти или даже спешит сам в пулемётный взвод. И вот, пожалуйста, результат: фашиста заставили замолчать.

Впереди послышался наконец сдержанный говор — немцы. Движения Василия стали предельно осторожными. Он пополз влево. Оглядываясь назад, следил, чтобы не отстала группа. Разведчики бесшумно скользили за ним. Сейчас только брякни автоматом или кашляни, сразу все вокруг закипит огнем. Взметнутся вверх ракеты, польются сплошным дождем трассирующие пули, забухают взрывы гранат.

Говор постепенно отодвигался назад. Осторожно уползая от него, Ромашкин радовался: «Кажется, передний край пересекли, теперь добраться бы до кустарника, а там недалеко и высота с флагом».

Когда перед глазами встали черные ветки, он поднялся и, пригибаясь, повел группу по самому краю кустарника, маскируясь его темными опушками.

Впереди на светлом фоне неба отчетливо проецировалась высота. Подойдя ближе, Ромашкин увидел и флаг на её вершине.

Взглянул на часы — было десять. Флаг казался черным.

Ромашкин указал пальцем на Коноплева и Голощапова, махнул в сторону, с которой им предстояло заходить. Коноплев кивнул напарнику, и они скрылись в темноте. Во второй группе были сам Ромашкин и Рогатин. Для третьей, блокирующей группы задача пока не определилась. Поэтому Василий махнул Лузгину, чтобы тот вместе с Пролеткиным следовал за ним.

Высота вблизи выглядела огромной. У подошвы её росли одинокие кусты и виднелись черные промоины от многочисленных ручьев.

Выбрав одну из промоин, Ромашкин приподнялся, жестом приказал группе Лузгана остаться здесь, а сам с Рогатиным пополз дальше. В промоине было темно. Ползли по твердому, очистившемуся от снега руслу. Вот и часовой: в шинели и каске, с автоматом на груди, он неторопливо прохаживался по тропке, пролегавшей значительно ниже флага, и был в полной безопасности от пуль, прилетавших с нашей стороны. Тропка хорошо видна даже в темноте — её натоптали за день. Она одним своим концом почти упиралась в промоину, а на другом её конце, откуда должны подползти Коноплев с Голощаповым, кустов не видать и промоин, наверное, нет.

«У меня подступ удобнее, — определил Василий. — Часового придется снимать мне».

Отдал автомат Рогатину. Переложил пистолет за пазуху, в рукопашной некогда искать кобуру под маскировочной одеждой. Вынул нож и спрятал лезвие в рукав, чтобы не выдал его блеск.

Приготовясь таким образом к схватке, Василий пополз к часовому один. Если тот шел навстречу ему, он лежал неподвижно, а когда часовой поворачивал назад, Ромашкин возобновлял движение вперед. В то же время Василий осматривался вокруг, стараясь определить, где находится караул.

Сколько стоит на посту часовой — час, два? Хорошо бы снять его сразу после заступления на пост. Тогда больше времени и шансов на благополучное возвращение. А то кинешься на часового, а тут смена пожалует…

До тропинки осталось шагов пять. Как их преодолеть? Ползти ближе нельзя: часовой увидит. Подбежать, когда он пойдет назад? Выдадут сапоги: немец услышит топот и успеет обернуться.

Василий посмотрел на сапоги: «Обмотать их чем-нибудь? Но чем? Перчатки не налезут. А не проще ли снять? Босой пролечу — ахнуть не успеет!» Лежа стал разуваться. Портянки тоже пришлось сбросить. Холодная земля колко защипала ноги. Он поджал пальцы.

Приближался момент броска. Василий крепче сжал рукоятку

ножа. Знал: врага не так-то легко свалить одним ножевым ударом. Тут нужна немалая сила…

Легко, невесомо, как во сне, пролетел Ромашкин расстояние, отделявшее его от темного силуэта. Что есть силы ударил ножом в голую шею. Другой рукой мгновенно зажал разинутый для вскрика рот. Повалил бьющегося немца на землю, навалился на него всем корпусом, не давая закричать. И даже в этот миг уловил чужой запах табака и потного, давно не мытого тела.

Подоспел Рогатин. Вдвоем они держали часового, пока не затих. Ромашкин сбегал за сапогами, рывком натянул их на голые ноги — портянки наматывать некогда.

При таком варианте действий вторая группа захвата должна была бы уже снимать флаг. Но у флага никого не было. «Неужели Коноплев и Голощапов струсили? Не может быть, ребята надежные. Тогда почему их нет? Не видели, как мы убрали часового?. . Придется снимать флаг самим».

Флаг был поднят на стальном тросике. Перерезать тросик ножом не удалось. Что делать? Ромашкин потянул его вниз — идет, но туго. Принялись тянуть вдвоем, повисая всей своей тяжестью, и флаг медленно стал снижаться. Он оказался огромным, трепыхаясь на ветру, сопротивлялся. «Какой, черт, большой, издали казался куда меньше», — досадовал Ромашкин.

Когда флаг, наконец, упал и полотнище скрутили, образовался громоздкий сверток. Рогатин взвалил его на спину, и они побежали вниз к Лузгину.

— Ну и здорово получилось, товарищ лейтенант, — зашептал Лузган.

— Подожди радоваться, ещё не выбрались, — так же тихо ответил Ромашкин и, узнав, что Коноплев не вернулся, затревожился: что-то у них произошло.

— Все время было тихо, — ответил Лузган.

— Ну, ладно. Оставаться здесь больше нельзя. Забирайте флаг и дуйте назад. А я с Рогатиным пойду искать Коноплева и Голощапова.

Лузган попытался возразить:

— Товарищ лейтенант, вы сегодня и так поработали, может быть, я?..

— Делайте что сказано! — прервал его Василий.

Перед заданием Ромашкин мог выслушать любое возражение, даже сам иногда вступал в спор. Но в тылу врага никаких рассуждений он не терпел.

Разведчики уже двинулись в обратный путь, когда на склоне высоты показалась темная громада. Она приближалась медленно, словно вздыбленный медведь. Все притаились

Коноплев нес на спине Голощапова.

— Что с ним? — спросил Ромашкин.

— Ранен, — выдохнул Коноплев.

— Вроде бы тихо было, — сказал Рогатин.

— Потому и тихо было, — непонятно ответил Коноплев.

— Ладно, дома разберемся, — сказал Ромашкин.

Он вновь двинулся первым, стараясь найти свои следы и вернуться по ним. Но в темноте это оказалось невозможным.

Миновав знакомые кусты, Василий прислушался: где-то здесь звучали немецкие голоса, когда группа пробиралась на высоту. Не заговорят ли снова? Нет, вокруг было тихо.

Продолжая ползти, он увидел свежевырытую землю, а за ней окоп. Предостерегающе поднял руку.

Обжитый окоп был пуст. Но за первым же его изгибом могли оказаться немцы. Обошли опасное место стороной и казалось, достигли нейтральной зоны.

Разведчики уже готовы были вздохнуть с облегчением, как вдруг позади раздались тревожные крики. Немцы кричали в глубине своей обороны, наверное, на высоте, где остался шест без флага. Одна за другой взмыли в небо ракеты, осветив все вокруг.

«Хватились! — понял Ромашкин. — Ну, сейчас начнется! Эх, не успели отползти подальше, нельзя вызвать огонь артиллерии — свои снаряды побьют!»

Поднялась беспорядочная, ещё не прицельная стрельба. Разведчики лежали в воронках, прижимаясь к земле, вслушивались, озирались.

«Неужели не выскочим? — подумал Василий. — Все сделали, только уйти осталось».

Ракеты вспыхивали и гасли. Свет сменялся мраком, мрак светом, будто кто-то баловался рубильником — то включал, то выключал его.

При вспышке очередной ракеты Ромашкин разглядел ещё один немецкий окоп. Он находился метров на пятьдесят впереди и левее. Лишь за ним, оказывается, начиналась нейтральная зона. Немцы из окопа не видели разведчиков, все их внимание было устремлено в сторону наших позиций. А разведчики лежали позади.

Окоп был недлинным, здесь оборонялось не больше отделения: Ромашкин насчитал девять торчащих из земли касок.

«Если этих не перебьем, уйти не дадут — всех порежут огнем с близкого расстояния». Решение, вполне естественное для таких обстоятельств, пришло само собой. Василий просунул руку под маскировочный костюм, снял с поясного ремня две гранаты. Лег на бок и осторожно, при вспышке ракет, показал гранаты

ближним разведчикам. Они поняли командира, также достали лимонки и показали тем, кто лежал позади. Убедившись, что группа наготове, Ромашкин пополз к окопу — с пятидесяти метров, да ещё лежа, гранату не добросить.

Разведчики двинулись за ним.

Но не успели они преодолеть и нескольких метров, как один из немцев оглянулся. Василий отчетливо увидел его белое при свете ракеты лицо. Потом немец заорал так, что спину Василия закололо, словно иголками. Таиться дальше было бессмысленно. Ромашкин вскочил, метнул гранату, целясь в орущего, и тут же лег. Рядом бросали гранаты и падали на землю Рогатин, Лузгин, Пролеткин. Сейчас брызнут осколки — некоторые из гранат не долетели до траншеи.

Никогда прежде три секунды, пока шипит запал, не казались Ромашкину такими бесконечно долгими. Он даже подумал: «Может, гранаты неисправные? Тогда хана!»

Взрывы заухали один за другим.

Едва переждав их, Василий вскочил, скомандовал: «Вперед!» Оглянулся: все ли поднялись, несут ли флаг и Голощапова? Перепрыгивая через окоп, увидел на дне его темные фигуры, то ли убитые, то ли пригнулись от взрывов. Рванул кольцо гранаты, которая все ещё была в руке, и на всякий случай швырнул её туда. Затем выхватил ракетницу. Ракета круто взмыла в черное небо и брызнула красными огнями.

Василий рассчитывал: пока долетят сюда наши снаряды, его разведгруппа успеет отбежать на безопасное расстояние. Но артиллеристы, видимо, стояли с натянутыми уже спусковыми шнурами. Ракета ещё не погасла, как вдали бухнули орудия, и первые снаряды, едва не задев убегающих, разорвались неподалеку. Разведчики попадали. Снаряды на излете неслись так низко, что не было сил подняться. Позиции немцев зацвели частыми огненными цветами и тотчас скрылись за густой завесой вздыбленной земли и дыма.

Выбиваясь из сил, разведчики ползли к своим траншеям. Голощапова тащили по очереди — одна пара передавала его другой. Немецкие пулемёты продолжали бить по нейтральной зоне длинными злыми очередями. Трассирующие пули сверкали и щелкали тут и там. Однако Василий понял: никто из немцев толком не знает, куда стрелять.

Заговорила и немецкая артиллерия. На середине нейтральной зоны, в узкой ложбинке Василий остановил группу передохнуть. Сейчас тут было безопаснее, чем в своих траншеях. Артиллерийский обстрел разгорелся, как при хорошем наступлении. Ромашкин нашел в темноте Коноплева, напарника

Голощапова, спросил:

— Что у вас произошло?

Коноплев стал рассказывать:

— Когда вы кинулись на часового, мы видели. Хотели уже к флагу податься. А тут, глядим, смена идет. Их двое, наверное, разводящий и караульный. Ну, думаю, сейчас застукают вас, поднимут хай! Поравнялись они с нами — мы прыгнули на них. Втихую думали обтяпать. Я своего по башке прикладом, а Голощапов своего ножом хотел…

Неожиданно Голощапов, не подававший до того признаков жизни, шевельнулся и сказал слабым, но ядовитым голосом:

— Хотел, хотел, да хотелка сдала.

Ромашкин обрадовался:

— Жив?

— Да живой, что мне сделается!

Сначала засмеялся один разведчик. Потом этот не очень уместный смех нерешительно как-то поддержали другие. А через минуту, уже не таясь, смехом разразилась вся группа. Василий тоже смеялся. Так сходило нервное напряжение, наступала разрядка.

— Угомонитесь, ребята! — попросил Ромашкин. — Дайте человеку высказаться до конца.

Смех прекратился не сразу, кое-кто украдкой ещё всхлипывал.

— Давай, Голощапов, рассказывай, — обратился Василий к раненому.

— Че тут рассказывать! Не успел я ножом его пырнуть, вижу: он рот разевает и сей минут заголосит. С переполоху я нож бросил и вцепился ему в глотку. Давлю что есть силы, а он, подлюка, руками и ногами от меня отбивается, ну прямо скребет по всей морде. Повалились мы на землю, и тут ему под руку ножик мой пришелся, первый раз он глубоко мне засадил — сила в нем ещё была. Почуял я, как железо холодное промеж ребер прошло. А сам все держу фрица за горло, не выпускаю. Что было дальше, уже не помню, сомлел.

Досказывал Коноплев:

— Задавил он гитлеровца насмерть. Аж пальцы заклинило, еле отодрал я их от фашистской шеи.

— В общем, срамота получилась: фриц моим же ножом чуть не заколол меня, — горько вздохнул Голощапов.

— Ты молодец, — похвалил Василий, — если бы твой фриц хоть пикнул, нам не уйти бы.

Голощапов, верный своей привычке, засопел, видно, искал, кого бы ругнуть, но поскольку разговор шел о нем самом,

ограничился самокритикой:

— Какой там молодец! Я сам чуть не завыл, когда он меня ножом полосовал.

— Перевязал его как следует? — спросил Ромашкин Коноплева.

— Главную рану, которая в боку, перетянул, а на другие бинтов не хватило, — ответил Коноплев.

— Почему не сказал? Пошли, ребята! Поторапливаться надо, как бы Голошапов кровью не истек.

— Она не текет, кровь-то. Сухой я, будто концентрат, — невесело пошутил Голощапов…

В траншее разведчиков встретили тревожно.

— Ну, как? Все живы?

— Раненых не оставили?

— Флаг приволокли?..

Растроганный Гарбуз обнял Ромашкина. Командир полка стоял рядом с комиссаром: ждал своей очереди.

Когда первая волна радости улеглась, комиссар сказал командиру:

— Ну, Кирилл Алексеевич, теперь нужно ребятам пир устроить. Этим я сам займусь. — И, повернувшись к разведчикам, добавил: — Я с вами, чертяки, тоже суеверным стал — не разрешил ничего для встречи готовить. Идите, отдыхайте, а потом будем вас чествовать. И ещё одна задумка у меня есть, но это уже на потом, когда отдохнете…

«Чествование» проходило уже на следующий день, в овраге, около кухни, в которой готовили пищу для штаба. Разведчиков посадили за настоящие столы, поставили перед ними давно не виданные ими белые тарелки, накормили борщом с копченой колбасой, гречневой кашей, политой мясным соусом. На столе стояли миски с головками очищенного лука и даже раздобытыми где-то солеными огурцами. В апреле огурцы, хоть и мятые и пустые в середке, — невидаль. Водкой угощали без стограммовой нормы: кто сколько захочет. Но ребята пили сдержанно — стеснялись начальства.

Все в тот день выглядело празднично. Апрельский снегогон катил вовсю. От теплой земли поднимался пар, в низинах все шире разливались лужи. По небу плыли пухленькие и белые, как подушки, облака. Из ближнего леса тянуло запахом березовых почек, готовых лопнуть с минуты на минуту.

Ромашкин чувствовал обновление не только в природе, что-то сегодня менялось и в людях.

После угощения комиссар поднялся, сказал:

— Товарищи разведчики, ещё раз спасибо вам. А сейчас

пойдемте по батальонам, покажу вас всему полку. Пока что, товарищ Ромашкин, вами выполнена только первая, самая трудная половина задания. Впереди — уйма работы.

Василий не сразу понял, о какой работе говорил комиссар. А тот принялся водить разведчиков по ротам и батареям.

Траншеи заливала весенняя талая вода, ноги вязли в грязи до обреза голенищ. А комиссар все водил и водил их. И в каждом подразделении рассказывал:

— Вот, товарищи, это наши герои! Они сорвали фашистское знамя, которое вы видели вон на той высоте. Скоро мы, наверное, доберемся до самого Гитлера. Готовьтесь, товарищи, к наступлению. Если уж знамя свое фашисты укараулить не смогли, значит, погоним мы их в шею. Но для этого нужно…

Тут комиссар переходил к конкретным полковым делам. И в зависимости оттого, с кем говорил — артиллеристами, стрелками, саперами или связистами, — разъяснял, что кому следует делать.

Разведчики так устали от этих импровизированных митингов, что начали роптать:

— Лучше, товарищ комиссар, ещё раз к немцам за флагом сходить, чем с вами по траншеям мотаться.

Гарбуз наконец сжалился и отпустил разведчиков.

Прежде чем идти в свою землянку, Ромашкин остановился на бугорке, посмотрел на высоту, где недавно развевался фашистский флаг. Теперь там не было и шеста. Широкая панорама холмов и голых перелесков раскинулась во все стороны от Василия. И всюду мокрая земля была перепахана минами и снарядами, опоясана колючей проволокой, повсюду зарылись в нее люди. Кажется, впервые Ромашкин ощутил, какая махина — полк!

В своей землянке он встретил медиков и с порога ещё услыхал раздраженный голос Голощапова:

— Слетелись, понимаешь, как воронье! Не поеду я никуда, и точка! Пропади он пропадом, ваш госпиталь, из-за него и полк, и товарищей потеряешь! Не поеду!

Ромашкина вызвал майор Караваев. Он сидел в одиночестве над развернутой картой, и Ромашкин увидел на ней зеленые массивы леса, ниточки дорог, голубые ленты речушек. А поверх всего этого в карту впились синие и красные скобы, упирались одна в другую такой же расцветки стрелы.

«Вон там между ними я и ползаю по ночам уже четвертый месяц», — подумал Василий, глядя на карту.

Майор не очень приветливо кивнул ему и начал разговор, сразу настороживший разведчика:

— Я, Ромашкин, тебя не ругаю и не упрекаю, пойми правильно. Противника знаем, воюем не вслепую. Но бывают обстоятельства, когда знать надо больше.

Василий согласно наклонил голову, а про себя решил: «Такое начало неспроста. Будет, наверно, лихое заданьице».

— Суди сам, — продолжал Караваев, — многое ли можно вызнать от фрица из первой траншеи? Он назовет номер своего полка, скажет, кто полком командует, когда сам прибыл сюда. А перспективы? Что немцы собираются делать? Где и какие у них резервы? Этого «язык» из первой траншеи не знает. Нам же сейчас требуются именно такие сведения. Ведь скоро, наверное, опять начнем наступать… В общем, нужен «язык» из глубины — офицер или, на худой конец, штабной писарь. Кто имеет дело с бумагами да телефонами, всегда знает больше. — Караваев ткнул в карту карандашом. — Вот здесь, в деревне Симаки, штаб полка у них. Деревня в шести километрах от переднего края. За ночь можно сходить туда и вернуться обратно. Если не успеете, оставайтесь ещё на сутки. Замаскируйтесь в лесочке, понаблюдайте, изучите расположение штаба и в следующую ночь действуйте наверняка. Главное, «язык» должен быть знающий. Уяснил?

— Так точно.

— Тогда действуй. Срок тебе — три дня.

Ромашкина такое задание даже чуть разочаровало: он ожидал большего. А что здесь? Обычное дело. Много раз уже выполнял похожие. Даже посложнее дела бывали. Хотя бы с флагом…

Он отобрал в группу самых надежных ребят. Нашел место, где можно незаметно пробраться в тыл противника, наметил ориентиры, чтобы в темноте не сбиться с пути. В общем, все поначалу шло как десятки раз до этого. Но ни в первую ночь, ни во вторую, ни в третью пересечь линию фронта не удавалось. Днем снег подтаивал, а к ночи подмораживало, и на снегу появлялось такое хрустящее, ломкое крошево, что немцы слышали приближение разведчиков за несколько сотен метров и открывали огонь, не подпускали к своим позициям.

«Что же делать?» — мучительно размышлял Василий. С утра он ушел из своего блиндажа, бродил в одиночестве по перелеску и все думал, как же выполнить задание. Тропинка вывела его к замерзшей речке, уходившей на вражескую сторону. По льду этой речки разведчики уже пытались однажды проникнуть в тыш противника, но затея оказалась напрасной. У немцев на льду была огневая точка. Как в тире, они расстреливали каждого, кто появлялся между крутыми берегами.

Ромашкин пошел вдоль речки в свой тыл. На некотором удалении от передовой попробовал перейти ее, но подтаявший

лед сразу же треснул, и Василий провалился по колени в воду. Пришлось вернуться в блиндаж и развесить над печуркой мокрые портянки.

Вдруг его осенило: раз лед не держит, значит, огневая точка теперь не действует.

Он сунул босые ноги в чьи-то валенки, накинул полушубок, побежал опять к речке. Вышел на лед раз, другой и дважды побывал в воде.

Ромашкин лег на живот и сполз на лед, отталкиваясь руками. Держит! Пополз к середине речки, повернул вправо, влево, лед покачивался — «дышал», но не проламывался. Что и требовалось доказать!

Переобувшись в блиндаже в свои уже просохшие сапоги, Василий отправился в первую траншею — в то место, где она уперлась в речку. Там дежурил пожилой солдат-пулемётчик.

— Не замечал, папаша, огневая точка у немцев, та, что на льду, стреляет ночью?

— Ночей пять уже молчит.

— А почему?

— Да небось фрицы не раз искупались, лед хлипкий стал. Бросили, надо полагать, эту позицию.

— А откуда знаешь, что лед ослаб?

— Видите лунки? Это я камни с обрыва кидал для проверки: могут фрицы подойти ночью сюда или нет? Ну и получилось — не могут.

— В рост пойдут, лед не выдержит. А ползком можно, я сейчас пробовал. Что делать будешь, если поползут?

Солдат усмехнулся.

— Вот! — Он показал на кучку гранат. — Пусть сунутся, всех потоплю. А кто не утонет, из пулемёта порежу. По льду не убегут, сами говорите: можно только ползком.

Солдат был прав. Ромашкин не сомневался, что и нашим разведчикам уготована такая же судьба, если их обнаружат на льду. Наверняка ведь немцы расставили наблюдателей по берегам.

И все-таки надо идти здесь — это единственный сейчас путь. «Попробуем использовать случай, — решил Василий, — немцы думают, что по льду ходить невозможно, а мы пойдем».

Каждому из разведчиков, отправляющихся с ним на это задание, приказал получить у старшины по два маскировочных костюма: белый — ползти по льду и пятнистый — под цвет оттаявшей местности. Прихватили запасные костюмы и для пленных: их ведь тоже придется маскировать.

В сумерки вышли к речке. В группе было семь человек.

«Зубров» только двое: Рогатин, как всегда молчаливый, и Саша Пролеткин, на тот раз тоже не очень разговорчивый — сказались и на нем неудачи прошлых трех ночей.

На берегу, как водится перед каждым трудным делом, посидели, покурили. ещё раз опробовали лед. К вечеру он стал вроде бы прочнее.

— Товарищ лейтенант, не следовало нам Рогатина брать на это задание, — привычно начал Пролеткин.

— Почему?

— Он как тумба железная, лед сразу проломит.

Рогатин принял предложенную игру, огрызнулся:

— Ты, Пролеткин, все равно не потонешь: навоз всегда сверху плавает.

— Кончайте треп! — строго сказал Ромашкин. — Двигаться будем метрах в пяти друг от друга, ближе нельзя: провалимся. А для определения впотьмах заданных интервалов и чтобы чувствовать соседа — вот шпагат с узлами через пять метров. Каждый должен держаться за узелок и подергиванием сигналить соседу — ползти тому быстрее или остановиться.

Тронулись. Между высокими берегами было куда темнее, чем наверху. Ромашкин думал: «Это в нашу пользу. Надо только смотреть в оба — фашисты не дураки: могли где-то продолбить лед, где-то поставить мины, могли натянуть сигнальные шнуры или просто набросать консервных банок, чтобы звенели».

Впереди на льду показалось какое-то темное сооружение. Конечно, это та огневая точка.

Василий остановился метрах в двадцати от дзота. Вслушался: не заговорит ли там кто, не стукнет ли что-нибудь внутри? Не слышно. Только наверху перекликались пулемёты, изредка прочесывали нейтральную зону.

Вынул гранату и стал подкрадываться к дзоту. Правее полз Рогатин. Заметили издали: дверь открыта. Это уже говорило о том, что дзот пуст: о тепле никто не заботится.

Поглядев вверх, Василий вспомнил слова пулемётчика: «Пусть сунутся, всех потоплю». И немецкий часовой потопит, если обнаружит. Правда, капитан Люленков договорился с минометной батареей, она сейчас наготове и в критический момент поддержит огоньком. Но огонь откроют не раньше, чем услышат шум боя на реке и увидят красную ракету. Мины прилетят через несколько минут. Тяжелыми будут эти минуты!

Когда вся группа отползла от брошенного немцами дзота метров на двести, Василий махнул рукой Рогатину, чтобы тот выбирался на берег в кусты. За ним повернул Пролеткин и остальные пятеро. Василий ждал, пока выйдет на берег

последний. «Все-таки прошли! До деревни, где стоит немецкий штаб, осталось километра четыре, а там выбирай „языка“. Хорошо бы взять офицера».

Ромашкин на миг забыл осторожность, оперся локтем, и тут же хрустнуло, лед проломился. Холоднющая вода обожгла тело. Василий ухватился за край пролома. Лед опять треснул, и он окунулся с головой. Вынырнул, бросился на лед, и вновь лед сломался. Намокшая одежда тянула Василия на дно. Едва удалось ему схватиться за ремень, брошенный с берега Рогатиным. Кое-как выкарабкался.

Кто-то скинул с себя нательную рубаху, другой — гимнастерку, третий — портянки. Василий переоделся в сухое, но никак не мог согреться. Его колотил озноб.

— Спиртику бы вам, — сказал Рогатин.

— Где же его взять? — отозвался Пролеткин. — Давай, хлопцы, погреем лейтенанта без спиртика.

Все подняли куртки масккостюмов, расстегнули телогрейки — раскрылись и облепили Ромашкина теплыми телами. Неунывающий Пролеткин поздравил:

— С легким паром, товарищ лейтенант.

Василию стыдно было перед разведчиками. «Так хорошо все началось! И вот на тебе — сам как мокрая курица, автомат — на дне речки». Василия охватила злость.

— Пустите, ребята! — Он высвободился из их объятий. — Не греть же меня так всю ночь! Идти надо.

Надел два запасных маскировочных костюма. Подпоясался сигнальным шпагатом.

— Двигаем!..

Деревня Симаки чернела в низине, вытянувшись длинной улицей вдоль дороги. Разведчики зашли со стороны огородов. Подкрались к сарайчику, от него — к плетню.

Василий посмотрел поверх плетня, стараясь разобраться в обстановке. Нет ли поблизости часовых? Спят ли в соседних домах? Если ребята набросятся здесь на проходящего гитлеровца, с какой стороны может подоспеть помощь?

В ближнем доме света в окнах не было. Но Василий на всякий случай приказал двум разведчикам подпереть дверь бревнышком, лежавшим у завалинки. На другой стороне улицы стояла хатенка под соломенной крышей. Едва ли там поселились немцы: хатенка уж больно убога.

Место для засады как будто подходящее. Только бы появился на улице «чин» покрупнее. Решили ждать. Брать фрица из дома опасно — такое дело без шума проходит редко. А шуметь ни в коем случае нельзя: по речке отход возможен только без

преследования, спокойно.

— Если появится один, берем его я и Рогатин, — зашептал Ромашкин разведчикам. — Если группа — пропустим.

И стал примеряться, как прыгнуть через ограду. Но едва он дотронулся до плетня, тот затрещал так, что все испуганно присели. Как же тут внезапно нападать? Затрещит чертов плетень.

Ромашкин встал на четвереньки.

— Ты, Рогатин, с моей спины перемахнешь через ограду, а я уж вслед за тобой.

— Может, мне первым, товарищ лейтенант? — предложил Саша Пролеткин. — Если этот громила залезет вам на спину, из вас блин получится. А я легкий.

— Ты делай, что прикажут, — рассердился Ромашкин. — Сейчас не до шуток, понимать надо!

Саша виновато замолчал.

Ждали долго. Но вот послышались шаги. Мимо прошла смена караула: унтер и два солдата. Они протопали совсем рядом, их можно было достать рукой. С троими, однако, без шума не справиться.

Немцы дошли до конца улицы, сменили там часового и возвратились обратно. Протопали мимо в другой раз.

«Неужели вернемся с пустыми руками? — терзался Василий. — С таким трудом пробрались сюда и ничего не можем сделать! А скоро рассвет».

— Будем брать часового, — сказал он решительно, — иного выбора нет. Пойдем в конец улицы, разыщем пост и на месте все прикинем окончательно.

Осторожно, опасаясь собак, пошли огородом вдоль забора. Неожиданно чуть впереди в одном из домов, скрипнув, распахнулась дверь. Полоса желтого света упала на землю и сразу исчезла — дверь притворили. Одинокий силуэт отделился от дома: какой-то фриц двинулся по улице прямо на разведчиков. Василий огляделся — других прохожих не было. Встал на четвереньки, жестом приказал Рогатину прыгать.

Иван, почти не коснувшись его спины, перелетел через забор и свалился на проходившего. Они упали, покатились по земле, Ромашкин тоже перемахнул через ограду и подскочил к боровшимся.

Рогатин крепко держал фашиста за горло, не давая ему кричать. Василий быстро затолкал схваченному рукавицу в рот, подобрал два каких-то ящика и фуражку с серебристым шнурком. «Ого, офицер!»

Пленного перевалили через плетень. Связали руки брючным ремнем. Наблюдая за этими сноровистыми действиями

разведчиков, Ромашкин думал: «Вот окаянные! Ни бог, ни дьявол им не страшен, но до чего ж суеверны! Ни один, уходя за „языком“ , не возьмет веревку или кляп. Вот и сейчас во рту у немецкого офицера моя рукавица, а связан он поясными ремнями. И когда я провалился под лед, мне тоже бросили брючный ремень. А как нужна была веревка! Ведь я приказывал взять ее».

Спросил Сашу Пролеткина:

— Где веревка?

Тот посмотрел на командира безгрешными глазами и, не моргнув, ответил:

— Забыл я ее, товарищ лейтенант. Да обойдемся, вы не беспокойтесь! Было бы кого вязать…

Ромашкин осмотрел снаружи подобранные ящички. Они были из полированного дерева, чем-то напоминали этюдники. Откинув крючки, поднял крышку. Ожидал увидеть все, что угодно, только не это. «Мать родная! Вот так удача! Неужели и во втором ящике такое же?» Он открыл другую крышку, а там ещё лучше.

Нет, не штабные документы и не карты! В изящных футлярах, обтянутых изнутри бархатом, лежали коллекционные вина. Каждая бутылка особой формы и пристегнута лакированными ремешками. «Наверное, фриц шел на гулянку, вовремя мы его зацапали, а то, проклятый, вылакал бы все без нас!» — усмехнулся про себя Ромашкин.

Разведчики оттащили пленного подальше от деревенской улицы, рассмотрели повнимательнее: все в порядке, обер-лейтенант. Теперь только бы уйти тихо.

Но «язык» сел на землю и — ни с места. Рот у него заткнут, руки связаны, а двигать ногами не желает. Его поднимали, подталкивали в спину, он не сделал ни шагу. Попробовали нести — тяжел, к тому же начал брыкаться. Терпение разведчиков иссякло. Рогатин поставил фашиста на ноги и влепил ему такую затрещину, что тот грохнулся наземь, как неживой; все подбежали и остолбенели — обер лежал пластом. Убил!

— Ты что, очумел! — накинулся Василий на Рогатина.

—Я в четверть силы. С воспитательной целью, товарищ лейтенант, — оправдывался Иван.

Разведчики опять подняли немца, и он «ожил». С опаской поглядел на Рогатина. А когда тот подошел поближе и слегка замахнулся, фашист побежал так прытко, что за ним едва поспевали.

Вышли к речке. «Как же теперь? — задумался Ромашкин. — Пленный сам не поползет, а лежать с ним рядом нельзя: начнет брыкаться, утопит и себя, и других».

— Дайте обера мне, — попросил Пролеткин. — Я из него

саночки сделаю.

— Какие саночки?

— А вот увидите…

Пролеткин выломал в кустарнике две длинные палки и скомандовал:

— Снимай, хлопцы, ремни!

Ему подали ремни. Саша заставил пленного надеть белый костюм и в этом наряде уложил его на палки, привязал к ним ремнями. Теперь немецкий офицер не мог сделать ни единого движения.

Все по одному сползли на лед. Пленного поручили Саше. Из бинтов ему сделали длинную лямку, и Пролеткин тянул немца за собой.

Вскоре окликнул знакомый пулемётчик:

— Вы, товарищ лейтенант?

— Мы.

— Ну, как лед? Держит?

— Держит.

— Скажи, пожалуйста! А я совсем не наблюдал за речкой. Теперь буду поглядывать. Приволокли, что ли?

— Приволокли.

Было около шести часов утра. В штабе все ещё спали. Но приятной вестью начальство можно побеспокоить. Ромашкин повел обер-лейтенанта к Колокольцеву. Ящички с вином решил пока не сдавать, это не документы, никакого влияния на решение командования они не окажут.

Возвратясь из штаба, подозвал к столу разведчиков и с заговорщицким видом открыл один футляр.

— Вот это да! — восхищенно оценили все.

Фиолетовый бархат отсвечивал матово. Бутылки — одна пузатая с длинным горлом, другая с длинным телом и короткой шеей, третья гнутая в талии, четвертая каким-то кубом — искрились. Их украшали этикетки с замысловатыми золотыми вензелями.

Разведчики развязали «сидора», полезли за кружками.

— Только по сто граммов, — предупредил Василий.

— Да больше, чем по сто, на весь взвод и не придется, — с деланным безразличием сказал Саша, хотя ему явно не терпелось отведать диковинных напитков.

— Французское, — определил Жук, разглядывая этикетку.

— Давайте один ящик командиру полка подарим. У него начальство бывает, пусть пофорсит, — предложил находчивый старшина.

— Я розумию так, шо нам же слава буде, — поддержал

Шовкопляс и представил Караваева, который угощает начальство. — Чи не покуштуете, товарищ генерал, вина хранцузского, мои славни разведчики просто закидали меня разными трохфеями.

— Решено, дарим один ящик командиру полка! — согласился Ромашкин.

Вино в одной бутылке оказалось густо-красным, в другой — черным, как тушь, в третьей — апельсиново-оранжевым, в четвертом — зеленым, будто весенняя травка. Разведчики опрокидывали кружки в рот, морщились.

— Очень сладкое, — сплюнул Голощапов.

— И градусов мало, — сожалеючи произнес Рогатин. Жук разъяснил:

— Кто же так пьет коллекционные вина? В каждом из них свой букет. Пить надо не торопясь, вдыхать аромат, смаковать вкус.

Шовкопляс ухмыльнулся:

— Щось меня цей букет не забирае. Добавлю-ка я нашенского букету. — Он отвинтил крышечку фляги, налил в кружку водки. Выпил. Крякнул, утирая рот рукавом, и блаженно улыбнулся: — О це букет! О це по-нашему! Аж пятки свербит!

Разведчики посмеялись и тоже запили «французское баловство» ста граммами.

Днем Ромашкин отнес второй ящичек Караваеву. Командир полка поблагодарил за подарок, полюбовался бутылками, но откупоривать не захотел, отдал Гулиеву.

— Спрячь и сбереги. Нагрянут какие-нибудь высокие гости — поднесем. — Потом испытующе взглянул на Ромашкина. — А может, сохраним до победы? Может, тогда вместе с тобой разопьем?

— Для такого случая мы и получше достанем, — уверенно пообещал Василий.

Эхо Сталинграда

Василий сидел на берегу тихой речки, смотрел на юрких мальков в воде, слушал щебет лесных пичужек и на миг позавидовал им — даже не знают, что идет война. От рощи тянуло чистой прохладой, она отгоняла запах пригорелой каши, который шел от кухонь, врытых в берега лощины. Василий ушел сюда, чтобы выписать из «Словаря военного переводчика» незнакомые фразы и заучить их. Словарь дал ему капитан Люленков. Он владел немецким свободно. Ромашкин часто жалел, что в школе относился к немецкому легкомысленно. «Если бы запомнил слова, которые мы тогда учили, теперь понимал бы, о чем говорят немцы в своих траншеях, и мог поговорить с пленными».

Ромашкин упорно занимался. Кроме словаря, он читал подобранные немецкие газеты, пытался делать переводы.

Подошел капитан Морейко, начальник связи полка, стройный, гибкий, с аккуратным носиком и томным взором. Василию казалось, что Морейко стесняется своей красивой внешности и хочет выглядеть мужественным воякой. Поэтому он говорил развязно, часто матерился, но это выглядело так же неестественно, как выглядела бы вежливость у Куржакова.

— Привет, разведка!

— Салют связистам!

— Зубришь?

— Приходится.

— И не жалко?

— Чего?

— Времени! Убьют — все труды насмарку. Пошел бы лучше во второй эшелон — там, говорят, у начфина такая казначейша появилась, закачаешься!

Ромашкина неприятно кольнули слова о смерти, произнесенные с такой оскорбительной легкостью. Захотелось осадить этого лопуха в звании капитана, но Василий сдержался.

— Значит, не желаешь заняться женским полом? — жужжал Морейко. — Что же, учтем, займемся сами! А тебя начальник штаба вызывает.

Говорить с Морейко не хотелось, но, чтобы не молчать, спросил:

— Опять дежуришь?

— Судьба такая: начхим, начинж да я, грешный, — вечные дежурные по штабу. Слыхал, как я начхима Гоглидзе разыграл? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Говорю ему вчера: Арсен,

тебе, мол, заместителя ввели по штату. Бедный Гоглидзе даже растерялся. «Зачем? — говорит. — Мне самому делать по специальности нечего!» Вот поэтому, говорю, и ввели. Будет тебя с боку на бок переворачивать, чтобы пролежней не было. Видел бы ты, как он раскипятился, чуть в драку не полез. Теперь со мной не разговаривает. Умора, одним словом. Ну идем, разведка, Колокольцев ждет.

Начальник штаба пил чай — это было его любимым занятием в свободное время. Небольшой потемневший самовар, тяжелый серебряный подстаканник с витыми узорами, позолоченная чайная ложка, украшенная монограммой, были известны в штабе всем старожилам. Но никто не знал, какие воспоминания посещают Виктора Ильича Колокольцева, когда он так вот чаевничает.

Кроме дорогих сердцу майора самовара и подстаканника, вечной спутницей его по фронтовым землянкам была никелированная машинка, с помощью которой он любил на досуге собственноручно набивать «Охотничьим» табаком гильзы. Папиросы получались плотными, как фабричные.

Колокольцев был из тех военных, которые в двадцатые и тридцатые годы стыдливо замалчивали свое офицерское прошлое, а в сороковые стали гордиться этим прошлым и той школой, которую они прошли в старой армии. Виктор Ильич стал офицером в начале первой мировой войны. Из Томского университета он ушел в школу прапорщиков, заслужил на Западном фронте два «Георгия» и чин поручика, а после революции вступил в Красную Армию. Но во время гражданской войны особого старания не проявил, это нашло отражение в аттестациях, и служба, как говорится, не заладилась. Пришлось уволиться в запас, стать преподавателем математики в техникуме. О военной карьере он уже и не думал, огорчился даже, когда его вновь призвали в армию и назначили начальником штаба батальона. Было это в тридцать девятом году, перед финской кампанией.

За участие в прорыве линии Маннергейма получил Виктор Ильич орден Красной Звезды и звание майора. С тех пор и отдался всецело службе, будто хотел наверстать упущенное.

Майор Колокольцев обладал спокойной деловитостью человека, знающего себе цену. Неутомимо учил он своих помощников, заставлял их на первых порах по нескольку раз переделывать бумаги, заново отрабатывать карту. А потом спокойно попивал чаек и, почти не глядя, подписывал документы. Знал: помощники не подведут, в сводках и донесениях все будет в порядке.

Помощников Виктора Ильича иногда убивало, иногда их выдвигали с повышением. Он воспринимал это как неизбежность — в первом случае горестную, во втором — приятную, и тут же принимался учить новых.

Учил Колокольцев и Ромашкина. И не только по долгу службы, а и по душевному влечению, потому что видел в нем свою молодость — сам был таким же на германском фронте: юным, бесхитростным, безотказным. Наедине называл Василия голубчиком и величал непременно по имени-отчеству.

— Садитесь, Василий Владимирович, чаю желаете?

— Спасибо, товарищ майор, я уже поел.

— Чай не еда, голубчик…

Ромашкин смотрел на массивный подстаканник, и ему хотелось завести такой же или похожий и так же пить чай, не торопясь, с торжественностью.

— Давно собираюсь спросить: батюшка ваш служил в старой армии?

— Нет, — ответил Ромашкин и в свою очередь поинтересовался: — А почему, товарищ майор, у вас возник такой вопрос?

— Есть в вас что-то офицерское. Врожденная, что ли, интеллигентность. Вы, конечно, из интеллигентной семьи?

Колокольцеву, видимо, очень нравилось слово «интеллигентность», он произносил его как-то замедленно, чуть растягивая звук "е".

— Мой отец был инженером-строителем. Погиб под Москвой в сорок первом.

— Помню, голубчик, мне рассказывали… Ну что ж, приступим к делу. Я пригласил вас для того, чтобы осуществить суворовский завет: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Поверьте, Василий Владимирович, сотни раз я слышал эти слова, когда был ещё поручиком, но истинный смысл их открылся мне относительно недавно — на финском фронте. Оказывается, главное совсем не в том, чтобы солдат понимал какой-то тактический маневр — обход там, охват или нечто подобное. Это, разумеется, тоже не исключается. Но, мне кажется, Суворов мыслил шире: солдат лучше, добросовестнее, с большим энтузиазмом будет делать любое дело, если смысл и необходимость этого дела ему разъяснили и оно дошло и до его ума, и до его сердца. Вот, голубчик, что означают слова великого Суворова. В нашей армии эту работу хорошо делают комиссары. Именно они прежде всего помогают солдату, и не только солдату, а каждому из нас, понять свой маневр.

Василий любил такие беседы с начальником штаба. Приятны

были его доверительность и подчеркнутое уважение к собеседнику. Но он-то знал, что за преамбулой обязательно последует деловая часть, в которой не всегда и не все приятно.

— Вы читали нынче «Правду»? — неожиданно спросил Колокольцев.

— Не успел ещё . Спал после задания…

— Не оправдывайтесь, голубчик, отлично вас понимаю. Вот газета, пожалуйста, прочтите здесь. — Он указал на сообщение Совинформбюро о летней кампании сорок второго года.

Ромашкин углубился в чтение.

«К началу лета германское командование сосредоточило на южных участках фронта большое количество войск, тысячи танков и самолетов. Оно очистило под метелку многие гарнизоны во Франции, Бельгии, Голландии. Только за последние два месяца оттуда было переброшено на советско-германский фронт 22 дивизии. В вассальных странах — Италии, Румынии, Венгрии, Словакии — Гитлер мобилизовал до 70 дивизий и бригад, не считая финских войск на севере, и бросил их на советско-германский фронт».

Невольно вспомнилось, что на протяжении этого лета в газетах появлялись и вскоре пропадали бесследно ворошиловградское, новочеркасское, ростовское, краснодарское направления. Потом в сводках Совинформбюро грянуло слово «Сталинград». Из сегодняшнего сообщения следовало, что именно там сейчас наибольшее напряжение. Может быть, такое же, как в сорок первом под Москвой. Вывод этот подтвердил и Колокольцев.

— Прочли? Очень хорошо. Битва за Москву — это уже история. Фашисты поняли: лобовым ударом Москву им не взять. Они решили выйти к Волге, чтобы разрезать нас пополам. Если противник овладеет Сталинградом… Впрочем, этого допустить нельзя, — он строго посмотрел на Ромашкина. — И потому вам, голубчик, опять придется много поработать. Мы, как и другие части, все время должны знать, кто держит фронт против нашего полка, и не позволять, чтобы немцы снимали свои силы отсюда и перебрасывали их на юг. Надо будет, Василий Владимирович, ежедневно, а вернее, еженощно подтверждать группировку противника. Поймите необходимость этого. На Волге решается судьба Отечества. — Виктор Ильич произнес это торжественно, вы-прямясь и приподняв голову, как офицеры старой армии, которых Ромашкин видел только в кино. И, безотчетно подражая киногероям, Василий тоже энергично встал, расправил грудь, опустил в поклоне голову, чего никогда не делал прежде, и ответил в тон майору:

— Я сделаю все, что в моих силах.

— Прекрасно! — оценил Колокольцев и пожал ему руку.

Но, выбравшись из сумрака блиндажа и увидев перед собой зеленеющие под солнцем склоны холмов, Ромашкин тотчас почувствовал себя как бы сошедшим с киноэкрана в реальную жизнь. А у своей землянки, уже совсем освобождаясь от наваждения, навеянного Колокольцевым, подумал о майоре жестко и трезво: «Блажит, старик. Преувеличивает. Если даже фашисты форсируют Волгу, мы все равно их раздолбаем. Но как бы то ни было, обстановка неприятная, особенно для нашего брата. Все будут сидеть в обороне, а разведчиков теперь загоняют».

На другой день и ночь Василий ещё раз обследовал оборону противника, дал задание своим наблюдателям и стал готовить сразу три объекта для нападения. В этом ему помог Иван Петрович Казаков. Командуя стрелковой ротой, он по-прежнему проявлял интерес к захвату «языков».

— Смотри, что я придумал, — сказал Казаков и повел Ромашкина в отросток траншеи, выдвинутый вперед. — Вот, гляди.

Василий увидел толстую палку, вбитую в землю, к ней был привязан конец синего немецкого телефонного кабеля, который входил в нейтральную зону и терялся в кустах.

— Видал? Немцев приучаю.

— Не понял. К чему приучаешь?

— К шуму. Другой конец мы ночью привязали к проволочному заграждению. У них там банки консервные навешаны, чтобы тебя подловить, когда проволоку резать будешь. Вот я и дрессирую фрицев. Приходи вечерком, покажу.

Василий пообещал прийти и направился в роту Куржакова — проверить своих наблюдателей.

— Ну, чем порадуете, что у вас нового? — спросил он Сашу Пролеткина.

— Все нормально, товарищ лейтенант, — бодро ответил Саша. — Против нас прежняя дивизия стоит.

— Какие доказательства?

— Точные, как в аптеке, — уверенно продолжал Саша. — Посмотрите в бинокль, вон в той балочке — километра два за их передним краем — серая кобылка пасется. Видите?

Ромашкин подкрутил окуляры бинокля и отчетливо увидел вдали серую лошадь, она щипала траву.

— Эта кобыла, товарищ лейтенант, ночью в первую траншею харчи подвозит. Если бы дивизия ушла, кобылку не бросили бы, увели бы с собой. Так?

— Предположим.

— Значит, если она здесь, дивизия тоже здесь.

Пока Пролеткин рассказывал, Рогатин ядовито ухмылялся.

— А что скажешь ты, Иван?

— Балаболка он, — вздохнул Рогатин.

— Ты давай про фрицев! — огрызнулся Пролеткин.

— Все рассмотрел! — покачал головой Рогатин. — Даже, что кобыла, а не мерин, определил. Вон какой глазастый!

Пролеткин вспыхнул, набрал было воздуха, чтобы отпарировать, но не нашелся, шумно выдохнул вхолостую, промолчал.

— А может, фрицы, — не унимался Рогатин, — того конягу специально оставили, чтобы нас обмануть? Подумали: «Мы уйдем, а у русских есть хитрый разведчик Саша Пролеткин, нехай он любуется на эту лошадку и свое командование в заблуждение вводит».

Саша собрался наконец с мыслями:

— Разведчик должен по разным признакам судить об обстановке. А ты все только на силу свою надеешься —хватай фрица за шкирку да волоки к себе в траншеи, вот и вся твоя разведка. Надо ж и мозгами шевелить.

— Согласен, — невозмутимо ответил Иван.

— Соображать же надо! — торжествовал Саша.

— А где же твое соображение? — спросил вдруг Рогатин. — Ты нам чего сейчас говорил?

— Чего?

— Вспомни-ка! Ладно, я подскажу: "По разным признакам судить!.. "А где у тебя разные признаки? Всего одна кобылка, да и та, наверное, жеребец.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Ромашкин. — Наблюдайте, ребята. После обеда пришлю вам смену.

По ходу сообщения он направился в тыл. У спуска в лощину встретил Куржакова.

— Привет! — сказал дружелюбно ротный. — Куда путь держишь?

— Домой.

— Идем ко мне обедать.

Куржаков был под хмельком, и поэтому Василию не хотелось идти к нему. На отказ Ромашкина Куржаков обиделся. Даже обругал по привычке бывшего своего взводного.

«Ничего, в другой раз навещу, отойдет», — подумал Василии.

Вечером он вместе с Коноплевым опять пришел к Ивану Петровичу посмотреть, что же тот придумал. Казаков подвел их к палке, которую показывал днем, сказал:

— Слушайте, чего сейчас будет, — и потянул изо всех сил за кабель.

Тут же несколько немецких пулемётов залились длинными очередями. Это были не те спокойные очереди, которыми пулемётчики прочесывают нейтралку или переговариваются между собой. пулемёты били взахлеб. Так бьют только по обнаруженному противнику.

— Теперь давайте посидим, покурим, — предложил между тем Казаков. — Как твои дела? Как ребята?

У Ромашкина вдруг мелькнул дерзкий замысел:

— Петрович, твою затею можно использовать.

— Конечно, знаю. Для того она и затеяна.

— Сегодня же использовать её надо. Днем фрицы проверяют, почему гремели банки на проволоке, обнаружат твой кабель; обрежут — и делу конец. Надо действовать сегодня же, до наступления рассвета. Втроем справимся?

— Попробуем, — с нарочитым безразличием откликнулся Казаков и велел своему ординарцу принести ножницы для резки проволоки.

Втроем — два офицера и сержант, — сидя в траншее, продолжали дергать кабель. Их охватила веселая удаль, а противник все хлестал и хлестал по своим заграждениям длинными пулемётными очередями.

Лишь часам к трем ночи немцы наконец поняли, что им морочат голову. Они почти перестали реагировать на подергивание кабеля.

— Ну, пора, — сказал Казаков.

— А не влетит, если Караваев узнает? — заколебался в последний момент Василий. — Ты же ротный.

— Конечно, влетит, — весело подтвердил Казаков. И, вызвав тут же одного из своих взводных, приказал: — Остаешься за меня. Предупреди всех в роте, что мы с лейтенантом и сержантом в нейтралке будем работать. Чтобы нас не побили, пусть огонь ведут повыше и в стороны.

— Будет сделано.

— Ну, пошли!

Они выскочили на бруствер и, пригибаясь, побежали вдоль кабеля. В низинке Казаков прилег, шепнул:

— Давайте шумнем ещё разок.

Дернули кабель. Коноплев сразу перевернулся на спину. Василий лег рядом, осторожно взял обеими руками первую нить, и сержант тут же перекусил её ножницами. Ромашкин подал длинный конец Петровичу, тот опустил проволоку на землю так осторожно, что не звякнула ни одна консервная банка.

Вскоре проход был готов. Петрович кивнул. Вместе с Ромашкиным они поползли к траншее. Коноплев тоже пополз было вперед, но Ромашкин остановил его: надо же кому-то охранять и расширять проход.

Казаков спустился в траншею первым. Ромашкин последовал за ним. Прислушались. Тихо.

Казаков взглянул за ближайший поворот и тут же отпрянул. Показал туда большим пальцем, затем поднял указательный. Ромашкин понял: там один немец. Казаков ткнул себя в грудь, Василию показал автомат и махнул рукой вдоль траншеи. И опять Василий понял: Петрович сам берет пленного, а он должен прикрывать.

Старший лейтенант пригнулся, хорошенько поставил ноги. В этой позе он походил на пловца, собравшегося прыгнуть с трамплина в воду. Минуту помедлив, как бы проверяя устойчивость, а на самом деле собирая силы для решающего броска, Казаков ринулся наконец вперед. Ромашкин за ним. Он видел, как Петрович очутился рядом с пулемётчиком, мгновенно захватил его согнутой рукой за горло и рывком приподнял над землей. Этот прием разведчики называют «подвесил». Гитлеровец сдавленно хрипел, болтал ногами. А Петрович уже показывал ему нож, чтоб не орал. Солдат затих. Ромашкин затолкал пленному кляп в рот, связал руки.

Все быстро и тихо.

А через час они вдвоем стояли навытяжку в блиндаже Караваева, недавно получившего звание подполковника.

— Это надо же додуматься! — возмущался Караваев. — Два командира идут за каким-то вшивым фрицем: командир роты и командир взвода разведки. Ну, лейтенант Ромашкин — ладно: это его работа. А вам, Казаков, какое дело до разведки?

— Я же ходил в разведку раньше, — вяло оправдывался Петрович.

— Раньше!.. А сегодня кто вас посылал? Кто? Молчите? Никто не утверждал, никто не разрешал этот поиск.

— Да, отличились! — гудел из-за стола Гарбуз. — Один коммунист, другой комсомолец.

— Больше всех виноваты вы, старший лейтенант, — жестко сказал Караваев, сверля взглядом Петровича. — Вы ведь и по должности старший — командир роты. Почему бросили свое подразделение?

— Я не бросил подразделение, — обиделся Петрович. — Был в полосе своей роты, только чуть впереди.

— А где вам полагается быть?

Стремясь выручить Казакова, Ромашкин почти умоляющим

взглядом посмотрел на Колокольцева. Начальник штаба, встретив этот взгляд, кашлянул, задвигался на своей заскрипевшей табуретке и солидно произнес:

— Может быть, я в некотором отношении виноват в случившемся. Я вызвал вчера лейтенанта Ромашкина, ознакомил его с обстановкой и обязал еженощно уточнять группировку противника.

Караваев изобразил на лице удивление.

— Что же это получается, Виктор Ильич? Под защиту их берете? Ну, нет, не позволю! В наказание именно вы лично напишете приказ, в котором… — Караваев подумал, подбирая меры взыскания. — В котором командиру роты старшему лейтенанту Казакову объявить выговор, а лейтенанту Ромашкину… Ромашкину… С этим я ограничиваюсь разговором.

Казаков и Василий вышли из блиндажа командира, минуту постояли, не глядя друг другу в глаза, и вдруг рассмеялись. На душе было совсем не горько. Ими до сих пор владела радость удачно проведенного налета, и была она сильнее всех последующих неприятностей.

— Идем ко мне ужинать, — тихо предложил Ромашкин. Но Казаков не согласился.

— Лучше ко мне. Позвонить могут. Опять, скажут, ушел из роты.

После этого веселого происшествия у Ромашкина пошла полоса горьких неудач. «Язык», которого они так лихо захватили втроем, оказался последним на долгое время.

А из штаба дивизии, как и предвидел Колокольцев, ежедневно требовали уточненных сведений о противнике. Высшее командование, до Ставки включительно, стремилось вовремя уследить, когда и откуда противник попытается снять часть своих сил для переброски на юг, к Сталинграду. Приказы письменные и устные следовали один за другим. Войсковые разведчики сбились с ног, каждую ночь они ползали в нейтральной зоне, но все безрезультатно. Лишь раздразнили немцев так, что те по ночам стали держать в окопах не только дежурных пулемётчиков, как делали это раньше, а оставляли здесь целиком подразделения первого эшелона. Попробуй-ка сунься, возьми «языка»!

Ромашкин устал, измучился.

Однажды его вызвал Гарбуз. «Будет ругать», — с тоской решил Василий. Но комиссар ругать не стал. Поглядел на его осунувшееся, несчастное лицо и заговорил спокойно:

— Мне кажется, надо менять тактику. Вы действуете шаблонно, поэтому и неудача за неудачей. Противник вас ждет. Все ваши действия ему заранее известны.

— Что можно придумать нового в нашем деле? — пожал плечами Ромашкин. — Дождался темноты и ползи в чужие траншеи. Только будь осторожен. В том и вся наша тактика.

— Надо придумать что-то, — не унимался Гарбуз. — Подкоп, что ли, какой-нибудь устроить? Или хитростью выманить фашистов в нейтральную зону? Не знаю, что именно, но убежден: надо искать новые приемы. Иди, дорогой, думай. Надумаешь — приходи, посоветуемся. Если надо, я сам организую обеспечение поиска.

Ромашкин ушел от командира, унося в душе благодарность за спокойный разговор и веря, что если уж Гарбуз обещал поддержку, то все перевернет вверх дном, заставит всех «ходить на цыпочках» перед разведчиками.

Так что же придумать?

Сколько ни ломал Василий голову, ничего путного не придумал. Саша Пролеткин пожалел его, пытался утешить, как мог:

— Не огорчайтесь, товарищ лейтенант. В нынешних условиях, будь у вас хоть с бочку голова, все равно «языка» нам не добыть.

Ромашкин в ответ грустно улыбнулся и не очень уверенно стал размышлять: «Если ночью немцы не спят, значит, спят днем, не могут же бодрствовать целые подразделения сутки, и двое, и трое! Вот бы этим и воспользоваться?!» Но тут же спасовал. В самом деле, что за бред? Если ночью не получается, днем тем более ничего не выйдет.

Однако дерзкая мысль о захвате «языка» днем продолжала жить в нем, постепенно обрастала деталями, и в конце концов он поделился ею со всем взводом. Разведчики отнеслись к ней с большим сомнением. Затем начали прикидьшать, что тут выгодно и что невыгодно. А под конец решили: дело, пожалуй, осуществимое.

Доложили свой план командованию. Он был одобрен. И в ближайшую же ночь шесть разведчиков с плащ-палатками и малыми саперными лопатами направились в нейтральную зону. Там, вблизи немецкой проволоки, была уже облюбована заросшая кустарником высотка. На ней и стали рыть глубокие щели. Работали с величайшей осторожностью: до вражеских траншей было не больше ста метров, еле слышный стук мог погубить все задуманное. Землю ссыпали на плащ-палатки и уносили в лощину, чтобы с рассветом не привлекла внимания немцев.

В щелях должны были засесть на весь день Ромашкин, Коноплев и Рогатин. Они в подготовке укрытий не участвовали, набирались сил для выполнения задания. Перед рассветом за ними прислали связного. Никто из троих, конечно, не спал. Дело

готовилось весьма рискованное, до сна ли тут!

Приползли к укрытиям, засели. Им спустили еду, воду, запас патронов и гранат. Над головой каждого укрепили жердочки, сверху положили дерн и оставили во тьме, в одиночестве, в полном неведении, что-то будет.

Страшно попасть в руки врага живым. За бессонные ночи и нервотрепку фашисты на куски изрежут. Перед Ромашкиным явственно предстали все виденные раньше истерзанные фашистами трупы пленных. Особенно запомнился один, закоченевший в сарае каком-то. У него были отрублены топором пальцы на руках и ногах. Ромашкин поежился и даже ощутил боль в кончиках собственных пальцев.

Начали досаждать предположения: «Возможно, гитлеровцы слышали возню за кустами и сейчас ползут сюда проверить: что здесь творилось? А может, они уже разгадали наши намерения?.. Не исключено, что с рассветом начнут наступление: это тоже грозит разведчикам гибелью».

Иногда, успокаивая человека, ему говорят: «Выхода нет только из могилы». Ромашкин сам многократно говаривал так. И сейчас, вспомнив об этом, подумал невесело: «А ведь я тут как в могиле. Но при всем том надеюсь на благополучный исход: просижу так день, изучу режим жизни противника и смогу завтра действовать наверняка…»

Приближался рассвет. Василию был виден клочок неба. Сначала он казался черным, потом серым, наконец синим, а когда взошло солнце, стал нежно-голубым.

Осторожно Ромашкин поднял перископ. Это маленькое приспособление прислали в полк недавно. Зеленая трубка не больше метра длиной, на одном конце её глазок, на другом — окуляр в резиновой оправе. Прибор позволяет наблюдать, не высовываясь из укрытия. Но едва Василий прильнул к окуляру, как тут же в страхе дернулся назад и вниз. Сердце замерло, рука инстинктивно схватилась за автомат. Все видимое пространство заслонила одутловатая рожа с рыжей щетиной на рыхлых щеках. Вот-вот она заглянет в яму!

Стекла перископа, как и полагалось, приблизили врага вплотную, а в действительности он находился метрах в шестидесяти. Ромашкин выругал себя за несообразительность и вновь выставил перископ. Гитлеровец стоял на том же месте, небритый, сонный, равнодушный. Рядом с ним на площадке был пулемёт, правее и левее в траншее — ещё двое солдат. Они разговаривали между собой, не глядя в нейтральную зону. Ночь прошла, и противник, видимо, чувствовал себя в безопасности.

Василий наблюдал за чужой траншейной жизнью с таким же

напряженным интересом, с каким в детстве смотрел приключенческие фильмы. Немцы прохаживались, топтались на месте, и лица у них были усталыми.

Немного попривыкнув к жутковатому соседству, Ромашкин переключился на изучение местности. Впереди через поле тянулось проволочное заграждение. Проволока рыжая, ржавая. Вдоль нее траншея с бруствером, обложенным дерном. От траншеи ответвлялись в лощину несколько ходов сообщения. По лощине немцы ходили в полный рост. Там же блиндаж. У входа в него умывались двое, поливали друг другу на руки из чайника. За лощиной была высотка, и Ромашкин уже не мог разглядеть, что там дальше.

К восьми часам у немцев почти прекратилось движение, все ушли в блиндаж и, наверное, завалились спать. Перед Василием остался только рыжий у пулемёта. Он слонялся взад-вперед, хмурясь и шевеля губами, должно быть, о чем-то размышлял. Справа и слева от него на значительном расстоянии маячили такие же одинокие фигуры. Тактически это объяснялось просто, обозримый из щели участок обороняется взводом пехоты, и сейчас здесь оставлены три наблюдателя — по одному от каждого отделения.

Часа через два рыжего сменил белобрысый. Этот оказался более деятельным. Он то и дело поглядывал в нашу сторону, иногда брался за пулемёт, тщательно прицеливался, выжидал и вдруг давал очередь…

Часам к двенадцати обстановка прояснилась окончательно. А впереди ещё долгий-долгий день. Ромашкин не спеша поел хлеба, колбасы, запил водой из фляжки. Очень хотелось курить. Но курева он не взял, чтобы избежать соблазна. От неподвижного сидения затекли руки и ноги, ломило спину. Поворочался, изгибаясь, насколько позволяла щель. Горло иногда перехватывал кашель, и тогда приходилось накрывать голову телогрейкой, чтобы заглушить его.

В течение дня Василий стал различать по лицам и повадкам каждого из неприятельских солдат, ютившихся в блиндаже. Они стояли на посту поочередно, и всех он успел разглядеть до мельчайших подробностей. В голове вдруг мелькнуло: «Если бы тут оказался кто-нибудь из мучителей Тани, я бы непременно узнал его по фотографии».

Едва стало смеркаться, в траншею бодро вышли все обитатели блиндажа. Ромашкин усмехнулся, когда они встали перед ним. «Как в театре после концерта: выступали по одному, а на прощание высыпали все».

Немцы готовились к ночи: укрепляли оружие на деревянных

подставках, пристреливали его по определенным целям.

Когда совсем стемнело, Ромашкин почувствовал себя как рыба в воде. Он не стал дожидаться подмоги, сам разобрал «крышу» над головой и пополз к Рогатину. Тот бесшумно выскользнул из своей норы, двинулся за лейтенантом. Затем они забрали Коноплева и отправились восвояси.

Ромашкин рассчитывал встретить своих на подходе и действительно обнаружил их в середине нейтральной зоны, когда сошлись уже метров на двадцать. Его наметанный глаз, привыкший различать предметы и улавливать даже легкое движение во мраке, заметил разведчиков с трудом. «Неплохо работают», — подумал Василий, любуясь, как стелются они по земле, словно тени.

Самостоятельный выход наблюдателей планом не предусматривался. Чтобы их не приняли за немцев, Ромашкин вполголоса окликнул:

— Саша! Пролеткин!

Это было надежнее всякого пароля. Тени на миг замерли, потом метнулись к ним:

— Ну, как? Нормально?

— Потом, потом… Скорей домой, — шепнул в ответ Ромашкин.

«Дома» Ромашкина, Рогатина и Коноплева все разглядывали как после долгой разлуки. Заботливо подавали миски с горячим борщом, ломти хлеба, густо заваренный чай. Не докучали расспросами, терпеливо ждали, когда сами наблюдатели поведут рассказ о всем увиденном и пережитом за этот бесконечно длинный день.

Ромашкин расстелил на столе лист бумаги, стал чертить схему обороны немецкого взвода. Рогатин и Коноплев дополнили его чертеж своими деталями. И все трое заявили: днем взять «языка» можно, надо только затемно подползти ещё ближе к проволоке, окопаться там, а когда немцы уйдут отдыхать, проникнуть к ним в траншею. Если удастся — схватить часового, если нет — блокировать блиндаж и извлечь кого-нибудь оттуда.

Ну а дальше? Разведчиков, конечно, обнаружат. Придется бежать через нейтральную зону средь бела дня. Вслед им откроет огонь вся неприятельская оборона. Возможно ли под таким огнем добраться до своих окопов?

Надо попробовать…

Ночью к проволочным заграждениям противника вышел весь разведвзвод. Отрыли ещё пять окопчиков и оставили здесь на день уже не троих, а восемь человек.

Когда рассвело, Ромашкин, глянув в перископ, легко узнал

своих вчерашних знакомых.

Утро разгорелось веселое, солнечное. Но на Василия этот яркий солнечный свет действовал угнетающе. Он привык ходить на задания ночью. Дневная вылазка казалась авантюрой, хотя немцы вели себя спокойно.

Как и вчера, на дневное дежурство у пулемёта первым заступил рыжий. Сегодня он был побрит. Скучая, походил по траншее и остановился поговорить с соседом слева.

Разведчики не предполагали, что удобный момент наступит так скоро. Саша Пролеткин первым выскользнул из окопчика, ужом подполз к проволоке. Перевернулся на спину и торопливо стал выстригать проход. Все, затаив дыхание, следили за ним. Немцев на всякий случай держали на мушке.

Саша быстро продвигался вперед между кольями заграждения. Вот он махнул рукой. Из щелей поползли к нему ещё двое. И в ту же минуту немец, стоявший лицом к разведчикам, закричал, показывая рыжему на ползущих.

Две короткие очереди из автоматов ударили одновременно. Немцы не то упали, не то присели. Ромашкин кинулся к проходу, торопливо полез под проволоку. Колючки рвали одежду, больно царапали тело. Разведчики, назначенные в прикрытие, тоже спрыгнули в траншею и разбежались по двое вправо и влево, стреляя из автоматов по наблюдателям.

Ромашкин кинулся к рыжему. Тот был мертв. Второй немец оказался живым, только на плече у него расползалось кровавое пятно. Он угрожающе сжимал в руке гранату. Рогатин вырвал ее, отбросил, схватил немца за ремень, выкинул из траншеи и поволок к проволоке. Тот отчаянно сопротивлялся и визжал.

Из блиндажа на шум стрельбы и на этот визг выбежали те, что отдыхали. Ромашкин оперся о край траншеи и дал по ним несколько длинных очередей. Двое свалились, остальные юркнули опять в блиндаж. Василий продолжал стрелять по входной двери, а Рогатин уже тащил «языка» за проволокой.

Отстреливаясь на три стороны, стали отходить и другие разведчики. Саша Пролеткин выбрался за проволоку последним, и Ромашкин тут же подал сигнал своим артиллеристам. Ракета ещё не успела погаснуть, как дрогнула и вскинулась черной стеной земля.

Пригнувшись, разведчики побежали к своим окопам в полный рост. Снаряды гудели над самой головой. Сначала только свои, а потом и чужие — немецкая артиллерия открыла ответный огонь. Пришлось залечь. В нейтральной зоне, между двух шквальных огней, было сейчас самое безопасное место.

Пленному перевязали плечо, и он послушно лежал рядом с

Рогатиным.

— Гляди у меня, не шебуршись! — погрозил ему пальцем Рогатин. — Не то по шее получишь. Немец согласно закивал:

— Яволь, яволь. Гитлер капут.

— Понятливый, — усмехнулся Рогатин…

Когда канонада стала чуть затихать, поползли опять к своим траншеям. И доползли. Все, как один, невредимые.

Перед отправкой пленного в штаб дивизии его, как всегда, первым допрашивал Люленков. Капитан расположился на бревне при входе в блиндаж. Все штабники, когда нет обстрела, выбирались из-под земли на солнышко.

Ромашкин подсел к Люленкову.

— Дивизия перед нами прежняя, — сказал ему капитан и тут же задал очередной вопрос немцу: — Значит, вы рабочий?

— Да, я токарь. Работал на заводе в Дрездене.

— Почему же вы против нас воюете, у нас же государство рабочих и крестьян?

— Меня призвали в армию. Разве я мог не воевать?

Ромашкин ещё раз оглядел пленного. Да, это был тот самый, бледный, светловолосый. Теперь прикидывается овечкой, а в траншее вел себя по-другому. Василий, медленно подбирая слова, напомнил ему:

— Ты много стрелял. Подкарауливал наших и стрелял.

— Это моя обязанность, я солдат.

— Другие солдаты днем не стреляли, только ты подкарауливал и стрелял.

— Лейтенант все видел, — уточнил Люленков. — Два дня он лежал перед вашей проволокой.

— О, лейтенант очень храбрый человек! — льстиво откликнулся пленный. — Мы не ждали вас днем. Мы знали: вы приходите ночью.

Он явно хотел уйти от разговора о том, что стрелял больше других. И Ромашкину почему-то думалось, что рыжий, наверное, был лучше этого — честнее и порядочней. Поинтересовался: кто же такой рыжий?

Люленков перевел вопрос.

— Его звали Франтишек, он чех из Брно, до войны был маляром, — охотно ответил пленный.

— У вас что, смешанная часть? — заинтересовался капитан.

— Да, теперь многие немецкие части и подразделения пополняются солдатами других национальностей. Мы понесли большие потери.

— А может быть, это потому, что другие национальности — чехи, венгры, румыны — не хотят воевать против нас, а вы их

заставляете?

— Не знаю. Я маленький человек. Политика не мое дело.

Ромашкина все больше раздражал этот хитрец. «Маскируется под рабочего, спасает шкуру, фашист проклятый». Брезгливо отодвинулся подальше от него.

А вернувшись в свой блиндаж, сказал Пролеткину:

— Саша, ты был прав насчет той лошади… Перед нами стоит прежняя дивизия.

Пролеткин просиял, взглянув на Рогатина победителем.

— Слышал, что лейтенант сказал? Вот и подумай теперь, кто из нас балаболка.

Рогатин только почесал в затылке.

Остаток дня Ромашкин вместе со всеми участвовал в пиршестве, которое устроил старшина Жмаченко. Был весел, но неприятный холодок нет-нет да и окатывал его. Все ещё не верилось, что днем, на виду у врага они утащили «языка» и вернулись без потерь!

А когда легли спать и в блиндаже погасили свет, его стала бить нервная дрожь. «Тормоза не держат, — с грустью подумал Василий. — Да тут натяни хоть стальную проволоку вместо нервов, и та не выдержит. Это ж надо, днем, на виду у всех! И как мы решились? Если пошлют ещё раз на такое задание, у меня, наверное, не хватит сил. Впрочем, днем теперь и не пошлют, — подумал он с облегчением. — Командование тоже понимает, что такое может получиться только раз».

* * *

Все лето полк Караваева провел в обороне, а с сентября начались тяжелые и, на первый взгляд, совсем безрезультатные наступательные бои. Велись они почти беспрерывно.

В полном изнеможении Ромашкин снял изодранный, грязный маскировочный костюм. Обессилевшие руки не поднимались. Его разведчики находились в таком же состоянии.

Позвал старшину, приказал:

— Тебе, Жмаченко, и всем, кто с тобой оставался, всю ночь дежурить посменно. В первой траншее — по одному бойцу на сто метров, и те, наверное, уже спят. Как бы фрицы голыми руками всех нас не передушили.

— Фрицы тоже вповалку лежат, вы крепко им поддали сегодня, — ответил Жмаченко. — А охрану я выставлю, отдыхайте спокойно, товарищ лейтенант. — Лейтенантом назвал по привычке — со вчерашнего дня Ромашкин старший лейтенант, однако он и сам ещё не освоился с новым званием.

— Поддали своими боками, — заворчал Голощапов.

И Василий мысленно вновь увидел, как малочисленные роты

поднимались нынче в атаку. Больно смотреть.

«Куда там наступать! Если фашисты нанесут контрудар — на своих позициях не удержишься».

Не раздеваясь, Ромашкин повалился на жесткие нары и мигом заснул. Спал, казалось, совсем недолго, а уже кто-то тянет за ногу.

— Товарищ старший лейтенант, проснитесь!..

В блиндаже было темно, лишь алый бок железной печки светился в углу. Усталость ещё не прошла, в тепле она расплылась по телу вязкой тяжестью.

— Вас до командира полка требуют, — шептал старшина, опасаясь разбудить других, и шепот его убаюкивал ещё сильнее.

«Зачем понадобился? — соображал в полусне Ромашкин. — Неужели опять за „языком“ пошлют?»

Он встал на слабые ещё ноги, нащупал автомат, привычно вскинул на плечо и, не открывая полностью глаз, досыпая на ходу, направился к двери.

Колючий ночной мороз сразу прогнал сонливость, взбодрил. Ромашкин втянул шею, сунул руки в карманы и хмурый зашагал по оврагу. Снег взвизгивал под ногами, будто от боли.

У блиндажа командира полка какие-то люди усердно дымили самокрутками. Подойдя вплотную, Василий рассмотрел: собрались командиры батальонов, артиллеристы, политработники, тыловики.

Караваев и Гарбуз вышли, когда адъютант доложил, что все прибыли. Лицо у командира полка тоже мрачное, в глазницах сплошная чернота. Гарбуз чуть бодрее.

— Товарищи командиры, — негромко сказал Караваев, — в блиндаже мы, пожалуй, не поместимся, давайте поговорим здесь. Я не задержу вас. Мы вот с комиссаром только что вернулись из дивизии. Нам опять поставлена задача наступать!

Ромашкин не поверил своим ушам: «Не может быть!» Остальные отозвались сдержанным, явно неодобрительным гулом. Командир первого батальона, худой и длинный капитан Журавлев, спросил:

— С кем же, товарищ подполковник, наступать? В ротах людей — раз, два и обчелся.

Караваев посмотрел на него сочувственно, но ответил твердо:

— И все равно будем наступать. Немцы снимают войска с нашего фронта и перебрасывают под Сталинград. Пленный, добытый вчера разведчиками, подтвердил это: немецкий полк, с которым до сих пор имели дело только мы, теперь обороняется на широком фронте против двух полков нашей дивизии, потому что его сосед справа выведен в тыл.

Комбат Журавлев зло глянул на Ромашкина, будто он был виноват в том, что немцы перегруппировывают свои силы.

— Не одним нам тяжело, — продолжал Караваев. — Вся дивизия… да что дивизия, несколько дивизий ведут наступление на пределе своих возможностей. Но мы должны сорвать планы противника! Я уже распорядился о пополнении стрелковых рот за счет тыловых подразделений. На передовую направляются повара, писари, коноводы, ремонтники. Кто что получит и кто кого обязан отдать, узнаете у начальника штаба, А теперь слушайте боевой приказ…

Караваев поставил задачи стрелковым батальонам, артиллерии, специальным подразделениям. Разведвзвод он оставил в своем резерве. Приказал Ромашкину быть рядом с полковым НП.

После командира говорил Гарбуз:

— Товарищи, я знаю, как вы все устали. Но под Сталинградом решается наша общая судьба. Разъясните это всем. Люди поймут. Коммунистам и комсомольцам надо первыми вставать в атаку и вести других за собой…

Ромашкин ещё затемно расположил свой взвод в указанном месте. Разведчики подминали под себя мелкий кустарник и в ожидании, пока потребуется резерв, устраивались «досыпать» на морозе.

Василий поднес к глазам бинокль. Утренний снег отливал синевой. В нейтральной зоне чернели редкие кустики. Вчерашних убитых там не было: их убрали ночью. Вражеские траншеи просматривались ещё смутно, а в наших уже можно было разглядеть даже лица солдат. Вон мелькнуло очень знакомое чернобровое лицо. «Это же Гулиев! — узнал Ромашкин. — И своего ординарца командир полка отправил в цепь».

В семь часов ударили пушки и зачакали минометы. Выбрасывая из-под снега темную землю, разорвались первые снаряды в расположении фашистов. Огонь нашей артиллерии был слабее обычного, залпы её не образовали единого слитного гула. Пыль и дым на позициях врага успевали оседать между нечастыми всплесками взрывов.

На душе у Ромашкина было тоскливо. «Как же пехота пойдет в атаку после такого чихания вместо настоящей артподготовки?» Но едва взлетела зеленая ракета, люди выскочили из траншей и реденькими цепочками двинулись через поле. Они не бежали, а шли почему-то шагом, стреляя на ходу.

Застучали, будто швейные машинки, немецкие пулемёты. С треском разорвалось несколько мин. Это как бы подстегнуло нашу пехоту, бойцы побежали вперед. И Ромашкин услышал, как

кричит Караваев артиллеристам по телефону:

— Огневые точки давите! Не видите, что ли?!

Взрывы в расположении врага начали перемещаться, букетиками собирались у площадок, с которых били пулемёты.

И вот уже первый батальон приблизился к фашистам, с ходу ворвался в их траншею. «Ай да Журавлев! Ворчал, скрипел, а теперь вон как действует!» — оживился Ромашкин, наблюдая, как наши солдаты разбегаются по траншее и забрасывают блиндажи гранатами.

А подполковник Караваев все ещё наседал на артиллеристов. Потом его заглушил голос Гарбуза. Комиссар упрекал по телефону командира второго батальона:

— Спиридонов, почему вы топчетесь? Журавлев уже первую траншею очистил, а вы все топчетесь. Да? Я вижу. Все прекрасно вижу. И вас, и его…

Вопреки мрачным предположениям, на этот раз наступление имело успех: к середине дня полк овладел и второй траншеей. Караваев перешел на новый НП, а с ним вместе двинулся и резерв. Подполковник теперь сам разговаривал с ушедшим вперед вторым батальоном, подбадривал Спиридонова:

— Вы же убедились, что перед нами слабый противник. Не снижайте темпа наступления. Фланг открыт? Прикроем. Сейчас позвоню Журавлеву, он подровняется и прикроет.

Но батальон Журавлева залег под плотным огнем пулемётов и хлесткими выстрелами немецких штурмовых орудий.

— Вернулись, сволочи! — выругался Караваев.

— Заставили вернуться, — уточнил Гарбуз. — Самоходок здесь дня три уже не было.

— Сейчас они дадут прикурить Журавлеву, — продолжал Караваев с жалостью. — Почему он лежит? Раздолбают же его на ровном месте. — И в телефон: — Журавлев! Броском вперед! Займи вторую траншею… Как не можешь? Моги! Самому в траншее легче будет и соседу фланг прикроешь. Сейчас окажу поддержку огоньком.

Но и артогонь не помог Журавлеву. Красноармейцы расползлись по воронкам, батальона будто и не было. А Спиридонов уже не говорил, а стонал в телефон:

— Прикройте же меня справа! Обходят! Сейчас выбьют из траншеи, а то и вовсе отрежут!

— Сейчас, сейчас, — обещал Караваев, и позвал: — Ромашкин!

— Я здесь.

— Бегом со взводом в первый батальон. Поднять там людей и занять траншею!

— Есть!

Через минуту разведчики уже мчались напрямую к воронкам, в которых залег первый батальон. На бегу Василий думал: «Уж лучше бы с самого начала идти в атаку, чем включаться в нее в такой момент!»

Вражеские минометчики, заметив выдвижение резерва, ударили по нему. Но разведчикам это не в диковинку. Уклоняясь от взрывов мин то вправо, то влево, они с прежней стремительностью неслись вслед за Ромашкиным.

Вот наконец и черные воронки, в которых попрятались стрелки. Не зная, где тут комбат или хотя бы кто из ротных, Ромашкин сам стал командовать:

— А ну, славяне, вперед! В атаку, за мной! Ни один человек не внял его призыву.

— Что же вы, братцы? За мной! — ещё раз крикнул Ромашкин и приказал разведчикам: — А ну, ребята, выгоняй их из ям!

— Давай, вылазь! — забасил Иван Рогатин.

— Чего землю скребешь, меня же убивают, а я над тобой стою, — уговаривал кого-то Пролеткин.

А Голощапов действовал по-своему: размахивая немецкой гранатой на длинной деревянной ручке, он спрашивал строго:

— Ну, что, дядя, сам встанешь? Или подсобить?..

Командиры рот и взводов тоже стали принимать свои меры. Тут и там на поле замаячили сначала одинокие фигурки, призывно машущие руками, а вслед за тем образовалась и цепь. Она опять покатилась вперед, и как ни стрекотали пулемёты, как ни взбивали снег пули, все же цепь достигла траншеи и потекла туда.

В траншее сразу же сцепились врукопашную. Ромашкин стрелял из своего автомата экономными короткими очередями и все время с опаской думал: «Только бы патроны не кончились до срока». А немцы все выскакивали и выскакивали из-за поворотов траншеи, из блиндажей. И каждый раз Василий опережал их своими выстрелами, продолжая беспокоиться, что вот щелкнет затвор впустую и очередной гитлеровец всадит пулю в него. Сменить магазин было невозможно: вокруг метались, стреляли, били прикладами свои и чужие. Казалось, фашистов куда больше, чем наших. «И Караваев сказал: подошли немецкие резервы». Но люди в серых шинелях, такие медлительные и неуклюжие в своих окопах, сейчас вели себя как одержимые, бесстрашно бросались в одиночку на двоих-троих зеленых, матерясь, рыча, хватали их за глотки.

И все же в этой кутерьме — стрельбе, криках, топоте солдатских сапог и взрывах гранат — Ромашкин услыхал

слабенький роковой щелчок затвора, которого ждал. «Ну, вот и все, — мелькнуло в усталом мозгу. — Вот она и смерть моя…»

Перед ним стоял в очках, небритый, тощий, будто чахоточный, гитлеровец. Черный глазок в стволе его автомата показался Ромашкину орудийным жерлом. Мелькнул перед глазами огонь. Зазвенело в правом ухе. И… немец вдруг стал падать на спину, выронил автомат. Ромашкин оглянулся. Сзади оказался рябоватый — лицо будто в мелких воронках — красноармеец. Ощерив прокуренные зубы, он крикнул:

— Левашов моя фамилия! С вас причитается, товарищ старший лейтенант! — и побежал дальше.

Ромашкин, торопясь, сменил магазин, огляделся: «Куда стрелять?» Но рукопашная уже кончилась, в траншее валялись убитые фашисты. Лежали они и наверху, недалеко от бруствера. А те, что отошли по ходам сообщения, злобно отстреливались из следующей траншеи.

Василий вспомнил о своих главных обязанностях — всегда и везде добывать сведения о противнике. Стал осматривать сумки убитых офицеров: нет ли в них карт с обстановкой или других важных документов. У входа в блиндаж лежал, уткнувшись лицом в свою каску, огромный плечистый унтер. Лица не было видно, торчали только большие мясистые уши, а на мощной шее белели кругляшки от заживших нарывов. Из его карманов Ромашкин вынул несколько писем на голубой бумаге. Попробовал прочесть одно из них и с радостью убедился, что упорные занятия немецким языком уже сказываются: целую страничку одолел без затруднения.

«Милый Фридрих, сегодня опять передавали по радио, что каждый, кто отличился в боях, получит земельный надел на Востоке. Ты уже имеешь Железный крест, и, мне кажется, пора бы тебе присмотреть место получше. Я вижу его таким…»

Каким видится жене убитого Фридриха обещанный ей надел на чужой земле, Василий читать не стал: недосуг. Заглянул в полевую сумку унтера и обнаружил там нечто более интересное — листки какой-то инструкции. На листках этих карандашом старательно были подчеркнуты слова: «Следует воспитывать у населения своими действиями страх перед германской расой… Никакой мягкотелости по отношению к кому бы то ни было, независимо от пола и возраста…»

Ромашкин перешагнул через унтера, взял автомат наизготовку и побежал в дальний конец траншеи, где усилилась перестрелка.

Два раза противник пытался отбить свои позиции, и все-таки не отбил. Вскоре после второй контратаки Ромашкина разыскал

Журавлев, потный и ещё больше осунувшийся. Сказал, сдерживая запаленное дыхание:

— Спасибо тебе, брат, выручил. Бери своих орлов и дуй назад. Командир полка приказал восстановить резерв.

Ромашкин вел разведчиков по избитому воронками полю, на котором лежали ещё не убранные убитые. У ската высоты, на которой находился наблюдательный пункт Караваева, разведчиков остановили пехотинцы:

— Дальше не ходите, там немцы.

— Там же НП командира полка…

— Наверное, накрылся наш командир. Фрицы туда ворвались слева.

На высоте слышались одиночные выстрелы. Ромашкин возмутился:

— Там стреляют! Как же вы бросили командира!

— Мы солдаты. У нас свой ротный и взводные накрылись. Командовать некому.

— Я буду командовать! — громко сказал Ромашкин. — А ну, всем встать! Разомкнитесь в цепь! — Увидев в стороне группу солдат, крикнул им: — А вы кто?

— Мы саперы, остатки саперного взвода.

— Пойдете со мной выручать командира! Давай! Давай! Быстрее! Может быть, успеем. Слышите, там ещё бой идет!

Солдаты не очень проворно, но все же выполнили команду Ромашкина, пригибаясь, пошли к вершине высотки. Пока в них никто не стрелял. Василий сказал Рогатину:

— Иван, иди к саперам, прибавь им энергии!

С высоты послышались потрескивания автоматных очередей.

— Не ложиться! Вперед! — кричал Василий, и сам, опережая всех, побежал быстрее. — Огонь! Не позволяйте фрицам в вас стрелять! Огонь!

Василий сам стрелял из автомата короткими очередями, хотя и не видел ещё немцев. Когда жиденькая цепь атакующих выбежала на плоскую макушку высоты, открышась такая картина: около десятка немцев окружали НП командира, оттуда через амбразуру отстреливались находившиеся там наблюдатели и связисты, иногда щелкал негромко и пистолет Караваева. «Жив!» — радостно подумал Ромашкин и с удвоенной энергией стал стрелять по фашистам и звать солдат:

— Бей гадов, ребята!

Немцы не ожидали такой внезапной атаки, побежали вниз по скату высотки. Василий и другие разведчики стреляли им вслед.

Из дверного проема выглянул Караваев, лицо его было в копоти, только белые зубы светились в улыбке. Кирилл

Алексеевич подошел к Василию, обнял его и взволнованно произнес:

— Спасибо тебе, Ромашкин! Выручил! ещё несколько минут, и нас прикончили бы! Мы уже почти все патроны расстреляли. Очень вовремя ты подоспел.

На войне мужчины скупы на проявление своих чувств, но добрые дела боевых товарищей запоминают надолго, а порой и навсегда.

Пленный находился неподалеку — в овражке, где отдыхали разведчики. Был он уже перевязан и чувствовал себя довольно бодро, но при появлении Колокольцева почему-то закрыл глаза. Майор задал ему несколько вопросов. Немец молча и не открывая глаз отвернулся.

— Не желает разговаривать, падла! — рассвирепел Рогатин.

— Это он с перепугу. Думает, конец пришел, — предположил Пролеткин.

— Да мне, собственно, разговор его и не нужен, — спокойно сказал майор, вынимая из кармана пленного служебную книжку и заглядывая в нее. — Все без слов ясно — шестьдесят седьмой полк, тот самый, который был снят отсюда. Вернулись, голубчики!

Колокольцев ушел опять на НП порадовать этим открытием командира полка. Но к радости невольно примешивалось чувство горечи и тревоги. Да, они выполнили свою задачу: притянули на себя вражеские резервы, а сдержать-то их нечем, обескровленные роты не сумеют отстоять занятые позиции.

Двое суток полк отбивался от превосходящих сил противника, медленно отходя назад. Ромашкин глядел в бинокль на поле боя и в который уже раз дивился: «Кто же там бьется?..»

И все-таки неприятельские контратаки захлебывались одна задругой. Едва фашисты приближались к нашим окопам, их встречал плотный огонь пулемётов и автоматов. Неведомо откуда возникали перед ними серые шинели и овчинные полушубки.

А ведь уже четверо суток пехота без сна, на холоде, под витающей всюду смертью. «Сейчас там люди до того задубели, что о смерти, пожалуй, не думают, — размышлял Ромашкин. — Хоть бы уж мой взвод бросили им на помощь».

Иногда с НП долетал осипший, но все же громкий голос Гарбуза. Комиссар докладывал по телефону в дивизию:

— Красноармеец Нащокин с перебитыми ногами заряжает оружие и подает стрелкам. пулемётчик Ефремов тоже ранен, но точным огнем прикрывает фланг роты.

"Вот Ефремов мой и отличился, — с удовольствием отметил Ромашкин. — Жив пока. А как другие ребята? "

Днем к разведчикам, где бы они ни находились, дважды приползал с термосом старшина Жмаченко. Кормил горячей душистой кашей, наливал по сто граммов. По-бабьи жалостливо смотрел на каждого, пока разведчики ели.

На исходе четвертого дня, когда люди изнемогли окончательно, полк оказался на старых позициях — тех, откуда начинал отступать. Но дальше, как ни лезли гитлеровцы, им хода не было. Ночью они оставили и нейтральную зону — убрались в свои полуразрушенные блиндажи.

Караваев устало сказал:

— Дело сделали. Теперь закрепиться — и ни шагу назад.

Он оперся лбом о стереотрубу и тут же заснул. Колокольцев стал давать батальонам распоряжения по организации охранения и разведки. Ау другого телефона хрипел сорванным голосом Гарбуз. Для всех работа кончилась, а комиссару предстояло ещё написать донесения об отличившихся и погибших, проверить, все ли накормлены, обеспечен ли отдых бойцам.

Разведчики тем временем вернулись в свой обжитой блиндаж. Натопленный и прибранный старшиной, он показался им родным домом. Тепло, светло, на столе хлеб и горячая каша с мясной подливкой, в ведерке прозрачная, как слеза, вода. Но не было сил в полной мере насладиться всей этой благодатью — раздеться, умыться, поесть неторопливо. Хотелось упасть прямо в проходе, закрыть глаза и спать, спать, спать.

Прилечь, однако, не пришлось. Прибежал посыльный из штаба: Ромашкина вызывал майор Колокольцев. Сам землисто-серый от усталости, начальник штаба сострадательно поглядел в глаза Ромашкину и мягко сказал:

— Знаете, голубчик, в каком состоянии полк? Все валятся с ног. Поэтому разделите свои взвод на три группы и выходите в нейтральную зону: на фланги и в центр. Ползите под самую проволоку немцев. Чтобы они сюрприз нам не преподнесли. Поняли? Спать будете завтра. Идите, голубчик, действуйте, да побыстрее. — Майор загадочно улыбнулся, поманил Ромашкина пальцем, доверительно шепнул: — Под Сталинградом наши перешли в наступление, по радио передали.

С Ромашкина будто тяжкий груз свалили. Тело оставалось по-прежнему усталым, но какой-то освежающий ветерок прошелся по душе: «Ну, теперь и у нас здесь фрицы попритихнут!»

Возвращаясь к себе, Василий думал: «Начну разговор с ребятами прямо с этой новости. Радость всем прибавит сил».

Когда подошел к блиндажу, услыхал скрипучий голос Голощапова, он с кем-то спорил:

— Никакой ты не особый человек, а самая что ни на есть

обыкновенная затычка. Всем отдых в обороне — а разведчик за «языком» ходи, пехота залегла — ты в атаку её подымай, где-то фрицы вклинились — опять разведчику спасать положение.

— Вот в этом и особость наша, — возразил Саша Пролеткин. — Никто не может, а ты моги.

— Кабы мы с тобой железные были, кабы пули бы от нас отскакивали, тогда ладно, а то ведь жизнь и у нас, как у всех, одна, — не сдавался Голощапов.

Ромашкин толкнул дверь.

Все, словно по команде, подняли на него осоловелые глаза. Угрюмо ждали: неужели опять какое-то задание? Каждому казалось: подняться нет сил.

— Братцы, наши перешли в наступление под Сталинградом! — звенящим от радости голосом объявил Ромашкин.

И сразу как бы стерлась с лиц усталость. Разведчики задвигались, заулыбались, загалдели весело:

— Значит, мы не зря выкладывались!

— Молодцы сталинградцы!

— А ведь им потяжелей нашего досталось!

Ромашкин выждал с минуту и продолжал:

— Собирайтесь, хлопцы, для нас ещё одно дело есть, как говорится, не пыльное и денежное.

— Опять особое? — хитровато сощурив глаз, спросил Голощапов.

— Точно! Все в полку будут спать, а мы их должны караулить. Если ж и мы заснем, фрицы остатки полка перебьют, а нас за то свои к стенке поставят. Это вам, Голощапов, подходит?

— Мне в самый раз. После такой новости сдюжу. Ножом себя подкалывать буду, а не засну, — захорохорился Голощапов…

На правый фланг Ромашкин послал несколько разведчиков во главе с Коноплевым, на левый — другую группу под командованием Ивана Рогатина. Сам возглавил центральную.

Пока ползли к немецким заграждениям, самочувствие было вполне сносным. А забрались в воронки, и сразу стал одолевать сон. Толкали и тормошили друг друга, натирали снегом лицо, курили по очереди, прильнув к самому дну воронки, — ничто не помогало. Ромашкин искусал губы до крови, а сонливость все клонила голову к земле, склеивала глаза. Когда-то и где-то он вычитал, что в старину «заплечных дел мастера», пытая человека, не давали ему спать. И уже на вторые сутки у подвергавшегося пытке ослабевала воля, а на третьи он становился безумным. «Мы же не спим пятые сутки. И как-то держимся, соображаем, воюем!» — удивился Василий.

Это была самая длинная ночь в его жизни. И, наверное, такою же показалась она всем разведчикам. Утром Ромашкин поразился, как изменились ребята: иней не таял на их лицах! Промерзшие, посиневшие, они едва шевелились.

«Никогда бы не поверил раньше, что не спать труднее, чем добыть „языка“, и даже хуже, чем умереть сразу», — размышлял Ромашкин, шагая одеревеневшими ногами к жилью. А у блиндажа его опять поджидал посыльный из штаба. Василий чуть не вскрикнул от отчаяния, однако на этот раз его никто и никуда не вызывал. Посыльный лишь вручил газету.

— Комиссар товарищ Гарбуз велел вам отнести…

Ромашкин вошел в блиндаж, повесил автомат, нехотя, через силу развернул не измятый ещё и потому гремевший, как жесть, газетный лист. Внимание привлек заголовок: «В последний час. Успешное наступление наших войск в районе гор. Сталинграда».

Дальше под этим броским заголовком следовало:

«На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда».

Мысли путались. Как в тумане виделись и едва доходили до сознания слова: «продвинулись на 60 — 70 километров… заняты города Калач, Абганерово… перерезаны обе железные дороги… захвачено за три дня боев 13 000 пленных… на поле боя более 14 000 трупов…».

Глаза Василия сами собой закрылись. Уже ничего не видя и не чувствуя, он стал падать набок. Старшина Жмаченко и Рогатин подхватили его, уложили на нары.

— Совсем дошел! — покачал головой Рогатин и тут же сам, как убитый, свалился рядом с Ромашкиным.

Жмаченко окинул взглядом блиндаж, и ему стало жутко: будто в белых саванах, повсюду лежали в неестественных позах безмолвные разведчики, и лица у них были как у мертвецов, заострившиеся, бледные, щетинистые.

На столе высились горкой ломти хлеба, белели кубики сахара. Легкий пар поднимался над кашей, разложенной в алюминиевые котелки. И никто к этому не притронулся…

Капитан Люленков подразделял пленных немцев на «фанатиков», «мыслящих» и «размазню».

«Фанатики» преобладали в первые месяцы войны. На допросах они кричали «Хайль Гитлер!» и грозились всех повесить, когда Великая Германия завоюет Россию.

С «мыслящими» Люленков впервые встретился после нашей победы под Москвой. Эти на допросах сокрушенно покачивали

головами, показания давали покорно, и почти всегда точные.

«Размазня» густо потекла после разгрома шестой немецкой армии под Сталинградом. Пленные из этой категории вытягивались в струнку, угодничали и плели такие басни, что это было хуже любой преднамеренной дезинформации. Люленков не любил «размазню».

У начальника полковой разведки постепенно сложилась своя, почти безотказная метода ведения допросов.

— Ваше имя, фамилия? — спрашивал он, и не столько прислушивался к ответу на этот первый вопрос, сколько следил за реакцией пленного, чтобы сразу определить, кто же стоит перед ним: «фанатик», «мыслящий» или «размазня»?

Только что добытый Ромашкиным «язык» поначалу повел себя не очень определенно. Услышав первый вопрос, он вскочил со своего места довольно резво, но ответил без особого подобострастия:

— Рядовой Франц Дитцер.

— Номера вашей дивизии, полка, батальона, роты?

Пленный замялся, потерял строевую выправку: его спрашивали о том, что является военной тайной. Он оглянулся — не стоит ли кто-нибудь сзади, готовый ударить? Позади никого не оказалось.

— Я жду! — строго напомнил капитан.

— Сто девяносто седьмая дивизия, триста тридцать второй полк, второй батальон, пятая пехотная рота, — последовал вялый ответ.

— Задача вашего полка?

Пленный пожал плечами:

— Я рядовой. Задачу полка не знаю.

— Что должна делать ваша рота?

— Обороняться…

Люленков чувствовал, Дитцер чего-то недоговаривает.

— Потом что?.. Обороняться и — дальше?

— Недавно прошел слух, что решено спрямить оборону и мы отойдем при этом на новый рубеж.

— Где же тот рубеж? Когда начнется отход? — быстро спросил капитан, приглашая пленного к карте, развернутой на столе.

— Я карту не понимаю, — замямлил солдат.

— Смотрите сюда! — приказал капитан. — Сейчас ваша рота здесь. А вот здесь штаб вашего полка. Это река. Куда вы должны отойти?

— Не знаю, господин офицер. Я просто слышал разговор, когда дежурил у пулемёта.

— Не знаете или не хотите сказать? — настаивал Люленков, несколько повышая голос.

— Не надо так, товарищ капитан, — неожиданно вмешался Ромашкин. — Он совсем обалдеет от страха. Люленков рассердился, резко оборвал:

— Не лезьте не в свое дело! — Но тут же смягчился и перешел с начальственного «вы» на всегдашнее «ты». — Не понимаю, как ты их там в плен берешь? Кисейная барышня…

— Там мы на равных: он с оружием и я с оружием.

— Тоже мне, рыцарь!..

Ромашкин не стал оправдываться. Сам не понимал, прав он или нет. Быть великодушным к беззащитному вроде бы хорошо. Но сейчас он видел перед собой одного из тех, кто замучил Таню. Франц же этот из сто девяносто седьмой пехотной дивизии.

«Что, если бы я попал к нему в лапы? — спросил себя Ромашкин и живо представил этого белобрысого не сгорбленным и понурым, а властным хозяином положения. — Он бы со мной церемониться не стал! А у нас, русских, всегдашняя жалость к слабому и какая-то нестойкая память к злу. Врагам-то нашим это на руку, но самим нам такая покладистость боком выходит».

Пленный заметил какое-то несогласие между русскими офицерами и беспокойно заерзал на табурете. Но несогласие уже исчезло. Капитан успел определить, что имеет дело с «мыслящим». А если так, то Ромашкин прав: допрос нужно вести по-другому — надо предоставить пленному возможность мыслить.

Люленков почти механически перебирал письма и фотографии, изъятые у Дитцера, тщательно изученные перед началом допроса. Писем было до десятка. Писались они в разное время — и в начале войны, и в последние дни. Писала их мать Дитцера.

— Значит, вы не хотите говорить правду? — уже по-иному повторил свой вопрос Люленков. — Тогда возьмите вот это письмо вашей матери, почитайте ещё раз и вспомните, что она вам советовала.

Дитцер с грустной улыбкой стал читать хорошо знакомые ему строки:

"Дорогой Франц!

У нас ужасное несчастье. Я потеряла сына, а ты старшего брата. Нет больше нашего доброго Генриха! Целый месяц от него не было писем, а вчера пришло уведомление, что Генрих убит под Петербургом. Эта страшная война сломала, исковеркала всю нашу жизнь. Меня пытаются утешить: «Слушайте, по радио сообщили о

новой победе. Наша армия захватила ещё один город». А на что мне нужен чужой город? Пусть мне вернут моего Генриха. Теперь только ты остался у меня. И вдруг пошлют тебя занимать ещё какой-нибудь город, и ты там тоже можешь погибнуть, как Генрих!.. В нашем Лейпциге появилось много калек. Кто без ног, кто без рук. Когда-то я старалась уберечь тебя от простуды, а теперь думаю: пусть бы у тебя не стало ноги или руки, только бы ты был жив и избавился от этой проклятой войны…"

— Наверное, мать будет рада, что вы попали в плен, теперь её желание сбудется: вы останетесь живы, — сказал капитан.

— Да, спасибо вам… — Дитцер запнулся. Люленков уловил, что незаконченная эта фраза произнесена от души.

— Вот вы нас благодарите, а помочь нам не желаете, — продолжал он. — И подумайте, в чем помочь? В том, чтобы остались живы ваши друзья, чтобы скорее кончилась война. Почитайте, что вам советует мать в другом письме. — Люленков подал пленному листок, датированный июлем сорок первого.

«Мой славный Франц! Я восхищаюсь вашими победами. Каждый день в газетах длинный перечень городов, которыми вы овладели. Это под силу только такой великой армии, как наша. Генрих прислал свою фотографию. Он выглядел прекрасно. Я горжусь, что у меня такие сыновья…»

Листок в руке пленного задрожал. Франц Дитцер испуганно посмотрел на Люленкова, и тот решил: «Дошло». Однако внешне выразил иное:

— Я, кажется, дал вам не то письмо?

— Да, да, это не то… это очень старое письмо, — подтвердил Дитпер и положил листок на стол. Капитан посмотрел на дату:

— Не очень старое. Написано два года назад. Пленный опустил глаза. Он прекрасно понял капитана. Горестно вздохнул:

— Бедный Генрих…

И тут же решительно встал, сам подошел к столу с картой.

— Завтра ночью главные силы нашего батальона отойдут за реку по этой вот дороге. — Дитцер показал на карте и дорогу, и реку, и новый оборонительный рубеж. Он хорошо разбирался в топографии. — Там, где наш полк стоит теперь, останется только прикрытие: по взводу от батальона. Я знаю об этом потому, что в прикрытие назначен и мой взвод. Все, кого оставят здесь, должны много стрелять, создавая видимость, что обстановка не изменилась, что оборону держат прежние силы.

— Ну, вот и прекрасно! Больше мне от вас ничего не нужно. Впрочем… — Люленков подал Дитцеру групповую фотографию немецких солдат и офицеров. Они стояли возле бревенчатого дома и хмуро глядели в аппарат. — Не знаете ли кого-нибудь из

этих людей? Они ваши сослуживцы по сто девяносто седьмой дивизии.

Дитцер долго вглядывался и отрицательно покачал головой:

— Нет, никого не знаю.

Капитан подал ему другую фотографию — на ней были те же лица, а сбоку ясно просматривались столбы виселицы, и кто-то в белом висел на веревке. То была «Таня» — Зоя Космодемьянская.

Пленный отшатнулся. Наверное, подумал: «Господи, как хорошо, что я никого не узнал на первом снимке!»

Люленков поспешил успокоить его.

— Нам известно об этой трагедии все: имя казненной девушки, фамилии палачей, где и когда это случилось. Моего коллегу, — он кивнул в сторону Ромашкина, — интересует только один вопрос. Если вы случайно были в этой деревне или слышали чей-нибудь рассказ о том, как вешали молодую партизанку, не вспомните ли такую деталь: у повешенной были зеленые вязаные варежки?

— Я об этом вообще ничего не слышал. — Дитцер ещё раз опасливо взглянул на фотографию и по склонности своей к логичным суждениям добавил: — Она же висит в нижнем белье, разве могут при этом быть на ней варежки?

— Ваши солдаты её раздели, разули и водили босую по снегу. А до этого она была одета. И вот нам бы очень хотелось узнать: были у нее зеленые варежки или нет?

— Верьте мне, господа офицеры, — взмолился пленный, — я к этой казни не имею никакого отношения….

Его отправили в штаб дивизии, а полк стал готовиться к преследованию противника. Колоколъцев вызвал Ромашкина, приказал:

— Вы, голубчик, пойдете за немцами раньше всех. Как только батальоны нажмут с фронта, постарайтесь проскочить в глубину и разведайте: нет ли у противника промежуточных рубежей, минных полей, в каком состоянии мосты, дороги.

Из блиндажа начальника штаба Василий вышел вместе с Л юленковым. Капитан посоветовал:

— Ты, Ромашкин, не жди, когда батальоны ударят. В тыл идти лучше до начала атаки. Когда перестрелка начнется, можешь потери понести.

Ромашкин согласился с этим. Если немцы оставят здесь только прикрытие, проскочить нетрудно.

— Я возьму с собой весь свой взвод, — сказал Василий. — Вам на всякий случай оставлю несколько разведчиков во главе с сержантом.

— Правильно! — одобрил Люленков. — И Жмаченко там

делать нечего, он со своим хозяйством пусть к штабу пристроится. Кстати, подыши там место и для штаба полка — мы здесь тоже не задержимся. Ради такого дела попрошу, чтобы дали в помощь тебе саперов.

— Хорошо бы взвод сержанта Епифанова, я с ним уже работал.

— Ладно, схлопочу Епифанова, — пообещал Люленков.

В глубине души он ревниво относился к успехам и славе Ромашкина. Искренне сожалел, что теперешнее служебное положение не позволяет самому ходить на задания. Убежден был, что если уж у этого юнца все так хорошо получается, то у него-то — человека куда более сведущего в делах разведки — получилось бы и получше. Но при всем том капитан всегда помогал Ромашкину чем только мог.

К ночи ромашкинский взвод, усиленный саперами, перебрался в первую траншею. Конечно, туда, где располагалась рота Казакова. Там все уже были готовы к движению вперед. Бойцы, туго подпоясанные, с «сидорами» на спине и противогазными сумками, набитыми всяческим солдатским скарбом, с нетерпением ждали сигнала. Преследование — это не прорыв долговременной обороны, когда приходится под огнем артиллерии идти на вражеские пулемёты. Тут лишь бы столкнуть прикрытие.

Казаков тоже позавидовал Ромашкину:

— Вы как вольные птицы, лети, куда хочешь! Не то что я, грешный: граница справа, граница слева, на такой-то рубеж выйти в десять ноль-ноль, на такой-то к пяти ноль-ноль.

— Зато ты теперь большое начальство, — пошутил Ромашкин.

Казаков пропустил шутку мимо, сказал серьезно:

— Слушай, Ромашкин, а если набрехал твой фриц? Если никакое там не прикрытие, а главные силы нас встретят?

— Не должно бы. По-моему, фриц сказал правду.

— Знаешь завет разведчика? Верить верь, но проверь!

— Вот и проверим. Если нарвемся на главные силы, предупредим весь полк.

— Ты взводом сразу не суйся, дозорами сначала пощупай… — Казаков прислушался к немецким пулемётам. — Вроде поболе обычного стреляют. Перестаралось прикрытие.

— И мне кажется, сегодня огня больше, — сказал Епифанов.

Казаков поглядел на него и спокойно посоветовал:

— Ты, сержант, не об этом пекись, а внимательней под неги смотри. При отходе фрицы хитроумные ловушки устраивают. В одной деревне, помню, боец взбежал на крыльцо — взрыв, под ступенькой мина была. В другом доме дверь стали отворять —

опять взрыв, фрицы к двери мину присобачили, а сами в окно драпанули. Так что гляди в оба!

— Постараемся, — заверил Епифанов.

— Ну, тогда пойдемте, хлопцы, — пригласил Казаков.

— А ты куда? — удивился Ромашкин.

—Я вас до немецкой передовой провожу. Надо же мне знать: прошли вы или нет? У меня там хорошая балочка есть на примете. Помогу опять по старой дружбе.

— Смотри, Караваев узнает, будет снова баня!

— Не узнает, — убежденно сказал Казаков. Вскоре он вывел всех в темную, заросшую кустами низину. Шепнул Ромашкину:

— Мин здесь нет, я проверил.

Эх, Петрович, Петрович! Был ты разведчиком и остался им. Видно, не раз выбирался сюда по ночам, чтобы отвести душу! Сам Казаков объяснил это так:

— В парилке, бывает, хлещешь себя веником — и больно, и приятно. Уж и дышать-то нечем, вот-вот концы отдашь, а остановиться не можешь, все поддаешь! Вот и здесь, в нейтральной, происходит со мной то же: вроде бы смерть кругом, а мне интересно с ней в кошки-мышки поиграть. Конечно, не всякому это понятно.

Но Ромашкин-то его понимал…

Из лощины были посланы в дозор Рогатин, Шовкопляс и Пролеткин.

Они возвратились скоро.

— В траншее никого нет, а на высотке, на самом пупу, фриц с пулемётом, — доложил Пролеткин. — Я предлагал снять его, да Иван не позволил. Талдычит: не велено — и хоть режь самого.

В данной обстановке разумней было бы, пожалуй, снять пулемётчика. Но не хотелось конфузить Рогатина. Василий поддержал его:

— Вас посылали в разведку. И хорошо сделали, что не сняли фрица, могли нашуметь.

— Да мы бы его без всякого шума… — уверял Саша.

— А может, и правда снимем? — озорно подмигнул Казаков. — Моей роте будет легче. На один пулемёт поменьше — и то дело.

Ромашкин посмотрел в черные глаза Петровича. Там светился азартный охотничий огонек.

— Не надо, Ваня, — попросил Ромашкин. — Узнает Караваев, плохо тебе будет. Мы сами снимем пулемётчика, поможем твоей роте.

Казаков вздохнул, огоньки в его глазах потухли.

— Ну, ладно, только прежде свой взвод за их траншею уведи.

А то нашумите — сорвется задание.

— Не сомневайтесь, Иван Петрович, мы чисто все сделаем, — сказал Рогатин.

Казаков с любовью посмотрел на него.

— Ты можешь.

Взвод выполз к немецкой траншее. Один за другим разведчики и саперы перемахнули её и скрылись в кустах.

Когда все собрались, Рогатин приподнялся, посмотрел на Ромашкина. Василий кивнул. Иван толкнул Сашу Пролеткина, и они исчезли во тьме. Ромашкин напряженно вслушивался. Лежавший рядом с ним Епифанов шептал:

— Может, им надо было группу обеспечения дать?

— Справятся сами. Не от кого обеспечивать, немцев в траншее мало.

— Пройти бы по всей обороне и всех часов поснимать! — мечтательно выдохнул Епифанов.

— У нас другая задача.

— Петровичу бы подсказать, он бы со своими ребятами сделал.

— Догадается без нас…

Мелькнули две темные фигуры у основания кустов. Саша держал поблескивающий вороненой сталью немецкий пулемёт.

— Ну, как вы его? — спросил Епифанов.

Излишнее любопытство, как и разговорчивость не ко времени, считалось у разведчиков предосудительным. Потом, в свой час, на отдыхе, все будет рассказано с шутливыми дорисовками, а в ходе задания болтать не полагалось.

— Порядок, — коротко ответил Рогатин и прилег по другую сторону от командира. Он тяжело дышал, руки дрожали: видно, «порядок» дался нелегко.

— Закурить бы, — попросил Иван. Ромашкин разрешил:

— Покури, Ваня. Ну-ка, хлопцы, прикройте его. Разведчики окружили Рогатина, растянув в стороны широкие рубахи маскировочных костюмов. Иван стукнул кресалом, прикурил от тлеющего фитиля. Приятный дымок защекотал в ноздрях разведчиков.

Большое ли дело — позволить человеку покурить в трудную минуту? А вот Ивану запомнится эта чуткость командира и доброта товарищей. За все постарается отплатить им Иван: в бою ли, на отдыхе ли, где придется, но отплатит добром. В большом и малом помогает солдат солдату. Иногда вот так. А в другой раз, может быть, прикроет от пули. Разведчики столь часто рискуют жизнью и так много выручают друг друга из беды, что невозможно понять, кто у кого здесь в долгу. Да об этих долгах, о

взаимных выручках никто и не думает, потому что взвод разведки — одна дружная семья.

Сейчас этот взвод спешил по бездорожью к деревне Квашино. Раньше там стоял штаб неприятельского полка. Теперь штаб, конечно, переместился. Но Василий надеялся прихватить какого-нибудь отставшего писарька или хозяйственника. От них можно добыть очень нужные сейчас сведения, узнать о том, чего ночью личным наблюдением или, как говорят штабники, визуально, не обнаружишь.

Еще на подходе к деревне разведчики услышали говор людей; там и сям мелькали светящиеся точки карманных фонариков.

— Неужели штаб не отошел? — удивился Ромашкин.

— Остался кто-то, — уверенно ответил Коноплев. — Какая-нибудь АХЧ.

Василий велел разведчикам лежать в огороде между грядками, а сам с Коноплевым и Рогатиным стал подбираться к единственной деревенской улице. На дороге увидел лошадей, запряженных в повозки. Подальше рокотал грузовик. Люди торопливо таскали какие-то ящики к повозкам.

— Грузятся, — объяснил Ромашкин, возвратясь к разведчикам. — Самый подходящий для нас момент. Упускать нельзя. Ты, Коноплев, бери Шовкопляса, Студилина, Голощапова и Епифанова с саперами. Пойдешь туда, где мы сейчас были. Ты, Иван, вместе с Пролеткиным, Жуком, Пантелеевым — на восточную окраину. Все остальные со мной — на западную. Сверьте часы, сейчас половина второго. Ровно через пятнадцать минут забросать фрицев гранатами и бить из автоматов. Главное, больше шума. Пехотные батальоны отошли, бояться нам некого. После налета собраться опять здесь же. Если станут преследовать, отходить вон на ту высоту. Понятно?

— Ясно.

— Усвоили.

По четким этим ответам Ромашкин понял: у ребят хорошее настроение. Да и сам он ощущал веселую дрожь — верный предвестник удачи.

— Действуйте!

Он вывел остатки взвода на вероятный путь отхода противника и поставил дополнительную задачу:

— Мы откроем огонь позже коноплевской и рогатинской групп. Они пусть начнут. А когда фрицы драпанут из деревни, мы их тут и ударим.

Ромашкин расставил людей так, чтобы фронт был пошире, приготовил две гранаты и стал ждать, поглядывая на светящиеся стрелки трофейных часов. Стрелки будто остановились. Поднес

часы куху, послушал: тикают.

Наконец время истекло.

— Ну, пора! — тихо сказал Ромашкин.

И его будто услышали на противоположной окраине и в центре деревни. Там забухали гранаты, затрещали частые автоматные очереди. Послышались крики немцев, беспорядочная ответная стрельба. И вот уже по дороге мчат галопом две повозки, а по обеим их сторонам — немцы.

Ромашкин напрягся. Кровь толчками понеслась по телу. Он приподнялся и метнул гранату, целясь в повозку. Тут уже открыли огонь разведчики, лежавшие рядом с ним, но невидимые в темноте.

Василий тоже приложил автомат к плечу и дал несколько очередей. Дико заржала лошадь, упала и забилась на земле, ломая оглобли. Другая скачками умчалась в поле, волоча за собой опрокинутую повозку.

Ромашкин, пригибаясь, пошел к повозке, оставшейся на дороге, за ним выскочили Цикунов и ещё двое.

— Быстро осмотреть повозку, собрать документы, — скомандовал Ромашкин. — Поглядите, может, раненого подберете. Только чтобы на своих ногах ходил, таскать сейчас некогда.

Возле забора возникла темная фигура. Василий схватился за автомат.

— Товарищ старший лейтенант, не стреляйте! Это я — Саша!

— Почему здесь болтаешься?

— Так все трофеи к вам убежали.

— А где грузовик? Упустили?

— На месте стоит. Мы гранатами его покалечили. В нем мины. Полный кузов. Наверное, здесь саперы были. Хотели дороги минировать.

— Вовремя мы застукали их, — сказал вдруг из мрака Иван.

— И ты здесь?

— Я в дома наведался. Поглядел, может, бумаги какие оставили. Ничего нет.

Цикунов позвал Ромашкина:

— Офицер убитый. Посмотрите.

Василий подошел, оглядел пожилого толстого обер-лейтенанта. Убитый как убитый, ничего интересного.

— Ну все! Пошли на место сбора. Цикунов, не забудь взять документы у офицера.

— Я тут чемодан нашел — его, наверное. В чемодане много бумаг и фотографий.

— Неси, разберемся.

В назначенном месте собрались все. От возбуждения много курили, пряча цигарки в пригоршнях. Ромашкин спросил:

— Никого не зацепило? — все молчали. — Двигаем дальше.

Вереницей вытянулись вдоль дороги. Рогатин и Пролеткин шагали впереди на значительном удалении с автоматами наготове.

На рассвете разведчики обнаружили до роты гитлеровцев. Те ходили в полный рост по склону высотки, копали окопы.

— Вот и промежуточный рубеж, — определил Ромашкин. — Я буду готовить донесение, а ты, Епифанов, выясни, есть ли мины перед траншеями. Давай быстро! И поосторожнее, чтобы не засекли.

Сержант с несколькими саперами скрылся в кустах.

Пока Ромашкин чертил схему, наносил на бумагу почти уже готовую траншею и обнаруженные в ней пулемёты, Епифанов успел вернуться.

— Мин нет, — доложил он.

— Как определили?

— Немцы сами ходят перед траншеей, в овраг спускаются за дерном. Не по тропинкам идут, а кому где вздумается.

— Хорошо. Так и доложим, — удовлетворенно сказал Ромашкин. — Студилин и ты, Голощапов, возвращайтесь в полк. Эту схему передадите начальнику штаба или капитану Люленкову. Потом найдете старшину Жмаченко — он со штабом идет — и топайте вместе с ним.

Многие из разведчиков, не теряя времени, уже спали под кустами, совершенно сливаясь в пятнистых своих костюмах с окружающей местностью.

— Подъем, ребята! Здесь нам больше делать нечего, — скомандовал Ромашкин…

К исходу дня они достигли главной полосы в новой обороне противника. Немцы чувствовали себя в безопасности и особой бдительности не проявляли. Василий, как умел, воспользовался этим. Епифанов присмотрел здесь длинную лощину с крутым берегом, очень удобным для устройства штабных блиндажей. Лощина была зеленая, травянистая, на дне её протекал ручей.

— Не штаб, а санаторий будет, — одобрил выбор Ромашкин. Он выставил наблюдателей, послал навстречу полку дозор с очередным донесением и облегченно вздохнул: — ну, братцы, мы все свои дела сделали, теперь не грех и передохнуть, дайте сюда чемодан обера, пора разобраться, что там в нем.

Цикунов открыл чемодан, вынул парадный мундир с Железным крестом и ещё какими-то значками, отметил вслух: — Заслуженный фриц был. — Проверил карманы и бросил мундир в

кусты. — А вот это нам годится. Тут у него ветчина и консервы. Есть ещё какие-то баночки вонючие, мазь, наверное.

— Ну-ка, покажи… Чудило, это же сыр! Лучший в мире.

— Фотографий полно, письма, — продолжал разбираться в содержимом чемодана Цикунов.

Фотографии пошли по рукам. На одной из них обер-лейтенант в парадном мундире, наверное, том самом, который выбросил Цикунов, стоял рядом с высокой сухопарой женщиной, в лице её было что-то совиное.

Письмами Ромашкин занялся сам, одолевая неразборчивый почерк, прочитал:

"Веймар. 26.7.42 года.

Мой дорогой Ганс!

Я много раз в день подхожу к твоему портрету и любуюсь тобой. Какое счастье дал нам фюрер! Жили мы с тобой скучной жизнью, никто нас не знал. А теперь ты — офицер, кавалер Железного креста. Как я счастлива! Смотрю на тебя и не верю, неужели это мой Ганс? Вот и лето пришло. Бог хранит тебя для новых подвигов во имя Великой Германии. Вперед, мой рыцарь! Фюрер смотрит на вас.

Целую нежно. Твоя Гретхен".

— Вот стерва! — мрачно выругался Рогатин.

— Их заставляют так писать, — сказал Коноплев. — Не всегда по своей воле такое пишут.

— Нет, эта бабенка от души писала…

Неподалеку вдруг затрещали редкие выстрелы. Из-за немецких траншей ударили минометы. Ромашкин в бинокль увидел цепи наших бойцов.

— Идут! — обрадовался Василий, продолжая глядеть в бинокль. — Как всегда, впереди рота Куржакова.

Интересно было наблюдать за своими со стороны противника. Бойцы бежали, пригибаясь, и почему-то не стреляли. Куржаков с автоматом на груди широко вышагивал в боевых порядках и что-то кричал отстающим, наверное, ругался, но лицо у него было веселым.

— Цикунов! Выйди им навстречу, а то примут нас за немцев…

Вскоре Куржаков, сопровождаемый Цикуновым, подошел к разведчикам.

— Явился, не запылился, — весело сказал Ромашкин.

— А вы прохлаждаетесь?

— Чего же ещё !.. Оборону разведали, вас поджидаем.

— Не очень-то далеко мы отстали. Вслед за вами шли.

— А все же вслед, — подмигнул Ромашкин. — Ну, ладно, старшой, есть хочешь? Садись, у нас тут трофеи.

— Пожрать не мешало бы, — признался Куржаков, — да некогда. Попробую с ходу влететь в оборону фрицев, пока они не очухались. Может, зацеплюсь вот на той высотке. Я ведь не разведка, не по кустам воюю. Привет!

Он побежал дальше за своими бойцами.

Немецкая оборона затарахтела пулемётами, забухала орудиями. Особенно плотным был огонь там, куда нацелился Куржаков. Коноплев в бинокль наблюдал за боем и докладывал, не отрывая глаз от окуляров:

— Зацепились наши за высотку!.. Куржакова вижу…

— Ну и дьявол! — восхитился Василий. — Все же влез. Ох, и дадут ему фрицы жару!.. Вот чертов Куржак, ни себе, ни людям покоя не дает. Помогать надо. Подъем, ребятки! А ты, Епифанов, здесь с саперами оставайся, встретишь штаб.

— Мне бы с вами! — попросился Епифанов.

— Нет, сержант, кончилось наше с тобой взаимодействие. Теперь твое дело — землю копать. Готовь НП, Караваев в тылу не засидится.

Выпрямили Курскую дугу

О подготовке немцами нового грозного наступления на Курской дуге весной 1943 года первыми вызнали те разведчики, что носили немецкую форму и работали в глубоком тылу врага, в его штабах и государственных учреждениях. Но и для Ромашкина вместе со всем его взводом перед этой битвой дел было невпроворот. Недаром зачастил в блиндаж разведвзвода Гарбуз — теперь уже не комиссар, а замполит.

Разведчики с интересом разглядывали его темно-зеленые погоны с малиновыми просветами и звездочкой в центре. По приказу погоны полагались всем ещё с января, но пока их шили в тылу, пока везли на фронт, времени прошло немало.

— Скоро, скоро и вас обрядим, — обещал Гарбуз. — В дивизии погоны получены. На днях привезут и нам. А сейчас прошу внимания.

И в который уже раз заводил речь о задуманной в немецком генеральном штабе операции, о том, какие надежды связывает с нею Гитлер и насколько важно для нашего командования постоянно быть в курсе событий, происходящих по ту сторону фронта.

А тем временем весь полк все глубже и глубже закапывался в землю. Сеть свежих траншей покрыла поля, холмы, опускалась в лощины, уходила в перелески. Каких только позиций не настроили многострадальные солдатские руки — основные, запасные, отсечные, ложные, передовые, тыльные! Руки эти перелопатили столько родной земли, что ладони покрылись сначала твердыми, как роговица, обычными трудовыми мозолями, потом стали появляться белые прозрачно-водянистые волдыри, потом волдыри заполнились розовой сукровицей, а затем кожа порвалась в клочья, обнажив живое мясо, прилипавшее к рукояткам лопат.

Строительство оборонительных сооружений ежедневно проверяли офицеры из управления дивизии. Не сидело в штабе и армейское начальство. Однажды в полк прибыл член Военного совета армии генерал-майор Бойков. Командиру полка, начальнику штаба, начальнику артиллерии и другим, кто намеревался сопровождать его, сказал:

— Свиты не надо. Пойду по батальонам только с Гарбузом. Свиту немец заметит, работать не даст, больше придется лежать под обстрелом.

Начальника политотдела дивизии, который приехал вместе с ним, тоже ввернул:

— Ты, Борис Григорьевич, действуй по своему плану…

К середине дня Бойков обошел почти всю оборону полка и позвонил Караваеву из правофлангового батальона:

— Кирилл Алексеевич, мы закончили, сейчас возвращаемся. Соберите-ка минут через двадцать работников штаба и командиров специальных подразделений, которые поблизости окажутся.

— Пообедать бы надо, товарищ одиннадцатый, — напомнил Караваев.

— А мы уже пообедали, — ответил Бойков. — Вот здесь, где я теперь нахожусь. Должен сказать, харч мне понравился. Солдат любит, чтобы в супе ложка стояла. Мы с Андреем Даниловичем проверили — ложка стоит!.. И мы, и солдаты довольны…

Среди приглашенных на совещание оказался и Ромашкин. Собрались в самом большом из штабных блиндажей. От скопления людей здесь было душно, хотя двери раскрыли настежь.

Генерал сбросил пыльную плащ-палатку у входа. Румяный и бодрый, шагнул, пригибаясь, под низкую притолоку. На груди у него маленьким ярким солнышком светилась Золотая Звезда Героя Советского Союза. Василий первый раз в жизни увидел так близко человека, удостоенного самой высокой боевой награды.

— За что? — показав глазами на Звезду, шепотом спросил он капитана Люленкова, сидевшего рядом,

— За штурм линии Маннергейма, — тоже шепотом ответил капитан. — Он тогда комиссаром полка был…

Бойков сначала высказал свое мнение о состоянии обороны полка. Похвалил — хорошо поработали. Посоветовал обратить внимание на стык с соседом справа.

Подробно рассказал о положении на фронтах. Много и с уважением говорил также о тружениках тыла. Приводил цифры и заверения рабочих, колхозников о том, что они дадут все необходимое для победы.

Перед отъездом Бойков спохватился:

— Кирилл Алексеевич, чуть не забыл спросить: среди ваших знакомых есть инженер Початкин?

— Инженер? У меня сосед под Москвой — Початкин. Старик, участник гражданской войны.

— Нет, этот молодой. Сегодня утром его задержали тут поблизости. Думали, местный житель. Проверили документы — москвич.

— Подождите, не Женька ли Початкин?

— Точно, Евгений!

— Так это сын моего соседа!

— Вот и он так отрекомендовался. И ещё сказал, что хочет у вас служить. Некоторые горячие головы в трибунал его направить собирались. Если не как шпиона, то уж как дезертира. А я говорю: какой же он дезертир? Дезертиры убегают с фронта, а этот на фронт прибежал… В общем, забирайте его. Опознаете — ваш. Оформим — и пусть служит. Парень, видно, хороший. Пошлите за ним кого-нибудь в особый отдел. Попутно могу довезти туда.

— Старший лейтенант Ромашкин! — позвал Караваев. Василий подошел.

— Поедете в штаб армии с генералом. Обратно на попутных привезете задержанного Початкина. Только не как «языка» везите, — улыбнулся подполковник, — хоть он и задержанный.

— Это не тот ли Ромашкин, который на Новый год отличился? — спросил генерал.

— Тот самый! — подтвердил Караваев. — Он теперь у нас разведвзводом командует.

— Рад познакомиться. Поехали, старший лейтенант…

В «эмку» Бойков сел рядом с шофером и сразу задремал — намаялся задень. Но дремал он недолго. И, открыв глаза, повернулся к Ромашкину:

— Здорово вы, старший лейтенант, в новогоднюю ночь действовали. А как сейчас дела?

— По-всякому. Разведка — дело мудреное.

— Учиться надо. Карту читаешь хорошо?

— Вроде бы ничего.

— А вот посмотрим. Ну-ка, Степаныч, притормози. — Генерал вышел, раскрыл планшетку с картой, подал Ромашкину. — Определи точку стояния и что вокруг нас.

Василий в первый момент смутился, потом нашел на карте, где стоит полк. Прикинул, сколько отъехали от передовой, огляделся и начал докладывать.

— Вот здесь мы. Вот лес, на юг от нас восемьсот метров. Вон деревня Лукино — трубы торчат. Вот дорога, по которой едем. Впереди мостик через речку.

— Верно! Садись, поедем дальше.

«Эмка» виляла по избитой, тряской дороге, делала повороты. Ромашкина тоже стало убаюкивать. Сам не заметил, как заснул, привалясь в угол.

Пробудился от толчка на каком-то ухабе.

— С добрым утром! — пошутил генерал и опять остановил машину. —А ну-ка, старший лейтенант, определись, где мы теперь?

Василий выбрался из машины и, даже не поглядев как следует вокруг, показал на карте точку.

— Ну, молодчина! Ориентируешься как летчик, мгновенно.

— Не взяли меня в летчики, — признался Ромашкин.

— Напрасно. Очей не успел продрать, а на местности уже сориентировался…

Когда подъехали к особому отделу и Бойков стал прощаться, Василий сказал:

— А ориентировался я, товарищ генерал, по спидометру вашего автомобиля. Вижу, проехали шесть километров, откладываю их на дороге, и — порядок. Проехали четыре — снова отмеряю, и опять точно все получилось.

— Ах ты, бестия! — рассмеялся генерал. —Для разведчика и это недурно. Будь здоров! — И коротко бросил работнику особого отдела, вышедшему навстречу: — Отдайте старшему лейтенанту задержанного Початкина.

Початкин вышел в сопровождении сержанта. В прифронтовой полосе внешность его действительно могла вызвать подозрение: гражданское демисезонное пальто, меховая черная шапка, сам слегка припадает на правую ногу. Лицо заросло щетиной, взгляд угрюмый.

— Узнаете? — строго спросил дежурный. Ромашкин молча переглянулся с Початкиным, но врать не стал.

— Его хорошо знает наш командир полка. А мне поручено только доставить этого товарища на НП.

— Распишитесь вот здесь в получении задержанного, — подсунул дежурный какую-то бумажку. — Да смотри, чтобы не ушел по дороге. Может, он и не тот, за кого выдает себя.

— Да ведь к фронту шел, — вспомнив рассказ Бойкова, заметил Ромашкин.

— К фронту! Всех нас это гипнотизирует. А если фашистскому агенту надо к своим вернуться, куда он пойдет? К Уралу, что ли?

Ромашкин насторожился: «Чем черт не шутит! Караваев-то пока что не видел этого Початкина. Может быть, достал чужие документы и вынюхивает здесь что-то. У немцев в тылу я тоже мог бы так поступить».

Початкин заметил настороженность старшего лейтенанта и молча шел рядом, не набиваясь на разговор.

Встали на дороге. Ромашкин поднимал руку перед каждой мчавшейся к фронту машиной, однако ни один шофер не затормозил, все проносились мимо.

— Тут не выгорит, идем к регулировщику, — подсказал Початкин.

— А ты, оказывается, опыт имеешь.

— Я ж от самой Москвы на попутных ехал.

— Как же тебя раньше не задержали?

Початкин промолчал.

Подошли к девушке-регулировщице. Ромашкин попросил ее:

— Посади нас, милая, в сторону генерала Доброхотова. Слыхали о таком?

— Слыхала, слыхала. Я все ваши хозяйства знаю, — ответила деловитая регулировщица. — Идите в сторонку, не мешайте. Позову, как попутная будет.

Ромашкин с Початкиным присели на бугорок у дороги. Здесь уже дымили цигарками несколько человек. Девушка время от времени вызывала:

— Хозяйство Никишина! Садитесь.

— Хозяйство Трегубова кто спрашивал? С бугорка к машинам сбегали пассажиры. На бегу благодарили регулировщицу:

— Спасибо, красавица!

— Спасибо, милая, дай бог тебе хорошего жениха!

Вскоре дошла очередь и до Ромашкина с его подопечным. Не более как через час они уже входили в землянку командира полка. Караваев обнял Початкина, обрадованно воскликнул:

— Женька! Ну и вырос ты! Совсем взрослым стал. Правда, что инженер?

— Только что испечен. Вот диплом. — Початкин достал синюю книжечку из бокового кармана.

Ромашкин стоял у двери, ожидая указаний. Их, однако, не последовало. Караваев сказал запросто:

— Раздевайся, Ромашкин, садись… Я хочу, чтобы вы подружились. — И тут же опять обратился к Початкину: — Это наш разведчик, очень хороший парень.

Початкин взглянул на Ромашкина с укором, будто хотел возразить командиру полка: «Какой же хороший? Я к нему всей душой, а он замкнулся на все запоры. Вез меня как шпиона».

Ромашкину не хотелось оставаться здесь, испытывать и дальше неловкость. Да и незачем мешать, когда встретились близкие люди, — пусть поговорят без постороннего. Деликатно, но настойчиво попросил:

— Разрешите идти, товарищ подполковник. Дела у меня…

— Да что вы не поладили? — изумился Караваев. — Что у вас произошло, Женя?

— Ничего. Взял он меня под расписку и приконвоировал. Вот и все.

— Не обижайся, его обязанность такая, — примиряюще сказал подполковник. — Идите к столу, ребята. Ты, Женя, голоден, наверное? Ну и арестант! Кстати, мать-то с отцом уведомил, когда в бега подался?

— Письмо на столе оставил.

— Сегодня же напиши, что добрался благополучно.

— Мне бы умыться, побриться, Кирилл Алексеевич!

— Извини, сразу не предложил. Гулиев! Дай бритву. Да помоги умыться гостю. У нас, Женя, ванной здесь нет, привыкай. Иди вон туда, в утолок, Гулиев тебе сольет.

Пока Женя приводил себя в порядок, подполковник рассказывал:

— Он не первый раз в бегах. Лет двенадцати в Африку бежал. Где тебя тогда поймали? В Клину, кажется?

— В Волоколамске, — рассеянно ответил Початкин.

Голый до пояса, он нагнулся над ведром. Ромашкин сразу определил: «Спортсмен. Мышцы на плечах и руках плотные, бугристые».

Караваев, проследив за взглядом Ромашкина, пояснил:

— Гимнаст первого разряда. И с детства сорвиголова. Однажды выхожу из дома, вижу, Женькина мать стоит во дворе, руки сцепила перед грудью, глядит вверх, будто молится. «Что с вами?» — спрашиваю. А она мне: «Тихо». И на крышу дома нашего показывает. Гляжу, а там на печной трубе Женька вверх ногами стойку делает. Мать пикнуть боялась, чтобы не испугать свое дитятко… Ты сейчас-то в форме? — спросил подполковник Початкина. — Стойку делаешь?

— Пожалуйста, — с готовностью откликнулся Початкин и, упершись в края табуретки, легко вскинул тело вверх ботинками, дотянулся ими до бревенчатого наката.

Гулиев ошалело глядел на гостя. Его изумила не ловкость Початкина, а то, что этот парень встал вверх ногами в присутствии командира полка. Караваев же явно залюбовался Женькой.

— Видал миндал? Силенка есть. Куда же тебя определить?

— В разведчики, — попросил Початкин, опуская ноги на пол. Кивнул на Василия: — К нему вон.

— Не выйдет! — погрозил пальцем подполковник.

— Почему?

— А если убьют тебя, что я родителям скажу?

— Я бы на месте Ромашкина обиделся. Ему, значит, можно рисковать, а меня поберечь надо?

— Погоди, не петушись. У тебя высшее образование, ты инженер — пойдешь ко мне адъютантом.

— Нет уж, дядя Кирилл, в адъютанты не пойду. Лучше назад в особый отдел отправляйте.

— Пререкаешься?

— Я ж пока что не военный, — усмехнулся Женька.

— И то правда! — согласился Караваев. — Ну, ладно, сейчас присвою тебе своей властью звание сержанта и упеку… Куда же тебя упечь? Да, ты же инженер, — значит, быть тебе сапером!

— Ну, это ещё куда ни шло! А может, все же в разведку?

— Саперы тоже в разведку ходят. Спроси Ромашкина, кто им проходы делает?

— Саперы, — подтвердил Василий, а сам подумал: «Из Женьки разведчик получился бы».

— Итак, решено: примешь присягу, подучишься кое-чему и будешь вместе с нами бить фашистов.

— С вами, дядя Кирилл! — воскликнул как-то по-мальчишески Початкин, влюбленно глядя на подполковника.

И Василий ясно представил, как этот самый Женька в свои школьные годы с завистью смотрел на красивого соседа в командирской форме, как ему хотелось быть похожим на Караваева!

Гулиев уже поставил на стол тарелки с консервированной тушенкой, свиным салом, копченой рыбой, миски с пшенной кашей и совсем домашнюю хлебницу с крупными, будто топором нарубленными кусками черного хлеба.

— Давайте, ребята, заправляйтесь, — пригласил подполковник.

Початкин брал еду не торопясь и жевать старался так же медленно. Но по тревожному взгляду, который он устремлял иногда на пустеющие тарелки, Ромашкин понял — парень наголодался. Караваев тоже понимал Женькино состояние и, чтобы не смущать его, повел разговор о делах семейных.

— Отец-то чем сейчас занимается? Мама как?

Женя рассказывал:

— Сейчас все работают. Отец опять на завод вернулся. «Не до пенсии теперь», — говорит. Мама работу берет на дом, белье шьет солдатское. На здоровье не жалуется… У ваших также все вроде бы хорошо. Валерка в школу ходит. Любаша бегает, щечки румяные. Был я у них на прошлой неделе. Тетя Аня усадила меня чай пить. Любаша у нее на руках вертелась, а потом говорит: «Я к дяде Жене хочу». Забавная такая! Спустилась на пол, топ-топ ко мне, забралась на колени. И вдруг вытаращила глазенки, спрашивает: «А сахар куда убежал?» Мы все рассмеялись. Оказывается, она ко мне из-за сахарницы пришла. А тетя Аня догадалась и, пока та по полу топала, сахарницу спрятала… — Початкин осекся и тут же поправился: — Это я так, к слову, про сахар вспомнил. Все дети сладкое любят.

— Ладно, дипломат, не выкручивайся, — невесело улыбнулся подполковник. — Понимаю все. Но вот что странно, ребята, чем

дальше мы уходим от дома, тем спокойнее на душе…

Местность здесь была слегка всхолмленной. Взгорки в заплатах старой пашни.

Несколько дней лили серые дожди. В бороздах стояли мутные лужи. Неширокая река вздулась и залила отлогие берега. А к вечеру подул вдруг пронзительный ветер, резко похолодало.

На задание разведчики вышли поздно — все ждали, может, потемнеет. Но луна светила так ярко, что вся нейтральная зона просматривалась почти как днем.

Прошли первые сто метров, и Ромашкин понял, что в таких условиях захватить «языка» не удастся.

Немцы обнаружили их на середине нейтральной зоны. Пришлось залечь меж борозд, прямо в ледяную воду. Одежда сразу промокла.

Вражеские пулемётчики — сначала один, а потом и другой — били длинными очередями. Пули шлепались рядом, брызгали в лица жидкой грязью. Разведчики вжимались в лужи до твердого грунта, вытесняя на края борозд глинистое месиво.

Перед глазами Василия внезапно взметнулся столб огня. От взрыва зазвенело в ушах. Несколько таких же взрывов сверкнуло справа. Это уже минометы! Ромашкин дал команду отходить и сам стал разворачиваться в борозде. Рядом раздался негромкий вскрик.

— Кто ранен? — спросил Ромашкин.

— Я, Лузгин.

— Сам ползти можешь?

— Могу.

— Давай, отходи первым…

В траншее их встретил озабоченный Люленков.

— Все живы?

— Лузгина ранило. Куда тебя, Лузгин?

— В ногу.

Разведчики были так вымазаны грязью, что сами с трудом узнавали друг друга.

— Ну, что ж, — вздохнул начальник разведки, — идите к себе, сушитесь и чиститесь…

На следующую ночь все повторилось с удручающей неизменностью. Не принесла успеха и третья ночь. Луна будто смеялась над разведчиками.

Ромашкина вызвал начальник разведки дивизии Рутковский. Резко спросил:

— Долго вы намерены докладывать «на три О»?

Ромашкин хорошо знал, что значит докладывать «на три О»: обнаружены, обстреляны, отошли. Это был обидный упрек в

неудачливости, даже, может быть, в неспособности правильно подготовить и провести ночной поиск. Хотелось возразить Рутковскому, а тот не дал, закончил строго:

— "Язык" должен быть захвачен во что бы то ни стало!

Выручить могло только ненастье. Но, всем на радость, а разведчикам назло, погода установилась хорошая — с теплыми днями и холодными, ясными ночами.

Однажды все же удалось подобраться к немецкому проволочному заграждению. Осторожно перерезали нижние нити. Ромашкин подал знак и первым полез в дыру, ощерившуюся колючками, как зубастая пасть. К обычному в такие минуты волнению прибавилось предчувствие неотвратимой беды. Полз и ждал: «Сейчас начнется… Сейчас…»

Он не ошибся. Как только разведчики миновали узкий проход, сбоку из траншеи ударила струя трассирующих пуль. Она била почти в упор. «Ну, все!..» — решил Ромашкин, и в тот же миг увидел, как кто-то из его ребят вскинулся над землей и побежал к пулемёту. Огненная трасса ужалила его, но он все же успел метнуть гранату. Грянул взрыв. пулемёт смолк. Разведчики тут же кинулись назад. Они лезли под проволоку, оставляя на колючках клочья одежды, царапая тело и не чувствуя при этом боли.

Ромашкин заставил себя посмотреть — не оставлен ли за проволокой тот, кто метнул гранату? Увидел, что его волокут, дал из автомата несколько очередей по траншее и продолжал отход.

Немецкая оборона вся брызгала огнями. При этом зловещем освещении Василий ясно различал бегущих врассыпную разведчиков, видел, как они падали на землю, только не знал, кто из них жив, а кто рухнул замертво.

За пригорком группа собралась. Ромашкин быстро пересчитал ребят — все семеро здесь Но один неподвижно лежит на земле.

— Кто это?

— Костя Королевич, — ответил Рогатин, держа в руках бинт, приготовленный для перевязки.

Иван расстегивал Костину гимнастерку, искал рану.

— Не надо, — остановил его Саша Пролеткин и показал на две круглые, величиной с вишню, дырочки, черневшие в голове Королевича там, где начинался тоненький пробор.

Еще двое были ранены: Коноплев — в плечо, Студилин — в руку. Царапины от колючей проволоки не в счет.

Королевича принесли в овраг и положили возле блиндажа разведвзвода. Впервые Костя не вошел вместе со всеми в их шумное жилье.

Там разведчиков поджидал уже накрытый стол — старшина

Жмаченко почему-то нарушил традицию. У Ромашкина мелькнула глупая мысль: «Вот потому и убило Костю». Зло спросил старшину:

— Ты зачем это сделал?

— Да жалко стало вас, уж столько ночей не спите… Хотел, чтобы сразу поужинали, скорей полегли спать, — виновато отвечал старшина, и щёки у него заметно подрагивали.

За стол никто не сел. Обтерев оружие и сбросив маскировочную одежду, разведчики легли спать. Но заснули не сразу, каждый вспоминал Костю Королевича. Теперь, когда его не стало, все вдруг ясно поняли, какой это был добрый и покладистый парень, никогда не вздорил, ни с кем не задирался.

Перед Ромашкиным стоял живой Костя — с голубыми глазами, стеснительной улыбкой и девичьим румянцем. Не зря разведчики прозвали Костю Барышней. Но прозвище это не было ни злым, ни насмешливым. Оно лишь отражало чисто внешние особенности Кости. Из-за такой внешности Ромашкин поначалу избегал брать его на задания. Да и потом, когда уже знал, что на Костю можно положиться, включал его только в группы обеспечения. Для жесткой работы в группе захвата Королевич казался неподходящим — смущала чистая голубизна его добрых глаз.

«А не я ли виновен в том, что погиб Костя? — думал теперь Ромашкин и ужасался этой мысли. — Не брал на задания, не включал в группу захвата, вот он и решил доказать, на что способен».

Хоронили Костю утром. Могилу вырыли на пригорке («чтоб посуше была»), почти рядом с блиндажом разведвзвода («пусть будет с нами»). На дно постелили сосновых веток. И когда Костю, завернутого в плащ-палатку, уже опустили на эти душистые ветки, туда же осторожно спрыгнул Саша Пролеткин и отвернул уши Костиной шапки — пилотка его осталась за немецкой проволокой, — стянул в узелок шнурки. Все понимали — мертвому разведчику теплее не будет, но мысленно одобрили эту последнюю заботу о товарище.

Плакал один старшина Жмаченко. Не стесняясь, утирал слезы рукавом телогрейки и даже тихонько причитал по-бабьи.

Грянул трескучий залп из автоматов. На могилу поставили деревянную пирамидку с фанерной звездой, покрашенной красной тушью, а масляной черной краской написали: «Костя Королевич, 1922 года рождения, разведчик. Геройски погиб при выполнении боевого задания 20 июня 1943 года».

В те дни в полосе соседней дивизии пленный все же был захвачен. В разведсводке, разосланной по всем частям армии,

сообщалось: «Немецкое командование, желая во что бы то ни стало сохранить в тайне группировку своих войск, издало строжайший приказ, предупреждающий командиров подразделений первого эшелона, что они будут немедленно сняты с должности и разжалованы в рядовые, если русские разведчики возьмут у них пленного».

Вот почему так трудно стало проникать в расположение фашистов. А проникать тем не менее надо. И притом систематически. Обстановка на фронте накаляется. Немцы назначают и отменяют сроки наступления, перемещают войска, подтягивают резервы, в том числе эшелоны новых тяжелых танков с устрашающим названием «тигр».

Тысячи оптических приборов следят за врагом с наблюдательных пунктов, усиленно ведется фотографирование его позиций и войсковых тылов с воздуха. Но всего этого недостаточно.

Нужен живой человек, хотя бы частично посвященный в замыслы немецкого командования и способный рассказать о них.

Ромашкин до изнеможения сновал по всей первой траншее, выискивал удобные подступы к обороне противника. И все думал о Королевиче: «Если бы он не бросил гранату, ни один из нас не ушел бы от смерти!»

После многократных неудач поисковых групп командир дивизии принял решение: добыть «языка» в открытом бою. Разведчиков удручала эта крайняя мера. Неловко было глядеть в глаза товарищам: за неудачи разведвзвода должны теперь отдуваться стрелковые роты, саперы, артиллерия — да вообще все.

Штаб полка во главе с Колокольцевым целые сутки трудился над планом разведки боем. Исполнять этот план поручили роте капитана Казакова. В подчинение Казакову временно передали и разведвзвод.

Никогда ещё на памяти Ромашкина в жилье разведчиков не было так тихо. Люди молча готовили оружие, гранаты, патроны, бинты. Даже Саша Пролеткин не шутил.

Василий, поглядывая на своих ребят, тоже приуныл: «Не исключено, что всех нас принесут сегодня на плащ-палатках…» Он понимал: нельзя идти в бой с таким настроением, надо встряхнуться самому и всколыхнуть людей, настроить всех по-боевому.

— Что, братцы, загрустили? — начал Василий. — Разве мы не рисковали раньше? Такие орлы, как Иван Рогатин, Толя Жук, Саша Пролеткин, Богдан Шовкопляс, Коноплев, Голощапов, да и все мы — неужто не выволокем какого-нибудь паршивого фрица?

— За паршивым и ходить не стоит. Уж брать — так дельного, чтоб побольше знал, — вроде бы возразил, но в то же время и поддержал командира комсорг.

Остальные не оттаивали, молчали.

— Вспомните, как не хотели вы расставаться с Иваном Петровичем Казаковым. А теперь вот опять вместе с ним на задание пойдем.

— Может, и меня сегодня возьмете? — попросил старшина. Это всем показалось смешным. Жмаченко сам создал о себе превратное мнение.

— Не надо, товарищ старшина, — с напускной серьезностью сказал Саша. — Если фрицы узнают, что сам Жмаченко на задание пошел, разбегутся кто куда. И опять «языка» не возьмем.

— А что ты думаешь? — подбоченился Жмаченко. — Я тихий-тихий, а как разойдусь, дров могу наломать за милую душу! Костей не соберешь и от смеха наплачешься.

Понятны были потуги старшины и ободряющие слова командира. То и другое разведчики восприняли с благодарностью, но сдержанно.

Ночью Ромашкин привел их в роту Казакова. Заняли исходное положение. Последним напутствием командира полка было:

— Помните, успех решают внезапность и быстрота. Мы вас поддержим всем, что у нас есть, но главное — стремительность.

Ромашкин лежал на непросохшей земле, прислушивался, не хрустнет ли кто-нибудь веткой, не кашлянет ли. Впереди уже работали саперы Початкина.

Участие в разведке боем куда страшнее общего наступления. Перед тем как двинуть вперед корпуса и армии, вражескую оборону долго подавляют и крушат артиллерией и авиацией. Уцелевшие при этом батареи противника отбивают атаку каждая на своем направлении. А в случае разведки боем все минометы и пушки врага остаются невредимыми и осуществляют так называемый «маневр траекториями» — со всех сторон начинают бить по одной-единственной роте, рискнувшей кинуться на мощную оборону…

Возвратились саперы, молча легли в сторонке. Женя шепнул Василию:

— Порядок…

Стало светать.

Позади раздался надсадный скрип, будто взвизгивали, распахиваясь, десятки дверей на несмазанных петлях. Небо озарилось желтой вспышкой, и по нему стремительно пролетели огненные бревна.

Залп «катюш» был одновременно и поддержкой атаки, и сигналом к ней. Ромашкин и Казаков вскочили первыми, побежали вперед. Василий так отвык в ночных поисках подавать команды, что и на этот раз молча устремился к проволоке, знал — ребята не отстанут. А Казаков, все время оглядываясь, покрикивал на бегу:

— За мной! Не отставать!

Вот и подготовленный саперами проход — проволока разрезана, в сторонке валяются обезвреженные мины. «Спасибо Женьке, хорошо потрудился — не проход, а целая улица! И главное, тихо все сделал, не насторожил фрицев», — с благодарностью подумал Василий.

В немецкой траншее замелькали каски, блестящие и обтянутые маскировочными сеточками. Брызнули огнем автоматы, защелкали пули. Хоть и громок шум боя, все же чуткое ухо Василия улавливало, когда пули уносились мимо и когда шлепали, как с силой брошенный камешек, во что-то мягкое и мокрое — так звучат они при попадании в человека. «В кого?..» Оглядываться некогда. Ромашкин сам стрелял по торчащим из траншеи каскам, водил туда-сюда бьющимся в руках, как брандспойт, автоматом.

Забухали гранаты, их кидали откуда-то сзади. Казаков перепрыгнул через траншею, крикнул Ромашкину:

— Давай, действуй! — И тут же стал звать своих солдат: — За мной! Не задерживаться в окопе!

Рота Казакова, по замыслу, должна была ещё продвинуться вперед и тем обеспечить работу разведчиков.

Василий видел, как его ребята уже поднимали лежащих немцев, переворачивали вверх лицом — искали живых: бывает, притворяются убитыми. У поворота траншеи Саша Пролеткин отстегнул сумку у распластавшегося унтера. «Саша невредим», — Ромашкин все ещё помнил, как шлепались пули, попадая в живые человеческие тела. Рогатин выволакивал из блиндажа здоровенного упирающегося фельдфебеля и так крепко держал фрица за шиворот, что тот лишь таращил глаза, покоряясь его силе. «Иван тоже цел!» — обрадовался Ромашкин. Пробежал Шовкопляс. Мелькнули на фланге Жук, Голощапов, Коноплев. «Кого же не стало?» Эта навязчивая мысль чуть отступила лишь в тот момент, когда будто небо обрушилось на землю: фашисты убедились, что их первая траншея занята, и открыли по ней артиллерийский огонь. Били сначала ближние батареи, а потом начался тот самый «маневр траекториями». В траншее, окутавшейся желтым и сизым чадом, невозможно стало дышать, тут и там взрывались снаряды и мины.

— Кто с пленными, немедленно отходите! — крикнул Ромашкин.

Разведчики его услышали, поволокли фельдфебеля и ещё двоих. «Хоть бы живы остались», — думал Василий теперь уже не столько о своих, сколько о пленных.

Наша артиллерия тоже работала вовсю, но её выстрелов не было слышно — они заглушались разрывами вражеских снарядов, и потому разведчикам казалось, что их никто не поддерживает, бьют только гитлеровцы.

— Всем назад! — скомандовал Ромашкин и замахал рукой.

«Как там Петрович? Ему труднее, чем нам». За клубящимся дымом разрывов, за летящей вверх землей Ромашкин не видел ни роты Казакова, ни его самого. Хотелось узнать, что с ним, помочь, если ранен, напомнить — пора отходить. Но железный закон разведки боем требовал: пленные прежде всего! И Ромашкин, помня об этой главной задаче, стал смотреть, где же пленные, все ли разведчики отходят, и сам, спотыкаясь о комья земли, скатываясь в воронки, то и дело пригибаясь, побежал назад. «Петрович — мужик грамотный, без моей подсказки знает что делать».

На наблюдательном пункте их ждал командир дивизии. Когда перед ним поставили рядом троих пленных, он удовлетворенно хмыкнул.

Пленные ещё не пришли в себя, а увидев генерала, растерялись окончательно. Несколько минут назад ротный обер-лейтенант был самым большим из начальников, с которыми они встречались лично. А тут вдруг в трех шагах, не больше, — высокий и, наверное, свирепый русский генерал, одни косматые брови его приводили в трепет. И ещё свита генеральская — полковники, майоры, капитаны.

Доброхотов окинул пленных взглядом, приказал Рутковскому:

— Спрашивай их о главном. Сейчас они до того обалдели, что подробностей из них не вытянешь. Подробно поговорим позднее.

— Когда начнется ваше наступление? — начал Рутковский.

Солдаты покосились на фельдфебеля. А тот, вспомнив свое начальственное положение, приосанился, повыше поднял голову, явно готовясь показать солдатам пример, как нужно держаться на допросе.

— Нужно их развести, — сказал тихо Рутковский. — Обособить младших от старшего. Тут психологический фактор играет роль. И вообще, допрашивать полагается каждого в отдельности, исключая возможность сговора.

Генералу стало неловко, что в спешке он пренебрег этим

элементарным правилом. Однако существует и другой неписаный закон — старший всегда прав. Генерал, сохраняя достоинство, стал выговаривать Рутковскому:

— А какого же лешего ты не делаешь как полагается? Это твоя работа, ты и делай! У меня нет времени вникать в твои «факторы» и «психологии». Организуй все как положено, и немедленно!

— Уведите фельдфебеля и солдат разведите друг от друга. Этого оставьте, — приказал Рутковский разведчикам, охранявшим пленных.

Рогатин потянул фельдфебеля за рукав, и тот решил, по-видимому, что разгневанный русский генерал приказал расстрелять его. Фельдфебель рвался из рук разведчика, кричал в отчаянии:

— Я все скажу! Все скажу!

Рутковскому пришлось изменить свое намерение — начал допрос с фельдфебеля.

И фельдфебель, и двое других пленных, допрошенные каждый врозь, показали: наступление намечалось на середину мая, потом его перенесли на конец июня, а теперь войскам приказано быть в готовности к началу июля.

— Я пошел докладывать командарму, а вы продолжайте допрос, — распорядился Доброхотов и зашагал вверх по лесенке на НП, к телефону.

Ромашкин наблюдал за всем этим вполглаза, слушал допрос вполуха. Внимание его сосредоточилось на дальнем конце оврага, где собиралась рота Казакова, куда несли на плащ-палатках убитых и.раненых. Сам Казаков расхаживал среди бойцов, отдавал какие-то распоряжения.

Высматривал Василий и своих разведчиков. Вроде бы все здесь. Рогатин перевязывал в сторонке Сашу Пролеткина. Около Шовкопляса хлопотал с бинтами Жук. «А где Коноплев? — спохватился Ромашкин. — Может, пошел к замполиту?» После задания Коноплев всегда докладывал Гарбузу об отличившихся комсомольцах. Однако сейчас Гарбуз находился здесь, а комсорга не было.

— Где Коноплев? — спросил Василий уже вслух. Разведчики огляделись, будто надеясь увидеть его рядом. И все молчали.

— Кто видел его последним?

— Не знаю, последним или нет, но я видел его там, в траншее. Он побег к блиндажу, — сообщил Голощапов.

— Я помню, как он зашел в блиндаж, — сказал Пролеткин.

— А потом?

— Потом я вон того фрица поволок, — ответил Пролеткин.

— Вышел Коноплев из блиндажа?

— Не знаю.

— Кто знает? — домогался Василий, но сам уже понимал: произошло непоправимое.

— Наверно, он вошел в блиндаж, а там на него фриц набросился, — предположил Пролеткин.

— Не из таких Сергей, чтобы фриц ему стал помехой, — возразил Голощапов — Да и не дуром влетел он в блиндаж этот. Небось, осторожно шел.

— А если там фрицев трое-четверо было? И оглушили сразу? — настаивал Саша.

— Ну, тогда… — Голошапов не знал что сказать.

— Тогда надо немедленно, пока фрицы не опомнились, лезть к ним опять, — решительно сказал Иван.

— Поздно, уже опомнились, — заключил Голощапов.

— Что же, бросим Сергея, да? — не унимался Рогатин.

— Бросать нельзя, — стараясь быть спокойным, рассуждал Голощапов, — надо выручать как-то по-другому.

Ромашкин лихорадочно думал о том же: «Выручать надо, но как? Как спасти Коноплева?» Понимая, что сам он не в состоянии предпринять что-то надежное, решил поскорее доложить о случившемся командиру полка.

Тем временем дивизионные начальники, прихватив пленных, уже уехали. Были отосланы в тыл и офицеры полковых служб — не имело смысла подвергать их ненужной опасности: гитлеровцы злобно гвоздили наши позиции тяжелыми снарядами. Караваев и Гарбуз тоже намеревались уйти с НП в штаб, но сообщение Ромашкина остановило их.

Караваев выслушав сбивчивый доклад командира разведвзвода, стиснул зубы и отвернулся. Гарбуз всплеснул руками:

— Как же вы раньше не заметили? Ромашкин стоял, виновато опустив голову.

— Комсорга потеряли! — сокрушался Гарбуз. — Не только потеряли, оставили! Это же позор! Может быть, он ранен?.. От стереотрубы тревожно прозвучал голос наблюдателя:

— Товарищ майор, я вижу разведчика, про которого вы говорите.

Гарбуз подбежал к стереотрубе.

— Где он? — тихо спросил Ромашкин наблюдателя

— Стоит привязанный к колу проволочного заграждения. — ответил тот.

— Живой?

— Не знаю. Вроде бы нет. Висит на веревках…

Никогда и никто не желал гибели близкому человеку. Но Василий со щемящей болью в сердце подумал в тот миг о Сергее Коноплеве: «Хорошо, если мертвый: мучиться не будет».

Караваев, уже сменивший Гарбуза у стереотрубы, отрываясь от окуляров, позвал:

— Иди-ка, Ромашкин, приглядись, у тебя глаза помоложе.

Василий склонился к окантованным резиной окулярам. Черный крестик наводки перечеркивал Сергея Коноплева. Он был прикручен к столбу проволочного заграждения: руки вывернуты назад, за кол; тело — до половины оголенное — в крови; клочья маскировочного костюма и гимнастерки свисают к ногам. Изображение в стереотрубе раздвоилось, будто сбилась резкость, но Василий не поправлял наводку, догадался, что причина в другом. Надо было уступать место старшим, они, наверное, хотели разглядеть все более детально, но Ромашкин, ничего не видя, продолжал прижиматься глазницами к резиновым кружочкам: хотелось скрыть слезы.

Гарбуз решительно отстранил его и, заметив на резинках влагу, сказал сочувственно:

— Не казнись, Ромашкин! На войне, брат, все бывает. Коноплев попал в их руки уже мертвым. Был бы жив, ранен, его бы допрашивали, мучили. А если выставили нам напоказ, значит, убит. Ему теперь не поможешь.

Караваев тоже стал утешать:

— В роте Казакова потерь больше — шесть раненых, трое убитых. И о том подумай, Ромашкин: задачу мы все же выполнили — трех пленных взяли!

— Да я Сергея на весь их вшивый полк не променял бы! — воскликнул Василий. — Его нельзя так оставить. Надо что-то делать!

— Предлагай, что именно, — покладисто согласился Караваев. Но тут же предупредил: — Поднять полк я не могу. Выделить батальон — тоже. Какие у них здесь силы сосредоточены — знаешь не хуже меня.

— Может быть, мы ночью его вынесем? — с отчаянием спросил Ромашкин, хорошо понимая, что у тела Коноплева будут и засада, и мины, и другие смертоносные «сюрпризы».

Понимал это и командир полка. Он твердо сказал:

— И ночью не разрешу лезть в петлю. Ты погубишь опытных людей и погибнешь сам. Нет, Ромашкин, чувства чувствами, а здравый смысл, польза делу на войне должны ставиться выше их. То, что ты предлагаешь, обречено на провал. Немцы вас ждать будут. Коноплева они выставили как приманку.

Ромашкин поглядел на замполита, прося этим взглядом

поддержки. Гарбуз отвел глаза.

— Может, добровольцы сходят? — попытался обойти командирскую строгость Василий.

— Ты не мудри и не хитри, — обрезал Караваев, — у тебя добровольцы — все тот же взвод. Иди. Будет ещё возможность рассчитаться за Коноплева. Фрицы скоро сами сюда пожалуют. Помнишь, что сказал фельдфебель? Вот иди и готовь своих людей к этому. За успешное выполнение задания объявляю благодарность. Отличившихся представь к наградам.

— Есть, — тихо сказал Ромашкин и ушел с НП. Вечером к разведчикам заглянул Початкин. Познал, наверное, о настроении Василия. Кивнул с порога:

— Пойдем, поговорим.

Ромашкин покорно вышел из блиндажа. Молча они двинулись вдоль речушки.

— Даже помянуть Коноплева нечем, — сказал огорченно Василий.

Летом войскам не выдавали «наркомовские сто граммов», водка полагалась только зимой, в стужу. Правда, разведчикам, в их особом пайке, эти граммы были предусмотрены на весь гол. Но уже вторую неделю водку почему-то не подвозили.

— Есть возможность добыть немного, — подумав, сказал Початкин.

— Где?

— Помнишь, ты принес ящичек вин Караваеву?

— Гулиев не даст.

— Попытка не пытка…

Гулиева они нашли у подсобки, где хранил он личное имущество командира: простыни, наволочки, летом — зимнюю одежду, зимой — летнюю; запасные стекла для лампы, посуду на случай гостей.

Гулиев читал какую-то книгу. Страницы её были испещрены непонятными знаками, похожими на извивающихся черных червячков.

— Какие люди были! — воскликнул ординарец, ударяя ладонью по книге. — Какая красивая война!

— Да, сейчас таких людей нет, — поддакнул Женька.

— Пачиму нет? — вспыхнул Гулиев. — Люди есть. Война нехароший стала. Снаряды, бомбы — все в дыму. Какое может быть благородство, если никто его не видит! Раньше герои сражались у всех на глазах.

— А Сережу Коноплева ты разве не видел на колючей проволоке?

— Да, Сережа у всех на виду.

— Скажи, Гулиев, как по вашему обычаю героев поминают? — сделал Женька ещё один осторожный шаг к намеченной цели, а Василий подумал: «Подло мы поступаем, надо остановить Женьку».

— О! Наш обычай очень красивый, — откликнулся Гулиев. — Мужчинам плакать не полагается — они поют старинные песни, танцуют в кругу тесно, плечом к плечу. Вино пьют. Только сердцем плачут!

— Мы со старшим лейтенантом песен кавказских не знаем, танцевать не умеем. Но давай хоть вином помянем боевого товарища.

Очи Гулиева засверкали ещё жарче.

— Да-авайте! — Однако он тут же озабоченно спросил: — А где вино взять?

— У нас вина нету, — сказал Початкин. — Мы думали, ты одолжишь.

— У меня тоже нет.

— А тот ящик, помнишь, Ромашкин принес?

— Нельзя. Командир велел беречь для гостей.

— Сейчас тяжелые бои пойдут, не до гостей ему. А потом старший лейтенант и получше вино достанет.

Ромашкин был уверен — эта затея напрасна. Гулиев ни за что не согласится на такой поступок. Но, видно, книга разбередила его сердце, а Женька заставил поверить, что вино будет потом возмещено. Гулиев решительно махнул рукой, будто в ней была сабля:

— Э! За хорошего разведчика Гулиев на все согласен!..

Втроем они еле втиснулись в тесную подсобку. Гулиев расстелил командирскую бурку, достал консервы, хлеб. У него нашелся даже рог, отделанный потемневшим серебром.

— Отец подарил, когда на фронт провожал, — объявил Гулиев. — Здесь написано: «Войну убивают войной, кровь смывают кровью, зло вернется к тому, кто его сотворил!»

Он достал ящичек, без колебаний вскрыл бутылку, даже не взглянув на красивую наклейку, вылил вино в рог и запел грустную песню. Пел Гулиев тихо, полузакрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Василий и Женя, хотя и не понимали слов, сразу покорились мелодии. Она не вызывала слез, не подавляла, а как бы очищала сердце от тяжести, заставляла расправить плечи, ощутить в себе силу. От Женькиной мелкой хитрости не осталось и следа. Все трое — и Женька, и Василий, и, конечно, Гулиев — ощутили себя участниками старинного ритуала и целиком были захвачены его торжественностью. Емкий рог несколько раз обошел их

небольшой круг. Василий, почувствовав облегчение, попросил Гулиева:

— Спой, пожалуйста, ещё . Спой, дорогой Гулиев. Песни твоего народа целительнее вина.

В предвидении наступления фашистов советские полки и дивизии, оборонявшиеся на Курской дуге, пополнялись до штатной численности.

В полк Караваева очередное пополнение прибыло рано утром. От станции выгрузки бойцы шли пешком всю ночь и вымотались изрядно. Когда построили их в две шеренги на дне оврага, картина была не очень красивой. Шеренги выпячивались и западали, поднимались вверх и проваливались вниз, повторяя неровности рельефа местности. В пополнении преобладали молодые, только что призванные, в не обмятых ещё шинелях и не разношенных ботинках, казавшихся огромными и тяжелыми, как утюги. Но были здесь и выписанные из госпиталей фронтовики в ладно сидевшем, хотя и поношенном обмундировании, невесть как и когда добытых яловых сапогах.

Распределять пополнение вышел майор Колокольцев. Начальники служб и командиры специальных подразделений прохаживались вдоль строя, искали нужных им людей.

— Плотники, кузнецы, строители есть? — громогласно вопрошал полковой инженер Биркин и записывал фамилии откликнувшихся.

— Радисты, телефонисты! — взывал начальник связи капитан Морейко.

— Боги войны имеются? — басил артиллерист Богданов.

Каждому хотелось заполучить готового, на худой конец — почти готового специалиста. Но существовала определенная последовательность в распределении вновь прибывших. И Колокольцев сразу водворил порядок:

— Кончайте базар! Незачем зря время тратить!

Первым имел право подбирать себе людей капитан Люленков. Он появился перед строем в сопровождении Ромашкина, ухарски сдвинув пилотку на правый висок. Зычно скомандовал:

— Кто хочет в разведку, три шага вперед!

Строй не шелохнулся.

— Наверное, вас не расслышали или не поняли, — тихо сказал капитану удивленный Ромашкин.

Люленков не в первый раз имел дело с пополнением. С ехидцей ответил Ромашкину:

— Они поняли все. Это, знаешь, не в кино. — И, вновь обращаясь к прибывшим, заговорил тоном искусителя: — В разведке особый паек, сто граммов зимой и летом.

— И девять граммов свинца без очереди, — откликнулся кто-то в строю.

— Ну, те граммы на войне любой получить может. А в разведке служба интересная, особо почетная.

Бойцы стояли потупясь, никто не хотел встретиться взглядом с капитаном.

— Неужели все прибывшие — трусы? — обозлился Ромашкин.

— Погоди, не горячись, — остановил его Люленков.

— А при чем здесь трусость? — громко и обиженно спросил из строя высокий боец с густыми русыми бровями и строгим длинным лицом.

— Как при чем? Боитесь идти в разведку, — продолжал горячиться Ромашкин.

— Боимся, — подтвердил высокий боец. — Но не из трусости.

— Как ж это вас понимать?

— А так и понимайте. Товарищ капитан правильно говорит: разведка — служба особая. Не каждый в себе чувствует такое, что надо для разведки, вот и опасаемся. А ты сразу нас — в трусы. Нехорошо, товарищ старший лейтенант.

Ромашкин смутился. Действительно, неловко получилось, обидел сразу всех, не подумав брякнул.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Люленков, — вот вы сами пойдете служить в разведку?

— Если надо, пойду.

— Надо.

— Значит, пойду.

— Фамилия?

— Севостьянов Захар.

— Запиши, Ромашкин. Кто ещё хочет? Имейте в виду, товарищи, разведка — единственная служба в армии, куда идут по желанию.

— Ах иба ж нихто не пожелае, тоди разведки не буде? Услепую воювати, чи як? — звонко спросил голубоглазый, чернобровый, черноусый украинец.

— Ну, тогда приказом назначат. Без разведки ещё никто не воевал. Однако лучше, когда человек идет по собственному желанию. Почему бы вам, например, не пойти? — спросил его капитан.

— Та я вроде того хлопца: не знаю, чи е у мени потрибные качества, чи немае.

— Ты парень здоровый, веселый — нам такие как раз и нужны. Подучим, будешь лихим разведчиком. Кстати, в разведвзводе служит твой земляк Шовкопляс, — сказал

Люленков.

— Ну, тоди зачисляйте. Зовут Миколой, фамилие Цимбалюк.

— Товарищ капитан, и со мной поговорите! Может, я сгожусь, — попросил щуплый паренек с веснушчатым озорным лицом. Он улыбался, обнажая мелкие зубы.

— Фамилия? — спросил Люленков.

— Пряхин Кузя.

В строю засмеялись. Пряхин не растерялся, тут же дал насмешникам отпор:

— Ржать нечего. Меня Кузьмой зовут, а сокращенно, значит, Кузя.

Капитан оценивающе рассматривал Пряхина.

— Откуда родом? Чем занимался до призыва?

— Из-под Рязани. Колхозник деревенский… Не подведу… — И смутился: то ли потому, что не к месту вставил слово «деревенский», то ли из-за непривычной похвальбы — «не подведу».

— Слабоват. С фрицами в рукопашной не справишься, — сказал капитан.

— Я поэтому и не вылез вперед, а в разведку хотелось бы.

— Ромашкин, как думаешь?

— Пусть подрастет. Мне ждать некогда, завтра на задание идем.

Молодой солдатик виновато отступил в глубь строя. Василию стало жаль его. Но что поделаешь, в разведке нужна сила.

Обойдя весь строй, Люленков выбрал только троих: Севостьянова, Цимбалюка да крепыша Хамидуллина. Этот уже был обстрелян, воевал до ранения в Сталинграде.

Ромашкин привел отобранных в новое жилье разведчиков — сарай в лесу. Они остановились у двери, не зная, куда положить свои вещички.

— Проходите к столу, ребята, — подбодрил их Ромашкин. — Жмаченко, ну-ка, накорми хлопцев. А вы садитесь, чувствуйте себя как дома.

Разведчики поднялись с сена, расстеленного на полу, разглядывали новичков.

— Ты прямо запорижский казак, — сказал Пролеткин усатому украинцу.

— А я и е запорижский казак. Мои диды булы настоящи запорижски казаки. Тильки я верхом на тракторе козаковал.

— Значит, дед казак, отец твой сын казачий, а ты хвост собачий, — вставил Голощапов.

Цимбалюк укоризненно посмотрел на него:

— А ще разведчик! Такий некультурный — незнакомому

человеку глупи слова говоришь.

Товарищи не осудили Голощапова, даже посмеялись малость. Цимбалюка не поддержал никто. Язвительный и немного вредный Голощапов не раз был проверен в деле, а этот ещё неизвестно на что способен.

— Гуртуйся до мэнэ, земляк, — позвал Шовкопляс, — мы с тобой побалакаем.

— Комбайнер был, тракторист прибавился — можно хохляцкий колхоз создавать, — подначивал Саша Пролеткин.

— Точно! — согласился Шовкопляс. — Мы и тэбэ примем. Жирафов та бегемотив разводить будешь.

— А ты, паря, откуда? — спросил Рогатин другого новичка.

— Я с Кубани, — с готовностью отозвался Севостьянов и чуть замялся: — Профессия у меня не шибко боевая — пекарь. Но силенка есть. До механизации тесто вручную месил. За смену, бывало, не одну тонну перекидаешь. — Севостьянов уперся локтем в стол, предложил: — Давай, кто хочет испробовать?

Первым подошел Саша Пролеткин. Пекарь, даже не взглянув на него, свалил Сашину руку, будто пустой рукав. Следующей жертвой был Жук. Севостьянов по очереди, не напрягаясь, положил всех. Устоял лишь Иван Рогатин, но пекаря, как ни старался, одолеть не смог.

— Вот чертушка! — восхищался Пролеткин. — Вот это токарь-пекарь!

— Гвозди есть? — спросил Севостьянов.

— Найдем, — пообещал Саша.

Он снял со стены автомат и, раскачав гвоздь, дернул его, но неудачно. Покачал ещё и наконец вытянул.

Севостьянов осмотрел этот большой старый гвоздь, попросил Шовкопляса, сидевшего у дверей:

— Дай-ка, друг, полешко или палку.

Потом он поставил гвоздь острием на стол, накрыл шляпку полешком, пояснил:

— Чтоб руку не повредить…

И не успели разведчики опомниться, как Захар несколькими ударами вогнал гвоздь кулаком в стол почти до самой шляпки.

Все одобрительно загудели, а Севостьянов скромно объявил:

— Это полдела. Теперь надо его вытянуть,

— Без клещей? — изумился Пролеткин.

— Клещами каждый сумеет, — снисходительно заметил Захар. Он ухватился за оставленный кончик гвоздя, сдавил его так, что пальцы побелели, и выдернул одним рывком.

— Слушай, да тебе можно в цирке выступать! — воскликнул Саша. — Подковы гнуть. Доски ломать.

— Ломать я не люблю. Моя сила смирная, буду жив — опять пойду людей хлебушком кормить. Ничего на свете приятнее хлебного духа нет! Иду на работу, за километр чую — вынули там без меня буханки, или они ещё в печи доходят. Эх, братцы, до чего же дивная работа — хлеб выпекать! Намаешься за смену, ноги не держат, руки отваливаются. А утром встаешь свеженький, как огурчик, и опять бежишь к своему хлебушку.

— Да, твой хлебушек, наверное, не то, что этот, — сказал Пролеткин, постучав зачерствевшей буханкой по столу.

— Этот ещё куда ни шло, — возразил Жмаченко. — Ты немецкий трофейный посмотри. По-моему, в нем наполовину опилки.

Жмаченко принес из своего закутка буханку в плотной бумаге. На бумаге было помечено: «Год выпечки — 1939».

Севостьянов с любопытством осматривал это удивительное изделие.

— Ты на вкус попробуй, — потчевал Жмаченко. Буханка внутри была белая, но когда Захар откусил кусок, совершенно не почувствовал хлебного вкуса.

— Опилки!

— Эрзац и есть эрзац, — подвел итог Рогатин.

— Ну а ты чего молчишь? — спросил старшина Хамидуллина.

— Очередь не дошла, — дружелюбно ответил тот.

— Тебя как звать?

— Наиль.

— А где ты жил, чего делал?

— Жил в городе Горьком, на Волге. Делал автомобили-полуторки, «эмки».

— Лучше бы танков побольше наделал, — буркнул Голощапов.

— Не моя специальность, — отшутился Хамидуллин.

— Семья есть?

— Нет. Не успел обзавестись.

— Это хорошо, — вздохнув, сказал старшина.

— Почему?

— В разведке лучше служить несемейному. Без оглядки работает человек… Ну, а кроме автомобилей, чем ещё занимался?

— Спортивной борьбой. Второй разряд имею. Жмаченко оглядел разведчиков, будто искал, кто бы испытал силу Хамидуллина.

— Может ты, Рогатин? — спросил старшина.

—

Ну его, он всякие приемы знает, — отмахнулся Иван.

— Знаю, — подтвердил Хамидуллин, — и вас научу, если

захотите.

— Давай, показывай!

Наиль осмотрелся, покачал головой:

— Тут нельзя, я тебе ребра переломаю. На просторе надо.

— Испугался! — выкатив грудь, петушился Саша.

— Ну, хватит, братцы, — вмешался Ромашкин. — Айда на занятия. Новичков поучим и сами кое-что вспомним. В форме нужно быть.

* * *

И вот настала ночь, когда, по показаниям пленных, немецкая армия должна ринуться в наступление.

В наших окопах никто не спал, все были наготове. Ромашкин вглядывался в темноту. Он знал лучше многих, какие огромные силы стянуты сюда противником.

Легкий ветерок приносил с полей запах созревающей пшеницы. Ночь была теплая, но Василий иногда вздрагивал и поводил плечами в нервном ознобе.

В два часа двадцать минут советское командование преподнесло врагу убийственный «сюрприз»: черноту ночи вспороли яркие трассы «катюш», загрохотала ствольная артиллерия. Огонь и грохот контрартподготовки были так сильны, что казалось, будто рядом рушатся горы. За несколько минут артиллеристы израсходовали боекомплект, рассчитанный на целый день напряженного боя.

— Что сейчас творится у них там! Страшное дело! — крикнул Ромашкин стоявшему рядом Люленкову, но тот в гуле и грохоте не расслышал его.

Ромашкин представлял себе вражеские траншеи, набитые солдатами, сосредоточенными для атаки. Им не хватает блиндажей, чтоб укрыться от огня, и сейчас они лежат вповалку друг на друге. Танки, выдвинутые на исходные рубежи, горят, не успев вступить в бой. Тысячи тонн снарядов, предназначенных для разрушения и подавления нашей обороны, взрываются на огневых позициях своих батарей, опрокидывая, ломая, калеча все вокруг. «Да, Сережа, — подумал Ромашкин о Коноплеве, — твоя жизнь дорого обошлась фашистам. Мы узнали день и час их наступления и вот долбанули в самый опасный для них момент!»

И все же, несмотря на значительные потери, в пять часов тридцать минут противник перешел в наступление. На полк Караваева по несозревшему хлебному полю двинулись танки. Их было так много, что они образовали бы сплошную стальную стену, если б не построились в шахматном порядке в несколько линий, накатывающихся одна за другой, как волны.

Сражение это для каждого из его участников имело свои

масштабы. Для советского Верховного Главнокомандования оно представлялось как одновременное сокрушение двух сильнейших группировок противника — орловской и белгородской. Для командующего Центральным фронтом К. К. Рокоссовского это было единоборством с 9-й немецкой армией, рвавшейся к Курску с севера. Для командующего Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутина — недопущением прорыва к тому же Курску с юга 4-й танковой армии неприятеля. Для командира дивизии Доброхотова и командира полка Караваева главный смысл состоял в отражении таранного удара танков, обрушившихся на их боевые порядки. А для взводного Ромашкина это была смертельная схватка с одним-единственным «тигром», ворвавшимся в расположение разведчиков.

Ромашкин впервые увидел такую машину. Она была огромна и угловата. Уже по формам её можно было судить, насколько прочна и толста броня «тигров». При таком надежном броневом прикрытии обтекаемость не обязательна.

За «тиграми» следовали автоматчики с засученными рукавами. Эти их засученные рукава действовали устрашающе — шли вояки, знающие свое дело. Шли как на работу, с твердым решением не останавливаться ни перед чем! Они были похожи на тех гитлеровских солдат, которых Василий впервые увидел на шоссе под Москвой в сорок первом году.

Но времена настали другие, и не то оружие в наших руках. Теперь немецким пикировщикам, как они ни старались, не удалось построить карусель над головами обороняющихся. Едва появились, как на них тут же обрушились из-за облаков истребители. Защелкали скорострельные пушки, и задымили черными шлейфами «юнкерсы» и «мессершмитты», падая на землю один за другим. Падали и наши «яки» и «лавочкины». Однако сбросить бомбы точно на боевые порядки наземных войск они не дали.

Даже «тигры» выглядели несокрушимой силой лишь издалека. А как только приблизились на прицельное расстояние, новые наши пушки ЗИС стали пропарывать броню особыми снарядами и сжигать танки.

Матушка-пехота сидела в траншеях, не трепеща от волнения, хорошо зная, что все это должно было двинуться на нее именно в тот час, именно с этих направлений и в таком именно количестве. Под рукой у солдат лежали теперь не хрупкие стеклянные бутылки с горючкой, а специальные противотанковые гранаты. И в каждом взводе были ещё противотанковые ружья с длинными, словно водопроводные трубы, черными стволами. Они прожигали шкуру «тиграм», ослепляли их, сбивали с катков гусеницы.

«Да, теперь мы не те, — думал Ромашкин, — теперь нас так просто не возьмешь! Народ тертый, солдат битый, тот самый, который трех небитых стоит». Василий пристально взглянул на своих бойцов. Стоят молча, исподлобья рассматривая черные кресты на бортах «тигров», пушки с набалдашниками, скрежещущие и клацающие, начищенные землей до блеска траки.

Василий понимал — надо, чтобы атака захлебнулась на первой, позиции. Но от ощущения спокойной уверенности в своих силах у него возникло странное желание: неплохо, если бы хоть один из «тигров» прорвался сюда, во второй эшелон полка, где, как обычно, находился в резерве взвод разведки. Не терпелось самому встретиться с этим чудовищем.

Словно исполняя это неразумное желание, «тигры» дошли и до первой, и до второй траншеи. Их подбивали, жгли, подрывали, но уцелевшие лезли вперед, сметая на своем пути все живое.

И настал момент, когда «тигр» направил свой пушечный ствол прямо в лицо Василию. Круглая дыра этого ствола оказалась такой необъятной, что заслонила поле боя и то, что творилось в небе. «Сейчас из этой дыры вылетит огненный сноп, и от меня не останется ничего», — мелькнуло в сознании Ромашкина.

Уверенность, которая совсем недавно наполняла его душу, вдруг испарилась. Желание потягаться с «тигром» показалось глупостью, которая и привела к беде. «Сам, дурак, напросился, теперь получай!»

Танк выстрелил. Огонь ослепил Ромашкина, и сразу же наступила глубокая тишина. Так бывает в кино, когда пропадает звук. Василий видел: по-прежнему вокруг вскидывается земля от разрывов снарядов, солдаты что-то кричат, раскрывая рты, но все это беззвучно. «Лопнули перепонки», — будто не о себе подумал Василий, не отводя глаз от подползающего ещё ближе «тигра».

Когда жаркое дыхание машины коснулось уже лица, Ромашкин деловито метнул гранату. Беззвучно вскинулся ещё один фонтан земли и дыма. Танк непроизвольно крутнулся на исправной гусенице, а другая, перебитая, железным удавом сползла на землю. Василий, а за ним Рогатин и Шовкопляс кинулись вперед. Знали — чем ближе к танку, тем безопаснее.

Иван взобрался на танковую корму и встал над люком, держа автомат наготове: экипаж попытается исправить гусеницу или, в крайнем случае, удрать, чтобы не сожгли в этой железной коробке. Рогатин мгновенно сунул ствол автомата в щель и пустил внутрь машины длинную очередь. Крышка, теперь уже никем не придерживаемая, легко поддалась сильному рывку Шовкопляса. Он добавил в чрево танка лимонку и тут же

захлопнул люк, чтобы не попасть под осколки.

Василий не слышал взрыва гранаты, только увидел желтый дымок, потекший из щели неплотно прикрытого люка. Шовкопляс и Рогатин безголосо двигали губами. «Неужели оглох навсегда?» — опять спросил себя Василий и показал ребятам на свои уши, помахал руками — ничего, мол, не слышу. Иван настойчиво кивал куда-то назад. Оглянувшись, Василий убедился, что немецкие танки не только горели. Поредевший их боевой порядок все глубже вклинивался в нашу оборону. «Тигры» и сопровождавшая их пехота уже миновали и штаб, и тылы полка, устремлялись куда-то к дивизионным резервам. «Как же нас автоматчики не побили?» — удивился Василий и спрыгнул назад в окоп: приближались новые немецкие танки. Только эти шли уже не сплошным развернутым фронтом, а отдельными подразделениями, рассредоточенно.

«Что же происходит? Мы в окружении, что ли? Уцелел ли полк? Где Караваев? Гарбуз?» Ромашкин посмотрел в бинокль на полковой НП. Там мелькали чьи-то головы, похоже, в наших касках.

— За мной! — скомандовал Василий и опять удивился: он не слышит своего голоса, а ребята поняли команду.

К НП полка стягивались уцелевшие роты. Куржаков, как всегда в бою возбужденный и веселый, энергично жестикулировал, но Василий не понимал, о чем он говорит. Полковое командование тоже в целости. Караваев отдавал распоряжения, показывая на холмы и овраги.

С жалостью поглядев на своего комвзвода, Иван Рогатин написал пальцем на рыхлой земле, вывороченной снарядом: «Занимаем круговую оборону».

В ушах Ромашкина тишина сменилась каким-то гудением, будто их заливала вода. Голова болела. Ломило в затылке. Разведчики повели его под руки на участок, отведенный для обороны взвода. И здесь сознание Ромашкина стало гаснуть. Он лег в кусты и забылся.

Немцы, не обращая внимания на советские части, оставшиеся в их тылу, все рвались и рвались вперед. Только вперед! Стремились во что бы то ни стало замкнуть свои клещи у Курска.

Ромашкин иногда приходил в себя, открывал глаза: к нему склонялся кто-нибудь из разведчиков, давал попить, предлагал еду. Василий плохо соображал, где он и что происходит вокруг. Опять проваливался куда-то, и не то в бреду, не то в действительности ему виделось бездонное жерло танковой пушки. Он силился убежать от её разверстой пасти и не мог — его держали.

Эвакуировать контуженного старшего лейтенанта было некуда.

На шестой день Василию стало лучше. Открыв глаза, увидел Гарбуза. Попытался встать перед замполитом, но подняться не смог.

— Лежи, лежи. — Гарбуз придержал его рукой. — Ну, как самочувствие?

— Нормально, товарищ майор, — ответил Ромашкин. Ему казалось, ответил громко и четко, а на самом деле Гарбуз едва понял его тихую заплетающуюся речь.

— Значит, ты меня слышишь? — обрадовался Гарбуз.

— А как же! Говорю ведь с вами!

— Верно. И даже мыслишь логично. Значит, все в порядке.

— А как наступление?

— Немецкое?

— Наше.

— Откуда ты знаешь о нашем наступлении? Тебя контузило, когда мы отходили.

— Знаю. Должны мы наступать!

Гарбуз был растроган этой уверенностью.

— Дорогой ты мой, все будет в свой срок. Фашисты выдыхаются. За неделю всего на семь километров к Понырям продвинулись. А от Белгорода чуть больше тридцати. Не получилось у них окружения. Не дотянулись до Курска. Поправляйся, Василий, скоро наши погонят фрицев, и мы подключимся.

— Я хоть сейчас, — Ромашкин хотел встать, но земля с обгоревшей пшеницей, черными, закопченными танками, с Гарбузом и разведчиками, его окружавшими, вдруг качнулась, накренилась, и он прилег, чтобы не покатиться по этой качающейся земле куда-то к горизонту.

— Ты лежи, не хорохорься, — приказал Гарбуз.

Ночью на Василия опять полз танк, наводил длинную и глубокую, как тоннель, пушку, а гитлеровцы с засученными рукавами старались загнать Ромашкина в эту круглую железную дыру.

Навестил Василия и Куржаков. Усталый, он говорил с веселой злостью:

— Вот, Ромашкин, как надо воевать! Научились!

— Завелся! — ухмыльнулся Ромашкин.

— А я, брат, всегда заводной! — совсем по-дружески признался Куржаков…

Черный удушливый дым стлался над полями и перелесками, над яблоневыми садами и сожженными селами, над

разбомбленными железнодорожными станциями и взорванными, рухнувшими в реку мостами.

Два миллиона людей днем и ночью кидались в этом дыму и пыли друг на друга, стреляли из пушек, танков и пулемётов, кололи штыками, били прикладами. Танковые армады, разбомбленные авиацией и расстрелянные артиллерией, горели в полях, как железные города.

Наконец фашисты попятились. Сначала медленно, то и дело бросаясь в свирепые контратаки, потом быстрее, но все же организованно, от рубежа к рубежу. Наши войска преследовали их по пятам. Нет, не только дивизиями, сохранившимися в резерве, а главным образом теми же самыми, которые стояли насмерть в обороне. Усталые, небритые, пропитанные гарью бойцы день и ночь теснили противника. Усталость накопилась такая, что люди засыпали порой на ходу и двигались вперед в полусне, с закрытыми глазами, держась рукой за повозку, пушку или соседа.

Шагал среди них и Ромашкин со своим взводом. Контузия иногда напоминала о себе, голова болела, подступала тошнота, но все же идти вперед было приятнее и веселее, чем валяться где-нибудь в госпитале.

И Василий крепился.

* * *

В середине сентября Ромашкина вместе с Люленковым вызвали в штаб дивизии. Туда же, в небольшую рощу, съезжались офицеры-разведчики из других полков. Кто на коне, кто на трофейном мотоцикле, а кто и на немецком автомобиле.

Знакомый голос окликнул Ромашкина. Обернувшись, он увидел Егора Воробьева — тоже командира взвода разведки.

— Живой! — обрадовался Василий.

Они виделись до того всего два раза, но встретились теперь как давние друзья. Ромашкину нравился этот отчаянный двадцатилетний лейтенант, выполняющий задания с особой лихостью. Выглядел Егор, как всегда, картинно — в щеголеватых сапожках, в пятнистых брюках маскировочного костюма, с ножом на поясе, в кубанке с алым верхом, несмотря на теплынь бабьего лета…

Подошел Володя Климов из дивизионной разведки. Сдержанно поздоровался. Он был полной противоположностью Воробьеву — строгий, неразговорчивый. Ромашкин впервые заметил, какие у Климова внимательные глаза. Люди с такими глазами обычно мало говорят, но много думают.

Климов собирал всех прибывших в одно место — на поляну.

Туда пришел начальник штаба дивизии полковник

Стародубцев. Обрисовал обстановку в полосе наступления дивизии, рассказал, как поделена эта полоса между полками, и потребовал, чтобы разведчики держались по возможности в границах своих полков, не мешали друг другу.

— Действовать вам придется в отрыве от главных сил, — говорил полковник. — На промежуточных рубежах противника не задерживайтесь. Основная ваша задача — выйти на западный берег Днепра, разведать там оборону и силы немцев. Назад до особого распоряжения не возвращаться. Поняли?

Разведчики молчали. Днепр-то не рядом, до него ещё далеко!

Официально задание формулировалось так: вести разведку в преследовании. А что это значило практически?

В преследовании обе стороны непрерывно перемещаются. Противник устраивает засады, минирует дороги, мосты, дома. На промежуточных рубежах он непременно попытается создать видимость серьезной обороны, чтобы подольше задержать наши войска. Ну, а разведчики, двигаясь то в его тылу, то на флангах, должны все это своевременно раскрывать и предупреждать своих.

На сей раз Ромашкин взял с собой на задание двенадцать человек. В группу были включены, конечно, самые опытные разведчики: Рогатин, Пролеткин, Шовкопляс, Голощапов, Жук. На Жуке — особая ответственность: он радист. Даже самые важные сведения, добытые разведкой, если их не передать в срок, теряют всякую ценность.

Жук так нагрузился своей аппаратурой и запасными принадлежностями к ней, что ноги подламывались под этой тяжестью. Пришлось раздать часть имущества другим.

Выступили вечером, чтобы затемно пробраться поглубже в тыл противника и с рассветом приступить к делу. Сейчас не было ни развитой траншейной системы, ни проволоки, фронт имел многочисленные разрывы. Гитлеровцы ходили лишь по шоссейным и железным дорогам. Проселки же и лесные тропы оставались бесконтрольными.

По одной из таких троп и проскользнула группа Ромашкина.

На исходе ночи Ромашкин облюбовал тихую балочку, выставил охрану, а остальным приказал ложиться спать.

— Вот это приказ! — балагурил Пролеткин. — Побольше бы таких приказов!

— Эх ты, детский сад! У тебя все думки только о приятном! — вздохнул Рогатин и, положив голову на вещевой мешок, тут же уснул.

Саша свернулся клубком, прижался к широкой спине Рогатина и тоже задышал ровно и глубоко.

Спали все. Только часовые, преодолевая дрему, выползли на

бугорок, чтобы их обдувало ветром. Василий специально назначил парный пост. Нельзя надеяться на одного — люди так утомлены. Из-за этого ведь и привал устроили. Начинать разведывательные действия в переутомленном состоянии тоже рискованно: разведчику нужны ясный ум, мгновенная реакция.

Проснулся Ромашкин первым, когда небо только начало бледнеть на востоке. В тенях уходящей ночи за каждым кустом, в каждом овраге могли притаиться фашисты. И вскоре разведчики обнаружили их в близком соседстве — на дороге.

Фашисты шли растянувшимся строем. Человек пятьдесят — шестьдесят. Некоторые несли на плечах шестидесятимиллиметровые минометы. «Пехотная рота, — определил Василий, — такие минометы на вооружении только в пехотных ротах. Но рота неполная. Обычная её численность более ста человек. Вероятно, один взвод оставлен позади для прикрытия… Ну, а если идет рота, значит, где-то должен быть и её батальон. Скорее всего, главные силы батальона уже отошли под покровом темноты, чтобы занять оборону на промежуточном рубеже. Рота их догоняет…»

Так вот, по деталям, раскрывается в разведке общая картина.

Жук передал по радио предположения командира и его решение идти на поиски промежуточного рубежа.

Шли теперь осторожнее. Впереди дозор — Шовкопляс и Голощапов. Они пробирались от кустов к роще, от рощи к оврагу. Открытое пространство переползали. Достигнув очередного укрытия, подавали сигнал: «Путь свободен».

В полдень дозор вызвал сигналом одного комвзвода. Ромашкин выполз на высоту и увидел: внизу, перед деревней, работают немцы. По пояс голые, они углубляли траншею. Другие у ручья резали дерн, подносили его и маскировали бруствер.

Поводив биноклем, Василий заметил в некотором отдалении ещё несколько немецких подразделений, занятых такой же работой. Видно, здесь и оборудуется промежуточный рубеж. И за траншеями тоже копошатся солдаты, наверное, артиллеристы и минометчики.

— Ну, хлопцы, — сказал Василий, — тут все ясно, передний край промежуточного рубежа — вот он. Теперь надо осмотреть глубину. Как пойдем?

Первым высказался Пролеткин:

— Давайте построимся и двинемся строем, не таясь. Фрицы, как пить дать, примут нас за своих.

Жук усмехнулся, покосившись на Сашу:

— А если разглядят? В бинокль, например?

— Отобьемся, — уверенно заявил Саша.

— Отобьемся! — передразнил Рогатин. — После этого нас так гонять станут, только пыль сзади нас завьется. А пока ты здесь бегаешь, полк будет стоять без сведений.

Саша не уступал:

— Чего вы накинулись? Можете предложить что-нибудь лучше, давайте, выкладывайте!

Разведчики молчали. Наконец Рогатин, как всегда не торопясь, спросил:

— Что вы скажете, товарищ старший лейтенант, насчет вон той балочки?

Балочка эта огибала высоту вблизи копошившихся немцев и уходила на противоположную окраину деревни, где виднелись такие же зеленые кусты.

— Как же! — съязвил Саша. — Фрицы в этой балке дорогу тебе приготовили! Дураки они, что ли, чтоб такой обход без мин оставить?

— А чего ты мин боишься? Не видел их раньше? Фрицы мины поставили, а мы снимем!

Предложение Рогатина было принято. Ползком разведчики потянулись к оврагу. По дну его бежал ржавый ручей. Там пахло болотом, свирепствовали комары. Под коленями и локтями предательски хрустели трухлявые ветки. Впереди осторожно крался Голощапов, руками прощупывая траву. Он лучше любого сапера мог обнаружить проволочки мин натяжного действия или усики нажимных. От его внимательного взгляда не ускользал ни один подозрительный их признак. Помята трава? Сломан сучок на кусте? Значит, надо быть начеку!.. Наконец он остановился, поманил Ромашкина, тихо сказал:

— Вот они, милые.

Приглядевшись, Ромашкин увидел на колышках железные головки с глубокими насечками. Они были похожи на ручные гранаты-лимонки, только крупнее. Такая штука, если дернуть за проводок, подпрыгивает и взрывается, разбрызгивая сотни осколков. Эти «попрыгунчики» хорошо знакомы разведчикам: их можно оставить на месте, достаточно перекусить проволочки.

Прострigли проход, благополучно выбрались за деревню и уже оттуда донесли в полк по радио: "Промежуточный рубеж в квадратах 2415, 2418. В квадрате 2512— опорный пункт. Обходы с юга минированы. Продолжаю движение в направлении 2117 — 2011".

За последующие пять дней группа Ромашкина раскрыла ещё несколько таких рубежей. Не раз сталкивалась с врагами почти лицом к лицу, но удачно избегала боя.

Однажды разведчики увидели, как вражеские факельщики

деловито обливали керосином и поджигали дома в селе. Очень хотелось выскочить из укрытия и расправиться с этими подлецами. Однако сдержали себя — не позволяла задача, которую выполняли.

На шестые сутки, когда солнце уже спустилось и не грело, а лишь било в глаза тревожным красным светом, как догорающая хата, впереди между деревьями блеснула широкая полоса воды.

Днепр!..

Все знали, что он должен показаться с минуты на минуту. И все же вид спокойной большой реки взволновал разведчиков. Чуть не бегом бросились они к воде, но остановились за деревьями, чтобы не обнаружить себя.

Только Шовкопляс не утерпел — прокрался к самому берегу, присел там в кустах, гладил воду, как живое существо, и шептал:

— Днипро мий… Днипро мий коханый… Мы прийшлы…

До наступления темноты разведчики, тщательно маскируясь, вели наблюдение. Немцы укрепляли и минировали оба берега. На западном вместе с солдатами работали насильно согнанные сюда женщины. Их разноцветные косынки Василий ясно видел в бинокль.

Западный берег как бы сама природа уготовила для обороны: он высок и обрывист. Трудно преодолеть под огнем эту широкую водную преграду. Не легче и выкарабкаться на кручу того берега.

Чтобы облегчить форсирование Днепра войсками, надо собрать как можно больше вполне достоверных сведений о противнике, его укреплениях. А для этого разведчикам придется первыми переправляться на тот берег.

Впотьмах они связали два сухих дерева, поваленных бурей, прикрепили к ним вещевые мешки, одежду, оружие, а сами поплыли рядом с этим неуклюжим плотом, толкая его перед собой. На середине реки у многих стало сводить судорогой руки и ноги. Мышцы задубели от напряжения. Ромашкина тянуло на дно, как каменного. Он дробно стучал зубами, с трудом дышал — грудь словно железными обручами стянуло.

Казалось, не будет конца этому плаванию. Какое расстояние уже преодолено и далеко ли до другого берега, определить было невозможно — ничего не видно. Только черная холодная вода вокруг.

Но вот впереди обозначилась, кажется, полоса более плотной черноты. Ноги коснулись донной тины. Слава богу — дотянули!

Совсем обессиленные, разведчики едва выбрались на узкую отмель. Их далеко снесло течением влево.

Полежали. Отдышались. А холод все ещё сотрясал тело. Надо вставать и возвращаться в полосу своего полка. Однако берегом

идти опасно: он наверняка минирован, да и наблюдатели здесь, конечно, выставлены.

— Отойдем от Днепра вглубь на километр — другой и там повернем вправо, — распорядился Ромашкин.

Выкарабкались наверх. Снова залегли, прислушались. Неподалеку пиликала губная гармошка и слышалась немецкая речь.

Поползли чуть правее и вскоре обнаружили траншею полного профиля. Земля свежая, рыли недавно. На площадке стоял пулемёт. Саша зыркнул на командира — не прихватить? Ромашкин показал ему кулак.

Перебрались через траншею, пошли дальше и наткнулись ещё на одну линию окопов. В темноте звучали команды, угадывалось движение многих людей. Ясно различались удары кирок о землю, звяканье лопат. Здесь работали даже ночью.

Пересекать эту линию не решились — могут заметить. Отступив назад, пошли направо, вдоль окопов. Через полчаса окопы кончились, и не стало слышно ни голосов, ни шума земляных работ.

Углубившись ещё на километр, разведчики втянулись в густой кустарник и решили отдохнуть здесь. За двумя рубежами вражеской обороны они почувствовали себя в относительной безопасности. Внимание немцев направлено сейчас к востоку, а группа Ромашкина сидит у них за спиной. Отсюда и днем удобно будет вести разведку.

Жук передал первые сведения о западном береге. В ответ последовало поздравление с удачей и пожелание новых успехов.

Но утром разведчики вдруг обнаружили, что попали они в очень опасное место. Впереди и сзади копошились немцы. Неподалеку окапывались минометчики. Вскоре двое немецких солдат направились к кустам, где замаскировалась группа.

— Брать втихую, — шепнул Ромашкин.

Все напряглись.

Немцы, разговаривая, шли к ним. У одного был топор, у другого веревка. Стали рубить кустарник, наверное, для укрепления стенок траншеи. Работали они почти рядом. Василий уловил даже специфический запах: смесь одеколона и порошка от вшей. Стоило кому-то из разведчиков чихнуть, и группа была бы обнаружена.

Затянув увесистую связку веревкой, немцы заспорили — кому нести. Наконец один помог другому взвалить её на спину и, посмеиваясь, пошел сзади.

Разведчики отползли поглубже в кусты. И вовремя! Вслед за первыми двумя пришли ещё четверо немцев. «А что, если сюда

пожалует целый взвод?» Ромашкин старательно высматривал, куда бы скрыться, но спрятаться негде — за кустарником голые травянистые холмы.

Трудным был этот день — ни покурить, ни размяться нельзя. Только в сумерки разведчики выползли к черному пожарищу. Когда-то это был, наверное, хутор. Теперь здесь торчала одинокая печная труба, валялись закопченные кирпичи да чернели обгоревшие остатки плетня. Василий надеялся, что немцы сюда не придут, поживиться тут нечем.

Стали обследовать развалины, выбирая, где бы замаскироваться понадежнее. Можно было залечь на огороде между грядок в ботве. Можно расположиться в бурьяне вдоль плетня. Однако Саша Пролеткин нашел место получше.

Он повел Ромашкина туда, где прежде стоял, очевидно, сарай. Разгреб сапогом головешки и золу. Показался какой-то квадрат.

— Погреб, — сказал Саша.

Подошли другие разведчики, подняли обгоревшую крышку. Из черной дыры потянуло сыростью и гнилой картошкой. Саша нащупал ногой лестницу, стал спускаться вниз. Чиркнул там спичкой, и все увидели в глубокой яме бочки и ящики.

Следом за Пролеткиным спустился и Ромашкин. Осмотрел убежище, посвечивая фонариком.

— Гостиница «люкс», — нахваливал свою находку Пролеткин. — Да ещё и с закуской. — Он похлюпал рукой в одной из бочек и поднес к лицу Василия крепкий соленый огурец.

— Что ж, давайте располагаться здесь, — сказал Василий.

В погребе было тесновато, но каждый нашел где присесть. Над лазом поставили искореженную в огне железную кровать и бросили на нее остатки плетня так, чтобы сквозь них можно было вести наблюдение. И дружно все захрупали огурцами.

Саша стоял над бочкой, выпятив грудь, приговаривал:

— Соблюдайте очередь, граждане! Обжорам вроде Рогатина устанавливается норма.

Ромашкин смеялся вместе со всеми. Лишь в какой-то миг, взглянув на себя и своих орлов как бы со стороны, удивился: «Только ведь пережили смертельную опасность — и вот уже радуемся сырому погребу, соленым огурцам. Веселимся даже! И где? В тылу врага, который каждую минуту может обнаружить нас, и тогда…» Что будет «тогда», Ромашкин хорошо представлял себе, но не хотел думать об этом.

Остаток ночи использовали для разведки вражеских инженерных сооружений на берегу. Надо было поторапливаться. Полк приближался: из-за Днепра уже долетал сюда гул

артиллерийской стрельбы.

Немцы тоже спешили: работа и ночью не прекращалась ни на минуту. Со всех сторон слышались удары кирок, ломов, топоров, передвигаться между работающими можно было лишь с крайней осторожностью, чаще всего ползком.

С берега Ромашкин опять увидел широкий плес Днепра. Теперь на нем чуть дрожала, переливаясь, лунная дорожка. Вдали чернел противоположный берег. Может быть, оттуда в эту минуту смотрели сюда Куржаков, Петрович, Караваев? Они почти уверены, что натолкнутся здесь на мощнейшую оборону. Громкое название «Восточный вал», широко разрекламированное фашистами, рисовало в воображении нечто похожее на финскую линию Маннергейма — непробиваемые бетонные доты, подземные казематы, противотанковые рвы. А в действительности ничего подобного не было.

«Возможно, все это тщательно замаскировано?» — опасливо предположил Василий.

До самого рассвета ползал он по немецкой обороне, но железобетонных сооружений так и не нашел. Это его обрадовало. Теперь тревожила главным образом огромность водного пространства. Переплыть такую реку не то что под огнем, а и просто так удастся не каждому. Вспомнилось, как сам окоченел и едва не утонул прошлой ночью. А как поплывут войска? По ним будут бить из пулемётов и орудий, их будут бомбить с воздуха. Скоростных катеров и лодок нет, придется воспользоваться только подручными средствами. А какая у них скорость? На примитивном плоту, на связках соломы, на пустых бочках не очень-то разгонишься!..

Утром по радио получили распоряжение: «Будьте готовы к корректировке огня». Ромашкин заранее высчитал и нанес на схему координаты целей, чтобы не тратить на это время в разгар боя.

День прошел без происшествий, если не считать, что после соленых огурцов всех страшно мучила жажда. Фляги опустошили уже к середине дня, все стали попрекать Сашу Пролеткина.

— Дернул тебя черт найти эти огурцы, запеклось все во рту, — ворчал Голощапов.

— Сожрал полбочки, конечно, запечет! И не только во рту, — огрызнулся Саша.

Дотерпели до темна. Но и тут муки не кончились — к воде не пробраться. Ударила артиллерия, забухали разрывы, и разведчики поняли — форсирование началось под покровом ночи.

Им не было видно, что творится на Днепре. Все высоты, с

которых просматривалась река, были заняты гитлеровцами. Ориентировались по артиллерийской канонаде. Она грохотала вдоль всего побережья.

Первыми форсирование начали те, кто раньше других вышел к Днепру. Главных сил ждать не стали. Успех обеспечивался прежде всего внезапностью.

Справа и слева Ромашкин слышал уже трескотню автоматов. Это означало, что какие-то подразделения успели зацепиться за правый берег. А в полосе караваевского полка ещё тихо.

Василий забеспокоился: «Неужели потопили всех? Течением полк снести не могло. Он отчаливал, конечно, повыше нас, мы ведь предупредили, какая тут скорость течения».

Несколько раз мощные налеты артиллерии едва не разнесли в клочья самих разведчиков. Было и страшно, и радостно: бьют-то свои!

— Дают жизни! — комментировал Саша Пролеткин, и даже в темноте было видно, как он побледнел.

— Пусть дают, — глухо отозвался Рогатин, — на реке легче ребятам будет.

— А я что, возражаю? Нехай дают, — соглашался Саша.

И вот, наконец, торопливая трескотня автоматов, взрывы гранат, крики — совсем поблизости. Кто-то отчаянно взвыл, видно, напоролся на штык или нож. В первой прибрежной траншее явно завязалась рукопашная Не терпелось выскочить и бежать на помощь своим. Пролеткин трепетал, как лист на ветру, шептал в горячке:

— Товарищ старший лейтенант, пора… Ну, товарищ старший лейтенант…

Даже спокойный Рогатин весь подался вперед, с укором поглядывал на командира.

— Подождите, хлопцы, — сдерживал их Василий, — уж если ударим, то в самый нужный момент…

Их-то успокаивал, а сам думал: «Как угадать этот момент? Может быть, он уже наступил вот сейчас, когда наши цепляются за берег? Может, осталось там несколько человек и самое время помочь им?»

Из первой траншеи все ещё слышалась стрельба. Теперь и пули летели в сторону разведгруппы. Неподалеку — торопливый топот множества сапог, говор на бегу и разгоряченное дыхание.

Ромашкин огляделся. Около роты фашистов разворачивалось для контратаки. "Значит, нашим удалось зацепиться! Но сейчас ударит эта свежая рота, и что станет с теми, кто отбивается у кромки воды? "

Он не мог больше ждать. Приподнялся, взвел автомат, тихо

скомандовал:

— За мной!

Разведчики поняли все без разъяснения. Они как тени пошли на некотором удалении от немецкой цепи. Возможно, кто-то из фашистов, оглянувшись, и увидел их. Но разве мог он подумать, что по пятам следуют русские разведчики!

Прозвучало громкое «Хайль!», и немецкая рота кинулась вперед быстрее. Из прибрежной траншеи навстречу ей забрызгали огоньки автоматов.

Когда до траншеи осталось совсем рукой подать и неотвратимая волна контратаки готова была захлестнуть наших, Ромашкин закричал:

— Огонь по гадам! Бей их, ребята!

Двенадцать автоматов полоснули длинными очередями в спины атакующих. Темные фигурки закувыркались, закричали, поползли по земле.

На Ромашкина бежал дюжий немецкий офицер, истошно вопя:

— Нихт шиссен! Не стреляйте, здесь же свои!

Жук встретил его очередью. А впереди почти то же самое кричал Голощапов:

— Эй, славяне! Подождите стрелять! Мы свои!

Разведчики с ходу свалились в траншею. Их обступили солдаты с того берега. Начались радостные восклицания:

— Откуда вы взялись?

— Вот выручили!

— Мы думали — хана!

— Ну, спасибо, разведчики!

Василию показался знакомым паренек, который верховодил в траншее.

— Где-то видел тебя, — не очень уверенно сказал Ромашкин.

— А как же! — воскликнул тот. — Я Пряхин. Помните, как вы из пополнения разведчиков отбирали? Я вам не понравился тогда — Кузя Пряхин…

— Ты уже сержант?

— Стараюсь!

— А чья это рота, где офицеры?

— Куржаков у нас ротным. Он ранен в руку, на том берегу остался. Если бы в ногу, говорит, ранило, все равно поплыл бы. А в руку — не смог. Взводных тоже кого убило, кто утоп. Вот я самым старшим и оказался. Вступайте теперь вы в командование, товарищ старший лейтенант.

Ромашкин не принял на себя командование потому, что разведчикам в любой момент могли поставить новую задачу. Да и

не хотелось ему, по правде говоря, ещё раз обижать Кузю своим неверием в него.

На середине реки зачернели не то плоты, не то лодки. «Вторая волна десанта», — догадался Василий. Белые фонтаны воды со всех сторон обступили плывущих, а потом их вовсе заслонила стена артиллерийских разрывов. Из-за этой стены кое-где выскакивали какие-то неясные предметы. Что это — доски, живые люди, погибшие?

И тут же пошла в контратаку ещё одна рота противника. Отстреливались без суматохи. По траншее бегал сержант Пряхин, писклявым мальчишечьим голосом кричал:

— Патроны зазря не жечь! Боепитание — на том берегу! Норма — один патрон на одного хрица! Понятно?

— Куда понятней… — отвечали солдаты.

— Как думаете, товарищ старший лейтенант, правильная норма?

— Молодец, Пряхин, помощь будет нескоро. Видал, что на реке творилось?

— Видал…

Отбили и эту контратаку, А гитлеровцы тем временем отразили ещё две попытки полка Караваева переправиться через Днепр.

Ромашкин с нарастающей тревогой поглядывал на восток. «Скоро будет светать. Значит, на весь день остаемся без подмоги. Тяжелый будет денек…»

Отыскал глазами Пряхина. И когда тот прибежал на зов, Ромашкин окончательно убедился, что ночь уже кончилась: на лице сержанта отчетливо проступали крупные веснушки.

— Надо получше окопаться, днем нас засыплют минами, — предупредил Василий.

— Понял, — ответил сметливый сержант и понесся по траншее, отдавая распоряжение: — Всем готовить «лисьи норки».

Василий знал эти «лисьи норки» со времени битвы под Москвой — убежища надежные. Нору начинают рыть прямо со дна траншеи вперед и вниз. Толща земли сверху надежно укрывает солдата от пуль и осколков. Из такой норы может выбить только прямое попадание снаряда. А это, как известно, случается из тысячи один раз.

С рассветом огляделись. Бой шел по всему берегу. Кое-где наши подразделения продвинулись на километр, а то и больше. Широкий фронт высадки лишал фашистов свободы маневра. Стоило им сосредоточить усилия на одном опасном участке, как тут же начиналось продвижение в других местах.

Ромашкин тоже воспользовался одним таким моментом и,

несмотря на малые силы, ворвался во вторую траншею. Почти без потерь. Только при этом открылись фланги. Раньше крохотный плацдарм упирался флангами в Днепр, образуя что-то вроде дуги, теперь же, отойдя от реки метров на триста, разведчики и солдаты Пряхина были открыты с двух сторон. А тут ещё начала гвоздить со все нарастающей силой немецкая артиллерия.

На противоположном берегу поняли, каково им, и заставили немецкие батареи ослабить огонь. Это было очень кстати. Бойцы опять принялись рыть «лисьи норы». Несколько человек Пряхин послал собирать трофейные автоматы, патроны к ним, гранаты.

— Теперь перебьемся! — сказал неунывающий сержант, подавая Ромашкину немецкий автомат и снаряженные магазины.

Буря в океане, ураган в песках, землетрясение в горах — если бы все это объединить, получилось бы, пожалуй, нечто похожее на то, что творилось здесь. Контратаки следовали одна за другой. Ромашкин едва успевал менять в автомате магазины. Даже пикировщики заходили два раза.

Появилось много раненых. Были и убитые. Из разведчиков погибли Цимбалюк и Разгонов. Василия тоже зацепило осколком в руку. Кончились бинты, перевязывать раны пришлось нательными рубахами.

Над Днепром плыла сплошная завеса пыли и дыма. Под прикрытием этой завесы с восточного берега попытались подкинуть подкрепление. Но вражеская артиллерия опять разнесла плоты в щепки. Только двое солдат вплавь добрались к Ромашкину. Мокрые, раненые, едва живые от усталости, они спрашивали:

— Ну, как вы здесь? Держитесь?

— Держимся.

— Вот и хорошо. Мы к вам, товарищ старший лейтенант, на подкрепление.

Василии невольно улыбнулся. Хоть и невелика помощь — два солдата, но они как бы олицетворяли порыв, которым были охвачены люди на том берегу. Больше верилось теперь, что оттуда поддержат при первой возможности.

По радио тоже подбадривали. Майор Гарбуз спокойным баском говорил:

— Передайте всем: форсирование идет успешно на широком фронте. Мы гордимся вами. Все вы представлены к правительственным наградам.

А гитлеровцы неистовствовали. Тоже понимали, что ночью сил на плацдарме прибавится, и старались ликвидировать его засветло. Атаковали уже и танками. Особенно угрожающее положение создалось на правом фланге. Ромашкин кинулся туда,

но, пока добежал, опасность миновала. Рогатин вытирал взмокший лоб, а Саша Пролеткин нервно раскуривал цигарку. На дне траншеи валялись трупы фашистов.

— Паскуды, — дрожащим голосом ругался Пролеткин, — чуть не затоптали! Здоровые, как жеребцы!

Рогатин смотрел на своего дружка с восхищением, пояснил командиру:

— Когда эти гады свалились на нас, я троих на себя принял. А Сашок упал, будто мертвый. Лежит, шельмец, и снизу постреливает. Придумал же!

Саша, напуская на себя суровость, отпарировал сердито:

— Хорошо тебе, ты вон какой: махнул прикладом — бац! — двое лежат. А я что с ними сделаю? Один по мне пробежал, до сих пор вся грудь болит. Наступил сапожищем, чуть не растоптал! — Саша лукаво подмигнул: — Ну, и я ему снизу в сиделку как дал очередь, так он из траншеи без помощи рук выскочил! Вон лежит. Ишь, харя до сих пор обиженная.

Ромашкин выглянул из траншеи, там действительно лежал рослый фашист в багровых от крови штанах.

Да, разведчики умели шутить даже в таком аду! И Василий был благодарен им за это. С такими людьми и в пекле не страшно.

В коротких перерывах между контратаками ребята успевали доложить ему обо всем, что заслуживало внимания разведки. Жук непрерывно передавал добытые сведения на левый берег…

С наступлением ночи через Днепр снова поплыли лодки, паромы, плоты. Фашисты отбивались отчаянно. Но с разбитых плотов уцелевшие солдаты выбирались только вперед. Недалеко от Василия разорвался снаряд. Опять оглушило. Стряхивая землю, осыпавшую его при взрыве, почувствовал — кто-то тянет за рукав. Перед ним стоял Жук. Его осунувшееся небритое лицо расплывалось в улыбке. Радист делал какие-то знаки, губы его шевелились, а слов Ромашкин не слышал, в ушах стоял звон.

Жук приблизился вплотную и крикнул в самое ухо:

— Всех нас к наградам представили! А вам с сержантом Пряхиным, наверное, Героя дадут. Точно говорю!

Ромашкин не верил: «Ошибка, наверное…»

А у Василия в ушах теперь не звенело, там будто свистел зимний ветер. Изо всех сил Ромашкин старался устоять на ногах, стыдно было падать: Жук может подумать, что от радости лишился чувств. Однако контузия брала свое, земля колыхалась, как плот на воде. Василий ухватился за край траншеи. И траншея раскачивалась вверх-вниз, вверх-вниз, словно качели. Наконец земля опрокинулась, и Ромашкину показалось, что он ударился

спиной о твердое небо…

Сознание возвращалось к нему урывками. Иногда при этом он слышал треск автоматов, совсем надорванный фальцет Кузьмы Пряхина. Надо бы встать, помочь сержанту, но не было сил.

Потом, совершенно неожиданно для себя, Василий оказался на мокром берегу. Рядом хлюпает вода. Мелькает множество ног в солдатских обмотках: они валятся с плотов, бегут по отмели, лезут на крутой обрыв. И совсем рядом — голос майора Гарбуза:

— Берите свободную лодку и срочно везите его в санбат. Да осторожнее!

Бело вокруг. Ромашкин будто в заснеженном зимнем поле. Над ним склоняется какой-то тоже белый шар. Из шара смотрят знакомые веселые глаза.

— Ну как, товарищ старший лейтенант, выдюжили?

Глаза сержанта Пряхина. И голос его же, писклявый. "Что это, бред? Почему летом выпал снег? Почему так тихо? Наверное, немцы к новому штурму готовятся? "

Василий огляделся. Небольшая изба, бревенчатые стены обтянуты старыми простынями. Кузьма с забинтованной головой сидит на соседней койке. Напоминает:

— Это я, Кузя Пряхин. На плацдарме вместе хрицам прикурить давали. Помните?

«Помню… Теперь все помню. Только чем там кончилось? Не сбросили нас в Днепр?»

— Как фор… форсир… — У Василия не хватило сил выговорить это длинное слово.

— Порядок! Хворсировали! Наши жмуть на запад! — прокричал Кузя.

И Василий почувствовал, что засыпает. Спокойно засыпает, а не теряет сознание.

«Не напрасно, значит, стояли мы насмерть!» — как в тумане проплыла последняя мысль.

Ранение у Ромашкина было не опасным, а контузия оказалась тяжелой: голова была какая-то пустая, он ничего не соображал. Потом выяснилось, из-за смертельной усталости: не спал же трое суток. А когда отоспался, отмылся, побрился, все как рукой сняло. Через неделю встал.

Полевой госпиталь располагался в деревне: избы — палаты, клуб — столовая, правление колхоза — штаб госпиталя. Меж рубленых домов мелькали сестры в белых халатиках. Раненые в нижнем белье шкандыбали на костылях по садам и огородам — приелась окопная пресная пища. Яблочко, морковка, паслен у плетня — все это лакомство. Местных жителей в деревне не было: то ли фашисты истребили, то ли угнали, а может, ушли сами,

когда наши отступали на восток.

Проворный Кузьма приносил Ромашкину репу, а однажды притащил пригоршню розовой малины.

— Ешьте, товарищ старший лейтенант. Солдаты все кусты по краям начисто обобрали. А я в заросли полез — колется, проклятая, не пускает, но лез, — сам наелся от пуза и вот вам набрал…

— Кто здесь Пряхин? Иди в штаб, вызывают! — крикнул от двери посыльный, такой же, как и все, раненый, с бинтами на шее и в белых подштанниках. Только заношенная красная повязка на руке показывала, что он при исполнении служебных обязанностей.

— Зачем это я понадобился? — изумился Кузьма.

— Иди, там узнаешь, — сказал Василий и тревожно подумал: «Уж не похоронка ли? Может, у него брата убили. Или отца…»

Пряхин убежал. Он всегда передвигался бегом. А по деревне уже гуляла новость:

— Героя дали!

— Кому?

— Да тому конопатому, у которого башка в бинтах.

— Говорят, здорово на плацдарме воевал, полку переправу обеспечил…

Пряхин вернулся в хату, сияя глазами, словно голубыми фарами. Подбежал к кровати Василия, виновато затараторил:

— Как же так, товарищ старший лейтенант?! Кабы не вы, нешто я удержал бы тот плацдарм? И теперь вдруг я Герой, а вы нет. Не по справедливости получается.

Смотрел Ромашкин на его веснушчатый нос и сияющие голубые глаза, на бинты, испачканные у рта борщом, на рубаху с тесемками вместо пуговиц, и не верилось, что это Герой Советского Союза, тот самый Пряхин, которого он когда-то не взял в разведку.

— Поздравляю тебя, — с чувством сказал Ромашкин.

— Чего же поздравлять-то?.. А как же с вами? Напишу товарищу Калинину, не по справедливости выходит.

— Брось ты кудахтать. Рассказывай по порядку.

— Ну, вызвали, я доложился. Сказали, указ, мол, есть и звонок по телефону был: как поправлюсь, ехать в Москву за высшей наградой… А что если я там, в Кремле, скажу про вас Калинину?

— Не надо. Там не полагается об этом говорить. Начальству виднее, кто Герой, кто нет. Да ты сам вспомни, через какое пекло прошел. Заслужил. Не сомневайся!

— Так вы же рядом были и командовали больше меня.

— Разберутся…

Пряхин стал знаменитостью в госпитале. Ему выдали все новое со склада — белье, простыни, даже одеяло. В процедурной девушки размотали на его голове бинты, чтобы взглянуть на Героя. Им открылась веснушчатая, лукавая физиономия с щербатыми зубами и озорными голубыми глазенками.

Девушки захихикали, и каждая втайне отметила: «А он ничего, симпатичный…»

Ромашкин радовался за сержанта, а в глубине души копилась обида: «Что же получается? На плацдарме всеми командовал я. И Пряхиным командовал. Но вот Кузя Пряхин — Герой, а меня обошли». Захотелось сейчас же уехать в полк. Не для того, чтобы выяснить, как все это произошло: неловко стало находиться рядом с Пряхиным — и ему радость омрачаешь, и у самого душу саднит.

Только каким образом выбраться досрочно из госпиталя? В прошлый раз, под Москвой, помог военврач. Там учли гибель отца, подавленное состояние. Здесь никто не поможет, причин нет.

Однако разведчик и в своем тылу остается разведчиком: он наблюдательней и находчивей других.

В госпитале работников не хватало, раненые многое делали сами. Как только встал на ноги, берись за работу: на кухне, в управлении, в палате. Медсестры перевязывали только неходячих. Остальные сами разматывали бинты, стирали их, сушили на деревьях. Раны показывали врачу, он говорил сестре, какую наложить мазь, сестричка мазала, а перевязывали сами друг друга.

Ромашкин постоял в процедурной, послушал разговоры. Многие просили выписать их раньше, но врач — пожилой, толстый, в очках с массивными, точно лупы, стеклами — говорил:

— Полежишь ещё десять дней. Все. Иди.

Были и такие, кто не прочь оттянуть срок выписки.

— Эх, ты, сачок! — сердился врач, разглядывая ловкача через свои очки. — Иди в управление к Нине Павловне, скажи, майор Шапиро приказал немедленно отправить тебя в часть. Следующий.

Ромашкин вернулся в палату. Собрал вещички, спрятал бинты, завязал все тесемочки на рубашке и с полной уверенностью в успехе направился в управление госпиталя.

Нина Павловна, моложавая, красивая женщина со строгими глазами, работала споро. Когда подошла очередь Ромашкина, он, глядя прямо в глаза ей, с напускной вялостью сказал:

— Шапиро велел выписать.

— Вы вроде недавно у нас, — сочувственно отметила Нина Павловна.

Ромашкин испугался, как бы не разоблачили. Решил избавиться от её сочувствия и, разыгрывая нахала, заговорил вызывающе:

— Вот и я толкую ему, что недавно прибыл, а он ноль внимания. Не вылечат, понимаешь, и уже гонят! Окопались тут в тылу…

— Ну, ты не очень-то! — осадила Нина Павловна. — Как фамилия?

— Ромашкин.

— Если майор Шапиро велел выписать, значит, пора! — Она вписала фамилию в заранее заготовленные бланки и подала их Ромашкину.

— Получай обмундирование и на фронт шагом марш. Вояка!..

Ромашкин был настолько опытным фронтовиком, что не нуждался в указаниях о маршруте к месту назначения. Он, конечно, не поехал в резерв офицерского состава, куда выдали предписание, а вышел на шоссе, на попутных машинах добрался до своей дивизии и к вечеру очутился в родном полку.

Встретили его радостно и начальники, и разведчики. Должность в разведвзводе была свободна, специально для него сохраняли.

— Очень уж быстро вылечился! — подозрительно сказал Гарбуз, вглядываясь в похудевшее лицо Василия, и позвал его в свой блиндаж: — Пойдем, чаем тебя напою и обрадую.

У Ромашкина так и подпрыгнуло сердце: «Могло случиться, Пряхин в одном указе, а я в другом».

Гарбуз усадил его к столу, сбитому из снарядных ящиков. Пододвинул стакан с чаем. Начал расспросы:

— Что, парнишечка, невесел? В госпитале ничего не натворил?

— Все в порядке, товарищ майор, вылечили.

— Хорошо, если так. Ну, ладно, я очень рад тебя видеть — это раз. И поздравить с правительственной наградой — это два. Орденом Красного Знамени тебя наградили за форсирование Днепра. Орден будет вручать командующий армией.

Гарбуз пожал руку Василия и опять испытующе глянул ему в глаза. Ромашкина обдало жаром. Нет, не этой награды он ждал! Пытался ругать себя, успокаивать: «Недавно с трепетом смотрел на Красное Знамя. Самой почетной наградой считал этот орден. А теперь смотри как зазнался, даже не радуешься!»

Гарбуз тоже был почему-то невесел.

— Да, брат, и я не того ждал, — вдруг сказал он. Ромашкин

испугался: откуда замполит узнал его мысли. — Ты давно заслужил Золотую Звезду. Сколько уже «языков» натаскал? Штук полсотни?

— Сорок пять.

— Вот видишь. Разведчикам, по-моему, надо, как летчикам, боевой счет вести. Сбил двадцать пять самолетов врага — Герой. Привел двадцать пять «языков» — тоже Герой. — Гарбуз явно был расстроен. — Звонил я в штаб армии. Говорят, командиром подразделения, которое переправилось первым и удержало плацдарм, был сержант Пряхин. А помогали ему все. И вы в том числе, товарищ Гарбуз, что же, и вам давать Героя? Вот ведь как меня подсекли. Сразу говорить расхотелось… Но ты не огорчайся, Ромашкин, мы тебя знаем. Впереди ещё много будет возможностей.

Ромашкин никогда не видел его так расстроенным и вдруг сам стал успокаивать Гарбуза:

— Не огорчайтесь и вы, товарищ комиссар, не за награды воюем!

— Правильно, Василий. Но если награды существуют, значит, давать их нужно по заслугам.

— Сержант Пряхин, по-моему, честно заслужил Золотую Звезду — он дрался геройски, командира роты заменил! И после того, как меня ранило, один командовал, плацдарм отстоял!

Гарбуз досадливо отмахнулся:

— Не о том речь. Пряхин молодец. Я в принципе…

И Ромашкин почему-то представил себе Гарбуза в его прежней роли — секретаря райкома партии — в поле, у трактора, среди колхозников. Там он был таким же — рассудительным, справедливым. И его любили. А после войны больше любить будут, потому что стал он ещё душевнее, ещё умнее.

— Возьмите меня с собой после войны, — попросил Ромашкин, — правда, я не знаю, что там сумею делать… Гарбуз просиял:

— Поедем! С радостью тебя возьму. А что делать?.. Ну, первым долгом я бы всему району тебя показал, рассказал бы всем, какой ты геройский разведчик. Потом тебя избрали бы секретарем райкома комсомола. Ну а последнего своего «языка» — самую красивую девушку на Алтае — сам высмотришь! И пойдет она к тебе в плен без сопротивления! — Гарбуз засмеялся. — А пока отправляйся в свой взвод. Мне пора к Куржакову. Он после ранения даже от медсанбата отказался, в тылах пока лечится. От безделья начал чудить: нацепил самовольно четвертую звездочку на погоны, расхаживает капитаном. По штату ему это звание положено, но не

присвоили, — значит, жди. А он говорит: не могу ждать, убьют — и капитаном не похожу!

Ромашкин улыбнулся: это на Куржакова похоже! Попросил замполита:

— Вы не ругайте его. Ругайте тех, кто не представил Куржакова к званию. Сами же говорили: положено — дай!

— Ишь ты! — удивился Гарбуз. — Быстро усвоил!.. Но правильнее будет сделать так: присвоение звания Куржакову ускорить, а самого его подправить. Да, кстати, и ты поговори с ним, вы старые друзья.

— Едва ли он со мной посчитается.

— Почему же? Он тебя уважает.

— Не замечал.

— Мне Куржаков сам про тебя говорил: хороший парень этот Ромашкин, смелый и умный офицер…

Гарбуз утаил конец этого разговора, не хотел напоминать о смерти. А Куржаков сказал тогда: «Зачем каждую ночь этого мальчика гоняете на задания? Привел „языка“, пусть отдыхает. Думаете, просто каждую ночь в немецкие траншеи лазить? Загубите парня, сами потом пожалеете».

В Москве гремели салюты в честь героев Днепра. Без сна и отдыха работали люди в тылу по двадцать часов в сутки — им думалось, что бойцы действующей армии вообще не спят.

У фронтовиков действительно случались периоды, когда спать почти не приходилось. Один такой бессонный месяц был на Курской дуге, другой — на Днепре. Утешали себя: «Ну, форсируем Днепр, тогда отоспимся». Не тут-то было! Немцы старались удержать Восточный вал. Все их резервы, все, кто мог ходить и стрелять, были брошены на ликвидацию плацдармов, захваченных советскими войсками на западном берегу Днепра.

На фронт к советским воинам приезжали делегации с подарками, бригады артистов.

Гостей допускали лишь до широкой днепровской воды и здесь останавливали. На том берегу продолжались тяжелейшие бои.

Но гостей все же надо было принимать — они выступали в госпиталях, в резервных частях, во вторых эшелонах, в штабах, на аэродромах.

Приехали гости и в полк Караваева. Кирилл Алексеевич был на НП, когда ему доложил об этом по телефону начальник тыла подполковник Головачев.

— Хорошо, — устало сказал Караваев, а сам подумал: «Вот принесло не вовремя. Что же делать?» — Ну, вы там организуйте обед, угощение, чтобы все было на уровне.

— Это понятно, все сделаем. Только они на передовую просятся. Вас хотят видеть, героических бойцов.

— Ни в коем случае! Тут такое творится, не продохнешь! Сейчас шестую контратаку отбили. Я к тебе Гарбуза пришлю, он разберется. — И, положив трубку, сказал замполиту: — Давай, Андрей Данилович, это по твоей части. Я здесь как-нибудь без тебя обойдусь, а ты займи гостей.

— Ладно, — мрачно согласился Гарбуз. — И что же там прикажешь мне делать? Они ведь героев хотят видеть.

— Не злись, Данилыч. У нас все герои. Собери в штабе свободных офицеров да возьми Ромашкина с разведчиками — им сейчас тут делать нечего. Забирай и Початкина с его саперами. Вот тебе и герои!

— Это же резерв.

— Не одни они в резерве. Продержимся и без них. У фашистов тоже не бездонная бочка. Смотри, сколько их уложили за день. — Караваев кивнул на поле, усеянное мертвыми вражескими солдатами. — Устоим. Не беспокойся, Андрей Данилович. Я ещё в первый батальон позвоню, чтоб к тебе послали натурального Героя — сержанта Пряхина. Вот и будет полный комплект…

Так нежданно-негаданно Ромашкин попал в разгар боя в торжество.

Переправившись на левый берег, разведчики забежали, конечно, к старшине Жмаченко. Почистились, приоделись, нацепили ордена и медали.

— Ось як на украинской земле, воювати, так с музыкой! — гордо сказал Шовкопляс.

— Рано мы пируем, — возразил Голощапов, — немец может такую «барыню» сыграть, что в Днепр, как лягушки, прыгать станем.

— Не для того лезли на плацдармы, чтоб назад драпать! — пробасил Рогатин.

— Не кажи гоп, покуда не перескочишь… Хотя мы вже перескочили! — посмеивался Шовкопляс.

— Погоди, немцы наскипидарят тебе одно место, поглядим, куда ты ускочишь, — задирался Голощапов.

Ромашкин привинтил на новую гимнастерку все свои награды. К первой его медали «За боевые заслуги» давно прибавились медаль «За отвагу» и два ордена Красной Звезды. Подумал: скоро ещё за Днепр Красное Знамя вручат…

Жмаченко разглаживал на ребятах складки, одергивал, расправлял гимнастерки. Взмокший и красный от усердия, то и дело вытирал платком круглое лицо, лысину, шею.

— Ты тоже одевайся, с нами пойдешь, — сказал Василий старшине.

— Куда мне! — вздохнул с завистью Жмаченко.

Ромашкин понял этот вздох по-своему: «У него и на грудь-то нацепить нечего. Как же мы проглядели? Сколько добрых дел старшина сделал! Разведчики всегда одеты, обуты, сыты. А ведь часто, разыскивая взвод, старшина нарывается на фашистов, отбивается от них. Он сам себе и разведка, и охрана, и транспорт — сам ищет взвод, на себе тащит термосы, мешки с продуктами. Да, не отблагодарили мы старшину! Интенданты в больших штабах ордена получают — и правильно! — а мы своего кормильца, который не меньше других опасностям подвергается, забыли. Нехорошо. Сегодня же с Гарбузом поговорю».

Недалеко от штаба в машине с брезентовым тентом бойкая, веселая женщина продавала конфеты, папиросы, иголки, нитки, пуговицы — прибыл военторг.

К Василию подошел Початкин:

— Слушай, у нее там целая бочка вермута. Давай нальем в те бутылки на всякий случай. А то хватится батя, голову Гулиеву оторвет.

— Правильно. Где бутылки?

Женька принес ящичек. Подошли к машине, подали все сразу.

— Наполните, пожалуйста.

— Обмануть кого-нибудь хотите? — догадалась продавщица. — Ух, какие пузыречки красивые!

— У нас на фронте без обмана, — отрезал Початкин.

— Какой серьезный! — Продавщица обиженно поджала губы и подала бутылки с вермутом.

Василий и Женька тут же стали пробовать.

— Ну и дрянь! — сказал Ромашкин

— Жженой пробкой пахнет, — поддержал Початкин. — А-а! — махнул рукой. — Ничего, на немцев свалим: у них, мол, кто-то в эти красивые бутылки дряни налил.

— Давай хоть горлышки сургучом запечатаем, — предложил Ромашкин и принес из штабной землянки палочку сургуча. На спичках растопили его и накапали на горлышки.

— У меня ещё вот что есть, — сказал Василий. Из кармана он достал немецкие монеты, пришлепнул одной из них, как печатью, теплый сургуч.

— Здорово получилось! — оценил Женька.

Приезжие артисты выступали под открытым небом. Сцену соорудили из двух грузовиков с откинутыми бортами. Зрители сидели на траве. Немолодой конферансье Рафаил Зельдович, в черном костюме с атласными лацканами и платочком в

нагрудном кармане, сиял улыбкой и сыпал шутками. Сам спел пародийную песенку о старом часовщике и отбил под нее чечетку:

Часы пока идут, и маятник качается,

И стрелочки бегут, и все как полагается…

Песенка кончалась словами о скорой гибели гитлеровской армии, которая, как старые часы, пока ещё воюет, но конец её близок. Эту песенку, как всегда, слушатели хорошо приняли, бурно зааплодировали.

Потом блондинка в длинном с блестками розовом платье — Агния Ковальская — пела «Синий платочек». Ей аплодировали ещё усерднее. Затем баритон Сидор Гордов, совсем уже пожилой, но с тщательно выбритым, напудренным лицом, во фраке и накрахмаленной манишке, исполнил «Жди меня» и «Темную ночь».

Все эти песни вызывали у Ромашкина тихую грусть: возможно, ему так и не придется испытать ни настоящей любви, ни женской нежности — за Днепром гудели взрывы, до Берлина далеко, сотни ночей ещё надо будет ползать за «языками»…

После концерта артистов пригласили пообедать со знатными людьми полка. Столы стояли на опушке леса, недалеко от того места, где проходил концерт. Гарбуз, взявший на себя роль тамады, сидел под березой, рядом с подполковником Головачевым. Он объяснил гостям, почему командир полка не может сам приветствовать их, и предложил первый тост за тружеников тыла, которые все дают для фронта и для победы. И когда все выпили, представил:

— Познакомьтесь, пожалуйста, с Героем Советского Союза сержантом Пряхиным. Первым переправился через Днепр, заменил раненого командира роты капитана Куржакова, захватил и удержал плацдарм. Все, кто уцелел с ним на плацдарме, были ранены по два — три раза. Сам Пряхин тоже совсем недавно вернулся из госпиталя. Золотая Звезда ему ещё не вручена, но он Герой — был Указ Верховного Совета.

Пряхина бурно приветствовали. А он покраснел так, что веснушки на лице исчезли, и казалось, вот-вот кровь брызнет через поры.

— Скажи что-нибудь гостям, товарищ Пряхин, — попросил Гарбуз

— Куда мне! — ещё более смутился сержант и согнулся так, будто хотел шмыгнуть под стол.

Ромашкин вспомнил, как Пряхин на плацдарме носился по траншее, подбадривал визгливым фальцетом бойцов, сам бил фашистов из автомата и в рукопашной гвоздил их прикладом. Стало обидно, что гости могут не оценить сержанта по

достоинству. И Ромашкин неожиданно для себя поднялся.

— Товарищи, Пряхина надо было видеть там. — Василий кивнул на ту сторону Днепра. — Он не всегда такой застенчивый. В бою выделяется смелостью. Словом, настоящий Герой. Рядом с ним воевать легче.

Гости снова зааплодировали, а Гарбуз тут же пояснил:

— Своего боевого друга вам представил наш прославленный разведчик старший лейтенант Ромашкин. Он привел сорок пять «языков». В бою за плацдарм был рядом с Пряхиным и награжден орденом Красного Знамени.

Из-за спины замполита Василию лукаво улыбалась чернобровая физиономия Гулиева. В руках у него был тот злополучный ящичек, похожий на этюдник.

Ромашкин обменялся встревоженным взглядом с Початкиным. А Гулиев уже тянулся на цыпочках к уху Гарбуза, торопливо шептал что-то.

— Очень хорошо! — громогласно объявил Гарбуз. — Командир полка прислал нам трофейный гостинец.

— Какая прелесть! — воскликнула Ковальская, увидав уложенные на плюше красивые бутылки с яркими наклейками.

— Таким чудесным вином сейчас могут угостить только на передовой, — многозначительно сказал Зельдович.

«Ты попробуй сначала, а потом уж нахваливай», — мысленно упрекнул его Ромашкин,

Замполит налил всем понемногу из первой бутылки.

— Очень приятное вино, — одобрила Ковальская.

— Какой-то особый привкус, — неопределенно высказался Зельдович.

Баритон помалкивал. «Этого не проведешь», — подумал Василий.

И тут в небе загудели «юнкерсы». Застолье притихло, все подняли головы вверх. Зенитки, словно кашляя, ударили по самолетам. Черные облачка взрывов повисли в вышине. Но бомбардировщики все-таки построились в карусель и стали пикировать на тот берег, на плацдарм.

— Наших бомбят, — сказал Гарбуз и поднялся. — Значит, готовят сильную контратаку.

Все встали. Гарбуз оглядел присутствующих, как-то жалко улыбнулся гостям:

— Извините нас, товарищи, мы должны идти. Там сейчас очень трудно. Оставляем вас на попечение подполковника Головачева.

«Юнкерсы» сбрасывали бомбы порциями, чтобы подольше держать защитников плацдарма в напряжении. Однако не успела

их карусель сделать и два круга, как появились наши истребители. Один «юнкере» задымил сразу. ещё один сперва завалился на крыло, а потом тоже рухнул на землю. Третий бомбардировщик окутался дымом уже вдали, над немецкими позициями.

— Вот это артисты! — восторженно сказал Зельдович.

А за Днепром все азартнее била артиллерия. Перекрывая общий гул, иногда с треском рвались тяжелые мины. Гарбуз в сопровождении Ромашкина, Початкина, Пряхина, всех разведчиков и саперов, только что сидевших за столом, бежал к переправе.

На противоположном берегу из кустов выскочил навстречу им сержант с перевязанной головой.

— Товарищ майор, дальше нельзя: гитлеровцы.

— Какие гитлеровцы?! — вскричал Гарбуз. — А где командир полка? Караваев где?

— Там, на высотке. И батальоны там. Фашисты их обошли. С фланга прорвались.

— А вы почему здесь?

— Мы раненые. На переправу шли. А пока вот держим фрицев.

— Сколько вас?

— Человек двадцать. ещё связисты подходят.

— Где немцы? Много их?

— Рота, не меньше. Вон там, в старых траншеях засели. Гарбуз посмотрел в бинокль, куда показывал сержант, приказал:

— Ромашкин с разведчиками и ты, Початкин, со своими — за мной!

Всех, кто прибыл с ним, Гарбуз повел вдоль берега, прикрываясь обрывом. Потом они вылезли наверх и по кустам приблизились к траншее, занятой фашистами. Их заметили, начали обстреливать из минометов и пулемётов. Группа залегла.

— Огонька бы, — вздохнул Гарбуз. Пряхин чиркнул трофейной зажигалкой.

— Не такого, артиллерийского, — улыбнулся замполит. Мокрые волосы прилипли к его лбу, он настороженно вслушивался.

Вдали кипел бой. Рычали танки, слышались взрывы гранат и длинные пулемётные очереди.

— Надо выручать командира, — сказал Гарбуз.

— Давайте ударим напропалую, — поддержал замполита Пряхин. — Нас тоже почти рота. На плацдарме в первый день у меня двенадцать человек было — ротой считали. А тут вон сколько людей. Да каких! Одни разведчики чего стоят!

— Ишь ты, заговорил! Что же за столом молчал? — спросил Гарбуз. — Беги, Пряхин, к тем раненым и всех, кто может встать, подними в атаку. Отвлечешь фрицев на себя, а мы здесь ударим.

— Есть! — крикнул сержант и побежал исполнять приказ.

— Сколько у нас, Ромашкин, патронов, гранат?

— На одну атаку хватит.

— Давайте поближе подползем.

— Вы бы остались здесь, — не то попросил, не то посоветовал Ромашкин. — Мы сами все сделаем.

— Ты думаешь, я только тосты могу произносить?

— Не знаю вас, что ли?

— Вот и не обижай, — пожурил Андрей Данилович и пополз вместе со всеми.

Из прибрежных зарослей затрещали автоматы, донеслось жиденькое «ура!». Василию показалось, что он слышит тонкий визгливый голосишко Кузи Пряхина.

— Жаль, если Пряхина убьют. И Золотую Звезду не поносит, — сказал неожиданно Гарбуз. Поднялся во весь рост и скомандовал: — Вперед, за мной!

Ромашкин, привыкший действовать тихо, подумал: «Надо бы и здесь без шума, без „ура!“ подползти по кустам ближе». Но саперы и все, кто примкнул к их группе, уже закричали «ура!» и, стреляя на ходу, кинулись к траншее.

Немецкие пулемёты заработали остервенело. Ветки, срезанные пулями, посыпались на головы атакующих. пулемётчики взяли высоковато, и это спасло многих.

Рогатин, взмахнув ручищей, на бегу добросил гранату до пулемёта и тут же метнул вторую. Два взрыва грохнули почти одновременно.

Разведчики выбежали из кустов. Ромашкин заметил, что один пулемёт свалился набок, а у другого что-то заело, и зеленые в касках пулемётчики лихорадочно дергают затвор. «Успеют или не успеют? — пронеслось в голове. — Если успеют, нам крышка. Да что же это я!» — спохватился он и, прицелясь, дал очередь из автомата. Пули взбили землю возле пулемёта.

Разведчики вбежали на взгорок, где была траншея, и, не спускаясь в нее, ринулись поверху, стреляя в мелькающие под ними каски. Вражеские солдаты сталкивались на поворотах траншеи, лезли через убитых.

Рядом с Ромашкиным зарокотал пулемёт. Василий оглянулся. Из немецкого пулемёта шпарил по немцам Пролеткин. Он устранил задержку и теперь, уткнув приклад в живот, волоча по земле длинную ленту, как метлой, мел огнем впереди себя.

— Давай, давай, чертенок! — весело поощрил его Гарбуз.

Гитлеровцы сбились кучей в конце траншеи, мешая друг другу, пытались ещё отстреливаться. Но когда Саша Пролеткин полоснул из пулемёта в самую их гущу, оттуда послышались крики, стоны и знакомое «Гитлер капут!».

— Хенде хох! — приказал Ромашкин. Несколько рук поднялось из траншеи. Початкин побежал было к ним, но Ромашкин схватил его за гимнастерку.

— Погоди, не горячись. Может, руки подняли не все!

Женька остановился.

И тут произошло непоправимое. Из траншеи раздался одиночный выстрел. Немцы присели, опасаясь ответного огня.

— Вот видишь, — сказал Ромашкин и услыхал, как позади кто-то свалился.

— Комиссар! — жалобно крикнул Саша Пролеткин. Ромашкин оглянулся и увидел Гарбуза на земле. Струйка крови текла с виска под воротник гимнастерки.

— Товарищ майор! — позвал Ромашкин, склоняясь над Гарбузом и уже понимая, что тот мертв.

За спиной опять загремели выстрелы и взрывы гранат. Ромашкин догадывался, что там происходит, но даже не оглянулся. Держал холодеющую руку Гарбуза и шептал:

— Я же говорил вам, Андрей Данилович, не надо. Мы бы сами…

Шестеро разведчиков унесли Гарбуза на плащ-палатке к переправе.

Оттуда Ромашкин позвонил на НП полка, доложил о беде. Караваев долго молчал, только слышно было его дыхание в трубке, потом чужим, одеревеневшим голосом приказал:

— Выносите Андрея Даниловича на тот берег. Хоронить будем всем полком.

— А на кого оставим плацдарм?

— Свято место пусто не бывает. Ночью нас сменят…

На левом берегу, где совсем недавно некому было слушать концерт, теперь стало многолюдно. Подходила свежая дивизия.

Усталые солдаты рассаживались на косогоре и, пока паром перевозил через Днепр очередное подразделение, успевали прослушать и просмотреть весь не слишком обширный репертуар оказавшихся здесь артистов. Уплывала одна партия бойцов, подходила другая, и снова все в том же порядке выступали Зельдович, Агния Ковальская, баритон Гордов и балетная пара.

Когда разведчики поднимались по трапу с тяжелой своей и скорбной ношей, Ковальская пела:

…Как провожала и
платочек беречь…

Конферансье Зельдович узнал их, заметно заволновался. Ему подумалось почему-то, что погиб тот симпатичный рыженький Герой, который не умел говорить. Такой молодой, совсем мальчик.

Объявив перерыв, артисты побежали к опушке леса, где их угощали обедом. Агния Ковальская, придерживая подол своего красивого розового платья, семенила по лугу в лакированных туфлях. Ей помогал, подхватив под руку, баритон во фраке.

Вокруг тела, накрытого зеленой плащ-палаткой, стояли без пилоток их первые зрители.

— Кто это? — спросила Ковальская, кусая губы.

Ромашкин не мог выговорить ни слова, знал: голос задрожит, и он расплачется. Молча приподнял край палатки, показал лицо Андрея Даниловича.

— Ах! — вскрикнула Ковальская, и из глаз её покатились слезы…

…Ночью остатки полка были выведены во второй эшелон.

Гарбуза похоронили под той самой березой на опушке, где он вчера принимал гостей, правил застольем. На похоронах Караваев произнес недлинную, но очень трудную для него речь. Подполковник часто умолкал, и все опускали при этом глаза, как бы давая возможность командиру собраться с силами. Караваев снова начинал говорить и опять замирал на полуслове.

А Ромашкин видел перед собой далекое алтайское поле, залитое солнцем, на котором никогда не бывал, но которое отлично представлял себе по рассказам Гарбуза. На поле этом урчали трактора, разворачивались комбайны, толпились колхозники. Только не было здесь секретаря райкома Гарбуза.

Когда прогремел прощальный залп, в задних рядах кто-то тихо спросил:

— Где тут артисты?

— А в чем дело? — оглянулся Зельдович.

— Мы на тот берег идем. Ну, и хотели бы… как всем, которым вы до нас… — смущенно просил загорелый усатый старшина.

Опять политическая проблема

В полк прибыл новый замполит. Караваев представил его офицерам штаба и командирам батальонов. Все смотрели на вновь назначенного и невольно — на могилу Гарбуза под раскидистой березой. Ромашкин узнал подполковника Линтварева — того самого батальонного комиссара, с которым лежал в госпитале. Помнил Василий и неприятный разговор с Линтваревым по поводу киножурнала о параде на Красной площади. Линтварев был в хорошо отутюженной форме, два ордена Красной Звезды поблескивали на его груди. Лицо у подполковника, как и тогда в госпитале, гладкое, глаза серьезные, умные.

Его первое указание всем понравилось краткостью и деловитостью:

— Дайте людям хорошенько выспаться. Мы организуем баню, постарайтесь соблюдать график, надо, чтобы все успели помыться. Последнее время, в боях, вам читать было некогда. Я привез с собой целую кипу газет, пришлю вам. Полистайте старую прессу — там много интересного. — Линтварев заметил, что командиры поглядывали на могилу Гарбуза, и сказал: — Я хорошо знал Андрея Даниловича. Вместе с вами, товарищи, я переживаю тяжелую утрату. Много раз мы встречались с ним, часто говорили по телефону. До назначения в полк я работал в политотделе нашей же армии. Мы постоянно были связаны по службе.

Василий понимал — нет оснований для неприязни к новому замполиту. Короткого инцидента в госпитале для этого вроде бы недостаточно. Но все же неприятен ему был этот человек, а чем, он объяснить не мог.

Сразу после совещания в роты прибежали связные из штаба, зазвонили телефоны, которые успел и здесь, на отдыхе, наставить капитан Морейко. Срочно объявили построение полка.

На большой поляне Василий увидел три запыленные легковые машины. Там, разговаривая, стояли генералы. В стороне от других прохаживался, заложив руки за спину, маршал — государственный герб и большая звезда виднелись на его погонах.

Когда полк был построен и маршал подошел ближе, Ромашкин узнал — это Жуков!

Маршал поблагодарил всех за стойкость и мужество, проявленные при небывалом в истории войн форсировании такой водной преграды на широком фронте.

— Только вам — советским воинам — оказалось это под

силу!

Подполковник Колокольцев стал читать список награжденных. Первым вызвал Героя Советского Союза Пряхина. Быстрой походкой Кузьма подбежал к столу. Жуков впервые за все время улыбнулся:

— Спасибо тебе, сержант Пряхин!

— Служу Советскому Союзу! — браво пропищал Кузьма, и маршал опять улыбнулся.

— Молодец, хорошо служишь! — Он подал ему кумачовую папку — Грамоту Верховного Совета, на ней в раскрытой коробочке горела солнцем Золотая Звезда, а в другой — переливался теплым золотом орден Ленина.

Пряхин вернулся в строй, соседи тут же помогли ему прикрепить награды. Все с любопытством косили глазами на Героя, но порядок в строю не нарушали.

— Капитан Куржаков награждается орденом Красного Знамени, — вызвал начальник штаба.

Григорий пошел к столу, придерживая руку на черной повязке. «Не ранило бы его в начале форсирования, сейчас был бы Героем», — подумал Ромашкин. Давно уже Василий не испытывал неприязни, с которой началось их знакомство, он уважал Куржакова и втайне даже преклонялся перед его храбростью, понимал теперь причины его злости и грубости. Когда человек в бою отдает себя всего без остатка, как Куржаков, ему можно простить любую резкость. Правда, Ромашкину не нравились пьяные выходки Куржакова, и даже не они сами, а последствия, к которым могли привести. Совсем недавно обнаружил Куржаков густые заросли малины в нейтральной зоне и взбеленился:

— Не позволю фрицам жрать нашу малину! — Приказал вырыть ход сообщения, провел телефон и велел бойцам:

— Съесть всю малину!

Колокольцев, узнав о новом его фортеле, спросил по телефону:

— Где вы находитесь?

Куржаков, не моргнув глазом, ответил:

— В малине!

— Перестаньте шутить, возвращайтесь на свой НП, — приказал Колокольцев.

— А у меня здесь вспомогательный НП, товарищ подполковник. Дадите команду вперед, а я уже впереди!

— Хватит, Григорий Акимович, пошутили — и довольно, — устало сказал Колокольцев.

Куржаков уважал начальника штаба — вернулся.

…Следующим для получения награды был вызван Иван

Петрович Казаков. Ему тоже вручили орден Красного Знамени. Потом настала очередь Ромашкина. С бьющимся сердцем строевым шагом он подошел к маршалу и с любопытством посмотрел ему в лицо. Низкие темные брови и тяжелый подбородок с глубокой ямкой посередине делали его суровым, а глаза у маршала оказались добрыми.

«Это сейчас они добрые, когда награды вручает», — подумал Ромашкин, он слышал много рассказов о крутости Жукова. Действительно, когда маршал появлялся на каком-нибудь участке фронта, люди сразу чувствовали его твердую волю. Жуков не терпел неисполнительности и неточности, за каждую оплошность взыскивал с виновных строго, и никто никогда не осуждал маршала, потому что все видели — взыскивает он справедливо, желая избавить войско от больших потерь и ускорить победу. Ромашкин слышал, как недавно в соседней дивизии Жуков обнаружил, что в одном полку плохо подготовились к наступлению: то ли устали, то ли поленились там работники штаба. «Пойдете сами со стрелковыми ротами, — сказал им Жуков. — Переносить срок общего наступления я не могу. Убедитесь, как трудно воевать солдату при таких организаторах, как вы».

Маршал крепко пожал руку Ромашкина. Взяв коробочку с орденом, Василий ответил, как все:

— Служу Советскому Союзу!

Чтобы ускорить вручение наград, генералы стали помогать маршалу.

Разведчики Рогатин, Пролетами, Голощапов получили ордена Отечественной войны второй степени, все остальные, кто был с Ромашкиным и Пряхиным на плацдарме, — Красную Звезду. Много орденов и медалей осталось на столе в коробочках — кому они были предназначены, лежали в земле или на дне реки.

Потом Василий и все награжденные слушали концерт, на этот раз его дал фронтовой ансамбль песни и пляски.

Маршал и генералы на концерт не остались: впереди шел бой, и у них были свои заботы. После концерта обедали — каждая рота, батарея своей семьей. Ромашкин посидел с разведчиками, почувствовал, когда разговоры были в разгаре, что стесняет ребят, и незаметно ушел в штаб. По дороге он встретил Початкина.

— Пойдем к Люленкову, — предложил тот, — там ордена обмывают.

Штабные офицеры охотно приняли их в свою компанию. Заставили Ромашкина снять новый орден, положили в кружку, налили водки.

Это была фронтовая традиция — так обмывали и ордена, и

новые звездочки на погоны. Ромашкин выпил, достал орден и поцеловал его на закуску — так тоже полагалось.

— Молодец. Дай бог тебе ещё ! — сказал Люленков Ромашкину.

Орден пошел по кругу, его стали рассматривать инженер Биркин, химик Гоглидзе, связист Морейко, писаря и машинистки, которые сидели за общим столом.

В этот день Ромашкин побывал с Женькой у Ивана Петровича Казакова и у Куржакова. Их ордена тоже обмыли. Вечером, уже пошатываясь, Ромашкин опять оказался в штабе. Здесь остались одни офицеры, они курили, рассказывали анекдоты. Ромашкин подсел к ним, послушал и посмеялся вместе со всеми.

Может быть, все обошлось бы благополучно, если бы не перешли границ недозволенного.

— Вот случилась однажды, братцы, со мной такая петрушка… — Гоглидзе рассказал, как он встретил в поезде женщину и внезапно полюбил ее.

Потом говорил Биркин. За ним опять Гоглидзе. Это был обычный мужской разговор, такой, когда, не называя имен, вспоминают о женщинах, встреченных давно, и говорят чаще всего с явным домыслом, чтобы слушателям было интереснее. Такие рассказы никого не унижают и воспринимаются как анекдоты.

Но вдруг Морейко, разгоряченный выпитым, решил перехлестнуть всех.

— Вот здесь у меня в блокнотике… — Он достал из кармана блокнот с потертыми краями, похлопал по нему белой, будто женской, рукой. — Здесь записаны все, сколько их было. — Он стал читать: — Зиночка из Саратова, Нюрочка из Краснодара…

Ромашкину стало не по себе, он увидел длинный список имен, мокрые губы Морейко, его похотливые масляные глаза. Не помня себя, Ромашкин вдруг встал и влепил увесистый боксерский хук в лицо Морейко. Тот упал на спину, выронил блокнот и несколько секунд лежал, ошалело моргая глазами. Кровь полилась из его разбитых губ. Пошатываясь, Морейко медленно поднялся.

— За что? — спросил он, вытирая рот и размазывая кровь по щеке.

— Правильно, слушай, сделал! — сказал Гоглидзе.

— За что? — спросил ещё раз Морейко и, подвигав губами, выплюнул зуб. — Ты мне зуб выбил.

— И второй выбью, — сказал Ромашкин, угрожающе сжав кулаки.

Люленков и Биркин встали между ними.

— Что я такого сделал? — спрашивал Морейко. — Я старше его по званию…

— Ладно, потом разберемся, — сказал Люленков и увел Ромашкина к разведчикам. — Ложись, спи. Ну, натворил ты дел! Хорошо, если все обойдется тихо. Вы, ребята, его никуда не пускайте.

Однако скандал замять не удалось. Утром новый замполит увидел начальника связи со вздутой, посиневшей губой, без переднего зуба, отозвал его в сторону и выяснил, в чем дело.

Немедленно Линтварев сообщил в политотдел дивизии — скрывать такие грехи ему не было смысла. Пусть все видят, в каком состоянии он принимает полк.

Караваев, узнав о случившемся, хмуро спросил Линтварева:

— Почему не доложили мне, а сразу в политотдел?

— Это моя работа, товарищ подполковник, и я бы хотел сам выполнять возложенные на меня обязанности, — ответил холодно Линтварев и подумал: «Надо с первого дня поставить все на свои места, подмять себя не дам».

— Насколько мне известно, вы не комиссар, а мой заместитель. Поэтому прошу не обходить меня при решении любых вопросов.

— Я не только ваш зам, я представитель партии.

Караваев пристально посмотрел на Линтварева: «Вон ты какая птица! Значит, кончилась дружная жизнь в полку. Эх, Андрей Данилович, как же мы тебя не уберегли?! Уж если кто был представителем партии, так это ты». Линтвареву ответил жестко, с уверенностью в своей правоте:

— Нам в полку «представителей» не надо. У меня такой же партийный билет, как и у вас. Партия не случайно отказалась от комиссаров. Вы должны это знать лучше меня. Ваш предшественник Андрей Данилович Гарбуз, даже будучи комиссаром, никогда не «комиссарил», а был нашим боевым товарищем.

— Наверное, поэтому в полку происходят пьянки и драки офицеров, — твердо сказал Линтварев. — Младшие выбивают зубы старшим. Докатились!

Караваев побледнел — факт есть факт, но как объяснить этому «представителю», что происшествие — единственный случай? И надо ещё разобраться: может, Ромашкин отчасти прав? Но командир понимал — говорить с Линтваревым бесполезно, сейчас он неуязвим.

Линтварев считал первую стычку выигранной. Его донесение в политотдел было написано так, что начальник политотдела полковник Губин решил выехать в полк немедленно и сказал об

этом комдиву.

— Я тоже поеду, — ответил генерал Доброхотов.

Он только что говорил по телефону с Караваевым, тот обиженно докладывал:

— Если мне перестали доверять и прислали «представителя», тогда лучше снимайте сразу.

«Караваев и его полк всегда были на хорошем счету, — думал Доброхотов, — да и этот Ромашкин — отличный офицер. Что там у них вдруг перевернулось? Конечно, Караваеву после гибели Гарбуза трудно сразу принять нового замполита. К тому же новый, наверное, не понял чувств командира к погибшему Гарбузу и сразу стал показывать свой характер. — Генерал посмотрел на полковника Губина, который сидел рядом в машине. — Вот Борис Григорьевич — прекрасный политработник и своим положением пользуется тактично, умело. Или член Военного совета армии Бойков — огромной властью наделен человек, а как осторожно употребляет ее! Гарбуз-то был, по сути дела, гражданским человеком, но каким замечательным политработником он стал! И как дружно работали они с Караваевым. Почему новый замполит не нашел с ним общего языка?»

— А кто такой Линтварев, что за человек? — спросил Доброхотов.

Губин слышал: Линтварев чем-то провинился и в полк направлен не по доброй воле. Но, желая поддержать его на новом месте, не стал говорить комдиву о слухах.

— Линтварев опытный политработник, — ответил он кратко, — направлен к нам из политотдела армии, он там служил.

Приехав в полк, командир дивизии и начальник политотдела вызвали виновников происшествия. Выяснив несложные обстоятельства, генерал попытался помирить офицеров:

— Я знал вас, товарищ Ромашкин, как боевого разведчика, дисциплинированного офицера. И вы, капитан Морейко, давно и неплохо служите в полку, вам, полагаю, небезразлична его честь. Ну, повздорили. Бывает. Вы извинились перед капитаном, товарищ Ромашкин?

— Нет, товарищ генерал, — ответил Василий и подумал: «За что я должен перед ним извиняться? Я бы ему с удовольствием ещё раз по роже дал».

— Ну, тогда извинитесь — и делу конец.

Ромашкин молчал.

Такой исход событий Линтварева не устраивал. Ему хотелось, чтобы остался письменный след о происшествии, чтобы в любом

случае можно было опереться на эту бумагу: станет дисциплина лучше — а вот что прежде было; ухудшится — смотрите, какие тут мордобои происходили ещё до моего приезда.

Ромашкин не ответил генералу, молчал. И Линтварев сейчас же этим воспользовался:

— Вот видите, товарищ генерал, как ведет себя Ромашкин. Я считаю: это не дисциплинарный проступок, а преступление со всеми вытекающими последствиями. Избил капитана, к тому же при исполнении служебных обязанностей: Морейко был дежурным по штабу. Ромашкина следует судить. Это будет уроком и для других.

— Он храбро воевал, — попытался защитить генерал. — Смотрите, вся грудь в орденах.

Линтварев решил не сдаваться и выложил главный свой козырь:

— Я знаю старшего лейтенанта давно, мы лечились после ранения в одном госпитале. ещё там не понравились мне его разговоры: он выражал сомнения по поводу речи товарища Сталина на Красной площади седьмого ноября.

Дело принимало скверный оборот. Доброхотов хорошо знал, какие могут быть последствия при политических обвинениях. Он был уверен, что если Ромашкин и сболтнул какую-то глупость, то, конечно, не по злому умыслу. «Нет, надо парня выручать». Чтобы быть объективным и заручиться поддержкой Губина, генерал спросил:

— Как думаешь, Борис Григорьевич?

— Обвинения подполковника Линтварева серьезны, надо разобраться, — задумчиво произнес Губин. — Обстоятельно следует разобраться, — подчеркнул он.

Генерал с досадой подумал: «Следствия, допросы, протоколы… Затаскают, погубят парнишку. Нет, откладывать дело нельзя, выяснить надо сейчас. Виноват — пусть отвечает, нет вины — нечего мытарить человека».

— Что ты там наговорил? — резко спросил Доброхотов разведчика.

— Пусть подполковник сам скажет, — огрызнулся Ромашкин.

— Вот видите, какой это озлобленный человек, — тут же сказал Линтварев.

— Да бросьте вы хаять его! — вмешался Караваев. — Мы знаем Ромашкина не хуже вас. Факты выкладывайте, факты!

— Так что же он говорил? Что вас насторожило? — спросил генерал, нацелив колкие глаза и кустистые брови на Линтварева.

— Я точно не помню, но он сомневался по поводу каких-то слов товарища Сталина.

— Каких именно слов? — Доброхотов обратился к Ромашкину.

— Я был в сорок первом седьмого ноября на параде в Москве. Тогда шел снег, все мы и товарищ Сталин были в снегу. А в кинохронике перед товарищем Сталиным снег не падал, и пар у него, когда говорил, изо рта не шел. Вот я и спросил: почему?

— Кого спросил?

— Да так, никого, сам себе сказал.

— И это вся «политика»? Мы тоже были на параде, снег действительно падал. — Генерал опять повернулся к Линтвареву: — Что вы усматриваете в этом подозрительного?

— Смысл не только в этом снеге. Окружающие слышали высказывание Ромашкина, он заронил сомнение. А зачем? Мне кажется, нашему особому отделу не мешает поинтересоваться этим. Тем более, что у Ромашкина это не первый случай, его уже судили по политической статье.

«Ну, опять его понесло», — раздраженно подумал Доброхотов и, чтобы разом всему положить конец, поднялся и громко объявил:

— Старшего лейтенанта Ромашкина за оскорбление капитана Морейко, старшего по званию, предупреждаю о неполном служебном соответствии. Письменный приказ получите сегодня же!

Доброхотов расстроился оттого, что в дивизии завелся такой человек, как Линтварев. Из-за этого Линтварева он, комдив, вынужден пойти на хитрость: за один проступок дважды не наказывают. Объявляя Ромашкину большое взыскание, он избавлял разведчика от возможных других неприятных последствий, но тем самым брал на себя часть ответственности — защитил человека с сомнительными политическими высказываниями. А Линтварев из тех политработников, который может этим воспользоваться и нагадить и ему, генералу.

— Черт знает чем приходится здесь заниматься, когда люди на том берегу жизни кладут! — шумел генерал. — Вы, Караваев, наведите порядок в полку и будьте готовы завтра же выступить на плацдарм. Хватит, наотдыхались! Отличились!

Генерал и начальник политотдела уехали.

Ромашкину все сочувствовали: и Колокольцев, и Люленков, и офицеры штаба. Караваев после отъезда начальства сказал:

— Садись поешь, наверное, не завтракал и не обедал сегодня? Ты вот что… Ты духом не падай.

Ромашкину было приятно, что командир поддерживает его в трудную минуту.

На капитана Морейко Василий не обижался, конечно, не

следовало его бить. Но Линтварев — вот кто возмущал и удивлял: заварить такое дело, вспомнить госпитальный разговор, так бессовестно все извратить! И снятую судимость вспомнил. Зачем ему все это понадобилось? Почему невзлюбил? За что мстит?

Не знал Ромашкин о том, что Линтварев к нему не испытывал неприязни; будь на месте Василия другой, Линтварев поступил бы так же — это всего-навсего его тактический ход, желание упрочить свое служебное положение, своеобразный испуг перед большим командирским авторитетом Караваева, попытка поставить себя если не в равное с ним, то уж обязательно в независимое положение.

Непонятна была Ромашкину и суровость комдива — уж ему-то чем не угодил? Василий сидел напротив Караваева, ел, не замечая вкуса пищи, говорил будто о ком-то другом, не о себе:

— Все сразу забыли. Вчера был хороший, сегодня плохой. Генерал три награды вручил, а сегодня — бах! — неполное служебное соответствие!

Караваев, понизив голос, сказал:

— Ты генералу спасибо скажи — выручил он тебя. Если бы не он, загремел бы под трибунал, да ещё с политическим хвостом.

Ромашкина удивило это объяснение, но, поразмыслив, понял — командир полка прав: все могло кончиться гораздо хуже.

В полк Караваева приехал член Военного совета армии генерал Бойков. Сначала он намеревался побывать на НП командира дивизии Доброхотова. Но, услыхав о натянутых отношениях нового замполита Линтварева и подполковника Караваева, решил побывать в полку, разобраться.

Генерал прибыл в полк, когда наступление было остановлено контратакой фашистов. На НП полка не было ни командира, ни замполита — они оба ушли в батальоны, которые дрогнули под сильным ударом танков.

Линтварев был в первом батальоне у капитана Куржакова. Григорий уже командовал батальоном, заменив погибшего Журавлева. Куржаков знал о размолвках замполита и командира полка, знал и подробности от Ромашкина, за все это невзлюбил Линтварева. Когда тот прибежал в батальон и с ходу закричал: «Почему не продвигаетесь?», — Куржаков, еле сдерживая себя, ответил:

— Может, вы покажете, как это сделать?

К удивлению капитана, Линтварев не смалодушничал, сухо и официально бросил:

— Покажу, если вы разучились. — Он вышел в первые ряды залегших рот и сказал Куржакову: — Попросите артиллеристов дать налет.

Куржаков позвонил по телефону, надорванным голосом передал координаты и команду. Вскоре послышались выстрелы пушек, и темные султаны намокшей под дождем земли вскинулись впереди на бугре, где засели немцы.

— Встать! За мной! За Родину! — закричал Линтварев и первым побежал вперед, размахивая пистолетом.

«Не трус», — подумал Куржаков, поспевая за ним.

пулемёты встретили атакующих дружным огнем, и тут же заклевали землю мины. Бойцы залегли. Лег и Линтварев. Куржаков решил показать замполиту, что он все же храбрее его. Подошел к нему, распростертому на земле, и, спокойно скручивая цигарку, буднично спросил, стоя под свистящими пулями:

— Ну, что дальше будем делать?

Линтварев удивленно уставился на него снизу вверх, взял себя в руки:

— Прекратите этот глупый форс! Ложитесь! Я вам приказываю!

Куржаков опустился на землю, лег не на живот, а на спину, словно, загулявшись по этим полям, устал и теперь, отдыхая, пускал дым в небо.

У гитлеровцев заработали моторы танков, замелькали, задвигались каски в траншее.

— Сейчас пойдут в контратаку, — сказал сдержанно Линтварев. — На ровном месте они нас раздавят. Надо отойти, встречать танки в траншее.

— Вы же говорили: только вперед! — невозмутимо напомнил Куржаков.

Линтварев вдруг обложил его трехэтажных матом. Куржаков засмеялся:

— Оказывается, вы умеете и по-человечески разговаривать! Разрешите отвести батальон?

— Отводите.

Потом они вместе отбивали контратаку, и Куржаков ещё раз убедился — замполит не из трусливых! Когда бой стих, с НП полка сообщили: Бойков вызывает к себе Линтварева.

Генерал успел побеседовать с Караваевым и несколькими офицерами-коммунистами, все говорили не в пользу замполита, да Бойков и сам видел по фактам — не сумел Линтварев на новом месте войти в коллектив. Член Военного совета хорошо знал подполковника по работе в политотделе армии, там его педантичность, исполнительность с бумагами была очень полезна и уместна, а вот здесь в общении с людьми Линтварев, опираясь на служебную требовательность, боролся не за общее дело, а за свой личный авторитет.

Бойков собирался отругать Линтварева, но, посмотрев на усталое его лицо, на испачканную одежду, подумал: «Неуютно ему здесь. Одиноко, наверное, себя чувствует среди новых людей. Хоть и сам виноват в этом, надо его поддержать».

— Лихо ты, Алексей Кондратьевич, в атаки ходишь! — улыбаясь, сказал Бойков. — Видел я в стереотрубу.

— Приходится, — коротко ответил Линтварев, ещё не отдышавшись после быстрой ходьбы.

— Ну, как ты на новом месте? Как народ? — непринужденно, будто ничего не знает и ведет обычный разговор, спросил генерал.

— Народ хороший, — ответил подполковник, сдерживаясь, чтоб не посмотреть на Караваева, — оценит ли тот его благородство.

— Значит, все нормально?

— В основном.

— За исключением пустяка, как в песенке про маркизу? Ну-ка, давай пройдемся. Устал я целый день в машине скрюченным сидеть.

Они спустились в лощину, где можно было ходить в рост. И вот здесь Бойков перешел на серьезный тон. Генерал спрашивал со своих политработников гораздо строже, чем со строевых офицеров. Объяснял это не особым расположением к строевикам, не тем, что у них работа сложнее и ответственности больше, — политработник в глазах члена Военного совета был, да и на самом деле являлся человеком, для которого моральная непогрешимость — самое необходимое качество его профессии.

— Почему вас не принял коллектив? Почему вы не сошлись с людьми? — строго спрашивал Бойков.

— Здесь был не коллектив, а семейственность. Старшие покрывали младших. Сор не выносили из избы. А я на это не пошел.

— Факты, — коротко спросил Бойков.

— Старший лейтенант Ромашкин избил капитана Морейко, дежурного по штабу. Это хотели замазать, а я не позволил. Поставил вопрос принципиально. Тем более у Ромашкина антисоветское прошлое.

Генерал все это уже слышал от других; обвинение в политической неблагонадежности, по мнению Бойкова, было наиболее серьезным пунктом в деле Ромашкина. Поэтому до прихода Линтварева генерал побеседовал с уполномоченным особого отдела Штыревым, который сказал, что никогда у разведчика таких высказываний не наблюдалось, хороший, смелый парень, а обвинение это Линтварев привез с собой, якобы

где-то в госпитале слышал крамольные слова от Ромашкина.

Свою информацию Штырев завершил таким мнением:

— Я разбирался — ничего серьезного нет. Случайно оброненная фраза, да и то без политического смысла. Зря подполковник на хорошего разведчика бочки катит.

Узнав все это, Бойков хотел выяснить, в чем же причина такого обвинения со стороны Линтварева. Поняв в конце концов, что Алексей Кондратьевич при самозащите просто «закусил удила», Бойков строго отчитал его:

— Вы не поняли ни людей, ни обстановки. Здесь не семейственность, а хорошая боевая семья! И очень плохо, что вас не приняли в эту семью. Вы здесь чужой. Вы противопоставили себя коллективу. Вас надо убирать из полка. Я не делаю этого лишь потому, что затронута честь политработников вообще. Уронили её вы. Я ещё не встречал в своей практике такого, чтобы политработник не нашел общего языка со здоровым коллективом. Подчеркиваю — со здоровым! Потому что полк всегда прекрасно справлялся со всеми боевыми задачами. — Генерал искренне переживал оплошность своего подчиненного, такое действительно редко случалось. — Я вас оставляю здесь для того, чтобы вы восстановили не только свое имя, но и доброе отношение к званию политработника. Обещаю вам приехать через месяц. Если вы не справитесь с этой задачей, нам придется расстаться.

Генерал умышленно не напоминал Линтвареву грехи, за которые его убрали из штаба армии, считал это слишком примитивным воспитательным приемом, умолчать было более благородно и действенно.

—Желаю вам найти в себе силы и необходимые качества для того, чтобы поправить положение.

Линтварев все время ждал — вот-вот Бойков бросит ему в лицо обидную фразу о прошлой провинности. И то, что генерал не вспомнил об этом, ещё больше обостряло сознание собственной вины.

Через час Ромашкин стоял перед членом Военного совета.

— Здравствуй, орел! Рад, что ты жив! Говорили, ранило тебя.

— Цел, товарищ генерал! — Василий виновато улыбнулся, понимая — генерал вызвал его не для того, чтобы говорить комплименты, сейчас последует очередной «надир» за хулиганство. Но член Военного совета вдруг сказал такое, что никак не соответствовало ни ситуации, ни ожиданию Василия.

— Мне кажется, Василий Владимирович, тебе пора подавать заявление о приеме в партию.

Ромашкин в полной растерянности промямлил:

— Так я же, товарищ генерал… проступок, взыскание получил…

— Мальчишество! Взыскание после первого же удачного поиска комдив снимет. Я не говорю, что сегодня или завтра заявление подавать нужно, а на перспективу тебе советую, чтоб ты задумался. Станешь членом партии — более ответственно к жизни будешь относиться…

— Примут ли меня? За мной ещё и политический хвост. Недавно называли «врагом народа». Судимость хоть и снята, но Линтварев напомнил.

Генерал сердито сдвинул брови:

— Линтварев не прав. Я ему за это внушение сделал. И ты не вспоминай про судимость. Коли она снята, значит, её не было. Какой ты теперь враг — ты друг народа: вон сколько у тебя наград, ты для народа и Родины жизни не жалеешь!

— А рекомендации кто даст? Побоятся, наверное, моего темного прошлого.

— Не сомневайся, Василий, боевые друзья знают тебя только с хорошей стороны, дадут рекомендации!

Так неожиданно завершилось для Василия неприятное происшествие с капитаном Морейко.

Ромашкин долго пребывал под впечатлением от беседы и поступка генерала Бойкова.

«Кто я для него — один из многих тысяч. Но почему-то он не побоялся ни моего прошлого, ни последствий, которые могли возникнуть в связи с таким его поступком: ведь год назад я был „врагом народа“, а он открывает мне дорогу в партию!»

Ромашкин понимал: член Военного совета письменной рекомендации давать не будет, но слово замолвит, и слово его так весомо, что подействует лучше письменных рекомендаций.

И не ошибся Василий. Вскоре после очередной удачной вылазки в тыл к немцам командир дивизии снял наложенное им взыскание, а начальник разведки Люленков сам завел разговор о вступлении Ромашкина в партию и предложил дать рекомендацию.

И особенно Василий убедился в доброте и принципиальности члена Военного совета, наблюдая за поведением подполковника Линтварева: он не высказался против, когда бумажные дела легли на его стол, молчал он и на партийном собрании, а Ромашкин понимал, такое поведение замполита связано с указаниями генерала Бойкова. Другие коммунисты штабной партийной организации единогласно и одобрительно приняли Ромашкина кандидатом в члены КПСС.

Уже был подготовлен проход в колючей проволоке, осталось

в него пролезть по одному, потом перепрыгнуть траншею и уползти в тыл гитлеровцев, как вдруг произошла смена. Часовой, который стоял до этого на посту, прохаживался в траншее, удаляясь влево от пулемёта и от группы разведчиков. Разминая ноги, греясь, он уходил далеко в сторону; поэтому и решили делать проход именно здесь. Новый часовой стал ходить вправо от пулемёта и мимо готового прохода.

Ромашкин с досадой глядел на темную голову и плечи немца. Тот, как «грудная» мишень на стрельбище, проплывал над снежным обрезом траншеи. Проще всего было проползти под проволокой, спуститься в окоп, и фашист сам придет в руки. Но на этот раз перед разведчиками стояла иная задача. Василий хорошо помнил разговор с полковником Караваевым.

— Вот отсюда «язык» нужен. — Караваев показал на карте синий флажок, обозначавший немецкий штаб, посмотрел на Ромашкина пристальным ибпытывающим взглядом. — Сможешь?

— Попробуем.

— Это нужно не только мне, объект указан штабом армии.

— Постараемся.

И вот лежат у проволоки Василий и с ним ещё пятеро: Пролеткин, Рогатин, Голубев, Голощапов и радист Жук. Все так хорошо началось: тихо добрались к заграждению, обнаружили наблюдателя, сделали проход… И надо же этому фрицу ходить именно в их сторону! Снять его нельзя: обнаружат следы группы, ведущие в тыл, начнут гонять с собаками, не уйдешь. Другой проход делать? Трата времени, да и риск немалый: надо отползти бесшумно в новое место, найти там часового. И ещё неизвестно, как тот будет ходить. Лучше дождаться здесь смены. Может, следующий часовой будет ходить влево. Ромашкин оттянул рукав маскхалата, показал разведчикам циферблат часов, покрутил над ними пальцем и ткнул в сторону отошедшего часового. Все поняли: будем ждать смену.

Василий опустил лицо на рукавицу, закрыл глаза. Хорошо бы заснуть на мягком снегу. Он действительно мог бы заснуть вблизи немцев, такое уже бывало, когда долгими часами приходилось выслеживать гитлеровцев, пережидать опасность в нейтралке или в тылу врага. Ко всему привыкает человек, даже к опасности. Василий вспомнил, как громко билось сердце, когда Казаков вывел его впервые из своих траншей. Гитлеровцы находились неведомо где, очень далеко, а Ромашкину за каждым кустом мерещился фашист. И вот враг реальный, настоящий в нескольких метрах, ему достаточно нажать на крючок пулемёта — и все будет кончено, а Василию хочется спать, он абсолютно спокоен, потому что десятки раз бывал в переделках посложнее.

Ромашкин уверен: если фашист обнаружит группу, он не успеет выстрелить из пулемёта, его опередит автоматная очередь или взрыв гранаты. Когда-то за эту науку отдал жизнь Костя Королевич, но зато после его подвига разведчики знали — они не беспомощны вблизи врага, могут оставаться хозяевами положения, главное, не терять ни секунды, действовать смело и уверенно огнем, гранатами, и только после этого отходить.

Смена произошла через час. Гитлеровцы недолго поговорили. Один из них засмеялся и ушел по ходу сообщения. Новый наблюдатель встал около пулемёта, пустил вверх ракету, осмотрел перед собой нейтралку, дал очередь просто так, видно, хотел опробовать свой «машиненгевер». Ромашкин следил за ним, не поднимая лица, и мысленно подгонял: «Ну, давай, гуляй. Куда ты, гад, будешь ходить?» Немец потоптался и двинулся… в сторону группы. «Ах, чтоб тебя! — ругнулся Ромашкин. — Столько ждали, время потратили, а ты сюда же зашагал! Ну, тем хуже для тебя. Того пощадил, тебя, гада, проучу». Василий по-настоящему разозлился на незадачливого часового, который, ничего не подозревая, нарушал планы разведчиков.

Рядом с Ромашкиным лежал Вовка Голубев, он вообще не отходил от командира ни на шаг. Сейчас пытливо и вопросительно поблескивал озорными глазами.

Часовой, будто уловив нависшую опасность, прошел мимо пулемёта и удалился влево. Теперь он стал ходить и вправо, и влево от пулемёта.

Ромашкин сразу почувствовал облегчение, успокоился. Как только гитлеровец ушел на самое дальнее от группы расстояние, командир махнул Пролеткину, тот мигом юркнул под проволоку, пролетел над окопом и скрылся в заснеженных кустах. Так по одному прошмыгнули все. Ромашкин полз последним. Когда ещё была видна спина удаляющегося наблюдателя, Василий пролез под проволоку, снял подпорки: проход был сделан тем самым способом, о котором Ромашкин говорил Червонному, — это нужно было, чтобы немцы не обнаружили проход с рассветом. Сняв палки и убедившись, что проволока опустилась на прежнее место, Василий быстро перемахнул через темную пасть траншеи, которая дохнула на него специфическим «фрицевским» запахом.

Шли долго. От куста к кусту, от канавы к ямке, от дерева к дереву. К рассвету все же успели добраться до намеченного места. Замаскировались в небольшой рощице. Перекусили, напились воды и залегли спать. Только Ромашкин остался наблюдать первым. В течение дня все по очереди должны были наблюдать и изучать объект.

Штабные блиндажи были врыты в скаты оврага. Натоптанные

в снегу тропинки сбегали со скатов на центральную дорожку на дне. Гитлеровцы с утра умывались, некоторые офицеры, оголяясь до пояса, делали зарядку. Промелькнули в бинокле несколько женщин в форме, в пилотках, в сапожках. Ромашкин оживился: «Вот бы поймать одну из них. Такого „языка“ у меня ещё не было». Он стал следить, в какие блиндажи заходят немки, удобны ли их жилища для нападения ночью.

Главное, чтобы все произошло бесшумно, — разведчиков только шестеро, если начнут ловить, ноги не унесешь, до передовой километра четыре.

Немочки заходили в большие блиндажи в центре расположения штаба, туда идти опасно. Но кто знает, может быть, там рабочие землянки, а спать они пойдут куда-нибудь вот в эти крайние, небольшие блиндажишки.

Передавая бинокль сменившему его Саше Пролеткину, командир рассказал о женщинах. Саша насупился и брезгливо сказал:

— Не дай бог на одну из них напороться в блиндаже.

Василий рассмеялся:

— Ну ладно, не будем связываться с женщинами. Следи вот за вторым от края блиндажом, туда два офицера зашли. Сейчас они там. Посмотри, посчитай, сколько к концу дня их там останется.

Когда стало вечереть и приблизилось время для захвата «языка», Ромашкин забеспокоился — не выявлена очень важная деталь. Определили, куда идти, знают, что в намеченном блиндаже не больше трех человек, двое из них офицеры. Но где охрана? Это пока выяснить не удалось. А штаб не может быть без охраны. Она где-то есть, только разведчики её не обнаружили. И это очень опасно в их положении: хорошо скрытая охрана для того и существует, чтобы обезопасить штаб от нападения таких групп, как Ромашкина.

Василий уже подумывал сообщить в полк по радио о том, что придется остаться ещё на день, как вдруг Иван Рогатин, дежуривший с биноклем, замахал рукой, подзывая к себе.

— Есть охрана, товарищ старший лейтенант. Вон, глядите, — парный патруль. Поверху пошел. Ромашкин приник к биноклю.

— Понятно. Значит, на ночь выставляют. Хороший маршрут выбран для патруля. Им видны и подходы, и все, что внизу, в овраге, делается.

— Снимать будем? — спросил Вовка, он ещё ни разу не снимал часовых, и поэтому у него «чесались руки». — Мы тихо с Иваном или вот с Голощаповым, — попросил нетерпеливый Штымп.

— Ты за себя говори, а меня не тронь, — заскрипел Голощапов. — Я один раз уже снимал часовых около флага. Как вспомню, до сих пор под ребром холодный нож чую. Ох, и полосовал же он меня, гад!

— Будем брать втихую, — прервал разведчиков Ромашкин. Он уже засек время, сделал необходимый расчет и теперь объяснял ребятам: — Патрульные обходят вокруг расположения штаба за семь — восемь минут. Пройдут мимо нашей рощи — мы в овраг. Ты, Жук, не спускай с них глаз, каждую минуту должен знать, где будет патруль.

— Понятно.

— В блиндаж пойдем я и Рогатин.

— Может, меня возьмете? — спросил Вовка.

Ромашкин так взглянул на него, что Голубев сразу понял: время разговоров и шуток прошло, сейчас все подчиняются беспрекословно.

— Голубев прикрывает вход в блиндаж слева, Пролеткин — справа, Голощапов остается у двери. Огонь открывать только в самом крайнем случае.

Дождались глухой ночи. Патруль сменился несколько раз. Луна ещё не взошла. В черном овраге не было видно ни одного освещенного окошечка. Штаб спал. Только трубы блиндажей дымили.

Разведчики подползли к тропке, где ходил патруль. Напряженные, собранные, будто сжатые пружины, они следили за патрулем и ждали сигнала командира. Когда немцы отошли на достаточное расстояние, Ромашкин вскинулся и, ступая бесшумно, пригибаясь, пошел вниз. Он не оглядывался, знал — все идут за ним. У намеченного блиндажа Василий лег. Заметив тоненькие полоски света, пополз к окну. Стекло было занавешено черной бумагой изнутри. Через узкие щели Ромашкин разглядел на столе, застеленном газетой, термос, бутылку вина, вскрытую банку консервов, печенье, сигареты. У стола сидели двое. Один в полной форме — гауптман-капитан. Другой без кителя, в зеленой рубахе. Китель и ремень с парабеллумом висели на гвозде, вбитом в стену. «Почему они так поздно не спят? Может, дежурные? Какая нам разница — хорошо, что офицеры».

Ромашкин посмотрел на Жука, тот глянул на свои часы и, вскинув руку, показал, где сейчас может находиться патруль. Подождав, пока солдаты протопали поблизости, Ромашкин быстро вошел в траншейку, ведущую к двери. Иван последовал за ним.

У двери Василий остановился. Сердце стучало так громко, что казалось, что биение слышат офицеры там, в блиндаже.

Испугавшись, что это действительно может произойти, Ромашкин рванул дверь и, вскинув пистолет, быстро шагнул через порог. Вплотную за ним с автоматом наготове вошел Иван. Он тут же захлопнул дверь, чтоб свет и возможную борьбу не увидели снаружи. А Ромашкин приглушенно, но властно скомандовал:

— Хальт! Хенде хох!

«Они же никуда не бегут, зачем я „хальт“ сказал?—мелькнуло у Ромшкина. — Ну, ничего, поняли. Руки задирают».

Тот, который был в полной форме и стоял ближе к Ромашкину, поднял руки вверх и расширенными глазами пялился на неведомые существа в белых одеяниях. Другой гитлеровец стоял по ту сторону стола, руки поднимал нерешительно, одну выше другой, а глазами косил вбок. Ромашкин сразу уловил это движение, хотел ещё раз скомандовать «Руки вверх!», но не успел. Офицер кинулся к висевшему на гвозде ремню и пытался выхватить пистолет из кобуры. Все произошло в считанные доли секунды, но Василий все же успел оценить и правильно среагировать на происходящее. Свалить боксерским ударом офицера не удастся. Мешает стол. Парабеллум уже до половины выхвачен из кобуры. Надо стрелять. Ромашкин надавил на спуск. Выстрел показался громче орудийного! Офицер по ту сторону стола свалился, а у того, что стоял рядом, вдруг ожили глаза, лицо стало осмысленным. Он напряженно вслушивался: не бегут ли на помощь, услыхав звук выстрела? Ромашкин и Иван тоже напряженно ждали: вот-вот послышится топот, стрельба прикрывающих разведчиков — и начнется…

Все кончилось благополучно для разведчиков. Выстрел, глухо прозвучавший в закрытом блиндаже, никто не услыхал. Рогатин быстро «обработал» пленного — всунул ему в рот кляп, надел на него шинель, белый маскхалат, связал за спиной руки. Опытный Иван знал — все это надо делать быстрее, пока немец в шоке, скоро он опомнится и тогда будет сопротивляться.

Ромашкин тем временем собрал все бумаги в блиндаже, документы и оружие убитого офицера. ещё раз оглядел землянку, и погасив парафиновый светильник, открыл дверь. Сначала он никого не увидел во мраке. Потом различил Жука и его руку, направленную в сторону, где сейчас находится патруль. Голощапов стоял в траншейке, ведущей к двери. Затаившись у двери, Ромашкин ждал, когда солдаты пройдут. Темные фигурки были видны неподалеку. И вдруг, когда патруль находился на самом близком расстоянии, пленный офицер ударил Голощапова ногой, сбил его и попытался выбежать из траншейки, чтобы привлечь внимание своих. Гитлеровец мычал и, мотая головой, пытался выплюнуть кляп. Голощапов не растерялся, схватил его

за ногу и, повалив на землю, зажал на всякий случай рот поверх кляпа. Офицер продолжал брыкаться. Патруль, ничего не заметив, прошел мимо.

Ромашкин поднял гитлеровца, радостно подумал: «Ну и везет нам сегодня: выстрел не услыхали, этого не заметили». Вдруг немец опять отчаянно забил ногами, силясь освободиться. Ромашкин быстро прикинул: «Жирный, скотина, килограммов на восемьдесят, нести тяжело будет», — поэтому нокаутировать строптивого «языка» не стал, а врезал ему коротким апперкотом снизу в подбородок. Офицер икнул, вытаращил глаза и, сразу поняв, что с этими призраками шутки плохи, затих. Ромашкин, махнув разведчикам, побежал вверх по косогору.

Потом они быстро, то бегом, то вприпрыжку, двигались к переднему краю, надо было уходить как можно скорее, пока в штабе не обнаружили пропажу.

Холодный ночной воздух и удача бодрили ребят — неслись, не чувствуя усталости. Осторожный Ромашкин осаживал разведчиков:

— Тихо вы, как кони, топаете!

Когда были неподалеку от первой траншеи, выкатилась из-за туч луна и осветила группу. Все окружающее подернулось желтоватым отсветом.

— Только тебя не хватало! — Пролеткин ругнулся.

Ромашкин увидел на щеках гауптмана две мокрые полоски — офицер плакал. Это очень удивило Ромашкина. Он привык видеть на допросах вызывающе наглых гитлеровских офицеров. Этого ещё ни о чем не спросили, а он уже нюни распустил. Странный фриц. «Неужели обиделся так сильно, что я ему по морде дал? Сам же виноват — не шебуршись. Какой чувствительный!»

По взлетающим вверх ракетам нашли в первой траншее пошире промежуток между немецкими ракетчиками. Осторожно выползли к траншее. Она была в этом месте пуста. Проверили, нет ли кого, до ближайших поворотов. Затем Саша достал из вещевого мешка ножницы, перемахнул через окоп и стал резать проволоку. Теперь проход скрывать незачем, да и пошире он нужен, пленный ведь не умеет проползать в небольшую щель. Когда все было готово, Саша, махнув рукой, юркнул в нейтралку и по ту сторону проволоки на всякий случай приготовился прикрывать группу из своего автомата.

Ромашкин дернул пленного за плечо и, когда тот обернулся, показал вперед на проход, а чтобы фашист лучше усвоил и выполнял, что от него потребуется, поднес к его носу свои тяжелый кулак. Гитлеровец послушно закивал головой. «Ну, вот и хорошо», — подумал Василий. Он помог пленному встать, так как

со связанными за спиной руками офицер сам подняться не мог. Разведчики с автоматами наготове прикрывали справа и слева. Командир взял пленного за ремень крепко, чтоб тот почувствовал силу, вздернул его и, кивнув в сторону заграждения, так вот, держа пленного за ремень, перешагнул вместе с ним траншею. Потом они оба легли, и Василий, бесцеремонно взяв пленного за шиворот, протащил его под проволокой.

В штабе полка не спали только начальник разведки Люленков да дежурные связисты. Пленному развязали руки, вынули кляп изо рта. Когда офицер отдышался, Ромашкин полюбопытствовал:

— Почему вы плакали? Потому что я ударил?

Офицер с нескрываемой ненавистью искоса посмотрел на разведчика — он теперь видел, что имеет дело со старшим лейтенантом, поэтому демонстративно встал к нему боком, а лицом к капитану Люленкову, — заговорил на русском языке, не очень быстро находя нужные слова, перемежая их немецкими.

— Если бы я имел возможность, — с клокочущей в глотке злобой сказал гауптман, — если бы я мог получить такую возможность, я бы не только разорвал вас на куски, но ещё топтал бы каждый кусок, пока он не стал мокрым местом!

— Неужели так обиделись за то, что ударил? Я ещё вас пожалел, поучил легонько.

— Я обижен не только за удар. Вы мою всю жизнь испортили! Я сдал должность майору Франку, которого вы убили. Я имею новое назначение в резервный полк. Должен утром ехать. Для меня война кончена. Через несколько дней я бы увидел мою дорогую фрау Гильду, моих милых деток — Кетхен и Адольфа. И вот все так неожиданно перевернулось. Если бы мне бог дал несколько минут, я бы своими зубами перегрыз вам глотку!

Ромашкин сначала усмехнулся: «Да, уж ты бы надо мной покуражился», — потом спокойно сказал:

— Никаких особых бед я не принес — там для вас война кончилась, и здесь она кончится. Там вы остались бы живы, и здесь будете жить. — Вдруг волна гнева окатила Ромашкина: «С такой кровожадной скотиной ещё миндальничаю! Может быть, ты, гад, убил моего отца и уж, конечно, ты лез на Москву в сорок первом!» Василий встретил злобный взгляд гитлеровца и с не меньшей неприязнью сказал ему прямо в лицо: — Если ты любишь свою фрау и своих киндеров, зачем ты здесь, у нас в России? У меня тоже есть мать и невеста. Моего отца, может быть, убил ты. Зачем ты здесь? Что тебе нужно на чужой земле? Платья моей матери для твоей Гильды?

Немец побледнел. Он не ожидал, что разговор примет такой оборот, и думал: «Сейчас этот обер-лейтенант меня пристрелит».

— Успокойся, Вася! — сказал Люленков, положив руку на плечо Ромашкина. — Не расстраивайся из-за этой сволочи.

В блиндаж быстро вошел заспанный Караваев, он на ходу застегивал пуговицы на гимнастерке. Гитлеровец, увидев полковничьи погоны и улыбающееся лицо русского командира, с надеждой подумал: «Благодарю тебя, господи, кажется, я спасен».

Кирилл Алексеевич быстрым взором окинул гауптмана и пошел к Ромашкину, протянув для рукопожатия обе руки.

— Что у меня за разведчики! Великолепные мастера своего дела! Асы! «Языков» по заказу таскают. Надо с передовой — ведут, надо из тыла — пожалуйста. Попросил штабного офицера — получайте! Спасибо, дорогой Ромашкин! Василий приложил руку к пилотке:

— Служу Советскому Союзу!

— Да ладно уж с этими официальностями, — остановил Караваев, похлопывая Ромашкина по обоим плечам вытянутыми вперед руками и любуясь простым, улыбчивым лицом Василия. — Ну как, все живы? Никого не ранило? Люленков, есть у нас что-нибудь горяченькое поужинать?

— Найдем, товарищ полковник.

Караваев будто забыл о пленном офицере. А тот никак не мог понять, что происходит, почему полковник, величина в его представлении недосягаемая, вдруг так запросто обращается с обер-лейтенантом, а обер-лейтенант и капитан чувствуют себя в присутствии полковника удивительно свободно. Все это казалось гауптману таким недопустимым нарушением военной субординации, что он с презрением думал: «Дикари, элементарных правил военного этикета не понимают! Скоты необразованные, мы ещё заставим вас работать на Великую Германию». Больно и стыдно было гауптману, что он так нелепо попал в руки этих презираемых им людей. Он молил Бога не о спасении своей жизни, не о сохранении жены и детей, он просил Господа только об одном: «Пошли мне милость свою, дай ещё возможность бить этих проклятых русских, жечь их дома, уничтожать вообще все на этой земле, чтобы освободить её для Германии». Охваченный необыкновенно горячим порывом преданности к фюреру, гауптман вдруг неожиданно для всех, но с огромным наслаждением для себя заорал, вскинув руку в фашистском приветствии:

— Хайль Гитлер!

Караваев поморщился, как от зубной боли, но даже не взглянул на гитлеровца.

— Ну ладно, ужинай и отдыхай, Вася. Скажи спасибо ребятам, завтра поговорим.

Особое задание

И вот уже отгремела победная битва за Днепр. А затем очистилась от оккупантов и вся Правобережная Украина.

Заканчивалась третья военная зима. Нелегкая, но куда более радостная, чем две её предшественницы. На очереди стояло освобождение Белоруссии.

При перегруппировке советских войск дивизия Доброхотова была переброшена на только что созданный 3-й Белорусский фронт. И в штаб этого нового фронта вызвали вдруг Ромашкина.

Вызов был срочным. Настолько срочным, что даже машину прислали. Больше того, за старшим лейтенантом приехал в качестве нарочного майор. Вопросов в подобных случаях задавать не полагается, но Ромашкин все-таки спросил:

— Что такое случилось?

— Там все узнаете, — ответил неразговорчивый майор.

По календарю была весна, а запоздалый снег сыпал по-зимнему. И ветер протягивал через открытый «виллис» белую поземку. Пока доехали до штаба фронта, Василий промерз до костей.

Майор сразу повел его к генералу Алехину, начальнику разведуправления. Ромашкин не впервые слышал эту фамилию, однако видеть Алехина ещё не приходилось. И почему-то этот генерал представлялся ему высоким, с величественной осанкой, таким же молчаливым, как его майор, и, конечно, очень строгим. В действительности же Алехин оказался низеньким, толстеньким, глаза добрые, как у детского врача, голос мягкий.

В общем, главный разведчик фронта выглядел человеком совершенно бесхитростным.

— Вы, товарищ старший лейтенант, пойдете в Витебск, — объявил генерал Ромашкину. — Там наши люди добыли схемы оборонительных полос противника. Принесете их сюда.

Он сказал это так спокойно, как будто чертежи надо было доставить из соседней комнаты, а не из города, лежащего по ту сторону фронта.

Ромашкин угадал, что начальник разведки избрал этот тон для того, чтобы не испугать его, не заронить с первой минуты сомнений. И действительно, спокойная уверенность Алехина передалась ему. «Пойду и принесу. Дело обычное».

Он хладнокровно выслушал, как представляется генералу выполнение этого задания. Встрепенулся лишь под конец, когда начальник разведки сообщил:

— Командующий фронтом будет лично говорить с вами.

Спокойствие Ромашкина вмиг нарушилось. Он смотрел на Алехина и думал: «Нет, товарищ генерал, дело тут не обычное. Вы хороший психолог, умеете держаться. Однако и я стреляный воробей, отдаю себе отчет, что это значит, если командующий фронтом собирается лично инструктировать исполнителя! Вы, наверное, долго перебирали разведчиков, прежде чем остановить свой выбор на мне. И сейчас все ещё размышляете: справится ли этот парень, не подведет ли?..»

А генерал уже звонил по телефону, докладывал, что прибыл офицер, которого хотел видеть командующий. Положив трубку, поднялся из-за стола.

— Пойдемте, командующий ждет… И не тушуйтесь. О ваших боевых делах он наслышан, ценит ваш опыт, верит в вашу удачливость. Так что все будет гут!..

Генерал неожиданно перешел на немецкий. Сказал, что Черняховский любит разведчиков. Спросил, как относится к разведке Доброхотов. А когда шли они глубоким оврагом, завел разговор, по-немецки же, на совсем отвлеченные темы. Ромашкин понимал — проверяет. Отвечал короткими фразами. Справа и слева в скатах оврага виднелись двери и окошечки: там размещались отделы штаба. Поднялись к одной из дверей по лестнице из свежих досок. В приемной их встретил адъютант с золотыми погонами. Василий золотых ещё не видывал.

Адъютант ушел за вторую дверь, обитую желтой клеенкой, и тут же вернулся.

— Пройдите.

Ромашкин очутился в теплом, хорошо освещенном кабинете. За столом сидел Черняховский — плотный, крепкий, лицо мужественное, темные волнистые волосы, светло-карие глаза.

Вышел навстречу, пожал Василию руку, кивнул на диван:

— Садитесь.

И сам сел рядом, начал говорить о задании:

—До Витебска километров двадцать. По глубине это тактическая зона, поэтому всюду здесь войска: первые и вторые эшелоны пехоты, артиллерия, штабы, склады и прочее. Выброситься в этой зоне на парашюте слишком рискованно. Да если бы высадка и удалась, возвращаться все равно нужно по земле. Самолет забрать не сможет. Понимаете?

— Понимаю, товарищ командующий. — Василий по привычке встал.

— Вы сидите, сидите, — потянул его за локоть Черняховский и продолжал: — Мне рекомендовали вас как удалого и грамотного разведчика, на которого вполне можно положиться.

— Я сделаю все, товарищ командующий, чтобы выполнить

ваш приказ.

— Ну и добро. Выходите сегодня же, возвращайтесь как можно скорее. — Взглянул на Алехина: — Подготовили документы?

— Так точно, товарищ командующий. Осталось сфотографировать его в немецкой форме, и удостоверение через час будет готово.

— Группой пробраться труднее, — пояснил Черняховский, — пойдете один, в их форме, но избегайте встреч. Как у вас с немецким языком?

— В объеме десятилетки и курсов при военном училище, товарищ командующий… И то на тройку, — признался Ромашкин, с опаской подумав: «Не будет ли это принято за попытку уклониться от задания?»

Нет, Черняховский понял его правильно, однако переглянулся с Алехиным.

— Скромничает, — сказал уверенно Алехин. — Не знаю, как там в десятилетке было, а сейчас понимает немецкий хорошо. Я говорил с ним. Только произношение сразу его выдаст.

— Акцент порой опаснее молчания, — заключил командующий. — Значит, без крайней необходимости ни в какие разговоры с немцами вступать нельзя… У нас есть люди, владеющие немецким безупречно, но это глубинные разведчики, они не умеют действовать в полевых условиях. А для вас зона, насыщенная войсками, — родная стихия. Что ж, давай руку, разведчик, — перешел на «ты». — Нелегкое тебе предстоит дело, береги себя. — Командующий посмотрел Василию в глаза и как-то по-свойски добавил: — Мне очень нужны эти схемы, разведчик…

Возвращались тем же оврагом. На душе у Ромашкина было необыкновенно легко и просторно. Его всецело захватило стремление скорее выполнить то, о чем просил командующий. Да, не только приказывал, но и просил!

В управлении разведки Ромашкин переоделся в форму немецкого ефрейтора, его сфотографировали, освоил данные о явке — место, адрес, отзыв — и погрузился в изучение плана города. Прежде в Витебске он не бывал, а нужно заранее сориентироваться, с какой стороны войдет туда и куда двинется, ни у кого не спрашивая дорогу. Подсчитал: необходимо пересечь двенадцать-тринадцать улиц, пролегающих с севера на юг, и тогда окажешься в районе нужной «штрассе». Странно, в белорусском городе — и вдруг «штрассе»!..

Потом так же тщательно изучалась карта местности и обстановка на пути в Витебск. Ромашкин прикидывал, где

необходимо проявить особую осторожность, какие объекты и с какой стороны лучше обойти.

Минут через сорок принесли служебную книжку с его фотографией. По книжке он значился Паулем Шуттером, ефрейтором 186-го пехотного полка. Все это удостоверялось цветными печатями с орлами и свастикой. Книжка была настоящая, видимо, одного из пленных. В ней только сменили фотографию.

Переброска Ромашкина через линию фронта была поручена тому же молчаливому майору. Опять сели с ним в «виллис» и поехали к передовой. В какой-то деревушке их встретил капитан — начальник разведки дивизии.

Далее пошли пешком. По пути капитан подробно рассказал о системе оборонительных сооружений немцев на глубину до пяти километров, о поведении противника в этом районе.

На передовой Ромашкина поджидали пять полковых разведчиков и три сапера. На всех белые маскировочные костюмы, оружие обмотано бинтами.

Ромашкин тоже натянул маскировочный костюм. Последний раз молча покурил, попрощался с офицерами и выскочил из траншеи, сопровождаемый незнакомыми бойцами.

Шли пригнувшись, от куста к кусту, по лощинам. Проводники его хорошо знали здешнюю нейтральную зону, вели уверенно.

пулемётные очереди потрескивали совсем близко. Не потому, что фашисты обнаружили разведчиков, а таков у них порядок: короткими очередями прочесывают местность. Ромашкин хорошо знал язык немецких пулемётов. Они своими очередями сообщают друг другу: «У меня все в порядке» или «Здесь готовится нападение». Сейчас пулемёты выбивали дробь: «та-та-тра-та-та». Это означало: они спокойны.

Изредка в небо взлетала ракета. Пока её яркий покачивающийся свет заливал местность, разведчики лежали, уткнувшись лицом в снег. Но как только ракета гасла, они моментально устремлялись вперед. Ромашкин отметил: «Зубры!» Неопытные подождали бы, пока привыкнут глаза, а эти знают, что в наступившей после ракеты темноте вражеский наблюдатель несколько секунд совсем ничего не видит, и используют каждый такой момент. А когда раздается пулемётная очередь, не очень-то заботятся о звуковой маскировке. Это ещё раз подтверждает, что они «зубры». Новичок в таком случае обязательно заляжет, а опытные знают: пулемётчик во время стрельбы ничего не слышит, кроме своего пулемёта. Свист пуль страшноват, однако обстрелянный боец понимает: свистит та, что мимо, а ту, что в тебя, не услышишь.

Впереди снежное поле пересечено серой полосой. Это проволочное заграждение. Саперы щупают голыми руками снег — нет ли мин со взрывателями натяжного действия. Добравшись до кола, один сапер ложится на спину и берет руками проволоку, другой перекусывает её ножницами.

Очередная ракета метнулась в небо, шипя как змея. С легким хлопком она раскрылась, залила все вокруг предательским светом и упала почти к ногам разведчиков. Ракетчик где-то рядом. Ромашкин отчетливо слышал, как щелкнула ракетница, когда он её заряжал. В темноте саперы продолжали свое дело и вот уже дают знать: «Проход готов».

Ромашкин посмотрел на часы: второй час ночи.

Стараясь не зацепиться за колючки, прополз под проволокой. Впереди чернела траншея. Как всегда нелегки эти минуты! Очень трудно заставить себя приблизиться к темной щели. Нужно обязательно попасть в промежуток между двумя часовыми. А где они? Разве увидишь в темноте, да ещё лежа, когда глаза над самой поверхностью снега?

Борьба с самим собой длится несколько секунд. Василий достал гранату. Пополз к траншее с остановками, прислушиваясь: может, затопает промерзший гитлеровец или заговорит с соседом. Но было тихо.

Кончилась гладкая поверхность снега, перед глазами комья и бугорки — это бруствер. До траншеи не более двух метров.

Василий осторожно приподнялся на руках, посмотрел вправо и влево: торчит ли поблизости каска? Нет. Прополз последние метры до траншеи и заглянул вниз. Граната наготове.

Траншея до ближайших поворотов пуста. Не поднимаясь высоко, перескочил через нее и быстро уполз к темнеющим кустам. Ракеты вспыхивают позади. пулемёты выстукивают прежнюю спокойную дробь.

Вторую траншею преодолеть легче. Здесь наблюдатели реже, и службу они несут менее бдительно. Слышно, как неподалеку кто-то колет дрова. Несколько человек спокойно разговаривают у своего блиндажа.

Вспышки ракет все дальше и дальше. Уже нет необходимости двигаться ползком. Ромашкин поднялся около деревьев. Осмотрелся. Наметил место следующей остановки, запомнил все, что должно встретиться на пути, и, пригнувшись, перебежал туда Так же действовал и в дальнейшем. Разведчики называют этот способ «идти скачками».

Вскоре попалась наезженная дорога. Ромашкин просмотрел её в обе стороны и, никого не обнаружив, пошел по ней вправо. Помнил, справа должно быть шоссе на Витебск.

Пройдя с километр, увидел — движется навстречу что-то большое, темное. Свернул и затаился в придорожных кустах. Через несколько минут мимо проползли груженые сани. Из ноздрей лошадей выпархивали белые облачка пара. Ездовой — немец, весь в инее — шел рядом с санями. В другое время он непременно стал бы «языком», но сейчас трогать его нельзя.

Так, уступая дорогу всем встречным, Ромашкин достиг шоссе. Вдоль шоссе чернела деревня.

Идти напрямик, не зная, что делается в деревне, опасно. Обходить — потеряешь немало времени. Как быть?

«Что говорил об этой деревне начальник разведки дивизии?» Ничего определенного вспомнить не удалось. Темный ряд домишек выглядел загадочно.

Молодым разведчикам обычно внушают: в любой неясной обстановке есть незначительные на первый взгляд признаки, по которым можно разгадать ее. А вот он, хоть и опытен в разведке, никак не мог обнаружить здесь ни одного такого признака.

Подошел ближе. Если в деревне штаб, то должны к домишкам тянуться телефонные провода. Но, как ни напрягал зрение, в темноте проводов не увидел. Однако заметил: в некоторых окнах сквозь маскировку пробивались узенькие полоски света. Вот и признак! Этого достаточно. Местные жители не будут сидеть со светом в глухую ночь. В прифронтовой полосе они вообще не зажигают света с наступлением темноты.

Обогнув деревню, опять выбрался на шоссе. Чем ближе к Витебску, тем чаще попадаются машины, повозки, группы людей. Прячась от них, поглядывал на часы: «Медленно продвигаюсь! Так до рассвета не добраться. Надо что-то придумать».

Снял свой белый наряд, закопал у приметного дерева — пригодится на обратном пути. Вернулся к дороге и стал высматривать сани с гражданскими седоками. Вскоре такие показались. Возница дремал, лошадь шла шагом.

Ромашкин окликнул закутавшегося в тулуп дядьку и стал объясняться с ним на смешанном русско-немецком языке.

— Нах Витебск?

— Да, на Витебск, господин офицер. — Возница принял его за офицера.

— Их бин каине офицер, их бин ефрейтор, — поправил Ромашкин и забрался в сани.

Поехали. Чтобы не замерзнуть и замаскироваться, зарылся в пахучее сено, которое лежало в санях. Вознице приказал:

— Нах Витебск! Их бин шлафен. Спать, спать. Понимаешь?

— Понимаю, чего же не понять… Спи, коли хочется, — ответил тот.

Ромашкин лежал в сене и следил за дорогой. Да и за возницей надо было присматривать. Кто знает, чего у него на уме. Одинокий дремлющий фашист — заманчивая штука. Тюкнет чем-нибудь по голове и свалит в овражек.

На рассвете достигли пригорода. В том месте, где шоссе превращалось в улицу, Василий заметил шлагбаум и танцующую около него фигуру прозябшего постового. Там могут проверить документы, спросить о чем-нибудь. Это Ромашкину ни к чему.

— Хальт! — скомандовал он вознице и, выбравшись из саней, махнул рукой: езжай, мол, дальше. Дядька послушно продолжал свой путь. Ромашкин ушел с шоссе и тихими заснеженными переулками углубился в город.

Витебск ещё спал.

Где-то здесь, в этом скопище развалин и уцелевших домов, нужная квартира. Там его ждут. Туда сообщили по радио, что Ромашкин вышел.

Василий считал улицы — нужна четырнадцатая. Чем глубже в город, тем крупнее дома и чаще развалины. Черные проемы окон, лишенные рам и стекол, смотрят угрюмо.

Пересек десятый перекресток и вдруг прочитал на угловом доме название нужной «штрассе». Значит, в пригороде обсчитался на три улицы. Не беда!

Отыскал дом номер 27. Вошел в чистый освещенный подъезд. Квартира на первом этаже. На всякий случай положил руку в карман, на пистолет. Может, пока шел, здешних разведчиков раскрыли и сейчас за дверью засада?

Негромко, чтобы не разбудить соседей, постучал в дверь. Через минуту женский голос спросил:

— Кто там?

Стараясь подделаться под немца, сказал пароль:

— Я пришел от гауптмана Беккер; он имеет для вас срочная работа.

Дверь отворяется, и женщина говорит отзыв:

— Во время войны всякая работа срочная.

Впустив Ромашкина и заперев дверь, хозяйка подала руку, шепотом сказала:

— Проходите в комнату, товарищ. — А куда-то в сторону бросила: — Коля, это он.

Только теперь Василий заметил в конце коридора мужчину лет сорока. Мужчина подошел, представился:

— Николай Маркович.

Ромашкин снял шинель, хотел повесить её на вешалку, но хозяйка остановила:

— Здесь не надо.

Она унесла шинель в комнату.

Сели к столу, Ромашкин рассматривал этих скромных, смелых людей. Сколько сил прилагает, наверное, гестапо, чтобы отыскать их! А они живут, работают, встречаясь с гестаповцами каждый день. Крепкие нужны нервы, чтобы вот так ходить день за днем по краю пропасти.

Николай Маркович в свою очередь присматривался к Василию. Сказал одобрительно:

— Быстро добрались. Я думал, придете завтра.

— Спешил. Переждать до следующей ночи негде — обнаружат, да и холод собачий — окоченеешь.

— Надюша, — спохватился хозяин, — организуй-ка чаю и другого-прочего, промерз человек.

Хозяйка ушла на кухню, а они сидели и не знали, о чем говорить. Разговор наладился лишь за завтраком. Ромашкина расспрашивали о жизни на Большой земле. Он охотно отвечал на эти расспросы. Но едва ослабло напряжение, начала сказываться усталость. От хозяев квартиры это не ускользнуло. Николай Маркович поднялся, мягко сказал:

— Нам пора на службу. А вы укладывайтесь спать. Набирайтесь сил. Вечером в обратный путь…

Они ушли, Ромашкин лег в постель. Слышал, как под окнами иногда топают немцы, доносился их резкий говор.

Проснулся, когда уже стало смеркаться. Надо собираться «домой», нет причин задерживаться здесь. Фотопленку с отснятыми чертежами Надежда Васильевна зашила ему в воротник под петлицу. А подлинники лежат где-то в сейфах, под охраной часовых.

«Чтобы попасть сюда, — подсчитывал Ромашкин, — мне понадобилось около семи часов. Если на возвращение уйдет столько же, то к двум часам ночи могу быть у своих. Однако спешить нельзя. Переходить линию фронта лучше попозже — часа в три ночи, когда часовые умаются и никто другой не будет слоняться по обороне. Сложнее теперь перебраться через колючую проволоку: нет ни саперов, ни ножниц для проделывания прохода, а старого я, конечно, не найду. Придется подкопаться снизу или перелезть по колу. Оборвешься —порежешь руки, но лишь бы выбраться».

Договорились, что Николай Маркович и Надежда Васильевна будут сопровождать его по противоположной стороне улицы и проследят, как он выйдет из города. Николай Маркович предупредил:

— Если с вами что-нибудь стрясется, мы ничем не сможем помочь. Вы понимаете, мы не имеем права…

Он говорил смущенно, боясь, чтобы Ромашкин не принял это за трусость.

На прощание выпили по стопке за удачу. Эта стопка неожиданно сыграла очень важную роль.

Улицы были безлюдны. Редкие прохожие боязливо уступали Ромашкину дорогу. Он шел не торопясь, пистолет в кармане брюк, готовый к действию в любой момент. На противоположной стороне — Николай Маркович и его жена будто прогуливались.

Дошли до оживленной улицы. Поток людей несколько озадачил Ромашкина: не пересекал такой людной, когда шел утром. Но тут же сообразил, что ранним утром все улицы одинаково пустынны, а сейчас вечер — время прогулок.

По тротуарам прохаживались немецкие офицеры, в одиночку и с женщинами.

Выждав, когда на перекрестке станет поменьше военных, Ромашкин двинулся вперед. Миновал тротуар, проезжую часть.

Еще миг — и скрылся бы в желанном сумраке боковой улицы. Но тут как раз из-за угла этой улицы прямо на него вывернул парный патруль. На рукавах белые повязки с черной свастикой.

Патрульные остановили его, о чем-то спрашивали. По телу, от головы до ног, прокатилась горячая волна, а обратно, от ног к голове, хлынула волна холодная.

Боясь выдать себя произношением, Василий молча достал удостоверение. Что ещё могут спрашивать, конечно, документы!

Худой, с твердыми желваками на скулах патрульный внимательно изучил его служебную книжку, спросил придирчиво:

— Почему ты здесь? Твой полк на передовой, а ты в тылах ошиваешься?..

Вопрос резонный. Но Василий не спешил вступать в разговор с немцами. В такой момент он и по-русски-то, наверное, говорил бы заикаясь, где уж там объясняться по-немецки!

Задержанный молчал, а патрульный все настойчивее домогался, почему он улизнул с передовой. Вокруг образовалось кольцо зевак, среди них много военных. Бежать невозможно.

Василий украдкой осмотрел окружающих. Искал, кто покрупнее чином. Пока не обыскали и пистолет при нем, хотел подороже взять на свою жизнь.

Вдруг патрульный засмеялся. Он наклонился к Ромашкину, принюхался и весело объявил:

— Да он, скотина, пьян!

Ромашкин поразился: какое чутье у этого волкодава! Всего ведь по стопке выпили с Николаем Марковичем за удачу.

Трудно было определить, удача это или нет, но обстановка на какое-то время все-таки разрядилась. Коли пьян, разговор

короткий. Ромашкина бесцеремонно повернули лицом в нужную сторону, сказали «Ком!» и повели в комендатуру.

Хорошо, что не обыскали! Пистолет, будто напоминая о себе, постукивал по ноге. Василий шел, покачиваясь слегка, как и полагается пьяному. Посматривал по сторонам. Патрульные, посмеиваясь, разговаривали между собой, подталкивали в спину, когда Ромашкин шел слишком медленно:

— Ком! Ком! Шнель!

Василий был внешне вроде бы безразличен к тому, что происходит, а в голове одна мысль: «Надо действовать! Надо что-то предпринимать! Если заведут в помещение, все пропало, оттуда не уйдешь. А где эта комендатура! Может, вон там, где освещен подъезд?»

Шли мимо двухэтажного дома, разрушенного бомбежкой. Внутри черно. Лучшего места не будет!

Василий выхватил пистолет, в упор выстрелил в патрульных и, вскочив на подоконник, прыгнул внутрь дома. Сзади послышались отчаянные крики. Поразило — кричали по-русски: «Он убил патрулей! Сюда заскочил! Сюда!»

Ромашкин делал все автоматически. Совсем не думая о том, что когда-то изучал приемы «отрезания хвоста», остановился у стены за одним из поворотов и, как только выбежал первый преследователь, выстрелил ему прямо в лицо. Другие залегли, спрятались за угол стены. Теперь они будут искать обходы. А Ромашкин сразу после выстрела выпрыгнул из окна во двор, перемахнул через забор, перебежал садик. Выглянул из ворот на улицу, быстро перешел её и опять скрылся во дворе.

Так и бежал по дворам, перелезая через изгороди. В одном из дворов женщина снимала с веревки белье. Ромашкин молча прошел мимо к воротам. Она с изумлением посмотрела на странного немца, который почему-то лезет через забор.

Ближе к окраине не стало дворов общего пользования. Калитки заперты.

Ромашкин пошел тихой улицей. По ней, видимо, мало ходили и совсем не ездили — на середине лежал нетронутый снег.

Погони пока не слышно. Но служебная книжка на имя Шуттера осталась у патруля, и Василий не сомневался, что из немецкой комендатуры позвонили в 185-й пехотный полк. Теперь, конечно, установлено, что никакого Шуттера там нет. Значит, его начнут искать всюду — и в городе, и на дорогах.

Ромашкин на ходу оценивал обстановку.

«Восемь часов. Быстро я проскочил город — заборы не помешали! Впереди ещё целая ночь. Этого вполне достаточно, чтобы пробраться к своим».

Подошел к развилке дороги. Столб с указателями подробно информировал, в какой стороне какие деревни и сколько до каждой из них километров. Одним своим ответвлением дорога уходила к лесу. Ромашкин выбрал это направление: в лесу легче маскироваться. Однако вскоре он понял, что ошибся: лес был полон звуков. Ревели моторы танков — их, видимо, прогревали. Перекликались немецкие солдаты, трещали сломанные ветки.

Ромашкин свернул с дороги и вскоре очутился на обширной поляне. Поспешил к поваленному дереву в конце поляны. Но подойдя ближе, вдруг разглядел, что это не дерево, а ствол пушки. Василий поспешил назад и только теперь услышал, как громко скрипит под сапогами снег. Пока не было явной опасности, не замечал, а сейчас этот скрип резал слух.

Обойдя батарею, опять двинулся на восток. Лес кончился, впереди у самого горизонта вспыхивали и гасли осветительные ракеты. Ромашкин обрадовался: «Значит, выхожу к траншейной системе». Но здесь войска стоят плотнее. Нужен маскировочный костюм, а его нет. Дерево, у которого Василий зарыл свой белый костюм, где-то совсем в другом месте.

«Как же я поползу в этой зеленой шинели? На снегу меня будет видно за километр!»

Ромашкин забрался в кустарник и разделся догола. Холодный ветер будто ожег его. Проворно надел брюки и куртку, а нижнее белье натянул сверху. Шинель пришлось бросить, на нее нательная рубашка не лезла. Оглядев себя, с досадой отметил: «На снегу будут выделяться руки, ноги, голова. Руки и ноги, в крайнем случае, можно ткнуть в снег, а вот как замаскировать голову?» Но и тут нашелся: достал носовой платок, завязал концы узелками. ещё мальчишкой, купаясь на речке, Василий мастерил такие шапочки. Маскировка, конечно, получилась не ахти какой, да что поделаешь!

Пошел «скачками». Без помех продвигался километра два. Наметил очередную остановку у развалин. Они были метрах в пятидесяти. Перебежал к ним, а это вовсе не развалины, это штабель боеприпасов, накрытый брезентом. В заблуждение ввели ящики, разбросанные вокруг этого полевого склада.

У противоположного конца штабеля маячил темный силуэт часового. Василий осторожно пополз в сторону.

Так вот — то ползком, то «скачками», то обливаясь потом, то промерзая до костей, когда надолго приходилось замирать в снегу, — он достиг наконец желанной цели. Между ним и нейтральной зоной осталась одна траншея и проволочное заграждение. К этому моменту Ромашкин настолько устал, что едва мог двигаться. Тело было как деревянное. Хотелось одного:

поскорее выбраться за проволоку! Она совсем рядом, но по траншее ходит гитлеровец.

Ромашкин заметил его каску издали. Каска проплывала вправо шагов на двадцать, влево — на десять. Василий пересчитал эти шаги не раз. Когда часовой шел вправо, делал пятнадцатый шаг и должен был сделать ещё пять, находясь к Ромашкину спиной, тот подползал ближе к траншее. Когда часовой возвращался, Василий лежал неподвижно.

И вот они рядом. Достаточно протянуть руку — и можно дотронуться до каски часового.

Самое правильное — без шума снять его и уйти в нейтральную зону. Но Ромашкин чувствовал: сейчас это ему не под силу. Он настолько изнемог и промерз, что гитлеровец легко отразит его нападение.

«Убить из пистолета — услышат соседние часовые, прибегут на помощь. Что же делать? Перепрыгнуть через траншею, когда фашист будет ко мне спиной? Но я не успею отползти. Это сейчас он меня не видит, потому что я сзади, а он смотрит в сторону наших позиций. На противоположной же стороне траншеи я окажусь прямо перед его носом… Но и так лежать дальше нельзя — замерзну. Единственный выход — собрать все силы и ударить фашиста пистолетом по голове, когда будет проходить мимо».

Пытаясь хоть немного отогреть пальцы, Ромашкин дышал на них и совсем не чувствовал тепла. Рука может не удержать пистолета, удар не получится.

И все же, когда немец вновь поравнялся с ним, Василий ударил его пистолетом по каске. Плохо! Удар вскользь. Гитлеровец с перепугу заорал, бросился бежать. Пришлось выстрелить, после чего Ромашкин мигом оказался у проволочного заграждения. Ухватившись за кол, полез по нему, опираясь ногами о проволоку. Сзади уже кричали, стреляли.

Разрывая о колючки одежду и тело, Василий перебрался через второй ряд проволоки, и тут что-то тяжелое ударило в голову. Он потерял сознание.

Когда очнулся, в первую минуту ничего не мог понять. В глазах плыли оранжевые и лиловые круги. Чувствовал сильную боль, но где именно болит, сразу не разобрал. Пытался восстановить в памяти, что произошло. И вот смутно, будто очень давно это было, припомнил: «Лез через проволоку, потерял сознание от удара. Ранен… Но куда! И где я сейчас?»

Он лежал в снегу, вокруг ночная темень. Рядом разговаривали по-немецки. «Почему меня не поднимают, не допрашивают?» Позади кто-то работал лопатой. «Может, приняли за убитого и хотят закопать?» Вслушался: опять звон лопаты о

проволоку, натужливое пыхтение. Догадался: "Да, фашисты считают меня убитым. Они по ту сторону проволочного заграждения. Я — по эту. Подкапываются под проволоку, чтобы втащить меня к себе…

Вскочить бы сейчас и бежать! Но если у меня перебиты ноги? " На снегу недалеко от себя Ромашкин увидел свой пистолет. Постарался вспомнить, сколько раз из него выстрелил, есть ли в обойме хоть один патрон. «Живым не дамся. Все равно замучат».

Пока размышлял, к его ногам уже подкопались. Пробовали тащить, не получилось. Он лежал вдоль проволоки и, когда потянули за ноги, зацепился одеждой за колючки. Гитлеровцы просунули лопату с длинным черенком и, толкая в спину, пытались отцепить его от колючек и повернуть так, чтобы тело свободно прошло в подкоп.

Ждать дальше было нельзя. Ромашкин подхватился и бросился бежать в сторону своих окопов.

У немцев — минутное замешательство: мертвец побежал! Потом они опомнились, открыли торопливую пальбу. А он бежал, падал, кидался из стороны в сторону. Над ним взвивались ракеты. Полосовали темень трассирующие пули.

Добежал до кустов. Пополз параллельно линии фронта. Неприятельский огонь по-прежнему перемещался в направлении наших позиций. Значит, потеряли из вида, считают, что он бежит к своим напрямую.

С нашей стороны ударила артиллерия — это было очень кстати. Только непонятно, почему она откликнулась так быстро на всю эту кутерьму. Случайное стечение обстоятельств?..

На пути встретилась замерзшая речушка. У Василия ещё хватило сил выползти на лед, но тут он опять потерял сознание. Кроме предельной усталости сказывалась и потеря крови.

Очнулся от толчка. Его перевернули на спину и, видимо, рассматривали. Кто-то сказал с досадой:

— Фриц, зараза!

Неласковые эти слова прозвучали для Ромашкина сладчайшей музыкой. Смог только выдохнуть:

— Не фриц я, братцы!

— Ты смотри, по-русски разговаривает! — удивился человек, назвавший его фрицем. — Ну-ка, хлопцы, бери его!

Ромашкин не запомнил, как и почему оказался он в блиндаже усатого командира полка, совершенно незнакомого. Едва перебинтовали голову, Василий оторвал от куртки воротник и попросил срочно доставить этот лоскут в штаб фронта — в разведывательное управление.

А там, оказывается, все были в тревожном ожидании.

Николай Маркович успел сообщить по радио о столкновении Ромашкина с немецким патрулем и, кажется, удачном бегстве от преследователей. Командующий фронтом приказал в каждом полку первого эшелона держать наготове разведчиков и артиллерию. И когда в том месте, где Ромашкин переходил фронт, гитлеровцы проявили сильное беспокойство, наша артиллерия немедленно произвела огневой налет по их передовым позициям, а группа разведчиков вышла в нейтральную зону. Она-то и подобрала Василия на льду.

Теперь он сидел в теплом блиндаже, смотрел и не мог насмотреться на дорогие ему русские лица. Казалось, не видел их целую вечность.

— Какая у меня рана?—спросил Ромашкин фельдшера, бинтовавшего ему голову.

Фельдшер замялся, но, видно, посчитал неприличным врать такому человеку.

— Надо поскорее вас в госпиталь. Ранение в голову всегда опасно.

Усатый командир полка заторопился: приказал немедленно подать его сани. Накинул на Ромашкина полушубок, распорядился, чтобы фельдшер лично сопровождал раненого до госпиталя.

Прощаясь, подполковник дал Василию флягу, шепнул:

— Ты крови много потерял, как бы не замерз в пути. Принимай помаленьку.

Сани скользили легко и плавно. И так же легко было на душе у Василия. «Все же выбрался. И поручение командующего выполнил». Отвинтил крышку фляги и хлебнул на радостях несколько глотков. «Мама в эту ночь спокойно спала. Она даже не подозревает, как близко я был от гибели и каким чудом спасся». Ромашкин выпил ещё несколько глотков — за нее.

В расположении своих войск все было прекрасно, даже запоздалый мороз нипочем и ветер ласковее. Вспомнил предупреждение усатого командира полка: «Как бы не замерз в пути». Замерзающим, говорят, всегда кажется тепло и хочется спать. Он ещё раз приложился к фляге и прислушался к самому себе. Нет, спать ему не хотелось. Наоборот, его будоражило веселое возбуждение, хотелось петь. И он запел песенку, которую услышал на том концерте у Днепра:

Шаланды, полные кефали,

В Одессу Костя приводил…

В госпитале хирург, уже поджидавший раненого разведчика, сказал обнадеживающе:

— Ну, раз поет, все будет хорошо.

Ромашкину очень хотелось поговорить и с хирургом, и с сестричками, которые почему-то хихикали в свои марлевые маски.

— Лежите, потом поговорим, — обещала одна из них.

— Ну и веселый раненый! — сказала другая. — У нас таких ещё не было.

— Это точно, — согласился Ромашкин. — А вы знаете, почему я в немецкой форме? Вы не думайте, я не фриц.

— Все мы знаем, лежите, пожалуйста, спокойно, а то свяжем вас, — пригрозил хирург.

Ромашкин засмеялся. Ему казалось очень смешным, что будут связывать свои, да к тому же такие хорошенькие девушки.

— Связывайте! — великодушно разрешил он, и в тот же миг нестерпимая боль обожгла голову. Ромашкин сморщился, застонал: — Ммм, ну это ни к чему, доктор! Все шло так хорошо..

— Терпи, дорогой, и радуйся: кажется, мозги тебе не задело. Твердолобый ты, пуля срикошетила

Ромашкин опять заулыбался.

— Значит, ещё поживем?

Он закрыл глаза и, будто покачиваясь в теплой детской люльке, стал засыпать…

— Ну и парень! — шептали сестры. Они заходили сбоку и смотрели на бледное, осунувшееся лицо Ромашкина.

— Разведчик — этим все сказано! — значительно молвил хирург. — Не чета нам, тыловым ужам! — Доктор старался действовать осторожно, чтобы не разбудить этого необыкновенного, по его понятиям, человека. Кто-кто, а врач понимал, до какой степени утомлен человек, если заснул без наркоза под ножом хирурга!

После операции Ромашкина поместили в отдельную маленькую брезентовую палатку. Она была обтянута изнутри слоем белой ткани, обогревалась железной печуркой.

Василий понимал: такое внимание к нему не случайно. Наверное, об этом позаботился сам командующий фронтом. Только вот никто не навестил его, не поздравил с удачным возвращением. Из-за этого появилась обида. Она точила как червь, причиняя боль гораздо большую, чем рана в голове. Подумав, Ромашкин стал утешать себя: «О пережитом мною, о том, как проник в город, занятый противником, убил патрульных и ушел от преследования, раздевался догола на ледяном ветру, снимал часового и едва не угодил живым в могилу, знаю только я. Для других это выглядит по-другому: разведчик Ромашкин получил приказ доставить ценные сведения, задачу выполнил, в ходе выполнения ранен. Вот и все. Остальное лирика. Перед

наступлением у каждого работы много, некогда вести душеспасительные беседы с раненым. Лежишь в отдельной палате, лечат, кормят, чего тебе ещё надо?»

И когда Ромашкин совсем уже успокоился, когда в душе его все встало на свои места, вдруг поднялся край палатки. Заглянул ладный солдат в отлично сшитой шинели, в комсоставских начищенных сапогах, в фуражке с лакированным козырьком. Солдат и не солдат, будто сошел с картинки. На фронте таких не было.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, — сказал, улыбаясь, красивый солдат. — Мы — фронтовой ансамбль песни и пляски. — Он показал рукой на вход в палатку, и Василий только сейчас услышал там, за брезентовым пологом, сдержанный говор многих людей.

Ромашкин не мог понять, что все это значит и какое он имеет отношение к ансамблю. Солдат пояснил:

— Нас прислал командующий фронтом. Сказал, что здесь, в госпитале, находится раненый разведчик, который выполнил очень важное задание, и его, то есть вас, надо повеселить. Вот мы и прибыли.

Приятная волна благодарности прихлынула к сердцу Ромашкина: «Не забыл. При всей своей невероятной занятости. Спасибо вам, товарищ командующий!»

— Как же вы будете это делать? В палатке больше трех-пяти человек не поместится, — растерянно спросил Василии и, только сказал это, догадался — есть иной выход: — Вы дайте концерт для госпиталя где-нибудь в общей столовой и доложите командующему, что приказ выполнен.

— Мы так не можем. Приказано поднять настроение лично вам. Для госпиталя будет особое выступление, — настаивал солдат.

— Ничего не получится, я ещё не ходячий. Может, на носилках меня снесут куда-нибудь, где все будут слушать?

— Приказ есть приказ! Мы все организуем здесь… Меня зовут Игорь, фамилия Чешихин. Друзья шутки ради пустили слух, что это псевдоним, который, мол, происходит от главного моего занятия: чесать языком. Я ведь конферансье. По-военному — ведущий ансамбля.

Появился дежурный врач, пришли сестры, укрыли Ромашкина ещё двумя одеялами, подняли полы палатки, и Василий увидел толпу хорошо одетых солдат, похожих, как братья, на Игоря Чешихина.

Профессионально улыбаясь, Игорь представил их единственному зрителю и слушателю. Звонко, как с эстрады,

объявил:

— "Землянка", слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова, исполняет солист ансамбля Родион Губанов.

Происходящее было похоже на приятный сон — красивые люди, музыка, пение. И очнуться не хотелось: сон это или бред, пусть так и будет. Важно, что слова песни вполне отражают явь. «Бьется в тесной печурке огонь…» Вот она, печурка, и прыгает в ней красный огонь. «На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь…» Ну не в землянке, так в палатке. Только вот глаза перед Василием другие — мамины глаза. Мама, мама, нет никого роднее и ближе тебя! «Ты теперь далеко, далеко… а до смерти четыре шага». Сейчас, пожалуй, побольше четырех. А было меньше шага: когда вели патрульные по Витебску, стволом автомата в спину подталкивали. И немец, которого не смог оглушить закоченевшей рукой, чуть не выстрелил в упор. Как уцелел? Непонятно. Из нескольких автоматов били, пока лез через проволоку, а зацепила всего одна пуля!

— Вы не спите, товарищ старший лейтенант? — озабоченно спросил Игорь Чешихин.

— Нет, нет, я все слышу и вижу отлично. Только не повредит ли вашим товарищам пение на открытом воздухе? У них ведь голоса.

— Мы привычные. Всю зиму на морозе пели. Концертных залов на передовой нет. Теряли и голоса, и певцов. Война!

После пения показали пляски. Танцорам было тесно на узкой дорожке перед палаткой, но они все же лихо кружились, а ещё лучше посвистывали.

— Специально для вас приготовлен отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин», — сообщил Игорь.

Ромашкин приподнялся. Он любил стихи Твардовского, в особенности про этого удалого парня Теркина!

Игорь читал отрывок совсем новый, ещё не читанный Василием в газете:

Подзаправился на славу,
И хоть знает наперед,
Что совсем не на расправу
Генерал его зовет,
Все ж у главного порога
В генеральском блиндаже —
Был бы бог, так Теркин богу
Помолился бы в душе.

"Ну точно про меня! — думал с восторгом Василий**.** — Будто подсмотоел Твардовский, когда я шел к командующему".

И на этой половине —

У передних наших линий,
На войне — не кто, как он,
Твой ЦК и твой Калинин.
Суд. Отец. Глава. Закон.

Василий вспомнил всех генералов, с которыми довелось встречаться. Комдив Доброхотов — строгий, властный, но бывает и добр — таким он запомнился, когда вручал Василию первую медаль «За боевые заслуги». Член Военного совета Бойков — ну этот действительно и «ЦК, и Калинин» — огромной масштабности человек… Вспомнился Черняховский — красивый, крепкий, молодой, а глаза мудрые. «Даже с маршалом Жуковым встречался! — вспомнил вдруг Василий. — С этим, правда, мельком, когда орден получал. Крепко на земле стоит, высоко голову держит. И теплый лучик в строгих глазах. На один лишь миг, когда руку пожимал. Маршалу иначе, наверное, и нельзя».

Вместе с генералами встал перед Ромашкиным, как живой, комиссар Гарбуз. Василий был уверен, что если б не погиб Андрей Данилович, стал бы и он генералом. Да и без этого звания он по своим делам, по силе влияния на людей был настоящим генералом.

— "Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом — домой" , — не декламировал, а как-то запросто говорил Игорь. Чтец то превращался в Теркина, то в генерала, то в Твардовского. А то вдруг Василий узнавал в нем и себя. И было все это опять как во сне.

Радостное ощущение не покидало Ромашкина и после концерта. «Ансамбль для одного! Ну пусть не полный, пусть несколько человек, но ведь для одного меня прислал командующий!..»

Словно продолжение этого сказочного сна, вечером в его палатку грузно ввалился член Военного совета Бойков.

— Лежишь? Правильно делаешь! Много сделал, отдохни! Генерал расстегнул шинель, снял фуражку, сел на табуретку так, что она хрустнула. Поглядел на Василия улыбчиво и добро:

— Сейчас отдышусь…

«Больной человек, — подумал Василий, глядя на отеки под глазами генерала, — а по передовой мотается и днем, и ночью».

Бойков поднялся, застегнул шинель на все пуговицы, надел фуражку, проверил, ровно ли она сидит. «Куда же он? — удивился Василий. — Ничего не сказал… Неужто затем только и заходил, чтобы отдышаться?»

Но Бойков не ушел. Он встал против лежащего Ромашкина по стойке «смирно» и негромким, но торжественным голосом произнес:

— По поручению командующего фронтом генерала армии Черняховского вручаю вам, старший лейтенант Ромашкин, за выполнение особого задания орден Красного Знамени. — Генерал подал картонную коробочку, в ней Ромашкин увидел красно-золотой орден и бело-красную ленту, натянутую на колодке. — От себя поздравляю, дорогой мой, и желаю тебе быстрее поправиться, совершить ещё много геройских дел на благо Отечества! — Бойков погладил Ромашкина по голове и уже буднично спросил: — Куда же тебе орден прикрепить? — Секунду подумал и решил: — А почему нельзя на белую нательную рубашку? У тебя сейчас такая форма одежды — госпитальная! — Он прикрепил орден, прихлопнул пухлой ладонью. — Носи на здоровье! Командующий просил передать, что сам бы с удовольствием навестил тебя, да не может, дел много. И меня за торопливость тоже извини. К большому мероприятию готовимся. Будь здоров!

Бойков пожал руку и ушел к поджидавшему его за палаткой автомобилю. Заурчал мотор, хрустнули ветки, и машина стала удаляться.

Ромашкин жалобно посмотрел на сестру, попросил:

— Сестричка, уколи меня чем-нибудь или облей водой.

— Вам плохо? Я сейчас дежурного врача вызову.

— Да нет же, хорошо! До смерти хорошо!

Сестра нежно молвила:

— Ничего, от радости ещё никто не умирал.

Отпуск

Ромашкин пробирался по избитым фронтовым дорогам к Смоленску, от которого начинали ходить пассажирские поезда. Было радостно и непривычно ходить в полный рост, не пригибаясь, не прислушиваясь к летящим пулям и снарядам. Потом тыловая жизнь стала открывать свои другие «прелести». Дороги пыльные и в то же время грязные — во всех колдобинах и воронках зелено-черная дождевая вода. Шоферы гоняли машины по этим горбатым дорогам, как гонщики на соревнованиях. Ромашкину казалось, вот-вот вылетят наружу внутренности от этой проклятой тряски по рытвинам. Он крикнул шоферу в окошечко:

— Ты бы хоть притормаживал, везешь как бревна!

— Я под пассажиров не приспособленный, товарищ старший лейтенант, вы сами попросились. Пока фриц не прилетел, надо поторапливаться. Меня на передовой со снарядами ждут, — усмехаясь, ответил водитель.

Что ему скажешь? Он ведь так изо дня в день мотается.

На очередном перекрестке Ромашкин простоял с полчаса. Он заметил, что среди ожидающих есть офицеры, сержанты, солдаты какой-то особой тыловой категории, они знакомы с регулировщиками, разговаривают с ними по-приятельски. Регулировщиков слушались все, понимая свою полную от них зависимость, одни эти дорожные боги точно знали, кому и куда нужно ехать, чтобы добраться в конечный пункт тряского путешествия.

— Старшой, садись, твоя карета, — весело сказал курносый ефрейтор, перекинувшись несколькими словами с шофером.

— Так мне на восток, к Смоленску, а он куда-то в сторону, — несмело возразил Ромашкин.

— Садись, будет полный порядок, — сказал курносый регулировщик и бросил шоферу: — Довезешь до горелого танка, там сбросишь. А вы потом пересядете на восток — там наши помогут, не сомневайтесь.

К середине дня Ромашкин уже не чувствовал себя таким счастливым, как утром в начале поездки: все болело от тряски, голова была тяжелой, хотелось есть, отдохнуть. Но как это делается в тылу, Василий не знал. Здесь какие-то свои законы — дали вот продаттестат, какие-то талончики, а куда с ними обращаться? Нет, на передовой лучше — там накормят, напоят, есть свое место в блиндаже. Все тебя знают, уважают, а тут ты какой-то чужой.

На пятом или шестом перекрестке Ромашкин подумывал — уж не возвратиться ли в полк? Он тоскливо смотрел на громыхающие мимо «ЗИСы» и «студебеккеры». Шоферы на ходу кричали свой маршрут регулировщице, немолодой женщине, а она махала им флажком: «Давай». Попутной для Ромашкина все не было. Василий проклинал курносого ефрейтора за то, что он заслал его сюда на какую-то боковую дорогу. «Говорил ведь ему, на Смоленск, так нет, засунул к черту на кулички. Надо бы вернуться да начистить ему конопатую рожу за такие дела».

Вдруг мимо проехала трехтонка, в окошечке её кабины мелькнуло такое, что Ромашкин мгновенно вскочил и, как всегда, благодаря своей боксерской реакции сначала отреагировал действием, а потом уже толком сообразил, что произошло. Он закричал истошным голосом, чтобы грузовик не умчался:

— Стой! Стой!

Кричал он так громко и взволнованно, что шофер, скрипнув тормозами, остановился. Регулировщица удивленно спросила:

— Что случилось? В чем дело?

Ромашкин побежал к кабине, из которой выглядывала русоволосая девушка в пилотке и удивленно смотрела на него. Ромашкин сразу узнал ее.

— Таня, это я — Василий Ромашкин, — запыхавшись от волнения, будто после долгого бега, счастливо сообщил Ромашкин. Девушка пожала плечами, смущенно улыбнулась:

— Я вас не знаю.

— Как же не знаете? Москва, сорок первый год. После парада на Красной площади мы познакомились в переулке.

— Да, да, что-то припоминаю, — несмело подтвердила Таня.

— Вот видите. Это был я. А вы тоже на фронт должны были ехать, сказали, ни к чему наше знакомство.

— Теперь вспомнила.

— Я так много о вас думал! Даже с Зоей Космодемьянской спутал. её ведь как «Таню» казнили. Я у пленных из той дивизии все про ваши зеленые варежки спрашивал, помните, у вас были домашней вязки, когда встретились в Москве? Мне почему-то казалось, что вы и есть та самая Таня. И вдруг вот вы живы, здоровы и рядом, но… совсем другая.

— Нет, я все та же. Только мне нездоровится, — Таня почему-то смутилась. — А вы куда едете?

— В тыл, в отпуск после ранения. Мне в Смоленск на поезд надо.

— И мы туда же.

Ромашкин с укором посмотрел на регулировщицу, сердито спросил:

— Что же вы зря на дороге торчите? Машина идет в нужном мне направлении, а я сижу жду.

— Так их разве остановишь, носятся как скаженные, попробуй узнай, кто куда летит.

Ромашкин махнул рукой, вскочил в кузов, пристроился поближе к окну, из которого выглядывала Таня, и они помчались вперед, не слыша половину слов в грохоте разбитого старого кузова.

— Ладно, в Смоленске поговорим, — наконец сказал Ромашкин и сел поудобнее на запасной баллон. Он глядел на Таню сбоку. Надо же такому случиться — за два года первый раз выбрался в тыл и в этой чертовой дорожной кутерьме вдруг встретил Таню!

Таня очень изменилась, у нее было желтое болезненное лицо, усталые грустные глаза. Она уже не была той румяной на морозе русской красавицей, какой её впервые встретил Ромашкин. Может быть, ранена или по болезни домой едет?

Машина шла мягче тех, на которых довелось ехать Василию раньше. «Что значит женщину везет!» — усмехнулся Ромашкин.

В Смоленске, как в вырубленном лесу, от домов остались только пеньки. Город просматривался насквозь во все стороны — груды кирпича, обгорелые трубы, одинокая, исклеванная снарядами церковь.

Около остатков вокзала — скопление людей, машин, повозок. Ромашкин выпрыгнул из кузова и остолбенел от того, что увидел. Таня, прощаясь с шофером, благодарила его, передавала приветы своим подружкам, под конец прослезилась и чмокнула шофера в щеку. Но не это поразило Василия. У Тани, задирая вверх подол зеленого форменного платья, торчал вперед огромный живот. Она была беременна. «Вот почему водитель вез осторожно!» Когда шофер отъехал, Таня просто и печально сказала:

— Как видите, не только немцы, и свои выводят бойцов из строя.

Василий сразу понял — не по любви у нее это, не встретила она своего единственного на фронте, кто-то обидел Таню. А раз это так, то и расспрашивать не надо, больно будет ей.

В развалинах вокзала уцелел небольшой зал, в нем было полно людей и так накурено, что совсем не видно старую довоенную пожелтевшую табличку «Не курить». Пассажиры — мужчины, женщины и даже дети — все сплошь в военной одежде: в солдатских ватниках, выгоревших гимнастерках, зеленых самодельных фуражках, цигейковых солдатских шапках. Военные отличались от гражданских только погонами.

В углу над двумя дырами, пробитыми в стене, надписи на

фанерках: «Комендант», «Касса». Василия удивило, что возле этих окошечек никого не было, люди будто собрались здесь просто так, потолкаться, поговорить, покурить.

Заглянув в одно отверстие, Ромашкин увидел солдата у полевого телефона:

— Послушай, когда будут продавать билеты?

— За час до отхода поезда. Сегодня уже ушел.

— А заранее нельзя? Завтра всем за час разве успеете? У меня больной товарищ, он в давке не сможет.

— Заранее нельзя, ваши деньги или проездные пропадут. Тут такое бывает! Нашу жизнь дальше чем на час вперед разглядеть невозможно, товарищ старший лейтенант. — В голосе солдата была явная гордость близостью к загадочной опасности, на которую он намекал. — Вы бы шли до первого разъезда — там много товарняков формируется, сегодня уедете.

— Я же говорю: товарищ больной.

— Ну тогда ждите до завтра. Может, в гостинице примут вашего дружка. Он кто по званию?

— Да чин невелик.

— Ну, тогда не примут, там только для старшего комсостава. На вокзале не оставайтесь, подальше идите, тут такие сабантуи бывают, не продохнешь.

Ромашкин все же повел Таню в гостиницу. Она оказалась в уцелевшей половине наискось обрубленного авиабомбой четырехэтажного дома. В верхних окнах просвечивало небо. В нижнем этаже одна большая комната была уставлена железными кроватями с крупной проволочной сеткой, ни матрацев, ни подушек не было. На двери надпись на картонке «Только для старших офицеров». Заведовал этим «отелем» пожилой солдат с обвислыми запорожскими усами, который и в форме был простой колхозный дядько с украинского хутора. Он сидел у входа и дымил самосадом на все свое заведение. Взглянув на Танин живот, солдат сказал ещё до того, как Ромашкин спросил:

— Вам можно. Занимайте вон ту коечку в уголку.

— А ему? — Таня кивнула на Ромашкина.

— Им не можно, они старший лейтенант. А вам у порядке исключения.

— Он мой муж, куда же он пойдет?

— Уместе будете лягать дома, туточки только для старших охвицеров. Прийде якись полковник, куцы я его положу? А вам две койки отдам? Нет, такое неможно.

— А мы вместе, на одной, — оживляясь от своей догадливости, предложила Таня.

— Ну на одной лягайте. Мужу и жинке можно, — согласился

солдат.

Когда Таня и Василий отошли, солдат потянул цыгарку так, что она затрещала, крутнув головой, понимающе сказал:

— И до чего только народ не додумается — и свое дело справил, и жинку в тыл отправил, и сам в отпуске побувает.

Рядом с кроватью, на которую Таня и Ромашкин бросили вещевые мешки, сидел пожилой полковник, белая густая седина была на нем словно парик, красные воспаленные глаза слезились, розовая старческая кожа на щеках собралась в мягкие морщины. На кителе полковника были золотые повседневные погоны. Увидев Ромашкина, полковник обрадовался, сразу же заговорил с ним как со старым знакомым, будто продолжая давний разговор:

— Я вот думаю, как же вы воюете? Залп современной стрелковой дивизии весит тысячу восемьсот килограммов. Батальон выпускает тридцать тысяч пуль в минуту. Каждого атакующего в цепи встречает огонь двух — трех орудий и пулемётов. Бомбовый удар в период авиаподготовки — сто — сто пятьдесят тонн на квадратный километр, — старик спохватился, — простите, я не представился: полковник Ризовский, преподаватель академии, еду на стажировку, на фронт. Еле выпросился! Нехорошо получается: учу фронтовых офицеров, а сам в боях не бывал. Вот хоть к концу войны направили, а то просто неловко себя чувствую, понимаете ли. Так вот объясните мне, пожалуйста, как при такой огневой плотности вы все же остаетесь живыми?

Ромашкин, чувствуя приятное превосходство над полковником-теоретиком, да ещё в присутствии Тани, ответил полушутя-полусерьезно:

— Мы ведь в одну линию не выстраиваемся, товарищ полковник, на глубину и по фронту рассредоточены, к тому же в земле, а не на поверхности сидим. Вот пули летают, летают, а нас не находят, ну и приходится им лететь мимо.

— Вы совершенно справедливо это подметили, и я понимаю, а как же в атаке? Вы же на поверхности идете не защищенные.

— Перед атакой наши артиллеристы так гитлеровцев раздолбают, что уже не десяток пуль, а одна — две на мою долю останутся. И эти не успеет фриц в меня пустить, потому что я вплотную за огневым валом иду. Только после артподготовки пулемётчик голову поднимет, землю с себя стряхнет, а я тут как тут — трах его по башке или «Хенде хох!».

Полковник по-детски радостно засмеялся, одобрил:

— Ловко! Ваши слова научной статистикой подтверждаются: во время войн Наполеона погибало сорок процентов от огня и шестьдесят процентов от холодного оружия. А теперь сто

процентов — от пулемётно-артиллерийского огня и лишь ноль два процента от холодного оружия. Счастливый вы человек. Вы видели, все понимаете, живы остались, скоро отцом будете. У меня трое: две дочки, сын-офицер. Все в армии.

«Сын-офицер» полковник произнес гордо и был в этот миг очень похож на Колокольцева.

Когда стемнело, комната заполнилась до самой двери. Офицеры лежали не только на кроватях, но и вдоль стен, и в проходах на топчанах, которые ставил для вновь прибывающих усатый дядько-солдат. Он был удивительно покладист, всех встречал добрым словом, успокаивал, чтобы не пугала теснота:

— Сейчас мы вам коечку соорудим, туточки тепло и сухо, хорошо покимиряете, а завтра в путь-дорогу.

Василий и Таня легли лицом к лицу, накрылись шинелями, каждый своей. Пока было светло, они тихо разговаривали. Ромашкин теперь уже подробно рассказал Тане, почему он принял её за Зою, как искал следы на допросах пленных. Таня поведала свою историю:

— Я была связисткой. Вскоре после встречи с вами поехала на фронт, попала в штаб армии. В политотделе работала. Сначала все шло хорошо, офицеры культурные, вежливые, приятно было с ними работать. Девочки хорошие подобрались. Хоть и бомбили по нескольку раз в день, а жили весело, дружно. Потом приехал из госпиталя подполковник, он ещё бинты носил, я в его отделе дежурила. Мне его жалко было. Все время занят, даже на перевязку некогда сходить. Я ему помогала. Ну а потом так уж случилось — понравился он мне: очень умный, деловой и такой чистюля — каждый час руки моет, через день белье меняет. В общем, влюбилась я. — Таня помолчала и потом решительно и коротко досказала: — И вдруг я узнала, что он женат. А мне врал — холост! Ну, я ему и выдала! Такой бенц устроила, что загудел мой Линтварев на передовую, сняли его с должности и послали с понижением. Так ему и надо! Не жалею! Меня опозорил да ещё из строя вывел. Я на фронт разве за этим шла…

Ромашкин поднялся на локоть и, не слушая последние слова, перебил:

— Как, ты говоришь, его фамилия?

— Линтварев.

— Алексей Кондратьевич?

— Он самый. А ты откуда знаешь?

— Ох, я его всю жизнь помнить буду! Я с ним в госпитале под Москвой, в деревне Индюшкино познакомился. Он мне ещё там хотел дело пришить, но не получилось. А потом он в наш полк замполитом приехал. Ну, тут в его руках власть — в штрафную

роту меня упек! Правда, и я повод дал, но, не будь этого типа, все обошлось бы. Смотри как получается, мы с тобой в одной армии, значит, были, одних людей знали, а сами ни разу не встретились!

— Ненавижу я этого человека за обман, за то, что первую любовь мою изгадил. Потом он мне клялся, обещал жену бросить, на мне жениться. А я его за это ещё больше презираю — предатель подлый! Сегодня её кинет, завтра меня, так и будет за каждой юбкой убегать от жен?

Когда погасили свет и надо было спать, Ромашкин долго лежал с открытыми глазами. От Тани веяло духами, приятным женским теплом. Таня была первая женщина, с которой Василий лежал на кровати так близко. Он пьянел от ароматного тепла, ему было жарко. Хотелось ещё ближе, ещё поплотнее почувствовать её мягкое тело. Но он лежал, боясь пошевелиться, и мысленно иронизировал над собой: «Прямо кино получается, рядом женщина и не женщина, та самая, которую мечтал встретить, и совсем чужая, мы вроде нравимся друг другу, а она попадает в руки человека, которого мы оба ненавидим. — Потом Ромашкин стал думать о Зине. — Вот бы хорошо побыть с ней так близко. — Он вспомнил, как целовался с ней украдкой. Но тогда от тех поцелуев не охватывал жар, не пьянела голова, как сейчас от близости Тани. Тогда было совсем другое. Это немного пугало Василия: — Я вот уже мужчина, у меня башка мутнеет от прикосновения женских рук, а Зина ещё девчонка. Как же мы будем с ней…»

Ромашкин проснулся от истошного воя. Выли сирены.

— В ружье, в ружье! — кричал дядько-солдат у двери, хотя у офицеров ничего, кроме пистолетов, не было. — Сейчас налет будет, тикайте в укрытия. Сразу за домом щели.

Ромашкин схватил свой и Танин вещевые мешки, взял её за руку и поспешил к выходу, стукаясь о кровати и топчаны.

На улице было темно, чернели развалины, похожие на скалы.

— Куда пойдем? — спросил Ромашкин.

— Где-то здесь щели.

— Надо подальше от станции. Прежде всего эшелоны бомбить будут.

Будто подтверждая его слова, грохнули первые бомбы, осветив взрывом блестящие полоски рельсов и скопление вагонов. Перестали выть сирены, и сразу затарахтели пулемёты, закашляли торопливо и надсадно зенитки. Белые полосы прожекторов заметались, зашарили в небе. Ромашкин никогда не видел такого, остановился.

— Идем, что же ты, — потянула его за руку Таня. Они побежали в город, подальше от станции.

— Ты не очень-то колыхайся, — вспомнив, убавил шаг Ромашкин.

— Заботливый, идем, а то и меня, и его ухлопают. Мне ещё три месяца, могу и побегать.

Они добежали до каких-то окопов, которые окаймляли развалины. В окопах уже сидели люди, они звали:

— Идите сюда! Чего вы бегаете!

Только спустились в дохнувший сыростью и старой мочой окоп, земля затряслась, и все вокруг загрохотало от взрывов. В окопе люди повалились на дно, прижались друг к другу. Когда бомбы стали падать в стороне, Ромашкин увидел мальчика и девочку — они прижались к матери, а она их прикрывала руками, как клушка крыльями.

— Не плачут, — удивился Ромашкин.

— Они привычные, — сказала женщина грубым мужским голосом.

Налет длился минут пятнадцать. Гудение моторов уплыло в черном небе в сторону. А на вокзале все ещё бухали взрывы. Горел эшелон с боеприпасами, рвались снаряды. Несколько раз, осветив развалины города темно-красным светом, рвануло, наверное, сразу целый вагон, черные шпалы и какие-то изогнутые обломки летели высоко в небо.

— Ну все, на сегодня кончилось, — сказала женщина с детьми и велела Тане: — Идем к нам, где ты с брюхом в этой темени да в пожарах блукать будешь.

В комнате, куда женщина их привела, пахло керосином и старыми тряпками. Лампа осветила небольшие нары, одеяло, сшитое из цветных лоскутков, серые мятые подушки.

Таня поглядела на Ромашкина, виновато сказала женщине:

— Светает, мы пойдем, нам ведь ехать.

Женщина поняла, в чем дело, обиделась, грубо отчитала:

— Барыня какая! Брезгуешь. Тебе ж, дуре, помочь хотела. Ну иди, иди, не мотай мне душу, сама знаю, что нечисто у нас.

Ребятишки уже юркнули под теплое одеяло и, как лисята, глядели круглыми глазенками на незнакомых людей.

На станции ещё дымили обгоревшие скелеты вагонов. Солдаты уже закапывали воронки, тянули рельсы на замену перебитых.

Таня и Ромашкин пошли к своей гостинице. Нашли её не сразу, хотя и знали — она была где-то здесь, рядом. Дорога была изрыта свежими воронками, засыпана черной жирной землей.

Развалины стали какие-то другие, будто их перевернуло, перебросило на другое место.

Вдруг их окликнул дядько-солдат, он волочил кровать,

цепляя ею за битые кирпичи:

— О, постояльцы! Схоронились? А мой готель накрылся! Я тут подвальчик найшов, погуляйте часок, я новое место оборудую. Две койки вам предоставлю. Жильцов поубавилось, а новые только к вечеру сберутся.

Он поволок тарахтящую кровать к лестнице, которая уходила под землю.

На одном из обломков стены Василий вдруг увидел золотой полковничий погон, в ушах мгновенно прозвучало: «Две дочки, сын-офицер, сотни пуль на погонный метр». Чтобы не увидела этот погон Таня, отвлек ее, сказал:

— Идем, насчет билетов узнаем.

На станции Ромашкин встретил солдата, которого видел вчера в окошечке с надписью «Касса». Теперь ни надписи, ни зала не было. Солдат сидел в товарном вагоне, который без колес лежал на земле. На боку вагона мелом было написано: «Комендант» и «Касса». «Уже работают!» — удивился Ромашкин. Как ни странно, солдат узнал Ромашкина, весело спросил:

— Видали? Вот, гады, что делают! А вы говорите, заранее обилечивать! Вон сколько пассажиров отсеялось, им теперь билеты не нужны.

Ромашкин глядел на убитых, их снесли и уложили длинным рядом за вагоном коменданта. Сейчас уж совсем нельзя было отличить, кто из них военный, кто гражданский, — на всех одинаковые грязные сапоги и одинаковая окровавленная одежда.

— А где же комендант? — спросил Ромашкин, вспомнив, что и вчера его не видел.

— Комендант на разъезде эшелоны формирует, я же вам вчера говорил, пошли бы туда, давно уехали. И сегодня скажу — топайте туда, верное дело. Отсюда поезд по расписанию в четырнадцать часов уйдет. А это когда будет! Фриц ещё раз может наведаться. И так бывает.

Да, не думал Ромашкин, что в тылу такая суматошная жизнь. Ему казалось, достаточно добраться до штаба дивизии — и все, дальше война кончается, дальше штабы, склады, военторги, в которых работники по вечерам чаи пьют. А тут, оказывается, хуже, чем на передовой. Там Василий все повадки немцев знает, здесь поди разберись в этой чертовой карусели.

Пришлось на попутных машинах добираться к разъезду. Танин живот всюду служил надежным пропуском. Их взяли в эшелон с разбитыми танками, которые везли то ли на ремонт, то ли на переплавку.

— Садись, сестренка, — сказал начальник эшелона, пожилой техник-лейтенант, — и тебя в ремонт доставим.

До Москвы доехали благополучно. Когда выпрыгнули на путях, Таня предложила:

— Идем ко мне, отдохнешь с дороги, потом дальше поедешь.

— Дней мало осталось, Таня. В предписании ведь ни бомбежки, ни бездорожье фронтовое не учтены, на путь до Москвы сутки даны, а мы с тобой три дня потратили. Поеду, с матерью хоть неделю побуду.

— Может быть, на обратном пути зайдешь? — Она дала адрес, объяснила, как искать. — Правда, я и сама не знаю, ходят ли прежние номера автобусов и трамваев.

— Найду, я же разведчик, — пошутил Ромашкин. — Теперь адрес есть, не по варежкам буду искать.

От Москвы к Оренбургу шли настоящие пассажирские поезда с общими, плацкартными и даже мягкими вагонами. Правда, кроме обилеченных пассажиров в тамбурах, на крышах и между вагонами ехало много людей, которым билетов не досталось. Их не гнали проводники, потому что понимали — всем ехать надо, к тому же проводники от этих «зайцев» получали и откуп — краюху хлеба, банку консервов, а то и пол-литра водки. Все были довольны. Днем поезд мчался, обвешанный людьми снаружи. А на ночь всех пускали в тамбуры, в проходы между полками — замерзнет народ ночью на холодном ветру!

Ромашкин ехал в плацкартном вагоне на самом удобном месте — на третьем этаже. На нижних полках сидели днем по три-четыре человека, играли в карты, домино, курили, разговаривали, а здесь, на чердаке, Ромашкин был полновластным и единоличным владельцем всей полки.

Первые сутки он спал, на следующий день голод погнал искать пищу. Поправив бинт, который на шее размотался, Василий ощутил жесткую, ссохшуюся на ране заплатку и не стал её срывать: «В Оренбурге схожу на перевязку».

В Куйбышеве поезд стоял больше часа. Ромашкин в страшной давке, чуть не растеряв ордена и медали, сумел вырвать по талонам краюху хлеба и три воблы.

Около своего вагона, усталый и потный после толкотни в очереди, остановился передохнуть. Вдруг он увидел, как здоровый детина, положив у ног мешок, начал стаскивать худенького парнишку с площадки между вагонами. Парнишка был так хил и тонок, что казалось, верзила раздерет его на части, как цыпленка. Шапка свалилась с головы паренька на землю, обнажив белую стриженную под машинку голову и худую, с острыми позвонками шею. Все происходило молча, паренек почему-то не кричал, он судорожно вцепился в какую-то железяку и жалобно глядел на Ромашкина огромными, как у ягненка,

глазами.

Ромашкин не выдержал, подошел к обидчику и тихо, но требовательно сказал:

— Оставь его, чего привязался.

Детина, не выпуская тонкую руку мальчишки, хмуро буркнул:

— А ты кто такой?

Отдыхающие от вагонной духоты пассажиры остановились, стали образовывать полукруг — сейчас будет драка, можно немного развлечься, некоторые грызли воблу, такую же, как Ромашкин держал в руках.

— Отпусти парня, — ещё более грозно сказал Василий и стал засовывать рыбу в карман, чтобы освободить руки.

— Тоже начальник нашелся! — огрызнулся детина, поворачиваясь широкой грудью к офицеру. Он поглядел на его ордена, медали и на окружающих, будто оценивал обстановку.

— Дай ему по соплям, чтобы не строил из себя начальника! — подзадорил какой-то доброжелатель в пиджаке.

— Чего-чего? — тут же надвинулся на советчика майор в гимнастерке, в галифе и в тапочках. — Я тебе дам по соплям! На фронтовика руку поднять хочешь? А ну, старшой, врежь ему между глаз, чтобы зрение лучше стало, пусть увидит, с кем дело имеет!

Зрители зашумели, задвигались, произошло явное разделение на две группы, назревала большая потасовка, люди, привыкшие на войне решать все силой, готовы были и в тылу без долгих слов прибегнуть к ней. Вовремя подоспел патруль. Начищенный, затянутый ремнями капитан привычно крикнул:

— А ну, что случилось? Кому надоело ехать? Можем остановочку суток на пять устроить!

Патрульный знал — все спешат домой, магические слова подействовали мгновенно, толпа быстро растаяла. Ромашкин тоже вспрыгнул на ступени своего вагона, но все же постоял там, пока мешочник не ушел дальше в поисках места.

На следующей станции паренек, не покидая свой шесток в промежутке между вагонами, робко сказал Ромашкину:

— Спасибо.

— Тебя как зовут?

— Шура.

— Куда едешь?

— В Ташкент.

— В город хлебный?

— Да.

— К родственникам или Неверова начитался?

— По книжке еду, потому что хлебный.

— Чудак. Где же ты наголодался?

— В Ленинграде. Всю блокаду. Мама умерла. Отец на фронте. Вот еду подкормиться.

— Ты серьезно веришь, что Ташкент — город хлебный? Туда, наверное, столько эвакуированных наехало…

— Хоть отогреюсь, там тепло, всегда солнышко. Работать буду. Как блокаду прорвали, немножко окреп, ноги стали держать, вот и двинулся.

— Далековато. Поезд почти неделю будет идти. Дотянешь ли?

— Дотяну, в блокаде и не такое перенес, — парнишка глядел пристально, бодрился. Но глаза его, многострадальные, не по летам взрослые, говорили совсем о другом, были они такие большие, что казалось, на худеньком лице ничего не было, кроме этих широко распахнутых печальных глаз.

Василий вынес кусок хлеба и половину воблы. Паренек смутился, не хотел брать.

— Держи. Ослабнешь, свалишься под колеса.

Шура, наверное, проглотил бы воблу с чешуей и костями, если бы не сдерживала стыдливость. Василий заметил это, отошел, чтобы не смущать паренька. «Хорошо воспитан, все время на „вы“, видно, из хорошей семьи. К тому же ленинградец, они всегда отличались интеллигентностью».

Когда парень съел хлеб и воблу, Ромашкин подошел и спросил:

— Кто твои родители, Шурик?

— Папа литературовед, мама играла на скрипке в оркестре оперного театра.

— А ты на чем играешь?

— На виолончели.

— Ну, выбрал инструмент, он, наверное, больше тебя ростом.

Шурик опустил глаза.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцатый.

— Ого, уже взрослый, через год в армию. Но не возьмут тебя, усохся ты, лет на четырнадцать выглядишь.

— Я поправлюсь.

Ромашкину было жаль паренька, отец где-то воюет и не знает, что сынишка полуголодный скитается на буферах между вагонами. Василий привел Шурку в вагон:

— Лезь на чердак, пока я днем мотаюсь, спи на моей полке. Только погоди, у тебя этих бекасов нет?

Шурка запылал от смущения.

— Что вы, я даже в блокаде мылся.

— Ну, лезь, спи.

…В Оренбурге Шурик так жалостливо смотрел на Василия при прощании, что защемило сердце от его липучего взгляда.

— Знаешь, парень, пойдем-ка со мной. Не дотянуть тебе до Ташкента. Может быть, здесь пристроишься. А нет, окрепнешь, дальше двинешь. Идем.

Василий шел по родному городу, узнавал знакомые дома, но вид их вызывал не радость, а грусть.

Город был какой-то постаревший, обшарпанный, дома облупленные, давно не ремонтированные, асфальт в трещинах и ямах.

Василий вспомнил, как до войны отец перед каждым праздником неделями не бывал дома, занимался побелкой, штукатуркой вот этих домов. Они тогда делались нарядными, радовали глаз. Теперь все деньги шли на войну… И все же, хоть и постаревшие, дома, как старые друзья, встречали Ромашкина, а он, узнавая их, пояснял Шурику:

— Вот здесь, во дворе, зал общества «Спартак», сюда я на тренировки ходил.

— А вы кем были?

— Боксером. Жаль — твой обидчик не кинулся, я бы ему провел пару серий. А вот здесь я книги покупал, видишь, магазин, плиточкой отделанный. Вон в ту киношку ходил — «Арс» называется.

Из боковой улицы высыпала стайка школьников, ребята и девушки. Размахивая портфелями, они смеялись и о чем-то громко разговаривали. Василий остановился, замер от неожиданности — это вроде бы ребята из его класса! Даже узнал некоторых — вот длинный белобрысый Сашка, рядом с ним черноглазая, нос с горбинкой, армяночка Ася, а в желтой куртке — школьный поэт Витька. Василий готов был раскинуть руки для объятий и крикнуть: «Здорово, братва!» Но ребята обходили его, как столб, продолжая разговаривать о своем. Ромашкин спохватился: прошло три года, друзья давно уж не школьники, они уже «дяди» и «тети».

Не на фронте, не при выполнении ответственного задания, а здесь, в родном городе, рядом со знакомыми домами и при виде этих вот старшеклассников Ромашкин вдруг впервые ощутил себя взрослым. Раньше он себе казался все тем же Васей, каким был в школе, дрался на ринге, гулял с Зиной, бегал в военкомат, ехал на фронт. И вот встреча с ребятами — пусть это были другие, совсем не его школьные товарищи, но то, что они прошли мимо, даже не взглянув на Ромашкина, как-то сразу отгородило его каким-то невидимым занавесом — и юность ушла с веселой

стайкой ребят, а он остался здесь, уже взрослый, в яловых сапогах, с перевязанной головой, наградами на измятой в дороге гимнастерке и с какой-то внутренней тяжестью, называемой жизненным опытом.

Около своего дома Василий остановился, сердце громко колотилось в груди. Даже на самом опасном задании оно так не билось. Телеграммы о своем приезде он маме не послал, не писал ей и о третьем ранении. О том, что ему посчастливится получить отпуск, он и сам не знал неделю назад. Сейчас он побаивался, как бы у мамы разрыв сердца не произошел от его неожиданного появления.

— Вот что, Шурик, иди ты вперед. Второй этаж, квартира семь. Маму зовут Надежда Степановна. Скажи ей, что встретил меня в Москве. Ты уехал раньше, а я билет не достал. В общем, соври что-нибудь. Подготовь, а то у нее сердце остановится, если я так вот сразу войду.

Шурик ушел, а Ромашкин стоял у входа в подъезд, посматривал: может быть, пройдет кто-то знакомый.

Что там говорил Шурик, неизвестно, только вдруг сверху послышался крик:

— Вася! Васенька!

Ромашкин кинулся по лестнице вверх и столкнулся с матерью. Она не бежала — летела ему навстречу, не видя ни ступеней, ни переходов. Обхватив Василия дрожащими руками, прижимая его к груди, мать продолжала кричать на весь дом, как на пожаре:

— Вася! Васенька! Сыночек мой!

Из квартир, щелкая замками, выбегали жильцы. Поняв, что происходит, они стояли у своих дверей, молча разделяя неожиданную радость, свалившуюся на соседку.

— Мама, успокойся, — шептал Василий, целуя лицо матери, смешивая на нем её и свои слезы. — Не плачь, мама. Я живой, вот он, цел и невредим.

— А что с головой? У тебя бинты… — опомнясь, спросила мать.

— Пустяк, царапина. Ну, идем домой, что же мы здесь стоим!

— Идем, идем! Ой, как ты неожиданно! Откуда ты? Почему не дал телеграммы?

Вспомнив о Шурике, который стоял на лестничной площадке и смотрел на них сверху, Василий объяснил:

— Этот паренек из Ленинграда, блокаду там перенес, отец его на фронте, мать умерла, пусть поживет у нас.

— Конечно. Идем, милый. А ты, Вася, надолго?

— На неделю, пять дней в дороге потерял, столько же надо

считать обратно.

— Ой, как мало!

В квартире Василий обошел комнаты, кухню, ванную — все здесь было дорогое, близкое, теплое: кровать, на которой спал, стол, где делал уроки, учебники, будто вчера их сложил аккуратной стопкой, любимая чашка, из которой пил чай. Даже обмылки, когда пошел мыться в ванную, казались те самые, морковного цвета, «Красная Москва», такое мыло любил папа, а белое «Детское» — это мамино.

Василий размотал несвежие, испачканные в дороге бинты. Попытался отпарить и отодрать от раны насохшую корку с марлевой прокладкой, но стало очень больно.

— Мам, дай, пожалуйста, ножницы, — попросил он. И когда мать просунула их в щель, осторожно обрезал бинты и слипшиеся от сукровицы волосы, оставил лишь заплату на ране. «Ничего, под фуражкой не видно будет». Бинт положил в карман брюк. «Выброшу где-нибудь, чтобы мать не терзалась, глядя на мою кровь».

Пока Ромашкин мылся, Надежда Степановна переоделась в знакомое Василию «праздничное» платье, в нем она ходила с отцом в гости. Сын помнил её в этой одежде красивой, стройной, всегда счастливо улыбчивой. Мать даже не подозревала, какую боль причинила она Василию, надев это платье. Сразу бросилась в глаза разительная перемена — в мамином праздничном платье стояла другая женщина, поседевшая, в морщинах, с поблекшими от слез многострадальными глазами. У Василия засосало в груди и что-то стало подкрадьшаться через горло к глазам. Чтобы скрыть это, Ромашкин сказал:

— Шурик, теперь ты иди ныряй; мам, дай ему на смену мою рубашку и какие-нибудь брюки.

— Сейчас, сынок.

Шурка зашел в ванную. Когда мать подошла с одеждой, из-за двери мгновенно высунулась худая, с голубоватой кожей рука, взяла одежду — и тут же щелкнула внутри задвижка.

— Стесняется, — сказала мать.

— Мужчина! Через год в армию. Да куда ему, отощал, один скелет! Ты поддержи его, мама, он из хорошей семьи, к трудной жизни не приспособлен. Пропадет.

Василий сел к столу, на нем стоял чайный сервиз, который раньше вынимали из буфета только для гостей, салфетки с монограммой — тоже гостевые, мама ещё в молодости купила их на толкучке. Знакомый эмалированный коричневый чайник стоял на подставке. Все было как в счастливые довоенные дни, даже стул папу ждал, казалось, отец вот-вот войдет в комнату и скажет

свою обычную фразу: «Ну, сегодня бог послал нам кусочек сыра?» Василий глядел на посуду и ждал, что же вкусненькое мама даст ему сейчас, очень соскучился он по домашней еде. Но мать, отводя глаза в сторону, рассказывала:

— Витя погиб, пришла похоронка. Шурик пропал без вести. Ася тоже погибла.

Василий вспомнил недавно встреченных на улице ребят — принял их за тех, о ком говорила мама, а их, оказывается, нет в живых.

Глядя на пустые тарелки, понял: «У нее ничего нет», вспомнил дорожные продпункты, где чуть ли не с боем приходилось добывать паек. «Какой же я лопух! Надо было привезти матери консервы, масло, сахар — из офицерского доппайка скопить. Вот сундук недогадливый!»

— Мам, как ты живешь? Я на вокзальных базарчиках видел — буханка хлеба триста рублей.

— Тружусь. В школе ребят учить не могу… после гибели папы. Хоть чем-нибудь для фронта хочу быть полезной. На оборонный завод устроилась, мне рабочую карточку дают — хлеба шестьсот граммов, крупу, сахар иногда.

— Ты рабочая? Что же ты делаешь?

— Мины, Вася.

Эти слова в устах матери были такие необычные и неожиданные.

— Значит, и ты воюешь?

— Вся страна воюет, сынок.

К вечеру, переговорив обо всем, Василий стал искать повод, как бы уйти из дома, неудобно в первый же день покидать маму, но и Зину видеть очень хотелось. Мать поняла:

— Иди уж, непоседа.

— Я недолго, мам, — крикнул Василий в дверях.

Расправив грудь, подровняв награды, Василий позвонил у знакомой двери. В подъезде было темновато, поэтому Ромашкин встал под лампочку, чтобы его хорошо освещало. Дверь открыл парень с белым, девичьим лицом и черными пробивающимися усиками. Это был Витька — брат Зины. Он очень вырос с тех пор, как Василий его видел перед отъездом на фронт.

— Ух ты! — сказал Витька, прежде всего взглянув на награды. — Силен! А Зинки нет дома. Здравствуй. Когда приехал?

— Где Зина?

— Она, — Витька замялся, — ушла куда-то с девчонками, сегодня же выходной.

— На танцах она в Доме офицеров, — вдруг пропищал с лестницы следующего этажа мальчишка. Он, оказывается, давно

уже рассматривал оттуда ордена и медали офицера.

— А ты откуда знаешь? — спросил Ромашкин.

— Да она там каждый вечер крутится.

— Витя, кто пришел, с кем ты беседуешь? — пропел из квартиры знакомый воркующий голос Матильды Николаевны, она слышала слова мальчишки и на ходу игриво, но и сердито спрашивала: — Это кто там на Зиночку наговаривает? — Увидев Ромашкина, плавно всплеснула красивыми холеными руками, будто показывая их. — Вася? Какой заслуженный! Что же вы здесь стоите? Виктор, почему сразу не пригласил? Заходи, Вася. Вот какая неожиданная встреча!

— Спасибо, Матильда Николаевна, пойду Зину искать.

— Погоди, расскажи о себе. Ты насовсем?

— В отпуск по ранению.

— Бедный мальчик. Куда тебя?

— В голову. Уже третье ранение.

— Ну и хватит. Может быть, можно тебя оставить здесь? Леван Георгиевич посодействует, у него большие связи.

— Нельзя, Матильда Николаевна, меня ждут в полку.

— Ну, зайди на минутку, неудобно же говорить на лестнице о серьезных делах.

Василий вошел в коридор, отделанный панелями из красного дерева. Фуражку не снял, явно показывая, что сейчас уйдет.

— Витя, иди в комнату, мне надо поговорить. Когда сын ушел, Матильда Николаевна доверительно и просто зашептала Василию:

— Ты на Зиночку не обижайся. Все женихи на фронте, невестами в тылу пруд пруди. А ей уже за двадцать, для девушки это критический возраст. Так что не осуждай ее, милый. Может, Леван Георгиевич все же займется твоим делом? Ты свое отвоевал, вон сколько наград. Зиночка так тебя любит.

— Нет, я не могу, это не от меня зависит, — Ромашкин попятился к двери.

— Подумай, Леван Георгиевич все может устроить.

Василий шагал по городу, лицо горело, будто недавно из немецкой траншеи выскочил, в груди перекатывались тяжелые жернова. «Вот какая ты, оказывается. Мне в письмах поцелуйчики, а сама на танцах каждый вечер пропадаешь! Жениха ловишь! Ну погоди, я тебе сейчас выдам!»

В парке Дома офицеров было людно. Красиво одетые девушки и женщины ходили с кавалерами по аллеям, посыпанным чистым песочком. Все мужчины были в военном, только подростки шныряли в теннисках и штатских брючишках. Офицеры в габардиновых гимнастерках и кителях с блестящими золотыми

погонами. Ромашкин в хлопчатобумажном, с зелеными погонами, на которых было по две — три «волны» от дорожных ночевок, выглядел среди этой гуляющей публики неказисто. Он шел не прогулочным, а решительным деловым шагом, рассекая волны гуляющих, — они поглядывали на его награды и вежливо уступали дорогу.

У танцевальной площадки Василий встал за оградой и, с ненавистью глядя на танцующих, думал: «В аргентинских танго выгибаетесь, а наши ребятки в траншейной грязи, не просыхая, годами сидят. Ах вы, тыловые крысы! Неужели мы там погибаем для того, чтобы вы здесь в румбах дергались? Вот почему у Куржакова дым из ноздрей шел: он нас за эту вот тыловую развлекательную жизнь ненавидел».

Зина танцевала с высоким красивым лейтенантом в летной форме. Он был без фуражки, светлые волосы расчесаны на аккуратный, в ниточку, пробор, форменные брюки с голубым кантом по-модному расклешены. Зина в голубом платье с какими-то вставками из дымчатых кружев, красивые полные ноги в лакированных лодочках, лицо напудренное, губы подкрашены. «Взрослая танцплощадочная львица, — думал Ромашкин, — зачем она мажется? Ничего от прежней Зинки не осталось». Василий хотел уйти, но все же решил: «Нет, я скажу тебе пару слов».

Во время перерыва, когда все вышли в аллеи гулять, Ромашкин неожиданно встал на их пути и строго сказал:

— Здравствуй, Зина.

— Ой, — слабо вскрикнула она и шагнула за спину своего кавалера.

Летчик растерянно смотрел на недружелюбное лицо фронтовика.

— Не бойся, я тебя бить не буду, — сказал Зине, усмехаясь, Ромашкин, — хотя и надо бы.

— Послушайте, товарищ старший лейтенант, — начал было спутник Зины.

— Ты, летчик, погоди, у нас тут свои старые отношения. Я сейчас уйду. Я хочу только ей в глаза посмотреть.

— Что же мне, из дома нельзя выйти? — опомнясь, запальчиво спросила Зина, она была сейчас очень похожа на Матильду Николаевну.

— Дома сидеть ты не обязана. Я тебе не муж.

Ромашкину хотелось сказать что-то обидное, но он понял, что сейчас может наговорить только грубости, именно этого и ждут от него зеваки, которые остановились неподалеку. Василий махнул рукой и пошел прочь.

Мать сразу заметила взъерошенное состояние Василия.

— Не расстраивайся, сынок. Я не хотела тебе говорить, ты бы неправильно меня понял, но теперь, раз уж ты в курсе дела, скажу: не стоит она того, чтобы из-за нее переживать. Встретишь ещё свою единственную.

Поинтересовался и Шурик:

— Девушка вас не дождалась? Как же она могла! И давно вы её знаете?

— В школе учились вместе.

— Ух, я бы ей сказал!

— Ну, ты бы её просто сразил своим благородством.

— Напрасно вы шутите, я вполне серьезно.

— Давай, рыцарь, спать.

Мать долго сидела у кровати Василия, гладила его волосы, осторожно обходя заплатку на ране.

— Мама, ты когда провожала меня на фронт, уже знала, что папа погиб?

— Да. Поэтому так плакала.

Ромашкин вспомнил, какое ужасное письмо прислал он матери после первого боя, хотел похвастаться своим мужеством, расписал, что было и чего не было. «Ну и дурак же я был!»

— Ты не беспокойся, мам, сейчас я при штабе, там не так опасно, в атаку не хожу, сплю в блиндаже, рядом с командиром полка и другим начальством.

— Это хорошо. Значит, бог услыхал мои молитвы. Я ведь о тебе, Васенька, каждую ночь молюсь.

— Ты же была неверующая.

— Как-то так получается — днем меня к этому не тянет. Днем я неверующая, а вот ночью, как лягу в постель, все о тебе думаю и начинаю просить бога, чтобы уберег он тебя. Молитв не знаю, по-своему прошу и прошу его.

Утром, уходя на работу. Надежда Степановна пригласила:

— Приходи встречать после смены. Пусть сослуживцы и начальники увидят, какой у меня сынок.

Вечером Ромашкин пришел к проходной.

— Вы чей же будете? — радушно спросил безногий вахтер с медалью «За отвагу» на груди.

— Надежды Степановны Ромашкиной сын.

— Вот этой? — спросил вахтер, показывая на портрет матери на Доске передовиков производства.

— Ее. Даже не сказала, что стахановка…

— Так иди к ней в цех, погляди, как мать трудится.

— А пропуск?

— Какой тебе пропуск — ты фронтовик, у тебя на весь мир пропуск. Иди, не сомневайся, я здесь до завтра буду сидеть —

выпущу. Вон туда шагай, в сборочный, там твоя мамаша.

Ромашкин прошел через двор, несмело открыл дверь в огромный, как стадион, цех. Жужжание станков, клацание железа, гул под потолком, словно летели бомбардировщики. Повсюду мины: в ящиках, на стеллажах, на полу штабелями. Мины сразу перенесли Ромашкина в знакомую фронтовую обстановку. Только мины здесь были из нового блестящего металла, ещё не крашенные.

Мать увидела Василия, замахала ему рукой. Он шел к ней, внимательно разглядывая людей в черных и синих промасленных халатах и комбинезонах. В цеху работали только женщины и дети. У всех утомленные, серые, солдатские лица, темные круги под глазами, острые обтянутые скулы. Каждый делал свое, не разговаривая, быстро и сноровисто. Василий вспомнил тонкие ломтики хлеба на столе у матери. «Как же они на ногах держатся?» — думал он, ещё пристальнее вглядываясь в худые, строгие лица работниц, мальчишек и девчонок, которые стояли у станков.

— Пришел? Как тебя пропустили?

— А там инвалид, он разрешил.

— Силантьев? Фронтовик, сам недавно с фронта. Теперь у тебя везде много друзей, всюду свои.

Ромашкин вспомнил публику в парке. «Напрасно я вчера злился. Не так уж много их там было. Да и офицеры ничем не виноваты, месяц, другой — и загремят на фронт. Некоторые, наверное, как и я, после ранения. Не за что на них обижаться. А настоящий тыл вот он, здесь. Да и не тыл это вовсе — та же передовая. Мы хоть сытые воюем, а эти по двенадцать часов полуголодные трудятся. Я бы, наверное, такого не вытерпел, месяц — другой — и концы, а они годами здесь вкалывают!»

После гудка женщины повеселели, на усталых лицах засветились улыбки.

— С праздником тебя, Надежда Степановна, — поздравила пожилая тетушка, вытирая руки замасленной ветошью.

— Рассказал бы нам чего, фронтовик!

— О чем? — смущенно спросил Ромашкин.

— Ну, как вы там воюете, куда вот эта наша продукция идет. Про себя что-нибудь — вон сколько наград, —женщины обступили офицера.

— Давай лучше про себя, — задорно крикнула молодая белозубая девушка.

Ромашкин растерялся. «Чего же им рассказать про себя? Геройских дел я не совершал. Соврать что-нибудь? Как же при матери? Она и так ночей не спит».

— Нечего, товарищи, мне про себя рассказывать, воюю как все. Взводом командую. Люди у меня замечательные: Иван Рогатин, Саша Пролеткин, Голощапов, Шовкопляс, старшина Жмаченко — все отличные воины, бьют врага на совесть.

— Скромный, все про других, — сказал кто-то сбоку.

— Нет, я правду говорю. А за продукцию вашу спасибо, она очень помогает нам бить врага. Приеду, расскажу, как вы здесь работаете, как на воде и хлебе трудитесь с утра до ночи…

— Погоди, сынок, — перебила пожилая женщина, — про это не надо бойцам говорить. У солдата ум должен быть спокойный, чтобы без огляду врагов бить. Мы здесь выдюжим, не сомневайтесь. Ты скажи им, чтобы скорей Гитлера кончали, вот тогда всем — и нам, и вам — облегчение будет. Приезжайте домой, вместе новую жизнь ладить станем.

Женщины зашумели:

— Ну, Марковна, ты как на собрании!

— Не дала парню про себя рассказать.

— Ладно, бабы, домой пора, аль забыли, что там кухня, стирка, уборка, детишки ждут?

— Еще и в очередях надо постоять…

— И на танцы сходить вечерком, — весело добавила задорная, а у самой у белозубого рта темные глубокие морщины, вокруг глаз фиолетовые круги.

Не думал Ромашкин, что дома в тылу будет его тяготить какое-то непонятное чувство растянутости времени. Когда объявили о пятнадцатидневном отпуске, первая мысль была — как мало! Всю дорогу спешил — на машинах, в поезде, чтобы побольше дней выгадать для дома. И вот прошло три дня — и тяжело на душе, нечего здесь делать, ничто не удерживает, кроме мамы, да и та с рассвета до ночи на заводе, и разговоры с ней все об одном: об отце, наказы — «береги себя», воспоминания о прошлой жизни. Нет больше трепетной тяги к Зине. Вместо нее горечь и обида.

Каждое утро искал Ромашкин в сводке Информбюро сообщения о своем фронте. «Как там дела? Как там ребята? Все ли живы? Может быть, кого-то принесли с задания на плащ-палатке. Написать письмо? Так сам раньше него в полк вернусь».

Шурка после долгих жизненных передряг отсыпался, вставал, когда его будили поесть. Смущенно опуская свои огромные глаза, просил:

— Извините, пожалуйста, ничего не могу поделать, сон просто с ног валит.

— Спи, милый, набирайся сил, — утешала его Надежда Степановна. — Это у тебя разрядка после долгих мытарств. Поешь

и ложись.

Однажды Шурик спросил Ромашкина:

— Скучаете о боевых делах? Горите желанием опять бить врагов?

Василий с грустью посмотрел на паренька:

— Не о врагах думаю. Хочется поскорее вернуться на фронт и выслать маме посылку с продуктами.

Шурик удивленно посмотрел на офицера, понял его и тихо попросил:

— Простите, я сказал глупость.

Хоть и вызывали неприятное чувство тыловые надраенные офицеры, все же хотелось Ромашкину и самому поносить золотые погоны. «Это во мне остатки училищного задора, тогда служба красивой и легкой казалась. Может быть, хорошо, что где-то теплится это чувство. Я вовсе не хочу жить таким озлобленным, как Куржаков».

Василий пошел в центр города, отыскал магазин Военторга, попросил у продавщицы:

— Дайте пару повседневных погон. Девушка иронически улыбнулась:

— Чего захотели!

— А почему бы и нет?

— Если очень надо, идите к чистильщику обуви — вон на углу его будка, дядя Вазген его зовут. Он поможет.

Ромашкин подошел к низенькому толстому старичку, щёки его были утыканы жесткими белыми волосками, как патефонными иголками.

— Говорят, у вас можно погоны достать?

— Смотря кто говорит, — уклончиво ответил чистильщик.

— Мне продавщица в магазине посоветовала.

— Правильно сделала, — он мельком взглянул на офицера, — вам нужен третий размер. А вообще-то в полевых лучше, в любой очереди без очереди пропустят. Зачем вам золотые?

— Пофорсить хочется.

— Ну, пофорси. Плати двести пятьдесят рублей и форси.

— Сколько?

— Двести пятьдесят.

— Они же девятнадцать стоят.

— За такие деньги вон там, — старик показал на военторг.

— Но там их нет.

— Слушай, тебе погоны нужны, или ты поговорить со мной пришел?

Дома Василий аккуратно разметил и прикрепил звездочки.

Надев гимнастерку, долго смотрел на себя в зеркало. Загорелый бывалый вояка смотрел на него немного утомленными, усмехающимися глазами. Золотые погоны будто квадратики солнечного света переливались на плечах. «Куда же я в них пойду? К таким погонам повседневная фуражка с малиновым околышем полагается. Опять маху дал! Лучше бы матери буханку хлеба купил!»

И все же втайне ему было приятно видеть себя таким настоящим офицером. Вспомнились разговоры с Колокольцевым, достоинство, с которым он носит офицерское звание, какая-то его особенность в этом отношении. «Я бы ему понравился в таком виде. Надо будет поискать в комиссионном магазине хороший подстаканник. Самовар мне ни к чему и не по чину, а подстаканник заиметь приятно». Однако в комиссионном подстаканника не нашлось. А погоны золотые перед отъездом тоже снял, как-то неловко было ехать на фронт в золотых погонах.

Возвращаться из отпуска Василий решил самолетом. Увидел в городе объявление о том, что совершаются ежедневные рейсы Оренбург — Москва, и подумал: «Надо полетать, убьют — и не испытаю, что это такое, а ведь когда-то летчиком хотел стать».

— Зачем тебе это? — испугалась мама. — На фронте рискуешь, в тылу хоть судьбу не испытывай.

— Все, мама, уже билет взял, полечу.

На прощание Василий обошел центр города, все памятные места оглядел. «Что это я, будто навсегда расстаюсь? Когда первый раз на фронт уезжал, такого не делал. Предчувствие? Уж лучше бы не ездить в этот отпуск, воевал бы и воевал, а теперь вот что-то засосало в груди — живут люди и останутся живыми, на танцы даже ходят. Да, легче было бы этого не видеть».

В аэропорту мать плакала тихими покорными слезами. Василий скорбно глядел на нее, сердце разрывалось от жалости. «Бедная мама, как ты измучена, даже плакать у тебя уже сил нет». Рядом с матерью стоял Шурик в довоенной рубашке и брюках Василия, которые были ему великоваты. Желая отвлечь маму от тяжелых переживаний, Василий предложил:

— Пойдемте ближе к летному полю, самолеты посмотрим.

Прохладный ветерок трепал невысокую травку. Самолеты были выкрашены в темно-зеленый цвет, в какой красят на фронте пушки и танки.

— Это что за марка? — спросил Шурик одного из пареньков в фуражке с крылышками, он стоял рядом.

—"Ли-три".

Василий знал, есть «Ли—2», парень или ошибся, или не

знает, какой-нибудь работник из обслуги.

— Нет таких, — спокойно сказал Ромашкин.

— Есть, — уверенно парировал юнец в фуражке с крылышками. — Вот они стоят — все «Ли-три».

— Что-то ты путаешь.

— Ни грамма не путаю, просто ты не знаешь, какая это марка. «Ли-три» значит: взлетишь ли, долетишь ли, сядешь ли. Понял? Это все старье, списанное из военных частей.

Василии вспомнил опасения матери. «Ну, развлек, называется!» — с досадой подумал он.

— Идемте в буфет, может, вино есть. А тебе, Шурик, конфетку куплю.

— Не надо, не пей при мне, — попросила мама.

— Да я и без тебя не пью, просто так предложил, — и, чтобы сменить тему разговора, сказал: —Ты, Шурик, береги маму. Пиши. Если война до будущего года не кончится и тебя призовут, дуй прямо ко мне, в свой взвод возьму, на месте оформим. У нас был такой случай — мой друг Женька Початкин прямо на фронт приехал. Только напиши, я сообщу, куда тебе пробиваться.

— Неужели ещё год война продлится? — вздохнула мать. — Уж больше сил нет.

— Раньше закончим. Это я для него. Он небось о подвигах мечтает. Как, Шурик, мечтаешь?

— Нет, я на войну нагляделся, лучше без подвигов и без войны.

Ромашкину стало грустно от того, что паренек не мечтает о подвигах, это ему показалось таким же бедствием, как полуголодная жизнь людей, карточки на хлеб, экономия электричества, топлива, воды. Когда мальчишки не стремятся к приключениям на войне, это уже предел, дальше некуда, войну надо кончать.

Самолет действительно, как говорил парень, оказался старым, неуютным, холодным. Вдоль стен, как в грузовике, тянулись неудобные откидные железные скамейки. В проходе были навалены какие-то ящики, накрытые брезентом. Ромашкин пожалел, что связался с авиацией, мать заставил волноваться и сам никакого удовольствия явно не получит.

Летели долго, качало, мутило. Пошли на снижение, думал — Москва, а оказались в Куйбышеве. Небо заволокло тяжеленными тучами. Как только приземлились и отдраили дверь, заглянул промерзший дядька в черном бушлате; синева от ветра и краснота от водки, которую он выпил, спасаясь от сырости, так перемешались на его лице, что стало оно фиолетовым.

— Выходите с вещами, — крикнул дядька, — ночевать

будете!

Пассажиры выбрались под мокрое небо. Дул ветер, он раскачивал тонкую кисею дождя. Накинув шинель на плечи, Ромашкин побежал к дому, на котором темнела вывеска с мокрыми потеками. На стене зелеными буквами было написано: «Аэропорт Куйбышев».

Из двери дохнуло грязным теплом, старыми окурками, накатил приглушенный говор множества людей. Ромашкин остановился в дверях. Идти было некуда, все пространство между стенами заполнено человеческими телами. Кто лежал на полу, кто сидел на чемоданах, кто куда-то шагал через тех, кто лежал.

Василий стоял в нерешительности. Вдруг ему замахали из дальнего угла, где была загородка с надписью «Касса». В уютном уголке около этого сооружения, покрашенного в темно-коричневый цвет, разместились трое офицеров. Они призывно махали Ромашкину, приглашая в их компанию. Он зашагал к ним, обнаружив, что пассажиры лежат не навалом, не в беспорядке, а между ними оставлено что-то вроде тропинок, куда можно ставить ноги.

— К нашему шалашу, товарищ старший лейтенант, — радушно сказал очень красивый майор с серыми ясными глазами и тонким интеллигентным лицом.

Другой офицер был капитан с крепкими скулами, строгими глазами, в которых так и не затеплилась улыбка, хотя капитан и старался изобразить приветливость на своем лице.

Третьим оказался не офицер, а молоденький курсант из летного училища. Чистое румяное лицо его было свежим и жизнерадостным даже в тяжкой духотище. Голубые петлицы и голубые глаза курсанта сияли, как кусочки неба в солнечный день. Паренек просто обомлел от близости многих наград на груди Ромашкина; забыв обо всем, он глядел на них, не отводя восхищенных глаз.

Офицеры потеснились.

— Сюда шагайте, — сказал капитан глухим голосом.

— Можно вот здесь, — пролепетал курсант, вскочив со своего чемоданчика, готовый стоять хоть всю ночь, уступив место фронтовику.

Познакомились. Коротко сообщили, кто куда летит.

Майор Панский — юрист, летел из Москвы в Ташкент, он служил в трибунале.

Ромашкин, глядя на этого красавца, подумал: «Наверное, даже подсудимые женщины вздыхают при виде такого красивого судьи».

Капитан Соломатин — сапер, после ранения был списан из

строевых частей, получил новое назначение и летел в Псков за женой. Курсант Юра перешел на второй курс и спешил к родителям в Рязань на каникулы.

Офицеры положили чемодан в центре, сделали из него стол и начали выкладывать еду, у кого что было: сало, картошку, крутые яйца, лук, колбасу и хлеб. Это в тылу было такой роскошью, что Ромашкину стало неловко, когда он заметил, как некоторые штатские соседи отводили глаза от офицерского богатства. Капитан отстегнул с ремня немецкую флягу, обтянутую суконным чехлом. Свинтил крышку-стаканчик и, не торопясь, налил в нее водку. Василию подал первому.

— Прошу вас.

Ромашкин показал глазами на майора — он был старший но званию.

— Нет, прошу вас, вы наш гость, — настаивал капитан, а майор, поняв в чем дело, вытянул вперед белую холеную руку, будто хотел помочь Ромашкину поднести рюмку к губам:

— Пейте, я не службист, пусть вас мои два просвета не смущают, к тому же вы фронтовик, а я тыловая челядь.

Ромашкин смотрел на его красивую руку и думал: «Вот что значит не окопный офицер: рука будто у князя или графа, он, наверное, и на пианино играет. Не то что мы, фронтовые черти, в грязи, в дыму, по неделям не умытые». У Ромашкина не вызвала раздражения эта тыловая ухоженность майора, наоборот, позавидовал, хотелось и ему пожить, послужить в мирной жизни, стать таким же холеным.

Василий опрокинул стаканчик в рот, сопроводив его тайным пожеланием: «Дай бог, чтобы это сбылось!» Соседям же, коротко кивнув, сказал:

— Со знакомством…

За выпивкой, как водится, пошел разговор — кто где служил, какие с кем необыкновенные дела приключались. Сначала сапер поведал о страшной атаке «тигров» под Прохоровкой на Курской дуге. Оказался он человеком разговорчивым, просто говорил медленно. Ну, а когда «поддал» из фляги, то жесты и слова стали ещё проворнее.

— Ползут, понимаешь, как глыбы броневые. Наши снаряды от них рикошетят. Очень плохо действует на людей, когда снаряды рикошетят. Страх берет. А он сам, «тигр», как плюнет, так не только пушку, а ещё и землю под ней на метр сметает! Сильна дура, ничего не скажешь! Это только в газетах да в кино с ними ловко расправляются. А я вот как встал лицом к кресту, так у меня в жилах вместо крови лед образовался. Оцепенел весь. Еле превозмог себя. Мы, саперы, мины до боя расставили. Некоторые

танки подорвались, а многие на нас пошли. Во время атаки я со своими минами куда? Только под гусеницы, но до этого дело не дошло. Рядом со мной пушка оказалась, половину её расчета выбило. Стал я помогать артиллеристам. Срочную службу в артиллерии отбыл, пригодилось. Встал я к прицелу, руки дрожат, все в глазах прыгает. Танк в меня хрясь! Перелет. Я в него — хрясь, только искры от брони да осколки взвыли. Он ещё одним в меня — хрясь! Опять перелет. Ну тут уж я понял прицел, освоился. Подвел перекрестие под самую кромочку да как врезал ему под башню, так и отлетела она, будто шапку ветром сдуло. Но опустись у него пушка на миллиметр ниже — привет, лежал бы я сейчас под Прохоровкой!

После сапера заговорил майор. Но курсанту было интереснее послушать Ромашкина, поэтому Юра несмело вставил:

— Может быть, вы, товарищ старший лейтенант, расскажете про фронтовые дела? — он показал глазами на награды.

— Потом. Давайте послушаем майора, — возразил Василий, втайне надеясь, что до него очередь не дойдет; он всегда терялся и не знал, что о себе рассказывать, его фронтовые дела казались ему будничными и неинтересными.

Майор Ланский, видно, собирался рассказать что-то очень интересное, после слов курсанта он с явным нетерпением смотрел на компанию ясными серыми глазами, которые стали ещё ярче от выпитой водки, ждал — говорить ему или нет?

— Давай, майор, трави, — сказал капитан, угадывая по его возбужденному лицу, что майор хочет рассказать очень интересное.

Майор заговорил приглушенным голосом, чтобы не слышали соседи, офицеры склонились к нему. Ланский повел рассказ о женщинах. Тема обычная для мужчин, тем более когда выпьют. Говорят в этих случаях с юморком, все истории со смешными казусами. Ромашкину стало не по себе. Он вспомнил историю с Морейко. Майор-юрист говорил правду. Пропадала легкость полувранья, которая позволяет без стеснения рассказывать и слушать такие истории. То, что говорил майор, было очень грязно. Ушам стало жарко от подробностей, которые преподносил Ланский.

Капитан побагровел, опустил глаза, лицо его стало каменным. Василий взглянул на курсанта Юрочку. Тот ловил каждое слово рассказчика. щёки Юры пылали, в глазах был восторг. Ромашкин понял состояние капитана Соломатина и сам чувствовал жгучее желание прервать майора.

У Василия не было своих «сердечных» похождений, но он знал, как любили друзья-фронтовики. Были у них и мимолетные

встречи, но все же не такие, как те, о которых говорил юрист. Ромашкин думал: «Да, они огрубели на войне. Они видели много крови, убивали, кормили вшей. Но фронтовики не были подлецами. Окопная любовь была порою скоротечной, потому что на жизнь было отпущено мало времени. Но даже короткая любовь была искренней, она вырывала из круга смерти, помогала почувствовать себя человеком. Ведь любовь — это одно из тех чувств, которое делает людей людьми. Пусть встречали фронтовики своих подруг в землянках, в траншеях, пусть их близость была недолгой, все же я не могу назвать эти отношения иначе как любовь. Фронтовики, мужчины и женщины, были честны и верны в этом чувстве, и разлучали их ранения, долг службы или смерть. А то, о чем говорит майор, — скотство». Присутствие Юрика было невыносимым. Курсант может подумать, что это и есть одна из доблестей офицеров, которой, как и другим, он, несомненно, захочет подражать.

Ланский между тем не замечал отчужденности офицеров и с увлечением продолжал рассказ.

Ромашкин был поражен, как иногда повторяются в жизни очень похожие ситуации. «Вот сейчас я встану и дам ему по морде точно так же, как влепил Морейко. И опять будет штрафная рога, даже трибунал, он же юрист. Нет, надо поступить как-то иначе». Слушать и видеть сладострастное лицо Юрика уже не было сил. Ромашкин встал и тихо молвил:

— Хватит. Неужели вы не понимаете, что это нехорошо?

Майор удивился, ему казалось, что все слушали с большим интересом.

— Правильно, — поддержал капитан Соломатин, — не надо больше об этом.

Майор обиженно хмыкнул, пожал плечами, встал и ушел покурить.

—Ты, Юра, забудь, что говорила эта шлюха, — посоветовал капитан, не глядя в глаза курсанту. Ему было стыдно смотреть на юношу.

Вдруг открылась часть стойки, которая огораживала кассу. Из кассы вышла молодая женщина. Она подошла к Василию и негромко, но в то же время не таясь от тех, кто находился поблизости, сказала:

— Пойдемте, товарищ старший лейтенант, я устрою вас на ночлег.

Это было очень кстати. После случившегося неприятно оставаться рядом с Ланским. Без долгих размышлений Василий взял свой чемодан и приготовился шагать через лежащих. Но вовремя спохватился: «Нехорошо так бросить друзей».

— А в комнате отдыха ещё три места не найдется? — спросил он.

— Нет, могу устроить только одного.

Ромашкин смотрел на сапера и курсанта — как быть?

— Иди, — сказал капитан, — зачем здесь маяться, если есть возможность отдохнуть по-человечески.

Василий кивнул и зашагал к двери.

Вышли в мокрую тьму. Ветер словно влажной марлей зашлепал по лицу. Василий шел за женщиной и думал: «Как неосторожно мы болтали…» Поравнялся с ней, спросил:

— Вы все слышали?

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант.

— За что спасибо?

— Заступились за женщин.

Ромашкин предполагал, что кассирша ведет его в гостиницу или в комнату отдыха для летного состава, где хочет устроить в порядке исключения. Но они вошли в подъезд с запахами домашней кухни. Не похоже, чтобы здесь размещалась гостиница.

Вынув из сумочки ключ, женщина отперла дверь на втором этаже. В светлом коридоре было три двери. За двумя из них слышались голоса. Одна из дверей распахнулась. Выглянула полная молодая блондинка в байковом бордовом халатике.

— Верочка пришла, — приветливо не то спросила, не то сообщила она тем, кто был за дверью, — да ещё с гостем! — Глаза соседки засветились любопытством.

Тут же отворилась другая дверь, из нее шагнула пожилая, с отекшими ногами, по-домашнему непричесанная женщина.

— Гость у Веры? — изумилась она и бесцеремонно стала рассматривать Василия. — Старший лейтенант. Красивый, — говорила она по мере осмотра. Глаза у нее были доброжелательные, тон шутливый, поэтому слова её хоть и смущали, но не были неприятными.

— Раздевайтесь, — сказала Вера и сняла пальто у вешалки. Ромашкин стянул шинель. Пожилая соседка воскликнула:

— Сколько наград! Однополчанин, Верочка?

— Да, вместе воевали.

— Вот как хорошо, очень рада за вас. — Блондинка, не стесняясь, спросила: — Есть чем угощать гостя-то? Если нет, возьмите у меня с белой головкой, не разливная. Петя вчера привез.

Вера посмотрела на Василия, глазами спросила: «Взять?» Он смущенно ответил:

— Не надо. Вы же знаете, я уже…

— Ну проходите, не стесняйтесь, — пригласила пожилая,

будто звала в свою комнату.

Соседки явно уважали Верочку. И гости, видно, у нее бывали нечасто. То, что кассирша привела его не в гостиницу, а к себе, очень смутило Ромашкина, он чувствовал себя стесненно и рад был поскорей войти в комнату с глаз долой от соседок, хотя они и были приветливы.

Комнатка Веры оказалась крошечной. Меньше, чем прихожая. Здесь стояла одна солдатская железная кровать. В узком проходе между кроватью и стеной — тумбочка, на тумбочке зеркальце, пудра, флакончик духов. У самой двери стоял одинокий старинный стул. Его добротное, темное от времени дерево, желтая сеточка на спинке и тисненая ткань на сиденье очень не гармонировали с беленными известью стенами и больнично-казарменным убранством комнатки.

— Садитесь, — Вера указала на стул.

Ромашкин увидел по глазам: ей приятно, что у нее есть такой хороший стул и что гостю на нем будет удобно.

Василий поставил чемодан к спинке кровати, сел и с любопытством стал разглядывать Веру. Она стояла напротив, улыбалась и терпеливо ждала, когда он закончит осмотр.

Было ей лет двадцать, но выглядела она старше.

Карие глаза хоть и улыбались, но за улыбкой стояла грусть. И видно было, грусть в глазах Веры какая-то не временная, а отстоявшаяся. Что-то неладно в жизни этой девушки.

— Зачем вы привели меня к себе, вам одной тесно.

— Устроимся, товарищ старший лейтенант.

Ромашкин взглянул на кровать. Спать больше негде. Значит, ляжем вместе? Ему очень не хотелось, чтобы у этой доброй и, видно, не очень-то счастливой женщины прибавились неприятности.

— А что скажут ваши соседки?

Вера не переставала улыбаться:

— Пусть говорят что хотят… Да вы не думайте об этом, они хорошие.

— Я, собственно, не о себе, а о вас…

— Ладно, товарищ старший лейтенант, не сомневайтесь. Умываться будете? — она открыла тумбочку, подала чистое полотенце. — Идите в кухню, правая полочка моя, там мыло.

Василий медлил, не хотелось встречаться с женщинами.

Вера подошла к нему, расстегнула пуговки на его гимнастерке.

— Поднимите руки.

Он поднял. Вера потянула гимнастерку вверх, сняла её и велела:

— Идите.

Василий вышел в коридор, несмело шагнул в кухню. В ней никого не было. Зеленый рукомойник с висячим железным стерженьком — один на всех жильцов. Ромашкин взял мыло с правой полочки, осторожно поднимал и опускал стерженек, старался не греметь, чтобы не вышли из своих комнат любопытные соседки. В комнатке Веры были готовы две постели. На кровати сияли ярко-белые простыни с крупными квадратами, как слежались они в сложенном виде. Другая постель па полу — между кроватью и стеной. Ромашкин решил, что нижняя для него, и стал стягивать сапоги.

— Теперь пойду умываться я, — сказала Вера. — Ваше место на кровати. Пока я вернусь, укладывайтесь.

«Только этого не хватало; хозяйка, женщина, будет спать на полу, а я, проезжий молодец, на её кровати», — подумал он, но возражать не стал, зная, что она будет настаивать и это затянется надолго. Как только хозяйка вышла, Василий тут же забрался под одеяло на полу. Приятная свежесть охватила его в чистой постели. Вспомнил душный, прокуренный зал аэропорта. «Вот предстояла ночка, не дай бог! Конечно, после фронтовых блиндажей, в тепле, в сухом помещении проспал бы безбедно со всеми, но все же в чистой постели куда приятней. Повезло. Только как быть с Верой? Пригласила она из уважения, как фронтовика, зная цену наградам, или же привела как мужчину? Может быть, скучно жить одной, видит, мужик не из болтливых, вот и привела. А соседки? Почему их не стесняется? Разговоры ведь пойдут. Пойдут ли? ещё неизвестно, каковы сами соседки. Кто у них за дверями, мужья или такие же, как я, страннички?»

— О! Я же велела вам, товарищ старший лейтенант, на кровать ложиться, — сказала Вера, глядя сверху вниз.

— Меня зовут Василий, фамилия Ромашкин, хватит по званию обращаться. — Ему снизу хорошо были видны её стройные полные ноги, он отвел глаза, чтобы она не заметила. Но она поняла это и отошла к стулу.

— Я потушу свет, а вы перейдите на кровать. — Щелкнул выключатель, и на некоторое время сделалось очень темно. Потом стали вырисовываться слабые контуры окна.

— Что же вы не переходите?

Сердце Ромашкина застучало быстро-быстро. Он сел. Нашел в темноте руку девушки. Осторожно потянул к себе. Сопротивление было, но не такое, чтобы сразу пресечь его попытку. Он осмелел и более настойчиво влек её к себе.

— Не надо, товарищ старший лейтенант.

— Я же вам сказал, меня зовут Вася.

Но она продолжала по-своему:

— Прошу вас, товарищ старший лейтенант.

Она не вырвала решительно руку и строгим голосом не пресекла его вольность. Села рядом с ним на постель и тихо прошептала:

— Не надо…

Василий обнял её плечи и тут же почувствовал, как тело её напряглось и руки, вдруг обретя силу, решительно уперлись в его грудь. Он понял, это пока все, что ему будет позволено. Во всяком случае сейчас… Он разомкнул руки. Но Вера не вскочила, не бросила ему зло: «За кого вы меня принимаете?» Нет, она опустила голову на подушку, вздохнула и, когда он лег рядом, погладила его теплой ладонью по щеке. Василий не понимал ее. ещё раз попытался обнять, но опять встретил её решительные крепкие руки. Потом она тихо заговорила:

—Я служила в авиационном полку радисткой. Мне все фронтовики родня. Увидела вас сегодня днем и не могла выйти из кассы. Смотрела на вас в щелку. Вы очень похожи на наших ребят-летчиков.

— Я пехота-матушка, разведчик. Но перед войной пытался поступить в авиационное училище.

— Ну вот, значит, я не ошиблась, есть в вас что-то летное. — Она помолчала. — Хорошее время было у меня на фронте, хорошее и страшное. Хорошее потому, что жили мы дружно, одной семьей. Чудили. Любили друг друга. А страшное потому, что иногда кто-то не возвращался после боевого вылета. Погиб Игорь Череда, красивый, ясноглазый старший лейтенант. Два дня печаль в полку стояла. И Клава, подруга моя, лежала как мертвая, глядела в потолок и не мигала. Она любила его. Потом сбили Ваню Глебова. Белобрысый, веснушчатый, его звали за это Подсолнухом.

Василий понял причину грусти в глазах Веры — сбили, значит, и её любимого. Сделалось неловко за свою легкомысленность: у девушки горе, она увидела в нем близкого человека, её душа потянулась к нему, искала утешения, понимания и помощи, а он полез к ней с дурацкими объятиями. Ромашкин повернулся лицом к Вере и тоже погладил её по щеке. Она умолкла и в ответ погладила его руку, будто поблагодарила, что он наконец-то понял ее.

— Я тоже любила летчика. Он был отчаянный. Рыжий, здоровенный, даже немного страшный. Он был ас. Три ордена Красного Знамени носил на груди. Другие ордена и медали не надевал. А были и другие награды, и мы знали. Истребители любили его, он был хороший, бесхитростный товарищ! Егором

звали. Девчонкам он очень нравился! Как взглянет своими зелеными глазищами, так душа делается маленькой, как у синички. Глаза у Егора были какие-то сумасшедшие, огонь в них горел, будто в голове зеленая лампа зажигалась… Млели девчонки. Я знала… А за мной он ухаживал. Проходил мимо — мне жарко делалось. А глаза его были в эти мгновения не грозные, а какие-то теплые, с поволокой. Все знали, Егор меня бережет на жизнь после войны, не хочет он со мной так вот по-походному отухаживаться. И я знала. И девчонки знали. Завидовали мне. Кое-кто пытался даже залучить его сердце. — Вера усмехнулась. — Но он на них ноль внимания. Я в душе смеялась над неудачливыми соперницами. Гордилась своим рыжим великаном. Было мне как-то страшно и сладко от того, что он меня не трогал. Мне он ничего не обещал на будущее. Щадил, наверное. Вдруг собьют, стану всю жизнь мучиться. Лучше, если не обещать: ничего не имела, значит, ничего и не потеряла. — Вера помолчала, вздохнула и опять заговорила полушепотом: — Однажды за мной хотел поухаживать новенький летчик. Молоденький, вроде того курсанта, что с вами сегодня сидел, румяный, чистенький. Подошел он ко мне вечером на танцах. Потанцевали. Пригласил погулять по улице. Я пошла. Что тут особенного? В дверях нас остановил Дима Зорин, тоже летчик из нашего полка. Позвал моего ухажера на минуточку в сторону. Вернулся он с удивленными глазами. Таращил их на меня, будто я знаменитость какая. Отвел назад к танцующим. Ушел курить и больше не подходил. Только издали смотрел всегда то на меня, то на Егора. Мы с Егором всегда были вместе. И на танцах, и в столовой, и на улице. — Вера замолчала. Ромашкин понимал, она подошла к самому трудному месту и в рассказе, и в жизни.

«Что же случилось с её возлюбленным? Сбили его? Или завлекла в сети какая-нибудь красавица?»

Вера молчала. Василий хотел подбодрить ее, поддержать в трудный момент лаской, протянул руку к щеке и сразу почувствовал влагу. «Значит, сбили…» Он подтянул кончик простыни и вытер Вере глаза.

— Пойду, вы, наверное, спать хотите, — сказала Вера влажными губами.

— Лежи, — почему-то на «ты» остановил Ромашкин.

Она осталась. Он обнял её осторожно, как ребенка. Привлек к себе и поцеловал в щеку. Вера не отстранялась. Лежала горячая и обмякшая. Она все ещё плакала.

— Ну, не надо… перестань, — попросил Василий, — не вернешь ведь…

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант, —

поблагодарила вдруг девушка.

— Опять ты с этим званием, — он попытался изобразить в голосе обиду.

— Привыкла, я же «рядовой и сержантский состав», с летчиками только по званиям.

— А за что же спасибо?

— Поняли меня. Вы будто из нашего полка. Ни один наш летчик меня не тронул бы, даже если б мы вот так в постели очутились. Очень любили и уважали все Егора. Ну, спите. Хватит. Завтра рано вставать. Колдуны хорошую погоду обещали, — она отодвинулась от него, но не ушла на кровать.

Ромашкин думал о ней. Вспоминал свою фронтовую жизнь, боевых друзей, девчат и женщин своего полка. Были и у них увлечения и серьезная любовь, все знали об этом. Но сам Василий романов не заводил, считал — какие к черту на войне свадьбы и мечты о будущем, тем более у него: каждую ночь на смерть ходишь. Но вот теперь, лежа рядом с Верой, он вдруг почувствовал тоску и тягу к фронтовым девчатам, с которыми был просто знаком там, в полку. Как бы хорошо всегда быть с той, которая рядом была под бомбежкой, ждала тебя с задания, знала всех друзей, живых и мертвых. Однако не было у Васи такой женщины. Не состоялась на фронте большая, сильная любовь, как вот у Веры. «Может быть, я был слишком молодой и легкомысленный и внешность моя не привлекла внимания стоящей девушки?» У Василия даже мелькнула мысль: «Ане жениться ли на Верочке? Вот она рядом, своя, фронтовая, все знает, понимает, чистая и скромная девушка. — Он улыбнулся. — Интересно, как мы будем вспоминать наше знакомство? Я бы шутил: „Пригласила хлопчика на ночку, а он обманул — на всю жизнь остался!“ Смешно: час назад не были знакомы — и вот уже в постели и я даже жениться собираюсь!»

Василий не заметил, когда мысли перешли от яви в сон. Заснул тихо, даже не лег поудобнее, как лежал на спине, так и уснул. Снилась ему красивая девушка. Они гуляли по роще. Девушка, склоняясь к нему, что-то шептала, и он ощущал её теплое дыхание на своей щеке.

Проснулся Василий так же тихо и мягко, как и уснул. Сначала ему показалось, что он вовсе и не проснулся, приятый сон продолжается, теплое дыхание действительно овевало его лицо. Василий чуть приоткрыл веки. Все в комнате, как во сне, было подернуто бледно-синим маревом, только на стуле поблескивали лимонного цвета блики луны. Тучи, видно, рассеялись.

Над Васей склонилась Вера. Она опиралась на локоть, а другой рукой водила по его волосам, почти не касаясь их. Она

гладила его голову. Это едва ощутимое прикосновение делало все происходящее совсем похожим на сон. Глаза Веры были затуманены. Она была сейчас очень далеко, наверное, в своем полку, и ласкала, конечно, не Ромашкина, а своего зеленоглазого красавца.

Василий прикрыл веки и старался не выдать, что не спит. Вера несколько раз склонялась к нему, целовала его в щёки, почти не касаясь, одним горячим дыханием. Потом она опустилась на подушку и затихла. Вскоре Василий опять заснул. А когда пробудился, было уже бледно-голубое утро. Вера все ещё лежала рядом. Она глядела на него и улыбалась. Нежный румянец красил её отдохнувшее свежее лицо. Ромашкин вспоминал ночные видения. «Может, все это был сон? И мне только показалось, что я просыпался?»

— Ну что же, пора, товарищ старший лейтенант, скоро объявят посадку, — Вера накинула халатик и пошла умываться.

Ромашкин поднялся и некоторое время стоял, глядя на нетронутую кровать, на ровные крупные квадраты на простыне. На душе у него было светло и радостно, как бывает летом рано утром в поле: шелестит в ушах от тишины, и голубизна окружает со всех сторон.

На аэродроме пассажиры, бледные, с помятыми лицами, прогуливались около мокрого здания аэропорта. Только сапер Соломатин был краснощеким, он, видно, уже приложился к своей фляге. Издали капитан приветливо замахал рукой, улыбался, он был в отличном настроении, не здороваясь сказал:

— А я всю ночь не спал. Зашел в их контору, — он только теперь кивком поздоровался с Верой, — там никого нет. Я и давай крутить телефон. Все же дозвонился до Пскова. Всю ночь крутил, но дозвонился! Поговорил с жинкой — во! — Он провел рукой выше бровей. — Наверное, час говорил! Сегодня увидимся.

Состояние капитана было понятно Василию, наскучался человек о семье за время войны, теперь эта тоска ещё долго будет приносить ему ощущение счастья.

А вот курсант Юра поразил и огорчил. Он встретил Ромашкина и Веру совершенно не подходящим его юношеской внешности взором бывалого пошляка. «Неужели я вчера не разглядел его? Он мне показался скромным мальчиком». Сегодня перед Ромашкиным стоял совсем другой человек.

Когда он поглядел на Василия и на Веру, нижняя губа его слегка, но весьма красноречиво, покривилась, глаза просто переполнились нехорошей для его лет осведомленностью. В его ироническом взгляде на Веру было не осуждение, а сочувствие, он вроде бы говорил: «Я вас понимаю, перед героическим

фронтовиком устоять нельзя! Но не думайте, что это поднимает вас в наших глазах; не будь этого парня, вы переспали бы с кем-то из нас!»

Ромашкин чувствовал себя отвратительно. Было очень неприятно, что этот юноша плохо думает о Вере, а он — Василий — никак не может изменить его мнение. «Я-то ладно, черт со мной! Но она, такая чистая и несчастная, выглядит в его глазах мелкой потаскушкой. Что сделать? Как ему объяснить? Поговорить бы надо».

Но дежурный по аэропорту уже звал пассажиров его рейса на посадку. Ромашкин успел сказать курсанту:

— Юра, пойми, пожалуйста, между мной и этой женщиной ничего не было. Верь мне, это важно не для меня, а для тебя.

Ромашкин видел, курсант не поверил, пытался на словах показать некоторое смущение, а сам был убежден, что помогает Василию, как мужчина мужчине, сгладить неловкость.

— Что вы, товарищ старший лейтенант, я ничего не подумал.

На Василия глядели наглые голубые глаза. Он даже немного обижался, что от него, как от маленького, пытаются что-то скрыть, а он и не такое знает! «Да, многое, видно, постиг этот молодой кобелишка в тылу, пока мы воевали». Ромашкин не выдержал его взгляда, опустил глаза. Подошел к Вере, взял за руку. её тепло сразу передалось ему. Опять подумал: «Может быть, не надо улетать? Остаться на несколько дней? Может быть, здесь судьба свела меня с той, которая всю жизнь будет рядом?»

Ромашкин смотрел Вере в глаза и ждал. Глаза её были светлы и радостны, только где-то в глубине таилась грусть. Грусть не потому, что он улетает, а та прежняя грусть, которую Василий увидел при первой встрече. Если бы Вера хоть раз назвала его Васей, он бы, наверное, остался, не боясь этой грусти в её глазах. Но Вера настойчиво повторяла свое отчуждающее «товарищ старший лейтенант».

— Что же, до свидания, товарищ старший лейтенант, — сказала она с тихим вздохом. — Будете пролетать, не забывайте.

— Не забуду, — ответил он ей тоже тихо. — Так ты и не назвала меня ни разу по имени.

— Не получилось, товарищ старший лейтенант, — она виновато опустила глаза.

В небе Ромашкин мысленно послал румяного оболтуса Юрика к черту и вспоминал минувшую ночь, теплое дыхание Веры, синий полумрак, золотистые блики луны на стуле, нетронутые простыни с крупными квадратами складок, чистые, не помятые, ярко-белые. Он хотел поправить настроение, убеждал себя: все хорошо, он в отпуске, надо радоваться тыловому покою. Но не

смог. Набегала озабоченность, ощущение вины перед кем-то, а перед кем, он не мог понять…

В это утро Василий впервые обнаружил: не будет после войны безоблачного розового счастья, в котором фронтовики надеялись жить в мирные дни, уже сейчас жизнь катила навстречу какие-то новые, непонятные и, видно, нелегкие загадки. В тылу стояли у станков изможденные женщины с серыми солдатскими лицами, бродили исхудавшие до скелета Шурики, залечивали раны Соломатины, Верочки, рожали Тани, но здесь же, оказывается, благоденствовали Матильды Николаевны, Леваны Георгиевичи, ловили женихов Зиночки, развлекались Ланские, подросли непонятные циничные Юрочки. Жить после войны придется всем вместе. «Как же мы будем жить — такие разные? А может быть, всегда так было — и до войны, и в более далекие времена? Просто я никогда не задумывался об этом».

В столице Ромашкин стал очевидцем исключительного за всю войну события. Случайно узнал о нем от носильщика, который подошел попросить у офицера папироску.

— Слыхали? Сегодня немцев поведут через Москву.

— Каких немцев?

— Живых, каких же! Пленных. По радио говорили, вот в газете почитайте, — носильщик показал на витрину с газетами.

Василий осмотрел все полосы и наконец увидел на последней странице в верхнем углу:

"Извещение от начальника милиции гор. Москвы.

Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвоирована направляемая в лагеря для военнопленных часть немецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57 600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной Армии Первого, Второго и Третьего Белорусских фронтов.

В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по маршрутам следования колонн военнопленных: Ленинградское шоссе, ул. Горького, площадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам: Первой Мещанской, Каланчевской, Б. Калужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площади Колхозной, Красных ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской — будет ограничено.

Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленным".

«В одиннадцать часов. Сейчас девять. Успею!» — Ромашкин подошел к носильщику:

— Как быстрее добраться в город?

— Автобус ходит. А лучше всего бери левака. Вон там они крутятся. Втроем в складчину берите, дешевле будет. Как увидишь первое метро, так выходи и дуй на станцию « Маяковская» или «Красные ворота» — в объявлении указано, как раз там поведут. На метро успеешь, не сомневайся.

Василий так и сделал. Когда эскалатор вынес его из-под земли на станции «Маяковская», площадь и улица Горького уже были окаймлены плотной толпой. Вдали по пустой широкой улице приближался серо-зеленоватый поток, заполняя все пространство между домами.

Ромашкин отыскал место, откуда будет видней. И вскоре мимо поплыл не строй, а какая-то зеленая, похожая на подвижную свалку масса людей, оборванных, грязных, обдающих тошнотворным специфически фрицевским запахом.

Впереди спокойно, неторопливо, не в ногу шли генералы. Некоторые в очках, в пенсне. Горбоносые. Сухие. Поджарые. Оплывшие от жира. Золотые вензеля блестели на красных петлицах. Витые, крученые погоны, выпуклые, словно крем на пирожных. Ордена и разноцветные ленты сверкали на груди. Генералы не смотрели по сторонам, шли, тихо переговариваясь. Один коротышка отирал платком седой щетинистый бобрик на продолговатой, как дыня, голове. Другой, здоровенный, плечистый, равнодушно смотрел на лица москвичей, будто это не люди, а кусты вдоль дороги.

За генералами шли более ровными, но все же гнущимися рядами офицеры. Эти явно старались показать, что плен не сломил их. Один, рослый, хорошо выбритый, с горящими злыми глазами, встретив взгляд Ромашкина, быстро окинул его награды, показал большой крепкий кулак. Ромашкин тут же ответил ему: покрутил пальцем вокруг шеи и ткнул им в небо. «А мы, мол, тебя повесим». Фашист несколько раз оглянулся и все показывал кулак, щерил желтые, прокуренные зубы, видно, ругался. «Какая гадина, — думал Ромашкин, — жаль, не прибили тебя на фронте».

За офицерами двигались унтеры и солдаты. Их было очень много, они шли сплошной лавиной по двадцать в ряд — во всю ширину улицы Горького.

Пленных сопровождал конвой — кавалеристы с обнаженными шашками и между ними пешие с винтовками наперевес.

Москвичи стояли на тротуарах. Люди молча, мрачно смотрели на врагов. Было непривычно тихо на заполненной от

стены до стены улице. Слышалось только шарканье тысяч ног.

Шли убийцы. Шли тысячи убийц. Каждый из них кого-то убил — отца, сына, мать, сестру, ребенка, брата тех людей, которые стояли на тротуаре и молча глядели на этих пойманных убийц. Им сохранили погоны и награды. Кресты, медали на мундирах, квадратики, галуны на погонах теперь из знаков отличия превратились в обличительные знаки — они свидетельствовали, кто больше причинил зла, уничтожил людей, сжег деревень, разрушил городов, осквернил полей.

— Смотри, Олег, смотри, Надюша, это они повесили нашу бабушку, — тихо шептала женщина, обнимая прильнувших к ней ребят.

Услыхав этот шепот, Василий ещё раз поразился тишине на улице, заполненной сотнями тысяч людей. Вспомнил слова из объявления в газете: «Граждане обязаны соблюдать порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленным». Ромашкин поглядел на мрачные лица москвичей: окаменевшие, скорбные, у многих слезы на глазах. Какую надо иметь выдержку, какой благородный разум, чтобы сдержать себя, не кинуться и не растерзать этих бандитов. Любой из присутствующих имеет на это право. Каждый вспоминает о погибшем дорогом и близком человеке — и убил его один из этих вот подлецов.

«И тебя, папа, убил один из них. Может, вон тот белобрысый в ботинках без шнурков или этот боров в расстегнутом кителе с ленточками за две зимы в России».

Василий думал и о том, что он мог встретиться, а может быть, и встречался с кем-то из этих пленных, когда шел в Витебск, все эти солдаты и офицеры находились около своих пулемётов, орудий, сидели в штабах. Никто из них тогда не догадывался, что он, Василий, крадется в их стане, несет снимки обороны. Да и сам Ромашкин разве мог подумать, что армада в десятки тысяч человек, которая тогда засела в темных лесах, бункерах, траншеях, будет окружена, выволочена из убежищ и пройдет перед ним строем, да не где-нибудь, а по Москве!

Пожилой интеллигентный мужчина в светлой шляпе сказал:

— Гитлер обещал им отдать Москву на разграбление. Представьте, что бы творили здесь эти вандалы.

— Мою сестру в Орше изнасиловали, отрезали ей груди и выгнали голую на мороз, — не глядя на мужчину, сказала его соседка.

— Парад уже назначили на Красной площади в сорок первом! — глубоко затягиваясь папироской, зло проговорил милиционер. — Вот и получили парад! Продемонстрировали свои мощи!

А женщина все шептала детям:

— И дядю Матвея они расстреляли. И дом наш спалили. И папку нашего… — Голос её пресекся, она приложила платок к губам.

Внимание Василия привлекла старушка с темным, морщинистым лицом. Она быстро семенила за усатым пожилым конвоиром, опасливо сторонясь от крупа впереди идущего коня. Бабка плакала и о чем-то горячо просила. Ромашкин хотел вмешаться, помочь старушке: «Что ей не позволяет усатый страж? Мог бы и уважить её старость». Василий пошел за бабушкой, задевая стоящих на обочине людей, подошел поближе к солдату и услышал, о чем просит его старушка.

— Миленький, ты пожилой человек, понимать должен, потому и прошу тебя.

— Нельзя, мамаша, никак нельзя.

— Почему нельзя? Они моих сыновей — Ивана, Михаила — побили. Невестку и внучат сничтожили.

— Спросится за это где надо, — отвечал солдат, не глядя на старушку, а наблюдая за ближними пленными.

— Ничего с них не спросится. Дозволь, я одного своими руками задушу. Ну дозволь, Христом-богом тебя молю!

— Нет, мамаша, никак нельзя, пленные они теперь. Русские лежачего и в драке не бьют.

— Так они же внучат моих безвинных, детенышей безответных, казнили, это хуже, чем лежачего бить.

— Они фашисты, мамаша, нелюди, одним словом…

Ромашкин остановился, шагнул на тротуар. Старушка ушла за усатым солдатом.

Три часа шаркала ногами непрерывная, молчаливая колонна пленных. Странное двойственное чувство порождало это небывалое зрелище: вроде бы хорошо — идут поверженные враги, обезвреженные грабители, которые не смогут уж больше творить зло, — но, с другой стороны, вид этих пойманных врагов напомнил столько бед и страданий, что в душе людей горький осадок не проходил.

Словно предвидя этот неприятный осадок, какой-то остроумный начальник приказал пустить вслед за пленными моечные машины — помыть улицы после фашистской нечисти! Автомобили с цистернами тоже шли строем, они стелили по асфальту упругие веера шипящей воды, смывали окурки, бумажки, следы только что позорно прошедшей армии пленников.

Москвичи смотрели на освежающие струи воды, на глянцевитый чистый асфальт и, повеселев, стали расходиться по

домам.

Побродив остаток дня по Москве, Василий в тот же вечер выехал на фронт.

Пассажирские поезда уже ходили до Витебска.

— Скоро в Минск возить будем, — гордо сказала пожилая проводница. — Это надо же такое придумать: фашисты огромный плуг за паровоз цепляют, режут шпалы пополам, а каждую рельсу толом перебивают на две половинки. Ни вам, ни нам! И что это за люди такие ехидные!

В стороне от насыпи лежали те самые искореженные рельсы и шпалы, о которых она говорила. Полотно приходилось делать заново. И все же дорожники почти не отставали от наступающих. Сколько ехал потом Ромашкин на машинах, всюду видел вдоль железнодорожной насыпи копошащихся, как муравьи, строителей. На них налетали вражеские самолеты, били, корежили только что восстановленный путь, а дорожники опять стекались к полотну, засыпали, трамбовали воронки — некогда ждать, пока земля осядет, — и опять тянули, волокли тяжеленные рельсы, укладывали на разложенные шпалы.

Ромашкин не знал, где искать свою дивизию, за время отпуска произошли большие перемены, только во время Белорусской операции продвинулись на несколько сотен километров. Решил заехать в штаб фронта к генералу Алехину: наверное, не забыл ещё , как посылал в Витебск, поможет найти свой полк.

Но когда Василий стал выяснять, где штаб фронта, оказалось, что он уже проехал мимо него. Назад возвращаться не хотелось, стал искать штаб армии. Даже в своем тылу надо было это делать осторожно, здесь по номеру дивизию не спросишь и штабом армии не поинтересуешься — за такое любопытство быстро заметут в особый отдел, и насидишься там до выяснения личности. «Если бы такое случилось, Караваев обязательно за мной Початкина прислал бы. Ох, и куражился бы надо мной Женька!.. Жив ли? Может, уже сложил, непоседа, свою веселую голову? Как там Петрович, Куржаков, как мои хлопчики?»

Ромашкину хотелось лететь к друзьям, он теперь и тряских дорог не замечал, только бы побыстрее в полк.

Штаб армии стоял в небольшом городке. Отделы работали в домах, правда, дома словно люди после драки — стены побиты осколками, окна без стекол. Но все же это уже была не та война, что год назад. Можно было в землю не закапываться, наши летчики были хозяевами в воздухе. Гитлеровцы, конечно, прорывались, бомбили, но теперь пилоты у них были не те, прилетят, наспех побросают бомбы — и деру назад.

В разведотделе Ромашкина обступили офицеры, чертежники, машинистки.

— Вот ты какой, известный разведчик Ромашкин! — весело сказал седой, кудрявый начальник информационного отделения майор Кирко. Он поправил золоченые очки, разглядывая гостя. — Ну-ка, дай мы на тебя посмотрим! Ты у нас все по бумагам да по документам проходишь. Ромашкин там отличился… Пленный, приведенный Ромашкиным… то-то показал. А живого, настоящего, мы тебя не видели. Вот, девочки, любуйтесь — тот самый Ромашкин!

Василий готов был сквозь землю провалиться, у него горели уши, он не знал куда деть глаза, отовсюду на него смотрели улыбчивые разведотдельцы.

— Ну кто бы мог подумать, что этот стеснительный юноша заткнул глотку полсотне фрицев и приволок их к нам!

— Товарищ майор, — взмолился Ромашкин. — Да разве же я один их приволок, это все ребята мои.

— Скромность всегда украшала человека, но… — майор не успел договорить.

— Что за шум, а драки нет? — спросил громким сочным голосом вышедший из своей комнаты начальник разведки армии полковник Полосин — крепкий, черноволосый, черноглазый, настоящий цыган, только в военной форме. У него и глаза горели горячим лихим цыганским блеском. — О, Ромашкин прибыл! Здравствуй, заходи, — полковник пригласил его в свой кабинет.

Майор Кирко шутливо бросил:

— Все лучшее всегда начальству.

— Садись. Ну, как отдыхал? Как мать? Все в порядке, ну и хорошо.

Полосин был полной противоположностью начальнику разведки фронта генералу Алехину. Тот — маленький, толстенький, говорил тихим голосом, неторопливо, старался казаться простачком, а сам был хитер, как бестия. Полосин не мог усидеть на месте, от избытка энергии ходил по комнате, жестикулировал, говорил громко, увлеченно, будто с трибуны.

— Мы тут без тебя таких дел наворочали, такую операцию провели, дух захватывает! Представляешь, на триста километров вперед продвинулись. Больше пятидесяти гитлеровских дивизий раздолбали! На Западе — во Франции, Бельгии и Голландии — столько же стоит. — Полосин поискал на столе бумагу, помахал ею перед лицом Ромашкина. — Вот последние сведения из Генштаба — восемнадцать дивизий и четыре бригады сняли гитлеровцы с Западной Европы и гонят к нам сюда, чтобы затыкать фронт. Это, милый мой, в те дни, когда союзники

наконец отважились переплыть Ла-Манш. Это просто курам на смех!

— Я видел фашистов, которых вы под Минском окружили, их по Москве провели.

Полосин с досадой отмахнулся:

— Меня не интересуют гитлеровцы под конвоем! Наши с тобой враги, Ромашкин, там — живые, с оружием в руках! Надо, чтобы эти остервеневшие волки как можно меньше губили наших людей. Война ими проиграна, сейчас они хотят только подороже взять за свои подлые жизни. А мы им должны показать вот это, — Полосин показал тугой узластый кукиш. — Будем добивать их грамотно, последовательно и методично. Слава богу, научились это делать. Как там Москва, сильно разрушена? — вдруг без всякого перехода спросил полковник.

— Я не видел никаких разрушений.

— Это хорошо. Между прочим, и немцам тоже показали столицу не случайно. Геббельс и Геринг кричали, что их авиация там камня на камне не оставила. Вот им и показали. Это лучше любой пропаганды и агитации действует!

— Один фриц мне кулак показал.

— Ну, таких много будет и после войны. Но их сами немцы выведут. И у них есть порядочные люди, к нам вот приехали из комитета «Свободная Германия» те самые немцы, которые против нас воевали. Хорошо помогают теперь, каждый день по радио выступают, листовки пишут, прочищают мозги своим соотечественникам.

Зазуммерил телефон.

— Слушаю… товарищ генерал, пока твердо сказать не могу, не нашел я эту танковую дивизию. Ищу. Понимаю, время не ждет. Я вызвал к себе летчиков и командира разведывательной эскадрильи. Сам поставлю задачу, проверю все ещё раз.

Полосин положил трубку, минуту подумал и пояснил Ромашкину:

— Начальник штаба разработал очень хорошую частную операцию, командующий фронтом утвердил ее. А начать не можем. Потеряли целую танковую дивизию. Представляешь, мы пойдем вперед, а она нам где-то сбоку двинет!

За дверью послышался топот и говор.

— Заходите! — крикнул Полосин, не выглядывая в коридор. Вошли летчики, молодые, гибкие, с крылышками на фуражках и на петлицах.

— Здравствуйте, орлы! Я пригласил вас вот зачем. Если найдете эту чертову танковую дивизию, то надо будет делать перегруппировку, менять план операции, на это уйдет много

времени. А если не найдете, но она окажется в нашей полосе, то таких дров нам наломает, что даже вам в небе жарко будет. Докладывайте только то, что вы видели.

— Вот Ирканов нашел танки, — подсказал командир эскадрильи.

Полковник подошел к карте:

— Показывайте, где?

Летчик, старший лейтенант, показал пальцем:

— Вот здесь и здесь.

— Да это не дивизия, обычные танки усиления пехоты, — возразил молоденький лейтенант.

— Ты, Левушкин, молчи, не нашел танки — и помалкивай, — придержал его комэск.

— Нет, братцы летчики, так не пойдет, — остановил их полковник, — вы мне натяжек не делайте: надо дивизию — пожалуйста, не надо — нет ее! Вы мне скажите правду, и только правду. Что вы видели? А выводы я сам буду делать.

Летчики колебались.

— Танки мы видели, но кто их знает, те это, которые вам нужны, или другие?

— Вы же не новички, дивизию-то, наверное, разглядите?

— Может быть, она рассредоточена?

— Все может быть. Для того, чтобы проверить, у кого из вас какой глаз, чьи данные более точны, поступим так. Задание вам теперь будет каждому свое, и приказываю, в интересах дела, до выполнения друг другу ничего не говорить. Вы двое, пожалуйста, выйдите. — Когда пилоты вышли, Полосин сказал оставшемуся:

— Вы будете вести разведку вот в этой полосе, попутно, до подхода к линии фронта, посчитайте наши танки вдоль дороги — докладывайте по радио прямо с борта, сколько увидите танков справа и слева от шоссе. Отправляйтесь немедленно.

Двух других летчиков Полосин послал на то же направление, но каждому сказал:

— А вы полетите вот сюда. — И тоже велел считать свои танки до пересечения переднего края.

Ромашкин не совсем понимал, зачем это нужно. Когда авиаторы ушли, спросил:

— А почему аэрофотоснимки не сделать — будет объективно и точно?

В разведотдел пришел начальник штаба, пожилой, стройный генерал. Глаза его, умные, немного припухшие от бессонницы, шутливо сверкнули:

— Вот они оба! Надавали мне ребусов и сидят пируют!

Присутствующие встали.

— Сидите ешьте. Приятного аппетита. Может, и мне стакан чаю нальете?

— Супу, товарищ генерал, — предложил Кирко.

— Благодарю вас. Аппетит ваш начальник испортил. Правда, дайте хорошего чаю.

— Скоро могут прилететь, — сказал Модестов, поглядев на часы.

— Вы мне дивизию танковую подайте, бомбежку мы как-нибудь перенесем.

Полосин тоже посмотрел на часы.

— С дивизией прояснится не раньше, чем через полчаса…

Ромашкин, видя, как офицеры отдела потихоньку выходят из комнаты, оставляя начальников одних, тоже шмыгнул в дверь. «Ну и жизнь, с ума сойдешь от такой заварухи, и так, наверное, каждый день. А если Полосин не найдет танковую дивизию к нужному сроку, ему ведь голову оторвут! Нет, не дай бог работать в большом штабе».

Ромашкин выяснил, где искать свой полк, попрощался с приветливыми разведотдельцами и пошел к дороге. В кустах за деревьями, недалеко от перекрестка, он увидел зенитчиков — они сидели в полной боевой готовности, поджидали гитлеровские самолеты. Высоко в небе прогудел одинокий самолет — может быть, это один из тех летчиков, которых послал на задание Полосин? Что он обнаружил? Дай-то бог, чтобы он привез нужные сведения. А может быть, это летят бомбить фашисты по радиограмме лазутчика… На войне все может быть.

Вот она, заграница

…В полку после возвращения Ромашкина ждала печальная весть: под Витебском погиб капитан Иван Петрович Казаков, первый учитель Василия. Трудно было представить Петровича мертвым. Золотые зубы под черными усиками так и блестели в задорной улыбке, всегда веселые глаза светились лукавством. Ромашкин слышал голос Казакова: «Приезжаю я с войны домой. На груди ордена, в вещевом мешке подарки…» Для Ромашкина он навсегда остался таким — живым и веселым.

Во второй половине 1944 года советские войска изгоняли фашистов из Румынии, Польши, вступили на землю Югославии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии…

Дивизия, в которой служил Ромашкин, вплотную приблизилась к границе Восточной Пруссии. Предстояли первые шаги по немецкой земле. Все с волнением ждали, когда это свершится.

— Мы уже по Германии бьем! — гордо и весело сказал артиллерист разведчикам.

— А мы там уже побывали, — солидно ответил Саша Пролеткин.

— Ну, как она?

— Работы артиллеристам много будет — вся замурована в бетон!

— Пробьем! Теперь не остановить!

К немецкой земле Ромашкин вышел со своими разведчиками одним из первых. Леса, луга, речки, деревья в Германии были такие же, как в Литве и в Белоруссии. Ранним золотом горели клены, и там и здесь одна и та же вода блестела в реке. Луг **с** ярко-зеленой сочной травой где-то разделялся невидимой линией. Пограничных столбов и знаков не было, их снесли немцы.

Установив по карте точные ориентиры, Ромашкин провел свою группу кустами к речушке, перешел её вброд и, ощутив счастливое волнение, сказал:

— Ну вот, ребята, вы и в Германии!

Разведчики оглядывали кусты, деревья, траву — не верилось, что вот это простое, обыкновенное — уже немецкое. Шовкопляс взял горсть влажной земли, помял ее, потер, понюхал. Задумчиво молвил:

— Земля как земля.

— Да, земля везде одинаковая, — сказал Рогатин, — только растет на ней разное — пшеница и крапива, малина и волчья

ягода, душистая роза и горькая полынь. — Для Ивана это была целая речь, он даже испуганно посмотрел на разведчиков, но никто не засмеялся, не пошутил, у всех было торжественно и радостно на душе.

В ту ночь притащили с немецкой земли первого «языка». Выволокли его из траншеи, которая окаймляла дот, замаскированный под сарай.

Гитлеровец долго отбивался. Пролеткину, совавшему кляп, покусал пальцы. Только Иван Рогатин его утихомирил, взял за загривок своей ручищей так, что шея хрустнула.

Пленный ефрейтор Вагнер и на допросе держался нагло:

— Дальше вы ни шагу не пройдете. Все ляжете здесь, на границе Великой Германии!

Ромашкин с любопытством разглядывал мордастого, с тупыми водянистыми глазами, немолодого уже немца. Давно не видел таких. Когда гнали их в хвост и в гриву по белорусской и литовской земле, попадались жалкие, испуганные, как пойманные воришки. А теперь вон как заговорили! Почувствовали новые силы на своей земле? Да, здесь они будут драться отчаянно. Их пугает расплата за совершенные преступления.

— Доннерветтер, проклятая катценгешихтен! — ругался Вагнер. — Меня предупреждали об этом, а я думал — пугают!

— Что значит «катценгешихтен»? — не понял Ромашкин этого слова. — Катце — кошка, гешихтен — история, какое-то странное сочетание.

— Кошачья история, — пояснил пленный. — Это то, что произошло со мной. Вы схватили меня, как кошка мышку. Солдаты именно так и называют ваши ночные проделки.

Рассматривая документы и бумаги, отобранные у пленного, Ромашкин обратил внимание на фотографии, которые были сделаны во Франции: Вагнер **с** девицами, веселый и самодовольный, на фоне кафе с французской рекламой и надписями. «Когда это было? — подумал Ромашкин. — В дни завоевания Франции или недавно? Может, это свежая дивизия с запада? Похоже, ефрейтор потому такой нахальный, что не прочувствовал на себе силу наших наступательных ударов». Учитывая наглость Вагнера, Ромашкин не стал его спрашивать напрямую, а применил маленькую хитрость.

— Значит, вы всю войну просидели во Франции? Нехорошо, товарищи воевали, а вы с девицами легкого поведения развлекались.

— Я был на Востоке две зимы. — Вагнер показал ленточки на кителе. — Был ранен, только после госпиталя попал во Францию.

— Значит, Франция — санаторий, туда посылают

подлечиться? Вы говорите неправду, Вагнер, там идет война, в июне этого года в Нормандии высадились наши союзники.

Пленный криво усмехнулся:

— Ваши союзники! Если бы не вы, они бы не высадились…

Ромашкин полистал служебную книжку и письма, полученные Вагнером. Письма отправлены на полевую почту, которая могла быть во Франции или здесь, или вообще где угодно. Когда же пришла сюда эта свежая дивизия?

— Последнее письмо во Францию вы получили из дома в конце июля, — сказал будничным голосом Ромашкин, усыпляя бдительность пленного, — а на новое место, сюда, разве письма не доставляют?

— Мы всего здесь… — начал было пленный и вдруг спохватился, настороженно поглядел на офицера, но Ромашкин делал вид, что ведет простой, ни к чему не обязывающий разговор, и Вагнер подумал: может, все так и пройдет, и офицер не обратит внимания на то, что он сболтнул. Но офицер бил хитрый — Вагнер это понял, услыхав следующий вопрос:

— А по какому маршруту вас везли? — Ромашкин хотел этим окончательно установить срок прибытия дивизии.

Вагнер, краснея и бледнея, соображал, как быть дальше — говорить или не говорить? Пока все идет хорошо — его не бьют, не пытают. То, о чем спрашивает офицер, разве тайна? Что, русские не знают такие города, как Франкфурт, Берлин, Кенигсберг? Вагнер со спокойной совестью назвал эти города

— Значит, когда вы выехали и когда прибыли? — припер его окончательно Ромашкин.

Пленный закрутился, как жук, приколотый булавкой к картону, деваться было некуда, он с трудом выдавил:

— Первого августа погрузились, неделю назад прибыли…

Советские войска, вышедшие на границу, с ходу ударили по ненавистной земле, откуда напали в июне сорок первого фашисты.

Началась артиллерийская подготовка, и на немецкой стороне ввысь полетели бревна, обломки бетона, деревья, вырванные с корнем, колеса от машин и пушек. Солдаты с нетерпением высовывались из траншей и ждали сигнала «вперед».

— Ну, держись, фашистская Германия!

Огонь атакующих буквально смел **с** земли оборонительные сооружения. Однако гитлеровцы все же сдержали первый натиск Красной Армии, полки продвинулись всего километров на семь— десять. Были большие потери. Это заставило прекратить наступление и заняться серьезной подготовкой к штурму укрепленных полос. Было известно, что долговременные

укрепрайоны Инстербургский, на реке Д ейме и вокруг Кенигсберга не уступают по своей мощности самым современным линиям — Мажино, Зигфрида и Маннергейма. Доты и форты многоэтажные, железобетонные стены толщиной в три метра, запасы продуктов, боеприпасов, воды и прочего позволяют вести длительную оборону в полном окружении.

Советские дивизии, сменяя друг друга на передовой, в перерывах между боями занимались боевой подготовкой. Учились прорывать долговременные линии обороны, изучали форты и железобетонные доты, которые придется штурмовать. Командующий фронтом генерал армии Черняховский появлялся и на учебных полях.

— Сегодня здесь куется победа, — подбадривал он усталых, отвыкших от кропотливой учебы солдат и офицеров. — Больше пота — меньше крови, друзья.

Голощапов, как всегда, ворчал:

— Били, били фашистов — и, оказывается, не по науке!

— Заткнись, тебе же добра желают, — урезонивал Рогатин. — Живой останешься, если с умом на немецкой земле воевать будешь.

— А на своей земле я что же, дуром воевал?

— Во всем надо вперед смотреть, а на войне особенно, тут как недоглядел — так гляделки вместе с башкой оторвет.

Разведчики второй день сидели в полуоплывшей старой траншее и тайком наблюдали за немецким караулом, который охранял склад боеприпасов.

Траншея находилась в трехстах метрах от караула, на голой высотке, её было хорошо видно отовсюду: и от складов, и от дороги, которая к ним подходила, и от дома, где размещалась охрана, и от зенитной батареи, оберегавшей склады. Именно поэтому её и выбрали разведчики: заброшенная траншея не вызывала у окружающих гитлеровцев никаких подозрений. Разведчики из нее хорошо просматривали и территорию склада, и даже двор караула, обнесенный стеной из красного кирпича.

Остались позади российские леса и деревни с доброжелательным населением. Здесь, в Восточной Пруссии, кто бы ни увидел разведчиков — каждый враг. Поэтому группа сидела в траншее безвылазно и только по ночам подбиралась к дому, где размещался караул, и к ограде из колючей проволоки, опоясывающей склады.

Задание, которое поручил группе разведотдел армии, было необычным, хотя и состояло всего из двух слов: уничтожить склады.

Раньше Ромашкин и его ребята занимались только разведкой

— устраивали засады, проводили поиски, таскали «языков». В результате быстрого продвижения наших войск в непосредственной близости от линии фронта оказались склады противника с авиационными бомбами и артиллерийскими снарядами. Это не были хранилища государственного значения — обычные войсковые склады, но командование понимало: боеприпасы, которые в них находятся, надо уничтожить как можно скорее, пока их не развезли на огневые позиции. Бомбежки с самолетов результата не дали: бетонные хранилища находились под землей да к тому же прикрывались огнем зениток. Партизан на немецкой земле, да ещё в прифронтовой полосе, насыщенной войсками, конечно же, не было, поэтому пришлось поручить это дело войсковым разведчикам.

Поскольку задание было очень важное, подполковник Л интварев решил назначить в группе парторга. Выбор пал на Ивана Рогатина. Его хорошо знали в полку — смелый, не раз награжденный разведчик: два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды, две медали «За отвагу». Но была также известна молчаливость этого здоровяка.

Линтварев вызвал к себе Рогатина. И без этого не речистый, здоровяк совсем онемел, когда услышал, кем его назначают.

Подполковник успел уже изложить задачи, которые надлежит выполнять парторгу, а Рогатин только к этому времени собрался наконец с силами и вымолвил:

— Не сумею я…

— Я все вам рассказал. Вы старый, опытный разведчик — справитесь. Задание очень важное — партийное влияние обязательно нужно, — спокойно и убедительно настаивал Линтварев.

— Не смогу я… говорить не умею.

Замполит улыбнулся, он отлично понимал состояние простодушного сибиряка, но иного выхода не было.

— Ну, дорогой, вы неправильно понимаете политработу — разве она заключается только в том, чтобы говорить? Разве политработники не ходят в атаку? Не стреляют? Не бьют врагов в рукопашной? Они делают в бою то же, что и все, и плюс к этому поднимают, вдохновляют, зажигают других. Главное в нашем деле —добиться, чтобы приказ был выполнен. А как это сделать — подскажет обстановка: иногда пламенным словом, а чаще делом.

— Нет, не сумею, — твердил Иван, отводя глаза в сторону.

— В разведке и говорить-то нельзя, — продолжал убеждать подполковник. — Как там говорить? Кругом враги. Добейтесь, чтобы приказ был выполнен во что бы то ни стало, — вот и все.

— Ребята и без меня все сделают. Старший лейтенант Ромашкин разве допустит, чтобы приказ не выполнить?

— У командира других забот много, а вы людей поднимайте на выполнение его решений — это ваш участок работы.

Рогатин и до этого был в растерянности, а такие слова, как «решения», «поднимать людей», «участок работы», привели его в полное смятение.

— Нет, нет, не смогу я. — Он даже попытался встать и уйти, но Линтварев удержал его, положив руки на широкие круглые плечи.

— Вы коммунист?

— Коммунист.

— От выполнения этого задания зависит жизнь наших отцов, матерей, жен. У вас есть дети?

— Ну…

— Так вот, может быть, в том складе лежит бомба, которую сбросят на ваш или мой дом.

Разведчик задвигал плечищами, явно говоря этим: все, мол, я понимаю.

— А друг у вас есть?

— Есть.

— А может быть, жизнь его оборвет один из снарядов, который там, в хранилище.

— Да отпустите меня, товарищ замполит, я эти проклятые погреба сам взорву!

— Вот и отлично. Сам или кто другой, главное — уничтожить! В общем, я считаю, задачу вы поняли правильно.

Рогатин не успел придумать что-нибудь для возражения, подполковник пожал ему руку и вышел вместе с ним из землянки.

Назначение состоялось.

И вот группа благополучно прошла в тыл, пронесла взрывчатку, отыскала объект, замаскировалась. И двое суток сидит в заброшенной траншее, не находя возможности подступиться к складам. Двое часовых ходят по ту сторону проволочного забора. Причем двигаются они по эллипсу — постоянно навстречу друг другу. Подкрасться сзади или сбоку ни к одному из них невозможно — увидит второй. Да и как подкрасться — проволока накручена шириной в метр.

Караульное помещение, в котором отдыхают свободные смены, находится в небольшом домике неподалеку от складов. Домик обнесен кирпичной стеной и оборудован по всем правилам караульной службы. Окна в нем с решетками, на ночь закрываются изнутри деревянными ставнями — не влезешь и даже гранату не забросишь. Около караульного помещения

постоянно стоит часовой. Он же открывает ворота, если кто постучит снаружи. Ворота все время заперты на засов изнутри. Прежде чем открыть их, часовой смотрит в окошечко — кто пришел. В ограде, видимо, кладовочка для топлива. Двор гладкий, асфальтированный — нет ни куста, ни деревца, снег отброшен к ограде. Все постройки из жженого кирпича, чистенькие, с замысловатыми башенками на углах. В общем, сделано все с типичной немецкой аккуратностью и педантичностью.

Изучая жизнь караула в течение двух суток, разведчики установили его состав и порядок несения службы полностью. В восемнадцать часов приезжает на автомобиле новый караул. Он состоит из начальника — унтер-офицера, — разводящего и шести караульных, всего восемь человек. Смену на пост, состоящую из двух солдат, водит разводящий через каждые два часа. Он подходит к проволочному ограждению складов, один из часовых, убедившись, что пришли свои, открывает ворота, сбитые из деревянных брусков и обтянутые проволокой, смена входит за ограду, где принимает пост.

Два дня Рогатин наблюдал и думал вместе с другими разведчиками, как подступиться к объекту, но в охране все было отлажено четко. За эти два дня он похудел, оброс жесткой черной щетиной, белки глаз от бессонницы подернулись тонкими кровяными жилками.

В траншее было холодно и сыро, ноги не просыхали, едкий туман обволакивал и днем, и ночью, с неба часто лился то жидкий лед, то мокрый снег. Окоп заливало месивом — ни лечь, ни сесть.

Разведчиков знобило, зуб на зуб не попадал. «Ну, если не побьют нас на этом задании, то от простуды околеем, — думал Василий. — Обидно: прошли всю войну, уже конец её виден — и вдруг так бесславно, от какого-то воспаления легких подыхать».

Рогатин терзался больше всех. «Ну что я ему скажу? — думал тоскливо Иван. — Ваше поручение не выполнил! Так, что ли? А он ответит: „Клади на стол партбилет“. Рогатин глядел на ведущих наблюдение товарищей и вспоминал инструктаж замполита Линтварева: „Ваше дело поднять людей…“ А как их поднимать? Куда подымать? Я и сам вижу — тут не подступишься. „Огненным словом!“ Что же, от моего слова порядок в карауле изменится? Вот свалилось на мою голову! „Делом добейтесь выполнения приказа…“ Ну что я сделаю? Чего ещё он говорил? Ах, да: „Командир принимает решения, а вы обеспечивайте их выполнение“. Чего же обеспечивать? Старший лейтенант, да и любой другой на его месте ничего тут не

придумает».

Рогатин пододвинулся к Ромашкину. Молча сел рядом с ним на ступенечки, уперся спиной в стенку окопа — сверху потекла мокрая земля. Иван подождал, пока струйки не истощились, и зло плюнул себе под ноги.

Ромашкин посмотрел на Ивана, про себя отметил: «Нервничает». Простое скуластое лицо Рогатина было хмуро, от густой щетины оно выглядело ещё мрачнее. Рогатин избегал глядеть командиру в глаза. Недовольно сопел и тяжело думал.

Ромашкин приподнялся над краем траншеи и снова стал смотреть усталыми глазами на домик охраны. Несбыточные мысли сменяли одна другую." Подойти к воротам строем под видом нового караула? Но караул приезжает на грузовике ровно в восемнадцать. Если прийти раньше на десять-пятнадцать минут, будет подозрительно. Не успеешь разделаться со старым караулом, подкатит новый. Да и одежды немецкой нет… Пойти ночью к часовым под видом смены? Они окликнут, находясь по ту сторону проволочной ограды. Снять их бесшумно невозможно, выстрелишь —услышат в караульном помещении. Захватить зенитное орудие, раздолбать из него караул и в суматохе уничтожить склады? Это уже совсем из области майнридовских приключений — одну зенитку захватишь, а другие, что же, спать будут?"

Разведчики почти не разговаривали между собой, настроение у всех было мрачное. Они изредка разминались движением рук и покачиванием плеч из стороны в сторону. Сильные, занемевшие от холода и сырости тела хрустели. Ели, пили экономно, продуктов прихватили на двое суток, а теперь дело затягивалось на неопределенный срок. Каждый понимал: сидеть так бесполезно. Сиди хоть неделю — в охране ничего не изменится. Однако никто не осмеливался высказать это вслух, все ждали, чтобы первым сказал командир.

Трудно было Ромашкину решиться на возвращение, но и торчать здесь до бесконечности тоже нельзя. Предпринять какой-нибудь опрометчивый шаг, чтобы доказать командованию свое стремление выполнить приказ, Василий не хотел. Это было не в его характере. Храбрый и честный, он не был способен на авантюризм и показуху. Он готов нести ответственность за невыполнение задания, но не станет рисковать жизнью разведчиков без пользы, без уверенности, что задание будет выполнено.

На третий день к вечеру, когда кончились продукты, старший лейтенант спросил Рогатина:

— Ну что, парторг, будем двигать назад? Не подыхать же

здесь с голоду.

Рогатин ждал этих слов, не раз уже видел этот вопрос в глазах командира, и все же от них будто слабая дрожь пробежала по телу. Разведчик очень уважал старшего лейтенанта, он был для него непререкаемым авторитетом, много раз они рисковали жизнью вместе, много раз оставались живыми благодаря находчивости и отваге Ромашкина. Иван любил этого человека преданной любовью, готов был заслонить его от пули и снаряда, но ответить сразу же согласием на такое предложение командира он сейчас не мог. Он был парторгом. Он понимал своим неторопливым, но ясным рассудком: вопрос стоит не о его жизни или смерти и не о том, отберут или оставят у него партийный билет. Все личное, свое уходило куда-то в сторону — он был представителем партии. Он не мог допустить, чтобы в его присутствии остался невыполненным приказ. Рогатин знал — Ромашкин всей душой хочет выполнить задание, но видит — невозможно.

Иван и сам убежден, что это действительно так. Не будь он парторгом, согласился бы с ним и пошел бы назад. В том-то и дело, он — парторг. И послали его сюда парторгом, может быть, именно для такого случая, чтобы даже в невозможных условиях найти выход.

Рогатин ничего не ответил на вопрос командира, только посмотрел на него пристально и виновато. Ромашкин отвел глаза в сторону. Он понимал состояние сибиряка, сочувствовал ему.

— Понаблюдаем ещё день, — коротко сказал командир и поставил свой автомат к стенке.

У Рогатина мысли в голове ворочались тяжело и беспокойно: «По-моему сделал. Уважил парторга. Ну, а что будем делать?..»

Разведчики, подготовившиеся было к отходу, клали на прежние места вещевые мешки с взрывчаткой и оружие, молча рассаживались в опротивевшей всем сырой траншее; было видно по их вялым движениям, что они недовольны. Иван, чтобы не видеть это и не встретиться с осуждающими взорами товарищей, уставился на караул ненавидящим взглядом. Он смотрел на темные фигурки немцев, прохаживающихся за проволочной оградой, и готов был разорвать их сейчас. «Все из-за вас, гады», — думал он.

Рогатин украдкой оглянулся на товарищей: кто сидел, прислонясь спиной к стене, кто полулежал, опираясь на локоть. «Был бы на моем месте настоящий парторг, может, и зажег бы их огненной речью, а я разве нарожаю столько слов, чтобы ребят распалить?»

Иван мучительно боролся со своей робостью, заставлял себя

говорить и все никак не мог решиться на это. Наконец он вымолвил:

— Разве мы их к себе звали? Работали бы каждый на своем месте… Я бы сейчас технику ремонтировал, к посевной готовился, другие там… где всегда работали… А в деревнях они что делали? Палили все, народ уничтожали…

Рогатин замолчал, подыскивая, о чем говорить дальше. А разведчики искоса поглядывали на него, и каждый понимал: говорит все это сибиряк потому, что его назначили парторгом. Жалко было смотреть на этого беспомощного здоровяка. Стыдно было сознавать, что это они виноваты в его терзаниях. Ивану произносить речь труднее, чем десять раз на задание сходить. Выполнили бы приказ, не было бы этой угнетающей тяжести. Но как, как его выполнить?

Рогатин так и не закончил свою агитацию, он неуклюже повернулся и, высунувшись из траншеи, стал наблюдать. Василий примостился рядом с Рогатиным и тоже стал смотреть в сторону караула. А там жизнь шла своим, строго установленным порядком: прохаживался у двери часовой, ворота были заперты, свободные смены находились в доме. Ромашкин хорошо представлял даже то, что происходило внутри помещения: начальник караула, наверное, сидит в своей комнате и читает или играет с разводящим в шахматы; двое караульных спят, как им и положено перед заступлением на пост; один караульный стоит у входа в помещение, другой топит печь или письмо пишет в общей комнате; двое на посту у склада. Вот все восемь.

Размышляя, Ромашкин увидел, как из караульного помещения вышел солдат в наброшенной шинели и направился к домику в дальнем углу двора.. Через некоторое время он прошел назад, поправляя на ходу ремень на брюках; часовой, который охранял караульное помещение, даже не взглянул в его сторону.

Василий и Рогатин посмотрели друг другу в глаза одновременно. Они подумали об одном и том же. Есть зацепка! Они поняли это сразу. Опустившись в траншею, старший лейтенант стал излагать разведчикам свой план — это была единственная возможность выполнить задание, которая выявилась только сейчас. Вариант был очень рискованным, успех его зависел от одного человека, которому предстояло осуществить самую опасную часть замысла.

— Пойду я, — твердо сказал Рогатин в то мгновение, когда и сам Ромашкин, и все разведчики с опаской соображали, кому же придется это выполнять.

С наступлением темноты группа выбралась из траншеи и подкралась к забору в том углу, где находилась уборная

караульного помещения. Рогатин и Пролеткин с помощью товарищей бесшумно перелезли через ограду и затаились в туалете. Была сырая темная ночь, у немцев вблизи складов и в самом карауле отличная светомаскировка, ничего не видно, только резкий, как команда, говор, долетавший из темноты, постоянно напоминал, что здесь тыл врага.

Ждать пришлось долго. Но вот послышались шаги. Гитлеровец шел к туалету. Разведчики приготовили оружие и гранаты. Если немец закричит — придется вести бой со всем караулом. Темная фигура вошла в дверь, Ромашкин услышал короткую возню, тяжелое шарканье подошв по дощатому полу. И тут же все стихло. Через минуту показался темный силуэт человека. По широким плечам и раскачивающейся походке Ромашкин, смотревший через забор, понял — это идет Рогатин. Иван прошел мимо часового, который топтался, грея ноги, в стороне от двери. В свете, на миг упавшем из открывшейся двери, Ромашкин увидел на Иване немецкую шинель. Это была шинель того, кто остался лежать в туалете.

Василий смотрел на секундную стрелку часов и представлял, что сейчас происходит в караульном помещении. Рогатин должен быстро определить, где комната для отдыха, и пройти туда. А что если он столкнется с разводящим или начальником караула и они, взглянув ему в лицо, обнаружат чужого? Он успеет выстрелить, в кармане у него пистолет, который отдал ему Ромашкин. Стрелочка на часах пробежала десять делений. Выстрела не было. Значит, Рогатин вошел в спальное помещение. Сейчас он ищет ощупью в темноте, где лежат отдыхающие гитлеровцы. Их должно быть не больше двух, спать полагается только одной трети караула — педантичные немцы, конечно, не нарушают это правило.

Стрелка отсчитала ещё пятнадцать делений. Сколько нужно секунд для двух взмахов ножа? Все тихо. Значит, ни один из спящих не вскрикнул.

Сейчас Рогатин, наверное, смотрит через щель приоткрытой двери в общую комнату. Кто там может быть? Разводящий и караульный?.. Нет, только разводящий. Один караульный на посту у входа в помещение, второй лежит здесь, в туалете. А если в общую комнату зашел начальник караула? Тогда двое против одного Рогатина. Нужно быть наготове. Ромашкин взмахнул рукой и первым спустился с ограды к стене уборной. Саша Пролеткин помог ему опуститься бесшумно. Через открытую дверь Василий увидел неподвижное темное тело гитлеровца. Разведчики как тени один за другим соскользнули с ограды вниз. Ромашкин окинул двор быстрым взглядом: «Хорошо, что

караульное помещение обнесено кирпичным забором, если случится у нас заваруха, никто со стороны не заметит, и отбиваться в случае чего будет удобнее».

Василий ощущал, как дрожит стоящий рядом с ним Жук. Это у него не от страха — от волнения. Ромашкин чувствовал, что и сам дрожит. Он посмотрел на часы. Вдруг в караульном помещении сухо треснул выстрел. Часовой кинулся к двери. Василий тут же устремился к караульному помещению. Уже на бегу услышал ещё один хлесткий выстрел. Когда вбежал в дверь, сразу же споткнулся о тело часового. Рогатин стоял посередине комнаты, а перед ним, высоко задрав прямые, как палки, руки, тянулся унтер. Через дверь в общую комнату был виден ещё один распростертый на полу гитлеровец.

— Те двое тоже в порядке, — сдавленным голосом сказал Рогатин, кивнув на дверь спального помещения.

— Здорово сработал, молодец! — прошептал Ромашкин и, поняв, что теперь таиться, собственно, не от кого, караул уничтожен, внятно сказал: — Жук, проверь-ка — никто не бежит на выстрелы?

Жук поспешил к воротам.

— Не должно бы, в помещении стрелял, — сказал Пролеткин и, кивнув на унтер-офицера, спросил: — Куда этого, товарищ старший лейтенант? Может, и его кокну потихонечку?

— Прихватим с собой как вещественное доказательство, — сказал Ромашкин, подумав, что пока сделано лишь полдела. — Ну-ка, хлопцы, Хамидуллин и ты, Вовка, переодевайтесь, я пойду за разводящего. Нужно посты снимать, время не ждет.

— Может, этого впереди пустим? Он пароль и отзыв знает, — предложил Пролеткин, показывая на гитлеровца, который все ещё тянул руки к потолку. Немец был бледен, у него дрожали щёки и обалдело бегали глаза, из-под фуражки о щекам струился пот.

— А если вместо пропуска он крикнет предупреждение часовым? — возразил Ромашкин.

— А во! — сказал грозно Рогатин и ткнул пистолетом в живот начальника караула. Тот не понимал, о чем идет речь, и ещё больше вытянулся. — Он, видать, не из храбрых. Я когда вон того трахнул, этот выбежал из своей комнаты и сразу руки в гору задрал.

— Опасно с ним связываться. В него стрельнешь, часовые или зенитчики могут услышать, — не соглашался Ромашкин. — Будем действовать, как раньше наметили.

Двое разведчиков и Ромашкин взяли немецкие автоматы, проверили их, зарядили и, построившись в затылок, зашагали к воротам.

Хотя опасность ещё не миновала и было неизвестно, чем все это кончится, разведчики, глядя на марширующих товарищей, невольно заулыбались. У ворот Ромашкин остановил группу. Он выждал время, когда должна выходить смена, и вывел ребят точно по установленному в карауле режиму.

Смена зашагала к складу. Со стороны огневых позиций зенитчиков доносился громкий говор. Зенитчики даже не подозревали, что творится во мраке ночи рядом с ними.

Разведчики шли ровным шагом, не рубили строевым, но и не волочили ноги, шли спокойно, как это делали смены, которые они видели за эти дни.

«Трое на двоих, справимся ли без шума? —думал Василий. — Если бы не отделяло проволочное ограждение, Хамидуллин один переломал бы им хребты. Главное, чтоб пропустили за проволоку».

Ромашкину было видно, как темные фигуры часовых, завидев смену, не торопясь побрели к воротам. Уже звеня запором, один из солдат, как и полагалось в подобном случае, крикнул: «Кто идет? Пароль!» Василий, шедший первым, невнятно пробормотал в ответ и ускорил шаг. «Надо поскорее сблизиться». Часовые не поняли, что сказал Ромашкин, приняли его за разводящего, впустили смену и в следующий миг оба свалились, оглушенные ударами автоматов по голове.

Разведчики, те, кто наблюдал за сменой из-за ворот, побежали к складу с вещевыми мешками, в которых была взрывчатка и бикфордов шнур. Ромашкин подскочил к двери крайнего хранилища и остановился. Перед ним тускло мерцала не дверь, а целые металлические ворота. Они были заперты. Как же их открыть? У разведчиков не было для этого никаких приспособлений. Замки оказались внутренними, в плотном теле двери чернели лишь замочные скважины. Разведчики, обескураженные, топтались на месте. Вот так штука! Караул снят, часовые сняты, а в хранилище не проникнешь. Пролеткин схватил лом со щита с противопожарным инструментом. Но Ромашкин остановил его после первого же удара. Двери страшно загудели, разведчикам показалось, что этот гул услышали не только зенитчики, но даже ближние гарнизоны.

Вдруг Ромашкин вспомнил: «У нас в училище после закрытия складов ключи сдаются опечатанными в караульное помещение. Может, и у немцев так же?»

Василий велел подождать его, а сам побежал в дом, где осталась перебитая охрана. Он торопливо перерыл все ящики в столе начальника караула, а потом увидел на стекле в застекленной витрине одинаковые кожаные мешочки с печатями

из мастики. Схватив их, Ромашкин поспешил назад. Он бежал, стараясь ступать как можно мягче, опасаясь, что зенитчики услышат его топот. Здесь никто раньше не бегал, жизнь на складе шла спокойно, бегущий человек мог сразу насторожить. Василий перешел на мягкий, торопливый шаг и, тяжело дыша от возбуждения, наконец подошел к ожидающим его разведчикам.

… Когда раздался первый взрыв, все вокруг озарилось ярко-красным отсветом. Пламя первого взрыва ещё не погасло в черном небе, а в него уже устремились снизу два новых огненных шара. У пленного начальника караула от ужаса глаза едва не выскочили из орбит — для него эти взрывы означали неминуемый расстрел, если попадет в руки своих начальников. Понимая это, унтер-офицер бежал вместе с разведчиками к линии фронта, даже не помышляя о том, чтобы удрать. Ромашкин спешил; пока позволяло время, нужно было уйти из этого района подальше, скоро начнется облава. У всех было тревожно и радостно на душе.

В эту же ночь группа благополучно перешла линию фронта. Утром разведчики были уже в штабе полка. Ромашкин искренне удивился, когда полковник Караваев спросил его:

— Ну, как дела? Что будем докладывать командованию?

Разведчикам казалось — склады рванули и брызнули огнем в небеса так, что было слышно и видно и в Москве, и в Берлине, а оказывается, ничего ещё не известно даже здесь, в полку.

Ромашкин доложил о выполнении задачи и, кивнув в сторону «языка», добавил:

— Он все видел и может подтвердить. Это начальник караула.

Командир поздравил разведчиков с успехом, каждому пожал руку и пообещал:

— Всех вас, товарищи, сегодня же представим к награде. Ромашкин смущенно покашлял, а потом, решительно вскинув голову, сказал Караваеву:

— Уж если зашел разговор о наградах, прошу вас, товарищ полковник, представить к награде парторга группы — рядового Рогатина. Если бы не он, мы не справились бы с задачей.

Линтварев так и всплеснул руками от неожиданности и весело сказал, обращаясь к Рогатину:

— Ну вот, а ты отказывался: «Говорить не умею!»

— Все он умеет, товарищ подполковник, и говорит лучше нас всех — только на особом языке, на языке разведчиков, — в тон замполиту шутливо сказал Ромашкин и серьезно добавил: — А насчет награды ещё раз прошу представить рядового Ивана Рогатина к ордену именно как парторга.

И Василий подробно рассказал обо всем командованию.

Почти три месяца войска готовились к штурму Восточной Пруссии. Разведчики искали удобные подступы к обороне врага, уточняли расположение дотов, засекали огневые точки, выясняли, кто здесь обороняется, что замышляет. Тысячи глаз, приникнув к биноклям и стереотрубам, вглядывались во вражеские укрепления, изучали, оценивали, прикидывали, как их брать. Немецкие позиции фотографировали с самолетов и, сравнивая снимки, в штабах следили за изменениями на фронте и в глубине обороны противника. В нашем тылу росли штабеля боеприпасов — снарядов, мин, гранат, патронов, — укрытые брезентом, замаскированные ветками. Ромашкин видел, как артиллеристы спорили из-за места — негде было ставить орудия. В распоряжении полка Василий насчитал почти пятьсот гаубиц, пушек иминометов — около двухсот пятидесяти стволов на один километр фронта!

Все эти три месяца Ромашкин чувствовал, что во всех звеньях их фронтовой жизни будто натягивалась какая-то внутренняя пружина, виток за витком, словно по резьбе. Эта пружина сжималась все туже, делалась такой упругой и сильной, что уже не хватало сил её сдерживать. Нужна была разрядка. Нужен был штурм.

И штурм этот грянул в новом, 1945 году.

Накануне полковник Караваев строго поглядел на Ромашкина и сказал:

— Как собьем фашистов с этого рубежа, ты рванешь к реке Инстер. Даю тебе роту танков и взвод автоматчиков. Посадишь всех своих людей на танки — и что есть духу вперед! Пойми: все решает быстрота. Обходи фольварки, высоты, рубежи, где встретишь сопротивление. Уничтожение противника — не ваша забота. Оставляйте его нам. К исходу дня мы должны прийти к Инстеру. Сил в полку останется мало, и мне потребуются самые точные сведения о противнике. Если соберете их, мы переправимся через реку и захватим плацдарм. Вот полоса для действий твоего отряда. — Полковник показал на карте границы, отмеченные красным карандашом. — Понял?

— Так точно! — ответил Ромашкин и улыбнулся, чтобы командир полка видел: он идет на это задание уверенно, и нет оснований с ним так строго разговаривать.

Но у полковника перед наступлением было много забот, и на улыбку Василия он не обратил внимания. Его сейчас угнетала и злила мысль о недостатке автомашин. Караваев не сомневался, что собьет немцев с рубежа на участке, указанном полку. А как их преследовать? Машин хватит всего на один батальон, который

можно пустить по следу отряда Ромашкина. Но этот батальон может увязнуть в бою, и развить успех будет нечем. Караваев стоял над картой у стола и, нервно постукивая по ней карандашом, говорил:

— Начнется старая история: мы выбьем их с одного рубежа, они откатятся на другой. И опять дуй-воюй с теми же гитлеровцами. Хватит так воевать! Все, кто противостоит нам, должны здесь и остаться! А уцелевших мы должны обогнать и выйти на следующий рубеж раньше их. Понятно? Есть у вас, господа фашисты, новые силы — давайте биться. Нету? Мы наступаем дальше. Понял?

— Понял, товарищ полковник, — ответил Ромашкин.

— А где и какие у них силы, будешь сообщать ты. Усвоил? Ответить Ромашкин не успел: в комнату вошел Линтварев, за ним шупленький незнакомый капитан, на его гимнастерке —ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Умные глаза капитана смотрели приветливо, с близоруким прищуром.

— Вот, товарищ капитан, гость к нам.

Ромашкин едва сдержал улыбку — только гостей не хватало сейчас полковнику!

— Это военный корреспондент, капитан Птицын.

— Алексей Кондратьевич, не до этого мне, — перебил Караваев.

—Я все понимаю, товарищ полковник, — сказал Линтварев настойчиво и твердо. — Капитану приказано написать статью о Ромашкине, поэтому я привел его к вам.

— Сейчас Ромашкину некогда беседовать с корреспондентом, — отрезал Караваев. — Он должен подготовить разведотряд и немедленно выступить.

—Я не буду мешать старшему лейтенанту, — примирительно сказал Птицын. — Расспрашивать ни о чем не стану. Я просто отправлюсь с ним, посмотрю все сам и напишу…

Голубые глаза Караваева стали совсем холодными, он прервал капитана:

— Ромашкин уходит в тыл врага. Корреспонденту делать там нечего. Напишите о ком-нибудь другом. Подполковник Линтварев подберет вам кандидатуру. Идите, товарищ Ромашкин, о готовности доложите начальнику штаба.

Выходя, Василий слышал, как Птицын все так же мягко и вежливо говорил командиру:

— Бывал я и в тылу, и у партизан, и в рейдах с танкистами, с кавалерией…

Василий велел старшине Жмаченко готовить разведчиков, а сам отправился искать танковую роту и взвод автоматчиков,

приданных ему. Он довольно быстро решил все дела с их командирами и вернулся к себе. Изучая маршрут движения и прикидывая, что может встретиться на пути, совсем забыл о корреспонденте. Но когда пришел к Колокольцеву, увидел там знакомого капитана.

— Ну, вот и ваш будущий герой, — сказал Колокольцев при появлении Ромашкина. Капитан оживился, протянул руку Ромашкину, как старому знакомому.

«Настырный, —подумал Василий, — все же добился своего! Но не дай бог случится с ним что-нибудь, я буду виноват». У Ромашкина испортилось настроение, он вяло пожал руку Птицыну и, не обращая на него внимания, сказал Колокольцеву:

— Куда я дену его, товарищ подполковник? В тыл же идем.

Птицын на этот раз обиделся. Из вежливости он терпел такое отношение со стороны старших, но от Ромашкина, видно, обиды сносить не собирался.

— Девать меня никуда не нужно. Решайте свои вопросы — и пойдемте. Я сам знаю, куда мне деться.

Ромашкин вопросительно глядел на Колокольцева. Но тот пожал плечами.

— Ничего не могу изменить. Капитан получил разрешение от вышестоящих начальников.

Разведотряд сосредоточился в лощине. Танки, их оказалось в роте всего четыре, уткнулись носами в занесенные снегом кусты, экипажи не стали закапывать машины — скоро вперед. Разведчики и автоматчики грелись у костров, готовые по первой команде вспрыгнуть на броню.

Командир танковой роты старший лейтенант Угольков, в черном комбинезоне и расстегнутом шлеме, сдернув замасленную рукавицу, отдал честь капитану, прибывшему с Ромашкиным.

— Посадите журналиста в один из танков, — сказал Ромашкин. Он обиделся на то, что Птицын его обрезал, и за всю дорогу не сказал ни слова.

Поняв, что капитан никакой не начальник, Угольков заговорил обиженно, обращаясь только к Ромашкину:

— Куда я его посажу? Ну куда? Лучше десяток выстрелов ещё загрузить. Ты в бою скажешь — огня давай, а я журналистом, что ли, стрелять буду?

Птицын рассмеялся:

— Не вздорьте, ребята! Я на броне вместе с автоматчиками. — И ушел к бойцам, не желая больше обременять командиров.

— На кой черт он тебе сдался? — спросил Угольков.

— Да приказали! — с досадой отмахнулся Ромашкин.

Артиллерийская подготовка началась не утром, как это чаще всего бывало раньше, а в полдень, в обеденное время, когда немцы, съев свой овощной протертый суп и сосиски с капустой, дремали, разомлев от горячей еды.

Батальоны прорвали первую линию обороны врага. Обгоняя пехоту, на участке соседней дивизии вперед понеслась лавина танков — не меньше дивизии.

Ромашкин тут же получил сигнал «Вперед!». Он вывел свой отряд по мокрой вязкой лощине, внезапным рывком из-за фланга второго батальона смял, разогнал огнем уцелевших здесь фашистов и понесся вперед, стараясь не отстать от гудящей справа танковой армады.

Корреспондент сидел за башней тридцатьчетверки рядом с Ромашкиным, крепко держась за скобу, и зорко поглядывал по сторонам. Василий тоже вцепился в металлический поручень, специально приваренный для десантников, и мысленно подгонял Уголькова: «Давай, давай!» Нет ничего более неприятного в бою, как сидеть десантником на танке. Ты открыт всем пулям и осколкам, все они летят прямо в тебя. Танк мотается вправо, влево, подскакивает вверх, проваливается вниз, в воронки. Он, как необъезженная лошадь, делает все, чтобы сбросить автоматчиков и разведчиков. Свалишься — смерть: танк умчится, а ты останешься один среди врагов, останавливать из-за тебя машину и превращать её в неподвижную мишень никто не будет…

Танки неслись вперед, рыча и отбрасывая гусеницами ошметья мокрой земли. Десантники видели немцев,

стреляющих в них, но даже не могли ответить огнем: надо держаться, иначе свалишься. Саша Пролеткин как-то ухитрился одной рукой достать гранату, вырвал зубами чеку и бросил лимонку в окоп, из которого высовывался фриц с пулемётом. Вовремя отреагировал Саша, фашист мог срезать многих. Капитан Птицын улыбнулся посиневшими губами, крикнул, стараясь перекрыть шум мотора:

— Молодец!

Переваливая через траншеи, как по волнам, танки углублялись в расположение противника. Из боевой практики Ромашкин знал — вторая позиция немцев состоит из трех траншей, потом разрыв километра полтора-два — третья позиция, такая же, как вторая. Но на своей земле немцы нарыли что-то непонятное — двадцать две траншеи насчитал Василий, прежде чем танки вырвались из этой перекопанной зоны. И каждую из них придется брать с боем, возле каждой останутся наши убитые! Траншеи сейчас пусты, лишь в дотах были постоянные гарнизоны.

Главные силы полевых войск остались позади, на переднем крае. Правильно сказал Караваев — надо, чтобы все гитлеровцы там и остались, не успели отойти.

Создав мощные оборонительные полосы, немцы не думали, что наши войска так быстро их изломают. Когда отряд Ромашкина проносился через фольварки и небольшие поселки, пожилые немцы, в шляпах с перышками, в кожаных на меху жилетах, растерянно смотрели на советские танки и не могли понять, откуда они взялись. Лишь через некоторое время, когда копоть, выброшенная моторами, оседала, эти гражданские немцы кидались упаковывать и прятать свои вещи. Нет, не думали они видеть русских на своей земле!

В поселке Хенсгишен на площади, обставленной аккуратными домиками, крытыми красной черепицей, на шум танков из бара вышли приветствовать своих танкистов офицеры и унтера. Они поднимали кружки с белой пеной и что-то орали. Когда один из танков стал медленно наводить на них орудие, они побросали кружки и кинулись назад в пивную. Грохнул выстрел, и в том месте, где была витрина бара, вскинулся и закрутился клуб черного дыма.

— Это вам на закуску к пиву! — крикнул Угольков, высовываясь по грудь из люка. — Тебе, Ромашкин, Колокольцев передал: у них все идет нормально, задача остается прежней. Командир требует как можно быстрее вперед, на реку Инстер!

— Вот и жми! — весело ответил Ромашкин. — Как повезешь, так и воевать будем!

И опять гудели танки. Они мчались по проселочной дороге, обсаженной липами. Мокрый снег слетал с ветвей, но не попадал на разведчиков, танки успевали пронестись дальше.

Ромашкин был уверен, что немцы по телефону сообщат своим тылам об отряде, прорвавшемся на танках. Резать телефонные провода у разведчиков не было времени. Танкисты просто ломали танками столбы, как спички, и мчались дальше. Конечно, немцы могли предупредить своих по радио. И где-то в глубине наверняка выставят на дороге заслон. Но Ромашкин понимал: заслон этот сильным быть не может, сейчас гитлеровцам не до его отряда, главная их забота — танковое соединение, которое наступало рядом, на участке соседа.

В шесть часов разведотряд вышел в назначенный ему район, но путь танкам к реке преградил густой лес. Валить толстые деревья танки не могли. До реки осталось не более километра — она была за этим лесом, но как подойти к берегу? В обход долго. К тому же вдоль реки проходил немецкий оборонительный рубеж.

— Ты оставайся здесь, — оказал Ромашкин Уголькову, — а я

с ребятами пойду через лес, посмотрю, что там.

Автоматчики со своим командиром лейтенантом Щеголевым и разведчики двумя колоннами двинулись в лес. Капитан Птицьш шел рядом с Ромашкиным. Он держался спокойно, прислушивался и приглядывался к своим спутникам.

Ромашкин, чтобы загладить свою грубость, несколько раз разговаривал с капитаном. Тот оказался незлопамятным, и ещё на танке Василий понял — они поладят. Вот и сейчас, осторожно пробираясь лесом, Ромашкин начал разговор:

— Все у немцев не по-нашему, даже в лесу.

— Да, лес ухоженный, — согласился капитан, подумав, что лес понравился разведчику. Но Ромашкин имел в виду совсем другое:

— Это не лес, а парк культуры. Кусты, подлесок вырублены, ни завалов, ни пней, вдаль все просматривается. Стерильный лес, наверное, ни ягоды, ни грибы не растут.

Опушка не доходила до воды метров на триста, за рекой виднелась обычная для здешних мест обсаженная деревьями, покрытая асфальтом дорога. Где-то там, за серыми деревьями и кустами, затаилась сильно укрепленная Инстербургская линия обороны. По асфальту то и дело проносились машины. Справа дорога поворачивала к реке, по мосту перебегала на этот берее и скрывалась за лесом. Мост охранял часовой, неподалеку стоял кирпичный домик, там, наверное, отдыхали караульные.

— Если бы мост захватить, — сказал Саша Пролеткин. Ромашкин разглядывал в бинокль подходы и думал об этом же.

— Хорошо бы, — согласился он.

— А что? — оживился Щеголев. — Людей хватит.

— Захватить-то хватит, а удержать? — спросил Ромашкин.

— Удержим. Танки подойдут, помогут.

. — Долго не продержимся. Фашисты все сделают, чтобы нас выбить. Мы тут будем как кость в горле. Надо выскочить на мост перед самым приходом полка, чтобы наши успели, — наблюдая, говорил Ромашкин. — Да, этот мост для Караваева просто подарочек: не придется форсировать реку под огнем, проскочат по мосту с комфортом! Жук, запроси, где сейчас передовой батальон.

Из полка ответили: «Первый брат идет вслед за вами, скоро наступит вам на пятки».

«Это Караваев велел передать, — подумал Ромашкин. — Торопит. Ну что же, сейчас мы обрадуем вас, товарищ полковник».

— Если батальон на подходе, брать мост будем немедленно! Ты, Щеголев, со своими хлопцами перейдешь реку здесь. Лед,

наверное, выдержит. Выходи на шоссе, прикроешь слева, чтобы нам не помешали разделаться с охраной. Я с разведчиками подойду лесом вплотную к мосту. Наблюдай за нами. Как мы начнем, ты сразу же перерезай шоссе. Севостьянов и Кожухарь, вернетесь назад — ведите танки в обход леса к мосту. Все. Пошли. Только тихо.

— Я с вами, — сказал Птицын.

— Может быть, отсюда посмотрите? Все видно будет. Дождетесь здесь танковую роту.

— Нет, я с вами.

— Ну, хорошо. Двинули!

Скрываясь за деревьями. Ромашкин подобрался к мосту метров на сто и отчетливо увидел часового — толстого, неопрятного, пожилого. «Наверное, из тотальных», — подумал Ромашкин. У домика на другом берегу никого не было, но из трубы шел дымок. «Греются у печки. Сейчас мы поддадим вам жару!»

— Шовкопляс, ты можешь снять этого одиночным выстрелом? — спросил Ромашкин.

— Та я его щелчком сыму, не то шоб пулей.

— Не подпустит. Шум поднимет.

Шовкопляс снял автомат с груди, глянул на командира:

— Прямо сейчас сымать?

— Погоди. Рогатин и все остальные, держите на мушке двери. Если услышат выстрел и выбегут, бейте в дверях. Пролеткин, наблюдай за шоссе вправо. Голубев — влево. Начнем, когда на подходе никого не будет. Всем приготовиться.

Ромашкин видел, как и корреспондент достал из кобуры свой пистолет.

— Как дорога? — спросил Ромашкин.

— У меня чисто, — сказал Саша.

— У меня идут две машины, — быстро ответил Голубев.

— Подождем, пропустим машины, — скомандовал Ромашкин.

Два грузовика с длинными, низко посаженными кузовами, дымя, протащились через мост. Часовой что-то крикнул шоферу. «Ну, все, фриц, это твои последние слова», — подумал Василий и, когда грузовики ушли не так далеко и могли шумом моторов заглушить одиночный выстрел, приказал:

— Шовкопляс, стреляй!

Разведчик поднял автомат, прислонился к дереву для упора, выстрел треснул, как сломанная сухая ветка, и часовой мягко свалился на бок.

— За мной! — Ромашкин устремился к мосту, наблюдая за домиком. Там, видно, ничего не слышали.

— Пролеткин, Голубев, ну-ка, подбросьте им пару гранат, чтобы теплее стало! Всем остальным спрятаться под мост, часового убрать.

Вовка и Саша пошли к домику. Про себя Василий отметил: «Молодцы, идут к слепой стене, там нет окон». Но когда, приблизившись, они затоптались на месте, Ромашкин встревожился: эти сорванцы опять что-то придумали — Пролеткин почему-то полез на плечи Голубеву, который стоял, упираясь в стену.

Саша взобрался на крышу и опустил в трубу две гранаты. Грохнул глухой взрыв, стекла вылетели, дверь распахнулась, но никто не выбегал, видно, дверь выбило взрывной волной. Слабый дымок тянулся через раму. Голубев с автоматом наготове вошел в дом. Вскоре он выбежал и крикнул:

— Порядок!

А с шоссе уже махал Щеголев. Он тоже вышел на дорогу, как было приказано.

— Как по нотам, специально для вас сделано! — весело сказал Жук Птицыну.

— Да, высокий класс! — восхищенно оценил корреспондент. — Не зря о вашем взводе слава ходит. Хороший будет материал!

— Не кажи гоп, — предостерег Шовкопляс.

— Это цветочки, — согласился Ромашкин. — Ягодки… — Он не успел договорить — показались три грузовика с брезентовыми тентами. — Ягодки вот они, на подходе, — озабоченно закончил Ромашкин. — Всем сидеть тихо, может быть, проскочат. — И замахал рукой Вовке и Пролеткину: — Уйдите в дом!

Автомашины приближались медленно. «Хорошо, если везут груз, а если пехота?» — думал Василий, глядя снизу на мост, затянутый грязной паутиной.

Рыча моторами и обдав разведчиков вонью сгоревшей солярки, грузовики медленно проходили по мосту. Разведчики держали гранаты наготове. Машины покатили дальше. Ромашкин с тревогой смотрел им вслед. «Как поступит Щеголев? Не надо бы сейчас ввязываться в бой». Автоматчики, увидев, что Ромашкин пропустил машины, тоже не стали их обстреливать. «Молодец Щеголев, догадался!»

— Товарищ старший лейтенант, — позвал Пролеткин, — тут телефон звонит.

Ромашкин взглянул на столбы с проводами, приказал:

— Рогатин, ну-ка займись, обруби связь! — А Пролеткину ответил: — Сейчас перестанет звонить. Ну, показывайте, что вы нашли? Документы, трофеи?

— Ничего особенного: служебные книжки, кофе в термосе, хлеб черствый.

— Вот война пошла, — сказал Василий Птицыну. — Раньше разведчики жизни отдавали, чтобы достать эту проклятую солдатскую книжку. А теперь и смотреть там нечего. У них в тылу уже не только дивизии и полки, а появились какие-то сводные отряды, команды, всякие группочки. «Языки» из этих команд ни черта не знают. Неделю был в одной команде, сейчас в другой. Кто командир, какая задача, что собираются делать — толком никто не представляет. Да, поломали мы немецкий порядок! Теперь у них только в приказах все по пунктам, по рубежам, по времени расписано. А в поле мы по-своему все поворачиваем. Отвоевались фрицы!

— Не могу с вамп согласиться, — возразил Птицын. — Мы лишь первые шаги делаем по их земле. У нас впереди вся Германия. Сопротивляться они будут отчаянно, укрепления сами видели какие настроили, а дальше ещё и долговременные оборонительные полосы с бетонными сооружениями. Они рассчитывают, что мы сами откажемся от продвижения в глубь страны.

— Ну, это шиш, — сказал Иван Рогатин. — Уж раз начали, добьем непременно. Я через любой железобетон пройду, а в Берлине свои сто грамм выпью!

— Ладно, братцы, мост — дело попутное, надо вести разведку берега. Скоро полк подоспеет, — сказал Ромашкин. — Ты, Рогатин, с Пролеткиным и Голубевым посмотрите, что делается от моста вправо. Шовкопляс пойдет со мной. Остальным остаться здесь. Жук, доложи в полк, что готовенький мост ждет их здесь!

Василий пошел к взводу Щеголева, разглядывая в бинокль окружающие поля и фольварки. Траншей было много, все старые, припорошенные снегом — давно подготовлены. Солдат в траншеях не оказалось. Только у сараев, у стогов сена, в отдельных домиках мелькали зеленые фигурки. «В замаскированных дотах гарнизоны в полной готовности, полевых войск пока нет, — делал выводы Ромашкин и наносил все на карту. — Они нас, конечно, заметили. Понимают — мы разведка, и не стреляют, чтобы скрыть свои огневые точки. Но какие-то меры для нашего истребления они предпримут».

Василий не дошел до взвода автоматчиков — там началась перестрелка. По кювету Ромашкин побежал вперед. Лег за дерево рядом со Щеголевым и стал стрелять короткими очередями по реденькой цепи, которая то ложилась, то опасливо шла вдоль дороги. Вдали стояли два грузовика.

— Этих-то мы положим, — спокойно сказал Щеголев,

тщательно прицеливаясь и стреляя по гитлеровцам. — А потом?..

— Скоро батальон подойдет, — успокоил Ромашкин.

Автоматчики стреляли метко, и половина зеленых фигурок вскоре уже не поднималась. Оставшиеся в живых отступили назад к грузовикам.

— Беречь патроны! — крикнул Щеголев автоматчикам и, достав кисет и кресало, стал закуривать.

Вдруг сзади, у моста, бухнули взрывы гранат и затрещали автоматы. Ромашкин вскинул бинокль. На мосту дымилась разбитая машина, от нее убегали к лесу уцелевшие фашисты. Неподалеку остановилась колонна грузовиков, из кузовов выпрыгивали немцы. Их было не очень много, видимо, они охраняли груз.

— Ну, вот и там началось, — сказал Ромашкин и, прежде чем уйти, велел Щеголеву: — Держись здесь, сколько сможешь. А если попытаются тебя отрезать, отходи к нам. Будем держать мост.

Ромашкин позвал Шовкопляса и побежал назад.

— Мы решили на всякий случай на мосту завал сделать, — доложил Рогатин. — К вам в спину-то пропускать нельзя было.

— Правильно сделал, — одобрил Ромашкин и приказал: — Ну а теперь всем в немецкие окопы — и готовьтесь к тяжелой драке.

Василий спустился в траншею, вырытую немцами для обороны моста. Мокрая, жидкая земля на стенах липла к одежде, но дно оказалось твердым, предусмотрительные немцы сделали отводы для воды.

— Пролеткин, тащи из домика гранаты, патроны — все, что там есть, пригодится. Жук, где батальон?

— Сейчас запрошу. — Поговорив со штабом, он доложил: — Застрял батальон, товарищ старший лейтенант, около Хенсгишена, застопорился там, где наши танкисты в пивнуху снаряд засадили.

— Да-а? — тревожно протянул Ромашкин.

Положение разведотряда осложнялось. Если раньше, в движении, он мог уклоняться от боя и ускользать от врагов, то теперь его наверняка попытаются окружить и уничтожить. А уходить нельзя: мост надо удерживать, он очень пригодится полку.

Справа послышались взрывы — по автоматчикам уже били из минометов. «Понятно, минометы поставили на запасные позиции и теперь дадут нам прикурить», — отметил Ромашкин.

Подошел Голубев. Несмотря на огонь из автоматов, он все же успел порыться в машине, подорванной на мосту.

— Что там? — спросил Василий.

— Железяки, — разочарованно ответил Голубев. — И эти, как их, ну, блины такие железные, мины против танков.

— Пригодятся! — обрадовался Ромашкин. — Голощапов и Хамидуллин, набросайте мины на той стороне перед мостом, могут и танки появиться. Да осторожно, берегом прикрывайтесь!

Голощапов, как всегда, недовольно заворчал себе под нос:

— Легко сказать — набросайте. Машина ещё дымится. Подойдешь, а она рванет. Набросайте!..

— Это резиновые баллоны дымят, — сказал Голубев. — Разрешите мне, товарищ старший лейтенант? Я там все знаю.

— Давай, дуй, раз ты такой прыткий, — усмехнулся Голощапов, поглядывая на командира: что он скажет?

Ромашкин хорошо знал старого ворчуна. Потакать ему нельзя, а в разговор втянешься — тоже ничего хорошего не жди. Поэтому Василий молчал, разглядывая в бинокль опустевшие грузовики. Голощапов, ворча, поплелся за Хамидуллиным.

Через полчаса фашисты пошли в атаку. Сзади, из Инстербургского укрепленного района, ударили минометы и пушки. Несколько снарядов угодило в реку, вскинув фонтаны воды и обломков льда.

Разведчики выпустили вражеских солдат из леса, позволив им выйти на чистое поле. Немцы, подозревая, что их специально подпускают, шли медленно, с опаской, готовые залечь. Команды офицеров подгоняли солдат. Едва атакующие вышли на асфальт, как затрещали наши автоматы. Гитлеровцы все, кто уцелел, свалились в кювет, убитые остались на дороге.

— От так, приймайте прохладитэльну ванну, — сказал Шовкопляс, вспомнив, как сам бежал по кювету, заполненному жидким снегом и водой. — Куды? Купайся, фриц! Купайся! — приговаривал Шовкопляс, стреляя в тех, кто высовывался из кювета.

Через два часа разведчикам было уже не до шуток, их окружало до батальона пехоты. Правда, это был не линейный батальон, а фольксштурмовцы, группами прибывающие по шоссе на машинах. Но зато артиллеристы и минометчики из укрепрайона били точно. Подошли три танка и с того берега начали обстреливать окопы разведотряда. Один танк попытался перейти мост, подмял под себя разбитую машину, но угодил на мину — грохнул взрыв, и гусеница, звеня, сползла с катков. Танкисты начали бить частым огнем по разведчикам, наверное, решили расстрелять весь боекомплект, прежде чем уйти из подбитой машины. Танк стоял близко, взрывы и выстрелы сливались в такую частую пальбу, словно стреляли не из пушки, а из какого-то пулемёта, в котором лента начинена снарядами.

Больше всех досталось от этого разъяренного танка автоматчикам. В это время они отходили к мосту, и огонь застал их на открытом месте. Погиб лейтенант Щеголев и с ним почти полвзвода.

Два других танка подошли вплотную к берегу. Гитлеровцы знали, что у русских нет артиллерии, а гранаты через реку не добросишь. Огнем в упор танки принялись уничтожать разведчиков. Отпускали по снаряду на человека. Вскрикнул перед смертью Кожухарь. Вздыбилась и задымила земля там, где стоял, припав к автомату, Севостьянов.

«Ну, все, — подумал Ромашкин, — ускользнуть взводу некуда — впереди Инстербургская линия, за мостом вражеские танки. Остаться в траншее — гибель, танковые пушки пробивают косогор насквозь». Василий взглянул на корреспондента. Тот спокойно писал, положив на колени планшетку. «Не понимает обстановки. — Ромашкин даже позавидовал ему. — Так легче умирать. И зачем мы взяли его? Жил бы хороший человек, работал в газете, не надо было ему связываться с разведчиками».

И все же Ромашкин не чувствовал предсмертного холода в груди. Верил: и на этот раз останется жив.

Он не ошибся. Выручил его танкист Угольков.

Четыре пушечных выстрела почти залпом грохнули с опушки леса, и оба немецких танка окутались дымом. Один сразу же запылал ярким огнем, другой испускал ядовито-желтый дым.

— Вовремя, братцы! — вздохнул с облегчением Ромашкин.

Но вскоре и оттуда, где прежде сидели автоматчики Щеголева, полезли немецкие танки. Одновременно группа фашистов перешла реку по льду, неожиданно выскочила из-за кустов и кинулась на разведчиков.

Стреляя в упор по фашистам, Ромашкин не забывал и о корреспонденте, старался прикрыть его огнем. Но тот и сам не растерялся, смешно вытягивая руку, стрелял из пистолета, будто в тире, как его учили где-то в тылу. И попадал! Гитлеровцы падали перед ним, Ромашкин это видел.

Нападение отбили, но Василий понимал, что долго не продержаться. Зло крикнул на Жука:

— Ну, где же батальон, в конце концов? Радист виновато опустил глаза, стал вызывать:

— "Сердолик", «Сердолик», я — «Репа»…

Патроны были на исходе. Ромашкин приказал собрать автоматы и магазины перебитых на этом берегу гитлеровцев.

— Здорово мы их! — радостно сказал Птицын.

По его счастливым глазам Ромашкин понял: Птицын никогда ещё не видел врагов в бою так близко. Пленных, конечно,

встречал, разговаривал с ними, а вот так, лицом к лицу, в рукопашной, не приходилось.

Вдруг Птицын ойкнул, выронил пистолет и, согнувшись, упал на дно окопа. Ромашкин и Пролеткин бросились к нему. Подняли, помогли сесть.

— Ну, все. В живот. Это смертельно, — сказал сдавленно Птицын.

— Погоди, разберемся, — пытался успокоить Ромашкин, разрезая ножом гимнастерку. Он убедился—действительно, пуля вошла чуть выше пупка. «Да, не жилец, — горестно подумал Ромашкин. — В расположении своих войск хирурги ещё могли бы спасти…»

Ромашкину было жаль капитана, который и смерть встречал спокойно, с достоинством. Настоящим парнем оказался в бою! Даже в рукопашной, где теряются опытные вояки, вел себя прекрасно. Как же ему помочь?

Птицын печально смотрел на Ромашкина снизу вверх и напоминал святого, какими рисуют их на иконах. Он ждал, как приговора, что скажет Ромашкин. И Василий все же нашел возможность его выручить даже в таком безвыходном положении.

Перевязав рану, он достал плащ-палатку, расстелил на дне траншеи, велел:

— Ложись.

Птицын, закусив губы, повалился на бок. Он лежал, скорчась, и тихо стонал.

— Бери, Иван, и ты, Шовкопляс, понесем к танкам. Остальные, прикройте нас огнем! — приказал Ромашкин.

Прячась за сгоревшей на мосту машиной, а потом за подбитым танком, разведчики с раненым прошмыгнули к лесу, туда, откуда стреляли танки Уголькова. Он весело встретил их, но, увидав окровавленного капитана, воскликнул:

— Эх ты! Надо же…

— Давай машину с лучшим механиком-водителем, посади туда капитана — и на предельной скорости назад, к своим. Капитан ждать не может. Понял?

— Сделаем, раз надо, — угрюмо сказал танкист.

— Ну, будь здоров, капитан, поправляйся. Извини, что так получилось.

— Разве вы виноваты, — тихо произнес Птицын.

— Лучше бы не ходил с нами. Ну ладно, крепись. А ты, Угольков, правильно понял обстановку. Спасибо тебе, выручил нас. Смотри только, чтобы тебя не обошли.

— Я круговую оборону организовал, — весело сказал Угольков.

— Давай-ка поддержи нас на обратном пути, — попросил Ромашкин.

— Есть поддержать, — отозвался ротный. — А ну, хлопцы, взять на прицел фрицев, чтобы ни одна падла не посмела в старшого стрелять!

Разведчики вернулись к мосту. Танк с закрытыми люками осторожно уходил вдоль опушки.

Настал вечер, серый, сырой, знобкий. Едкий туман, как дым, пощипывал глаза, мешал дышать. Разведчики в траншеях продрогли, шинели отяжелели от влаги, сапоги раскисли в жидком месиве.

— Ну и зима у них, — скрипел Голощапов, — язви их в душу! Наши морозы не нравились, а сами чего организовали? Это же не зима, чистое издевательство над военными людьми.

Ромашкин ощущал и озноб, и какой-то внутренний жар. «Не заболеть бы. В мирное время в такой слякоти давно бы уже все простудились. К тому же без горячей еды, без отдыха вторые сутки. Если к ночи батальон не подоспеет, фрицы нас дожмут…»

В полку тоже понимали положение разведчиков. То Колокольцев, то Линтварев, то сам Караваев по радио подбадривали:

— Скоро придем! Держитесь!..

Справа, а потом и слева от разведчиков разгорался большой настоящий бой. Должно быть, там соседние дивизии вышли к реке. «Что-то наши сегодня оплошали, — думал Ромашкин, — отстают от других. Григория Куржакова, и то нет. Уж не ранен ли? Да, ночью нас могут смять…»

Гитлеровцы действительно хотели уничтожить разведотряд с наступлением темноты, когда русские не смогут вести прицельный огонь. Но и Ромашкин, поняв их намерения, подготовил сюрприз. Он перевел танки Уголькова к себе через мост, и, едва фашисты полезли, танкисты встретили их огнем из пушек и пулемётов.

Поздно ночью избитый, истерзанный батальон подошел наконец к разведчикам.

— Где Куржаков? — спросил Ромашкин незнакомого младшего лейтенанта.

— Комбат ранен. Там такое было! — вяло махнул рукой младший лейтенант и побежал за своими солдатами, которые, пригибаясь, шли к дотам Инстербургского укрепрайона.

Увидев этого незнакомого офицера из своего полка, Василий почувствовал, что у него подгибаются ноги. Тело сделалось мягким и непослушным, будто кости стали резиновыми. Неодолимая, вязкая усталость, как пуховое одеяло, накрыла

Ромашкина с головой. Он положил горячий лоб на скрещенные руки привалился к липкой стене окопа и стал падать куда-то ещё ниже этой траншеи, в какую-то теплую черную яму.

Проспал он недолго. Его растолкал Жмаченко.

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Примите вот это для бодрости. — Он протягивал флягу.

Ромашкин, плохо соображая, откуда здесь Жмаченко, взял флягу и начал пить, не понимая, что это — вода или водка? Сделав несколько глотков, он почувствовал, что задыхается, и совсем проснулся.

— Ты откуда здесь? — спросил старшину.

— А где же мне быть? Я с первыми солдатами шел. Разве же я вас кину? — любяще, по-бабьи ворковал Жмаченко. — Я поперед батальона не раз порывался уйти — не пускали! Ну, слава богу, вроде все обошлось, только двух наших убило да поранены трое. Автоматчики вон, почитай, все полегли.

— Корреспондента доставили?

— Того капитана? А що с ним? Раненый? Я не видел его.

Жмаченко, разговаривая, подкладывал куски вареного мяса, хлеб, картошку. Василий ел, не ощущая вкуса и даже не думая о том, что ест. Рядом стояли разведчики, они тоже молча жевали, прихлебывая из фляг.

— А чего мы в этой могиле торчим? Идемте в дом, — вдруг сказал Саша Пролеткин.

Все полезли наверх из скользкой мокрой ямы, ещё недавно казавшейся такой спасительной и удобной.

— Вас в штаб кличут, товарищ старший лейтенант, — сказал Жмаченко, когда подошли к сторожке.

— Что же ты молчал?

— Так покормить надо было.

— Где штаб?

— А они вон там в лесу, за мостом.

На всякий случай Ромашкин взял с собой Сашу Пролеткина. Шагая по мокрому хлюпающему снегу, Василий чувствовал — шатается. «Неужели заболел?» — вяло соображал он. За спиной разгорался ночной бой, роты вгрызались в укрепленную полосу. «Все же задачу мы выполнили, оборону разведали и мостик подарили». Ромашкину приятно было предвкушать похвалу, он понимал, что заслужил ее.

Несмотря на полное изнеможение, в нем трепетала катал-то радостная жилка. Она единственная не устала, была как. новорожденная, чиста и весела, билась где-то в голове, а где — и сам Василий не понимал. Это называется обычно подсознанием. Так вот там, в этом самом подсознании, скакала и плясала та

жилка «Жив. Уцелел и на этот раз. Мама, я так рад! Тебе пока не придется меня оплакивать».

Штаб остановился в небольшой лощине. Караваев, увидев Ромашкина, сразу позвал его к карте, развернутой на капоте «виллиса». Здесь же были Колокольцев и Линтварев — они стали посвечивать на карту трофейными фонариками.

— Немедленно бери свой отряд, — сказал Караваев. — Задача: вырваться ночью вперед и вести разведку новой укрепленной полосы — вот здесь, в сорока километрах от Кенигсберга. Называется она линией Дейме. Начальник штаба, обеспечь его справкой об этой линии. Полоса разведки… смотри на свою карту, отмечай…

Василий обводил полукружьями названия населенных пунктов и слушал командира рассеянно, будто в полусне, — надо было слушать, когда приказывает старший, вот он и слушал. А на первом плане была горькая обида: «Даже спасибо не сказал. Не поздоровался. Не спросил, есть ли кто в моем отряде, не всех ли побило».

Ромашкин глядел на черное лицо полковника, видимо, он в эти дни ни минуты не отдыхал. Кожа обтянула кости лица: глаза так глубоко ввалились, что сейчас не понять, какого они цвета. Движения полковника были резкими, сильными. «Он держится на той пружине, которая во мне сдала. Для него бой ещё не кончился». И внезапно Ромашкин почувствовал, как в нем самом стала натягиваться, крепчать, обретать силу эта пружина. Новая задача будто придавала ему новые силы. И то, что Караваев не поздоровался и не поблагодарил, приобретало совсем другой смысл. Ромашкин ощутил — командиру дорога каждая минута. Бой продолжался. Чтобы идти вперед, полку нужны новые сведения о противнике. И добыть их может только он, Ромашкин. Сознание своей незаменимости и того, что лучше его никто не выполнит задачу, вытеснило обиду и словно разбудило Ромашкина. Он стал слушать командира полка внимательно, стараясь точно понять, что должен сделать, и уже сейчас прикидывал, как все это лучше и быстрее осуществить.

Когда Караваев поставил задачу и коротко бросил: «Иди!» — Ромашкин был уже внутренне собран и обрел силы, необходимые для предстоящего дела — разведки укрепленной полосы Дейме, которая была посильнее Инстербургской.

Линтварев подошел к нему и, пожимая руку, сказал:

— Спасибо вам и вашим разведчикам, товарищ Ромашкин, передайте им благодарность командования.

Эта похвала, недавно такая желанная, показалась теперь совсем никчемной. Надо было спешить. Действовать. Не до этих

разговоров. Ромашкин взял у начальника штаба бумаги, досадуя, что некогда их читать. Колокольцев понял его, замахал обеими руками:

— Забирай, там прочтешь. Мы размножили. Ну, желаю удачи!..

В это время в лощину, скользя и падая на мокром косогоре, скатился Куржаков. Одна рука у него была подвешена на бинте, другой он крепко держал пожилого немецкого полковника. Тот пытался вырвать рукав шинели, но Куржаков держал крепко, шел быстро и волочил за собой едва успевающего пленного. Увидев Ромашкина, Григорий приветливо крикнул:

— О! И ты живой? Явился, не запылился! Вот каких щук надо ловить, товарищ разведчик! — И, обращаясь к Караваеву: — Принимайте, товарищ полковник. Это командир 913-го полка, который стоял против нас.

— Вы почему не в санбате? Я же приказал вам передать батальон, — строго произнес Караваев. Но за этой напускной строгостью чувствовалось восхищение лихим офицером.

— Так я и не командую, товарищ полковник, — весело блестя шальными глазами, ответил Куржаков. — Перевязали меня в санчасти, ну чего, думаю, тут сидеть? Могу же ходить? Могу. Вот и пошел к своим. И вовремя. Вот этого гуся поймал. И весь его полк мы с комбатом защучили. Я с танками в тыл зашел, а Спиридонов — в лоб. Они и лапы кверху! Эти в траншеях сидели, в полевой обороне. А те, которые в дотах, там ещё сидят, огрызаются.

— Кто вы?— спросил Караваев пленного. Майор Люленков встал между командиром и пленным, начал переводить:

— Полковник Клаус Гансен, командир 913-го полка, — с достоинством ответил пленный, высоко держа седую голову. Караваев улыбнулся.

— Действительно цифра «тринадцать» для вас несчастливая. Вашу оборону мы прорвали тринадцатого января. Номер вашего полка оканчивается цифрой «тринадцать». И вот вы в плену.

— Это случайность. Я попал в плен абсолютно случайно. Ваши танки обошли укрепления и захватили меня на командном пункте. Мой полк обороняет порученные ему позиции, и вам не удастся их прорвать! — заносчиво ответил полковник.

Караваев с сомнением поглядел на Куржакова.

— Не в курсе дела он, — сказал Григорий. — Всех, даже артиллерию и минометы, захватили. Вон там в лесу, на дороге они стоят.

Караваев усмехнулся, но его почерневшее, пересохшее на ветру и морозе лицо не оживилось.

— Ну вот что, господин полковник, у меня нет времени с вами препираться. Свой полк поведете в плен сами. Он построен в полном составе. Вы понимаете: построены те, кто остался жив.

— Этого не может быть! — воскликнул полковник. В его тоне было больше удивления, чем заносчивости.

— Идите, вам покажут ваш полк. Будете старшим колонны пленных.

Полковник отшатнулся. Он минуту молчал, потом сник, обмяк и тихо попросил Караваева:

— Вы можете дать мне один патрон? Вы тоже офицер, командир полка, должны понять…

— Об этом надо было думать раньше, — сурово сказал Караваев и приказал: — Уведите!

Спрятав полученные бумаги, Ромашкин торопливо побежал по жидкому снегу. На ходу он прикидывал, как быстрее получить боеприпасы, заправить танки и где лучше проскочить в глубину расположения врага. Пролеткин еле поспевал за ним, забегая то справа, то слева, спрашивал:

— Новая задача?

— Новая.

— Куда мы теперь?

— На линию Дейме.

Ромашкин подумал, что надо знать хотя бы в общих чертах, что представляет собой эта линия, и решил пожертвовать несколькими минутами. Он остановился, из полевой сумки достал бумаги, взятые у Колокольцева. Посвечивая фонариком, стал читать вслух, чтоб слышал и Саша:

— "Линия Дейме проходит по западному берегу реки Дейме. Строилась сорок лет. Долговременные железобетонные сооружения вписаны в обрывистый берег реки. Доты многоэтажные, с боекомплектом, запасом воды и продовольствия. Толщина стен достигает метра. Приспособлены для боя в полном окружении. Могут вызывать огонь артиллерии на себя. Глубина линии — 10 — 15 километров. Между долговременными сооружениями оборудована полевая оборона…" Вот здесь, Пролеткин, мы и пойдем! Пусть фрицы сидят в своих дотах. В поле они нас теперь не удержат!

…Через три дня, когда взвод Ромашкина отдыхал в одном из бюргерских домов уже на линии Дейме, прискакал на мохноногом немецком битюге старшина Жмаченко. С трофейным конягой он порядком намучился.

— Не понимает наших команд, сатана! А ну, хальт, тебе говорят!

Жмаченко привез газету каждому, чтоб осталась на память.

Тут уж ни почтальон, ни начальник связи полка, ведавший доставкой газет, ничего не могли поделать. Узнав, что напечатана статья о его хлопцах, старшина вцепился в пачку свежих, ещё пахучих газет, и решительно заявил:

— Каждому разведчику дайте по листу! Буду стоять насмерть!

Ромашкин читал статью, в ней все было правдиво, но в то же время очень возвеличено. Птицын с таким уважением писал о разведчиках, что Василию от волнения и гордости даже горло перехватывало, не верилось: «Неужели это мы?»

— И когда капитан успел все записать, запомнить? — удивился Саша Пролеткин. — Ведь он вместе с нами отбивался.

— И как быстро написал! — поразился Голубой.

— Боялся, что помрет, — сурово сказал Иван Рогатин.

Все притихли, понимая — Иван прав. Ранение у корреспондента было тяжелым, и он, наверное, спешил написать, чтобы не унести в могилу славу полюбившихся ему разведчиков.

— Вот ведь какая штуковина получается, — сказал Саша. — Я раньше думал, корреспондент — это тыловая крыса, чаек попивает, статейки пописывает. А у них, оказывается, работенка не дай бог. Со всеми вместе воюй, примечать успевай. Даже умереть не имеет права — сначала о людях расскажи, а уж потом про свою смерть думай.

— Нелегко ему писалось, — согласился Ромашкин. — Не раз, наверное, смерть прогонял: погоди, дай написать о хороших людях! Только о себе ни слова не сказал. А ведь ему труднее всех пришлось. Читают люди, и никто не знает, что с пулей в животе он пишет!

— А може, не помрет той капитан? — спросил Шовкопляс. — Колы написав, значит, вже и операция пройшла, и пулю эту дурну вынули.

— Конечно, выживет!

— И к нам ещё приедет! — перебивая друг друга, желая добра капитану, зашумели разведчики.

С 13 по 28 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта, в составе которого был полк Караваева, пробились вглубь Восточной Пруссии на 120 километров и вышли к городу-крепости Кенигсберг.

2-й Белорусский фронт в эти же дни ударом с юго-востока протаранил фашистское войско до Балтийского моря и перерезал все дороги, соединявшие Пруссию с Центральной Германией.

В Кенигсберге остались окруженными 130 тысяч немецких солдат и офицеров.

В ходе наступления Ромашкин, как и все его однополчане,

получил четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего. Благодарности публиковались в газетах, и, кроме того, каждому выдавался напечатанный на твердой бумаге приказ, похожий на грамоту. В Москве один за другим гремели салюты.

— Во как нас чествуют! — гордо говорил, сияя глазами, Саша Пролеткин.

Почти ежедневно в газетах писали о новых победах, и тот же Саша, читая эти сообщения, комментировал:

— Раньше мы про других читали. А теперь пусть все знают, что мы тоже не в бирюльки играем! Слушайте, братцы!

ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего Командующему войсками 3-го Белорусского фронта генералу армии Черняховскому, начальнику штаба фронта генерал-полковнику Покровскому

Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись вперед до 45 километров, расширяя прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны немцев Шилленен, Лазденен, Куусен, Науйенингкен, Леннгветен, Краупишкен, Бракупенен, а также с боями заняли более 600 других населенных пунктов…

Далее перечислялись фамилии командиров. Караваева среди них не оказалось — в приказе Верховного названы были от командира бригады, дивизии и выше. Генерал Доброхотов упомянут, конечно, был.

Пролеткин продолжал читать:

…Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев в Восточной Пруссии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий

.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев

.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам

!"

— Вот оно, братцы, как дело-то пошло! — торжествующе подвел итог Пролеткин.

После боев за сильно укрепленную Инстербургскую полосу в газетах появился новый приказ:

«Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 22 января, штурмом овладели в Восточной Пруссии городом Инстербург — важным узлом коммуникаций и мощно укрепленным районом обороны немцев на путях к Кенигсбергу…»

Ромашкин никогда ещё не видел, чтобы город горел таким огромным костром. Инстербург в алых волнах пламени стоял как театральные декорации. Дыма почти не было, всюду бушевал огонь, и в этом море огня виднелись тут и там остовы многоэтажных зданий. Город жгли сами фашисты.

А через несколько дней разведчики опять читали приказ генералу армии Черняховскому:

Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 26 января, с боем овладели городами Восточной Пруссии — Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен — мощными опорными пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные районы Восточной Пруссии…

Это был последний приказ, адресованный генералу Черняховскому. 19 февраля 1945 года командующий фронтом был убит под городом Мельзак осколком снаряда, попавшим в грудь. Когда Ромашкин услыхал об этом от майора Люленкова, не поверил:

— Не может быть! Выдумал кто-то!..

— Из штабдива сейчас сообщили по телефону, — подтвердил Люленков печальную весть.

Ромашкину все же не верилось. Когда погибали бойцы и офицеры в атаке, в рукопашной, при обстреле или бомбежке — это воспринималось Ромашкиным как нечто неизбежное: война есть война. Но как мог погибнуть Черняховский?! Василий вспомнил красивое, мужественное лицо командующего фронтом, его доброжелательные глаза, волнистые волосы. На миг он даже почувствовал приятный запах одеколона, который уловил, когда командующий сидел рядом.

— Просто не могу представить его мертвым, — с отчаянием сказал Василий. — Он же историческая личность! Не может он

погибнуть!

Люленков пожал плечами, произнес горестно, как давно обдуманное:

— Все люди умирают одинаково. Но смерть исторической личности всегда кажется нелепостью, будто такие люди не подвластны смерти. Они при жизни стали историей. Это и есть бессмертие, когда человек остается живым в памяти людей.

Они замолчали, затянулись махорочным дымом, и каждый в ту минуту мысленно видел живого генерала и горевал о нем.

После Черняховского 3-м Белорусским фронтом стал командовать маршал Василевский, он подготовил и повел войска на штурм Кенигсберга.

Ромашкин со своими разведчиками, как обычно, вышел к городу одним из первых. За годы войны он повидал множество сильных укреплений, а по справкам, которые присылали из штаба, представлял, что ожидает их под Кенигсбергом. И все же, разглядывая в бинокль город-крепость, Ромашкин был поражен.

Он понимал: все, что видит, это лишь малая часть укреплений, которая не поддается маскировке, а остальное спрятано глубоко в земле.

— Такое преодолеть, пожалуй, никому не под силу, — тихо сказал Василий. Он даже говорить громко не мог, глядя на встающие одна за другой линии дотов, дзотов, бетонных надолб, проволочных заграждений, перед которыми, он знал, располагались минные поля.

— Ничего, товарищ старший лейтенант, — сказал Саша Пролеткин, — поспим, поедим, поднатужимся — и накроется этот Кенигсберг!

Это «поспим, поедим, поднатужимся» продолжалось два месяца. Войска усиленно готовились к штурму, изучали схемы, макеты укреплений, тренировались на местности, отрабатывали взаимодействие между пехотинцами, артиллеристами, огнеметчиками, танкистами.

В батальоны и роты приезжали операторы, инженеры, разведчики из вышестоящих штабов, рассказывали бойцам о кенигсбергских укреплениях и о том, как лучше их преодолеть. Политработники проводили беседы о славных победах, одержанных предками на этой земле, и о подвигах, которые совершались сейчас на других фронтах.

В полку Караваева офицер штаба армии подполковник Кирко, развесив в пустом цехе какого-то немецкого заводика огромные схемы и фотографии, читал лекции для офицеров, для солдат стрелковых батальонов и специальных подразделений. Часто эти лекции переходили в живую беседу.

— Линии Инстербургская и Дейме были очень прочными, но мы справились с ними, — говорил подполковник. — Есть все основания полагать, что и Кенигсберг не устоит.

— Причешем! — весело отозвался усатый сержант в первом ряду.

— Но нельзя, товарищи, недооценивать мощи крепости, — возразил Кирко. — Она строилась семьсот лет. Все эти годы укрепления наращивались, совершенствовались. Кенигсберг — самая мощная крепость фашистской Германии. Ни Берлин, ни любой другой город не может сравниться с ним. Посмотрите на эту схему…

Подполковник подошел к большому листу, на котором несколько кругов, заключенных один в другой, окаймляли черные квадраты городских кварталов.

— Первая оборонительная полоса — это так называемый внешний обвод: при позиции — четыре ряда окопов. Противотанковый ров, фугасы, мины, железобетонные надолбы, ежи из рельсов, проволочные заграждения да ещё специальные малозаметные препятствия. Все это лишь подступы к крепости, они прикрыты многослойным артиллерийским и пулемётным огнем.

Подполковник подошел к другой схеме:

— Переднюю линию сооружений немцы называют «ночной рубашкой Кенигсберга», имея в виду, что в ней можно спать спокойно, она, по их мнению, непреодолима.

— Снимем и рубашку, и штаны и куда надо наподдадим, — весело сказал все тот же сержант.

— Итак, основу крепостных сооружений составляют пятнадцать фортов. Они окружают город сплошным кольцом, и у каждого форта есть свое название. Вот смотрите: «Король Фридрих», «Мариенбург», «Квендау», «Королева Луиза», «Кальген», «Канитц», «Лендорф», «Понарт»… Между собой эти форты связаны окружной дорогой. Каждый форт — это многоэтажное железобетонное сооружение со своей электростанцией, складами продовольствия и боеприпасов, госпиталем. Толщина стен достигает трех метров. Вооружение — несколько десятков пулемётов, две — три артиллерийские батареи. Гарнизон — до батальона. Перед фортами рвы шириной двадцать метров, глубиной семь метров. Водой рвы наполнены с таким расчетом, чтобы затруднить использование переправочных средств: всего-навсего до половины.

Сержант-весельчак больше не шутил, он молча глядел на схему, в конце доклада тихо выругался и сказал Кирко:

— И чего это вы взялись нас пугать, товарищ подполковник?

Все равно мы раздолбаем ваши форты.

— Не мои они, — примирительно сказал офицер. — Я вместе с вами буду их брать. Товарищи, я не кончил… Теперь послушайте, в чем слабость этих сооружений.

— О, это нам пригодится!

— Как известно, любая техника и любые крепости без человека мертвы. Вы скажете: люди в этих сооружениях есть. Правильно. Но какие? Много раз битые нами фашисты! Это уже не те немцы, которые в сорок первом считали себя сверхчеловеками.

У Ромашкина зазвучал в ушах наглый смех, встали перед глазами бомбежка на шоссе под Москвой и здоровые, спортивного телосложения фашисты. Как они были самоуверенны, как непринужденно смеялись! А ведь они были в плену!

— Моральный дух гитлеровской армии надломлен, — продолжал Кирко. — Вот что говорят пленные, ещё недавно сидевшие за этими бетонными стенами. — Подполковник полистал бумаги. — Ну, вот хотя бы этот, его привели разведчики старшего лейтенанта Ромашкина.

— Знаем такого!

— Пленный тотально мобилизованный Иоганн Айкен. Он говорит: «Мы не хотим воевать, всем понятно — война проиграна. Но офицеры и эсэсовцы нас заставляют. Нам каждый день зачитывали списки расстрелянных за трусость. В городе на площадях висят подвешенные за ноги дезертиры. Фюрер обещает новое секретное оружие. А мы, фольксштурмовцы, изменяя слова в песне, поем: „Вир альте Аффен — зинд нойе Ваффен“, это значит: „Мы старые обезьяны, — и есть новое оружие“. В городе мобилизовано в фольксштурм все мужское население от 16 до 60 лет. У нас брали письменное обязательство не отступать с позиций, мы предупреждены: за отход — расстрел!»

Изучая оборонительные сооружения противника, разведчики старались понять психологию человека, сидящего в этих укреплениях.

— Кто у нас был в Сталинграде? — спросил однажды Ромашкин.

— Я, — сказал Наиль Хамидуллин.

— Сколько дней выдержались?

— Полгода.

— Расскажи, как жили, что делали в дотах.

— У нас такой железобетонной махины не было. Сидели в траншеях, в землянках — одно — два бревнышка над головой; много развалин домов было. Там же не крепость — простой город.

— Ну, а режим какой был?

— Какой? Отбивали двадцать атак в сутки — вот такой режим. Сказали: назад ни шагу, не пускать немца за Волгу! Мы не пускали.

— Ты пойми, — настаивал Ромашкин, — нам детали жизни в долговременной обороне нужны.

Наиль обиделся:

— У нас такие же детали, как у фашистов, да?

— Вот чудак! Зачем обижаешься? Надо же нам приспособиться к новым условиям разведки.

— Не будет долгой оборона, товарищ старший лейтенант. Мы сейчас такими стали, что не удержит никакая крепость!

В ходе подготовки к штурму самыми популярными людьми в полку стали инженер Биркин и саперы. Женя Початкин был уже старшим лейтенантом. Командовал саперной ротой полка. Он быстро освоил сложную науку «созидания и разрушения», как он называл саперное дело.

Однажды ночью Початкин прошел с Ромашкиным нейтральную зону и полевую оборону, подбирался к форту — он должен был изучить укрепления и придумать, как открыть дорогу полку. Ромашкин со своими разведчиками охранял его в вылазке.

— Опять меня конвоируешь, — шутил Початкин, намекая на их самую первую встречу.

— Твои мозги охраняю, — отвечал Василий. — Давай думай, думай, нечего филонить.

Они подкрались ко рву, на веревках спустились к неподвижной, пахнущей гнилью воде. На надувных лодочках поплыли к выступающей из воды трехэтажной бетонной стене с черными амбразурами. Достаточно было одной короткой очереди, чтобы разведчики и саперы пошли на дно рва, наполненного зеленой затхлой водой. Но форты не стреляли. В их бетонном чреве немцы спали спокойно, зная, что впереди, в полевых сооружениях, охраняли их целые дивизии и полки. У немцев и в мыслях не было, что кто-то из русских проберется сюда и отважится плавать под самыми дулами пулемётов.

Початкин ощупал, погладил холодное тело форта, осмотрел облицованные камнем и бетоном берега, отковырнул кусочки камня и цемента, положил в карман, потом измерил глубину воды и высоту рва над ней.

Когда вернулись к спущенным веревкам, сверху склонились головы Саши Пролеткина, Ивана Рогатина и Шовкопляса. С ними были саперы из роты Початкина. На этом берегу они тоже измерили ров, набрали образцы грунта и бетона.

— Может, «языка» прихватим? — спросил Ромашкин. Прежде

Початкин не отказался бы от такого предложения. А теперь, покачав головой, прошептал:

— Ни в коем случае. Наши сведения важнее десяти твоих вшивых фрицев.

Из расположения врага им удалось благополучно вернуться. В своей траншее Початкин продолжил разговор:

— Если бы ты и притащил пленного, что бы он мог сказать о конструкции и прочности сооружения? Откуда рядовой солдат и даже офицер это знает? А мы теперь вот узнаем!

Днем после отдыха Василий сидел в блиндаже майора Биркина и слушал, как Початкин вместе с полковым инженером делали расчеты. Они измеряли какие-то углы, искали сведения в справочниках, писали длинные столбцы цифр и формул.

Ромашкин с гордостью за своего друга подметил: майор хоть и старше по званию, хоть и военный инженер, а Початкин лучше разбирается в тех тонкостях, о которых они говорили. Биркин и сам сказал Василию, кивнув на своего помощника:

— Светлейшая голова. Молодой, дерзкий, находчивый ум. Ему бы заводы строить!..

— Никогда не думал, что мой первый серьезный проект будет посвящен разрушению кем-то добротно построенного сооружения, — сказал, не отрываясь от бумаг, Женька.

Когда пошли ужинать в штабную столовую, Василий спросил:

— За что Биркин тебя так хвалит? Что ты придумал?

Початкин усмехнулся, ответил неохотно:

—Я предложил не просто взорвать берега и форт, как намечалось, а сделать взрывы направленными. И направить их так, чтобы и берега, и стены обвалились в ров с водой и образовали дамбу. А по дамбе пробегут наступающие…

— Ты гений, Женька! — восторженно воскликнул Ромашкин.

Уж кто-кто, а он-то мгновенно понял, как прекрасна, как спасительна идея Початкина. Василий хорошо знал: стоит полку выйти ко рву, наполненному водой, по бойцам сразу же ударят пулемёты из амбразур всех трех этажей. Тут не только секунды, десятые доли будут драгоценны. Пока сбросят принесенные с собой переправочные средства — и донесут ли их? — пока спустятся на воду… Страшно было подумать о том, что наделают десятки крупнокалиберных пулемётов, скрытых за трехметровым бетоном.

— Ты представляешь, что получится? — продолжал Початкин. — Приближается штурмовая группа ко рву. А тут — взрыв! И пожалуйста, ров заполнен. Все без остановки и почти без потерь бегут на тот берег. Неплохо, как думаешь? — спрашивает Женька.

— Я же говорю, ты гений. Не напрасно тебя конвоировал.

— Тут ещё не все додумано, — сказал Початкин. — Как заранее доставить и заложить взрывчатку? Когда подбегут наступающие, все должно быть на месте. Только в этом случае осуществится наш замысел.

Ромашкину хотелось предложить что-то полезное. И он во всех деталях попытался представить эту операцию, мысленно сравнивал её с другими, в которых участвовал.

Между тем они подошли к столовой, расположенной в большой комнате помещичьей усадьбы. Лепные ангелочки удивленно глядели с потолка на советских офицеров, которые сидели за овальным с позолотой столом.

Початкин и Ромашкин ели молча, думая о том, как же организовать взрыв. На обратном пути Василий предложил:

— Послушай, а если как в дневном поиске? Помнишь, я однажды с ребятами остался на день в ямах, замаскированных сверху дерном? Вот и сейчас сделать так: выползти туда заранее, все подготовить — и ждать.

Женя сразу отверг это предложение:

— Ты сидел с разведчиками совсем в другой обстановке. А здесь будет мощнейшая авиационно-артиллерийская подготовка — свои побьют.

— Ты прав, — согласился Ромашкин.

— Выход один, — сказал Початкин. — Все подготовить заранее. На танках опередить атакующих, под прикрытием огня этих же танков заложить и взорвать заряды.

— А если танки подобьют?

— Все может быть. Поэтому подготовим разные варианты действий саперов и несколько комплектов взрывчатки. И ещё несколько опытных подрывников и командиров.

И вот настала ночь на 6 апреля — ночь штурма. Передовые батальоны смяли фашистов и подошли вплотную к фортам.

В 10 часов утра более пяти тысяч орудий открыли огонь по запертой на все замки крепости. Огневой шквал длился два часа.

Взвод разведки был выделен для обеспечения действий саперов. Вместе с Початкиным Ромашкин сидел в укрытии. Саперная рота была распределена по штурмовым отрядам. Сам Початкин решил действовать с одним из своих взводов, который шел на главном направлении и должен был создать дамбу взрывом.

Через час непрерывного обстрела снаряды снесли всю маскировку с фортов и дотов — многометровый земляной покров, кусты и деревья, кирпичные стены, надстройки, пристройки. Форты и доты оголились, стояли теперь закопченные, серые,

неуязвимые, как горы.

Орудия большой мощности, оглушая всех грохотом своих выстрелов, открыли огонь на поражение. Трехметровые стены сначала гудели, отбрасывая снаряды, потом стали трескаться и оседать.

Тремя ярусами кружили над крепостью самолеты: выше всех — истребители, ниже — бомбардировщики, ещё ниже — штурмовики. Над фортами, окутанными дымом, кувыркались обломки сооружений и деревья, вырванные с корнем.

В час дня начался общий штурм.

— Ну, братцы, пошли! — сказал Початкин, не отрывая взгляда от места, где предстояло сделать проходы.

Взревели танки и, задымив копотью, рванулись в атаку, артиллеристы покатили орудия стволами вперед, вскинулась волна пехоты. Все не переставая стреляли по амбразурам и бойницам. Под прикрытием этого огня ринулись вперед штурмовые группы.

Початкин вместе с саперами взорвал первые заряды, ближний берег рва сполз в воду. "Ну, молодец, как здорово все рассчитал! " — подумал Ромашкин, бежавший за танком, то и дело вздрагивавшим от выстрелов своей пушки.

Накидав взрывчатку на плоты, подтянутые танками, саперы поплыли к форту, который изрыгал из амбразур огонь и дым.

— Бейте чаще, не давайте обстреливать! — кричал Василий пушкарям и танкистам, но его никто, конечно, не слышал в таком грохоте. Ромашкин сам стрелял в амбразуры из автомата, тщательно прицеливаясь. Прячась за танки, снайперы посылали одну за другой точные смертоносные пули, вражеские пулемёты, захлебываясь, умолкали, но тут же снова начинали строчить — убитых пулемётчиков гитлеровцы заменяли немедленно.

Саперы наконец достигли вертикально торчащей из воды бетонной стены. На плотах все меньше оставалось людей. Они падали то в воду, то на тюки взрывчатки. Те, кто уцелел, быстро заложили упаковки и стали грести назад, чтобы не погибнуть от своего же взрыва.

Когда плот ткнулся в этот берег, на нем остался один Початкин. Он юркнул за танк, где стоял Ромашкин. Евгения било как в лихорадке. Он был мокрый не то от всплесков воды, не то от собственного пота.

— Сейчас… сейчас, — повторял он, поглядывая на часы и невольно пригибаясь в ожидании взрыва. Даже в грохоте боя Ромашкину вдруг показалось, что наступила тишина. Взрыва не было.

Початкин растерянно взглянул на Василия, тихо сказал:

— Запальный шнур перебило. — И побежал ко рву, сбросив шинель. Он кинулся вниз головой в воду, вынырнул далеко от берега и поплыл по черной густой воде, кипящей белыми всплесками от пуль и осколков.

Все, кто видел его, старались ему помочь: глушили форт из пушек, ослепляли амбразуры автоматами.

Початкин все же доплыл до своих упаковок. Блестящий от воды, он вылез на кромку рва, и Ромашкину показалось, что он услышал слабый, как в телефонной трубке, голос:

— Прощай, Василий!

И тут же грянул взрыв. Упругая волна воздуха повалила Ромашкина на землю. Все окуталось черно-белым дымом, едкая желтая копоть от сгоревшей взрывчатки забила дыхание, заставила кашлять. Сверху посыпались осколки бетона, кирпичей, комья земли. Они громко стукались о танки, плюхались в воду, ударялись о землю. Ромашкин закрыл голову руками от этого камнепада.

Когда дым поредел, все увидели полосу из каменных обломков и земли, которая корявой дамбой пролегла от берега к берегу. Не горе, не жалость к Женьке охватили Василия в первые секунды, а радость от того, что все расчеты Евгения оправдались, полк выполнит задачу, меньше будет потерь. И радость эта словно передалась всем. Громкое «ура» покатилось по волне пехотинцев, они кинулись по завалу через ров.

Вскоре серые шинели и круглые шапки уже мелькали в проломах стены, пробитых взрывами Початкина. Солдаты, забираясь друг другу на плечи, швыряли гранаты в амбразуры. Форт уже изрыгал не только огонь — дым валил из многих отверстий и проломов.

Не задерживаясь около издыхающего форта, бойцы устремились в городские улицы, перехваченные во многих местах баррикадами. Горели хрупкие трамваи, в брызги разлетались от пушечных выстрелов стены, из-за которых стреляли фаустники. Город дымил, трещал, рушился, пожираемый пламенем, бомбами, снарядами.

Василий горестно ходил по дамбе, спотыкаясь об обломки камня и проваливаясь в раскисшую землю. Он надеялся найти Евгения. Потом стал искать хотя бы клочок его одежды. Но не нашел ничего. Початкина или разорвало на части, или погребло под этой дамбой.

Сначала Василий не хотел рассказывать Караваеву всех подробностей, жалел командира. Да и самому тяжко вспоминать все, что видел. Пусть останется так, как чаще всего бывает на войне: погиб и погиб. Но потом, вспоминая форт, ров с черной

водой и Женьку, плывущего на верную смерть, Ромашкин словно прозрел. Разве можно молчать? Ведь Початкин совершил подвиг! Если бы не он, весь полк бы лег перед этим рвом. Ценой своей жизни он открыл всем путь: поджег перебитый бикфордов шнур, когда никаких надежд на взрыв уже не оставалось! А перед этим разведал форт и придумал, как сделать дамбу!

Часто мы недопонимаем и недооцениваем подвиг, мужество, благородство из-за того, что они вершатся на наших глазах. Нам кажется — героическое происходит где-то там, у других, о ком пишут газеты, а свое — буднично и обыденно. Ромашкин, к счастью, все это понял и пошел в штаб к полковнику Караваеву. Где угодно, хоть перед самим Верховным, Василий готов был доказывать, что видел подвиг своими глазами, что Евгений Початкин погиб не случайно, а сознательно пожертвовал собой, — Ромашкин даже сейчас слышит его последние слова: «Прощай, Василий!»

Но ему не пришлось ничего доказывать. С наблюдательного пункта полка в стереотрубы и бинокли хорошо видели, как действовали штурмовые отряды, как произошла заминка, едва не ставшая роковой для полка, и как Евгений Початкин, командир саперной роты, спас положение и сотни жизней своих однополчан.

Ромашкин рассказал лишь о некоторых подробностях. И все время, когда рассказывал и когда молчал, когда ел, курил, носился среди горящих домов Кенигсберга, выполняя поручения командира полка, — везде и всюду в ушах его, как в телефонной трубке, звучал уменьшенный и удаленный голос:

«Прощай, Василий!..»

И опять вставал перед глазами Женька, всегда веселый, озорной, смелый. Какое красивое мускулистое было у него тело! И вот ничего не осталось даже для похорон… Как хотелось ему в разведку! И получился бы из него отличный разведчик. Ах, Женя, Женя, совсем немного до конца войны осталось…

На третий день полк, пробиваясь через завалы и пожары, вышел к маленькой тесной площади. За ней бойцы увидели высоченные круглые башни с зубчатым верхом — замок прусских королей. Вся площадь и прилегающие улицы были запружены надолбами — «зубами дракона».

Над массивными воротами блестел огромный круг — это были часы. Они ещё шли. Саша Пролеткин прислонился к углу дома и дал очередь по часам, сказав:

— Остановись, фашистское время!

Часы остановились, обе стрелки бессильно повисли.

На Пролеткина тут же напустился Рогатин:

— Ну зачем ты это сделал? Говорят, четыреста лет часы шли! Привык безобразничать без понятия — то жирафа и бегемота стрелял, теперь вот часы исторические испортил! Дикарь необразованный.

Пролеткин растерялся, видя, что его поступок не одобряют и другие разведчики. В свое оправдание сказал:

— К вечеру от этого замка останется куча битого кирпича, даже не найдешь, где твои часы были.

— То в бою! Там неизбежно, — ворчал Иван. — А так нечего безобразничать.

На красной кирпичной стене замка ровными готическими буквами было написано: «Слабая русская крепость Севастополь держался 250 дней против непобедимой германской армии. Кенигсберг — лучшая крепость Европы — не будет взят никогда!»

К разведчикам подошел неведомо откуда взявшийся старик, сухой и скрюченный, с грустными глазами, в густой сетке морщин. Кланяясь и приседая, он боязливо стал говорить:

— Господа руски зольдатен, пожалуйста, нет гранаты, не стреляйт уф это подвал. — Он показывал на низкие полуокна, выходившие на тротуар. — Там нихт немецки зольдатен, там есть майне фрау, мой жина, мой бедни больной Гертруда.

— Не бойтесь! Мирных жителей мы не трогаем, — сказал Ромашкин.

— Я, я, — вздохнул старик и посмотрел на часы, которые остановил Пролеткин.

— На всякий случай повесьте над окном белый флаг, вон как те, — посоветовал Ромашкин, указывая на простыни, свисающие из окон в глубине дымной улицы.

— О, я! Я хотель такой флаг, но боялся офицерен унд зольдатен эсэс. Он бросайт гранатен, где есть такой бели флаг.

— Откуда вы знаете русский язык?

— Я был руски плен, первый мировой война. Их бин зольдатен оф кайзер.

— Во, братцы, исторический «язык», — весело сказал Пролеткин.

Ромашкин подумал: «Может, его Колокольцев ловил? Он же был „охотником“ в ту войну. Но мало ли тогда было „языков“ и разведчиков! У старика надо бы узнать что-нибудь более полезное».

— Скажите, нет ли в замок подземных ходов? Каких-нибудь каналов, речек под стенами?

— О, найн! Найн! Дер Кенигсен-палас есть отшен крепкий, отшен крепкий оборона. — Немец помолчал. Потом, окинув солдат посветлевшим взглядом, сказал, тыча желтым скрюченным

пальцем в сторону красных стен: — В это дверь…

— Ворота, — подсказал Саша.

— О, я! Данке шен. В это ворота ехал генералиссимо Суворов — он бил генерал-губернатор Остен Пруссия.

Увидев, какое впечатление произвели его слова, ещё более радушно сообщил:

— Это ворота ходил Наполеон Бонапарт нах Москау!

— А назад пробежал мимо этих ворот, — вставил неугомонный Саша.

Разведчики засмеялись, а старик, не понимая причины смеха, настаивал:

— Нет мимо — прямо здесь марширен!

Поскольку старик больше не сообщал никаких исторических сведений, Ромашкин спросил:

— Кто выехал из этих ворот двадцать второго июня сорок первого года?

Старик обреченно покачал головой:

— О, майн готт! Это нельзя было делать. Правильно сказаль мудри канцлер Бисмарк — нельзя делать война с Россия. Тот день отсюда ехал ин машинен фельдмаршал Риттер фон Лееб.

— Данке шен, — поблагодарил Ромашкин, давая понять, что у них больше нет времени для разговора.

Старик ушел, качая головой и тихо бормоча: "Майн готт, майн готт".

Над разведчиками волна за волной прошли самолеты и сбросили бомбы на замок. Вздрогнула и затряслась земля. Красная кирпичная пыль и черный дым поднялись выше зубчатых башен. Взвод самоходных пушек бил в одно и то же место, чтобы сделать проломы. Но стены были четырехметровой толщины, а попасть «снарядом в снаряд» было не так-то просто.

Через несколько часов весь замок, как больной оспой, был изрыт глубокими кавернами. Стены и несколько башен обвалились внутрь двора, над которым клубился дым и взметнулись языки огня. Кто мог уцелеть там после такого ужасного обстрела и непрерывной бомбежки? Был дан сигнал атаки, и полки пошли на последний штурм. Но замок прусских королей, оказывается, был ещё жив. Яростный огонь, красные и белые вспышки пулемётов, орудий и фаустов брызгали из всех щелей, амбразур и трещин. Площадь покрылась телами бойцов в серых шинелях, в выгоревших ватниках, в полушубках, в плащ-палатках и грязных, когда-то белых маскировочных костюмах. Эти бойцы не дожили до конца войны всего несколько дней.

Первый штурм замка был отбит.

Бомбардировка и артиллерийский обстрел возобновились. А

к вечеру Ромашкин уже ходил внутри замка. Солдаты, взявшие его, сидели здесь же во дворе, заваленном обломками стен, черпали ложками из котелков борщ и кашу, запивали еду винами, извлеченными из погребов, дымили трофейными сигаретами.

День девятого апреля уходил в историю. Последние выстрелы слышались со стороны кенигсбергского зоопарка. Оттуда шли колонны пленных в обвисшей грязной форме, с мрачными лицами, испачканными сажей.

Пленные боязливо уступали дорогу, когда им навстречу попадались измученные группы людей в полосатой одежде узников. Это были освобожденные из лагерей, тюрем, подземных заводов — поляки, французы, голландцы, англичане, югославы, румыны, греки, итальянцы. Они шли весело, поднимали вверх сжатые кулаки, кричали нашим бойцам:

— Рот фронт!

— Спасибо!

Чернявый, со впалыми щеками француз в полосатой робе, но уже в берете, вышел вперед и, блестя счастливыми глазами, обратился к Ромашкину, протягивая какую-то бумагу: — Тоуварищ, передайте это для ваше командование, для ваше правительство!

И ушел, приветливо махая рукой.

Ромашкин прочитал:

"Господин премьер-министр, господа советские генералы, товарищи советские солдаты. Мы, французы, узники фашистов, выражаем вам в наш самый счастливый день очень большую благодарность за возвращенную нам свободу и жизнь. Мы никогда не забудем вас, дорогие друзья. Будь проклят фашизм!

Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует СССР!

Да здравствует Франция!"

Ромашкин отдал эту бумагу подполковнику Линтвареву.

— Это очень ценный документ, — сказал замполит. — Его надо послать в газету.

Сверхмощная неприступная крепость Кенигсберг была взята Красной Армией в течение трех дней.

Впервые за всю войну не нужно было спешить, перегруппировываться и отправляться на какой-то другой участок. Бои в Восточной Пруссии почти всюду закончились. Только на Земландском полуострове, на берегах залива Фришес-Хафф, добивали сбившиеся туда остатки прусской группировки. Но там было достаточно наших войск, и части, взявшие Кенигсберг, остались вроде бы без дела.

Радость победы

Ромашкин всю войну мечтал отоспаться после окончания боев, думал: завалится на неделю и будет спать беспробудно. Но вот представилась такая возможность, а спать совсем не хотелось. Солдаты и офицеры ходили по огромному городу, на его улицах кое-где ещё догорали головешки. Небезопасно было передвигаться между многоэтажными зданиями, выгоревшими внутри. Иногда махина в пять — семь этажей вдруг плавно кренилась и с грохотом падала, подняв пыль выше соседних домов.

И все же Ромашкин со своими ребятами ходил, рассматривая чужой мир, глядел на вывески кафе, магазинов, кинотеатров, мастерских, заглядывал в брошенные квартиры, разговаривал с вылезшими из подвалов стариками и женщинами. У них был измученный, пришибленный вид — ещё не опомнились после бомбежек и артиллерийского обстрела.

Во дворах, скверах, на площадях толпились красноармейцы, умывались, сушили портянки у костров, варили еду, смеялись, отдыхали.

Ромашкин вместе с ребятами вернулся к кострам своего полка. В это время подъехали на «газике» член Военного совета Бойков и командир дивизии генерал Доброхотов.

— Ну, как жизнь, товарищи? — весело спросил Бойков.

С тех пор как Ромашкин видел его последний раз, Бойков немного располнел, лицо округлилось, но глаза по-прежнему были улыбчивыми и добрыми. «Забот стало меньше, — подумал Василий, — вот и поправился». Генерал увидел Ромашкина, воскликнул:

— Жив наш курилка! — И шагнул навстречу, протягивая руку.

— Живой, товарищ генерал, — ответил Ромашкин.

Разведчики гордо поглядывали на бойцов, сразу их окруживших: вот, мол, как наш командир с таким большим начальством, запросто!

— Что-то ты за войну мало вырос! Сколько хороших дел совершил, а все в лейтенантах ходишь.

— В старших, — поправил Ромашкин.

— Товарищ Доброхотов, надо поправить это дело. Скоро перейдем на мирные сроки выслуги. Надо Ромашкину хотя бы капитаном войну закончить. Заслужил!

— Поправим, товарищ член Военного Совета, — сказал комдив. — В бою ведь так: воюет и воюет человек, делает свое

дело хорошо, а мы к этому привыкаем, будто так и надо. Сегодня же отправлю представление.

— Мне по должности не положено, — смущенно сказал Ромашкин.

— И должность найдется, — успокоил комдив.

Ромашкин посмотрел на своих разведчиков. «Значит, придется с ними расставаться? Куда и зачем уходить мне от своих людей? А может, даже из полка заберут?» Василий торопливо стал просить:

— Товарищ генерал, может быть, довоюю со своим полком до победы, а там видно будет?

— Все, уже довоевался. Нет у нас впереди боевых задач. Мы войну завершили.

Вдруг зароптали, заговорили солдаты, молча слушавшие весь этот разговор:

— Как же так, а Берлин?

— Мы на Берлин хотим!

— Воевали, воевали, а Берлин без нас брать будут?

— Ведите нас на Берлин!

Бойков улыбался, потом негромко, чтобы затихли, сказал:

— Вы свое дело сделали. Остались живы, разве этого мало?

— Мало! Мы Берлин хотим взять!..

— Вот развоевались! — засмеялся Доброхотов.

Генералы уехали по своим делам, а солдаты ещё долго говорили о том, что в Берлине побывать надо бы.

Василий думал о погибших друзьях, они представлялись ему живыми. Вот отец в наглаженном синем костюме, при галстуке, всегда деловитый, озабоченный какими-то городскими делами. Василий так и не видел отца в военной форме, поэтому вспоминался он в своем гражданском костюме. Блестя золотыми зубами, встал в памяти улыбчивый, отчаянный Иван Петрович Казаков. В его доме теперь горе, родные даже не подозревают о той шутке, которую Петрович придумал для них. На все чудачества, наверное, были бы согласны его близкие — и траншеи отрыли бы, и по колени в воде ночь просидели бы, только бы возвратился их Иван. А Костя Королевич, голубоглазый, румяный, стоял, стеснительно потупясь, будто ни к боям, ни к подвигу никакого отношения не имел. И мудрый, добрый комиссар Гарбуз словно заглянул в душу Ромашкина и напомнил: «Повезу тебя на Алтай, подберем тебе самую красивую невесту в районе». А всегда остроумный, порывистый Женя Початкин шепнул: «Прощай, Вася, желаю тебе в мирной жизни всего самого хорошего». Был бы Женя прекрасным инженером… И скромный, всегда подтянутый, отменно дисциплинированный

Коноплев.

Вспомнил Ромашкин и других отличных ребят — здоровяка Наиля Хамидуллина, не придется уж ему больше делать автомобили на Горьковском заводе; пекаря Захара Севостьянова, добрейшего русоволосого силача, который мечтал кормить свежим ароматным хлебом своих земляков. Тихо приблизился печальный, скромный и честный штрафник — профессор Нагорный, грустно улыбаясь, закрывал на груди рану, кивая головой, устало сказал: «Ничего, я дойду!» Целая вереница шумных румяных младших лейтенантов — выпускников училища, легших в землю на подступах к Москве, — уходила в прошлое.

Как и на параде 7 ноября сорок первого года, Ромашкин ощущал сейчас — вот она, история, и чувствовал её поступь. В эти дни он как бы видел ту самую грань, о которой в учебниках пишут: «до» и «после». Теперь в жизни Ромашкина, хоть и коротка она по годам, было этих рубежей не меньше, чем у многих людей, проживших долгую жизнь: до тюрьмы и после тюрьмы, до войны, после войны. Новый, только начинающийся период представлялся радостным и солнечным. Он начинался великим счастьем Победы.

Девятого мая Ромашкин сидел за огромным дубовым столом в комнате подполковника Колокольцева. Вокруг стола — дюжина стульев с резными высокими спинками. В углу спокойно тикали высокие, как шкаф, часы. На стенах висели картины в золоченых рамах.

Виктор Ильич Колокольцев очень хорошо вписывался в эту богатую старинную комнату. Он чувствовал себя свободно, будто не жил несколько лет в сырых блиндажах, движения его были неторопливыми, изящными.

Ромашкин теперь был начальником разведки. После подсказки генерала Бойкова в дивизии быстро оформили документы — Ромашкин получил повышение и звание капитана. Люленкова тоже не обидели — он пошел начальником разведки соседней дивизии.

Став помощником начальника штаба в разведке, Ромашкин целыми днями работал рядом с Колокольцевым. Война кончилась, а бумаг в штабе не убавилось — отчеты о наличии людей, боеприпасов, ответы на бесчисленные запросы, заявки на продовольствие, организация караулов, внутреннего порядка, занятий, отдыха — все это, когда нет боев, оказалось, требует точного оформления приказами, инструкциями, графиками, расписаниями, Колокольцев учил Ромашкина сложной штабной премудрости, между ними сохранялась и крепла прежняя взаимная симпатия.

Сегодня Колокольцев пригласил Ромашкина в эту богатую комнату не случайно. Ему хотелось именно здесь осуществить то, что он задумал. Подтянутый и торжественный, он встал напротив Ромашкина и со значением произнес:

— Я намереваюсь, Василий Владимирович, сделать вам небольшой презент. Я знал, вам нравилось мое пристрастие к русскому чаепитию. Так вот, примите, пожалуйста, и вспоминайте меня, старика, когда будете чаевничать…

Он раскрыл футляр, обтянутый синей матовой тканью, и перед Ромашкиным тускло блеснул отделанный бирюзовой эмалью подстаканник, рядом с ним в специальном углублении лежала чайная ложка с таким же узором на ручке, как и на подстаканнике.

Василий был растроган вниманием и подарком.

— Спасибо, Виктор Ильич, всю жизнь буду пить чай и вас помнить! — с чувством сказал он.

— Вот и славно. Сейчас мы его обновим. Серегин! — позвал начальник штаба и, когда ординарец вошел, спросил: — Как самовар?

— Готов, товарищ подполковник.

— Подавай.

Они сели на тяжелые резные стулья и стали пить чай, густой и прозрачный, ароматный и умиротворяющий.

— Я размышлял о вашем будущем, Василий Владимирович, — задумчиво сказал Колокольцев. — Мне кажется, вам следует остаться в кадрах. Вы отличный боевой офицер. Я вспоминаю, каким вы пришли в полк — молоденьким, порывистым. Наверное, о подвигах мечтали?

— Еще как! — подтвердил Ромашкин.

— Теперь вы прошли великолепную боевую школу. Мне кажется, кроме личного опыта вы многому научились у Кирилла Алексеевича Караваева, к примеру, командирской твердости, стойкости, вниманию к людям. А у Андрея Даниловича Гарбуза — мудрости и принципиальности. У друга вашего Куржакова — злости и ненависти к врагу. У Казакова, Жени Початкина и многих других — бесстрашию.

Ромашкин ждал, что скажет Колокольцев о себе. Но подполковник замолк, и Василии подумал: «А у вас я учился не только штабной культуре, но и патриотизму, любви к Родине без громких слов».

— Вам обязательно следует подготовиться и сдать экзамены в академию, вы… — Колокольцев не успел договорить, за окном, а потом по всем прилегающим улицам и вдали началась беспорядочная, все нарастающая стрельба.

— Что такое? — удивился Колокольцев.

Ромашкин на всякий случай вынул пистолет: «Уж не придумали ли фашисты какую-нибудь вылазку?»

На крыльце офицеров встретил сияющий ординарец. Он кричал во все горло:

— Все! Мир! Конец войне! Сейчас по радио объявили — сегодня, девятого мая, день полной победы.

Все стреляли из автоматов в небо, пускали ракеты, кричали, потрясали над головой руками. Ромашкин тоже стал стрелять вверх из пистолета и самозабвенно что-то кричал вместе со всеми.

Полковник Караваев решил собрать офицеров полка. Хозяйственники подготовили обед в небольшом уцелевшем кафе. Столы сияли накрахмаленными скатертями и салфетками, вазами с цветами, фужерами, тарелками с золотыми ободками.

Большая желтая застекленная машина, заряженная патефонными пластинками, играла плавные вальсики. Немецкие повара и официанты улыбались, будто всю жизнь ждали встречи с советскими офицерами.

Караваев, помолодевший, хорошо выбритый, наглаженный, начищенный, улыбался, был весел, охотно шутил. Голубые глаза его струили теперь не леденящий холодок, а тепло летнего неба. Рядом с ним — Линтварев. Даже в самые трудные дни войны он бывал подтянут и аккуратен, а сегодня будто сошел с плаката, на котором изображалось правильное ношение военной формы.

— Товарищи, прошу внимания! — Полковник постучал ножом по бокалу. — Прежде чем начать наш обед, позвольте объявить только что поступивший приказ.

— Опять приказ! Не надо бы сегодня приказов, — сказал кто-то в зале.

— Надо! Это даже не приказ, а указ! — Когда офицеры затихли, Караваев торжественно сказал: — Прошу встать! — И объявил Указ Президиума Верховного Совета о присвоении Початкину звания Героя Советского Союза посмертно.

Некоторое время царила тишина. Василий мысленно повторял дорогое имя: «Ах, Женя, Женя, как обидно, что не дожил ты до этого счастливого дня. Ведь ты вообще не должен был воевать. Мало кто в полку знал о твоей хромоте, думали, это от ранения. Тебе и в армии-то служить не полагалось».

— А теперь слушайте приказ, — продолжал Караваев. — Присвоены очередные звания: подполковника — командиру батальона Куржакову Григорию Акимовичу.

Офицеры дружно зааплодировали.

— Заслужил!

— Комбат — только вперед!

Командир читал фамилии других офицеров. Ромашкин искал глазами Куржакова и не находил." Где же он? Не отмочил ли какую-нибудь штучку и сегодня? Он может!" Василий вспомнил, как дрался с ним в вагоне и как под Москвой Григорий сказал комбату: «Ты моим командирам эти карты не давай, они нам не понадобятся».

— А где Куржаков? — спросил Караваев. — Капитан Ромашкин, подойдите ко мне! Разыщите, пожалуйста, Куржакова.

Василий отправился к жилью Куржакова, его батальон располагался в трехэтажном сером здании бывшей школы на берегу канала. Солдаты ходили по двору, занимались кто чем. Один, истосковавшись по работе, сняв гимнастерку, чинил парты. Вокруг него, как зрители, сидели человек десять бойцов и следили за работой. Солдат трудился артистически, инструмент просто летал в его умелых руках.

— Ребятишки, они — что немецкие, что наши — все одно ребятишки. Чему их научат, тем и станут. Теперь мы немцев проучили, они и детишек своих научат хорошему. Вот, товарищ капитан, помогаю немцам, — объяснил солдат подошедшему Ромашкину

— Комбата не видели?

— Они туда, в лесочек пошли, — сказал солдат.

— Кто «они»? С кем он был?

— Они одни, — удивился солдат: как это, мол, не понимать уважительного отношения.

Обежав самые глухие аллеи парка, Ромашкин вышел к пруду и остолбенел: на берегу с удочкой в руках сидел Куржаков! Он был спокоен, задумчив, на зеленых погонах уже блестели подполковничьи звезды.

— О, явился, не запылился! — сказал Григорий. — Ты чего здесь?

— Тебя ищу.

— Зачем?

— Поздравить с подполковником.

Ромашкин смотрел на Куржакова и не понимал, почему он не рад?

А Куржаков, глядя в воду, сказал:

— Вот кончилась война. Добыл я победу. Оправдался перед народом за свой драп в сорок первом. — Григорий прищурил глаз, кольнул Ромашкина хищным взглядом: — Помнишь, как ты назвал меня в вагоне?

Василий смутился, он давно осудил себя за глупое поведение.

— Желторотый был, не понимал ничего.

— Ляпнул бы я тебе тогда пулю в лоб — не пировал бы ты сейчас в Германии. Ну ладно. Так вот — конец войне, ты к маме поедешь, другие к женам, к старикам. А я куда? Один как перст Не хотел я дожить до конца войны, искал смерти — ты знаешь. Но костлявая подшутила надо мной. Смерть — лакомка, счастливых выбирает. Таких, как я, обходит, горькие мы. И люди тоже не любят несчастных, держатся подальше от них. Вот я и ушел. Не хотел вам настроение портить на празднике.

— Вон что, а мы-то думали…

— Что думали?

— Да как в песне про Стеньку Разина поется: «Нас на бабу променял», — попытался Ромашкин сгладить шуткой неприятный разговор.

— Ну что ты врешь. Не могли обо мне так подумать. Баб за мной никогда не водилось.

— Была война, теперь никто не осудит. Чем не жених? Молодой, красивый, весь в орденах.

У Куржакова задрожали ноздри.

— Я тебе при первой встрече морду набил. Давай не будем этим же кончать наше знакомство.

— Не хотел тебя обижать.

— В сорок первом фашистский танк раздавил мою жену и сынишку Леньку. Дивизия недалеко от границы стояла.

Взгляд Куржакова при этих словах остановился, Григорий глядел, ничего не видя.

— Прости, Гриша, я же не знал. Ты никогда об этом не рассказывал.

—Да, были у меня с фашистами свои счеты. Думал, доберусь до Германии, за Нюру — сотню фрау, за Леньку — сотню киндеров пристрелю. А вот пришел — рука не поднялась. Из батальонной кухни солдатскими харчами их подкармливаю. Как ты думаешь — увидели бы это Нюра и Леня, что бы они сказали?

— Они бы тебя поняли.

— А почему этого не понимали те гады, которые их давили танками?

— Вот кончилась война, теперь мы немцев об этом спросим.

— Спросить-то спросим. Только мертвые из земли не встанут. А у меня все с ними, там, по ту сторону войны.

Ромашкин попытался отвлечь Куржакова от тяжких мыслей.

— Нельзя так, Гриша, живой должен думать и о живых. Куржаков вздохнул:

— Все ты правильно говоришь, тебе надо бы политработником быть. Что-то от Гарбуза к тебе перешло. Помнишь Андрея Даниловича? Любил он тебя!

— Он всех любил.

— Ох, мне чертей давал! Умел стружку снимать! Культурно, вежливо, но так полирует, аж до костей продирает! Меня тоже любил. Справедливый мужик был. Настоящий большевик. Вот я сидел тут, рыбу ловил, размышлял, что бы мне сейчас сказал Андрей Данилович?.. «Многое тебе прощали, комбат, на войну списывали. Теперь не простят. В мирной жизни все по-другому будет, по правилам, по законам. Если пить не бросишь, поснимают с тебя ордена и звания». — Куржаков посмотрел на Ромашкина, глаза его были полны своих дум. Очнувшись от этих дум, Григорий объяснил: — Нельзя мне пить. Все, завязываю! Вот поэтому и ушел с праздника. Ты же знаешь, какой я, когда поддам.

Куржаков стремился переменить разговор, прищурив глаз, спросил Василия с иронией:

— Ну а ты навоевался? Помнишь, каким петушком на фронт ехал?

— Помню. Ты уж за все, ради победы, прости.

— Ладно, свои люди, сочтемся. Да и воевал ты хорошо, не за что на тебя обижаться. Откровенно говоря, не думал, что живой останешься. В общем, все нормально, все на своих местах. Ты капитан, я подполковник, так и должно быть. — Куржаков засмеялся. — Скажи командиру — все, мол, в порядке.

— Нет, Гриша, пойдем вместе, там нас ждут.

— Так не пью же я!..

— Вот и хорошо, другим пример покажешь.

— Ну и дошлый ты, Ромашкин! Идем.

Василий шел, едва успевая за Григорием. Это был прежний стремительный Куржаков — комбат-вперед, который в наступлении всегда находился на острие клина, вбитого в оборону врага.

* * *

Из Москвы поступил приказ: каждый фронт должен сформировать сводный полк для участия в Параде Победы. В этот полк надлежало включить наиболее отличившихся в боях офицеров, сержантов и солдат.

Когда в штабе 3-го Белорусского фронта распределили, из какого расчета должны выделять войска представителей, получилось всего по два-три человека от полка. Трудная задача встала перед командирами и политработниками — кого выбрать, у каждого второго целая шеренга наград на груди.

В полку Караваева это затруднение тоже преодолели не сразу. Хотелось дать представителя хотя бы от каждого батальона, но их три, а выделять приказано всего двоих.

Полковник предложил послать Героя Советского Союза младшего лейтенанта Пряхина и прославленного командира батальона подполковника Куржакова. Но замполит Линтварев сказал:

— Пряхин достоин. А вот Куржаков может подвести и полк, и фронт…

— Бросил он пить, — напомнил Караваев.

— Послезавтра три дня будет, — пошутил Линтварев. У него наладились служебные отношения с Караваевым, довоевали они без стычек между собой, но душевного контакта, дружбы все же не получилось.

— Кого же тогда? — припоминал командир полка, согласившись с Линтваревым.

У Колокольцева, который присутствовал при этом разговоре, было свое мнение, но он не спешил его высказывать, дал возможность поспорить командиру и замполиту, а когда они умолкли, спокойно предложил:

— Давайте пошлем Пряхина и Ромашкина. Наш разведчик — храбрый, хорошо воспитанный офицер. В полку его уважают.

— Тоже не безупречен, разговорчики может завести, — размышляя, сказал Линтварев. — Все это, конечно, в прошлом. Я с ним ещё побеседую. Мне кажется, он подходящий кандидат.

Так Василий в начале июня очутился в Москве. Сводный полк 3-го Белорусского фронта разместили в старых казармах. Крепкие трех-четырехэтажные здания старинной кирпичной кладки с множеством приземистых служебных домов, пристроенных в разное время: склады, столовые, мастерские — все это было отдано участникам парада.

Даже на отдыхе, после большой войны, когда, казалось, можно было расслабиться, позволить себе некоторую вольность, сводный полк с первых минут зажил четкой, размеренной жизнью. Все были распределены по взводам, ротам, батальонам. Командиры в любую минуту могли поднять подразделение, знали, где находится каждый из подчиненных. Уходить из расположения разрешалось лишь с ведома старших. Очень своеобразные были эти подразделения — майоры, капитаны, рядовые стояли в общем строю — все были равные победители.

В общежитии круглосуточно дежурил наряд из самих же участников парада. Дежурили только рядовые, сержанты и младшие офицеры. От этих обязанностей был освобожден старший командный состав. У ворот, в проходной несли службу солдаты, они были связаны телефонами со всеми помещениями.

К фронтовикам приходили друзья, знакомые, родственники, по цепочке внутренней службы от проходной летел вызов и быстро находил того, к кому пришли гости. К Ромашкину никто

не приходил. В первый же день послал матери телеграмму: «Приезжай, где-нибудь устрою тебя на жилье, посмотришь Москву, целый месяц побудем вместе».

Ежедневно сводный полк занимался тренировками, подготовкой к параду.

А вечерами, после строевых занятий, участников парада приглашали на встречи с рабочими, студентами, школьниками.

Однажды Ромашкина и Пряхина попросили выступить в школе. Ученики, одетые в белые рубашки с красными галстуками, встретили гостей во дворе. Преподнесли букеты, окружили шумной гурьбой и повели в зал.

Первым выступал капитан Ромашкин. Ребята притихли. Сотни глаз пытливо и восторженно глядели на Василия. А он смотрел на старшеклассников и думал: «Совсем недавно я был таким, как они. О чем же рассказать? О том, как рухнули мои представления о войне? О том, что всегда было страшно на заданиях?.. Но разве можно такое рассказывать с трибуны? У ребят вон как глаза горят! Они жаждут услышать о геройстве и мужестве. Так что же, приукрасить? Соврать? Это совсем нехорошо. Но что же делать, я ведь не совершал никаких подвигов». Все же Ромашкин нашел выход — необязательно говорить о себе! Разве мало во взводе было храбрых ребят? И он рассказал о Косте Королевиче, Коноплеве, Жене Початкине. Когда закончил, ребята долго били в ладоши. Потом подняла руку девочка с косичками, в белом фартучке, заливаясь румянцев, она попросила:

— Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе.

Ромашкин опять растерялся, стал смущенно мямлить:

— Я, собственно, ничего особенного не совершил. Воевал, как все…

Василия выручил директор школы:

— Товарищ капитан, конечно, скромничает. Столько наград и ничего не сделал! Вы, наверное, экономите время для вашего соратника. Спасибо вам, товарищ капитан, за интересный рассказ. Послушаем теперь Героя Советского Союза товарища Пряхина!

Василий понимая состояние Кузьмы, сочувствовал однополчанину.

Пряхин пылал так, что с лица исчезли веснушки. Он откашлялся и, стараясь выглядеть спокойным, сбивчиво заговорил:

— Воевать, товарищи, оказывается, легче, чем про это рассказывать…

Зал отозвался доброжелательным смешком.

— Я ведь тоже, как сказал товарищ капитан, особых подвигов

не совершал. На Днепре мне Золотую Звезду дали. Одним из первых переплыл, вот и дали.

Ромашкин вспоминал, какой ад был на плацдарме, как они, по несколько раз раненные, отбивали наседающих фашистов, обеспечивая переправу полка. Вот бы показать ребятам Кузьму Пряхина в том бою! У Василия зазвучал в ушах срывающийся на фальцет мальчишеский голос Кузьмы — так он тогда командовал, стараясь перекричать грохот боя.

И вот стоит Кузьма, ярко освещенный электрическим светом, Золотая Звезда и ордена сверкают на его груди, а рассказывает он так скупо и неинтересно, просто невозможно слушать. Василию хотелось вскочить и поведать ребятам, какой отчаянный и бесстрашный парень Кузьма Пряхин. Удерживала лишь напряженная тишина в зале: «Слушают — значит, нравится».

— После Днепра война пошла веселее, — рассказывал Пряхин. — Верите ли, до самого Кенигсберга лопату из чехла не вынимал, ни одного окопа в полный профиль не отрыл. Все в отбитых у фашистов сидел. Раньше, бывало, пока оборону прорвем, карта у командира роты капитана Куржакова на всех сгибах протрется. А тут пошло — не успевают новые листы раздать, а мы уже прошли эту местность.

«Не то говоришь, Кузьма, — думал Ромашкин. — Покажется ребятам война веселым, легким делом. И я не о том говорил, надо бы сказать, как гитлеровцы госпиталь разгромили, как тетю Маню, врачей убили, как могилу отца тяжело увидеть. О том, что от Москвы до самого Берлина — сплошное пожарище, трубы от печей да головешки, наши братские могилы и рвы с расстрелянными мирными жителями». Василий смотрел на празднично украшенный зал, на легкие белые рубашечки, алые галстуки, счастливые лица ребят. «А нужно ли им об этом рассказывать? Зачем омрачать их веселые, чистые души? Им хочется услышать о подвигах. А на войне ведь не думают о них, даже свершая их, не думают. Что же получится, мы прошли через одну войну, а им будем рассказывать про другую? Не дело это. Эх, жаль нет Андрея Даниловича Гарбуза, он бы во всем разобрался, разъяснил, что к чему».

Рассказ Пряхина ребятам понравился, они долго аплодировали. Потом та же девочка с косичками спросила:

— Скажите, правда ли, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых?

Ребята и даже педагоги неодобрительно зашикали на девочку.

— Нашла о чем спросить!

— А я хочу знать. Я об этом в книге читала, — смущенно

защищалась девочка.

Кузьма ответил не сразу, подумал, потом сказал:

— Как тебе объяснить, милая, — не знаю. Умирают люди на войне просто: ударила пуля или осколок — и упал человек. А мы дальше идем вперед. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим… Одно знаю точно — лозунги и всякие речи, как это в кино показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил, а пришел конец — маму позвал. «Больно, — говорит, — мне, маманя». На том и погас.

Школьники проводили фронтовиков до ворот, целые охапки цветов надарили. Всю дорогу Василий и Кузьма раздавали эти букетики — кондукторшам в троллейбусе, девушкам в метро, милиционершам.

Василий очень остро ощутил сладость простой мирной жизни: улица, ходят люди, мчатся автомобили и трамваи, казалось бы, ничего особенного, обычная будничная суета, но как она прекрасна! Как приятно видеть все это, ходить в полный рост среди людей, не опасаясь ни пуль, ни снарядов. Какое, оказывается, простое и непритязательное человеческое счастье.

Ночью полк разбудили дневальные. Именно разбудили, а не подняли по тревоге. Спокойно, негромко скомандовали:

— Подъем! Вставайте, товарищи. Будет генеральная репетиция.

Ночные подъемы прежде всегда происходили по взвинчивающему, будоражащему призыву: «В ружье!» Сегодня не надо было спешить, но срабатывала годами выработанная привычка: одевались быстро, бежали к умывальникам. Через несколько минут все были готовы. Собрались во дворе, а времени до построения осталось ещё много. Закурили. Посмеиваясь, Кузьма сказал:

— Так вот и дома ночью толкнет жинка в бок, а ты первым делом в сапоги вскочишь!

Москва спала. Тихая, умиротворенная. Лампочки светились, убегая вдаль, вдоль тротуаров. «Как трассирующие пулемётные очереди, — подумал, глядя на них, Василий. — А круглые пятна света на дороге похожи на воронки, только белые… Так и буду, наверное, всю жизнь войну вспоминать».

Хотел Василий прогнать навязчивые фронтовые сравнения, но куда от них денешься, уж так устроен человек — все видит через свое прошлое, пережитое. Глядел Ромашкин на красивые высокие дома, широкие подметенные улицы, а вспоминались те, по которым шел на парад в сорок первом: скорбные улочки, холод, мрак, окна, заклеенные белыми бумажными крестами,

дробный стук промерзших подметок по мостовой.

Вдали над входом в метро засияла большая красная буква "М". И тут же встала перед глазами Василия другая "М" — синяя, и вспомнились слова Карапетяна: «Это для маскировки, чтобы немецкие летчики не видели. До войны эти буквы были красные». И вот она, та алая, сияющая буква "М".

Генеральная репетиция парада проводилась на Центральном аэродроме, что на Ленинградском шоссе. Асфальтированное поле размечено белыми линиями с точным соблюдением размеров Красной площади. Красными флажками на деревянных стойках были обозначены мавзолей, ГУМ, Исторический музей, собор Василия Блаженного.

Войска, генералы перед строем, командующий и принимающий парад освещены ярким белым светом прожекторов. Под прямым ударом из лучей вспыхивали белым огнем ордена, медали, никелированные ножны генеральских шашек.

Когда рассвело, принялись за дело фотографы и кинооператоры, они сновали между рядами, выбирали особенно колоритных фронтовиков, благо было из кого выбирать, каждый сиял целым «иконостасом» наград.

Вдруг Ромашкину показалось знакомым лицо одного невысокого журналиста. Он был в очках с толстой роговой оправой. «Где я его видел? — припоминал Василий. — На кого-то похож? Такого очкарика вроде бы не встречал. Да и всего-то в жизни знал одного журналиста — Птицына. Того, что с нами ходил на задание и был ранен. Но тот был без очков и, наверное, умер… И все же…»

— Товарищ, вы не Птицын?

— Ромашкин! — воскликнул очкарик и тут же обнял Василия. — Живой?

— Я-то жив, а вы как выцарапались?

— Обошлось. Читали заметку?

— Спасибо. Каждый разведчик на память сохранил.

— Боюсь спрашивать — не все, наверное, дожили до победы?

— Не все, — Василий рассказал о тех, кто погиб.

—Я ведь тогда случайно остался жив, — пояснил Птицын, — и не только потому, что был ранен в живот. По дороге в ваш полк разбились очки, запасных не было. Возвращаться время не позволяло. Я с вами почти слепой мотался. Ни черта не видел!

— Когда отбивали фашистов, тех, что сбоку к нам в траншею влетели, — помните? — я заметил, уж очень вы по-учебному стреляли, одну руку назад, другую, с пистолетом, далеко вперед, прямо как в тире!

Птицын смеялся:

— Вот-вот. Гитлеровцы у меня в глазах словно тени мелькали, почти наугад стрелял.

— Как же вы отважились идти без очков с нами?

— Материал нужен был срочно. На войне каждый по-своему рискует. Запишите мой телефон, адрес. Встретимся, поговорим. Я ведь москвич.

Василий записал, а Птицын все не уходил, рассказывал:

— Я часто вспоминал о вас. Хотел разыскать, но не знал полевой почты. После ранения здесь, в Москве лечился. Знаете, что я сейчас вспоминаю?

— Конечно, нет. Столько было за эти годы!

— Видится мне парад сорок первого. Снег падает. Суровые лица, настроение тяжелое. Хочу написать статью — сравнить тот и этот парад.

— Я тоже тогда был на площади.

— Это же здорово! Может, я и возьму за основу ваши переживания — тогда и теперь?

— Только не это! — воскликнул Ромашкин, вспомнив, как стесненно чувствовал себя при каждой просьбе рассказать о фронтовых делах. Желая уйти от этой затеи, Василий перевел разговор на другое. — Вы знаете, у меня тогда даже неприятность произошла.

— Какая?

— Собственно, не на параде, а позже, в госпитале. Смотрел я кинохронику и заметил, что снежинки перед Сталиным не летят и пар у него изо рта не идет, а ведь в тот день мороз был. Вот я возьми и скажи об этом. Чуть политическое дело не пришили. Даже потом не раз припоминали.

— А что же тут политического?

— Не знаю.

— Тем более что вы правы. Я эту историю хорошо помню. Мы, журналисты, всегда знаем больше других. Тогда ведь что было. Парад готовили в тайне. Чтобы немцы авиацией не смогли помешать, Сталин разрешил включить радиостанции только тогда, когда начал речь. И кинооператоры приехали с опозданием, их поздно оповестили. Сталин почти половину речи произнес, когда они прибыли. Доложили после парада об этом Сталину. Боялись, конечно, но все же доложили. Согласился Сталин повторить речь перед киноаппаратом. Снимали его в Кремле, в помещении. Так что вы абсолютно правы и ещё раз проявили наблюдательность разведчика.

Птицын и о предстоящем параде знал то, что не многим было известно. Ромашкин спросил его:

— Почему Парад Победы назначили на двадцать четвертое

июня? Мне кажется, более логично было бы проводить сегодня, двадцать второго июня, в день начала войны.

— Идет Сессия Верховного Совета, решили не прерывать её работу, сейчас, сами понимаете, народнохозяйственные заботы на первом плане. Война, победа — уже история.

Ромашкин не раз думал: в каком порядке пойдут фронты, кому будет предоставлена честь открыть Парад Победы?

— Наверное, первыми пойдут те, кто брал Берлин, — 1-й и 2-й Белорусские, 1-й Украинский фронты? А вот из них кому отдадут предпочтение?

Птицын знал и это:

— Разные варианты предлагались. Но трудно сказать, какое сражение было решающим: битва под Москвой, за Сталинград, под Курском или взятие Берлина? Да и другие баталии не менее значительны. Ну хотя бы освобождение Кавказа, оборона Ленинграда. Да мало ли! Генеральный штаб решил мудро. Пойдут, как и полагается в военном строю, с правого фланга. Каким было построение действующей армии? Правый фланг у Северного моря, левый — у Черного; так и пойдут: Карельский фронт, Ленинградский, Прибалтийский и так далее.

— Хорошо придумали, никому не обидно. — Ромашкин показал на строй рослых солдат, которые на тренировки ходили после всех фронтов. — А что это за ребята? Какие-то палки у них в руках. Несут, несут, потом швыряют эти палки на землю и дальше шагают.

Птицын улыбнулся, за толстыми стеклами очков глаза весело сверкнули:

— Этого я вам не скажу! Знаю, но не скажу. Пусть будет сюрпризом. Ну, мне надо работать. Надеюсь скоро увидеть вас. Звоните и приходите ко мне домой в любое время без всяких церемоний. — Птицын задержал руку Василия, склонил голову немного набок, тепло сказал: — Ведь мы фронтовые друзья, это очень многое значит!

* * *

И вот настал день Парада Победы. До этого стояла теплая солнечная погода, а 24 июня небо затянули хмурые тучи, моросил мелкий дождь. Но это не испортило праздника.

Василий стоял в строю, слушал мелодичный перезвон курантов, и опять его охватило ощущение поступи истории. Казалось, совсем недавно стоял он здесь, на белой, будто седой от горя и потрясения, площади, припорошенной снегом. Где-то рядом, обложив Москву с трех сторон, рвались к ней фашисты. Неистовствовал в Берлине Гитлер, узнав о параде. И вот нет ни Гитлера, ни его армии. Прохладный дождичек освежает лицо.

Спокойно и радостно на душе. Легко дышится свежим воздухом, очищенным летней влагой. И все же немного грустно: суровое небо, отдаленное ворчание грома напоминают о войне, о тех, кто никогда уже не встанет рядом.

На трибунах, усеянных блестящими, мокрыми зонтиками, плотно стояли москвичи и гости.

В 9 часов 55 минут на мавзолей поднялись члены правительства, трибуны встретили их аплодисментами.

Переливисто прозвенели куранты. Командующий парадом — ордена закрывали грудь, как золотой кольчугой, — маршал Рокоссовский подал команду: «Парад, смирно!» — и, пустив коня красивой рысью, поскакал навстречу принимающему парад маршалу Жукову, который выезжал на белом коне из-под арки Спасской башни. Оба маршала сидели на конях как истинные кавалеристы — развернута грудь, прямая спина, гордо вскинута голова.

Маршалы объехали сначала полки действующей армии, потом академии и училища. Красивые лошади нетерпеливо перебирали ногами, когда их останавливали перед строем. Жуков здоровался и поздравлял с победой соратников по оружию. Он знал в лицо многих генералов, а его уж, конечно, знали все.

Жуков подъехал к полку 1-го Белорусского фронта, и Ромашкин увидел, что маршал сдержанно улыбается, как строгий, но добрый наставник, знающий и слабости, и достоинства своих питомцев. Белый конь, видно, горячий и возбужденный, покорялся твердой руке маршала, стоял на месте, но мышцы играли от нетерпения под его шелковистой шкурой, ноздри раздувались. В агатовых глазах блестел не то огонь, не то отражение сияющего орденами строя.

Когда Жуков объехал войска и поднялся к микрофонам, чтобы произнести речь, оркестр — в нем было почти полторы тысячи музыкантов — исполнил гимн Глинки «Славься, русский народ!».

Фанфары оповестили: «Слушайте все!» — и маршал начал речь. Он говорил не торопясь, веско, твердым командирским голосом, каким, наверное, отдавал приказы в годы минувших сражений. Он говорил о суровых днях войны, о доблести советских воинов, о стойкости тружеников тыла.

После речи Жукова площадь многократно оглашалась мощным «ура». Сколько раз с этим возгласом поднимались в атаки люди, стоявшие на площади. Сколько таких же вот голосов оборвались от пуль там, на полях сражений!

Все ждали, что в такой значительный день с речью выступит и Сталин. Но он ничего не сказал.

Начался торжественный марш.

Первым двинулся мимо мавзолея Карельский фронт, его вел маршал Мерецков. Затем Ленинградский, потом 1-й Прибалтийский во главе с Баграмяном. После них маршал Василевский повел полк 3-го Белорусского, в котором шел Ромашкин. Подравнивая свою грудь в блестящей орденами шеренге, Василий вспомнил, как в сорок первом заблямкала у кого-то в котелке железная ложка, как он тогда с перепугу забыл разглядеть Сталина. На этот раз, хоть и волновался, был в напряжении, все же посмотрел на Верховного короткие секунды, за несколько шагов, проходя мимо мавзолея. Ромашкина поразило в лице Сталина совсем не то, что он ожидал увидеть. За мраморным барьером возвышался не тот несгибаемый вождь, каким привык его видеть Василий на портретах, а другой Сталин: пожилой, сутулый, с седеющими усами. «Да, и ему война далась нелегко», — сочувственно подумал Ромашкин. Как и в сорок первом, Василий прошагал дальше и не видел, что происходило на площади. Только потом из рассказов и кинохроники узнал — солдаты, ходившие на тренировках с палками, те, кто, по словам Птицына, должны были преподнести сюрприз, на параде несли опущенные к земле знамена немецких дивизий. Их было много — все, с которыми хлынули фашисты на нашу землю 22 июня!

Вдруг смолк оркестр, в наступившей тишине только барабаны били частую тревожную дробь, будто перед смертельно опасным номером. Солдаты повернули к мавзолею, бросили вражеские знамена на землю и зашагали дальше. А флаги с черными и белыми крестами, свастиками, орлами, лентами, золотыми кистями и бахромой остались лежать, как куча мусора, — и это было все, что осталось от «непобедимой» гитлеровской армии, захватившей Европу и замахнувшейся на весь мир!

После торжеств участники парада разъезжались — кто в отпуск, кто в часть. Ромашкина вызвали в управление кадров. Пропуск был заказан. Пройдя по коридору, отделанному высокими деревянными панелями, Ромашкин остановился у двери с номером, написанным в пропуске. Дверь была массивная, с начищенной медной ручкой. Ромашкин приоткрыл ее, спросил:

— Разрешите? Капитан Ромашкин.

— Жду вас, — приветливо отозвался полковник и, встав из-за стола, пошел навстречу. Протянул руку: — Лавров.

— Я вроде бы вовремя, — сказал Ромашкин, взглянув на часы.

— Все в порядке, — подтвердил полковник. Он откровенно разглядывал Василия и улыбался одними глазами, будто иронически спрашивал: «Ну, что ты обо всем этом думаешь?»

Потом сказал: — Я пригласил вас, чтобы узнать, что вы намерены делать после войны?

Василию вопрос показался очень наивным и ненужным. Пожав плечами, он ответил:

— Служить.

— А где именно?

— В своем полку.

— Война кончилась, армию надо сокращать, многие полки будут расформированы. Ваш тоже.

— Пойду работать, учиться, найду дело, — ответил Василий, уверенный, что в любом случае все будет хорошо.

— Как здоровье вашей мамы?

Ромашкин ещё более насторожился: «Здесь обо мне знают такие подробности! Значит, разговор предстоит очень серьезный!..»

— Мама здорова. Приглашал её в Москву, но она не может приехать — возвращается работать в школу. Готовится к новому учебному году.

— Ну, а теперь поговорим о главном. Вы разведчик. А знаете ли о том, что в разведке мирного времени не бывает? В разведке всегда война. Страна займется восстановлением хозяйства, будет строить новые заводы, растить новое поколение. И надо кому-то все это охранять. Надо постоянно знать, откуда может прийти опасность. У нашей страны много друзей. Но, к сожалению, немало и врагов, — полковник помолчал, лицо его стало печальным, он будто вспомнил что-то свое, далекое и не очень радостное. — Вы, конечно, помните, как началась война. Не раз слышали слова о вероломном нападении фашистской Германии. А не задумывались вы о том, почему немцы достигли внезапности? Где была наша разведка? Что она делала? Куда смотрела? — Лавров поднялся и заходил по комнате. — Когда вы будете работать у нас, я покажу вам карты сорок первого года, на них выявленная нашей разведкой группировка немецкой армии с точностью до батальона! Советские разведчики сделали свое дело. Придет время, историки разберутся во всех сложностях нашей эпохи — и, я уверен, о разведчиках у потомков останется самая добрая память, — Лавров поглядел на Ромашкина тепло и ласково. — Завидую вам, Василий Владимирович, у вас все только начинается. Я, к сожалению, свое отработал, теперь я просто кадровик. Я пригласил вас, чтобы сделать официальное предложение служить в советской военной разведке.

Ромашкин ожидал все что угодно, только не это! Мысли его растерянно заметались, ему хотелось сразу же воскликнуть — да, согласен! Но сомнения тут же охватили его. «Справлюсь ли?

Разведка в мирные дни совсем другое!» Ему вспомнилось, как перед форсированием Днепра он и Люленков отбирали из пополнения разведчиков. Не примет ли Лавров его молчание за трусость?

— Я бы с радостью! Но есть ли во мне необходимые для такой работы качества? Я ведь языков не знаю.

Лавров успокоил:

— Все необходимое у вас есть, вы показали это на фронте. Пойдете учиться. Через несколько лет сами себя не узнаете! В общем, взвесьте все. Мы понимаем, такие решения в жизни не принимаются мгновенно. Вот бронь: в гостинице заказан для вас номер, — полковник подал белый квадратик плотной бумаги. — Погуляйте по Москве ещё три дня. Подумайте. Запишите мой телефон. Через три дня жду вашего звонка.

— Я могу и раньше. — Василий с радостью готов был сегодня же начать, как ему казалось, новую увлекательную жизнь разведчика мирного времени.

— Не спешите, — советовал Лавров. — Я уверен, вы рвались на фронт, мечтая совершать подвиги. Теперь вы познали, что такое война. Сейчас с вами происходит нечто похожее на те далекие дни — открывается новая жизнь, романтика. Очень приятно, что у вас сохранился юношеский задор и оптимизм. В сочетании с большим опытом они помогут вам совершить много полезного для Родины. ещё раз откровенно признаюсь: завидую — вас ждут сложные, трудные, опасные, но в то же время очень интересные дела.

Василий вышел на площадь. Яркое солнце освещало людей. Все куда-то спешили, озабоченные неотложными делами. А Ромашкин уже чувствовал себя над этим жизненным круговоротом, где-то в стороне от него. Такое ощущение бывало в нейтральной зоне или в тылу фашистов: где-то полк, друзья, мама, а он вдали от них вершит очень важное и нужное для всех дело. Вот и теперь было такое же состояние: каждый дом, автомобиль, прохожий были дороги и близки его сердцу, не хотелось с ними расставаться, с радостью жил бы в этой милой суете. Но уже свершилось: скоро он получит новое задание, которое придется выполнять, может быть, всю жизнь.

В разведке не бывает мирного времени

Учебное заведение, в которое был направлен Ромашкин, находилось под Москвой. На электричке с Белорусского вокзала Василий доехал до нужной остановки. Сразу от платформы начинался лес, никаких признаков жилья не было. Пройдя лесом минут десять, Ромашкин увидел аккуратный, чистенький городок, обнесенный забором. У проходной — охрана. Это и было то, что в разговорах называлось «разведшколой», а официально в секретных документах именовалось «Высшая разведывательная школа Главного разведывательного управления».

В городке было три основных здания — четырехэтажный учебный корпус, здесь же управление школы, трехэтажный — западный факультет, трехэтажный — восточный факультет и несколько небольших домов — спортзал, столовая, автопарк с учебной техникой, казарма для охраны, гараж и разные складские помещения.

Мандатная комиссия под председательством начальника школы генерал-лейтенанта Петухова, небольшого роста, круглолицего, не похожего на разведчика, определяла, на какой факультет подходит кандидат.

Члены комиссии заранее знакомились с личным делом офицера, а на мандатной комиссии только уточняли какие-то детали из аттестаций. И, что особенно удивило Ромашкина, очень внимательно разглядывали внешность. Василия даже попросили:

— Повернитесь в профиль.

Пошептавшись, члены комиссии закивали головами и генерал Петухов объявил:

— Вы зачисляетесь на западный факультет, будете специализироваться на англо-американское направление.

Как узнал Василий позже — внешность играла очень важное значение: разведчик, даже если он не будет на нелегальном положении, не должен отличаться своей внешностью от населения этой страны. Вот и сортировала мандатная комиссия: широкие скулы, приплюснутый нос, чуть раскосые темные глаза, невысок ростом: на восточный факультет (Турция, арабские страны, Япония, Индокитай). Светлые волосы и глаза, высокий, средний рост, правильные черты лица — западный факультет (Европа, Америка, Канада, Скандинавия).

Поселяли слушателей в здании своего факультета по два — три человека в комнате. Соседом Василия стал подполковник

Коробов Иван Васильевич, командир партизанской бригады. В 1942 году его забросили в тыл немцев с задачей создать отряд и совершать диверсии в тылу. Был тогда Коробов капитаном, отряд создал, со временем он разросся в бригаду, Коробов получал очередные звания и ордена за выполнение не только диверсий, но и разведывательных заданий. Был он человеком веселым, общительным.

Василия несколько смутило превосходство соседа в звании, но Коробов сразу простодушно сказал:

— Тебя как зовут? Василий? Меня Иван. И никаких званий и отчеств. Нам с тобой четыре года трубить вместе. Поэтому будем жить легко и просто. Согласен? Ну и порядок!

Ромашкин с тайным любопытством поглядывал на окружающих: здесь были опытные разведчики — от капитана до подполковника, не старше тридцати лет. У каждого на груди ордена и медали или несколько рядов орденских планочек.

Сколько отчаянных и невероятных дел свершили эти разведчики в годы войны! И сколько им ещё предстоит приключений в будущем!

Учеба увлекла Ромашкина своей необычностью, все было в новинку, предметы изучения назывались очень своеобразно: «Спецподготовка» — тонкости и хитрости практической работы: вербовка агента, явки, передача сведений, обнаружение и уход от слежки. «Фотодело» — работа с миниатюрными фотоаппаратами величиной с пуговицу. «Спецтехника» — перлюстрация почты, подделка документов и т. д. «Вождение» — практика на автомобилях различных марок. «История разведки», «История дипломатии», «Страноведение» — изучение страны, в которой предстоит работать: её история, культура, экономика, ну и, конечно, вооруженные силы. Язык — для Ромашкина английский. В Ташкентском училище немецким языком занимались два раза в неделю по два часа, здесь язык считался одним из основных предметов — четыре часа ежедневно, при этом один преподаватель на троих слушателей, за четыре часа он буквально переворачивал мышление на английский лад. А что будет через четыре года? Ромашкину очень понравился английский и перспектива овладеть им в совершенстве. Преподавателем был пожилой разведчик Валерий Петрович Столяров, он несколько десятилетий проработал в Америке и так ассимилировался, что по-русски говорил с акцентом. С первых дней он стал не только преподавателем, но и другом; седой, с отцовским взглядом, он так искренне хотела научить «ребят» говорить по-английски, что кроме часов, отведенных для классных занятий, высматривал «своих» вечером в кинозале, в библиотеке, на спортплощадке и

всюду объяснялся с ними только по-английски. Через месяц запретил говорить с ним по-русски, все общение — только на английском языке. Он весь отдавался работе, наверное, у него не было семьи: с утра до ночи он находился в школе.

Ромашкин с некоторой жалостью думал: «Вот она, судьба разведчика, всю жизнь ходил по лезвию бритвы, и на старости нет ничего, кроме работы».

На первой вводной лекции начальник школы генерал Петухов начал издалека, с библейских времен, когда Ной после всемирного потопа выпустил с ковчега птиц, чтобы узнать (разведать) есть ли суша. Птицы не вернулись — значит, нашли землю. Слово «разведать» содержит в себе основной смысл действия — «ведать», знать, разузнать что-то.

Он изложил историю разведки с древних времен до современной сложнейшей государственной службы, когда ни одно решение правительства не принимается без изучения соответствующей информации, не говоря уже о решениях командования всех степеней в мирное и военное время. Разведка очень деликатный, тщательно оберегаемый тайный организм, который должен знать все и не допускать утечки никаких сведений о себе.

В конце лекции генерал несколько разочаровал Ромашкина, сказав, что слушателям надо отказаться от восприятия разведки как области романтических и загадочных подвигов, это — тяжелая, опасная и в какой-то степени неблагодарная работа.

В каждой разведывательной операции её участникам известно только то, что положено и необходимо знать для выполнения своей конкретной задачи. Или, как по этому поводу пишется в официальных документах: «Ознакомлен в части, касающейся».

Исполнители (многие из них не знают друг друга), как пчелы, собирают информацию и прилетают (или отправляют) её в улей (ГРУ). Те, кто работает в этом «улье», устанавливают её качество (сравнивают с другими — не дезинформация ли?), определяют её полезность (что-то новое; подтверждение или опровержение ранее известного), находят место этой крупице в сочетании с другими данными. Таким образом она попадает в доклад, касающийся определенного направления, или в сводку за какой-то период времени.

Эти данные докладываются государственным и военным руководителям, чтобы они не вслепую, а зная все необходимое о нынешнем или будущем противнике, принимали безошибочные решения.

Разведка — единственная военная профессия, в которую не назначают в приказном порядке.

В разведку идут служить только по желанию. И даже работая в этой системе, разведчик не слышит приказного, командирского тона начальства. С ним чаще говорят так: «Мы хотим поручить вам…» или «Как вы смотрите, если мы вас отправим…» Строевой офицер не имеет права отказаться от выполнения приказа. А разведчика могут спросить: «Согласны?» или «Что вы думаете об этом?»

И он должен твердо ответить — берется он за выполнение этого задания или нет.

Обычно разведчик не отказывается от поручаемого дела. Так происходит потому, что те, кто его подобрал, отлично знают его возможности, иначе они с ним не завели бы разговор об этом задании. Работа разведчика всегда связана со смертью, возможными пытками, длительным или пожизненным тюремным заключением. За рубежом разведчик превращается в преступника, потому что преступает законы страны, на землю которой его заслали.

* * *

Однажды, вернувшись в свою комнату после окончания занятий, Иван Коробов предложил Ромашкину:

— Давай вечерком погуляем, сходим в ресторан. Была у меня мечта, если выберусь живым из немецкого тыла, буду целую неделю кутить в самом шикарном ресторане.

Василия удивила не мечта Ивана, а его предложение участвовать в таком гулянье. Невольно вспомнились однокашники по училищу, которые его предали и доносили о разговорах. Может быть, в разведшколе таким способом проверяют моральную устойчивость слушателей? Чтобы не обижать Коробова подозрением, Василий схитрил:

— Ваня, я не могу с тобой пойти в ресторан, потому что мне не на что пригласить тебя на ответное угощение. Моего капитанского жалованья на это не хватит. К тому же я половину матери отсылаю ежемесячно.

— Вот чудак! Никаких ответных не нужно. У меня денег до черта! В тылу у немцев деньги некуда было тратить. За три года полчемодана накопилось. Родственников нет, все погибли во время оккупации. Жену ещё не завел. Некому было тратить. Так что не сомневайся! Какой в Москве самый шикарный ресторан?

— В этом деле я профан, не был ещё ни разу в жизни в ресторане. Не довелось, ни в Москве, ни в Ташкенте: училище, тюрьма, война, какие уж тут рестораны!

— Тем более! Неужели тебе не интересно?

Затея Ивана была заманчива, говорил он искренно, и Ромашкин согласился. Они ещё не приобрели гражданских

костюмов, в них не было надобности. В первые годы после окончания войны в цивильное не переодевались, в военной форме при орденах всюду встречали с уважением.

Нагладив брюки, начистив награды, Иван и Василий отправились кутить. Они приехали в центр Москвы и, выйдя из метро «Площадь революции», сразу обнаружили огромную гостиницу «Москва» с рестораном, через площадь «Метрополь», а прямо напротив выхода из метро, прилепленный к гостинице «Москва», сиял белый, украшенный старинной лепкой «Гранд Отель» (теперь уже нет этого ресторана, его поглотил при реконструкции комплекс «Москвы», охвативший целый квартал.) В глаза бросилась сияющая яркими огнями реклама «Гранд Отеля».

— О! — воскликнул Иван. — Это то, что нам нужно! «Гранд Отель», грандиозно!

Они вошли в шикарный вестибюль — белый мрамор, зеркала в золоченых рамах, хрустальные люстры, швейцары и гардеробщики, похожие на адмиралов, в коричневых, отделанных золотыми галунами одеждах. Здесь был иной мир, какого Ромашкин прежде никогда не видел.

Холлы и главная зала ресторана были белые, с золотом, стены, потолки в лепке, зеркала в проемах между окнами обрамлены золотым вычурным багетом, и даже мебель — столы и кресла на замысловатых ножках — тоже была белой с золотом. Как позже узнал Ромашкин, это был стиль какого-то Людовика, номер его Василий не запомнил.

Расположились за столиком в углу, здесь показалось уютно и удобно, все и всех хорошо видно. Некоторое время Василий и Иван сидели молча, не то чтобы подавленные, а наоборот — вознесенные в какую-то сказочную нереальность.

У Василия, как в калейдоскопе, проносились в голове: тюремная одиночка, лесоповал, траншеи, залитые дождевой водой, расстрел компании Серого, прыжок с ножом на часового у знамени… Он думал: «Вся эта сказочная роскошь существовала, действовала в те же дни и часы, когда я проходил через те далекие теперь передряги. Когда темной ночью разведгруппа была на краю гибели, и Костя Королевич кинулся на пулемёт, в этом ярко освещенном зале, под звуки джаза, может быть, вон та красивая, элегантная женщина так же, как и сегодня, танцевала с седым, явно иностранцем, потому что у него вместо галстука непривычная для нас бабочка».

Иван тоже сидел молча и, видимо, переживал нечто похожее на размышления Ромашкина.

Любезный официант в полупоклоне, но с достоинством

записал в блокнотик все, что заказали офицеры, и упорхнул неслышной походкой.

Посуда, ножи, вилки, салфетки, всё было особенное, именное, с вычурной монограммой «Гранд Отеля». Заказанную поллитровку водки принесли не в бутылке, а в изящном графинчике. Иван разлил водку в фужеры, предназначенные для воды, и сказал, показывая на маленькие рюмочки:

— Этими фигурками мы с тобой до утра не охмелеем.

Выпили с наслаждением, водка была холодная, графинчик даже вспотел, потому что бутылку, достав из холодильника, перелили в него.

После первого графинчика, заказав второй, стали более внимательно приглядываться к окружающим, и, разумеется, взоры дольше задерживались на женщинах.

Все они казались Ромашкину необыкновенными, таких он не встречал в своей прежней жизни: многие в длинных платьях, но сшитых так, что фигура просматривается во всех подробностях, обнаженные плечи и руки, ухоженные лица, загадочные и одинаковые. Василию даже подумалось: они как постоянный инвентарь этого ресторана, как неизменные манекенщицы в журналах мод.

Однако спустя некоторое время Ромашкин стал различать женщин, они оказались разными по внешности, по фигурам и по возрасту. И некоторые из них с интересом поглядывали в сторону офицеров и даже проявляли явное желание быть замеченными.

— Может быть, потанцуем? Нам не откажут вон те две за столиком, недалеко от оркестра. Они без ухажеров.

Когда-то в школе и в училище Василий танцевал с девушками, но это было так давно, что теперь он засомневался,

— Получится ли? Я всю войну об этом даже не думал.

— Получится, — сказал уверенно Иван, — танго пойдем танцевать. В танго ничего не надо ногами вьщелывать, ходи и ходи под музыку, вот тебе и танго. — И как только заиграл оркестр, Иван поднялся и скомандовал: — Пошли! Вперед, без страха и сомнения.

Дамы охотно приняли приглашение офицеров. Взяв женщину за талию и ощутив аромат, который нежной волной прошелся по лицу, Василий почувствовал легкое головокружение. Партнерша была податлива, она казалась почти неосязаемой в скользящей шелковой ткани своего платья.

— А почему вы одни, где ваши дамы?

— Пока не завели, мы недавно с фронта, прибыли учиться в академию, все время на занятиях, не до дам, — сразу все откровенно изложил Василий и тут же спросил: — А вы почему

без ухажеров?

— Мы с подругой зашли полакомиться кофе и пирожными. Здесь делают особенно хороший кофе. Ну, а потом решили и музыку послушать.

— Давайте знакомиться, — предложил Ромашкин. — Меня зовут Василий.

— А меня Мария.

— Может быть, мы объединимся, — предложил Ромашкин, — переходите за наш столик.

Партнерша несколько отстранилась от Василия, улыбка сошла с её губ:

— Извините, но мы не из тех, кто приходит в ресторан заводить знакомства.

Василий стал оправдываться:

— Я не хотел вас обидеть, просто вас двое и нас двое, вы здесь случайно и мы случайно.

— Нет, нет, переходить за ваш стол просто неприлично…

Мелодия оборвалась. Василий повел партнершу к её столу и на ходу спросил:

— Ну а танцевать будем? Мария заулыбалась:

— Будем, это можно!

Во время следующего танца разговор продолжился. Ромашкин узнал, что Мария журналистка, работает в газете, в какой именно, она не сказала.

Из ресторана они вышли вместе, а провожать подруг пошли врозь. Василий доехал с Марией до метро «Арбатская». Выйдя на платформу, Мария сказала:

— Дальше меня провожать не нужно. А чтобы вы не подумали, что я хочу от вас избавиться, запишите мой телефон, спрашивайте Марию, меня позовут. У вас в академическом общежитии, конечно, телефона нет.

Василию было очень хорошо с Марией, она держала себя просто, остроумно шутила, все понимала с полуслова. Казалось, что они давно знакомы, и не хотелось расставаться.

Но Мария настояла на своем, дальше провожать не позволила:

— Если вам понравился сегодняшний вечер, звоните в следующее воскресенье, опять потанцуем.

В общежитии Ромашкин рассказал обо всем Ивану, а тот, в свою очередь, тоже показал телефон Танечки.

— В следующий выходной встречаемся! — весело подвел итог Коробов. — Видишь, как здорово получилось, а ты артачился! Теперь у нас будут дамы сердца, и мне кажется, знакомство наше весьма перспективное. — Иван подмигнул и добавил: — Во всех

отношениях!

Знакомство оказалось действительно удачным, после каждой встречи Мария все больше нравилась Василию. Его несколько смущало некоторое превосходство Марии в образовании, он ощущал это во всех разговорах, но, с другой стороны, и сам чувствовал, что старается быть на высоте, соответствовать её уровню, а это весьма полезно для него вообще и для будущей работы в особенности.

Через некоторое время Ромашкин уже стал подумывать: а не та ли Мария единственная, которую посылает ему судьба на долгие годы? Он готов был сделать официальное предложение, если бы не очередной неожиданный поворот в его жизни. Уж, казалось бы, сколько было таких крутых поворотов, но судьба, видно, ещё не исчерпала все, что ему предназначала.

В субботу, после последней лекции, адъютант начальника школы встретил Василия у выхода и сказал:

— Ромашкин, зайдите к шефу, он вас ждет прямо сейчас.

Гадая, зачем он понадобился начальству, к тому же так срочно, Василий поспешил на третий этаж.

В кабинете, кроме генерала Петухова, был не знакомый Ромашкину посетитель в гражданском.

Доложив о прибытии, Ромашкин встал перед столом генерала. Тот молча посмотрел на Василия очень внимательно, потом перевел взор на посетителя и молвил:

— Вот наш ухажер.

Василий, ничего не понимая, смотрел то на генерала, то на гражданского. Наконец Петухов без обиняков спросил:

— У вас есть знакомая Мария?

— Да, я знаком с Марией, встречаюсь с ней, она журналистка.

— Она такая же журналистка, как я папа римский, — съязвил генерал. — Она жена английского разведчика и сама разведчица, и зовут её Мэри. Вот, товарищ майор Савельев из КГБ расскажет тебе о ней более подробно.

Но товарищ из КГБ рассказывать не стал, а спросил:

— Как далеко зашли ваши отношения?

Ромашкин все ещё не мог прийти в себя от того, что услышал. Пожав плечами, коротко ответил:

— Танцуем. Встречаемся и танцуем.

— Где встречаетесь, впрочем, нам известно. О чем она вас спрашивает? Интересуется ли служебным положением?

— Я сказал, что учусь в академии.

Петухов, недовольный тем, что его подчиненный вляпался в неприятную историю, иронически бросил:

— Так она тебе и поверила. После того, как ты с ней

расставался на Арбате, а она тебе не разрешала себя провожать, за тобой шел хвост. А ты его привел сюда, к школе. Академик! Скажи спасибо, что товарищи, — генерал кивнул на кагэбэшника, — засекли тебя быстро, а то бы устроила тебе Мэри какую-нибудь пакость, чтобы ты не мог открутиться от вербовки.

У Василия волосы зашевелились на голове, он это ясно ощутил. Помчались путаные мысли:

"Опять арест? Не зря же здесь кагэбэшник! Точно арестуют. Вот так угораздило! Связь со шпионкой! Сейчас генерал объявит об отчислении из школы и этот чистенький штатский скажет: «Пройдемте в машину».

Но майор Савельев заговорил о другом:

— Мы посоветовались у нас и с вашим командованием и решили, если Мэри вышла на вас, то лучше мы её покрутим, чтобы она не занялась кем-то другим и не залучила в свои сети неопытного офицера. Она с подружкой специально охотятся за военнослужащими. Не вы один у нее на примете. Так вот, продолжайте с ней встречаться, ухаживайте. Чтобы она ничего не заподозрила, проявляйте к ней мужской интерес. Будьте понастойчивее. Может быть, она будет вас дразнить и приоткроется, станет задавать какие-то конкретные вопросы. Обо всем будете меня информировать после каждой встречи. Я буду приезжать сюда. Подполковнику Коробову ничего не говорите. Мы с ним побеседуем и поставим задачу постепенно прервать отношения с Таней, она машинистка в посольстве, активной работой не занимается. Мэри иногда берет её для прикрытия. Вот вам деньги для ухаживания. Распишитесь. — Майор подал деньги и бумагу для подписи. — Вам все ясно?

— Так точно, — встав, ответил Ромашкин.

— Ну, иди, ухажер, — на этот раз шутливо сказал Петухов.

Возвратясь в свою комнату, Василий старался не выдать свое состояние Ивану, хотя и предполагал, что после беседы, которую провели и с ним, Коробов, будучи в курсе дела, не станет лезть в душу и обременять какими-то расспросами.

Но Василий ошибся. Коробов, возвратясь с беседы, на которую его вызвали после Ромашкина, по своей простоте и доброте тут же сказал напрямую:

— Славно мы с тобой погуляли. Я виноват. Я тебя втравил в эту историю. Но жить нам вместе, и чтобы эта жизнь не стала нудной и фальшивой, пусть все будет по-прежнему. Мы останемся друзьями. А насчет дела, которое нам поручено, — мы разведчики, и будем каждый играть свою партию.

У Ромашкина сразу полегчало на душе — какой же умный и добрый человек Иван Васильевич, сразу снял камень с души, все

поставил на свои места, и жизнь пошла легко и свободно, как до этого несчастного загула.

С Марией встречи продолжались регулярно. При первом свидании после того, как он узнал, кто такая Мария, Ромашкин приложил много сил, чтобы не быть скованным. Как советовал майор Савельев, Василий во время танцев стал более плотно прижимать к себе партнершу, и, к немалому удивлению, обнаружил её податливость и ответное желание к этому сближению. В разговорах теперь каждый вопрос Марии он тщательно взвешивал, старался выявить в её словах какой-то подтекст. Но Мария, как и прежде, вела себя очень непринужденно и в словах её не проскальзывало ничего подозрительного. Только однажды она сказала:

— Мы с тобой часто бываем в ресторанах, а зарплата у тебя капитанская. Я ведь тоже кое-что зарабатываю. И поскольку мы удовольствие получаем на равных, может быть, я возьму половину расходов на себя?

Ромашкин разыграл оскорбленность:

— За кого ты меня принимаешь? Я офицер. Не хватало, чтобы ты меня в ресторан водила. Нет, милая, я в альфонсы не гожусь!

— Не обижайся, глупый, я тебе помочь хотела. Жизнь есть жизнь. За все надо платить, и питаться тебе надо. Деньги на меня тратишь, а в столовой ищешь, что подешевле?

— Я прошу тебя, раз и навсегда прекрати эти разговоры, — отрезал Ромашкин, но подумал, что надо оставить для Мэри какую-то надежду, и поэтому добавил: — Если у меня возникнут какие-то затруднения, я у тебя по-дружески попрошу взаймы. Разумеется, с отдачей. И надеюсь, такой надобности не возникнет.

Мария очень крепко прижалась к нему после этих слов и впервые сама поцеловала в губы. Ромашкину показалось, что в этом эпизоде Мария была больше женщина, чем разведчица.

Рассказывая майору Савельеву о своих наблюдениях, Василий не скрыл и это подозрение. Савельев порекомендовал:

— Действуйте ещё настойчивее в этом направлении. Вы ей нравитесь. У нас есть в посольстве свой информатор, по её наблюдению, Мэри увлеклась вами не на шутку. Женщина есть женщина. К тому же она, как нам известно, вообще слаба к мужчинам. Муж её очень загружен делами и, видно, не удовлетворяет свою страстную женушку. В общем, действуйте по этой линии, кто знает, может быть, не она вас, а мы её вербанем.

Мэри, будто подтверждая слова майора, на очередном свидании предложила:

— Хоть ты и отказывался от моей помощи, я все же нашла

возможность облегчить наше положение. Подчеркиваю — наше! — чтобы ты не обижался. Зачем нам тратиться в ресторанах? Мы можем побыть вдвоем, потанцевать, распить бутылочку вина на квартире моей подруги. Она всегда готова нас принять. живёт она одна, никто нам мешать не будет.

Подруга Марии оказалась не только приветливой, но и догадливой: после первого знакомства она в своей квартире не появлялась. Мария и Василий оставались одни. И тут уж Мария взяла инициативу на себя полностью. Выпив вина, она танцевала и так прижималась к Василию, что не оставалось никаких сомнений в её намерениях. И намерения эти были совсем не разведывательного плана. Не задавая никаких подозрительных вопросов, Мария потянула Василия в кровать и стала сбрасывать с себя одежду

Василий медлил делать то же, и тогда она сама стала быстро помогать ему раздеться.

Оглядела его голого и с восхищением сказала:

— Ты — настоящий Аполлон!

Василий действительно был хорошо сложен. Тренированные мышцы украшали его стройный стан от плеч до ног.

В постели Мария покрыла поцелуями все его тело. Делала это молча. Только изредка издавала звуки, похожие на стон…

У Василия так сложилась жизнь, что у него не было опыта в делах амурных. Целовался с девчонками в школе, прижимался к Зине в подъезде дома, но на этом его сексуальный опыт и кончался. В тюрьмах, лагерях, на фронте женщин он не встречал.

Получалось так, что, оказавшись в постели, он больше походил на смущенную девушку, а опытная Мэри умело обладала им, как полагалось бы ему как мужчине.

Но это перемещение в ролях продолжалось недолго. У Ромашина за долгие годы невинной жизни накопилось много сил, к тому же Василий даже не подозревал раньше, что обладает ещё и такими мужскими достоинствами, которые очень высоко ценят женщины. Мария выла и стонала под ним, она искусала ему шею и плечи. Потом, обессилев, упала, раскинув руки, словно потеряла сознание. А придя в себя, накинулась на Василия с новой яростью. И Василий не пасовал, он опять доводил её до исступления, она рычала и кусалась как помешанная.

Когда оба, вконец обессилевшие, они обменивались вялыми поцелуями, Мэри вдруг поглядела на Василия очень трезвыми глазами и четко сказала:

— Ну, все, теперь я погибла…

— Ты о чем? — спросил Ромашкин.

— О тебе, Васенька. Теперь я без тебя жить не смогу.

Усталый, опустошенный Ромашкин думал о своем: «Вот как повернулась жизнь. Неплохое задание мне поручено выполнять. Это не в нейтралке лежать у колючей проволоки. В такой постели, с такой женщиной, ещё и деньги дают! Побольше бы таких заданий!»

При очередном докладе майору Савельеву Ромашкин изложил все события, опуская сексуальные подробности и ощущения. Савельев понимающе улыбался:

— Ну, молодец. Наколол бабочку. Теперь она почти наша. Она в тебя основательно втюрилась. «Без тебя, говорит, жить не смогу». Значит, будет искать возможность удержать тебя при себе. Разойтись с мужем и выйти за тебя замуж — исключено. Она это понимает. А как же не потерять тебя? Вот тут мы и попытаемся заставить её платить за любовь. Да ещё десяточек компрометирующих фотографий сделаем.

От этих слов Василию стало не по себе — значит, будут скрытой камерой фотографировать то, чем он занимается с Мэри в постели? А может быть, уже и сфотографировали.

Если раньше он шел на встречи с Марией с радостью, то теперь, представляя, как за ним наблюдают и снимают, совершенно утратил предвкушение удовольствия и даже сетовал — не такие уж приятные оказываются задания в мирные дни. «Когда ползешь в расположение немцев, преодолеваешь страх, а тут надо подавить в себе чувство порядочности. На фронте жизнь за жизнь, смерть за смерть. А здесь какое-то ощущение гадливости. Я не чувствую Марию врагом, она мне пока не причинила ничего плохого. А я пользуюсь её любовью ко мне совсем не с добрыми намерениями. Но и она подступала ко мне тоже с враждебными намерениями, хотела завербовать. Значит, мы друг друга стоим, оба разведчики, просто я её переиграл. И переиграл ли, ещё не известно, чем все это кончится». В спальне Василий украдкой огляделся: где же тут хитрый глазок, через который их снимают? И как удалось установить эту тайную аппаратуру? Впрочем, хвосты ходили за ним и Мэри постоянно, они пришли и к этой квартире. Ну, а дальнейшее дело техники. Василий сам изучал в школе подобные приспособления.

А игра, между тем, все осложнялась. Только на этот раз не по официальной линии, не по указаниям начальства, а совсем с иной, очень непредвиденной стороны.

Случилось это так. Ромашкин вошел в метро с улицы, где в этот день был очень сильный мороз. Люди побыстрее забегали и теплый вестибюль, брови их были покрыты инеем. На эскалаторе, когда Ромашкин спускался вниз, к нему вдруг обратилась девушка, стоявшая рядом.

— Ой, у вас ухо побелело! Надо потереть, — и тут же принялась тереть ему ухо своей шерстяной рукавичкой. Они шагнули с эскалатора вместе, отошли в сторону, девушка продолжала заботливо тереть его ухо.

И тут произошло невероятное. Ромашкин разглядел белое, приятное лицо девушки, оно было необычайной чистоты и свежести. О таких говорят: кровь с молоком. А заглянув в серые лучистые глаза, которые были от него на очень близком расстоянии, Ромашкин увидел в них тот самый омут, в котором мужчины гибнут с первого взгляда. Незнакомка была такой необыкновенной, неземной, сказочной красоты, что Ромашкин почувствовал — то ли гибель свою в омуте серых глаз, то ли воскресение, с которого начнется совсем новая, иная жизнь.

Девушка, видно, заметила: с капитаном происходит что-то неладное:

— Вам больно?

— Как вас зовут? — пролепетал Ромашкин.

— Анна.

Она именно так к сказала емко и гордо — Анна. И действительно: она была не Анечкой, не Аннушкой, она была Анной, русской румяной красавицей из сказки или даже с яркого лубка — такой она была величественной и сияющей.

— Вы спасли мне жизнь. — сказал Ромашкин.

— Ну что вы, я спасла вам ухо.

— Мы не можем с вами просто так разойтись. Меня зовут Василий. Анна, я умоляю, дайте мне свой телефон. Мы с вами встретились не случайно. Это судьба.

— Пожалуйста, запишите мой телефон, только побыстрее, я опаздываю на лекции.

— Где вы учитесь? — спросил, записывая номер телефона, Ромашкин.

— В медицинском. Я побежала. Звоните.

И все, с этого момента жизнь Василия осветилась теплым светом Аниных глаз, её румяное белое лицо стояло перед глазами постоянно. На лекциях, семинарских занятиях Василий уносился в каких-то бесплотных мечтах неизвестно о чем, он хотел только одного — видеть Анну, смотреть на нее, утопать в её лучистых серых глазах.

Вот тут и возникли необыкновенные трудности, о которых прежде даже подумать не мог Василий. Трудности были страшнее пыток, в которые мог угодить разведчик. Оказывается, пытки моральные, нравственные тяжелее, чем физические боли.

Ромашкин встретился с Анной на следующий же день. Он не мог ждать, он не мог теперь жить без нее. И после каждой, даже

короткой, ни к чему не обязывающей встречи Василий понимал — любовь полыхает в нем все сильнее, он полюбил впервые по-настоящему. Никогда прежде он не испытывал таких раздирающих и в то же время возвышающих чувств. Он просто не мог жить, не мог дышать без Анны. Он готов был часами просто стоять с ней рядом и глядеть на нее, не говоря ни слова.

И он это делал теперь каждый вечер, убегая после занятий в город, забывая о самоподготовке и различных спортивных состязаниях между факультетами. Анна — только Анна — теперь заполняла его жизнь после занятий в разведшколе.

Но приходило воскресенье, и надо было отправляться на выполнение задания — его ждала безумно любящая Мэри. Она уже не скрывала своего чувства, повисала на Василии, как только он переступал порог их явочно-амурной квартиры. Мария наспех кормила Василия, выпивала с ним бутылку вина и поскорее тащила в постель. Она сама раздевала его и как безумная покрывала поцелуями.

Какие адские муки причиняла она своими ласками! Василий проклинал все на свете — и Марию, и разведку, и жизнь за то, что она складывается так невыносимо трудно.

Сердце его разрывалось от отвращения к себе. Он мысленно видел Анну: её целомудренная чистота, белое лицо с ангельским румянцем вставали перед мысленным взором Василия. А рядом эта Мэри, алчная, ненасытная, стонущая и рычащая, она высасывала из Василия все силы. А он, беспомощный, обреченный на эти пытки служебным долгом, проклинал безвыходность своего положения и чувствовал себя подлецом перед Анной. Он хотя и не был связан с ней не только какими-то обещаниями, но даже простыми поцелуями, —думал: как же он поцелуется, когда до этого дойдет дело? Как же он, такой грязный и подлый, посмеет прикоснуться к ней, хрустально-чистой и небесно непорочной Анне9

Муки Ромашкина были настолько невыносимы, что он порой думал: «Наверное, от такой безысходности люди стреляются или вешаются».

А судьба все стегала и стегала Ромашкина беспощадно, она будто в очередной раз загоняла его смерти в лапы. Он и так уж был готов наложить на себя руки, а злой рок сыграл с ним очередную невероятную пакость.

Ромашкин уже высказал Анне предложение стать его женой. Она не отказала ему, но сначала считала необходимым познакомить его с родителями и заручиться их одобрением и благословением.

Знакомство было назначено на следующую неделю. А в

ближайшее воскресенье — черт дернул Марию сходить с Василием в «Гранд Отель», её одолевали воспоминания о счастливой встрече. Василий с радостью согласился, лучше в ресторан, чем в постель на опротивевшей квартире.

И вот они поужинали, потанцевали, повспоминали и изрядно на этот раз выпили, и оба, по-своему довольные проведенным вечером, направились к метро «Площадь революции».

— Может быть, заглянем в нашу уютную норку? — предложила Мария.

— Нет, сегодня я должен быть на месте. Провожу тебя, как всегда, до Арбата.

Не поддаваясь уговорам Марии, Василий завел её в вестибюль метро. Он старался развеселить ее, чтобы не обидеть отказом, шептал ей на ухо какие-то сальные шутки. Они оба громко смеялись, не обращая внимания на то, что люди, стоящие рядом на эскалаторе, отворачиваются от них. И вдруг Василий каким-то шестым чувством уловил, что не все отворачиваются, а кто-то пристально смотрит на него. Желая это выяснить, Василий огляделся и вдруг на другом эскалаторе, параллельно спускающемуся вниз, увидел Анну! Она смотрела на него широко раскрытыми серыми глазами и не верила тому, что видела, а щёки её впервые были без румянца — бледные, белые, как обмороженное Васино ухо, которое она оттирала ему при первой встрече.

Василий сразу протрезвел, а Мария висла на нем пьяная, не в силах стоять ровно на движущемся эскалаторе.

«Все, я погиб», — пронеслось в просветлевшей голове Василия. Он невольно отталкивал от себя Мэри, а она, смеясь, обхватывала его срывающимися руками. Василию казалось, что лестница движется целую вечность, и все это время Анна глядит на него, не отводя глаз. Наконец эскалатор выбросил их, будто выплюнул. Мэри с хохотом опять повисла на Василии:

— Ой, держи меня, у меня голова кружится, пол движется, как эскалатор.

Василий видел, как Анна побежала к поезду и успела вскочить за захлопнувшиеся створки. Она уехала. Ромашкин почувствовал некоторое облегчение. «Слава богу, она больше не будет видеть эту омерзительную сцену». Ромашкин взялся за лацканы пальто Марии и встряхнул ее. С каким удовольствием он швырнул бы её под колеса ворвавшегося на станцию поезда!

— Что с тобой? — спросила Мэри, вырывая у него лацканы своего пальто.

— Я держу тебя, ты еле стоишь на ногах.

Мэри почувствовала что-то неладное, поправила одежду,

прическу, хмель у нее тоже поубавился.

— Ладно, едем до Арбата, я пойду домой.

На очередной встрече с майором Савельевым Ромашкин хотел рассказать все и заявить, что он больше не в состоянии продолжать затянувшуюся игру, и пусть с ним делают что угодно. Однако провидение на сей раз сжалилось над Ромашкиным. Не успел он начать свой решительный отказ, как майор первым заявил:

— Ну, все, игра наша кончилась! Уезжает твоя Мэри. Муж почувствовал неладное. Да не только он, их военный атташе тоже по своим каналам проверил работу Мэри и убедился, что она с тобой больше любовью занимается, чем работает для вербовки. В общем, англичане народ деликатный, все обставили интеллигентно, муж Мэри получил новое назначение и увозит жену на родину. А тебе, товарищ Ромашкин, командование наше и вот генерал Петухов сам скажет, объявляется благодарность за успешное выполнение особого задания, в результате которого ты надолго нейтрализовал опытную разведчицу-вербовщика. На этом я с тобой прощаюсь, желаю тебе успехов в учебе

Некоторое время Ромашкин жил как после тяжелой болезни, которая вытянула из него все силы. Он ходил на занятия, занимался в часы самоподготовки, бывал в спортзале, но все это происходило будто не с ним, как-то по инерции.

Иван видел, что сосед не в себе, понимал, что с ним случилось что-то неладное, но, зная закон разведчиков — не задавать вопросов, касающихся работы, — не лез в душу, ни о чем не спрашивал. Только опытный преподаватель английского языка Столяров обратил внимание на пассивность Василия.

— Что-то вы скисли, молодой человек, где-то ваши мысли витают далеко от нас.

Ромашкин вяло отшучивался:

— Сплин, Валерий Петрович, — я же англичанин, вот и завел чисто английскую болезнь. Но сплин — болезнь временная, пройдет, по-русски она называется мертехлюндия.

Анне Василий не позвонил ни разу, не находил для себя никаких оправданий. Она все видела. Объяснять ей, что он занимался своей работой, значит, надо признаться, что он разведчик, и вдаваться в детали того, что она видела. Это, конечно же, недопустимо.

В общем, погибла первая, настоящая любовь Василия навсегда и безвозвратно. Несколько поблекла и радость того, что он попал в такую романтическую службу, какой показалась разведка. Профессия эта, оказывается, не только опасна для жизни, но порой так травмирует душу, что можно с ума сойти.

Совсем недавно Василий наивно радовался: какое приятное задание ему поручили — рестораны, вино, деньги, красивая женщина, — сравнивая с опасной фронтовой охотой за «языками», восторгался, — вот это работа! — думал, что и в дальнейшем все будет складываться так же легко и увлекательно. И вот, оказывается, задания в мирные дни травмируют также, как тяжелое ранение на фронте. След этого ранения остался на всю жизнь. Ромашкин не мог забыть Анну, она оказалась той единственной, с которой он мог бы прожить счастливо многие годы, но вот так безвозвратно потерял свое счастье.

Встречая на своем жизненном пути других женщин, порой очень достойных и порядочных, Василий невольно сравнивал их с Анной, ни одна из новых знакомых не могла затмить первую любовь. Новые знакомства только причиняли боль и, как в песне поется, «сыпали соль на рану».

Особо секретное поручение

На лето школа выезжала в лагерь. Он располагался в сосновом бору, недалеко от Москвы. Лагерь был хорошо обустроен: групповые занятия проходили в небольших деревянных домиках, общие лекции — в летнем клубе. Прекрасный спортивный комплекс: стадион, покрытый ярко-зеленой газонной травкой, большой бассейн, теннисные, волейбольные, городошные площадки.

Можно сказать, слушатели проводили на спорткомплексе круглые сутки, потому что палатки, в которых они жили, выстроились ровными рядами вдоль беговой дорожки стадиона. Днем, на плановых занятиях по физической подготовке, изучались и совершенствовались всевозможные приемы нападения и обороны с оружием и без оружия. После окончания лекций и занятий в классах весь остаток дня и вечер кипели страсти на стадионе и в бассейне, шли соревнования между курсами и факультетами по всем видам спорта.

Василий с удовольствием вспомнил свой любимый бокс, и ещё однокурсники приспособили его играть в футбол.

— Ты боксер, у тебя прекрасная реакция, потренируем, и будет из тебя отличный вратарь!

И действительно, у него хорошо получалось, сначала умело защищал ворота курсовой команды, а потом поставили играть и за факультет.

Ночью, после спортивных баталий, разведчики спали в палатках с поднятыми краями и дышали великолепным настоем смешанного леса. Вот и получалось, что они проводили на спорткомплексе круглые сутки.

Кроме спорта, тоже почти круглые сутки, Ромашкин занимался английским языком — Валерий Петрович жил в лагере на даче для преподавателей и все часы после плановых занятий и на стадионе не отходил от своей группы ни на шаг и всюду говорил только по-английски. Он научил ребят не только всем тонкостям, касающимся спорта, но ещё и ругательным словам, близким к русской матерщине.

— Вы это тоже должны знать!

Василию и Ивану нравился английский, и они ещё на зимних квартирах решили говорить между собой только на английском. Это давало им хорошую дополнительную практику. К концу года они уже довольно свободно «спикали» на радость себе и Валерию Петровичу.

В конце первого года осенью Ромашкин сделал для себя

любопытное открытие: оказывается, школа была не только учебным заведением, но и резервом Главного разведывательного управления. Сначала как-то не привлекало внимания периодическое отсутствие на занятиях некоторых однокашников. Не видно человека несколько недель или месяц, мало ли какие причины — приболел, уехал в отпуск по семейным обстоятельствам. Но однажды перед общей лекцией, когда вся школа была собрана в клубе, пришел генерал Петухов, мрачный и чем-то явно подавленный. Он печальным голосом объявил:

— Прошу всех встать и почтить минутой молчания светлую память майора Решетникова Ильи Николаевича, нашего слушателя, он погиб при исполнении специального задания.

В другой раз, тоже при общем сборе, начальник школы, веселый и улыбчивый, сказал:

— Товарищи, слушатель второго курса капитан Поройков Геннадий Михайлович отличился при выполнении специального задания, за что награжден орденом Красной Звезды. Прошу его поздравить. Встаньте, капитан Поройков, покажитесь сослуживцам.

Награжденный встал, залился густым румянцем и тут же сел на свое место.

Подобные случаи, чаще радостные, но бывали и траурные, повторялись в течение года не раз. К тому же Ромашкин обнаружил, что исчезают и возвращаются и другие офицеры, но о них слушателям школы не известно, потому что они не попадали в число ни награжденных, ни погибших.

Однажды таинственное отсутствие коснулось и Ромашкина. Его вызвали в кабинет начальника школы. Петухов встретил приветливо:

— Как живешь, ухажер?

—Учусь, товарищ генерал, — в тон с иронией ответил Василий.

— Придется тебе поработать. Что именно поручат, я не знаю. У подъезда стоит серая «Победа», за тобой прислали из ГРУ. Там тебе поставят задачу. Иди. Ни пуха ни пера!

Василий хотел традиционно ответить, но постеснялся посылать генерала к черту, только улыбнулся в ответ. Петухов весело кивнул:

— Я все понял, товарищ капитан.

В машине оказался только водитель, сопровождающего не было — это удивило Ромашкина. Шофер, видно, не знал фамилию Ромашкина, обращаясь по званию. Ворота в городок ГРУ открылись сразу же, как только дежурный увидел номер машины. У входной двери Ромашкина встретил подполковник.

— Прошу, я покажу дорогу.

Пошли похожими длинными узкими, с низкими потолками коридорами. Поднявшись на лифте, прошли через холл, застланный ковровой дорожкой, вошли в приемную, на двери которой была табличка «Начальник Главного управления».

— Присядьте, — сказал подполковник и ушел в кабинет. Вскоре он возвратился: — Заходите, — а сам остался в приемной.

Василий прошел через тамбур, открыл ещё одну массивную дверь и очутился в просторном кабинете.

За большим столом, сияющим глянцевой полировкой, сидел начальник ГРУ Кузнецов Фёдор Федотович. Василий знал, он — генерал-полковник, но сегодня он был в гражданском синем костюме, голова наполовину белая, глаза внимательные, немного усталые.

Василий ощущал то же, что при встрече с командующим фронта Черняховским, — гулко билось сердце, жаркий прилив крови прошелся по всему телу и пульсировал в голове.

И как же не волноваться: перед ним был человек, который знает все, что происходит на земном шаре, во всех странах, об их самых секретных и таинственных делах и намерениях, и не только знает, но может повлиять на ход многих событий вопреки желаниям хозяев.

Изучая историю разведки, Василий знал, что на должность руководителя этой тонкой и ответственной службы во всех армиях мира назначают генералов, обладающих изощренно тонким умом, способным глубоко и широко охватывать политические, экономические, военно-стратегические вопросы и принимать по ним решения, от которых зависит успех деятельности государственных руководителей и высшего военного командования.

Генерал вышел из-за стола, доброжелательно (точно как Черняховский) пожал Ромашкину руку, сразу перешел на «ты» (возраст позволял).

— Иди сюда, — подвел к окну, отодвинул край шелковой шторы и показал на дом, который находился за оградой городка ГРУ, на противоположной стороне улицы. Это был обычный жилой девятиэтажный дом. — Вот, смотри, сколько в этом доме окон. И за одним из них может засесть агент с фотоаппаратом, у которого длиннофокусный телеобъектив. И будет этот человек фотографировать всех входящих и выходящих через нашу проходную. Ты представляешь, какую картотеку может создать такой агент? Кто-то из наших разведчиков приедет в страну работать под крышей дипломата, корреспондента или коммерсанта, а фотография его уже поджидает, и с первых шагов

пойдут за ним «хвосты», и на чем-нибудь обязательно подловят. Потому что они будут разрабатывать нашего разведчика прицельно, зная «ху из ху».

Ромашкин не понимал, зачем генерал ему это рассказывает: придется искать агента с фотоаппаратом? Но это дело контрразведки.

Генерал взял его под руку, подошел к большому дивану, обитому мягкой кожей. Они сели рядом.

— Разумеется, мы держим этот дом, все квартиры и их жителей под контролем, но все же и то, что я сказал, иметь в виду надо. Это первое. Второе — случилась у нас огромнейшая неприятность: недавно изменил Родине, оказался предателем наш шифровальщик в Канаде Игорь Гузенко. Он вместе с женой попросил политическое убежище и ушел с портфелем, полным секретных документов. Ты представляешь, сколько он знал и как теперь нам гадит!

И опять Ромашкин предположил: может быть, мне поручат выкрасть этого Гузенко как специалисту по «языкам» ?

Генерал между тем продолжал:

— Гузенко передал не только шифры, он выдает многих наших разведчиков, о которых знал по документам или по личному общению в посольстве. Недавно его переправили в Соединенные Штаты и там продолжают вытаскивать из него все мельчайшие подробности о нашей работе, и особенно о людях, которых он встречал в нашем управлении, видел хотя бы мельком. Мы пытаемся локализовать беду, выводим из-под удара тех, кто был ему известен. Учитывая, что перебежчики были в нашей службе и прежде, и мы не гарантированы — возможны и в будущем, я решил принять меры предосторожности. Тебя в управлении никто не знает. Приехал ты без сопровождающего. Шофер не в счет, он целыми днями кого-то возит. Сюда, в управление, ты больше никогда не придешь. Встречаться будешь только со мной на конспиративной квартире. Вызывать тебя буду только я сам. Адрес конспиративной квартиры я тебе дам. Мне нужен человек, которого никто не должен знать в управлении. Понимаешь?

Василий покачал головой.

— Не очень.

— Сейчас поймешь. Для того чтобы спасти от провала целую группу агентов в Англии, о которых может знать Гузенко, я не могу послать шифровку нашему резиденту. Шифровальщики и здесь и там, как показывает опыт с Гузенко, инстанция уязвимая. Передать указание через кого-то из наших старых работников я опасаюсь по той же причине, неизвестно, не навел ли на него тот

же Гузенко в своих разоблачениях. Он знал многих. Тебя никто не знает. Поедешь в Лондон как дипкурьер Министерства иностранных дел в паре с настоящим дипкурьером. Они обычно курсируют вдвоем. Старшим будет твой напарник. Он будет знать, что ты новенький, недавно взятый на работу, бывший офицер Красной Армии. Легенды никакой не надо, при разговоре пользуйся своей биографией до поступления в разведшколу, ну и лагерные дела, штрафную роту исключи, не надо осложнять.

По сути дела тебе предстоит выполнить задание, похожее на то, с каким ты ходил в Витебск. Тогда ты принес важные документы, а теперь отвезешь небольшой пакет лично нашему резиденту. Он служит в посольстве, куда вы привезете диппочту. Он подойдет к тебе сам. Ты его узнаешь, — генерал встал, подошел к письменному столу, достал из ящика фотографию. На ней был светловолосый мужчина средних лет с простым, ничем особенно не выделяющимся лицом.

Ромашкин подумал: когда-то и его на мандатной комиссии отобрали, глядели, чтобы ни родинок, ни шрамов не было, обычный человек западного покроя.

— Запомнил? Вот ему отдашь конверт, когда вы будете с ним один на один. Никто вас не должен видеть. Подходящий момент он сам подберет, это его забота. Ты походи по посольству — в столовую, в клуб, в магазин — у них там есть на своей территории. Он подойдет и скажет: «Здравствуй, ухажер!» — Генерал улыбнулся. — Да, именно так, эта кличка к тебе уже прилипла. И Петухов, когда кандидатуру в школе подбирали, так тебя назвал: «Возьмите ухажера!» И я понял, о ком он говорит. И впредь, когда случится звонить мне по телефону, пользуйся этим псевдонимом. Я человек суеверный, а ты прошлое задание успешно выполнил, значит, кличка — везучая.

Василий удивился: у такого человека свои суеверия! Видно, у всех разведчиков эта черта в работе приживается: мы на задания никогда не брали кляпы, веревки, старшина Жмаченко стол не накрывал к нашему приходу с задания — считалось плохой приметой. Однажды нарушил старшина эту традицию — подготовил ужин, выставил выпивку и закуски, и мы в тот раз принесли вместо «языка» Костю Королевича.

— Документы тебе подготовят. Конверт будешь держать при себе днем и ночью лучше в карманчике на нательном белье. Карман сооруди сам. И вообще, запомни: знаем об этом поручении только я и ты. Петухову ни слова. Да он и сам не станет расспрашивать, не один десяток лет в разведке. Все усвоил?

— Вроде бы все.

— Обдумай хорошенько то, что я тебе сказал. Завтра пойдешь в отдел кадров МИДа, там тебя ждет Авдеев. Он оформил тебя в дипкурьеры и скажет, когда и с кем ты выезжаешь в Лондон. Конверт я тебе дам в день отъезда на вокзале. Сам приду тебя провожать. Ну, ни пуха тебе, ни пера!

И опять Ромашкин едва не послал к черту на сей раз самого начальника Главного разведывательного управления, но вовремя спохватился. А тот, как и Петухов, засмеялся и подбодрил:

— Давай, давай, не обижусь!

Но Василий все же не сказал этих слов, постеснялся:

— Я мысленно, товарищ генерал!

— Ну, хорошо, но мысленно произнеси: я же тебе сказал — суеверный.

* * *

В четырехместном купе дипкурьеры ездят только двое, два других места не продаются. Напарник Ромашкина, пожилой, полжизни на этой работе, Пантелей Тимофеевич, сразу запер купе изнутри. Сумки с почтой положил на верхние полки. Ромашкину, как новичку, пояснил:

— Почта должна быть на виду. В ящики под нижней полкой могут проникнуть из соседнего купе. В багажный чердачок наверху тоже, ночью из коридора могут стенку вырезать. Выходить из купе будем по одному. Дверь все время должна быть закрыта на замок.

Этим поучения и закончились. Пантелей Тимофеевич догадывался, что его спутник не обычный дипкурьер, и поэтому никаких вопросов не задавал, да и разговоров не заводил. Всю дорогу читал какую-то книгу…

Во Франции пересели на паром, пересекли Ла-Манш и благополучно добрались до советского посольства в Лондоне.

Пантелей Тимофеевич проделал этот путь не раз, хорошо знал сложности маршрута. А Ромашкину все было в новинку. Просто не верилось, что едет он на машине по Франции. В Лондоне поразила многолюдная суета на улицах, двухэтажные красные автобусы, сплошные магазины на всех улицах, мимо которых ехали на посольской машине.

Сразу сдали почту в секретный отдел и разместились, опять вдвоем в одном номере, в посольской гостинице.

Было очень заманчиво походить, поглазеть по улицам, но Ромашкин решил сначала избавиться от драгоценного пакета, который постоянно ощущал в кармане на нательной рубашке.

В столовую сходили вместе, а потом Ромашкин сказал:

— Пойду, подышу в садике.

— Иди, погуляй, — согласился Тимофеевич, — почту будем

принимать завтра.

Василий прошелся по двору, посидел на лавочке. Потом спросил проходившую мимо сотрудницу посольства:

— Скажите, пожалуйста, где у вас магазин?

— Идите вон к тому крайнему дому, там вход в подвальное помещение, увидите и вывеску.

Ромашкин не успел дойти до входа в магазин, как к нему подошел человек, которого он видел на фотографии в кабинете начальника ГРУ.

— Вы настоящий ухажер, с женщинами заговариваете, — сказал он, улыбаясь и подчеркнув слово «ухажер».

— Здравствуйте, — ответил Ромашкин и тут же полез за пазуху.

— Не здесь, — остановил его мужчина, — идемте в магазин. Они спустились в полуподвальное помещение, в пустом тамбуре перед входом в торговый зал знакомец сказал:

— Давайте.

Ромашкин тут же передал конверт, и мимолетный знакомец вышел назад во двор.

Избавившись от пакета, Василий почувствовал облегчение — дело сделано! Он вошел в магазин, посмотрел на товары и цены. Его командировочных хватило на пачку чая, упаковку носовых платков и три пары носков.

На этом, собственно, особое задание и завершилось. Обратный путь с Пантелеем Тимофеевичем проделали так же благополучно. Ромашкин в дороге отдохнул, отоспался, с радостью думал о том, что поручение выполнено и оказалось оно совсем несложным.

Начальник ГРУ — человек очень занятой, он не смог встретиться с Ромашкиным после возвращения. Позвонил по «кремлевке» Петухову и попросил пригласить «ухажера» к этому телефону. Когда Ромашкин пришел в кабинет Петухова, генерал доложил по «кремлевке» начальнику ГРУ, тот тепло поблагодарил Василия и без долгих слов повесил трубку.

Ромашкин не знал ни сути, ни замысла операции, в которой он участвовал. Как говорил начальник школы во вводной лекции, каждый разведчик знает об операции только в части, его касающейся. Вот и Василий вложил свою крупицу в общее дело, и на этом его миссия закончилась. А в чем заключается операция в целом — не знает никто, кроме её организатора. Лягут все документы в архивные коробки, и будет им определена степень секретности — двадцать пять, пятьдесят, сто лет или даже «Навечно».

Но читателям невозможно ждать такой долгий срок. Для того

чтобы прояснить, чем же занимался Ромашкин в этот раз, — —,— лт,лттт *г^п* ТТТЛТС1Т тл мел^япов советского посла в Англии Виктора Ивановича Попова, которые были опубликованы много лет спустя после описываемых событий.

« ^итогЯта 1 од*? тяятттиАо шифровальщик советского посольства в Канаде, сотрудник ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии) Игорь Гузенко обратился в оттавскую полицию с полным кейсом секретных документов, свидетельствовавших о разведывательной работе советских спецслужб в США, Англии и Канаде…*

По показаниям Гузенко были арестованы несколько очень ценных советских агентов. На допросах он рассказал и о том, что ему известны агенты, работающие в Англии"

.

Посол Попов об этом пишет:

"*Гузенко сообщил о двух советских агентах-англичанах, работавших в британских спецслужбах. Он не знал их фамилий, но утверждал, что оба они значились под кодовым именем «Элли». Кто были те, которые скрывались под псевдонимом «Элли»? Первое имя было идентифицировано довольно быстро как Кай Уилшер. Она работала в британском верховном комиссариате в Оттаве. Уилшер призналась в передаче некоторых документов в советское посольство и была приговорена к трем годам тюрьмы. Но кто был «вторым Элли»?*

Естественно, это больше всего озадачило англичан. Они решили послать в Канаду одного из контрразведчиков

".

Вот здесь и включается в ход событий начальник Главного разведывательного управления, а его указания, которых никто не должен был знать, Ромашкин и привез в сверхсекретном конверте. Это подтверждается дальнейшим рассказом советского посла, он пишет, что в США был командирован Роджер Холлис, для того чтобы вытащить из Гузенко все, что поможет разоблачить советских агентов в Англии.

Смущает, если не сказать больше, поведение Холлиса во время допроса Гузенко. Существуют разные версии допроса, который проводил Холлис, но все они сходятся в одном — допрос был очень поверхностным, и казалось, что Холлис меньше всего заинтересован в том, чтобы добыть истину. А может быть, он и не ставил перед собой такой цели?

«Джентльмен из Англии» — так называл Гузенко Холлиса. По его мнению, задача Холлиса заключалась в том, чтобы

дискредитировать Гузенко, подвергнуть сомнению его показания. Советский перебежчик утверждал, что он дал Холлису существенную информацию, но микрофон, в который он говорил, как оказалось, не был даже включен. «Джентльмен из Англии» не был заинтересован, чтобы кто-нибудь ещё мог познакомиться с тем, о чем рассказывал Гузенко

".

В начале 1946 года Холлис предпринял второй визит в Оттаву и ещё раз встретился с советским перебежчиком. По словам последнего, беседа заняла всего несколько минут. Холлис даже не попросил его сесть. Позднее, в 1972 году, Гузенко, которого познакомили с докладом Холлиса, отозвался о нем резко отрицательно. Он заявил, что его слова были искажены: «Записи представляли собой настоящую чепуху, были искажены настолько, что я был представлен в них идиотом, жадным до денег и славы… Мне приписывали заявления, которых я вообще не мог делать… Неважно, кто был британский следователь, но он сам работал на русских». И в конце своего повествования он делал вывод: «Я подозреваю, что именно Холлис и был Элли».

* * *

Прошел первый год учебы. Прибыли офицеры нового набора, такие же, как и прежние: бывалые разведчики, участники Великой Отечественной войны. Ушли в большую жизнь слушатели выпускного курса. По этому поводу состоялся выпускной бал, на который приехал начальник ГРУ. На этот раз он был в форме генерал-полковника. Вручал дипломы о высшем образовании выпускникам, пожимая им руки, что-то говорил, радушно улыбаясь.

При переходе из клуба в столовую попал ему на глаза Ромашкин. Кузнецов руки не подал, но в глазах его мелькнула веселая искорка, он едва заметно кивнул Ромашкину и прошел мимо.

После выпуска и отпуска, на который разъехались слушатели младших курсов, произошли передвижки: в течение минувшего года некоторые офицеры женились, и теперь им было разрешено жить на частных квартирах, которые они снимали кто поблизости от школы, а некоторые в Москве, там, где жили их жены. Старшекурсникам и неженатым тоже разрешалось жить на частных квартирах, потому что в общежитии не хватало мест для новеньких. Первокурсники, пока не освоятся в своем новом качестве стратегических разведчиков, жили в общежитии.

У Ромашкина появился новый друг Миша Чернов. Однажды они попали вместе в наряд — майор Чернов дежурным по школе, капитан Ромашкин, как младший по званию, помощником. За

сутки близко познакомились, оказалось, что они воевали на одних фронтах — Калининском, Третьем Белорусском и Первом Прибалтийском. Михаил заочно знал Ромашкина, его фамилия часто упоминалась во фронтовой газете. Вспомнили общих знакомых, главным образом своих начальников — разведчиков и генералов, которые командовали фронтами, армиями, дивизиями там, где им довелось воевать рядом. Рассказали друг другу о житье-бытье до поступления в разведшколу. В общем, очень понравились друг другу и после этого дежурства настолько сблизились, что решили снять комнату на двоих в Москве.

Миша был небольшого роста, чернявый (соответствовал своей фамилии), нос с горбинкой, глаза с веселой живинкой. По внешности его определили изучать турецкий язык. И он действительно был похож на жителя Азии.

Вскоре подвернулось объявление, наклеенное на столбе, о том, что сдается комната. Она оказалась очень подходящей — на Гоголевском бульваре, рядом с Арбатской площадью. Отсюда ходил троллейбус № 2 — полчаса на дорогу, и они в школе.

Хозяйка квартиры Зоя Афанасьевна, молодящаяся вдова погибшего генерала, вынуждена сдавать комнату, потому что пенсии на жизнь не хватало. Кроме денег, молодые офицеры облегчили её одиночество. Она с удовольствием поила их поздними вечерами после возвращения с учебы чаем особой заварки, рассказывала городские новости, особенно театральные. Квартирантов своих она называла «мальчиками», была с ними всегда приветлива и заботлива. По её рекомендации Василий и Михаил стали частенько ходить в театры и на концерты. В общем, хозяйка квартиры оказала на них самое благотворное влияние в смысле расширения культурного кругозора.

Три оставшихся года учебы пролетели так же быстро, как и первый. За эти годы Ромашкин ещё несколько раз побывал в командировках по поручению начальника ГРУ: два раза в том же Лондоне и один раз в Западном Берлине.

В школе эти командировки проходили незамеченными, а Мише, от которого ввиду совместного проживания не укроешься, пришлось шепнуть: «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Миша профессионал, все понял и ответил тоже шуткой: «У матросов нет вопросов, если есть вопросы — это не матросы». Сложнее было с Зоей Афанасьевной, она встречала Василия после командировки в растрепанных чувствах:

— Ой, как я переживала! Может быть, вы заболели или в аварию угодили. А Миша, этот нехороший мальчик, ничего не говорит определенного: «Все будет в порядке, у Васи всегда все в порядке». Где же вы пропадали?

Ромашкин отшучивался:

— Тайна, покрытая мраком, Зоя Афанасьевна, но вам доверительно скажу — примерялся на роль жениха с временным проживанием у невесты.

Зоя Афанасьевна всплеснула руками:

— Как это можно? Раньше годами ухаживали, прежде чем предложение сделать. А теперь спят после первых дней знакомства!

— Меркантильные времена. Люди стали очень практичные. Да и раньше даже пальто или костюм покупали после примерки. А тут жена, на всю жизнь выбираешь. Без примерки нельзя.

— Фу, какой вы циник, я о вас была лучшего мнения! — она изображала на своем напомаженном лице брезгливую мину, а глаза её восхищенно смотрели на красивого, стройного офицера — этакого гусара-ухаря, которому в его годы все позволено.

Расставание с разведшколой было и радостным, и печальным. Здесь оставались начальники и преподаватели, которые за четыре года стали очень близкими.

Особенно жаль было покидать ставшего почти родственником «англичанина» Валерия Петровича. Он был доволен своими учениками:

— С языком у вас все в порядке. Небольшой акцент ощущается, но его легко и просто объяснить — в Америке вы сойдете за англичанина, а в Англии — за американца.

Старый разведчик перед государственным экзаменом устроил своим ребятам испытание для себя:

— Я прочту вам несколько часовых лекций без объявления темы и без какой-либо адаптации, на уровне профессора из Кембриджа, а потом мы побеседуем, и я поставлю вам оценки с точки зрения того же профессора.

Валерий Петрович читал свои лекции в быстром темпе, не выговаривал слова четко, как это делал на обычных занятиях. Ромашкин едва успевал конспектировать. Лекций было четыре, все на разные темы.

Вечером Василий расшифровывал свои конспекты.

Закончив лекции, Столяров устроил собеседование. Ромашкин четко ответил на все вопросы преподавателя. Разговор, разумеется, шел только на английском языке, и вообще Петрович с первого курса запретил своим подопечным говорить с ним по-русски.

Выслушав ответы Ромашкина, старик даже прослезился. Он подошел к Василию, обнял его, поцеловал в щеку и сказал:

— Вот вам моя оценка! А вы мой труд тоже оценили очень высоко своими прекрасными знаниями. За вас я спокоен, можете

работать за рубежом в любом обществе.

На выпускном вечере, после выдачи дипломов, генерал Петухов зачитал приказ Министра обороны о присвоении очередных званий офицерам, у которых вышел срок выслуги, — Ромашкин стал майором, Миша Чернов — подполковником.

Разумеется, на следующий день после официального выпускного вечера Василий и Миша обмыли в ресторане новые звания со своими близкими друзьями. Пригласили и старика Столярова, он был счастлив в кругу офицеров, но даже в застолье говорил только по-английски, и когда кто-нибудь спрашивал его о чем-то на русском, он делал удивленное лицо и отмахивался:

— I don't understand you!

Иван Коробов остался подполковником, шутил:

— Ну и молодежь пошла, так и подпирают нас, стариков!

Назначение на должность получали в отделе кадров ГРУ. Те, кто уезжал заместителями в разведотделы армии, а то и в штаб округа, говорили об этом открыто, а те, у кого будущее было ещё неопределенно, сообщали: «Иду в аппарат». Это значило, будут его готовить для работы за кордоном, где и в качестве кого — пока и самому неизвестно.

Ромашкин получил назначение на должность офицера в разведотдел Сухопутных войск. Это его очень огорчило. Он даже немножко обиделся: вроде бы испытали на особых заданиях во время учебы, а назначают в войска.

Но сожаление его оказалось преждевременным: после официального распределения адъютант начальника ГРУ дал ему записочку и тихо сказал:

— Придешь по этому адресу, к указанному времени.

В назначенный час Ромашкин был на конспиративной квартире. Встретил генерал Кузнецов, его широкое лицо сияло.

— Поздравляю тебя с завершением учебы и новым званием! Теперь шагай в подполковники.

Времени у генерала всегда в обрез, поэтому сразу перешел к делу.

— Назначили тебя в Сухопутные войска по моей рекомендации, у тебя прекрасный опыт войскового разведчика, будешь заниматься подготовкой разведывательных подразделений, учить их тактике действия мелкими группами не только для захвата «языков», но и для диверсионных действий в глубине обороны противника.

Фёдор Федотович помолчал и добавил:

— Но это лишь одна сторона твоей работы. Она как бы крыша. А наряду с этим ты назначаешься моим офицером для особых поручений. Будешь, как прежде, выполнять мои особые

задания. Я хочу тебя сохранить как разведчика, которого не знают даже в ГРУ. Есть такие дела, о которых число осведомленных надо свести до минимума. Провалы в них недопустимы. Может быть, даже ты никогда не узнаешь, в каком грандиозном деле участвовал.

Получив такое назначение, Ромашкин явился в Министерства обороны, которое находилось на Арбате, здесь же располагался и разведотдел Сухопутных войск. Представился новому начальнику Стахову Василию Филимоновичу — худому, высокому, беловолосому генерал-майору. Тот неопределенно сказал:

— Наслышан. Бери дела по работе в тылу, ознакомься. Войдешь в курс дела — поговорим.

По другой своей должности Василий ещё несколько раз, уже не на поезде, а на самолете слетал в Лондон и один раз в Вашингтон. Во время коротких пребываний за границей Ромашкин почти не выходил из посольств. Сочувствуя ему и понимая его любопытство, резиденты или даже сами военные атташе возили его на машине по улицам, показывали достопримечательности города, на этом его знакомство с зарубежьем ограничивалось. Никаких остросюжетных поручений Ромашкину не давали. Он был простым связником: привозил какие-то указания начальника ГРУ, которые никто не должен был знать, кроме адресата, и затем возвращался с кейсом, в котором не знал что находится.

Но находилось в дипломате нечто экстраординарное. И сам кейс был тоже необычный. В нем было секретное приспособление, которым Ромашкин должен был воспользоваться в случае, если кто-то попытается захватить этот кейс. Под ручкой находился рычажок с предохранителем, чтобы замок не сработал случайно, по неосторожности; но если повернуть этот рычажок в минуту опасности, то содержимое кейса мгновенно опрыскивалось какой-то кислотой и все бумаги превращались в труху, в белый пепел. В дороге запястье Василия было соединено с ручкой кейса стальными кольцами, похожими на наручники, которые Василий не отсоединял ни днем, ни ночью.

Однако Ромашкину ни разу не пришлось применять эту хитрую технику, все поездки завершались благополучно. Да и сами эти поездки прекратились очень неожиданно. И в который уж раз со смертельной опасностью для Василия.

Однажды Ромашкина по служебному телефону вызвал на встречу сам генерал Кузнецов. Прибыв на указанную конспиративную квартиру (они периодически менялись), Василий увидел Фёдора Федотовича таким озабоченным, каким никогда не встречал прежде. Генерал даже не скрывал своего волнения.

Он посадил Ромашкина рядом с собой на диван и торопливо сказал:

— Случилось самое худшее из того, что можно предположить.

— Неужели опять кто-то перебежал?

— Еще хуже. У меня забирают и передают в КГБ архиважное дело, которое ГРУ ведет несколько лет. И ты в нем, кстати, тоже участвовал. Распоряжение о передаче я получил с самого верха. — Генерал показал пальцем на потолок и тихо добавил: — От самого Сталина. Передать все — и документы, и агентуру — приказано не кому-нибудь, а лично Берии. Ну, ты понимаешь, я не мог не выполнить указание главы государства и Верховного Главнокомандующего. Все передал. КГБ тоже вел разработку этого направления. Теперь принято решение все сосредоточить в руках Берии. Что и было исполнено. Лаврентий Павлович подробно ознакомился с нашими материалами, сопоставил со своими. И вот, знакомясь с делами, Берия пожелал узнать всех, кто хотя бы в малейшей степени причастен к этому делу. Ты один из них, это было отражено в моих записях, когда я тебе поручал особые задания. И вот Берия вызывает тебя к себе на Лубянку. Хочет с тобой поговорить.

Ромашкин знал: с Лубянкой всегда связано что-то неприятное, если не сказать больше. Вызов Берии не прозвучал как удар грома, а сверкнул в сознании ослепительной молнией, только без громыхающего звука.

— Зачем же я ему понадобился? — спросил Василий.

— Не знаю. Но предполагаю два варианта: первый — он может тебе предложить перейти на работу к нему и продолжать осуществлять связь, которой ты занимался по моим поручениям. Это лучший вариант, и ты сразу соглашайся. Потому что другой исход твоей встречи может быть очень нежелательным. Ты знаешь, наши спецслужбы не то чтобы конкурировали, но в каком-то смысле соперничали. Сведения ГРУ нередко оказывались более достоверными. Это всегда раздражало руководителей КГБ, которые были и до Берии. Раздражение это иногда выливалось в репрессии, арестованы и расстреляны три моих предшественника и многие опытные разведчики из нашего управления.

Не хочу тебя пугать, но вдруг Берия решит для полной конспирации дела, которое теперь поручено ему лично, нейтрализовать всех, кто был причастен к этому делу в нашей системе. А что значит нейтрализовать в его понимании, ты и сам догадываешься. К сожалению, я тебе помочь ничем не могу. Будем надеяться на лучшее.

Завтра к одиннадцати у личного его входа, что напротив

памятника Дзержинскому, тебе заказан пропуск. После встречи позвони мне обязательно. Ну, ни пуха тебе, ни пера! Это не к немцам в тыл идти, тут, брат, ещё опаснее.

На сей раз Ромашкин даже мысленно не послал генерала к черту, настолько все было неожиданно и страшно. А когда спохватился, что не соблюл традицию, было уже поздно — расстались, пожав друг другу руки. И это тоже было плохой приметой.

На следующий день, точно к указанному часу, Ромашкин вошел в небольшой личный подъезд Председателя КГБ, Маршала Советского Союза и комиссара Государственной безопасности первого ранга Л. П. Берии.

Дежурный офицер, похожий своей холеностью на следователя Иосифова, долго и внимательно рассматривал удостоверение личности Ромашкина, будто он вообще впервые видит такой документ, прочитал все графы, и Василию показалось, что кагэбэшник вот-вот понюхает его книжечку. Наконец он изрек:

— Поднимайтесь на третий этаж, лифт здесь, — и указал на глубокий проем в стене отделанного мрамором холла.

В приемной и в кабинете Берии все было массивное: двери, окна, стены отделаны каким-то особым глянцевым деревом. Сам маршал в гражданском костюме, небольшого роста, широкоплечий, сидел за столом. Блеснув стеклами пенсне, так пристально посмотрел в глаза Ромашкину, что у него не в груди, а где-то в животе стало холодно.

Не отрывая своего леденящего взора от Ромашкина, Берия вышел из-за стола, не здороваясь, коротко бросил:

— Садитесь, — и теперь уже сверху вниз смотрел в глаза опустившегося на стул Василия.

— Кого вы помните из тех, с кем встречались во время заграничных командировок? — спросил четким, громким голосом Берия.

Ромашкину сразу вспомнились слова начальника ГРУ из его предположений по второму варианту: «Берия может устранить всех, кто был причастен к этому делу, с целью дальнейшей глубокой конспирации».

Василий почувствовал, что в горле его пересохло, и, чтобы не дать петуха, кашлянул в кулак и ответил:

— Я встречался во время передачи пакетов всего на несколько секунд, это было всегда один на один. Без посторонних. Кто эти люди — я не знаю. Они находили меня сами, удобный момент для встречи выбирали сами. Называли пароль (Василий не назвал показавшуюся здесь неуместной свою кличку «Ухажер»). Я отдавал конверт или получал что-то перед

отъездом, и мы тут же расходились.

На всякий случай для убедительности Ромашкин добавил:

— Я их даже в лицо не помню.

Берия некоторое время глядел на Ромашкина. Василий чувствовал: в эти секунды решается его судьба, этот приземистый человек со стекляшками на глазах бросит одно слово, и его уволокут в подвал этого страшного дома, где люди исчезают навсегда.

Берия отвернулся, ушел за свой стол, молча посидел некоторое время, ещё раз пристально посмотрел на Ромашкина.

Минуты эти были тяжелее пытки, два глаза, как два пистолета, были направлены в упор. Может быть, красивый, подтянутый и стройный Ромашкин напомнил ему сына, и что-то дрогнуло в холодном сердце этого человека?

Наконец он молвил:

— Значит, никого не помнишь. Ну, что же, иди, работай. Если понадобишься, я тебя вызову.

Ромашкин быстро вышел из кабинета, почти бегом, без лифта спустился по лестнице и поскорее вышел на улицу. Он шел быстро-быстро, без определенной цели, неведомо куда, лишь бы подальше и побыстрее отойти от большого серого дома, тяжелой глыбой возвышающегося над площадью с памятником Дзержинскому и даже над Старой площадью, где растянулось вдоль сквера здание ЦК партии.

Массивная глыба здания КГБ возвышалась над зданием ЦК КПСС. Ромашкин каждый раз, бывая в этом районе, отмечал это как нечто символическое.

О чём не знал Ромашкин

Выше было сказано о том, что читатели не могут ждать, пока события, в которых участвовал Ромашкин, утратят секретность. К тому же начальник ГРУ ему сказал: может случиться так, что и ты, Василий, никогда не узнаешь, в каком грандиозном деле участвовал. Но с годами все тайное становится явным. К тому времени, когда были написаны эти страницы, уже опубликовано немало статей и книг о том крупнейшем в истории подвиге разведчиков.

Мы поясним лишь в общих чертах события, которые когда-то составляли сверхтайну.

Идея создания атомной бомбы возникла в годы второй мировой войны в Англии, Германии и США, и в этих же странах были начаты практические работы по созданию бомбы. Дальше всех, быстрее и с настоящим американским размахом успешно продвигались Соединенные Штаты, с которыми позднее объединила свои усилия и Англия. Работы по созданию атомной бомбы в США были законспирированы под названием «Манхэттенский проект». Его начальником был назначен полковник инженерных войск Лесли Гровс. Он окончил военную академию Вестпойнт и строил военные городки, базы. Он построил и здание Пентагона, причём вдвое быстрее запланированного срока!

Пентагон — большой комплекс министерства обороны, это уникальное инженерное сооружение в форме пятиугольника (в переводе с греческого так и значит — пятиугольник). Этажей в нем немного, всего пять, и сам комплекс состоит тоже из пяти замкнутых пятиугольных зданий (одно в другом, как плоская матрешка), соединенных между собой переходами и коридорами. Что под землей — неизвестно, а вот надземная эта махина такая запутанная, что американцы, склонные к юмору, рассказали такой анекдот. Однажды вошел в Пентагон сержант с донесением. Он так запутался в лабиринте комнат и коридоров, его так много посылали из отдела в отдел, что он вышел через неделю с противоположной стороны и был уже в звании полковника. И ещё такая шутка. У женщины начались роды в одном из коридоров Пентагона. Ей говорят: «Мадам, зачем вы в таком положении сюда пришли?» Она ответила: «Когда вошла в Пентагон, я ещё не была беременной».

Вот эту махину построил Гровс в два раза раньше срока! Вспомните наши долгострой с трехкратным опозданием от запланированного ввода в эксплуатацию. Хочу этим подчеркнуть

энергичность и напористость Гровса. Сами американцы о нем говорили: недалекий, типичный служака, строевик, но напористый и педантичный, привык жить и действовать по уставу.

Осенью 1942 года в беседе при назначении ему сказали:

— Руководить учеными будет труднее, чем командовать солдатами. Но мы вам присвоим для авторитета звание генерала. Гровс тут же без ложной скромности заявил:

— Целесообразнее сначала мне присвоить звание, а потом уже представлять меня участникам проекта. Пусть они не считают, что вытащили меня в генералы. Я их начальник, а не они мои благодетели. Как ни странно, эти длинноволосые интеллигенты придают званиям большую важность.

Среди «длинноволосых» подчиненных Гровса были такие первые величины современной физики, как Роберт Оппенгеймер, Нильс Бор, Энрико Ферми и другие. За короткий срок Гровс создал в долине реки Теннесси город Окридж с 80 тысячами рабочих и служащих. Другой, тоже засекреченный, город Хенфорд в пустыне у реки Колумбия, с 60 тысячами жителей.

Теоретические исследования по отдельным проблемам велись в университетах Гарварда, Принстона и Беркли.

Весной 1943 года разрозненные исследовательские центры были объединены в отдаленном и удобном для соблюдения секретности Лос-Аламосе. Нетрудно представить, каких бешеных денег стоило строительство уникальных комплексов, на которых работали 150 тысяч человек, из них сотни специалистов высшей квалификации. Но правительство денег не жалело: в случае успеха атомная бомба сулила владение миром!

Когда у Гровса все работало на полную мощность, у нас немцы были недалеко от Москвы, но нашелся человек, который почти с нуля обошел Гровса во всех его организаторских талантах да плюс к тому ещё был и великим ученым. Это Курчатов. Но о нем позже.

Американцы создали сложную и мощную систему секретности против утечки информации и проникновения иностранной разведки. Возглавлял эту систему контрразведки полковник Борис Пош, сын митрополита Православной церкви в США.

Гровс писал: «Наша стратегия в области охраны тайны очень скоро определилась». Дальше он перечисляет основные позиции этой системы, и одна из них — «сохранить в тайне от русских наши открытия и детали наших проектов и заводов».

Не уберег при всей его энергичности и предусмотрительности, не уберег ни Гровс, ни утонченно хитрый

полковник Пош!

Добрались-таки наши разведчики до святая святых!

Первое сообщение поступило из Лондона осенью 1941 года: англичане ведут работы по созданию атомной бомбы, обладающей огромной разрушительной силой. Это не настораживало, а радовало: англичане союзники, если у них что-то получится, ударят по гитлеровцам. Вызывало опасение другое. В донесении ещё говорилось: англичане спешат потому, что немцы могут опередить, они тоже ведут исследования по созданию такой бомбы. Известие было исключительной важности, его доложили Сталину. Верховный, занятый неудачами на фронтах, не придал значения этой новости. Он слышал ещё до войны о каких-то опытах по расщеплению атома. Но до того ли теперь — немцы приближаются к Москве. Вскоре с фронта пришло донесение о том, что у взятого в плен гитлеровца обнаружены записи с формулами и расчетами по тяжелой воде и урану-235. Значит, в Германии идут работы по созданию атомной бомбы. Не дай бог, это им удастся!

Союзники тоже успешно продвигаются в исследованиях и, если не открывают второй фронт, может быть, скоро атомной бомбой шарахнут о Германии!

Но 14 марта 1942 года пришло очень настораживающее сообщение нашего разведчика:

14 марта 1942 года.

Совершенно секретно. Срочно.

По имеющимся у нас достоверным данным, в Германии, в Институте имени кайзера Вильгельма, под руководством Отто Гана, Гейзенберга и фон Вайцзеккера разрабатывается сверхсекретное ядерное оружие. По утверждению высокопоставленных генералов вермахта, оно должно гарантировать рейху победу в войне. Исходным материалом для ядерных исследований используется так называемая тяжелая вода. Технологический процесс её изготовления налажен в норвежском городе Рьюкане на заводе «Норск Хайдо». В настоящее время решается задача увеличить мощность «Норск Хайдо» и довести поставки тяжелой воды в Германию до 10 000 фунтов в год. Вадим

Сталин приказал незамедлительно собрать ученых-атомщиков. Оказалось, что многие из них воюют в действующей армии: К А. Петржак — разведчик, Г. Н. Флеров — технарь, обслуживающий самолеты, И. В. Курчатов и А. П. Александров на

флоте — ищут пути спасения кораблей от магнитных мин.

На совещание к Сталину прибыли старики, освобожденные от службы в армии по возрасту. Да некоторые по брони, среди них были академики А. Ф. Иоффе и В. И. Вернадский.

Первый главный вопрос, который задал Сталин, был:

— Могут ли немцы или наши союзники создать атомную бомбу?

Ученые не знали, на какой стадии находятся эти работы за рубежом, но не отрицали, что они ведутся. Сталин возмутился:

— Вот младший техник-лейтенант Флеров пишет с фронта, что надо незамедлительно заниматься созданием атомной бомбы, а вы, ученые-специалисты, молчите!

(Георгий Николаевич Флеров до начала войны работал вместе с Курчатовым.)

— Сколько времени и сколько будет стоить создание бомбы? — наседал на ученых Сталин.

Академик Иоффе, понимая, что Сталина раздражать — дело опасное, но и обманывать не менее рискованно, ответил:

— Стоить это будет почти столько же, сколько стоит вся война, а отстали мы в исследованиях на несколько лет.

Но Сталин понимал — вопрос стоит не только о бомбе, а о победе или поражении в войне, о судьбе государства.

Все, за что брался лично Сталин, обретало соответствующий размах и получало необходимое обеспечение.

Так начинался наш атомный («манхэттенский») проект за три года до того, когда Трумэн и Черчилль пугали Сталина в Потсдаме сообщением об атомной бомбе и решили, что он ничего не понял. Разведчики наши за эти годы сработали блестяще! Они регулярно добывали и присылали в Москву многие результаты (формулы) исследований американских ученых. В Кремле была специальная секретная комната, где Курчатов — и не только он один — знакомился с материалами, добытыми нашими агентами. Соратники Курчатова поражались его плодовитости и прозорливости, он иногда без экспериментальной проверки запускал теоретические разработки в производственный процесс. И все получалось! Например, той самой весной 1945 года, когда шла Потсдамская конференция, Курчатов со своими коллегами уже разрабатывал конструкцию промышленного реактора. За короткое время группа ученых под руководством Курчатова (да и постоянное внимание Сталина было очень грозным стимулом) проделала титаническую работу. 6 ноября 1947 года было официально объявлено, что секрета атомной бомбы для СССР больше не существует.

Вот это была пилюля так пилюля для Пентагона! Даже не

пилюля, а отрезвляющий душ.

Познакомьтесь с заявками, которые писал академик Курчатов в той самой сверхсекретной комнате Кремля после ознакомления с донесениями наших разведчиков.

Сов. секретно.

Мной рассмотрен прилагаемый к сему перечень американских работ по проблеме урана.

…Сведения, которые было бы желательно получить из-за границы, подчеркнуты синим карандашом.

Я внимательно рассмотрел последние работы американцев по трансурановым элементам… и смог установить новое направление в решении всей проблемы урана…

Перспективы этого направления чрезвычайно увлекательны. До сих пор работы по трансурановым элементам в нашей стране не проводились.

В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой дать указания разведывательным органам выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в Америке. Выяснению подлежат следующие вопросы… О написании этого письма никому не сообщал.

И. В. Курчатов
22. 03. 43
Экз. Единственный

Разведчики добывали все необходимые материалы и многое сверх того.

В сентябре 1945 года произошел известный читателям провал — сбежал шифровальщик Гузенко. По его показаниям был арестован и предан суду известный физик Аллен Нанна Мей, который передал нашей разведке материалы, связанные с испытанием первой ядерной бомбы. Мей был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Был арестован немецкий ученый, работавший в американском Колумбийском университете, Клаус Фукс. Он участвовал в осуществлении «Манхэттенского проекта» и передавал сведения нашей разведке. Суд приговорил Клауса Фукса к четырнадцати годам тюрьмы.

Читателям известно, какие принимал меры начальник ГРУ, чтобы спасти своих агентов в Англии, на которых давал наводку Гузенко.

В условиях провала генерал Кузнецов прибегал к прямой связи с резидентом в Англии через письма, которые привозил Ромашкин. Эта осторожность вызывалась тем, что не было известно, кого ещё может разоблачить Гузенко.

Наряду с этим продолжали работать в «Манхэттенском проекте» сохранившиеся агенты. Их информацию, подчас состоявшую из сложных формул, которые невозможно было передать по радио, привозил в своих хитрых кейсах Ромашкин, не зная, какой драгоценный материал доставляет.

После провала Гузенко, который произошел по линии ГРУ, Сталин поручил Берии сосредоточить в своих руках всю разведку и работы по созданию атомной бомбы.

— Возьмешь под личный контроль и под личную ответственность всю эту проблему, — сказал Сталин.

Вызов Ромашкина к Берии был связан именно с передачей материалов о «Манхэттенском проекте» в ведение КГБ.

Берия, опасаясь расширения провала, вызванного предательством Гузенко, лично проверял, кто и в какой степени причастен к атомной проблеме.

К этому времени совместными усилиями разведчиков ГРУ и КГБ было сделано немало, о чём свидетельствует ещё одна выдержка из письма Курчатова.

"*Получение данного материала имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки. Теперь мы имеем важные ориентиры для последующего научного исследования, они дают возможность нам миновать многие весьма трудоемкие фазы разработки урановой проблемы и узнать о новых научных и технических путях её разрешения…*

(Далее Курчатов в трех разделах излагает научную оценку полученных сведений.)

…IV. Полученные материалы заставляют нас по многим вопросам проблемы пересмотреть свои взгляды и установить при этом три новых для советской физики направления в работе.

Необходимо также отметить, что вся совокупность сведений материала указывает на техническую возможность решения всей проблемы в значительно более короткий срок, чем это думают наши ученые, не знакомые ещё с ходом работ по этой проблеме за границей…

И. Курчатов".

В наши дни стали широко известны работы советских ученых по созданию атомной и водородной бомб.

Ну а то, что разведчики добыли, так об этом не полагалось

говорить по соображениям той же секретности.

Великолепный труд ученых отмечали на каждом этапе, чем стимулировали их усилия на следующую победу. За короткий сравнительно срок стали трижды Героем Социалистического Труда Игорь Васильевич Курчатов; трижды Героем Соцтруда — Андрей Дмитриевич Сахаров; трижды Героем Соцтруда, лауреатом четырех государственных премий, одной Ленинской премии — Александров Анатолий Петрович; трижды Героем Соцтруда, лауреатом трех Госпремий, одной Ленинской — Харитон Юлий Борисович; трижды Героем Соцтруда, четырех Госпремий, одной Ленинской — Зельдович Яков Борисович; дважды Героем Соцтруда, трех Госпремий, одной Ленинской — Виноградов Александр Павлович; Героем Соцтруда, пяти Госпремий, одной Ленинской и многого другого — Кикоин Исаак Константинович; Героем Соцтруда, трех Госпремий, одной Ленинской — Флеров Георгий Николаевич; Героем Соцтруда, дважды лауреатом госпремии — Емельянов Василий Семенович; Героем Соцтруда, трижды лауреатом Госпремии — Алиханов Абрам Исаакович, и так далее.

Все награды и звания вполне заслуженные, если напомнить, от какой беды спасли работы этих ученых: план атомного удара по СССР «Дропшот» предусматривал сбросить 300 атомных бомб на 70 советских городов и промышленных районов.

И достижения, и награды атомщикам — все это прекрасно. Разведчики получали другие награды. Например, супруги Моррис и Леонтина Коэн одними из первых много лет «расщепляли» тайны американского атома в Лос-Аламосской лаборатории. В1961 году их арестовали в Англии и «наградили» каждого 20 годами тюрьмы. В 1969 году их обменяли на арестованных иностранных разведчиков. В настоящее время Коэны живут в Москве.

Ученый-физик Клаус Фукс сам предложил услуги советской разведке. На идейной основе, без оплаты передал многие секреты, связанные с созданием атомной бомбы. После того, как его разоблачил Гузенко, Фукс получил четырнадцать лет тюрьмы.

Резиденты и разведчики ГРУ и КГБ осуществляли самую блестящую операцию в истории разведки. Эти великолепные профессионалы сэкономили стране миллиарды рублей и избавили её от атомной войны, а сами остались в тени.

Ромашкин в добывании информации не участвовал и ничего не знал об атомных делах. Он, по сути дела, был эпизодическим связником и только поэтому не угодил в подземелье на Лубянке. Если бы Берия определил какую-то его информированность, это могло кончиться печально.

Только спустя много лет «вспомнили» о подвиге разведчиков — в 1996 году наконец-то было присвоено звание Героя России тем, кто «расщеплял американский атом»: А. А. Яцкову, Л. Р. Квасникову, В. Б. Барковскому, А. С. Феклисову.

Супруга Коэны — Моррис и Леонтина — отмечены орденами Красного Знамени.

И опять — взять живым!

В январе 1949 года начальником ГРУ был назначен один из талантливейших генералов, будущий маршал и начальник Генерального штаба Советской Армии Захаров Матвей Васильевич.

В годы войны он был начальником штаба разных фронтов и разрабатывал планы крупнейших стратегических операций, в том числе и блестящий разгром японской армии на Дальнем Востоке в 1945 году.

Некоторое время Захаров не вызывал Ромашкина. Василий подумал: «Может быть, Кузнецов давал мне поручения по своим личным планам, а Захаров даже не знает о моем существовании?» На работе в разведотделе Сухопутных войск у Ромашкина был четкий распорядок — с 10 до 18, и домой. Иногда выезжал в войска, проверял спецподразделения. Жил он в той же комнатке, которую снимал на двоих с Мишей. Чернов улетел в Турцию, а комнату Василий оставил себе. Она была напротив проходной Министерства обороны с Гоголевского бульвара. Так что не нужно было ездить из дома на службу.

У Василия появилось много свободного времени, он вспомнил увлечение молодости, стал писать стихи, и поскольку был не новичок в этом деле, некоторые его вирши были опубликованы в военных изданиях — в газете «Красная Звезда» и журнале «Советский воин».

Вечером, в хорошую погоду, Василий выходил погулять по Гоголевскому, Суворовскому, Тверскому бульварам, которые переходили один в другой и завершались памятником Пушкину. Несмотря на движущиеся машины справа и слева вдоль бульвара, под тенистыми деревьями все же было тише и пахло нагретой солнцем листвой.

Во время вечерних прогулок Василий не раз знакомился с девушками, даже ходил с некоторыми из них в кино, но все они оказывались для него неинтересными, саднила рана, оставшаяся в душе после потери Анны. С новыми знакомыми ему было неуютно, как-то не по себе, ещё ни в чем не провинившись, он чувствовал свою неискренность и прерывал знакомство.

Но в ГРУ его не забыли. Однажды позвонил адъютант генерала Захарова и велел прийти на следующий день утром.

Захаров — плотный, широкоплечий, лобастый и с мясистым лицом, чисто выбритый, был в форме генерала. Он встретил Ромашкина шутливым вопросом:

— Здравствуй, Ухажер! А ты «языков» брать не разучился?

Василий по кличке понял: генералу известно его настоящее и прошлое.

— Учу этому новому поколение, товарищ генерал, теперь практику подкрепил теорией.

— Это хорошо! Так вот, дорогой мой, есть для тебя работа. Нужен именно такой разведчик, как ты, которого не знают в нашем управлении и который умеет брать «языков». Садись, поговорим.

Он сел на знакомый Ромашкину обшитый мягкой кожей диван и усадил Василия рядом." Опять ситуация похожа на встречу с Черняховским, — отметил про себя Василий, — тот тоже усадил меня на диван и сел рядом".

Генерал, став серьезным, сказал:

— У нас назревает неприятность. Один наш офицер, фамилия его Зайцев, он работает в Турции, в нашем посольстве, под крышей дипломата. Так вот, этот подполковник обратился в английское посольство в Турции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Мы не знаем причины: то ли он проворовался, то ли заработать хочет. Раньше в связях с зарубежными разведками не замечен. А если работал на них, какой смысл уходить? О его намерении сообщил наш осведомитель, который работает в английской контрразведке в Лондоне. Он получил запрос из Турции — как поступить с Зайцевым? Нам сообщил о нем и сказал, что может затянуть ответ на пару недель. Но сам воспрепятствовать перебежчику не сможет. Мы должны предпринять свои меры.

Читатели помнят дополнительные сведения о работе Ромашкина, о том, как один из руководителей британской контрразведки помогал нейтрализовать изменника Гузенко и спасти советских агентов в Лондоне. Видимо, этот же доброжелатель прислал информацию о Зайцеве. Дать указание в свое посольство в Турции об отказе перебежчику он не мог, это навлекло бы на него подозрения.

Захаров продолжал:

— Зайцев не знает о том, что нам известно о его намерениях. Он ждет ответа от англичан. Мы должны не допустить его ухода. В нашем распоряжении очень мало времени. Отозвать Зайцева мы не можем, он сразу поймет неладное и тут же убежит, если не к англичанам, то к американцам. Надо вывезти Зайцева принудительно. Но без шума. Если станет известно, пресса поднимет хай. В посольстве его брать опасно. Надо как-то выманить на конспиративную квартиру, а там дело техники. Послать кого-то из работников управления нельзя, потому что Зайцев может знать его в лицо: он одно время работал у нас

здесь. Появление нашего человека подтолкнет Зайцева к решительным действиям. Вот я и вспомнил о тебе. Ты подходишь во всех отношениях. Вывезем мы Зайцева на советском корабле, их много бывает в Стамбульском порту. Капитан получит необходимые указания. Но как взять этого Зайцева, как привезти на корабль? Он сейчас такой настороженный, к нему очень трудно будет подступиться.

У Василия мгновенно пронеслись воспоминания из своей фронтовой практики, и особенно те случаи, когда подойти к будущему «языку» нельзя и надо было его как-то выманивать на себя. Он стал рассказывать об этом Захарову:

— Если к нему подходы опасны, надо сделать так, чтобы он сам к нам пришел.

— Как это устроить, он же на нерве живёт, любая попытка его спугнет.

— Когда я выходил из немецкого тыла после выполнения задания в Витебске, мне надо было перейти передний край, а в траншее ходил часовой. К нему не подползешь — услышит. Часовой ходил по траншее туда-сюда, ему было холодно, он грелся. Вот я и пополз туда, куда он сам придет. Долго подкрадывался, но в конце концов дополз туда, куда этот фриц сам пришел, и я его снял. Куда может Зайцев сам прийти? Может, в столовую, а там ему подсыплют снотворного?

— Никуда он сейчас не ходит. После работы сидит в своей квартире. Для удобства в разведработе мы арендовали для него квартиру в городе. Продукты покупает в магазине.

— Может быть, на квартире его взять?

— А если нашумим? Да он и не откроет дверь.

— Был у нас на фронте ещё такой случай. Пятеро перебежчиков предварительно сговорились бежать, ночью выскользнули из траншеи и оврагом пошли в сторону немцев. А лейтенант, командир взвода, их засек. С двумя сержантами он напрямую перебежал нейтральную зону и затаился в кустах недалеко от немецкой колючей проволоки. Он решил взять перебежчиков живыми без кровопролития. Когда они стали выходить из оврага, лейтенант по-немецки негромко скомандовал: «Хальт! Хенде хох!» Ну, беглецы подумали, что они уже у немцев, остановились, подняли руки. А лейтенант им приказывает, картавя под немца: «Оружие на земля. Три шага вперед, марш!» Они выполнили и это. Лейтенант с сержантами забрали оружие и приконвоировали перебежчиков в свои траншеи. Утром их расстреляли.

Ромашкин не сказал, что он был одним из тех расстреливаемых, теперь он просто предлагал использовать такую

уловку.

— Зайцев ждет ответа из английского посольства. Вот я ему и позвоню, представлюсь англичанином, скажу: все согласовано, решение принято, приходите к нам. Сразу в посольство нельзя, приходите на конспиративную квартиру, из нее мы отправим вас в Лондон. Ну, а на квартире я с ним познакомлюсь. Предложу выпить за удачу, а перед этим подготовлю лошадиную дозу снотворного. А потом упакую его и доставлю на машине на корабль.

Генерал подумал, покачал головой:

— Как в кино. Как в плохоньком детективе.

Ромашкин сказал:

— Все гениальное просто. Он ждет ответа? Ждет. Вот я и позвоню. Конспиративные квартиры у наших разведчиков наверняка есть. По-английски я говорю хорошо. Он поверит — придет сам, куда нам надо.

— Лишь бы пришел. На квартире тебе помогут наши ребята. Ну а если этот вариант не пройдет? Если он насторожится и не пойдет в ловушку?

— Ну, тогда надо брать его в посольстве. Он же на работу приходит. Вызовет его атташе в свой кабинет. Здесь мы его без шума и упакуем. А ночью вывезем на корабль. До ночи в закрытом кабинете пролежит, а я посижу с ним рядом.

— Оба варианта не железные. Но выбора у нас нет. На месте с помощником атташе подполковником Черновым принимайте окончательное решение по обстановке. Самого атташе задействовать не будем — все-таки генерал, неудобно заставлять генерала рот затыкать. Вы помоложе, сами все сделаете. В общем, тебе поручается взять ещё одного «языка». Документы на тебя готовы, вылетаешь завтра. Все необходимые распоряжения нашим товарищам в Стамбуле я дал. Возвращаешься вместе с Зайцевым на корабле. Какой именно корабль — решайте на месте, выбирайте ближайший к отплытию. Формальности с капитаном уладит посол. Есть ещё одно узкое место в нашей затее. Когда вы будете ехать в порт, машину может остановить турецкая полиция.

— Почему? У нас же будет дипломатический номер. Даже если остановят, ничего особенного: наш товарищ выпил лишнего и заснул.

— С кляпом во рту?

— Обижаете, товарищ генерал, будем работать интеллигентно. Если он будет спать, а я постараюсь, чтобы он спал, зачем же кляп?

Захаров тоже сказал на прощание: «Ну, ни пуха ни пера!» И Ромашкин, улыбнувшись, ответил:

— Сами знаете, товарищ генерал!

На следующий день к вечеру самолет, на котором летел Ромашкин, приземлился в Стамбуле. Его встретил Миша Чернов. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, весело говорили какие-то ничего не значащие слова.

Миша пополнел, в элегантном костюме выглядел человеком, у которого в жизни все о'кей.

Он отвез Ромашкина на конспиративную квартиру. Предварительно долго кружил по городу, проверяя, нет ли хвоста. Для Василия получилась неплохая экскурсия по Стамбулу. Зашли даже в великолепный древний храм Айя София и в знаменитую Голубую мечеть.

На квартире Михаил объяснил:

— В посольстве тебе появляться не надо и для него, и для других, твое появление вызовет нежелательные вопросы. И вообще, официальное советское посольство в столице, в Анкаре, но мы, и Зайцев в том числе, живем и работаем больше в Стамбуле. Наш подопечный сегодня был на работе, ведет себя спокойно, ни в чем не проявляет настороженности. Это естественно, разведчик он опытный. И это будет усложнять нашу с тобой задачу. Вот уж никогда не предполагал, что вместе с тобой придется брать «языка».

Василий подробно рассказал Чернову варианты, которые он обсуждал с Захаровым. Миша предложил начать со звонка якобы из английского посольства:

— Это более естественно. Зайцев ждет звонка. И приглашение на конспиративную квартиру перед вылетом в Лондон ему будет понятно. Дашь ему адрес этой квартиры, — Миша подал бумажку, — здесь нам будет действовать удобно, тихий район, отдельный вход. Запиши телефон Зайцева. Я привезу хорошее снотворное, а ты подготовишь напиток. Да смотри, не перепутай, а то сам уснешь! Заботы с кораблем мне поручено взять на себя. Ну, я отправился, а ты отдыхай — харчи для тебя, выпивка и угощение для клиента в холодильнике. Завтра с утра начнем действовать. Медлить нельзя, из английского посольства могут позвонить Зайцеву раньше нас. Давай, укладывайся спать, набирайся сил — нас ждут великие дела!

Ромашкин недолго посидел у радиоприемника, слушал резкий гортанный турецкий говор, поймал и послушал новости на английском и лег спать.

Рано утром появился Чернов, он был уже чисто выбрит и благоухал хорошим одеколоном.

— У меня порядок. Вот тебе славный порошочек, его даже не надо подсыпать, натри стенки бокала и порядок — свалит с ног

через пару минут. Корабль-грузовоз «Анадырь» отплывает в девять вечера. На грузовозе команда небольшая, пассажиров вообще нет.

Василий приготовил угощение для того, чтобы выпить с Зайцевым за удачу. Натер порошком бокал, посмотрел на свет: не остался ли след на стекле. Пошел в туалет, выбросил бумажную салфетку, вымыл руки. Затем вместе с Михаилом сели у телефона, и Чернов, глубоко вздохнув, сказал:

— Давай.

Ромашкин набрал нужный номер. Как и было рассчитано, Зайцев ещё не ушел на работу, ответил сам. Василий стал говорить по-английски:

— Господин Зайцев? Доброе утро. Я беспокою вас по поводу вашего обращения — помните?

— Да, помню, конечно! — ответил Зайцев.

— Так вот, наше руководство решило удовлетворить вашу просьбу.

— Спасибо, я очень благодарю, когда я могу прийти? — немного волнуясь, спросил Зайцев.

Чтобы сообщение выглядело более заманчиво и убедительно, Ромашкин сказал:

— Нам кажется необходимым немедленно отправить вас в Лондон, чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть для вас здесь.

— Да, я с вами согласен.

— Тогда я приготовлю билеты на ближайший рейс. Вы захватите обязательно ваш паспорт, мы поставим в него нашу визу, чтобы пройти формальности в здешнем аэропорту. Улетать надо очень быстро, вы понимаете почему.

— Хорошо, я это сделаю.

— Теперь, нам кажется, вам не следует до отлета находиться в нашем посольстве. Лучше, если ни наши, ни ваши не будут знать, где вы находитесь. Запишите адрес, где мы вас ждем в любое удобное для вас время.

— Я записываю.

Ромашкин продиктовал адрес конспиративной квартиры Михаила.

— Я готов прибыть немедленно, — заверил Зайцев.

— Будьте осторожны, не спешите, лучше приходите во второй половине дня, мне надо ещё взять билеты, — посоветовал Ромашкин и повесил трубку.

— Зачем ты его удерживал, пусть бы приходил прямо сейчас, — удивился Миша.

— И будем с ним целый день валандаться? Придет ближе к

отплытию «Анадыря». Упакуем его и сразу в путь. А весь день проведем с тобой, нам есть что вспомнить!

— Жаль, нельзя выпить за нашу встречу! — пожалел Чернов.

— Немножко можно! Давай пивком побалуемся — такую жару ты организовал в своем Стамбуле!

— Мы тут будем пивом баловаться, а вдруг он не придет. Что-нибудь заподозрит.

— Не должен, мы с ним вроде бы по-хорошему поговорили, было полное взаимопонимание.

— Нет, Вася, поеду я к его квартире, посижу в машине на всякий случай. Прослежу, как бы он в другое место не отправился.

— И то верно! Езжай, — согласился Ромашкин и добавил: — Только будь осторожен, не сопровождай его машину, когда ко мне будет ехать. Держись подальше. Если он тебя заметит — хана всей нашей затее.

— Не беспокойся.

И вдруг Василий предложил:

— Если он придет сюда — значит, поверил. Зачем же его усыплять? Скажу ему, что будем отправляться на корабле, и он сам со мной приедет в порт.

—А как же ты его на «Анадырь» заведешь? Он сразу все поймет.

—Да, ты прав. Давай не будем рисковать. Езжай, паси его от квартиры. А потом жди в машине. Я тебе дам знак, когда у меня будет все в порядке.

Оказывается, просидеть в квартире в ожидании кульминационного события не так просто. Ромашкин ходил по комнатам, включал и выключал телевизор, листал старые журналы, но время тянулось ужасно медленно. Пришла даже такая мысль: "А вдруг Зайцев меня где-то все же видел, мог встретить даже не в управлении, а на футбольном матче или в театре, в ресторане, наконец, с Мэри, да и без нее бывал я в них нередко. Что тогда? Если он меня расколет, это должно обязательно отразиться на его лице. И тогда… Тогда дело дойдет до рукопашной, придется брать силой. Вот тут Миша очень пригодился бы. Но он будет ждать сигнала в машине. Лучше бы он сидел в соседней комнате. Но теперь уже не поправишь. А Зайцев тоже разведчик, человек бывалый, приемы, наверное, не хуже меня знает. Справлюсь ли?

Звонок у входа раздался неожиданно, хотя и ждал его Василий целый день. Он открыл дверь и, улыбаясь, приветливо пригласил:

— Входите, я вас жду.

Зайцев был средних лет, среднего роста, чернявый (как и полагалось для работы в Турции), в темных глазах его были и беспокойство, и вопрос.

— Входите, входите, — подбадривал Ромашкин, — здесь вы будете в безопасности.

Зайцев вошел, огляделся, протянул руку. Он хорошо говорил по-английски.

— Я благодарю вас за заботливое отношение ко мне. Вы не пожалеете. Я принес некоторые очень вас интересующие документы.

Василий наращивал доверие:

— Надеюсь, этих документов не хватятся несколько часов, которые необходимы нам до отлета в Лондон? Кстати, паспорт вы принесли?

Зайцев подал свой дипломатический паспорт.

— Очень хорошо. Ну, что же, господин Зайцев, предлагаю выпить бокал шампанского, обмыть успешное начало вашей новой жизни.

Он пригласил гостя к столу с закусками, спросил:

— Шампанское, виски?

— Лучше виски, у меня сейчас такое состояние, хочется чего-нибудь покрепче.

А у Василия был подготовлен хрустальный фужер для шампанского, но он не растерялся:

— О пожалуйста, у меня есть замечательное шотландское виски «Чивас регал». — Ромашкин налил виски в фужер и весело добавил: — Если в таком возбужденном состоянии, рюмочка вам не поможет. — И опять-таки, чтобы окончательно избавить Зайцева от малейшего подозрения, добавил: — Я от вас не отстану, — и налил себе в такой же бокал из той же бутылки.

Зайцев выпил одним махом. Стал накладывать в тарелку закуски. Но скоро почувствовал что-то неладное, движения его становились вялыми, сознание туманилось. Он пытался что-то сказать, но с невнятным мычанием стал крениться и упал бы, если бы не поддержал его Ромашкин.

Положив Зайцева на пол, Василий тут же выглянул на улицу и помахал Михаилу. Вдвоем они перенесли Зайцева на диван. Посмотрев друг другу в глаза, почему-то негромко, несмотря на то, что их никто не может услышать, прошептали:

— Ну, лед тронулся!

— Полдела сделано!

Поскольку времени до отплытия «Анадыря» было ещё много, Миша предложил:

— Давай Вася, и мы по стопочке тяпнем за неплохое начало.

Только ты фужеры не перепутай, а то свалишься, я вас обоих до «Анадыря» не доволоку.

Темнело. Миша подогнал машину к крыльцу. Когда на улице не было ни души, вынесли тяжеленного Зайцева и посадили на заднее сиденье. Ромашкин сел с ним рядом, Чернов — за руль и спокойно, не нарушая правил движения, не превышая скорости, повел машину в порт. Подъехали к самому трапу «Анадыря».

Недалеко от трапа прохаживался турецкий полицейский. Надо было его как-то нейтрализовать. Василий остался в машине и наблюдал любопытную немую сценку: Чернов подошел к полицейскому, тот отдал ему честь, Михаил, не говоря ни слова, достал из кармана десятидолларовую купюру и подал её полицейскому. Страж порядка (оказался понятливый) быстро взял деньги, вскинул руку к козырьку и пошел, не оглядываясь, в сторону трапа. Василий и Михаил подхватили Зайцева под руки и поволокли вверх по трапу. У борта ждал капитан, он коротко бросил вахтенному: «Пропустить».

Ромашкин весело сказал матросу:

— Перебрал на прощание товарищ!

— Бывает, — так же весело ответил матрос. В каюте Василий сказал:

— Миша, я тебя провожать не пойду, его нельзя оставлять без присмотра ни на минуту.

— Не беспокойся, проснется только в Одессе. Ну, будь здоров! Приеду в отпуск, увидимся. Передай мой привет Зое Афанасьевне.

Зайцев крепко спал всю ночь, это избавило Ромашкина от неприятных разговоров с ним.

…В Одессе все было гораздо проще. Встретили двое в гражданском. Василий не знал, были они из КГБ или из ГРУ. Дали Зайцеву понюхать нашатыря. Он проснулся и некоторое время ничего не мог понять. Потом своим ходом, с помощью сопровождающих, но все ещё нетвердой походкой спустился по трапу и сел в поджидавшую «Волгу».

Прилетев в Москву, Ромашкин позвонил прямо из аэропорта по телефону, который когда-то дал ему ещё Кузнецов. Услыхав голос Захарова, доложил:

— Ухажер вернулся, ваше поручение выполнено.

— Я в курсе. Молодец, сработал чисто. Пока объявляю тебе благодарность, продолжение будет.

Но радость возвращения омрачило печальное известие, которое ожидало Василия дома. Зоя Афанасьевна, всплеснув руками, запричитала громче обычного:

— Ну где же вы пропадаете? Такая беда! А вас нигде найти

невозможно, я уже и на работу звонила. Говорят: в командировке. Что за командировка такая, из которой нельзя отозвать человека?! Я настаивала, но они уверяли — невозможно.

— Что случилось, Зоя Афанасьевна?

— Случилось самое ужасное — умерла ваша мама. Пришло три телеграммы, вас ждут на похороны, а вы где-то разъезжаете. Вам нужно вылетать немедленно, может быть, успеете, хотя прошло уже три дня. От вас ответа не было, наверное, похоронили.

Василий сразу взял такси и помчался в аэропорт. Но в этот же день рейса в Оренбург не было. Вылетел на следующий день. Он все ещё не мог опомниться от тяжкой новости. Мама вроде бы не болела, не старая, умерла очень неожиданно. Но сколько она пережила! Из-за меня, моих бедствий: в тюрьме, в лагерях, в штрафной роте. Каждый день ждала похоронку всю войну. И дождалась — одну — о гибели отца.

Как она жила одна после войны, Василий почти не знал. Отправлял деньги, писал письма, несколько раз приезжал в отпуск. А все остальное время она жила очень одиноко. И вот теперь её нет.

Василий опоздал, мать похоронили друзья и соседи накануне его прилета. Ждали трое суток, но не было даже телеграммы. Терялись в догадках: если сам Вася болен, то через кого-нибудь мог сообщить. Решили: в отъезде. А ждать больше трех дней не позволяла жаркая летняя погода.

Василий попросил соседку Варвару Ильиничну показать, где находится могила. Он довез подругу мамы на такси до кладбища, купил большой букет цветов и неспешно шел за пожилой женщиной по тихим дорожкам, мимо крестов и памятников. Могила мамы была свежая. Земля ещё не просохла. Не было на ней ни креста, ни надписи. Скромные букетики цветов даже не покрывали холмик.

Василий вытирал слезы, ему было жаль не только матери, но бедной её жизни и вот этого более чем скромного захоронения.

— Подождите меня здесь, Варвара Ильинична, я сейчас вернусь.

Он пошел к воротам кладбища, спросил торговку цветами, у которой розы и гладиолусы были в руках и в двух ведрах:

— Сколько стоят все ваши цветы?

— Все? Надо подсчитать.

— Считайте. Я покупаю все, — и тут же подошел к другой продавщице: — А ваши сколько стоят? Женщина оторопела:

— Тоже все? Так вы у нее или у меня покупаете?

— И у нее, и увас…И вы тоже, — сказал он третьей. — Идите

за мной. Несите ваши цветы. Я покупаю все.

Женщины неуверенно топтались на месте. Ромашкин достал из кармана пачку денег и, показав ее, опять позвал:

— Идемте со мной, я хочу положить цветы на могилу мамы.

Варвара Ильинична отошла в сторону, пропустив процессию цветочниц. Василий брал у них цветы и раскладывал на холмике, превратив его в яркую клумбу. Затем он щедро расплатился с цветочницами. А они не ушли сразу, а постояли с ним рядом, повздыхали, похвалили между собой: «Вот это сын». А Василий про себя возражал этим словам: «Плохой я сын, очень плохой, не заботился о матери». И второй раз в жизни недоброжелательно подумал о своей профессии: «Разведка лишила меня возможности жениться на любимой женщине, и мать я обижал — жили мы врозь, как чужие, и даже похоронить не смог, был на задании».

Можно ходить по лезвию бритвы

В Москве Ромашкина ждала приятная новость. Генерал Захаров не забыл свои слова: «продолжение будет», имея в виду поощрение, которым он намеревался отметить Ромашкина за выполнение спецзадания.

— Засиделся ты в Москве, поедешь в Англию. Ты же готовился на это направление, — сказал Матвей Васильевич. — Я спросил кадровиков, почему они тебя после окончания школы не отправили за рубеж, а назначили в войсковую разведку? Оказывается, эти перестраховщики помнят твои старые грехи. В твоем личном деле есть крамольная запись — судился за антисоветскую агитацию. Хотя судимость снята, ты давно член партии, у кадровиков свои законы! Я их отругал —говорю, человек всю войну по немецким тылам ходил, после войны несколько раз со спецзаданиями за рубеж посылался, — какие вам ещё нужны доказательства преданности Родине? В общем, приказал тебя послать в Лондон. Я знаю, тебе хочется поработать за рубежом. Четыре года готовился к этому. И пока молодой, есть силы — надо поработать. Поедешь под крышей дипломата, чем заниматься — получишь указания от военного атташе генерала Караганова Валерия Сергеевича.

Сборы были недолгими, все пожитки — небольшой чемодан. Военную форму оставил до возвращения в шкафу у Зои Афанасьевны. Ордена, документы, партбилет сдал в спецотдел ГРУ.

И вот он, Лондон — знакомый и незнакомый. Хоть и побывал Ромашкин здесь прежде, видел этот старинный шумный город только из автомобиля. Знал по карте улицы, площади и многие уникальные здания, потому что изучал план города в разведшколе, но карта — плоское, схематичное отражение.

Генерал Караганов побеседовал с Ромашкиным, подробно расспросил о прежней службе и, завершая беседу, сказал:

— Надо вам хорошо изучить город. Лучше поездить не на машине, а на автобусах, в метро. Вы должны свободно ориентироваться, потому что, если заметите слежку, придется отсекать хвосты. Вот и походите, прикидывайте, где это надежнее осуществить.

Василию выделили двухкомнатную квартиру в жилом городке советского посольства. Квартира была обставлена необходимой мебелью. Официально его должность называлась «второй секретарь посольства», он должен был заниматься рутинной бумажной работой и занимался ею, потому что

работники посольства не должны знать о том, что он разведчик. Конечно, сослуживцы догадывались, «кто есть кто», хотя бы по тому, что посол не загружал Ромашкина бумажными делами.

Первые дни, отправляясь на прогулки, Ромашкин ощущал внутреннее напряжение, ему казалось, что за ним следят. Но, проверив, он убеждался: беспокойство напрасное. Да если даже интересовалась английская контрразведка, то поведение новичка выглядело естественно — ходил он по музеям, знакомился с историческими местами нового для него города.

Вроде бы гулял, ничего не делал, а к вечеру валила усталость, давали знать не только ноги, но и постоянное напряжение, в котором находился весь день.

Генерал Караганов — черноволосый, чернобровый — и костюмы любил черного цвета, и даже рубашки без галстука носил черные. На приемы в посольства дружественных стран, которых было очень много, по случаю различных национальных праздников Валерий Сергеевич ходил как все, в темном или светлом костюме, накрахмаленной сорочке и при галстуке, а дома, в посольстве, почему-то ходил как черный ворон, чем увеличивал свою загадочность, а женщины его просто побаивались.

Через некоторое время атташе дал первое поручение:

— Продолжай изучать город и подбирай места для «дубков».

«Дубком», или «почтовым ящиком», называется тайное место, через которое агент передает информацию или получает указания от резидента, не общаясь с ним. Пришел, когда ему удобно, незаметно заложил в тайник бумаги или пленку и ушел. Затем в своем жилье или офисе подает сигнал о том, что материал заложен. Сигнал резидент увидит, проезжая мимо: это может быть цветок на подоконнике, раздвинутые или, наоборот, закрытые шторы. Сообщить можно по телефону: позвонить из автомата, спросить мистера Брауна и затем извиниться, что ошибся. Резидент по фамилии (на каждый «дубок» своя фамилия) определит, куда надо ехать за информацией. Такая форма общения без личных встреч очень удобна в борьбе с контрразведкой. Недостаток связи через «почтовый» ящик в том, что нелегко найти тайное место с удобными подходами, и чтобы в него случайно не заглянул кто-то из посторонних.

Ромашкин изучал в разведшколе теорию создания «дубка», но когда дело коснулось конкретного подбора таких мест, оказалось не так просто их подобрать.

Один «дубок» он предложил сделать в общественном туалете на Кенсингтон-стрит: в одной из кабин была батарея парового отопления с декоративной решеткой. Решетка легко снималась и

можно было под батарею положить сверток или пакет. Войти в кабину по нужде в любое время мог и агент, и резидент.

Другой «почтовый ящик» Василий предложил в библиотеке на площади Ватерлоо, в ящике-каталоге (на определенную букву) можно положить небольшой пакет после последней карточки. Но вынимать его резидент должен по-быстрому, сразу после получения сигнала о закладке, потому что кто-то может обнаружить послание, даже если оно заложено на букву "Z", которой мало кто пользуется. Этот «дубок» удобен подходами, сюда, не вызывая подозрения, могут приходить в любое время агент и резидент.

Через два месяца Ромашкин не только подбирал тайники, но вынимал из них информацию. И не всегда из своих «дубков», но и из тех, которые были подобраны раньше.

Опять Василий исполнял свою часть в разведывательных операциях — он не видел агентов, вообще не знал, кто они, не было ему известно и содержание сведений, которые давали агенты.

Иногда ему поручали передать деньги или получить какую-то объемистую посылку, которую невозможно передать через «дубок». Такие встречи у Ромашкина были очень редкими, разведчики и резидент предпочитали встречаться со своими агентами лично.

В общем, работа в зарубежной разведке оказалась без всякой романтики: постоянная настороженность, кружение по городу, не ведая, есть хвосты или нет. Затворническая жизнь в посольстве: все выходы в город только по служебным надобностям, для посещения театра, музея или магазинов за покупками надо получить разрешение. Начальство должно знать каждую минуту, где ты находишься, днем и ночью.

Такая жизнь без происшествий, с одной стороны, считается нормальной и желательной, но с другой—выматывает, выхолащивает разведчика, превращает его в мыслящий компьютер с атрофированными чисто человеческими чувствами.

Ромашкин проработал несколько лет. За эти годы он не завербовал ни одного агента. И вообще, Василий убедился — вербовка только в детективных книжках проходит легко и быстро, а в жизни очень непросто найти необходимого человека, обладающего ценной информацией, сблизиться с ним, обратить в свою веру или на чем-то скомпрометировать, заставить работать на себя с риском для жизни, такое удается очень редко и очень немногим разведчикам.

Но однажды Ромашкину повезло. Он стоял на платформе в метро, ожидая поезда, и вдруг кто-то, подойдя сзади, закрыл ему

глаза теплыми ладошками. Василий вздрогнул от неожиданности. Горячая волна крови ударила в голову и тут же откатилась холодным эхом в ноги, как это случилось в Витебске, когда его задержал немецкий патруль. Первая спасительная мысль: «Кто-то ошибся». Обернувшись, Ромашкин не поверил своим глазами — перед ним стояла Мэри. Она весело смеялась:

—Да, Васенька, это я! Это не сон. И я сама не могу поверить, что это не сон!

Они вышли из метро и сели за столик в ближайшем кафе. Ромашкин благодаря постоянной настороженности был уверен, что эта встреча не случайна. Он терялся в догадках: что же происходит, если его «накололи», то что последует дальше? Никакого компромата при нем нет. А Мэри между тем щебетала:

— Я так рада, Васенька. Я очень по тебе скучала.

— Ты уехала неожиданно.

— Муж стал меня подозревать. Я так тебя любила, а к нему охладела. Вот он и увез от тебя подальше. А как ты здесь очутился? Почему ты в Лондоне?

— Я уволился из армии. Не захотел дальше служить, дисциплина надоела. Поступил в Институт международных отношений, окончил его. И вот, работаю в нашем посольстве.

Ромашкин решил прощупать собеседницу:

— А как ты меня выследила?

— Я тебя случайно увидела. Не поверила своим глазам!

— Случайно? Ой, Мэри — такие случайные встречи обычно хорошо готовятся.

— Не думай обо мне плохо. Я, правда, тебя увидела неожиданно. Это мой муж занимался сбором информации, а я помогала ему, когда мы были у вас в России. Теперь я просто домохозяйка.

— А чем ты помогала?

— Подыскивала людей для контактов, для получения информации.

— И меня тоже подыскала?

— И тебя. Но к тебе я сама в плен попала. Я так была счастлива с тобой. Надеюсь, мы продолжим нашу дружбу? Я все сама устрою, сниму уютную квартиру.

Ромашкин представил, как эта тигрица опять будет доводить его до полного изнеможения, и постарался раз и навсегда закрыть эту тему.

— Я теперь женатый человек. У меня очень хорошая жена.

— Она здесь, в Лондоне?

— Да, мы с ней здесь вместе.

— Познакомишь меня с ней?

— Ни в коем случае.

— Почему?

— Женщины очень чуткие. Она может понять, что у нас что-то было. Я не хочу испортить добрые отношения в своей семье.

— Ну хоть иногда мы можем с тобой встречаться? Я так полюбила тебя, Васенька.

Ромашкин подумал, что Мэри может пригодиться для работы. Пока ему не удалось завербовать ни одного агента, может быть, Мэри станет первой?

— Встречаться будем. Дружить будем, — и чтобы заинтриговать, дать ей надежду, намекнул: — Иногда разогретое вчерашнее блюдо бывает очень вкусным.

Мэри погрозила ему пальчиком:.

— Запомни — это ты сказал! — Вдруг спохватилась, что они все время встречи говорили по-английски: — Вася, ты в Москве не сказал мне ни одного английского слова, когда ты успел так хорошо научиться английскому?

— Я же тебе сказал — окончил международный институт и здесь уже четвертый год.

— А почему ты меня не искал?

— Как? Ходить по Лондону и кричать: Мэри! Мэри! Я даже фамилию твою не знаю.

— Фамилия моя Кларк. Мэри Кларк.

Ромашкина поразило, как она спокойно об этом здесь говорит, в Москве это было тайной. Вообще, ситуация в их отношениях повернулась на сто восемьдесят градусов. В Москве Мэри была шпионка-преступница. У себя на родине она разведчица — человек уважаемой профессии. Василий в Москве считался разведчиком, а здесь — шпион, человек, преступивший английские законы и, следовательно, преступник.

Они проговорили около часа.

— Проводи меня, — попросила Мэри.

— До метро «Арбатская»? В Москве дальше этой станции ты провожать не разрешала.

— Я жила в посольском доме, ты не должен был знать об этом.

— Теперь я живу в посольстве. Мы поменялись ролями. Раньше ты меня хотела завербовать, теперь я тебя завербую, — рискованно пошутил Ромашкин.

— Ой, Васенька, завербуй меня поскорее, я тебе отдамся без сопротивления.

— Но я дипломат, такими делами не занимаюсь. Это тебя, может быть, и здесь ко мне подослали? Выследили, и вот — случайная встреча.

— Вася, не обижай меня, пожалуйста, я же тебе призналась, хотя и не должна была этого говорить, — в Москве у меня были недобрые намерения. Но здесь я, правда, встретила тебя случайно. И правда, очень этому рада. И правда — люблю тебя по-прежнему. Верь мне, Васенька.

Возвратясь в посольство, Ромашкин обо всем доложил генералу Караганову. Тот сидел некоторое время размышляя, потом спросил:

— А не заложит она тебя?

— Что она может заложить? То, что я русский, работаю в посольстве? Так это мой официальный статус.

— Если начать её разрабатывать для вербовки — так зачем она нам нужна? Она же сама говорит — домохозяйка, какая от нее польза?

— Это она говорит. Но я не думаю, что она совсем отошла от разведки, может быть, работает каким-нибудь чиновником в своей системе. А муж её разведчик, она прямо об этом сказала. Может быть, к нему поищем подходы?

— Ну, что ж, поживем — увидим. Огонь воду покажет. Потихоньку выявляй её возможности и чем занимается муж. Когда пойдешь на свидание с ней, предупреди меня, я пошлю за ней хвоста после того, как расстанетесь. Надо установить, где она живёт, и вообще, та ли она, за кого себя выдает.

Ромашкин вспомнил, что в ГРУ должны быть фотографии о его интимных встречах с Мэри, сказал об этом генералу и предложил:

— Попросите, чтобы прислали. Если Мэри заартачится при вербовке, фотографии пригодятся.

— Пошлю запрос, — согласился Караганов. Через несколько дней фотоснимки прислали. Рассматривая их, Валерий Сергеевич усмехался:

— В «Плейбой» с удовольствием возьмут, можешь подзаработать.

В разведке так: увяз коготок — всей птичке пропасть. Сначала Василий осторожно выспрашивал у Мэри, чем занимается её муж. Потом, когда она не могла без Василия жить, он стал для нее настоящим наркотиком, Ромашкин, как говорится, из нее «веревки вил». Сначала он попросил её почитать бумаги, которые Кларк приносит домой. Потом он велел ей снять ксерокопии с таких бумаг. Благо у Кларков был в квартире собственный ксерокс.

Кларк служил в информационном отделе, он обобщал сведения и составлял разведсводки, касающиеся нашей оборонной промышленности. Разумеется, нашей разведке

интересно было знать, что англичанам известно в этой области, а по характеру материалов, которыми пользуется Кларк, можно докопаться и до источников в нашей стране.

Работая над составлением сводок, Кларк иногда брал документы на дом.

Дальше — больше, пришло время, и Ромашкин сказал Мэри:

— Информация, которую ты приносишь, не представляет никакой ценности. Надо скопировать более интересные документы.

— Но он их запирает в сейф.

— Сейфы запираются и отпираются. Мы подберем к нему ключ. Я тебе дам хороший пластилин, а ты ночью, когда муж будет спать крепким сном, сними отпечаток с ключа от его сейфа и с других, которые будут в связке.

— Ты будешь приходить и открывать его сейф?

— Зачем? Открывать сейф и копировать бумаги ты будешь сама.

По инструкции разведчик не должен вступать в интимную связь с агентами-женщинами. Это не только запрещено, но даже подлежит наказанию. Но нет правил без исключения. Связь Ромашкина с Мэри держалась именно на таких интимных отношениях. Однако когда дело дошло до работы на советскую разведку, любовной связи может оказаться недостаточно. Любовь приходит и уходит. И чтобы этого не произошло, резидент решил связать Мэри ещё и компроматом.

Василий посчитал, что момент для этого подходящий, достал из кармана заветные снимки, протянул их Мэри и сказал:

— Для того чтобы крепко и долго продолжались наши отношения, помни, что у нас есть вот такие картинки.

Реакция была не та, какую предполагал Василий. Мэри не была шокирована, она засмеялась и с любопытством разглядывала фотографии:

— Чудесные снимки! А ты настоящий Аполлон. Тебя можно показывать на мужском стриптизе. Жаль, не могу показать эти снимки подружкам, они бы сдохли от зависти.

Она вернула снимки Ромашкину и серьезно добавила:

— Вася, я не могла подумать, что ты такой изверг. Ты меня погубишь. Ты сломаешь мою жизнь.

— Ломать жизнь не надо. Живи как жила. Твой муж никогда ни о чем не узнает, если ты будешь действовать осторожно.

* * *

Информация из сейфа Кларка шла весьма интересная. Через год генерал Караганов решил:

— Пора нам брать за жабры самого Кларка. У нас столько

накопилось ксерокопий с его документов, что он не открутится.

— Но он поймет, что в этом замешана Мэри. Семья может разрушиться.

Караганов был в обычном своем любимом черном одеянии, и в эти минуты Василию показалось, что такая одежда ему очень подходит. Генерал пристально посмотрел в глаза Ромашкину и холодно молвил:

— Сентиментальность в нашей работе неуместна. Их личную жизнь пусть они устраивают сами. Когда он работал в нашей стране, ты думаешь, он щадил наших людей?

За несколько бесед был разработан план вербовки Кларка. В нем было два варианта. «Спокойный», когда Кларк, сломленный компроматом, согласится работать на нас; документы ему покажут, что он фактически уже давно работает на советскую разведку. Второй вариант — Кларк начнет вилять, чтобы протянуть время и придумать возможность отвертеться. Не исключено, что он явится с повинной на своей службе и ради смягчения своей вины заложит советского вербовщика. Этот, самый худший и нежелательный вариант мог обернуться так, что Кларк захочет немедленно схватить Ромашкина и сдать его контрразведке.

— Что будешь делать в этом случае? — спросил Караганов, прищурив глаз.

— Буду стрелять! — мгновенно ответил Ромашкин. — Никто не знает о моем визите. А я как пришел, так и уйду незаметно. Дом у них свой, окружен деревьями, я думаю, выстрела никто не услышит. И пистолет возьму с глушителем. Оставлять его живым нельзя, он меня и в посольстве достанет. А так поговорили и разошлись. Никто о моем существовании, кроме него, не знает, но он — мертвый.

— А Мэри?

— Ее в этот день дома не будет.

— Каким образом?

— Я приглашу её на нашу спальную квартиру.

— Но по возвращении она поймет, что это твоих рук дело.

Ромашкин решил немного разнообразить тяжелый разговор:

— Один уважаемый человек однажды сказал мне: сентиментальность в нашей профессии неуместна. Тем более что мне после такой развязки, наверное, придется улетать первым же рейсом.

— Усвоил насчет сентиментальности, — похвалил генерал. — На всякий случай, конечно, не дай бог, если дело дойдет до такого варианта, для подстраховки мой заместитель Волосов на своей машине будет стоять недалеко от дома Кларка.

В воскресенье, когда все отдыхают дома, Ромашкин назначил свидание Мэри, на которое она согласилась с радостью.

Через полчаса он позвонил Кларку и представился издателем.

— Один из ваших приятелей сказал мне, что вы заканчиваете работу над воспоминаниями. (Такой разговор у Кларка был, но о нем Василий знал от Мэри.) Меня заинтересовали ваши мемуары. Я хотел бы побеседовать с вами и даже предложить контракт.

Кларк согласился на встречу, назвал свой адрес. Ромашкин приехал к нему на такси. Машина с подстраховкой двигалась вслед за ним.

В доме Кларка произошло следующее. Встретившись в хозяином и обменявшись любезными приветствиями, Ромашкин прошел в кабинет и решил не тянуть время, а сразу ошарашить Кларка.

Вместо контракта на издание Василий выложил на стол несколько ксерокопий с документов, побывавших в сейфе хозяина дома.

Кларк побледнел и, как профессионал, понял, что это его гибель. А Ромашкин между тем продолжал выкладывать ещё более «страшные» бумаги.

Наконец Кларк опомнился и решил откупиться — он даже не спросил, кто визитер и откуда у него компромат.

— Продайте мне это, — предложил Кларк.

— Я не могу это продать.

— Я вам дам столько, что хватит на многие годы, только оставьте меня в покое.

— Вы же понимаете, что я это делаю не по своей воле, у меня есть начальники. Самое безболезненное для вас —это избавить нас от опасной необходимости лазить в ваш сейф. — Ромашкин надеялся как-то выгородить Мэри, создать впечатление, что она непричастна. — Теперь вы будете сами снимать копии и передавать мне.

Кларк с ненавистью смотрел на Ромашкина: с каким наслаждением он всадил бы пулю в лоб этому вторгшемуся в его дом человеку.

— Меня интересует как коллегу, каким образом вы добывали эти документы?

— Очень просто. (И опять Ромашкин работал на Мэри.) У вас спальня на втором этаже. Спите вы с женой крепко. У вас нет ни прислуги, ни собаки. Я работал в кабинете на первом этаже спокойно. Даже копии снимал на вашем ксероксе, он работает бесшумно.

— А если бы я проснулся и вошел?

— Ну, тогда один из нас отправился бы на тот свет — се ля

ви!

— А сейчас это не может случиться?

— Может. Но отправитесь на тот свет вы, потому что у меня оружие ближе.

Ромашкин откинул полу пиджака и показал пистолет. Чтобы снять напряжение, продолжал в шутливом тоне:

— Признаюсь вам, иногда я даже выпивал рюмочку виски, — Ромашкин показал на приоткрытую створку бара. — А вы, видимо, перед сном тоже выпивали, поэтому спали чертовски крепко.

— Но ключи!

У Ромашкина не было при себе ключей от сейфа Кларка, но он не растерялся, достал из кармана свою связку, в которой были ключи от его сейфа и машины, и потряс ею:

— И от сейфа, и от квартиры, я приходил как к себе домой.

— Но как вы их добыли?

— Замок во входной двери у вас несложный. А дома вы в пижаму переодевались, а ключи оставляли в кармане пиджака. Снять слепки и сделать дубликаты, сами понимаете…

Ромашкин уверенно «вешал лапшу на уши» хозяину, но и сам представлялся чуть ли не киношным суперменом. Наконец он решил, что объяснил все:

— Я ответил на все ваши вопросы и жду ответа на свой единственный — согласны ли вы, господин Кларк, продолжать работать на нас? Подчеркиваю — продолжать. Вам из того, что вы уже сделали, не выпутаться.

Кларк нервно перебирал бумаги, выложенные Ромашкиным на письменный стол.

— Но где гарантии, что я буду в безопасности?

— Гарантии — наша заинтересованность в вашей информации. К тому же вы можете неплохо заработать…

Кларк отмахнулся:

— Я сам предлагаю вам хорошо заработать, лишь бы вы оставили меня в покое.

— Не могу, при всем уважении к вам за ваше гостеприимство не могу. И чтобы не обременять вас, как я понимаю, не очень приятным разговором, я предлагаю расстаться. Но перед этим надо соблюсти небольшую формальность.

Ромашкин положил перед Кларком квадратик бумаги с заготовленным текстом. Этот небольшой листочек связывал человека на долгие годы, а может быть, на всю жизнь обязательством служить советской разведке.

— Вот, перепишите, пожалуйста, своей рукой: «Я, Роберт Кларк, настоящим обязуюсь…» и дальше по тексту.

Кларк взял бумагу, прочитал текст, отложил ее, опять взял и перечитал и наконец быстро переписал на чистый лист и расписался.

Ромашкин просмотрел расписку и попросил:

— Пожалуйста, поставьте дату… Я буду звонить и называть себя вашим именем — Роберт. Это будет мой пароль. Я думаю, вам не следует ничего говорить жене о наших отношениях. И вообще, я предпочел бы навещать вас, когда её не будет дома. Или мы с вами будем встречаться где-нибудь в кафе. Подумайте и предложите сами, я полностью полагаюсь на вас как на профессионала.

— Встречаться опасно, за вами может быть хвост, — ответил Кларк.

— Вы правы. Тогда предлагаю вам закладывать информацию в «почтовый ящик». На Кенсингтон-стрит есть общественный туалет. В крайней кабине декоративная решетка на батарее парового отопления легко снимается. Я проверял. Заложите туда пакет с информацией, позвоните мне по телефону, разумеется, из автомата. Вот вам моя карточка. Называйте себя… Как бы вы хотели?

— Джон.

— Хорошо, Джон. Скажите, в продажу поступили модные галстуки. Если мне понадобится что-то вам передать, я буду извещать вас этими же словами.

Ромашкин был доволен проделанной работой — у него появляется своя агентура. Он был рад, что вывел из-под удара Мэри, ему в глубине души было жаль ее, все-таки она любила его искренне и преданно.

Разведработа пошла веселее. Генерал Караганов стал относиться к Ромашкину более дружелюбно. Кларк давал информацию исправно. От Мэри Василий старался отходить все дальше, объясняя это загруженностью работой. Она понимала по-своему: «Конечно, у тебя молодая жена, не то что я — старуха».

Все это продолжалось бы, наверное, ещё долго, если бы не крутая судьба, которая оставила Ромашкина без своего внимания лишь на некоторое время.

На этот раз беда стряслась не с самим Ромашкиным, хлестнула она рикошетом, но так, что пошла наперекосяк вся дальнейшая жизнь.

Для того чтобы была понятна масштабность катастрофы, необходимо вернуться на несколько лет назад.

Разведчики редко проваливаются по своей оплошности, чаще это случается из-за предательства. Мы уже говорили о том вреде, который причинил изменник Гузенко.

Долгие годы в Англии работала ныне знаменитая пятерка советских агентов, которые были завербованы ещё в тридцатые годы во время учебы в Кембридже, а затем, продвигаясь по служебной лестнице, они достигли очень высокого положения.

Ким Филби был начальником службы внешней контрразведки. (Напомним только известные читателям предупреждения о готовящейся измене Зайцева в Турции; о странном «английском джентльмене», который сводил на нет показания Гузенко против наших агентов в Англии, в том числе и самого Филби. И это только то, что попадает в поле зрения по ходу событий, описываемых в этой книге. За кадром ещё сотни других дел суперагента Кима Филби.)

Следующий член легендарной пятерки — Антони Фредерик Блант, английский аристократ, родственник королевской фамилии, троюродный брат королевы Британии. Он был вхож в самый высокий круг государственных деятелей. Это о нем написал книгу бывший наш посол в Англии В. И. Попов «Советник королевы — суперагент Кремля».

Гай Берджес и Дональд Маклин были тоже завербованы в студенческие годы. Берджес много лет работал в различных государственных учреждениях. Дональд Маклин был заведующим отделом в Форин офис, популярным журналистом, был вхож ко многим крупным государственным деятелям. В 1951 году на них навел контрразведку предатель Гузенко. Филби своевременно предупредил их об опасности, Берджес и Маклин бежали в Москву.

Джон Кернкросс работал в английских секретных службах и Министерстве финансов.

В 1954 году объявился ещё один предатель — резидент советской разведки в Австралии Владимир Петров, он служил под крышей нашего консульства. На допросах Петров в числе известных ему советских агентов в Англии назвал Берджеса и Маклина.

5 декабря 1961 года перебежал на запад руководящий работник КГБ Анатолий Голицын. В английском «Словаре шпионажа» о нем написано: «Ни один русский перебежчик-кагэбист не доставлял Западу такой исключительно важной информации, как Анатолий Голицын… Он знал имена более ста русских шпионов…».

И ещё писали, что «Голицын вбил последний гвоздь в гроб Филби».

Но Филби, как известно, тоже успел сбежать в СССР.

Все эти предательства причинили огромный вред советской разведке. Они вызвали гигантский скандал в правительственных

кругах Англии. Расследованием занимались многие инстанции, вплоть до парламента.

Масла в огонь подлил ещё один перебежчик, сотрудник КГБ под крышей советского торгпредства в Лондоне Олег Адольфович Лялин. Он не только подтвердил уже известные английской контрразведке имена агентов, но выдал ещё многие новые.

Правительство Англии, парламентарии были разгневаны до такой степени, что приняли беспрецедентное решение о высылке из Англии сразу около сотни работников советского посольства. В гневе они выдворили многих не причастных к разведке, но пополнили этот список и те, кого не называли предатели, среди них был и Ромашкин. Он передал своих агентов уцелевшему заместителю резидента Волосову Владимиру Павловичу.

Караганов тоже «сгорел», он ходил в посольстве мрачный, его черные одежды очень подходили к траурной ситуации.

Ромашкин улетал из Лондона вместе с другими «персона нон грата».

В прессе шла разоблачительная вакханалия, печатались портреты разоблаченных шпионов. Были среди них не только «грушники», но и «кагэбэшники».

Кстати, знаменитая «кембриджская пятерка» была одной из крупнейших удач разведки КГБ.

Жизнь продолжается

В столице Ромашкина ждали неутешительные новости. В ГРУ появился новый начальник, который не знал о прежних заслугах Ромашкина, он даже с ним не встретился, поручил беседу одному из заместителей, человеку тоже новому в разведуправлении.

Генерал-майор Бродов принял подполковника Ромашкина довольно холодно. Хотя Ромашкин не был виноват в изгнании, генерал говорил о случившемся как о провале.

— Теперь дальнейшее использование вас по нашей линии бесперспективно, ваше имя, ваши портреты опубликованы во многих западных газетах и легли в картотеки контрразведок многих стран. Даже под другим именем вас использовать нельзя — фотографии уличат «персона нон грата». Увольнять вас без пенсии несправедливо, осталось недолго дослужить. Придется вам вернуться в штаб сухопутных войск, на вашу прежнюю официальную должность.

Василий подумал — может быть, такой финал к лучшему, устал до изнеможения за последние годы от повседневной нервотрепки.

На этом закончилась служба подполковника Ромашкина в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Советской Армии. Ему в спецотделе вернули награды, партбилет, удостоверение офицера Советской Армии.

После этой аудиенции поселился Ромашкин в прежней комнате у Зои Афанасьевны, на Гоголевском бульваре. Теперь она не донимала его расспросами, догадывалась, что у него какая-то особенно секретная работа. Ромашкин, понимая ее, думал с иронией: поздновато вы, Зоя Афанасьевна, меня раскололи — именно теперь у меня нет никаких секретов.

Оставшись один в комнате, Василий перебрал свои скромные пожитки, добавил то, что привез из-за границы, — все уместилось в один отсек одежного шкафа.

Впервые за многие годы Ромашкин надел военную форму и долго рассматривал себя в зеркале, прикрепленном к дверце шифоньера.

Перед ним стоял стройный, подтянутый подполковник, голова его была наполовину седая, мужественное лицо без морщин, хотя шел ему четвертый десяток. Грудь украшали многие фронтовые награды. За годы службы в разведке в мирные дни наград не прибавилось: считалось это обычной повседневной работой.

От себя прибавим то, чего Ромашкин не видел в отражении

зеркала. Не осталось следа от былой его веселости, общительности, был он теперь строг, неразговорчив, замкнут, немногословен. Заводить знакомых ему не полагалось по служебному положению, так что со дня поступления в Высшую разведшколу у него прибавились друзья только по совместной учебе, и то немногие. Весь другой огромный окружающий мир для Ромашкина, да и сам он для этого мира был чем-то за рамками, ограниченными секретностью.

Теперь он возвращался в большой мир один-одинешенек: ни квартиры, ни жены, ни детей, ни родственников. Слыхал в управлении, что Миша Чернов все ещё служит, он уже генерал, военный атташе.

Иван Коробов — тоже генерал, начальник разведки военного округа. Другие однокашники рассеяны по всему свету, действуют каждый под своей крышей.

Жизнь вошла в прежнюю спокойную колею. Будто не было выезда за границу. Все это воспринималось как быстролетный сон. Ромашкин ходил на работу, которая была совсем рядом, через дорогу. У него опять было очень много свободного времени. Подумывал — не разыскать ли Анну? Как у нее сложилась жизнь? Наверное, вышла замуж. Такую красивую девушку кто-нибудь обязательно высмотрел. Сердечная рана у Василия теперь уже не кровоточила, боль от разрывающего стыда утихла. Но когда начинал представлять, как он встретится с Анной и будет униженно искать оправдание тому, что она сама видела, рана в сердце начинала ныть как зубная боль. И Ромашкин гнал мысль о встрече и извинении.

Замкнутость и одиночество Ромашкин стал рассеивать стихами. Вспомнил свою тягу к поэзии в юности, и теперь вечерами подолгу сидел над бумагой, писал, зачеркивал, переписывал и опять до бесконечности правил. Из многих написанных стихов один отложил и часто его перечитывал: в нем отразилась грусть последних месяцев. Хоть и не было подруги жизни — но когда-то она все же появится, поэт волен в своих лирических переживаниях.

Судьба разведчика

Вся жизнь моя как степь со сквозняками,
Мела по ней холодная поземка,
В ней одиноко было мне и знобко,
А нервы в кулаке, и сердце — камень.
Ох ты, жизнь моя тайная!
Ох ты, жизнь моя явная!
Всюду смерть стерегла окаянная.

Бывал я и в Лондонах, и в Парижах,
Со смертью танцевал там твист и танго,
Не раз на мушку брали, но я выжил,
И дослужился до высокого ранга.
Ох ты, жизнь моя тайная!
Ох ты, жизнь моя явная!
Всюду смерть стерегла окаянная.
Вот прожил я жизнь, и будто не жил,
Все покрывает тайна строгая,
А то, что в тридцать с сединой, словно снегом,
Так это никого не трогает.
Конечно, жаль, не знают люди,
Что сделал я для них немало,
Спокойно и легко жить будут,
А я свое свершил… и как не бывало.
Ой ты, жизнь моя тайная!
Ой ты, жизнь моя явная!
Подстерегла все же смерть окаянная.
Заметет поземка снежная
И мой холм со звездой на мраморе,
Только ты, подруга моя верная,
Будешь помнить, доживая в трауре.

Мучаясь над стихами и рассказами, Василий обнаружил, что он не подготовлен для литературной работы. Военное академическое образование и служба почти ничего не дают для писательства, разве только богатый жизненный материал. А гуманитарного образования, технологии, законов и приемов творчества Василию явно не хватало.

Но судьба не обошла его своим вниманием и на сей раз.

Однажды, гуляя вечером по Тверскому бульвару, Ромашкин обнаружил недалеко от площади Пушкина небольшую вывеску, на которой было написано: «Литературный институт им. А. М. Горького». За решетчатой оградой в дворовом скверике возвышался небольшой трехэтажный особняк. Как позже узнал Василий, это был дом, в котором родился Герцен.

Прогуливаясь вечерами по бульвару, Ромашкин останавливался напротив этого дома и с любопытством наблюдал за тем, что происходит во дворе. Там под деревьями собирались стайками парни и девушки, о чем-то говорили, энергично жестикулируя, смеялись, расходились и опять сбивались в группки, весело гомонили. О чем у них шли разговоры, Василию не было слышно. Однажды он решил зайти во двор и послушать,

о чем эти ребята так горячо и возбужденно разговаривают. Оказалось, в институте проводились приемные экзамены, эти ребята делились наблюдениями насчет экзаменаторов и особенно о работе приемной комиссии. Как выяснил Василий, был невероятный конкурс — набирали пятьдесят человек, а желающих более четырехсот.

И ещё узнал Василий, почитав листки на доске объявлений, что есть в институте заочно-вечернее отделение. Для поступления нужно не только сдать экзамены за среднюю школу, но и представить творческие работы для комиссии, которая, ознакомясь с ними, решает, есть смысл принимать абитуриента и тратить на него деньги или дарование его того не стоит, и проживет он без диплома этого института.

Решил Василий попытать счастья, накупил учебников, освежил знания, вспомнил, собрал стихи, ещё написанные в школе и в училище, приложил несколько рассказов и вместе с заявлением сдал в приемную комиссию.

Заключение комиссии было решающим, абитуриент мог сдать все экзамены на отлично, но если комиссия не посчитает его перспективным, документы возвращались. По мере рассмотрения творческих работ комиссией на двери канцелярии появлялся листочек, вырванный из тетради. Листочек этот простым росчерком разделен пополам, и на этих половинках написаны фамилии: слева одна, две — зачисленных, а справа длинный список, кому предлагалось получить в канцелярии свои документы и творения.

Желающих поступить было много, комиссия была перегружена, поэтому листочки со списком появлялись не каждый день.

Василий был абсолютно уверен, что не пройдет по конкурсу, теперь уже сам участвуя в разговорах шумных групп в сквере, он обнаружил, что все поступающие ребята необыкновенно талантливы, они смело, со знанием тонкостей творческой работы рассуждали о книгах, сыпали именами знаменитых писателей и цитатами из их произведений. Стихи могли читать часами, свои и чужие. У поступающих были не только оригинальные, талантливые суждения, они и по внешности казались Василию будущими писателями. Вот похожий на молодого Чехова лохматый очкарик, хрупкий, вежливый, говорит о таких тонкостях прозы, что кажется, ему и учиться не надо, он уже все знает. А загорелый, окающий, худой, высокий, уже немолодой сибиряк очень похож на раннего Горького, он жизнь повидал, суждения его солидны, убедительны.

В общем, Ромашкин не надеялся на успех и, когда появлялся

очередной листок с фамилиями на двери канцелярии, читал только длинный список отчисленных, а в короткий перечень двух-трех счастливчиков не заглядывал.

Наконец завершилась экзаменационная горячка. Василий, не обнаружив своей фамилии на листках, зашел в канцелярию узнать о своей судьбе.

— Не может быть, чтобы в списках не было вашей фамилии, — сказала очень занятая, задерганная секретарша. — Сейчас проверим. — Она взяла стопку тех самых листков, которые вывешивались на двери, и дала половину Ромашкину: — Читайте, — другие стала быстренько перебирать сама. Ромашкин опять искал себя в правой колонке.

Вдруг секретарша воскликнула:

— Я же говорила — не может быть! Вот, ещё неделю назад вы зачислены.

Василий, не веря глазам, смотрел на свою фамилию в левой половине листочка — там были всего трое.

Так Ромашкин стал студентом Литературного института. Для москвичей четыре дня в неделю вечером читались лекции и один день отводился на творческий семинар. Семинарами прозы, поэзии, драматургии и критики руководили известные писатели. Читая расписание занятий, Ромашкин с удовольствием обнаруживал имена тех, кого даже не мечтал увидеть: Константин Федин, Михаил Светлов, Константин Паустовский, Александр Крон…

В общем, начиналась у Ромашкина новая в его биографии полоса жизни: как когда-то в Высшей разведшколе обнаружил для себя и вступил в неведомый раньше мир тайных и опасных дел разведки, так теперь он вступал в тоже неведомый мир искусства, творческих мук и радостей, огромное особое общество одаренных людей. Ромашкин открывал и познавал новый для него, замкнутый, как и разведка, кастовый мир со своими канонами, своей иерархией вышестоящих и прозябающих, своими правилами и традициями, своими нравами и суевериями, которые свято хранились и нельзя было нарушать.

Ромашкину стало тесно в поэзии, сжимала, ограничивала необходимость соблюдения рифмы, ритма. Хотелось порассуждать свободнее, шире, и он попросил, чтобы его зачислили на отделение прозы в творческий семинар Константина Георгиевича Паустовского, проза которого не так уж далеко ушла от стихов. Паустовский, как и Александр Куприн, были для Василия два самых близких и любимых писателя. С Куприным можно было общаться в его книгах. А вот встречаться каждую неделю с Паустовским — это было действительно

безмерное счастье.

Хранить вечно

Секретная работа Ромашкина тоже продолжилась. Он думал, что прежний начальник ГРУ не передал своему преемнику сведения об офицере для личных особых поручений.

Некоторое время было ощущение у Ромашкина, что его забыли, а может быть, и надобность в выполнении им каких-то особых поручении отпала, или такие задания выполняли другие офицеры, а Ромашкин как «проштрафившийся» отлучен.

Но эти предположения Василия оказались преждевременными. Однажды его опять пригласили на конспиративную квартиру. Оказывается, старый начальник ГРУ рассказал о своем личном порученце новому. На этот раз на встрече был не сам начальник ГРУ, а генерал Сурин Сергей Иванович.

Сурин пристально посмотрел на Ромашкина, которому уже был знаком подобный оценивающий взгляд, когда начальство по внешности, по ответному взгляду, по манере держать себя делает первое заключение о пригодности человека для намечаемого дела.

Ромашкин тоже внимательно посмотрел на генерала. Сурин был немолод, седина посеребрила его виски. Лицо у него было тонкое, о таких обычно говорят «интеллигентное». Хотя Ромашкин отлично понимал, что интеллигентность определяется не внешностью, а иными, внутренними качествами человека. Глаза у генерала были не строгие, как полагалось генералу, а усталые. «На такой работе будешь усталым», — подумал Ромашкин.

Без лишних слов генерал, как старший не только по званию, но и по возрасту, сразу перешел на «ты»:

— Мне нужен работник, которого не знают в управлении. Тебя не знают. Тебе предстоит заниматься встречами с людьми, о которых, кроме меня, а теперь вот и тебя, никто не должен знать. Это люди очень высокого ранга, и если узнают об их связи с нашей разведкой, сам понимаешь, будет величайший скандал, и вся политическая или служебная карьера этого человека рухнет. Не говоря о том, что мы потеряем бесценного для нас агента. Тебе тоже не надо узнавать, кого ты увидишь. А если и узнаешь по внешности — никогда, никому ни слова! Ты в курсе: у нас есть категория секретности на пятьдесят и даже сто лет. То, о чем я говорю, относится к категории вечной тайны. Личности, о которых идет разговор, очень крупные, государственных масштабов. Если их связь с нами станет известна даже через

несколько десятилетий, перевернется не только его личная репутация, но даже какой-то отрезок истории той страны, где он жил и работал. Обязанность твоя будет заключаться в следующем: ты будешь получать от меня сообщение о том, когда и куда прибывает гражданин N. Обычно это будет военный аэродром. К указанному времени ты прибываешь на аэродром, встречаешься в диспетчерской с руководителем полетами. Он будет предупрежден о необходимости содействовать тебе во всем. Как только поступают сведения о заходе на посадку нужного тебе самолета, ты выезжаешь на машине к месту, которое укажут в диспетчерской. Как правило, в — — йтгттлт г™™**» слгътттяжя только наш пассажир. Рейс этот специальный по нашему задстиии. лшчш*^ ^~~* ^~ —,__ не из своей, а из третьей страны, в которую он выезжает конспиративно от своих соотечественников или открыто под предлогом отдыха или других надобностей. Впрочем, все это тебя не касается. Твоя задача встретить, посадить в свою машину так, чтобы никто из посторонних не видел прибывшего. Понял?

Ромашкин кивнул.

— Никто! Из диспетчерской ты едешь к самолету один. На стоянке не должно быть никакой обслуги, ни механиков, ни заправщиков, ни охраны. Кстати, оружие иметь при себе обязательно и -" — — — ~—′ ~~.гмгт;го ттптл-м^иатк немедленно, без предупреждения. При опасности вернуть пассажира в самолет, вместе с ним задраить дверь самолета и вызвать по радио сотрудников безопасности. После ликвидации нападения все удаляются. Повторяю, пассажира никто не должен видеть. А ты увозишь его на конспиративную квартиру, которая в каждом случае будет указана мною конкретно. Я думаю, нападений никаких не будет, это я на всякий случай сказал. Главное — встретил, никто не видел, доставил на квартиру. А потом, после завершения

нашей с ним работы, опять так же скрытно отправил клиента восвояси. Вопросы есть?

— Мне надо знать заранее, где находится конспиративная квартира, проехать по маршруту к ней, чтобы не заблудиться с пассажиром.

— Резонно, — согласился генерал, — такую возможность я тебе предоставлю. ещё вопросы?

— Обеспечение на квартире — питание, охрана, наблюдение за пассажиром, он может выйти с квартиры по своей инициативе.

— Это тебя не касается. Это наши заботы. Твое дело: привез, отвез и чтобы никто не видел.

— Все ясно, — сказал Ромашкин. — Когда приступать?

Каковы мои взаимоотношения с прямым начальством по службе?

— Работа эпизодическая, по мере надобности. Твое начальство будет предупреждено о твоем необходимом отсутствии. Но ещё раз напоминаю: на твоей работе никто не должен знать, чем ты занимаешься. У нас в Главном управлении ты не появляешься. Случаи предательства и перехода на ту сторону продолжаются. Газеты читаешь? — не спросил, а утвердительно сказал Сурин. — К сожалению, кроме того, что попадает в печать, есть случаи… Ну да ладно, не о том речь. Тебя не знают возможные будущие перебежчики — это очень важно. Поэтому именно ты будешь заниматься тем, о чем я сказал.

Первое задание прошло точно по описанию генерала Сурина. Он позвонил и сказал, без вступления и объяснений:

— Запиши адрес.

Ромашкин записал.

— Клиент прибывает на Чкаловский аэродром в районе восемнадцати часов, плюс-минус полчаса. О результатах докладывать не надо, я буду знать.

Ромашкин проехал дорогу к даче, по указанному адресу. Она оказалась по пути к аэродрому. Наверное, специально такое место подобрали, чтобы не кружить с клиентом по городу. Дача оказалась небольшой, деревянной, старинной постройки. Василий вошел во двор, калитка была не заперта, охраны не было видно, собак тоже. Постучал в дверь. Вышла пожилая женщина — экономка. Василий назвал свою фамилию.

— Я в курсе, — коротко ответила хозяйка.

— Скоро приедем, — сказал Ромашкин и удалился. На аэродроме он встретил свой «борт», как называли диспетчеры. Пассажир — немолодой, круглолицый. Кстати, лицо он закрывал поднятым воротником плаща и надвинутой шляпой. «Как в детективном фильме», — подумал Ромашкин. Затем они благополучно доехали до дачи, и Ромашкин передал своего подопечного экономке. Через два дня Василий таким же способом отправил визитера на самолете.

Задания приходилось выполнять нечасто, все они проходили однообразно. Иногда только менялись конспиративные квартиры.

Некоторых прибывающих Ромашкин узнавал в лицо, по фотографиям, которые видел раньше в газетах или в кинохронике. Иногда по этому поводу про себя с удивлением восклицал: «Вот это да! Ни за что не поверил бы, даже если бы кто-то сказал, что он на нас работает».

Все визитеры были неразговорчивы, с ними и сам старался не говорить, объяснялся одним словом или жестами: «Пройдите сюда», «Пожалуйста, в машину».

Иногда у Василия возникала мысль: «Зачем так рискуют „грушники“: приезд в нашу страну таких крупных личностей, при всех предосторожностях, может завершиться провалом из-за какой-то случайности». Но, видимо, были какие-то указания, которые надо было давать лично, глядя глаза в глаза, без использования средств связи или посредников. А может быть, изредка эти личные общения нужны были с «воспитательной целью», чтобы агент помнил, на кого он работает и кто его фактический «хозяин»?

Эта работа немного мешала учебе Ромашкина в Литинституте, потому что встречи происходили обычно вечерами, когда надо было присутствовать на лекциях или семинарских занятиях. Но поскольку это случалось редко, можно было бы даже не упоминать, да, собственно, и нечего писать об этой, хотя и очень ответственной работе.

Но однажды произошло именно то, о чем предупреждал Сурин как о маловероятном исключении.

Случилось это зимой.

В этот вечер Ромашкину вместе с ключами от квартиры привезли шубу.

— Укроешь гостя. Прилетит, наверное, легко одетым.

На этот раз квартира была в городе, в самом центре, без экономки.

Ромашкин проверил все три комнаты. Продукты и вина в холодильнике, чистая постель, все было подготовлено. Охрана обычно с клиентами и Ромашкиным не общалась. Каждый делал свое дело.

На аэродроме тоже все шло обычным порядком, борт небольшой двухмоторный сел, подрулил в сторонку от служебных помещений, а Ромашкин подкатил к трапу, который уже опускали из самолета. Василий взял шубу и поднялся к люку. Прибывший был и на этот раз тоже немолодой, с характерными раскосыми глазами и редкими седыми, зачесанными назад волосами. Шуба была очень кстати: у клиента даже пальто не было, в зеленом кителе и брюках навыпуск. И те из легкой ткани, видно, из южной страны пожаловал. Ромашкин накинул на гостя шубу и помог ему всунуть руки в рукава. Клиент благодарно улыбался и кланялся. И вот, в тот момент, когда Ромашкин, поддерживая приехавшего, спустился по лесенке, вдруг к самолету на большой скорости помчались две легковых машины с яркими, на полную мощь фарами. Этот свет ослепил Ромашкина и приезжего, они прикрыли глаза руками. Василий быстро сориентировался: происходит явное нападение. Помня инструктаж Сурина, выхватил пистолет, натянул шубу на голову приезжего, скрыв его

лицо, и быстро, без долгих объяснений, скомандовал: «Назад! В самолет!».

Пассажир поспешно, оступаясь, стал взбираться по лестнице, а Ромашкин встал у её основания, готовый отстреливаться.

На обеих машинах одновременно распахнулись дверцы, и выскочили несколько человек, все они были одеты в черные пальто, на головах черные шляпы. Тот, который вышел из передней дверцы ближней машины, закричал:

— Остановитесь! Не бойтесь, мы свои!

Именно в него в первого собирался выстрелить Ромашкин, но вдруг узнал очень знакомое лицо: «Молотов!» Да, это был никто иной, а министр иностранных дел и вообще второе лицо в государстве — Вячеслав Михайлович Молотов.

Подойдя ближе, он опять громко сказал:

— Уберите оружие! Вы меня узнаете?

— Узнаю, — ответил Ромашкин, пока ещё плохо понимая, что происходит.

— Вот и прекрасно. Сейчас разберемся что к чему, — как бы ответил Молотов на состояние Ромашкина. — Мы заберем вашего пассажира с собой. Ваша миссия на этом заканчивается.

Подошли сопровождавшие Молотова. Ромашкин убрал пистолет, но, все ещё стоя у начала трапа, преградил им путь.

— Но я выполняю приказ…

— Вы меня знаете? — ещё раз спросил Вячеслав Михайлович. — Я Молотов. Я отменяю ранее отданный вам приказ. И мы заберем этого человека с собой.

Ромашкин колебался. Пассажир находился в самолете. Двери экипаж задраил.

Молотов, конечно, государственный руководитель. Но у Ромашкина приказ ГРУ. Никто не должен видеть приезжего! Может быть, именно Молотову нельзя его показывать. В разведке бывают такие дела, о которых не докладывают даже государственным деятелям. Но, с другой стороны, если Молотов приехал к самолету, значит, он в курсе дела о времени прибытия и кто прилетает.

Все это рассказывать долго, а там длилось несколько мгновений. Пока Ромашкин лихорадочно соображал, как быть, приоткрылись двери самолета, высунулся пилот и прокричал:

— Товарищ (он обращался к Ромашкину), вам передали по рации с командного пункта: все в порядке, выполняйте указание товарища Молотова.

У Василия отлегло от сердца, он быстро поднялся в самолет, подошел к прибывшему, сказал по-русски, не зная поймет ли он:

— Извините. Неувязка получилась. Прошу вас, выходите.

Они спустились к машинам. Молотов пожал руку гостю и, не говоря ни слова, пригласил его в свою машину. Василий вдруг опомнился:

— Вячеслав Михайлович, а шуба? Это же казенное имущество.

Молотов даже не улыбнулся, несмотря на явно комическую ситуацию, блеснув пенсне, он строго сказал:

— Вернем мы вашу шубу. Отвяжитесь, наконец.

Ромашкин отошел от машины, которая тут же на большой скорости рванулась с места.

Не зная, чего ожидать — нагоняя или похвалы за свои действия, Василий позвонил по телефону, но не успел доложить о случившемся, генерал Сурин весело сказал:

— Порядок. Ты действовал правильно.

Этот случай был, пожалуй, самый нервный для Ромашкина за последние годы работы в Москве. Он продолжал встречать и провожать очень редких клиентов. И через два — три года с улыбкой просматривал кинохронику, извещавшую о том, что господин N (или товарищ такой-то) «впервые» посетил Советский Союз. На экране мчался эскорт мотоциклов, жители Москвы махали розданными им флажками государства, из которого приехал высокий гость. А Ромашкин, глядя на знакомое лицо улыбающегося с экрана гостя, вспоминал, как он несколько лет назад (иногда не раз) вез этого человека ночью на конспиративную квартиру, и было у него тогда лицо серьезное, озабоченное. И ещё Ромашкин помнил слова генерала Сурина о том, что эту тайну он обязан хранить вечно, до гробовой доски.

Семинар

Один раз в неделю студенты-очники и заочники вместе собирались в аудиториях института. Каждый семинар вел постоянный творческий руководитель. Придя на первое занятие, Василий сел за стол у задней стены и разглядывал своих однокурсников. Они были разные. Всего человек двадцать. Несколько уже немолодых, большинство недавно закончили школу, но уже работали в редакциях газет и журналов. Шумливые и разговорчивые, они подшучивали, обменивались остроумными колкостями. Ромашкин, не привыкший к такому вольному общению, вел себя сдержанно, говорил со «стариками», трое оказались из фронтовиков, донашивали гимнастерки со следами споротых погон и старенькие начищенные сапоги.

Паустовский вошел в аудиторию как-то бочком, не прошел, а пропорхнул к своему столу. Сел и только после этого стал разглядывать своих подопечных. Через толстые стекла очков в темной роговой оправе он медленно переводил взор от одного к другому. Все притихли и тоже с любопытством разглядывали своего знаменитого наставника. Для Ромашкина внешность мэтра оказалась полной неожиданностью. Он не встречал прежде Паустовского, а по книгам он был путешественник, романтик, друг портовых бродяг, рыбаков и охотников, выглядел в представлении Василия здоровым, загорелым, мужественным. И вдруг небольшого роста, сутулый, подслеповатый очкарик!

Когда Паустовский заговорил, впечатление о нем ещё более разочаровало: у него был тихий, скрипучий голос. Говорил он как-то ни к кому не обращаясь, вроде бы для себя.

Разочарование было полное! Но очарование, возникшее раньше при чтении книг Константина Георгиевича, не пропало. Любопытство — как же он пишет так великолепно, зримо, проникая в душу, — не только осталось, но даже усилилось. Такой невзрачный старичок, а какие создает блестящие шедевры.

— Ну-с, будем знакомиться. Кто как жил и почему решил пойти в литературу? Кстати, вы, наверное, знаете, что выучиться на писателя невозможно. Талант — это дар Божий. Он или есть, или его нет. Образование только укрепляет, расширяет возможности одаренного человека. Неосведомленные идут в литературу — одни в погоне за славой, другие за деньгами. И то, и другое — огромное заблуждение. Писательство — тяжкий труд, это сладкая каторга. Каторга потому, что требует отдачи всех сил до полного изнеможения, сладкая — потому что это занятие делом, которому отдано все — любовь, смысл жизни, безоглядная

преданность.

Говорил Паустовский голосом старого курильщика, с хрипотцой. Он и на занятиях постоянно закуривал папиросу, о которой тут же забывал, потом неоднократно вспоминал о ней, раскуривал снова и опять забывал.

Студенты коротко рассказывали о себе. Ромашкин с интересом узнавал об однокашниках, с которыми предстояло встречаться в институте пять лет почти ежедневно, вернее — ежевечерне. Для заочников москвичей четыре раза в неделю читались лекции и один день отводился на творческий семинар. Лекции читали именитые и знаменитые ученые, академики и профессора (Реформатский, Благой, Металлов, Радциг, Асмус, Фохт). Каждый из них издал немало научных трудов и учебников.

Семинарами руководили пожилой Константин Федин и совсем молодой, недавно получивший Сталинскую премию Александр Чаковский, опытные писатели Лидин и Замошкин. Занятия с поэтами вели Михаил Светлов, Евгений Долматовский. Драматургию — Александр Крон и Александр Штейн. (О наставниках более подробный разговор впереди. А пока познакомимся со слушателями семинара прозы, с которыми знакомился Паустовский).

Бондарев о себе сказал:

— Я фронтовик, служил в противотанковой артиллерии, два раза ранен. До войны мечтал стать шофером. В литературу решил податься потому, что надо много сказать о человеке на войне.

Наталья Ильина — самая старшая среди слушателей семинара, независимая, рассудительная женщина:

— Мой отец служил в царской армии. С Колчаком отступал в Маньчжурию. Я с матерью много лет жила в Харбине и Шанхае, работала журналисткой.

Владимир Солоухин, с пышной шевелюрой цвета зрелой пшеницы, типичный русак, окал как истый волжанин, хотя родился во Владимире, который стоит на реке Клязьме. Солоухин поступал в институт как поэт и был зачислен на соответствующий семинар, но ходил на занятия Паустовского. Любил его.

Владимир Шарор — тоже фронтовик и войсковой разведчик. Он с первых дней сблизился с Ромашкиным.

Семен Шуртаков и красавица Майя Ганина. У Майи были глаза разного цвета, и ребята (позднее) подшучивали над ней: «Бог шельму метит!» А ещё позднее Шуртаков и Ганина поженились.

Борис Балтер отличался сочным голосом, как у «диктора Всея Руси» Левитана, и категоричностью суждений. Лидия Обухова, Михаил Годенко, Наталья Дурова (внучка знаменитого

дрессировщика), Борис Бедный, уже немолодой, опытный журналист, Владимир Тендряков, не по возрасту серьезный, Владимир Бушин, уже тогда едкий в шутках, Николай Воронов и другие, ставшие после окончания института хорошими, известными писателями.

Ромашкин тоже коротко рассказал о своей нелегкой судьбе, о том, что на фронте был охотником за «языками». О работе в ГРУ, разумеется, умолчал.

Паустовский так комментировал его биографию:

— Повидали много — это хорошо. Писатели всегда пишут лучше о том, что сами пережили. Это естественно. Но вас, Ромашкин, ожидает нелегкая писательская судьба. Вы будете разрабатывать военную тему, а это всегда связано с ограничениями цензуры. И даже не потому, что секреты какие-то затрагиваются. Военные вообще очень чувствительны и обидчивы, когда пишут об их недостатках. Не любят, считают, что это компрометирует армию.

Познакомившись со студентами, Паустовский объяснил:

— Занятия наши будут проходить в свободной беседе. Вы будете читать написанное, будете хвалить или критиковать друг друга, ну и я стану встревать, там, где мне покажется это необходимым. Кто сегодня готов почитать? У кого с собой рукопись?

Нашлось несколько желающих. Паустовский выбрал из «стариков» Юрия Бондарева, надеясь, наверное, что у более опытного человека, явно фронтовика (он был в офицерской гимнастерке без погон) написанное будет более обдуманным и даст хороший повод для обсуждения. (Да, это был тот самый Бондарев, будущий крупный и очень известный литератор.)

Он читал рассказ не о войне, а о каком-то шофере мирного времени, который то ли полюбил, то ли не полюбил девушку, в чем никак не мог разобраться. Бондарев закончил и бледный ожидал, что будет дальше.

Однокашники набросились на него очень дружно, перебивая друг друга, упрекали в неопределенности и героя, и самого автора, отсутствии специфического шоферского языка, рыхлости сюжета и прочем.

Паустовский иногда помогал высказаться, чтоб не мешали, не забывали один другого.

Ромашкину показалось, что горячими, торопливыми выступлениями ребята хотят не только отметить недостатки рассказа, но ещё и показать Паустовскому свое умение рассуждать о литературе.

Выслушав всех, Константин Георгиевич подвел итог:

— Рассказ написан безадресно. Для кого? Нет не только шоферской терминологии, как вы справедливо указали, нет шоферского быта, воздуха, которым живут и дышат шофера. Писатель должен писать о том, что он знает досконально. Попробуйте в следующий раз почитать нам о войне. Я вижу, вы бывший военный, вам это ближе. Обратите внимание на подробности, на детали, известные только вам, они оживляют повествование, без подробностей вещь не живёт. К следующему занятию все напишите этюд на тему, — он подумал. — Ну, хотя бы такую… «Начало грозы». Каждый писатель видит предметы и явления по-своему. Вот и вы проявите свою индивидуальность в конкретном деле. Больше деталей, единственных и неповторимых. Больше красок, но не чересчур, один меткий эпитет способен создать в воображении читателя целую картину.

* * *

Все вечера до следующего занятия Василий читал рассказы Паустовского. Почему-то охватывало волнение при этом. Обдавало приятным теплом голову и щёки. Дыхание становилось глубоким и учащенным, какое бывает при чувстве радости. А вроде бы пишет о самых обычных вещах. Вот «Дождливый рассвет». Ничего вообще не происходит. Но как эта непогода гармонирует с чувствами и судьбой людей, живущих в рассказе. Они становятся по-настоящему родными, хочется, чтобы они были счастливыми. Но охватывает грусть — все уже в прошлом, непоправимо, и в то же время радостно: все-таки это было. Родниковая чистота языка, нежность и доброжелательность к людям.

Перечитал ещё и ещё этот рассказ, и каждый раз все то же взволнованное сопереживание, все новые краски, покоряющая акварельная нежность, неповторимость русской природы. Любовь к ней, счастье обладания этими бесценными богатствами жизни. А всего-то разговор идет о сереньком дождливом дне, который, казалось бы, не дает материала для создания живописной картины.

Ромашкин каждый раз с нетерпением ждал новой встречи с Константином Георгиевичем, этим удивительным, загадочным человеком в своей творческой исключительности. Он казался Василию пришельцем из золотого девятнадцатого века нашей литературы, который пожил там вместе с Гоголем, Толстым, Тургеневым и принес в своих книгах тепло и элегантность их творчества.

Задание Паустовского исполнили все. Он ожидал увидеть проявление индивидуальности каждого. Не получилось. У всех были одинаковые громы, сверкающие молнии, ливневые потоки

или водяные космы и занавеси. Прочитал и Ромашкин свое творение на двух страницах. Он очень старался написать «под Паустовского», придумывал детали, смешивал краски, не жалел и белых огней для молний.

Константин Георгиевич выслушал всех, делал пометки на бумаге. Улыбнулся, иронично сказал:

— Прежде всего, вы обнаружили невнимательность. Я просил описать начало грозы, а у вас целые бури, громы и молнии, раздирающие небеса. Это уже не начало, а разгул стихии, — помедлил, раскурил погасшую папиросу, размышляя, сказал: — Надо найти нечто такое, что характерно именно для предгрозья, если стоит такая задача. Увидеть то, что видят одни и не видят другие. Удивить читателя, чтобы он ощутил, узнал и поразился: как же точно, как же похоже! Это должно быть не на нескольких страницах, а коротко, емко. Всего несколько фраз. Ну, например, так, — опять подумал, отвел руку с папиросой в сторону. — С темного неба упали несколько тяжелых капель на обрывок газеты. Запахло пылью, — помолчал и пояснил: — надо помнить о всех ощущениях человека, они создают сопереживание и узнаваемость. Почему тяжелые капли? Потому что, как мы задумали, приближается гроза, а не мелкий нудный дождичек. Почему на газету? Потому что вызывает слуховое ощущение. Я не говорю о самом звуке, читатель сам по своему опыту дорисует это звуковое ощущение. Почему запахло пылью? Потому что именно так и бывает, это моя наблюдательность, она сразу всколыхнет в читателе и его наблюдательность, которой он не пользуется, а теперь, сопереживая, воскликнет: как похоже! И ваша цель достигнута, начало, именно начало, вы нарисовали, читатель подготовлен к дальнейшему восприятию, он верит вам. Для чего вам это нужно в дальнейшем повествовании, это другой вопрос. И так с каждой фразой, с каждым эпитетом — должна быть ювелирная работа по огранке, полировке, примерке и подгонке слов на соответствующее место.

Много ещё интересного говорил учитель. Ромашкин впитывал все это с наслаждением, будто продолжал читать книгу, так точно и наполнено была смыслом все, о чем говорил Паустовский.

В конце занятия студенты, уже привыкшие к своему наставнику, сами стали его расспрашивать.

— Константин Георгиевич, какое качество в человеке вы больше всего цените?

— Деликатность.

— А в писателе?

— Верность себе и дерзость…

— А самое отвратительное качество?

— Индюк.

— А у писателя?

— Подлость. Торговля талантом.

— Какой недостаток считаете простительным?

— Чрезмерное воображение.

— Напутствие-афоризм молодому писателю?

— "Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой".

Ромашкин тут же отметил для себя: Паустовский сам всю жизнь руководствуется этим пожеланием молодым. Он никогда не курил фимиам властям предержащим. Всегда был честен с народом, проявлял к людям величайшее уважение.

Паустовский и сам сказал по этому поводу:

— Настоящий писатель не должен иметь гибкий позвоночник: преклонение и угодничество с писательской профессией несовместимы. Объективность и правда — ваш постоянный маяк. Вы должны находиться на балконе, а все политические, бытовые свары и схватки — там, внизу. Вы все видите и описываете честно.

* * *

Ромашкин брал в библиотеке, перечитывал и как новые открывал «Кара-Бугаз», «Колхиду», «Черное море» и другое, с чего начинал Паустовский. Ну, а более поздние, зрелые творения вызывали у него восхищение и удивление — как можно так мастерски писать: «Судьба Шарля Лонсевиля», «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко».

Наслаждаясь чтением, Василий думал: "Все это могло остаться для меня неведомым, как для сотен тысяч других, таких же как я, которые лежат в братских и одиночных могилах от Сталинграда до Берлина. Ваня Казаков, Костя Королевич, Сережа Коноплев, комиссар Гарбуз и другие однополчане потеряли не только жизнь, но и возможность насладиться многими радостями ее, в том числе и вот этим сладким замиранием, полетом души при чтении художественной литературы.

Это общение, невероятно интересная студенческая жизнь, появление новых друзей, горячие споры на творческих семинарах, вечеринки и выпивки по случаю получения кем-то гонорара — все это захлестнуло Василия. Он словно заново родился. Служба военная отошла на второй план, он ходил в свой штаб по обязанности, механически выполнял положенную работу. А вечером переодевался в гражданскую одежду и радостный мчался в свой дорогой Литинститут.

* * *

Я прощаюсь с читателями до следующей книги, события

которой уже произошли. Их надо только описать. Я даже включил несколько фотографий из той предстоящей жизни Ромашкина и моей, авторской, которой я постоянно делюсь с Василием и с вами, уважаемые мои собеседники.

Москва — Переделкино — Голубицкая — Сочи

1970 — 2000 г.